СЕРИЯ

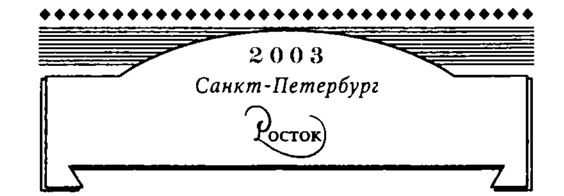
Неизвестный XX век

Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

З. Н. ГИППИУС

В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ III

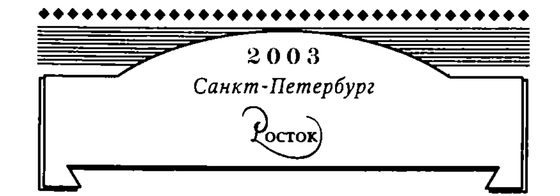


Российская академия наук
Институт научной информации по общественным наукам

З. Н. ГИППИУС

АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ

*Неизвестная проза
1931–1939 годов*



ББК 83.3Р
Г50

Под общей редакцией
доктора филологических наук
А. Н. Николюкина

Г50 **Гиппиус З. Н.** Арифметика любви (1931–1939) / Сост., вступ. статья, коммент. А. Н. Николюкина. – СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2003. – 640 с.

Проза З. Н. Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.

Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.

ББК 83.3Р

В оформлении издания использованы фотографии, предоставленные Институтом русской литературы (Литературным музеем) Российской Академии наук (Санкт-Петербург)

ISBN 5-94668-015-3

РАССКАЗЫ

РОМАН

Солнце закатывалось»...

Лиза остановилась, потрясла новенькое стило, чуть было не лизнула его, как карандаш, да, слава Богу, вовремя удержалась. Однако дальше не шло. И белый листик чистой тетрадки с этими двумя словами: «Солнце закатывалось...» Лизе не очень нравился. Почему «закатывалось?». А может, лучше «заходило»?

Перечеркнуть – будет грязно... Да что ж поделаешь? Писатели, верно, перечеркивают. Ну, как же? Закатывалось? Заходило?

Оно, солнце, и в самом деле заходило. Желтые, пологие лучи легли на скамейку, где сидела Лиза. Под горкой, внизу, пруд так и сверкал. Лиза беспомощно глядела на это сверканье сквозь зелено-прозрачную листву беседки. Ведь вот, и стило, и беседка, где в такой час никто не помешает, и первые слова... но и первые не нравятся, что же будет дальше?

Лиза – не маленькая, ей четырнадцатый год (как двадцатому веку, говорит папа, и родилась-то она с ним вместе, 1-го января). Учится хорошо, но гимназию ненавидит, вернее – презирает: все там пустяки. Ужасно плоско. По правде сказать – и везде вокруг как-то плоско. Ничего не бывает, ничего интересного, захватывающего, необыкновенного не происходит. Папа отправляется в департамент, к маме приходят гостьи и говорят о скучном... Нет, настоящее только в книгах. Оттого Лиза так любит читать. Каждая книга, которую удается дома найти, – для нее откровение. Есть любимые, положим; Шпильгаген, например, или Достоевский, или Виктор Гюго, – какая удивительная прелесть! Толстой, «Детство и отрочество», – хуже: про что там, собственно? Как уроки учил, как в маленькую девочку на балу влюбился, – это про себя всякий гимназист-третьеклассник мог бы написать, да только ему и вспомнить-то скучно.

Нет, Лиза давно уж задумала написать, сама, настоящий роман. Или, для начала, хоть повесть. Мало ли, какие истории ей приходят в голову! Взять и написать. Но, конечно, чтобы никто не знал...

Гимназические сочинения Лиза терпеть не могла. Не угодно ли, дают тему! Разве можно по заказу? А если я совсем о другом думаю?

Нынешнее лето, на даче, Лиза твердо решила посвятить делу. Сюжет романа – или повести – у нее был готов, обдуман. Не хватало, правда, конца, и подробности были неясны, – но ведь это должно само прийти, пока пишешь. Самое важное – начать.

Однако, вот, начала, – и не выходит.

Может быть, не надо солнца? А просто: «Вечер спускался...». Куда? На землю? Ясно, что на землю, куда ему еще спускаться... Нет, это глупо. Ни солнца, ни вечера, а начать прямо с героев, тогда уж и приписать, что это было на закате.

Лиза наклонилась к тетрадке, что лежала перед ней на старом, сером деревянном столе.

«Виктор и сестра его Наташа шли по густой аллее старинного парка, в вечернем сумраке. На Наташе было белое платье, черные глаза ее сверкали...».

По столу беседки ползет маленькая зеленая букашка, вся в солнце. Вот, доползла до трещины и остановилась. Трещина для нее – целый провал. Как переберется? Лиза засмотрелась, опять не продолжает. Да что ж это такое? Надо взять себя в руки!

Перечитаем. Да, Виктор и Наташа... Случайно они узнали, что один из них – приемный, но кто – не знают. Тут и начинается драма.

Ну, а после? Ведь кто бы ни оказался приемышем, они, все равно, значит, могут жениться, а это главное, потому что они, конечно, любят друг друга... Ах, да ведь еще после – этот загадочный старик... Он открывает, что они оба приемыши, и тут опять неизвестная тайна...

– Да что я? – Лиза даже головой встряхнула, отгоняя неуместные мысли. – Это все потом должно явиться, при развитии сюжета. А сейчас – начало, начало! Почему, если «вечерний сумрак», то видно, как у Наташи «сверкают глаза»? Не прибавить ли, что «последние лучи солнца пронизывали листву аллеи?».

О, как трудно писать роман!

Такое множество всего вокруг, сразу: и листва, и лучи, и глаза, и сами они оба, и что они говорят, и что думают, и что им кажется... а писать об этом всем надо ведь постепенно? Если б можно было одно на другое ставить, так нет, низать, как цепочку, одно за другим... Про что раньше? Про что после?

Да и самих слов тоже великое множество; все будто подходящие, а нельзя же, надо выбирать; какое выбрать? Неизвестно. Вот хоть бы с

солнцем: закатывалось? Заходило? Опускалось? Близилось к горизонту? Или совсем без солнца?

— Все переменю! — решила вдруг Лиза и захлопнула тетрадку. — Сегодня уж нельзя, вон на той стороне и коров погнали, стемнеет сейчас, а завтра приду и сразу по-новому двину дело!

Она даже улыбнулась своей мысли: не надо ничего, ни солнца, ни что глаза сверкали, а надо изо всех сил вообразить себя Наташей; и что ей станет говориться и думаться — то и писать. Если ей подумается про закат — ладно; а то и без заката. Потом также Виктором попробовать сделаться. И тоже своих, про него, слов не придумывать. Я же не могу Виктора видеть, когда я сама Виктор? В это время я могу видеть только Наташу. И что вокруг, конечно, но иначе, чем Наташа...

Эти странные обрывки мыслей Лизе были ужасно понятны; и все стало ей казаться необыкновенно простым.

По густой аллее парка, не очень старинного, но в самом настоящем «вечернем сумраке», бежит Лиза домой. Глаза у нее, может быть, и не сверкают, зато сердце наверно бьется ожиданием радости... завтра.

Справится ли завтра Лиза со своими приемышами? Думается, нет. Думается, еще помучают они ее. Но Лиза упряма. Все говорят, что у нее «характер». Сто тетрадок порвет, сто «солнц заходящих» перечеркнет, сто раз решит «все переменю!», а уж роман свой непременно напишет.

Хоть бы до седьмого класса пришлось писать, хоть бы до старости, — напишет!

МАРИНА И КАТЕРИНА

(Параллели)

Горы, долы — (и годы, десятилетия), — язык, народ, земля — все разделяет этих двух женщин, Марину и Катерину. Оне не знают о существовании друг друга и никогда не узнают; никогда не встречались и не могут встретиться (как две параллельные линии). Одно разделяющее их «время» (три десятилетия) было бы достаточной тому причиной. Марину, статную, круглолицую русскую бабу, я зазнал в конце века. Ей было тогда лет 29. Катерине, французской девушке итальянской крови, и сейчас нет 25-ти. Изжелта-русая Марина, ее косица, подтянутая и заколотая на макушке, ее певучий, на «а», северный русский говор, — и Катерина в черных модных кудрях, сыплющая французской частушкой... что между ними общего? Что соединило их в моей мысли?

Общее, или какой-то параллелизм, между ними есть. Правда, первым толчком к тому, что я подумал о Марине и Катерине вместе, – были некоторые совпадения, чисто внешние, даже смешные. Я скажу о них потом. Но, раз занявшись исканьем общего, я открыл его, и тем более достойное внимания, что это общее как-то еще ярче подчеркивает глубокое различие, разность обеих женщин. Если б индивидуальное!.. но не в том дело.

Оне одинакового происхождения.

Марина – из деревни Лужского уезда. Там ее, молодую, и выдали замуж, за лядащего, не под стать ей, хилого мужичонку. Он недолго проскрипел, и Марина, честь честью его оплакав, пошла в город, в Петербург, на место. Не в родительскую же семью ворочаться, там ртов и без нее довольно.

И Катерина из семьи... ну, не «мужиков», а «cultivateurs» * (что, однако, то же самое). Обе оне выросли за работой «на земле»: невелика разница, что Марина, копая картошку, могла видеть перед собою лужские песчаные сосенки, а Катерина, за тем же делом, – голубую черту Средиземного моря.

Когда подросли другие дети (семья тоже большая) – пошла на место, в люди, и Катерина.

Я знал Марину, когда она была прислугой «за все» в близкой мне семье, у четы молодоженов. В Петербурге.

Я узнал Катерину такой же прислугой, une à tout faire ** у **той же самой** петербургской четы (давно превратившейся в староженов). В Париже.

И еще одно совпадение связало для меня Марину с Катериной: обе оне попали в поле моего зрения тогда, когда обе находились в период влюбленности... в солдата.

Человек во влюбленном состоянии вообще делается виднее. Его черты, – вовсе не только индивидуальные, но и национальные, социальные, современные, – как-то подчеркиваются. И последние особенно, если индивидуальность не сильна, если человек «типичен».

Две молодые женщины, одинакового социального положения; два «предмета» у них, два солдата: русский и французский.

Любовь, и 30 лет тому назад, и 300, и 3 тысячи, и сегодня, – все любовь. Хочешь не хочешь – надо признать в ней что-то «вечное». Вот на фоне-то «вечного» особенно хорошо и наблюдается смена времен, глубокая разность культур, стран и народов.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* земледельцы (*фр.*).

** по уборке всего дома (*фр.*).

* * *

Марина влюбилась в своего солдата летом, на даче (я приезжал туда гостить к друзьям), не помню, кажется — под Красным.

Марина не лишена юмора. Она фамильярна, но про то не знает. Фамильярна по простоте, а внутреннее отношение к «господам» у нее такое (или вроде), — что у них, мол, свои какие-то дела, непонятные и ей неинтересные, а им неинтересны дела Марины. Из снисходительности она говорит им о себе иногда, но любит говорить в третьем лице, и как-нибудь «по-ихнему». Сшила клетчатое платье, довольно нелепое на ее широкой фигуре. «Что это, Марина, — сказала ей барыня, — какой ты пастушкой Ватто!». С тех пор Марина, как наденет платье, идет показаться: «Вот Марина, пастушка Ватто!». Так же и насчет Николая призналась: «Уж и влюблена Марина в солдата, — страсть!».

Призналась, потому что нельзя было иначе: солдат ведь являлся, хоть и не часто, а главное — иногда присылал письмо. Марина же и прочесть не могла, не то, что ответ писать: неграмотна. Значит, барыне надо поручать.

А как-то пришлось и мне: Марина со мной не стеснялась. Солдатское письмо было неважное, едва разобрать, однако со стишком. Не помню чепухи, но Марине понравилось: «Пишите уж и от Марины со стишком». «Да еще-то про что?». «Да вопче ответ пишите». Сказать толком ничего не сказала. Но когда услышала мой ответ —

Я пишу письмо вторичное
Дорогому Николаю
Как варенье земляничное
Николая обожаю —

этот стишок понравился ей, кажется, меньше солдатского.

Примитивная и неграмотная, Марина была, однако, очень неглупа. Проявляла, в неожиданных, правда, случаях, переимчивость и даже творчество. Слышала, как мы раз, за столом, издевательски декламировали стихи одного горе-поэта; сразу запомнила, но, по-своему, — исправила. Они показались ей «песней». Явился откуда-то и мотив для песни. Усердно меся тесто, она заливалась в кухне:

Утешения каплю мне влейте
В истомленную душу мою,
Пожалейте меня, пожалейте —

но тут, откинув действительно ужасную строку «Я **на краю нервоза** стою», Марина бодро заканчивала:

Я на краюшке Волги стою.

Имелось у нее расположение даже к философии... Но об этом потом.

А вот солдат ее, по общему мнению, был какой-то облом и дурак. Парень из соседней с Мариной деревни. Широкорожий, два передние зуба выбиты. Почти бессловесный и с мутными глазами пьяницы.

Когда он являлся, тупой и ражий, Марина шла с ним «в проходку пройтись», либо в саду, в сумерки, сидели они вдвоем на качальной доске.

Барыня сердилась: «Дура, эта пастушка Ватто! Ведь ему еще долго, только два года кончил, третий остается. А ну как он не женится?».

* *
*

Катерина не носит клетчатых платьев пастушки Ватто. Из дома, от работы «на земле», от строгих родителей (колотушек не меньше ей доставалось, думаю, чем Марине в девчонках) Катерина не сразу, но очень скоро, попала к богатым американцам (где уж служила ее старшая родственница). Сильная, живая, красивая, – американцам она, очевидно, нравилась. Побывала с ними в Нью-Йорке, на европейских курортах, но... вернулась по требованию родителей, домой, во Францию. Особого отпечатка ни эти путешествия, ни американское баловство, на ней не оставили. На ней уже был свой отпечаток. Она все же деревенская, – из деревни вышедшая, – девушка, из доброго материала, как и Марина, вылепленная, да только из другого: деревня ее не Лужского уезда.

И восприимчивость у Катерины совсем другая: скорая и какая-то ужасно естественная. Марина стоит, глядит и не угадает, что ей понравится, куда она шагнет: может, и никуда, чего там! Перед Катериной – будто узенькая, но прямая, протоптанная дорожка – вверх; и сама Катерина – легконогая, как не идти?

Быстро и ловко управившись после обеда в кухне, Катерина, в бальном платье, в золотых туфельках, отправляется танцовать в казино, в клуб, если это летом... а придется – так и на сельскую, «foire» *, с тем же удовольствием. В Париже, зимой, опять либо дансинг (но не какой-нибудь, и одна не пойдет, а с подружками и знакомыми), либо, конечно, синема.

В кротовой шубке, в модной шляпке, скромную, живую и хорошенькую, – кто отличит ее от «настоящей» барышни-парижанки?

Да и незачем отличать, так неуловим переход от Катерины к «настоящей» барышне, которую, кстати, и определить трудно, какая она.

* ярмарка (*фр.*).

И где начинается? Дактило, продавщица, служащая в банке, что это, «настоящие» барышни? Таких подружек много у Катерины. Если же за «настоящую» взять ту, у которой шубка подороже, платье поизящнее, то, право, внутреннего отличия, существенного, мы от Катерины в этой средней настоящей барышне не найдем. Получше пишет, потолковее книжки читает, может быть, да манеры получше — вот и все. Но в те же синема она ходит, те же танцы танцует, такую же завивку делает у парикмахера и так же мечтает о том, чего еще не имеет. И хорошо, если желания ее и мечты добротны, подобно Катерининым, если она хочет быть хорошей женой и матерью и не боится труда...

Здешняя средняя «настоящая» барышня стоит на той же дорожке, или лесенке, — вверх; если Катерина на ступеньке пониже, то ступеньки мелкие, полузаметные; по ним не тяжело и подыматься, иди себе да иди, сколько тебя хватит... А дальше — дети твои пойдут.

Но я отвлекаюсь. Вернемся к счастливой Катерине, влюбленной в своего «солдата», как была Марина влюблена в своего. Катеринин отбывает военный год (только год!) вдали от Парижа. До службы он был главным приказчиком в одном из громадных магазинов «Potin». Тут, за провизией, они с Катериной и познакомились.

Он не парижанин, он северный француз, из-под Руана. Там у него свои родители, тоже «семья» (это особенно звучит по здешнему месту, не надо забывать!). Обе семьи, и жениха, и невесты, уже находятся в контакте, несмотря на расстояние. Старики и там и здесь начали с работы «на земле». Если южане, между прочим, занимались виноградниками, то северяне — яблоками (сидр). Но скоро старики будут жить на покое: подросли дети, станут работать они... а как — им виднее, лишь бы работали.

Солдат Морис — меньше всего похож на Марининого Николая. Смышленый, проворный, веселый, любит читать, интересуется газетами. Через полгода службы он уже «капрал». Он серьезно уважает «семью», искренно влюблен. Невесте, в продолжение долгих месяцев он пишет **каждый день.**

К службе относится ответственно, как к devoir *, но высчитывает, сколько еще осталось до окончания, до счастья со своей «poulett» **. Он пишет совсем недурно, с немного однообразным излиянием чувств, но приятно и рассудительно. Катерина тоже, из месяца в месяц, каждый день пишет ему длинные письма. Помощь барыни (a patronne) — ей, как бедной Марине, совсем не нужна... И, однако, разговор о Мори-

* обязанность (*фр.*).

** «цыпленок» (*фр.*).

се у Катерины с «Madame» не иссякает, и ежедневно приносится для прочтения очередное письмо солдата.

— Знаете? — сказала мне эта, когда-то молодая, хозяйка Марины и Катерины. — Не могу отделаться от впечатления, что Марина была... как-то **целомудреннее** в своей любви. Фактически-то наоборот: здесь все «по-хорошему», и родители, и «respect»*, а Марина едва до первых родов обвенчаться успела. Да вот Марина по нужде, по неграмотности, признавалась, что влюблена, и в подробности не входила... А эта все бумажные жениховские поцелуи несет ко мне, и при мне же спорят они, кто кого сначала хочет, мальчика или девочку... Не понимаю; латинской души, должно быть, не понимаю. При этом ведь глубоко уважаю эту ихнюю святыню, — «famille»**, а назад, к Марине обертываясь, напротив, — ужасаюсь...

Ну, насчет «целомудрия»... моя приятельница забыла, упустила из виду, что для Марины «барыня» — другое, чем «Madame» для Катерины. Для Марины «господа» были каким-то сортом людей, или породой людей, совершенно ей чуждых, непонятных и неинтересных. У нее и у них — разные дела, без всякого касательства. Точно бездонный провал разделял Марин, Николаев, — и «господ». У Марины была своего рода гордость по отношению к этому далекому сорту людей, иногда снисхожденье. Главное же — непереступность разделяющей пропасти (и никакого желания и нужды ее переступать). Все это, конечно, бессознательно: но в ощущении — так.

Для Катерины — нет ни провалов, ни особых сортов; она не ощущает никакой серьезной разницы (коренного порядка), между «патронами», платящими деньги за известную работу, и получающими за работу. Это отношения деловые, а хорошо ли складываются — зависит от того, каков патрон, каков служащий. Катерина отлично знает, что и сама, в дальнейшем, может сделаться «патроншей» в каком-нибудь роде, — «хозяйкой» служащих. О, конечно, понимает она и другие особенности «Madame et monsieur»***: они могут знать больше, чем она, учились дольше (долго ли она ходила «en classe»****), наконец — они могут быть «les nobles»*****; это все она уважает в свою меру, если с этим встречается. Однако основной элемент человеческого «равенства» никогда не бывает уничтожен: он не в разуме, а, кажется, издавна, уж в крови.

* уважение (*фр.*).
** семья (*фр.*).
*** Госпожа и господин (*фр.*).
**** в школу (*фр.*).
***** знатные (*фр.*).

Поэтому фамильярность такой Катерины (если удачная хозяйка) ничего общего не имеет с Марининой фамильярностью, вынужденной и, по простоте, неумелой. Марина полагает, что ее живые интересы «не имеют касательства» с непонятными и ненужными ей интересами «господ». А Катерине и вопроса такого на ум никогда не взбредало.

Отсюда, я думаю, идет и своеобразное «целомудрие» Марины, или то, что приятельница моя назвала целомудрием.

А вот, что Марина умнее Катерины — правда. Но «умнее» опять в нашем, русском, смысле, не в здравом жизненном (тут Катерина перед ней орел), а в отвлеченном. У Марины являлись какие-то тени «вопросов» общего порядка, совершенно для нее бесполезных. Марина не задумывалась, не знала, — что она знала? — к далеким «господам» никогда со своими сомнениями не лезла; просто рассуждала сама с собой, вслух, когда кто-нибудь, из своего брата, был тут же.

Так, раз, заглушая стук котлетного ножа по столу, говорила она громко зашедшей соседней кухарке:

— А что, Домнушка... У церкву я хожу... Богу я мо-олюсь... А есятко Бог по-настояшшему — я не знаю...

— Шш-то ты! Шшто ты! — зашипела на нее испуганная Домна. Но не слушая, отбивая дробь ножом, Марина без смущения продолжала:

— По-настояшшему-то есятко Он — знать, я не знаю. А у церкву хожу. И молюся. Ну, а знать по-настояшшему...

Невообразимо, чтобы Катерине или ее Морису (а он очень неглуп) довелось сказать что-либо подобное, или хоть подумать. Может быть, они атеисты? Или равнодушные? Как бы не так! Они оба из семей, где религия в великом почитании. Оба учили катехизис перед первым причастием, и с тех пор не только не забывают храма и месс, но Катерина ходит в Sacre Coeur, заботливо украшает цветами изображение маленькой Терезы (общей здесь любимицы), а Морис шлет невесте разные «Neuvaines» * и постоянно пишет, что опять, в это воскресенье, он горячо молился о даровании им счастья.

Тут, однако, и я, подобно моей приятельнице, глубоко уважаю это все в Катерине и Морисе, утверждаю, радуюсь, глядя на них... обернувшись же вдаль, на бедную Марину, на ее пьяного солдата — Николая — ужасаюсь... Но каким-то образом, каким-то кусочком сердца, Марину понимаю больше...

Впрочем, я не хочу думать об этом. Ужас и боль за таких Марин и Николаев (ведь родных!) заслоняют все. Перед ними не было утоптанной, изведанной дорожки; оттуда, где они были, не вела вверх легкая лесенка. Ее надо было еще строить. Кто знает, не начиналась ли строй-

* «Девятидневные молитвенные обеты» (*фр.*).

ка, когда сверху, через провал, обрушились в темную глубь Марины и Николая и те, которые были наверху...? Но не будем касаться последних времен. Для них еще нет у нас слов, не готовы. О сегодняшнем «там» — молчанье.

Здесь же я прямо глазами вижу лесенку, верную, давнюю, крепкую, по которой взбираются люди, семьи, поколения. Морис бегал без штанов, собирая яблоки, потом учил катехизис, потом делал сидр, потом поехал, посланный отцом, учиться жить и работать, как хочет. Потом — «devoir» (вы думаете, он не знает, что такое «отечество», Франция? Вы думаете, Николай знал, что такое Россия?), и Морис стал капралом. Вчера он читал только забавные романы да газеты, сегодня читает и «Жизнь» Терезы, и «Наполеона»... а почем мы знаем, что будет читать, делать, над чем работать сын Мориса?

Николай спился. Кончив службу, обвенчался с Мариной, и они уехали в деревню.

Я видел Марину несколько лет спустя. Гостил опять у друзей моих, на даче под Лугой, и как-то пошли мы вместе в недалекую деревню, к Марине.

От прежней «пастушки Ватто», с виду как будто и следа не осталось. В избе, кривой, бедность не прикрытая; куча грязных ребятишек. Был и Николай, поседел. Обросший, мутноглазый, без зубов, такой же бессловесный. Детишки от него шарахнулись, едва он показался. Посидел, праздный, вышел. Без него я стал понемножку узнавать Марину, ее говор, ее походку.

— Ну, как живешь, Марина? — неохотно спросил я. Ждал жалоб.

— Да что? — отвечала она, неожиданно бодро. — С детьми только... Дети меня окруживши, к детям я не привыкши... А то чего?

И я совсем узнал Марину, узнал ее своеобразную «гордость» и ее отдаленнейшее, чуждое отношение к нам, «господам». Слишком хорошо знали мы, слышали, какова ее жизнь. Николай смертным боем бил, пьяный, и ее, и ребятишек. А пьян был почесть что всегда. Хозяйство расхищал, — как еще держалось...

Кем стали, если живы, эти — теперь бородатые — Маринины детишки?

* *
*

Мне скажут, вероятно, что и Катерина с Морисом, и Марина с Николаем — отдельные личности, индивидуальные случаи. Да, но кроме того есть в этих парах и что-то иное, позволяющее мне проводить мои параллели, и над ними, порой, задуматься.

СТАРЫЙ КЕРЖЕНЕЦ

I

После первой зимы петербургских Религиозно-Философских Собраний, сблизивших нас с тогдашним духовным миром, у нас явилось желание проехаться в глубь России, побывать за Волгой, в раскольничьих скитах, на Керженце, у «невидимого града Китежа».

Совершить это путешествие, – не зря, конечно, а чтобы хоть что-нибудь увидеть, – вовсе не так было легко для петербургского интеллигента, как с первого взгляда кажется. Первое: без друзей из петербургского духовенства, связанных знакомством, иногда родством, со священниками тех краев, мы не знали бы, как собственно и куда важнее проехать; не знали бы, например, что в далекое Заволжье, за Керженец, к «невидимому граду Китежу» надо поспешать не позже Аграфенина дня, 23 июня. Там, в ночь с 22-го на 23-е, каждый год бывает великое собрание всех староверческих и иных толков. Целую ночь, до рассвета, происходят молебствия и собеседования – на холмах лесистых, по берегу озера Светлояра. Народу собирается тысячи. Ездят и православные миссионеры – священники из Нижнего, из других окрестных городов.

Тогда-то, по старинному преданию, и видят «достойные» таинственный город отраженным в озере, и слышен бывает по воде тихий звон колоколов.

Град Китеж ведь не скрылся под волнами Светлояра, как Атлантида. По древнему поверью, он лишь скрылся от глаз людских, когда подошли к нему полчища татар. Золотоглавые соборы и церкви превратились в холмы. И не город, а лишь отражение города в тихих водах озера могут увидать «достойные»...

Из Петербурга друзья наши написали тем из заволжских батюшек, которые каждогодно бывали на Светлояре. И нас снабдили нужными указаниями как относительно этого путешествия, так и посещения некоторых раскольничьих скитов.

Но было и второе затруднение, несколько иного рода, очень, однако, реальное. Неизвестные люди интеллигентского вида, неизвестно зачем, ни с того ни с сего, едущие куда-то в заволжскую лесную глушь, рисковали всегда не доехать вовремя до цели. Странно вспомнить, но это было так. Некий Л., вздумавший по России прогуляться пешком, чуть не в каждом городе засаживался в участок, хотя паспорт его был в полном порядке. (Впоследствии, он эти свои «Скитания» даже описал.) Он, положим, имел вид студента; но вот, другой интеллигент, пожилой литератор В., решился поехать из Нижнего в Семенов (как раз в тот город, из которого и нам предстоял путь к Керженцу) – **на велосипеде!** Нельзя себе представить, зная свойство и состояние этой до-

роги, как совершил он такой подвиг; но дело не в том, а в негодующем изумлении местных властей, да и жителей, при виде неизвестного путешественника. Он и велосипед были арестованы и выпущены лишь после длительных сношений с Петербургом. А в Семенове и через два года свежа была память об этом необыкновенном посещении.

Для нас такие затруднения смягчались и существованием тех же (разрешенных!) Собраний, да и званием писательским. Но как-никак, маршрут наш всяким «властям» известен был чуть не ранее, чем нам самим, и внимание их выразилось в предупредительности: иногда надоедливой, а иногда и полезной.

1

В Ярославле мы остановились на один день, до вечернего парохода в Нижний: хотелось взглянуть на древние фрески храма Ильи Пророка. Эта знаменитая церковь оказалась только что художественно восстановленной местным богачом, городским головой, С-м, и даже не было еще торжественного ее освящения. Все это объяснил нам настоятель, в распоряжении которого мы немедленно очутились, а через него – и губернатора, почему-то до чрезвычайности любезного.

Это был Штюрмер, звезда которого в то время еще не думала всходить. С известной точки зрения он был любопытен. Высокий, плотный, седоватый, он, кажется, удручен был двумя заботами: казаться человеком необыкновенно культурным, а также, вопреки досадному немецкому происхождению, ревностно-православным.

Вечером мы уже плыли в Нижний, меж лиловыми берегами плоской-плоской реки. С обеих сторон мелькали пятикупольные церкви и церковки, золотые, серебряные и зеленые их маковки.

В Нижнем предстояла хлопотливая задача изыскать средства к дальнейшему путешествию, уже на лошадях, в далекий заволжский городок Семенов. Лишь оттуда лежала, тоже не близкая, и тоже на лошадях, дорога на Керженец, в село Владимирское, в версте от которого находится Светлояр.

Только что мы собирались отправиться по здешним батюшкам, ежегодно ездившим за Волгу, как явился губернаторский чиновник особых поручений (самого губернатора, к счастью, не было в городе) и оказался он – сыном известного писателя Мельникова-Печерского, автора романов «В лесах» и «На горах». Мельников этот, человек очень приятный, жалел только, что не может поехать с нами. Мы долго беседовали о лесных жителях Заволжья и о скитском разорении начала прошлого столетия.

Он же и объяснил нам, где лучше нанять лошадей на завтра – в Семенов.

Пошли мы по гористым, жарким, точно арбузами вымощенным, улицам отыскивать прот. Леонтия. Новенький, светленький домик, солнцем залитый. Недоверчивая, босая баба впустила в комнаты. Деревянные, в солнце, стены, фикусы, рояль в парусинном чехольчике, олеография – премия «Нивы»... Вот и о. Леонтий, в только что выглаженной парусиновой рясе. Молод, высок, несоразмерно тонок, с пышной гривой соломенных волос. Не говорлив, застенчив. В этот год он не собирался ехать на собеседование, а потому повел нас к другому священнику, что всегда ездил, о. Николаю.

Какой бодрый, громогласный, веселый старик, весь седой, с говором на «о», готовый не то что за 200 верст, а на край света ехать в своей проповеднической ярости. И очень, при всем том, добродушен. И к нам тоже отнесся крайне добродушно, без всякого особого интереса. Едут и едут на озеро. Что ж, он каждый год ездит.

– Я завтра утречком, с прохладцей, – вкусно говорил он, упирая на «о». – И сундучок со мной. Без сундучка на озеро не поедешь.

Оказывается, он брал с собой – оружие: громадный сундучище с книгами. Без этого оружия сражаться на озере, со староверами (как мы узнали потом) – нельзя.

На другой день, после полудня, собрались в дорогу и мы. Дознаться, есть ли в Семенове какой-нибудь въезжий двор, нам не удалось. О. Николай въезжал к тамошнему священнику. Надо, вообще сказать, к стыду нашему, что мы как-то не умели ставить нужные вопросы, а потому никто и не давал толковых объяснений. Мы спрашивали, какова дорога; нам говорили: ничего. А потом приходилось только изумляться. Уже тарантас, который нам подали, удивил нас: о, если бы это был тарантас Чичикова! Но нет: громадный, как ковчег, деревянный ящик, без сиденья, ровно наполненный сеном. Мы узнали, тоже потом, что батюшки накладывают в такие тарантасы кучу розовых гигантских подушек. У нас их не было. Двинулись без подушек.

День был светлый, желтый, не жаркий. Переехав на пароме в большое, торговое село Бор и миновав его, мы долго ехали зеленой, холмистой голью. Казалось, конца ей не будет! Лишь после нескольких остановок на почтовых станциях, дорога пошла в лес. Уже темнело. Дорога так широка, что две черные стенки тесного-тесного, частого елового леса, ее обступающего, не кажутся высокими. Почтовый тракт здесь – сплошная старая гать, полусгнившие доски, с непросыхающей водой в провалах. И так на многие версты... Ехать можно только шагом, а верст считалось почти сто: не диво, что подъехали мы к Семенову только на заре, когда небо уже забелело мертвым светом.

Никакого въезжего двора не оказалось в этом «городе», больше похожем на село, да еще средней руки. Оказался, впрочем, трактир, к

которому надстраивали второй этаж. Окна только прорубили, но крыша уж была. В эти недостроенные «горницы» мы и вселились.

2

С утра, не успели мы от дороги опомниться, явился непоколебимо-бодрый о. Николай с местным священником, молодым, приятным, застенчивым, о. Александром. Предлагают везти нас в Чернухинский скит, — рукой подать! Всего десять верст!

— Как? Вчера ехали, завтра на озеро за 50 верст, и сегодня? А дорога?

— А дорога хороша! — уверяет о. Николай. — Маленько похуже, чем сюды. Да мы на долгуше, чуть что и слезем.

Впоследствии, вернувшись с озера в Семенов, мы побывали во многих, более далеких скитах — монастырях староверческих: и в Шарпане, и в мужском Игнатьевском, и знаменитую Комаровскую «стаю» видели, где под «голубцом» лежит известная матушка Манефа, лицо очень интересное. Роман Печерского «В лесах» дает ее почти правдивый образ. Каждый скит, при своих любопытных особенностях, имел и общие черты с другими. Этот первый, который мы видели, маленький, глухой, Чернухинский, — был очень характерен, как-то строен и строг. И я хочу сказать о нем два слова.

Не очень приятно было ехать по гати, а потому чаще мы шли, лесной тропой. Когда лес прервался, мы увидели, среди зеленых полей, что-то вроде крошечной деревушки. Но избы странные: между собой соединенные перемычками («стоя») и — без одного окна на внешнюю сторону: серые бревна стен. Частокол. Вот, как будто ворота. Стучимся. Никого. Толкнули ворота, вошли во двор, чистенький, зеленый. Наконец, стукнуло крылечко.

— Здравствуй, мать! — проговорил о. Николай. — Вот гости петербургские скит хотят поглядеть. Пустишь, что ли? Ты ведь меня знаешь.

Мать Неонила всмотрелась.

— И то знаю. Ты знакомый батюшка. Что ж, пожалуйте.

В сенях лесенка. Мы прошли в большую, светлую келью через другую, такую же светлую, где стояла кровать, вся плотно затянутая полотном.

Везде чистота, доходящая до роскоши. На широких подъемных окнах (они выходили на другую сторону) — фуксии, пол устлан разноцветными половичками, в стеклянном шкафике блестит посуда. В углу громадный киот, под ним, за ситцевой занавесочкой, тяжелые книги.

Скит, монастырь, — в котором, будто, никого, кроме настоятельницы, — такая тишина и безлюдье. Мать Неонила занималась выши-

ванием, – по розовому бархату синелью шила лопасти к лестовкам. Тотчас убрала шитье. В ней ни суетливости, ни смущения, ни приветливости.

– Садись, пожалуйста. Поставить самоварчик?

За Волгой это везде, всегда. И отказываться нельзя. Вмиг принесла самовар, вынула, не торопясь, посуду, сахар и «земляничку», – всегдашнее заволжское лакомство: шершавые красные леденцы. Мать Неонила – женщина лет 45, круглолицая, чернобровая, черты красивые, прямые, серьезные. И в лице, и в поступи – достойная, холодноватая серьезность. Черный сарафан, завязанный подмышками, белые рукава. На голове – круглая, бархатная шапочка, из-под которой на плечи и вдоль щек складками падает черная манатейка.

Пока мы грешили чаем, игуменья пила горячую воду, прикусывая сахар. На вопросы о. Николая о том о сем, – отвечала степенно и немногословно.

– А моленную-та, покажешь? – сказал о. Николай. – Моленная-та у вас больно хороша.

Прошли темноватыми, уже другими, сенями. И здесь чистота, душистая свежесть. Моленная на ключе. В самом деле – как хороша!

Просторная, высокая горница, – точно две вместе, ибо налево выступ и белая колонна. Направо окна. Все стены в образах. Громадные, черные лики, только белки глаз видны. Жемчужные и бисерные ризы. Перед престолом, тут же, без всякого возвышения (амвона) стоящим, накрытым парчой и тонкой кисеей, – свеча желтого воска.

Мы разглядывали образа.

– А вот Никола «Ярое Око», – сказала матушка. – Этого образа ни в одной обители нет. Доподлинно не знаю, а слышала будто он, Никола, в землю ушел, а там его неладно приняли, вот он, батюшка, и разъярился.

Образ очень хорош. Лицо молодое, вполоборота (Николая Чуд. пишут обыкновенно стариком) не грозное, – именно «ярое»: белки глаз, обращенных вбок, сверкают в коричневой мгле.

Мы пробыли в моленной с полчаса. Не хотелось уходить. Отрадны были чистота, свежесть, ароматы, строгое благолепие в соединении с какой-то «домашностью»: церковь – и комната, своя, своей заботливостью устроенная...

Видели мы, в одной из пустующих келеек, еде один старый образ: Христос «со душею» (на руках) – сходит в ад перед воскресением. Сестер нам мать Неонила так и не показала. Нигде не замечалось их присутствия; а было человек около десяти.

Простилась низким поклоном:

– Спаси вас Христос. За посещение благодарю.

II

По настоянию разошедшегося о. Николая, мы заехали еще на возвратном пути в единоверческий монастырь, Медведевский. Но это было уж совсем другое дело. Монастырь — гораздо более похожий на всякий православный монастырь, чем на скит. Да единоверие, за исключением некоторых богослужебных отличий, напевов и т. д. — и есть то же православие. Староверчество же, и отнюдь не скитское только, составляло свой особый мир в православно-народном мире России. Там, по сравнению с последним, была крепость быта и, как ни странно сказать, большая (своеобразная, правда) культурность. Даже чисто-внешним видом староверческая деревня резко отличалась от православной...

Сам о. Николай, в яростном миссионерстве своем специализировавшийся на староверах, не отрицал, что «порядку — порядку у них больше». Скромный семеновский протоирей, о. Александр, который тоже ехал с нами на озеро, староверами как будто не так интересовался. Из разговора выяснилось, что он ездит туда ради «немоляев». Каких немоляев? Объяснения о. Александра не очень были вразумительны. Но в приятном и добром человеке этом особого дара и миссионерской жажды явно не было и, казалось, что на озеро, к «немоляям», он едет для своего удовольствия; о тех же «немоляях» отзывался он со сдержанной приветливостью. Он вообще был прост, скромен, разумен, тих и приветлив.

3

Ранним утром отправляемся, в тарантасе полегче (но тоже без сиденья) на Владимирское, за Керженец, к озеру. Заехали за отцами. У них тарантас еще меньше (какие славные там розовые ситцевые подушки!), лошади побойчее, они едут впереди. На козлах у них сидит доброволец-миссионер Малицкий. Этот невзрачный субъект был сначала агентом т-ва «Зингер», но, разъезжая по уезду, приохотился к миссионерству. И столь теперь усерден, что, по словам о. Николая, скоро надеется быть рукоположенным в священники. Образования не получил, даже уездного училища не кончил; но, как уверяют, никаких тут знаний не требуется, нужны практика, да ревность. А этого у Малицкого довольно. Будет «батюшка»!

День солнечно-мутный, пыльный, с ветром. Дорога унылая: голь, песок, кое-где елочки. Ехали на «сквозных», перепрягали в Шалдеже. Мост через реку Керженец мы все перешли пешком. Керженец... а где же знаменитые «керженские леса»? Пусто направо, пусто налево... Только по берегам эта, все-таки красивая, извилистая, узкая река с каменистым дном, заросла ивняком, лозами, да кустами черемухи.

Мы ехали уже часов семь, когда о. Николай обернулся к нам из своего тарантаса и, показывая рукой вправо, крикнул:

— Вот оно, Озеро-то!

За пустым полем направо, с четверть версты от дороги, точно, — озеро, полускрытое береговыми кустами. Широкий и длинный овал. Такое полное, что с дороги оно казалось выпуклым. Противоположный берег весь в холмах, заросших густым, зеленолиственным лесом, то крутых и высоких, то мягко-пологих.

Проехав озеро вдоль и еще с полверсты, мы завернули влево, на длинную-предлинную улицу села Владимирского.

Отцы устроились у старосты, за занавеской, а мы нашли «квартирку» у благообразной Татьянушки с ее многочисленным семейством: «чистая» горница в просторной избе. Избы в Заволжье «поднятые», т. е. на сваях: внизу темный скотный двор. Тотчас, конечно, самоварчик, «земляника»... Но вот уж отцы зовут к себе, а потом пора и на озеро. О. Николай торопил, беспокоился, прибыл ли сундучище его с книгами.

Двинулись, наконец. Кроме нас четвертых, шел и Малицкий, и еще незнакомый священник какой-то, рябой и молчаливый. О. Николай шагал бодро; ярость, — добродушная, — видимо у него скапливалась.

Надо было пересечь тракт и спуститься на зеленую проселочную дорогу, ведущую по левому, узкому, краю озера к подножью первых заозерных холмов. Лишь когда блеснула вода — открылся крутой подъем наверх. Внизу приютилась тихая ярмарка (всего на один вечер здесь) — продают только свечи, пряники, жамки, деревянные изделия, больше ничего. Ни шума, ни крика, ни грубого возгласа, — а толпа уже порядочная, и все растет. Толпа, с непривычки, странная: ни одного даже похожего на «интеллигента», никого в «городском» платье: сарафаны, сарафаны, поддевки... Сарафаны больше темные, платки «в роспуск» (два угла на спине).

Озеро длиннее, чем казалось. От левого края едва можно рассмотреть противоположный конец. Самые берега — топкие; но у воды, под холмами, вьется кружная тропа, верст на пять. И хоть еще совсем светло — уже замелькали по ней движущиеся огоньки: если этой ночью обойти озеро, со свечей, 10 раз — зачтется, как путешествие на Афон; 20 раз — в Иерусалим.

Медленно поднимаемся на первый холм. С нами только о. Александр, — о. Николай давно исчез. Да вот он! На первом холме что-то вроде часовни, — множество зажженных свечей; а вблизи — деревянное круглое возвышение с перилами. На нем о. Николай, громадный сундук его, и Малицкий в сторонке. Народ задвигался и плотно сомкнулся около решетки. О. Николай не ораторствовал: он явно **спорил** с

лысоватым мужиком, стоявшим впереди, торопливо листая громадную книгу в кожаном переплете. У мужика умное, тонкое и насмешливое лицо. Он ведет настоящий диспут, говорит не сердясь, диалектично, и даже забивает о. Николая, — к удовольствию толпы, — хотя и тот как будто старается рассуждать с дипломатией, без всякой миссионерской ярости. Но мы еще не совсем понимали, что тут, собственно, происходит, так непривычна даже внешняя картина.

На всех холмах, на всех крутых тропах, по лесу, кучки-кучки народа. В прогалине — слепцы с чашками, поют-стонут. В зеленой полутьме — огоньки. На стволах, кое-где, икона на полотенце прикреплена: кучка молящихся со свечами. Поют-жужжат.

А вот, направо, на полянке, стоят кружком, плотно-преплотно. С трудом протискались. Внутри оказался кружок сидящий: старики, с коричневыми лысинами, с высокими посохами. Издалека. Один медленно читает, но книге с застежками.

О. Александр обратился к мужику, видно знакомому:

— Ульян, а Ульян! Скажи-ка ты мне, я забыл, право забыл, как ты насчет второго пришествия...

Внезапно Ульян выхватил из-за пазухи синенькую тетрадку и с яростью закричал: «Слушай!».

О. Александр не ожидал, очевидно, взрыва.

— Я слушаю, Ульян, — кротко ответил он, — а только пойдем лучше наверх, там книги.

— Наверх? Чего наверх? Слушай, сказано! А смеяться нечему! Слушайте, нечестивцы, слово Божие!

Спутник мой догадался, что и его принимают за официального представителя «российской» церкви, и сказал:

— Да я, голубчик, не миссионер вовсе. Я сам ничего не знаю.

Ульян замолк на секунду, как бы недоумевая, потом упрямо крикнул:

— Все одно, слушай и слушай! А ты что — на гору? — обратился он к о. Александру. — Книги-то, вон они и здесь. Ты кто? Ты есть лжепророк, и крест на тебе антихристов!

С той же кротостью о. Александр отвечал:

— Ты погоди обличать, Ульян. Право, погоди. Пройдем лучше на гору...

В толпе было душно, жарко, морило. Мы выбрались и ушли дальше, в лес. Кучки народа все умножались. Мы заметили, что кое-кто следовал за нами, без любопытства, серьезно присматриваясь.

Один, молодой, со сторонки вдруг подошел и сказал таинственно:

— А что, я тебя спросить хотел?

— Что?

– Правда ли, – говорят, у нас, – в Питинбурхе велено совет о вере собрать?..

Мы сначала пытались садиться под деревьями, отдохнуть, но стоило присесть – тотчас собирался народ и теснился ожидательно, с тишиной и вежливостью. Однако разговор никто не начинал. Под одним деревом увидели мы спокойно лежащего о. Александра и обрадовались.

– Кончили с Ульяном, о. Александр? А где же немоляи?

– Да вот они перед вами, – улыбнулся о. Александр, указывая на худого, лысоватого мужика рядом и на небольшую кучку других. – Ты вот скажи, Дмитрий Иваныч, как ты толкуешь «в начале бе Слово?». Я, право, забыл.

Дмитрий Иваныч взглянул на нас недоверчиво. О. Александр известен, кроток и прост, а это что за люди?

Однако разговорился понемногу. Выяснилось, что его «согласие» ничего не признает, кроме духа, принимая Писание иносказательно. Такое «согласие» довольно известно, обычно. Но говорил Дмитрий Иваныч тонко, неглупо, сдержанно. Всю Библию знает наизусть (куда о. Александру!), хотя – неграмотен.

Опять все теснее завивался круг. Темнело. Ярче замелькали огни у воды, – озеро было теперь опоясано двигающейся, сверкающей цепочкой.

Странный лес, странные холмы, странные люди, странный вечер! Как будто иной мир какой-то, иная земля. Пришли тысячи народа, из дальних мест, пешком, только для того, чтобы говорить «о вере». Это для них серьезное, важное, – может быть, самое важное. Как надо верить? Где правда? Как молиться?

Слышно: «лжеученье!». «А преподобный говорит...» Кто-то надрывается: «Сердце-то! Про сердце забыли! Бог любы есть!». «В рассейскую? Нет, слышь, в рассейскую не заманишь!».

И еще одна была странность в этом вечере, на этом месте; такая непривычная из непривычностей, что сразу и понять было трудно: полная «свобода совести», или, как говорит народ, «свобода веры» (что, может быть, точнее). Эта свобода и, сопутствующее ей, равенство ощущались всеми, вплоть до православных священников, представителей «господствующей» церкви. Если бы дело было только в староверах, – понятно, пожалуй; раскол – «заблуждение», но все-таки признанная церковь, худо ли, хорошо ли – дозволенная. Однако мы уже видели, что здесь, на озере, собрались и сектанты, и те, кажется, «толки», о преследовании которых немало говорилось. Мы приблизительно знали, как вели себя посылаемые к ним из Петербурга

духовные и «светские» (без ряс) миссионеры — если, впрочем, удавалось им собрать заведомо «заблудших» для увещания.

Здесь же, на озере, как будто никакой «господствующей» церкви не было: были всякие «веры», между ними православная, каждый о своей свободно говорил, ее проповедовал, и кто кого хотел — того и слушал.

— Пойдем на ту гору, — сказал молодой мужик моему спутнику. — С тобой народ желает поговорить.

Под деревом густая толпа. Мы прошли и сели в середину, к старикам. Рыжеватый, с лысиной, Иван Игнатьич. Подальше — кучей, молодые парни, бабы.

— О чем говорить хотели? — спросил мой спутник.

— Да вот, о вере. Думаем спросить тебя, как полагаешь, где правду-то искать? И какой, слышь, самый-то первый вопрос, самый-то важный?

Мой спутник сказал, что, по его разумению, самое важное — это, чтобы все люди соединились в одну веру, и тогда будет церковь истинная...

— Един Пастыр, едино стадо, это ты верно... А как его сделать-то? — сказал Иван Игнатьич. — Мы ищем, как правильнее. Кабы всем миром сняться искать, так и нашли бы. Только с понятием надо, дело такое...

— Чтобы, значит, с самого начала вникнуть, как оно в Писании сказано, — прибавил другой. — В чистоте взять верное слово, а оттуда уж вперед простираться...

Завязалась беседа, во многих отношениях удивительная. Мы думали сначала, что ни мы их, ни они нас не будут понимать, ведь самый язык у нас разный... Но с полуслова они понимали наш, метафизический, книжный, и переводили на свой, простой. Чем дальше, тем говорить все было легче. На какой-то мой вопрос, по существу, Иван Игнатьич не ответил сразу. Серьезно подумал. Потом, так же серьезно:

— Ну, не имею я мнения. Говори, что знаешь...

Народ все прибывал, теснился, сжимал круг. Ветер стих, темное озеро с движущимся поясом огней, лежало покойное; темное — и светлое, как черный бриллиант. Еще немного, казалось, — и услышим мы, — все мы вместе, — тихие звоны храмов святого града, скользящие по воде. Увидим в зеркале озера вместо черных холмов — отражение золотых глав...

4

Поздно, почернела ночь. Когда мы спускались, наконец, вниз, сопровождаемые полуневидной толпой, подошла красивая, статная баба с ребенком на руках, — сноха Ивана Игнатьича.

— Спасибо вам... В село к нам не поедете ли? Двадцать верст будет от города. Мужа-то моего нету здесь, а уж так о вере говорить любит! Пожалуйте к нам, господа! Поговорите с мужем-то, с Василием Иванычем!

Спутник мой, в темноте, рассуждал громко:

— Какие это «немоляи»! Сами о молитве говорят! Что-то странное!

Чей-то голос из мрака возразил:

— А мы не Дмитрия Иваныча согласия. Мы следующего.

Другой голос:

— Их молоканами тоже зовут.

— Всяко зовут! — продолжал первый. — А все неправильно. Миссионеры зовут...

Простившись, мы не сразу попали домой. Искали о. Николая, потом ждали его, сидя под холмом. Тут снова кое-кто подсел к нам... Едва-едва добрались в темную, как чернила, позднюю ночь до села, вместе с охрипшим от споров о. Николаем. О. Александра не было, еще остался.

Туман стоял в голове, не то от усталости, не то вообще от этой ночи. О. Николай сказал, что утром опять пойдет на озеро, застанет еще кой-кого, а мы решили уезжать рано.

Не пришлось. Едва поднялись, к семи, вошла Татьянушка с самоваром и с известием:

— А вас мужики дожидаются. Давно, часа два дожидаются! Они уж и чайку у нас попили. С озера мужики, много.

Вмиг горница наша наполнилась. Сидели на лавках, на окнах, на полу. Оказался тут и Дмитрий Иваныч, — он сидел со своим «согласием» отдельно, небольшой кучкой, — и Иван Игнатьевич, и целая куча других, известных и неизвестных.

Разговор был любопытнее и обстоятельнее вчерашнего. «Согласие» Ивана Игнатьевича, более здесь широкое, чем мы себе представляли, — не молоканское, не духоборческое (и уж, конечно, не «немоляксксое»): сами они называют себя — «ищущими». Не Бога ищущими, а **церкви:** они не только христиане, но признают все догматы, Писание принимают отнюдь не исключительно духовно, а исторически и реально. Во Христе видят **Богочеловека.** Признают «тайность» и думают, что для спасения нужна Евхаристия. Мы спрашиваем, почему же, если они все это признают, — не идут они в «Российскую» церковь?

Длинно, спокойно, с полным уважением к Российской церкви, Иван Игнатьевич начинает объяснять. Может быть, кое-чего не договаривает, может быть, культурность его, — очень высокая! — так не похожа на нашу, что мы кое-чего не улавливаем, но насколько мы поня-

ли — существующая православная церковь не удовлетворяет их именно как «церковь»; священники не разъясняют им вопросов, которые для них важны, не хотят даже касаться их; не говорят путем, как жить по вере, да и сами не живут; ходи к обедне, да молись, как себе знаешь. У исповеди в посту бывай. Начальство слушай! А прочее — не твоего ума дело, Бог лучше знает.

— Мы так не можем, — говорит Иван Игнатьич. — У Апостола сказано: молись сердцем, молись и умом. То же в пророчестве Иоанновом: должны христианские времена меняться, чтобы, значит, понятие шире входило. А священники — они не заботятся.

Мой спутник, достаточно всем этим изумленный, спросил:

— Но если вы признаете, что без Евхаристии нельзя спастись, то как же быть? Ведь почему-нибудь вы не совершаете ее у себя?

— А мы не осмеливаемся, — произнес Иван Игнатьич и поглядел задумчиво и строго.

Дмитрий Иваныч, сидевший в стороне с «духовными» своими согласниками, в разговор мало вступался, но очень прислушивался. Кажется, упрямый старик. Во всяком случае, не о. Александру разубедить его в рационалистической его «духовности». Но нас интересовало, главным образом, отношение между этими двумя «согласиями». Мы еще не знали, что «передовым» было согласие Ивана Игнатьевича (или, как частно упоминалось, Василия Иваныча, сына его), а чистая «духовность», известное рационалистическое сектантство, была для них преодоленным этапом.

Кончили мы этот разговор, — как бы без конца, потому что все новые и новые вопросы подымались; кончили просто потому, что надо же было ехать назад, в Семенов. Лошади ждали нас уже два часа. Иван Игнатьевич опять настойчиво звал нас побывать у них в селе. Но удастся ли? В Семенове рассчитывали мы еще провести лишь дня два.

III

5

«Отцов» наших увидать пришлось только на следующее утро: оказывается, о. Николай сражался вчера со староверами за полдень, и вернулись они в Семенов поздней ночью. О. Николай совершенно охрип, потерял голос, прощался с нами шепотом, — он уезжал в Нижний. О. Александр был совершенно свеж: вряд ли особенно старался он с «немоляями», давно зная, по опыту, безнадежность своих с ними разговоров и принимая это покорно. Между ними, впрочем, были самые хорошие, добрые отношения. Такой уж человек о. Александр, редко

приятный и скромный. О наших разговорах с немоляями мы сказали вскользь, он и не расспрашивал.

Самоотверженно предложил объездить с нами все, более известные, раскольничьи скиты; и день этот до позднего вечера мы так и провели, почти что все время в лесах, действительно глухих. Привычный о. Александр собирался еще и на другой день нам что-то показывать, но мы, от бесчисленных верст по неописуемым лесным дорогам, от смены впечатлений, так были утомлены, что решили из Семенова хоть день не трогаться. Да и был соблазн, не съездить ли все-таки в село к «ищущим», – Василия Иваныча поглядеть? Трудно...

Утром, едва сели чай пить, входит служитель:

– Там вас, господа, мужик спрашивает. С Озера, говорит.

Вошел – худенький, маленький, невзрачный. Робкий, но, видно, упрямый. Сектантский «декадент». Объяснил, что приехал с самим Василий Иванычем. Хотят «о вере» говорить. Свободно ли нам теперь?

Зная, что сейчас придет о. Александр и еще кое-какие люди, мы попросили, не могут ли они к нам часа в 3 явиться?

«Декадент» согласился. Сам он больше насчет икон, хотя уверяет, что уже не Дмитрия Иванычева духовного согласия.

– Да как вы сюда оба попали? По делу, что ли?

– И не то, что по делу, а так, понудило что-то идти говорить, и понудило. Слышно, ты не миссионер, а сам по себе. На Озере, слышно, с нашими хорошо говорил. И понудило нас. Лошадей Василь Иваныч запрег, да сюды. А я уж с ним.

В третьем часу мы освободились. Заказали самоварчик. Пришли наши «немоляи».

Василий Иваныч – красивый, рыжебородый мужик, лет тридцати, с удивительно умными и веселыми глазами. Статный, здоровый, сильный. Разговор был опять неожиданен и любопытен.

Они сами знают, что их, «ищущих», сбивают в одну кучу с молоканами, духоборами, штундистами.

– Что ты будешь делать? Понятного такого человека не найти. Батюшки – они не вникают, к чему им? Сейчас спросить, ежели приезжий какой, ты молокан? Либо штундист? Начнешь ему изъяснять, а он поспешает: да, да, вижу, молокан, и давай как там для них пишется, чтобы молоканам говорить. Гладко говорит, ничего, однако, для нас неподходяще. Опять же и беседы нет. Он-то, батюшка, заранее себе положил, что я заблудший, а у него вся Божья истина до последней порошинки, нечего и разбираться: хочешь – бери, не хочешь – оставайся заблудшим и превратным. Разговоры длинные бывают, а все они

короткие. Им — ну как вот хоть про «тайность» скажешь? Что, мол, за тайность за скрытая? Мы, мол, уж все знаем и всей полнотой обладаем... А мое такое разуменье: никакой человек не может утвердиться, что он всю истину до кончика постиг. Много постиг, а устремляйся, восходи, и еще постигнешь; а не то, чтоб сапоги скинуть, да успокоиться. Трудно, а иди. По одиночке оно уж очень тяжело. Либо взять духовное согласие. Как пойдешь это все по духовному понимать — и докатишься до точки, всего решиться можно. Однако и духовное соображенье спервоначала много помогает. Вот хоть взять наш народ по деревням, которые православными считаются.

— А что?

— Да что. Вовсе без соображенья живут. Господа миссионеры верными овцами их считают, потому слова они против не говорят, в церковь по праздникам ходят. Благословит их приезжий батюшка, порадуется и уедет. А то вовсе о них не вспомнит, — миссионеры-то, ведь, к нам, а не к ним приезжают. Ну, а мы между народа живем, так и знаем ихнюю-то веру. Иконы, скажем. Икона как бы портрет, ей всяческое уважение, тем пуще, что не человек изображен. А у наших есть ли понятие? Войдет в избу: «Где у вас Бог-то? В какой угол молиться?». Бог-то, мол, не увидит, коли не в тот угол помолюсь. Оттого их, которые духовного согласия, за безбожников считают. Нет икон — Бога нет. Или там бабу какую спроси: сколько Богородиц? Она те и начнет высчитывать, коли усердная к церкви: Смоленская — раз, Казанская — два, Троеручица да Толгская — четыре, и пошла, и пошла, вон, мол, сколько их, ну...

Нам понятно все, что говорит Василий Иваныч, понятна и разница положений, среды. Мы, в Петербурге, боремся с чистым рационализмом, скепсисом, религиозным равнодушием, а они, здешние, — с темным невежеством, стоящим на месте религии. И тем удивительнее, что они не пали окончательно и даже «духовный» рационализм, перейдя через него, победили. Тощий спутник Василия Иваныча робко вставил, было, что-то об Евхаристии, как напоминании, а не претворении, но тотчас вызвал горячую речь о «тайности», об «огне», который должен входить в человека, изменять его, и огонь тот — «чудесный».

— Только чтоб воистину «единомыслием исповемы»; святого Иоанна тоже мы много читаем. Ибо тут мудрость. Нельзя эту книгу откинуть...

Жадно расспрашивал нас Василий Иванович, что думают обо всем этом «образованные» люди, какие есть написанные книжки. Тут отвечать было затруднительно; и какие книги могли бы им посоветовать? Не Толстого же? Да Василий Иваныч и бросил как-то вскользь: «Чита-

ли мы намедни Толстова: не ндравится...». Или рекомендовать им «Миссионерское Обозрение», этот темный ужас варварства?

Василий Иваныч культурный, тонкий человек – в высшем смысле. Читать такое «Обозрение» ему было бы оскорбительно, а Толстого – бесполезно: он ушел внутренно куда-то дальше. Как художник Толстой не пленит его: он от эстетики дальше, чем ребенок. Может быть, – от нашей, литературной и привычной, а его эстетику мы только не понимаем... Самое же изумительное в нем – это была его жизненность. Чувствовалось, что живет он **не** помимо своего главного вопроса и не подделывает жизнь под вопрос, а естественно сливаются они вместе...

Выйдя случайно, во время разговора, в другую комнату, вдруг вижу: незнакомый, грустный мужик всунулся в открытое окно. А этаж, хоть и низкий, второй.

– Ты что?

– А тут о вере говорят. Мне послушать лестно.

– Ты сам из каких?

– Мы-то? Мы плотники... – И прибавил с грустью, тоскливо как-то: – Из православных мы...

Так и остался в окне. А мы продолжали разговор, длившийся часов пять подряд. Уже к вечеру шло дело, когда стали прощаться.

– Пара лошадей у меня здесь, и лошадей забыл, – говорил Василий Иваныч. – Чудо это Божье, барин; ты книги читал, в Питембурхе живешь, мы здесь, а в мыслях вот как сошлись. Пожалуй, будь добр, напиши нам.

Наконец, ушли. Солнце заходило, но ветер, дувший весь день, не лег. В окна угловой нашей горницы видна была пустая базарная площадь с низкими серыми «рядами» вокруг, немощеная, но плотно убитая, как ток. На току стояла одинокая белая лошадь без всякой упряжи, даже без уздечки, и ветер развевал ее жидкий хвост. Больше никого не было, и ничего. Глухой город, унылая земля! Казалось, тут ли быть живым душам? А между тем, тут нам с ними и довелось встретиться...

6

Обратный путь из Заволжья, с многочисленными остановками, был тоже, в некоторых отношениях, примечательным. Могила чтимого староверами святого Софронтия, куда надо было пробираться одним по самой глухой и сырой лесной тропе, потом Нижний, – там мы опять встретили Мельникова и ходили с ним по подземельям Печерского монастыря. Из Нижнего, попрощавшись с о. Николаем, который

с Озера все еще хрипел и обстоятельно рассказывал нам, что народ знает, какой иконе Богородицы от какой болести молиться, мы двинулись опять за Ярославль.

Торжественное освящение храма Ильи Пророка, завтрак в растреллиевских покоях Сандулеева, люди, там присутствовавшие, во главе с престарелым архиепископом, в особенности же день, проведенный в Ростове Великом, – все это имело для нас глубокий интерес. Но и в древних храмах Ростова, с единственной, кажется, в мире стенной живописью неизъяснимой красоты, мы думали о Заволжье, о мире, скрытом в лесах, о недавних разговорах... Весь Ростов – это прошлое, но какое прекрасное! Не удивительна ли постоянная **крылатость** святых изображений? Крылатые Иоанны, а в одном из храмов, над престолом, даже розовокрылая Богоматерь.

Верным хранителем ростовских памятников, создателем ростовского музея, был тогда тамошний меценат Титов, человек тонкий, культурный, пламенно преданный своему делу. С какой любовью показывал он нам «свой» город, – один из самых прекрасных городов старой России!

Это далекое прошлое все-таки, непостижимым образом, связывалось как-то с нашими заволжанами, которые, по их же словам, «в будущее простирались»; лишь к настоящему они точно не имели никакого отношения, и мы даже не пытались никому о них рассказывать.

IV

Путешествию нашему суждено было закончиться такой яркой картиной «настоящего», тоже святой, может быть, и волнующей, что на последнем дне пребывания в Ярославле я хочу остановиться.

Накануне вечером, когда мы вернулись из Ростова, Штюрмер, любезнейший (к нам, по крайней мере) из губернаторов, сказал:

– Не хотите ли видеть о. Иоанна? Он прибывает нынче из Костромы, на своем пароходе, часам к 9; проследует прямо ко мне.

Кому неизвестно было в те годы имя о. Иоанна Кронштадтского? Но далеко не все, кто и желал, видели его. Признаться, в линии тогдашних наших интересов он не лежал, встречи с ним мы никогда не искали; и не особенно огорчились, что в тот вечер у губернатора так его и не дождались: пароход пришел только в 2 часа ночи, о. Иоанн на пароходе и ночевал. Напрасно всю полицию на ноги поставили, напрасно и полицмейстерская тройка продежурила у подъезда, готовая скакать на пристань...

Но Штюрмеру очень хотелось, должно быть, показать нам своего высокого гостя, и утром он прислал за нами лошадей, – в церковь Св. Духа, «там о. Иоанн служит. Кончит в 11».

День ясный, безветренный, не очень жаркий. У церкви Св. Духа – ограда с зеленой поляной и высокими деревьями. Сбоку, у ограды, на улице – толпа. Толпа невероятная – море народа. Множество изнемогающих, бессильных полицейских. Не знаю, как удалось им провести нас в церковь. Шло причастие детей.

– Видите о. Иоанна? – тихо сказал Штюрмер. – Теперь детей, а то больших причащал. Студенты были!

Дети плакали и смеялись. Лицо у о. Иоанна – розовое, издали молодое, деловитое. Движения быстрые.

Обедня кончалась. Мы вышли со Штюрмером и еще с кем-то, через боковые двери внутрь ограды, на зеленую поляну. За решеткой волновалось море голов. Полиция, как могла, удерживала толпу, тихо и властно ломившуюся в ограду. Кое-кто уже проломился.

Мы ждали. Сейчас выйдет о. Иоанн. Он поедет с губернатором сначала в приют, потом к старичку – духовскому священнику. Мы – за ними.

Ждали недолго. Вышел веселый старичок с розовым лицом и гладкими, желтоватыми волосами. Ряса бархатная, алая, – чудесная; на груди, мешаясь с крестами, звезды орденов.

У всего народа в эту минуту, на эту минуту, стала – не одна душа, я думаю – но одно **устремление** душ в общую точку; тянунье, вытягивание душ к этой точке. Чрезвычайно непонятное, но бесспорное явленье.

И ничего в этом не было противного, а трогательное, захватывающее равенство, сила – **и** беспомощность. А он, гладенький, голубоглазый, грубоватый и быстрый старичок, точно и на себя это не брал, – никакой важности и самодовольства. Невинность и привычливость.

Как будто и толпа, и он знали (без сознания, конечно), что важен не он, сам, а Кто-то другой, к Кому – кажется им – можно дотянуться сквозь него. Бархатный старичок – самый прозрачный и проницаемый, и все одной волной, с ревом, устремляются в этот просвет.

Почему именно он самый проницаемый? И на чем это видно? Пытаться определить, понять, – можно; решить – вряд ли! Одинаковость ощущения всей толпы – лучшее доказательство, что, **для нее,** это так.

О. Иоанн шел быстро, оглядываясь по сторонам. Вдруг, через голову какой-то монашки, протянул мне руку с веселым «здравствуйте!», точно старого знакомого встретил. Удивляюсь немного, но отвечаю на приветствие.

Стены народа, пробравшегося за ограду, грозно сдвигались. Кто-то подходил, подбегал, подкатывался, с невнятными звуками порывался вперед... Женщина, не баба и не дама, вся сероватая, точно пенка толпы в ней воплотилась, со стоном устремления вдруг дернулась вниз, на ко-

2 Зак 4570

лени. О. Иоанн грубовато-ласково оттолкнул ее за шею. Мы двигались к воротам, а народ так и приливал, и заливал гладковолосого старичка, — точно вода, крутясь и урча, устремлялась в одно узкое отверстие.

У духовского священника везде, — на лестнице, в «зальце», в крошечной гостиной, — стены народа. В гостиной у печки — вино, закуски. Рядом диван, на который и сел, за овальный стол, о. Иоанн. С ним сел Штюрмер, мы — напротив. Кресло по левую руку от о. Иоанна занималось попеременно различными людьми.

— Ягодки, ягодки! — обрадовался о. Иоанн, увидев пять тарелок с викторией, клубникой и морошкой. — Вот хорошо в летний день! Я и чай забуду с ними!

Древнюю старуху на кресле сменил бравый генерал. Церковь задумал строить, сам сборщиком.

— Церковь? Что ж, я денег пожертвую...

Вышел с ним, пожертвовал, вернулся. Опять сидим. Штюрмер попытался, было, навести разговор (для нас) на Толстого, на религиозное движение в Петербурге — напрасно! О. Иоанну это не нужно. И, чувствуется, войди он в это, начни рассуждать, размышлять, судить или писать об этом, он изменит себе, утратит свое сияние, слова его будут с общими всем ошибками и промахами, быть может, еще худшими, чем у многих. А так — он весь светится, и грубо, и блистающе, своими земляничками, пурпуром рясы, голубыми, как небеса утром, глазами.

А люди все подходили, сменялись на заветном кресле. Громадного купца с бледным лицом оттеснила старушенция в наколке. «Батюшка, — лепечет, — батюшка. Женщина одна. Нельзя ли, чтобы прозрела? Давно больна...». О. Иоанн туг на ухо, половины не слышит. Наконец, спросил: «Как имя?».

— Екатерина. Чтоб прозрела, батюшка, нельзя ли.

Молчит. Помолчала и старушка, и вдруг новое:

— Батюшка! Дай ты мне две ягодки из ручек твоих. Из твоих ручек!

О. Иоанн будто не слышит. Потом вдруг сгреб из тарелки целую горсть виктории и сунул через стол. Старуха вся дрогнула, двумя руками принимая ягоды: «Батюшка! Как нектар буду хранить!».

Еще подходили, письма передавали, шептали, плакали, рассказывали, умоляли... Наконец, о. Иоанн весело сказал губернатору:

— Время-то нам дорого, А. А.! Нам ведь еще к Сандулееву...

— Не закусили ничего, о. Иоанн! — упрашивали хозяева. — Вот закусочка приготовлена.

— Закусочка? Ну, что ж, я вот мадерцы разве. Мадерца-то есть?

Опять с веселостью. Ему точно стихийно нужна и эта вечно устремленная к нему толпа, и мадерца, и губернатор, — для какого-то легкого опьянения. Ровен ко всем: никакого отличия и, может быть, никакого **внимания** к человеку.

Нам было пора. О. Иоанн, все забыв и точно очнувшись на мгновение, стал вглядываться в нас и в двух других людей, его и губернатора сопровождавших, как в незнакомых. Потом улыбнулся, сказал что-то приветливое, махнув рукой. Все у него безотчетно. И как хорошо, что он никого не замечает, не знает сложных недоумений, болей и вопросов, которые мучают нас, — и далеких «согласников» за Волгой. Блажен о. Иоанн, пока он светел и прост, как просты те дети, идущие к нему со своим страданием. «Если не обратитесь и не будете, как дети...» — это не для них сказано: они не могут «обратиться», они и так дети, — **еще** дети...

Снова властная, единосильная толпа. Поспешая к выходу, мы натолкнулись в темных сенях на старушенцию с «нектаром». Она завизжала, думая, что кто-то посягает на ее сокровище. На крыльце неудержимая волна, точно волна слез, опять тихо накрыла о. Иоанна. Чуть мелькает его гладкая, желтая головка, пурпуровый рукав... Народ кинулся за коляской. Самое главное, — просвет их, — исчезал. Надо было за ним, к нему, — безразумно!

Может быть, и **«это»** — то же самое? То, что людям нужно, и будет, вероятно, нужно всегда. Только всегда ли «безразумно»?

Через час мы были на вокзале и уехали в Петербург.

Из далекого Заволжья долго получали мы серые пакеты с кривыми строчками: «...и кланяемся мы вам и вся наша братия... И еще хотели мы вас спросить об Откровении святого Иоанна, о такой-то главе, потому что мы недоразумеваем. А Малицкий теперь батюшкой в селе Пролаз. И одержал он письма ваши, что вы нам прислали, не отдавал месяца с полтора. А будете письма писать, то пишите заказными. И просим вас, извините, что письмо это написано грубо... Ожидаем вас, не приедете ли еще для разговору, что мы все вперед простираемся...».

Потекли годы, годы, один страшнее другого. Что сталось с ними, с этими русскими людьми? Что там — в самой глубокой глубине России?..

ПОЕЗДКА АНДРЕЯ

...Я чувствую себя угнетенным, больным. Я не могу победить себя... Я хотел бы отдать остаток моей жизни на служение Богу. Но Бог не хочет меня. Или не хочет направить меня на тот путь, по которому я хочу идти...

...Совсем не надо менять внешние условия жизни, чтобы следовать учению Христа... Если каждый в отдельности станет лучше и выше, тогда и общая жизнь станет лучше для всех...

Лев Толстой. Дневник

...Это был уже не прежний Андрей, тонкий, как верба, высокий и бледный московский студент, приезжавший по летам на родной хутор Вишняки. Теперь это был целый Андрей Николаевич, пополневший, немного отяжелевший, давно (вечность! казалось ему) женатый на милой соседке Кате, отец четверых славных ребят. Но странно: настоящей «солидности» в нем, хозяйственном помещике, бывшем члене контрольной палаты и видном земском деятеле, — как-то не замечалось. Он был моложав той молодостью, которую дает постоянное внутреннее неопределенное беспокойство, неуверенность; может быть, тихая мука.

Припадки необъяснимой тоски бывали с ним и в юности: он помнит, как, студентом, ранней весной, уходил он вдруг из вишняковского дома, от семейных, от невесты, и днями бродил где-то один; ни о чем словно не думал, только глядел, как теплый воздух дрожит и струится меж полуголыми ветвями, да из-под коричневых, прелых листьев поднимаются робко белые цветы.

Когда теперь находила на него эта тоска, он злился: «Что мне нужно? Чего мне недостает и всегда недоставало? Катя у меня хорошая, детки здоровые, все мне удавалось... Так нет: место бросил, земские дела тоже забросил, хозяйство больше Катя ведет... Что у меня за характер ничтожный!». Он помнит, что в юности (да нечего помнить, и теперь то же самое!) два короткие, детски простые, вопроса не отступали от него в часы тоски. Первый: как жить? Второй: как любить? Измучившись, он отвечал себе, с сердцем: «Ну, не знаю ничего, ну, не узнаю никогда, сколько бы еще книг ни прочитал. Да ведь и никто ничего не знает и никогда не узнает!».

Однако от приступов тоски и от нелепой муки таких, в сущности, праздных и старых вопросов Андрей отделаться не мог. Они заставля-

ли его бросаться в разные стороны, толкали то к книгам, то в Петербург, к «новым» людям, то к народу. И отовсюду он молчаливо и неутоленно возвращался к семье, к милой, деловитой, ничего не подозревающей Кате. Да и что ей было подозревать? Отличный, добрый, нежный муж, она его любит, холит, называет «красавец мой». Она бы и не поняла ничего, начни он с ней разговаривать. Подумала бы, что болен. И он предпочитал уезжать.

Вот и нынешней весной опять уехал. Сказал, что в Москву, а сам поехал в Ясную Поляну, ко Льву Толстому. Вышло как-то внезапно; без рассуждений решил. Ему вспомнились, и потом каждый день все припоминались, слова Левина: «Для того, чтобы жить, я должен знать, откуда я и зачем я здесь. А так как я этого не знаю, и никогда не узнаю, – следовательно, жить нельзя».

Андрею казалось, что это не Левин говорил (и ведь когда! в первый год счастливейшего брака!), а сам Толстой. Говорил искренно, думал именно так; а вот живет до сих пор. Значит, узнал о жизни... знает, как жить, как любить. Андрей верил Толстому. Не словам его, в последнее время написанным, верил (в них он часто находил смуту, – для себя), но как на учителя на него надеялся: он может что-то **сказать,** что ему, Андрею, нужно.

Впрочем, и это в душе не было ясно. Но надо же что-нибудь делать, искать, спрашивать... Жить как-нибудь.

Был май. Но в прозрачном воздухе – острый холодок, и даже светло-желтое солнце кажется холодным. Андрей, едва взяв в Москве билет до Щекина и войдя в вагон, стал мучиться неловкостью, стыдом, страхом. Ну, пусть ездят к великому писателю все, и он всех принимает. Пусть ездят из любопытства, из благоговения, пусть им не стыдно. Но он, Андрей, едет за важным делом, которое сразу не скажешь... и ему страшно. Приехал неведомый человек, взглядов учителя даже не разделяющий, однако приехал, как к учителю, с наивным и бездонным вопросом: как жить? Да его, от простоты, и высказать нельзя! Нелепость. Стыд.

Рядом в купе ехали новобрачные: плосколицый молодой чиновник и его маленькая бледногубая подруга. Оба казались скучающими. Андрей с унынием глядел на них. Потом зашел в ресторан. Там два инженера громко, как на сцене, говорили сначала о семейных делах, затем, потише, о каких-то других, денежных... и опять было скучно.

На станцию Андрей приехал уже в пятом часу. Набежала тучка, брызнул холодноватый, но все же майский, дождик, и весной запахли первые листья акаций в станционном садике. Извозчик в Ясную нашелся. Холодно, ветрено, но дождь перешел, бледное солнце смотрит

на бледные поля, и взвизгивают над ними, быстро носясь, веселые жаворонки.

Деревня. Грязная, бедная. Избы крыты соломой. В конце деревенской улицы две широкие белые колонны, въезд в усадьбу (какой знакомый, по фотографиям!). Длинная аллея. Мокрое, лоснящееся солнце на дороге, меж стволами деревьев...

Андрей уже не рассуждал: покорился последовательности своих действий. Что-то говорил, бормотал какие-то извинения, называл себя: все это было нужно и ненужно, и все обошлось, как будто очень просто.

В длинном зале с шестью окнами, по три на каждом узком конце, сели обедать. Было много народу, мужчины и дамы разных возрастов, «все своя семья», сказала графиня, усаживаясь во главе стола. Андрей смотрел, стараясь угадать, кто, какой сын Толстого. Но, главное, смотрел на графиню: какая она вся быстрая, веселая, говорливая... точно молодая. Да она и моложава, волосы темные, только черты лица как будто отяжелели.

Но Льва Николаевича не было, и Андрей мучился ожиданием. Вздрогнул, когда отворилась дверь в глубине, налево. Вошел слегка согнутый, небольшой старичок, в длинной, примятой, серой блузе с поясом. Шаркая мягкими сапогами, направился к своему месту: оно оказалось против Андрея.

За столом было шумно. Но Андрей не слушал разговоров о холодной погоде, не замечал ни ряда бутылок на столе, ни жареного поросенка, — все глядел на того, кого видел прямо перед собою: ему лакей подавал отдельное кушанье, в аппетитных судочках, и он ел по-старчески внимательно. С первого мгновенья этот старичок раздвоился в душе Андрея: живой человек, а в то же время не просто человек, а Толстой. Было как-то несоединимо, и вовсе не потому, что старичок не походил на Толстого: напротив, очень походил, и лоб, и брови, нависающие над глубоко запавшими глазами, только разве борода пожиже и представительности той нет, как на портретах. А не соединялись они для Андрея просто потому, что Толстого он знал давно, с детства, этого же старичка видел в первый раз.

К концу обеда в столовую торопливо вошла женщина в черном коленкоровом платье, в платочке, с темным иконописным лицом: «Здравствуйте, здравствуйте! У меня дело ко Льву Николаичу!». Толстой заторопился, извинился; ушли куда-то вниз.

— Это Марья Ивановна, — пояснила графиня Андрею. — Последовательница Льва Николаевича. Московская дама, теперь совсем опростилась, в избе живет, за семь верст. Хлопотунья, вот и теперь пешком прибежала. Просить за кого-нибудь.

Светлыми сумерками Андрей гулял с графиней по яснополянскому парку. Она с веселой деловитостью рассказывала что-то о семье, об имении, показывала лесок, который сама садила. «Совсем моя Катя! – невольно подумалось Андрею. – И так же скоро бегает!». Над толстыми липами блестел юный месяц, было сыро, пахло черемухой. Вернулись кругом, через амбары и службы. «А когда же я скажу? – думал Андрей. – Ведь я завтра рано утром уеду...».

Перед чаем сидели в том же зале, но в углу, за круглым столом, под лампой с широким белым абажуром. Не все; несколько дам с рукодельем, графиня за «broderie anglaise» *, Лев Николаевич тут же, в кресле у стены, разговаривал с каким-то рослым, угрюмым господином в коричневой куртке. Новый посетитель был, вероятно, литератор, или журналист, потому что Толстой говорил о литературе. Мягким, однообразным, уставшим голосом (не раз, должно быть, приходилось повторять то же) говорил он о современных писателях, о Ницше, потом о Бальмонте, Сологубе... Кому они могут нравиться? Ницше просто ловкий немецкий фельетонист. Ведь есть Шопенгауэр... Стихи он, Толстой, никогда не любил, но есть, все-таки, Виктор Гюго...

Андрей, мало литературой интересовавшийся, почти не слушал; но вдруг почувствовал какую-то тревогу. А, это графиня. Почему она то и дело прерывает мужа краткими, будто про себя, замечаниями, и все напротив? «А я не так думаю....». «А мне это нравится...» Спора не выходило, Толстой останавливался на мгновение, потом, не отвечая, продолжал, тем же мягким голосом, свою речь. Незаметно перешел на совсем другое, – на молитву. Андрею стало казаться, что он читает статью Толстого, сильную, изумительную, но давно знакомую. И все его внимание заняла Софья Андреевна: ее реплики, более частые, сделались почти страстными. Когда Толстой подчеркнул, что в молитве ни о чем нельзя «просить», что молитва человека, смертью обреченного на исчезновение, к «вечному Богу» может быть только «благодарностью», – Софья Андреевна порывисто проговорила: «Нет, нет! А я верю, что можно просить! А если кто и умер, он все-таки жив!». Тотчас обернулась к сидевшей рядом пожилой даме и что-то скоро-скоро стала ей говорить, но так тихо, что Андрей уловил только слова: «...если бы Ваничка...».

Андрей, конечно, знал о семье Толстого то, что знали все. Знал, что «Ваничка» – младший сын Толстых, не так давно, ребенком, умерший (даже удивило тогда Андрея, что у Толстого еще был маленький сын). Как все, знал он, что Софья Андреевна не последовала за Толстым по новому его пути, а просто осталась, как и была, в православии. Но

* английская вышивка (*фр.*).

того, что почувствовал Андрей здесь, среди них, — он не знал. Впрочем, он и теперь не совсем понимал, откуда, отчего эта тревожность в воздухе. Неужели оттого, что Софья Андреевна верит в церковного Бога, а Лев Николаевич в своего Бога-Добро? Ведь она его «Кити», мать его детей, любящая и любимая... не кем-нибудь, а Толстым любимая, человеком, который знает, как любить, если знает, — узнал, — как жить...

Перешли к чайному столу, пили чай; семейные не все явились; приходили, перекидывались кое-какими словами, уходили. С краю стола, около Толстого, сидели только Андрей и литератор в рыжей куртке. Сам неговорливый, он сумел опять завязать разговор, и уже окончательно на религиозные темы. Софья Андреевна, с обычной своей порывистостью, встала, ушла и не вернулась. Какие-то домашние еще оставались за столом; сидели вдалеке и привычно молчали.

Чисто религиозных вопросов Андрей, вообще, избегал. Чувствовал, что не справится, только больше запутается. Нет, пусть это лучше в сторонке... Толстовского Бога-Добра он не боялся. Но зато Он и не обещал ему ничего. Теперь Андрей прислушивался к словам Толстого с надеждой отнюдь не на его Бога, а на него самого. Что **он** знает?

Вот — опять о «я», о том, что смерть уничтожает всякую личность. Так по «здравому смыслу». «А, здравый смысл!», — думает Андрей. Он давно знает, что по здравому смыслу так, и ему неинтересно: ведь тот же здравый смысл утверждает, что ровно ничего, с ним одним, ни знать, ни утверждать нельзя.

Лев Николаевич опять сидел против Андрея. И опять Андрей, с двоящимися чувствами, глядел на знакомое-знакомое лицо, на глаза под хмурыми бровями и слушал его голос. И он кажется Андрею, этот голос, уже не таким устало-однообразным, а теплее, человечнее.

Толстой говорит о жизни. О том, что начал было историю жизни писать, но непосильно это человеку. Столько ужасного, гадкого, тяжелого, злого, — как говорить об этом? Да, вот, если б описать, но с полной правдой, хоть один только день его теперешней жизни...

Теперешней? Как, это он говорит? Человек, который сказал, что нельзя жить, ничего о жизни не зная, и остался жить, и, значит, узнал, как жить? Уж не потому ли с такой горечью говорит он о жизни, что она так же ему непонятна, противна, тяжела, страшна, как всякому его — неустроенная?

Андрей всматривался, всматривался в серьезное, такое человечное лицо — и оно становилось ему все ближе, все роднее. И вдруг, перебив литератора, спросил Толстого, — не о том, с чем ехал, и не как властного «учителя», — а просто спросил близкого человека о нем самом, о его живом отношении к Богу. Оно у него есть, но хотелось еще услы-

шать, обрадоваться, не за себя, а за человека, ставшего навсегда родным.

И навсегда запомнились Андрею слова: «Ничего не знаю, знаю только, что в последнюю минуту скажу Ему: вот я; в руки Твои предаю дух мой. И пусть сделает Он со мной, что захочет. Сохранит, уничтожит, восстановит меня, — это Он знает, а не я...».

С чувством радостной и мирной печали ехал Андрей из Ясной Поляны. Он так и не спросил «учителя», о чем хотел спросить. Но учителя не было. Был живой человек, который всю жизнь искал, и нашел, и узнал что-то; но знает он это для себя одного. Великое, может быть, знание, но только для одного себя, для себя самого. Андрей увозил с собою горячую любовь к Толстому-человеку. Да, он близкий, он несчастный, он, может быть, еще несчастнее Андрея: «знать» только для себя одного — тяжелее, чем не знать ни для кого, не знать вовсе.

Его не надо спрашивать. Его надо только любить.

КАК ЕМУ ПОВЕЗЛО

Рассказ

Не сразу вышло, конечно, не вдруг; но был он терпелив, малодумен, никогда на судьбу не жаловался, — брал, какая посылалась. И, с течением времен, и многие из здешних, из своих, даже поумнее его, стали ему завидовать.

Судьба его, с самого начала, была обыкновенная. Взяли из дому, из села Пролазы, повезли далеко, в город, подучили наспех грамоте, ружью, — и на фронт: в окопах лежать, с немцем воевать.

Дома было у Никиты хозяйство, жена молодая, сынишка уж по хате ползал. Да что будешь делать, велят воевать, значит воюй. О немцах, о Вильгельме, товарищи кругом много болтали, да Никита не разбирался: туг был на размышление, ленив, правду сказать.

Писем из дому не получал, — какие там писаки! Вот кончится это все, кончится война, тогда... он не додумывал, и так было понятно, что потом, когда кончится.

Но война еще не кончилась, а Никиту из окопов вдруг взяли, и с прочими опять в город повезли. Стало слышно, будто составят новый отряд и пошлют за море, «французу помогать».

— Отборных молодцов у нашей державы он требует, — пояснял ихний запевала Федосьев, бойкий парень. — Чтобы подмога им, значит, французам, от нас была.

— Какие это? — спросил Никита.

Федосьев даже удивился.

— Видали дурня? И откуда ты такой взялся, деревня серая! Союзники это, союзные державы. Тебя, гляди, возьмут, ишь видный какой, рослый. Эх, мне бы попасть, посмотрел бы я на французов на этих, какие они есть.

Но Федосьев в отряд не попал, а Иванчука, действительно, зачислили, хотя французами он ничуть не интересовался. Впрочем, он не жаловался: определили — значит, так надо.

Потом все пошло что-то уж очень скоро, одно за другим, все разное, но одинаково Никите не понятное. Не говоря уж, что и путь за море, и люди там, и земля, даже окопы, — все было сразу другое, не похожее, — но и в отряде, меж своих, поднялись неслыханные толки, а вскоре и дела: банты красные понацепляли, галдят, домой будто собираются. Через небольшое время и того пуще: наши, говорят, с немцем замирились, не желаем и мы больше воевать! И пошла форменная ерунда, как вдруг бац! сами французы с немцем замирились, потому что немцы наутек, и война кончилась.

У них ликованье, а наш отряд, хватились, половины уж нет. Может, и переправили кого, а кто самосильно скрылся, — неизвестно. Другим, однако, объявили: отправят восвояси, по желанию, опять воевать: с немцем замирились, да теперь с большевиками пошла война.

Никита сначала подумал, было, что какой-то еще новый народ, большеголовый, показался. Потом другие растолковали кое-как, видит — совсем неладное. Воевать ему ни с кем, однако, больше не желалось; но пока он думал, куда теперь податься, что оно все означает, — судьба сама решила дело: остался ни при чем, от других отбившись, один-одинехонек.

В городе Париже, куда-то его свели, русский незнакомый тут вертелся, через него спрашивали, почему в Россию не поехал. Никита вспомнил, что опять воевать и сказал: «Не хочу». И подумал, как прежде: «Вот кончится война, тогда...».

Еще спрашивали, потом дали бумагу и отпустили.

Так он и остался. Сначала город ихний все соображенье ему спутал: эка людищей! и все какие-то... Потом ничего. Своих нашел. Не из отряда, а так, своих. Много чудного рассказывали. Никита слушал-слушал и пришел, главное, к такому понятию: надо, пока что, работу искать, нечего проклажаться. А то кончится война, кончится ерунда вся здешняя, ему — из нее и выбраться не с чем.

Работы он не боялся; а работы — как не найти такому молодцу! Сперва взялся за тяжелую, — шутя исполнял; потом видит, другие есть, прибыльнее, хитрости же особенной не требуется. Смышлен был на работу, ко всякой машине сразу сноровку находил, точно нюхом. И

глаз имел хороший. Автомобили ихние скоро стали ему — пустое дело. И через немного времени приспособился он таксомоторщиком; был доволен, чего еще искать, езди.

Знавшие Никиту, из своих, — дивились: как это он экзамен прошел, улицы запомнил и выговорил? Ведь он, дуралей, о сю пору здешнего разговора не знает, а в грамоте и в своей плох. Никита заверял, что чего надо — знает, и хитрости нет запомнить. Почему нет — объяснить, однако, не мог. Правда же была в том, что, не считая здешний язык за язык, запоминал он слова и названия вроде, как винтики в машине, — только не глазом, а слухом, — и куда нужно, прикладывал. Глазом же запоминал их написанными. Так и запомнил слова, касавшиеся машины, езды и денег; другие ему были ни к чему, — не интересовался.

С таксомоторщиками, со своими, компанию водил, но не близкую. Раза два–три только в русском трактирчике погулял, а то был не пьющий. Да и деньги берег: всякий лишний франк в «кассу» стал таскать, когда ему про кассу объяснили.

Завелись у него постоянные клиенты; он уж знал, например, что черноватенького, толстого барина повезет он в глухую улочку Отейля, во вторник, и так уж пригонял, чтоб этого барина захватить. В улочке долго ждать приходилось, иной раз не обедавши; но Никита не роптал и лишнего не настукивал, так что и барин был им доволен.

Вот раз, дожидался так Никита черноватенького, и вздумалось ему промять ноги, походить по тротуару, у машины. Холодно. Был еще день, но от сквористого, тонкого, острого тумана как бы завечерело. Фонари кое-где даже зажглись, — на фонарях туман стал виден: точно сквозь кисейку огонь просвечивает.

В нижнем окошке, рядом с чугунной, узорчатой дверью, тоже засветилась лампочка. Потом дверь приотворилась, и на порог вышла небольшого роста женщина, рыжеволосая, в вязаной кофточке.

— Мсье, — позвала негромко, — мсье...

Никита огляделся, — кругом никого. Значит, его зовет. «Консьержка, швейцариха, — подумал. — И чего такое? Кажись, никому машина не мешает».

Подошел. Женщина скоро-скоро, как все оне здесь, затрещала. Видимо, не бранилась, но о чем-то просила. Никита, конечно, не понял, покачал головой. Догадавшись, женщина пуще застрекотала, но уж помогая себе руками, тыча пальцем то на дверь, то на свое окно. Никите стало представляться, что она зовет его в свою швейцарову комнату, там ждать.

— А ну барин выйдет? — сказал Никита и заглянул на лестницу.

Швейцариха тоже поглядела вверх, замотала головой: долго, мол; нечего опасаться.

— Ну, веди, коли так, спасибо, — проговорил Никита и шагнул за дверь.

В комнате женщина усадила его на кресла и захлопотала, не прерывая, однако, трескотни. Если б Никита понимал ее, то узнал бы, что женщина давно его заметила, давно хотела пригласить, скучно ведь дожидаться господина, что сидит теперь у дамы из пятого направо...

Но Никита, не понимая, и не слушал, оглядывал комнату. Комната была большая, хорошая, на полу ковер, стол круглый, кресла, шкафы, ширмочка. Подальше занавес во всю стену. Тепло. Светло.

«А мягко это бабье у них живет!» — подумал Никита. На столе, между тем, явилась бутылка вина, печенье, стаканы на высоких ножках.

— Спасибо, — сказал опять Никита.

— Рюсс, мсье рюсс? — обрадовалась швейцариха, уловив откуда-то залетевшее к ней слово. И растеклась: она так и знала, что он «бойар рюсс», потому что такие высокие и красивые бывают только они, а их теперь много здесь, — убежали от «большевик».

Насчет бояр Никита не понял, насчет красоты своей тоже. Но понял, что она хочет знать, кто он. Ткнув себя пальцем в грудь, произнес:

— Солдат русск. — Припомнив еще одно понятное им слово, прибавил: — Казак русск, — хотя казаком не был.

Женщине еще больше, кажется, понравилось, что он не «бояр», а казак и солдат. Опять всячески помогая себе жестами, она рассказывала, что ее муж тоже был солдатом, убитый «pour la patrie» *, что осталась она восемнадцатилетней вдовой, но ведет себя строго, — все родные знают, как она живет: в одиночестве и в «travail» **.

Никита кое-что уразумел: про мужа-солдата и про то, что она не балованная какая-нибудь. Главное же, понял, что он ей приглянулся.

«А ничего себе бабенка, — думал, рассматривая еще свежее лицо и белозубый трескучий рот. — Рыжа, а то ничего, во всех статьях баба, будто и настоящая».

— Я Иванчук, Никита Михайлов, — сказал он, тыча себя в грудь. — А тебя как? Ном...? — и чуть не прибавил: деля рю, — привык.

— Madame Raimonde, — блестя глазами, ответила швейцариха.

«Скажи пожалуйста, Раймода, — удивился Никита. — Да еще мадам». Улица Мадам была, а Раймоды не было. Но ему понравилось новое название. Усмехнулся.

* «за родину» (*фр.*).

** «работа» (*фр.*).

— Ну, будем, значит, знакомы, Раймода ты эдакая. А меня как? Я?
Она забыла.

— Иванчук Никита, — вразумительно произнес он. — Да ладно, куда тебе, говори просто Ни-кита, и буде.

— Qui-ta — лепетала Раймонда, — Quita. C'est beau...*

— Эх вы, народец тоже! Кита! И язык-то по-христиански не ворочается. Да наплевать, зови, как тебе дано, хоть Китом, хоть Акулой, хоть Титом, хоть Микулой. Не вековать с тобой, зря что ты баба ласковая, ладная; ничего баба.

Хлопнула дверь на лестнице. Насторожились. Раймонда закивала: да, мол, с пятого. Никита сунул ей руку, а когда она что-то скоро-скоро и горячо ему шептала, догадался: опять чтоб к ней, если с черноватым приедет.

* * *

Так и вышло, так и пошло: черноватый к даме с пятого, Никита к Раймонде. Угощала кофеем, а то, коли загостится черноватый, она и котлетку Никите изжарит, у них это скоро.

Конечно, по-прежнему не выходило между ними разговору: да и на что его? Нужно будет — поймется. Вот начала Раймонда о машине, своя ли у него, и что своя выгоднее, только сразу надо капитал затратить, — Никита все понял. И про «кассу» понял: Раймонда тоже туда деньги носит. Хотел было, сказать, что у самого деньги там имеются, да не успел, притом же чего о них, деньги это особые, денег этих, пока что, и вовсе как бы нет. Вот, кончится все, тогда...

И уж очень Раймонда частила, просто веретено, и с понятного на непонятное прыгала. Сейчас про машину и про кассу — а сейчас шепчет что-то, словно шуршит, и глаз с него не сводит.

Шуршала этак раз, шуршала, сама вся красная, Никита подумал: «Что ж!», да и облапил ее. Охнула, — крепко, должно быть, не рассчитал, — но ничего. Разомлела, голову рыжеватую на плечо ему кладет и глаза закрывает.

Однако чуть до дела — фу ты! угрем извилась, морду царапает, — вывернулась, отскочила. Глаза круглые, и ну причитать. Как горохом засыпала. Ругается — пусть бы, а эдак царапаться, вертеться, — нет, шалишь!

— Да пропади ты пропадом, зверюка рыжая! — рассердился Никита. — Кофеев твоих не видали? Креслов этих? Нужна ты мне очень. Ноги моей больше не увидишь, в глотку тебе начхать!

* Конечно. Хорошо... (*фр.*).

Фуражку со стола — к машине. Куда тут: на пороге поймала, не пускает, ревет, — небось, поняла! Мемкает чего-то, мемкает, и ту-ту-ту, и мараж, мараж...

А дверь вверху уж хлопает. Эта же все за рукав, ясное дело — прощенья просит, кается.

— Ишь, кошка блудливая, — сказал Никита, смилостивившись. — Ладно уж. Там видно будет. Но да если, да ты, опять царапаться... Пошла теперь, черноватый лезет.

* *
*

В пятницу, на следующий раз, вышло и того хуже.

Ссадив черноватого, Никита сразу в швейцарскую не пошел, а сделал еще потихоньку большой круг по соседним улицам. Пусть чувствует. Когда же, не торопясь, вернулся и толкнул Раймондину стеклянную дверь, увидал там, на кресле, рядом с Раймондой, худящую старуху в черной шляпке и с длинным желтым зубом.

Привыкнув, по шоферскому положению, к вежливости, Никита раскланялся (лишний раз кивнуть не отвалится голова, а клиент это любит от шофера). Поклонился, кстати, и старухе, но подумал: «Что еще за ведьма тут взялась?». Раймонда хлопотала, угощала, трещала. Никите указывала на тетку, будто он понимал, тетке на Никиту. Вскоре затрещала и тетка.

Надоело Никите. Видит, толку не будет, — ах ты, змеюка хитрая! и встал, с досадой, прощаться.

Опять Раймонда за ним, да мememe, да мраж, мраж... Но Никита уж слушать не стал, — провались ты совсем! — сразу в машину, да на край улицы и отъехал. Как барин выйдет — оттуда подаст.

К вечеру совсем раскипелось сердце у Никиты. Ясное дело, к подлянке этой, кикиморе рыжей, он больше ни ногой. Ме-ме, да ту-ту, ни к чему это валанданье. Они думают, никто ихнюю фальшь не понимает. Люди, тоже! Мокреть болотная, и всего. А глядишь, ковры себе порастлала, занавески кисейные, в печку воды напустила, греется. Пожалуйте, а сама сейчас к морде. Не на таковского наехала. Санс интерди!

Так он беспокоился и куражился, невесть будто с чего; не догадывался: хоть и заявил он Раймонде, что в кофеях ее не нуждается, мягкая-то жизнь уж глаза ему разбаловала. Недаром нет-нет и представится: хорошо бы, с работы, вечером, вот в этакую комнатку приехать, не в нору под крышей, где он ютится. Приехать, пожевать чего в тепле, да и на боковую...

Представлялось, правда, смутно, а представлялось...

Но сегодня в голове все Раймонда эта, и досада на нее кипит. Как справился, пошел даже в знакомый трактирчик, где свои собираются.

Давно туда не заглядывал. А что ж, посидеть, да выпить, может, оно и разобьет мысли.

Свои, конечно, были, только отдельно, в углу, в карты играли. Никита устроился за столиком, заказал графинчик обыкновенной, закуску приличную. И уже не одну рюмку выглушил, когда явился Михеич, Ермоленко по прозванию. Увидал Никиту, подсел. Приятелями, все-таки, были.

Ермоленко тоже ездил, но машина у него плохая, а сам лядащий, — незадачливый. И с чего бы, смышленый такой, по-здешнему научился как сорока стрекотать. Одно: душу имел уж очень добрую, сейчас все готов отдать. Или советом помочь. Любил и выпить, когда приятели угощали. Они не отказывали, хоть и считали его, за доброту, вроде блаженненького.

— Хорошее дело, — сказал Ермоленко, увидав на Никитином столе угощенье. — Спроси-ка еще, да рыбки солененькой, с рыбкой оно приятней. Давно не видать тебя, я даже соскучился. Погулять вздумал?

— Да так, — пробурчал Никита. Он был уж на взводе и замрачнел.

Но Ермоленко хоть кого разговорит. К тому же Никита, сам о том не помышляя, для разговору-то, может, и потянулся в трактиришко, и вина спросил. Долго ли, коротко ли, и уж завел Никита, заплел что-то о «Раймонде», о черноватом, о кассе, о мягкой жизни, о тетке... И как ему «эта» морду царапала, да ревела... Вдруг хватал кулаком по столу, ругался, — ни с того будто ни с сего. Кто бы со стороны ни послушал это Никитово плетенье, — только рукой бы махнул, да прочь пошел. Но Ермоленко, видно, понимал, слушал с интересом, головой сочувственно покачивал.

— Так. Ну а што она, говоришь, потом-то мемекала?

— Да неш она по-настоящему? Бес их лысый разберет, чего они турчат. Ту-ту, да мраж, мраж. Погань эдакая...

— Буде тебе. Погоди маленько. Ты мне скажи, как нумеро-то ейный?

— Нумеро уит, — сказал Никита, уже сдавшим голосом, и зашмыгал носом. — Уит, рю Турвель, сезием. Эдакая гадина, и ведьму посадила!

— Обожди, говорю, ругаться. И мрьяж тебе, значит, высказывала? Ну, дело это, как я смекаю, выследить надо. Сам говоришь, баба она вроде как видная. И с капитальцем. А в тебя, конечно, втюрившись. Моя догадка такая, что женить она тебя хочет.

Никита давно отрезвел и глаза выпучил.

— Же-енить? Да что она, сука... Небось, я венчанный. Ты меня, смотри, Михеич, не дури.

— Я же и не дурю, а ты возьми в толк, разве у них по-настоящему? В участок сходят, — и здравствуйте, готово дело. Тут все, брат, фальшь,

не взаправду, сам понимаешь. Венцы, кто венчан, да этого не касаются, при тебе и остаются. А пока что — может, счастье это тебе привалило. Живи, пока что, в свое удовольствие: здесь, если баба втюрившись, уж она тебе предоставит, да.

Никита все глядел на Ермоленку, и лоб нахмурил, с усилием, видно, соображая.

— Вот только бумажка, — продолжал Михеич, — в бумажке, в карте, у тебя прописано? Коль прописано... Да постой. Ты где венчан-то, помнишь?

— В нашей, у Введенья, в Пролазе-селе, — ответил тотчас Никита, — как отчитал.

— А в год в какой?

Тут Никита затруднился.

— Да вот... Как война эта первая зачалась... уж Ванюшка по избе ползал. Вот, значит...

— Тээк. Ну, коль и прописано, — пустое выходит дело, в минуту можно обернуть. Я тебя, дуралей, обдумаю. Мне вчуже жаль; такую штуку вдруг, по дурости, мимо носа пропустишь. Сейчас ты пить брось, дай уж я за тебя допью. Спать иди, а завтра вечерком загляни сюда. Я тебя обдумаю. Спасибо скажешь. Поцелуемся, пока что, на радостных ожиданиях. Вот так, вот и хорошо, да.

* * *

Никита о жизни своей в Пролазах, о хозяйстве, о Любке с Ванюшкой, не то чтобы думал, вспоминал ее, нет: он попросту носил ее в себе непрестанно: она ведь жизнь эта, одна и есть настоящая. Другое, что потом вокруг завертелось, мимо него мелькать стало, все оно так: пока. А настоящее затаилось, ждет, пока что не кончилось. Вот, кончится, — тогда...

Не додумывал, да и нужды не было. Само показывало, что — тогда.

Значит, пока что терпеть. Терпение же Бог Никите послал большое, не обидел.

А тут — Михеич-приятель позаботился, добрая душа: и обдумал его, и устроил. С Раймондой столковался: все как раз по его догадке вышло. Потом ходили с Никитой куда-то в карте запись менять. Порядочно было хлопот, а переменили. Потом они трое, да тетка Раймондина, да дяди, да еще с ними какие-то всякие, пошли в участок, в мэрию ихнюю, а оттуда завтракать в гостиницу. И стал Никита жить в швейцарской комнате с Раймондой, спать с ней на широкой кровати за занавесью.

Раймонда не обманула: купили они Никите машину собственную, хорошую. Выручки больше, конечно. Своих денег Никита не тронул; и

что привезет – сразу отделит: это я в кассу. Раймонда – ничего. Сама была порядливая; свои доходы тоже имела. Да и Никиту слушалась. Попробовала бы она! Случилось раз, – не по его будто вышло, – поднялся он, сжал кулаки, она так и осела; с той поры чуть что – она с лаской, ну и угомонит.

Опять мелькают дни, вертятся, – глядь, и дитя запищало в Никитиной швейцарской. Как-то полюбопытствовал, присмотрелся: «дите». Будто в люльке, да не в люльке, в береге ихней лежит. Нет, не настоящее «дите».

Говорят, будто и крестить его носили, и крестины справляли, – Никита на работе был. Да какие крестины! Ребенку вон не имя нарекли, а три целых, и все, по Никитову разумению, не людские: Жизель – Тереза – Вероника. А Раймонда и тетки еще четвертым его называли, прямо по-бараньему: бэ-бэ. Но Никита подумал: «Не настоящее дите, так что!» – и уж не заботился.

На крестины не попал – и то ладно. Не любил он, когда соберутся они вместе, дядья, да золовки, да тетки Раймондины, угощаются, трещат. Очень не любил; томило его. А Раймонда любила. Не часто, а в какой-то день пригласит, хлопочет, радуется; и его зовет непременно сидеть, нельзя же, мол, родные, праздник. А Никита знал, что и праздники ихние не настоящие. Свои, большие, – Рождество ли, Введение, Троицу, либо Пасху, – Никита твердо помнил. На бумажке записывал, когда какой. Эти же снимутся вдруг: Паск, Паск! а Пасхи и нет, зря празднуют; да и празднуют не по-людски. В настоящий праздник Никита пока что хоть в церковь, в свою, приодевшись, сходит, службу отстоит. А им горя мало, им буден – день.

Дни меж тем все крутились, уж дитя подросло и сразу на колесной дощечке по тротуару забегало. Мать ему: «Жи-жи!», а оно как начнет трещать, как начнет, – не плоше самой Раймонды либо теток. Никиту звало «ппа». Никита погладил его по головке, по банту, – и ничего.

Трескотне не научился, не слушал ее никогда. В чем надо – Раймонду понимал, и она его. Да где-то перехватила она еще два–три словечка, подметив, что одни – мужу нравятся, другие – годны успокаивать его. Впрочем, знали некоторые и по значению, – «viruchka», например, «obed», «spat».

Так вертелись дни в благополучии, многим из Никитиных приятелей на зависть: вот повезло дуралею саженному! Таким чурбанам и везет!

Но хоть вертелось все одинаково, – перемена какая-то была. Сказывалась. Терпение Бог Никите послал большое; да ведь и толстое рядно истирается. И все чаще нападала теперь на Никиту скука. То

будто ничего, и неделя, и две; а потом вдруг схватит — ну, хоть народ на гвоздях дави! Не давил, конечно.

В трактиришко опять заглядывать стал: не пить, отвык он, и не тянуло на вино, — а поспрошать у своих: скоро ль кончится? Трактиришко другой уж: прогорел тот будто. Приметил Никита, что и свои — другие какие-то, из прежних мало, невесть куда подевались. Когда кончится — не отвечали путем, ерунду болтали. Пока что, говорят, неизвестно.

Сны Никита стал видеть. И все такие явственные: подъезжает он будто с сеном, сено привез. А на крылечко Вань выполз, и к ступенькам уж норовит, — прыткий, шельмец! А Люба из хаты, за ним будто: «Куда, куда, повалишься!».

Никита, во сне, иной раз даже в голос: «Люба!». А Раймонда уж знает, что слово это хорошее, приветливое, и начнет ему, шепотком, как-нибудь непонятно, поласковее: ни-ми, ми-ни... Он не прочухается, опять заснет.

Особенно же тошны сделались Никите ихние пированья, праздничные ихние. Зимний Никола едва прошел, а они уж затрусились: показывает Раймонда, нынче у нас родные, ревельон, Рождество, значит. И просит-молит, вертайся ты пораньше, того-этого я наготовила, родные, нельзя же!

По прежним годам Никита знал эти ревильоны с тетками-тантами, и угощенье знал: устриц наковыряют, шипучка сладкая, жареный петух... Всегда ему устрицы поганы были, а нынче — не смотрели бы глазыньки. Рождество нашли!

Буркнул что-то, не обещал, уехал. День выдался сперва задачливый, суета везде, клиент — один за другим; но к вечеру вышло неладно: испортилось в машине, да так, что дай Богу без риску до гаража доехать.

Судьба, видно; пошел из гаража домой.

Там уж все лампочки горят, стол раскинут, устрицы черные из соломы горой, и тетки, и золовки, и женихи чьи-то, и дядья и Жижишка тут же, салфеткой обвязана, голубой бант в волосенках. Трескотня, конечно.

Никиту сразу засосало. Усадили его на край стола, рядом с главной, первой теткой. Раймонда в их сторону лепечет: «Мари... мари...», а кому говорит — неизвестно, танте ли, Никите ли: давно уж он приметил, что тетка эта называется «Мари», но Раймонда и его, Никиту, теткиным именем зовет. Вот до чего долопотались!

Пошло веселье. Слизи этой, устров ихних, Никита, понятно, не ел, но чуть хлопнула первая пробка, сразу цельный стакан шипучки опорожнил. Дрянная, да уж очень душе было тошно, и чем дале, все тош-

ней. Другой стакан налил, и третий. Думал, не легче ли станет: куда тебе! так и подсасывает. А кругом пуще веселятся, на местах сидя кружатся, дядя щеки надул, как в барабан в них бьет, детеныш заливается, тетка зуб свой оскалила.

Вино ли, с непривычки, тоска ли, а только таращил Никита глаза на гостей, таращил, — и стало ему показываться, что совсем они вертунами заходили; словно непрощенные, немытики окаянные — то пухнут, то опадают; шея у тетки в гусиную тянется, женихи зубами лязкают, рты до ушей, а девчонка на стуле тестом расползлась, только ее и было.

Никита помигал, — и опять ничего; сидят, как прежде, грохочут, кривляются, а ничего. Померещилось? Ну и померещилось; нет какие же это, коли от них такое мерещится? Смуняки, Рождество... Нарочно они?...

— Да будет ли конец тому? — вдруг заревел он, сам того не ожидая, вскочил во весь свой рост и так хлопнул кулаком по столу, что все зазвенело, два стакана упали и разбились.

— Вон! — орал он. — Сгинь, пропади вы, нечистые, пропадом! Убью — сокрушу — башки раскрою! Прропадом прропади!

Бутылкой, за горлышко схваченной, чертил круг около себя, наступая на кого-то, — но это оказалась груда пустых раковин, которая с треском обрушилась на пол. За собственным ревом он не слышал ни визга женщин, кучей шарахнувшихся к дверям, ни детского плача! Не видел, что за тетками выскользнули из комнаты и дядья с женихами: может, были они и не робкого десятка, и скандалы выкидывали, но огромный человек этот, с грохотом непонятных слов, весь непонятный сам, — захватил их и страхом непонятным.

Уж пуста была комната, а Никита все ревел свои не то угрозы, не то заклинанья. Кто-то прицепился, было, к рукаву, — смахнул прочь, стряхнул, далеко отлетело, простонало, ахнуло...

Никита оборвал крик. Огляделся. Еще легкий синеватый дым от папирос стоял в комнате, на мокрой скатерти валялись разбитые бутылки. Никого не было. Совсем никого.

Опустившись на стул, Никита закрыл голову руками и заплакал. Долго плакал, склонясь к мокрой скатерти, всхлипывая, твердя тихие какие-то слова, — сам не знал, какие, но точно душу ими хотел из себя вымотать: и не выматывалась душа.

Чьи-то руки тихо обняли его сзади за шею.

— Ничего... Покашто... Потом... хорошо.

— Люба моя, Люба, — шептал, не оборачиваясь, Никита. — Пока что... да ведь роса очи выест.... — Ничего... Спать, спать... Ни-ми-мини... Потом... Люба.

Шатаясь от слез и боли, Никита покорно поднялся, покорно, как ребенок, дал увести себя в дальний угол, за занавеску, разделся, лег.

И прошло. Без беды прошло – на этот раз. Великую силу терпения и надежды послал Бог Никите. Хоть истирается и толстое рядно, – может, не изотрутся Никитины силы до конца. Какого конца? А это уж неизвестно. Никому не дано знать, – что, чем и когда кончится.

ЧУДЕСА

1

– Правда, что твоя мама сумасшедшая? – спросила Анна.

Леша медленно повернул к ней коричневые глаза с немного воспаленными белками. Проговорил без интереса:

– Не знаю. Почему?

– Потому тебя дядя и увез к бабушке. От бабушки на лето к нам, а к маме уж не повезет.

Анна сняла парусиновую сандалию, деловито постучала ею о садовую скамейку, чтобы вытряхнуть камешки, и снова обула тонкую, как палочка, голую ногу. Смуглые руки были у нее такие же тонкие, а длинная шейка, на которой сидела выстриженная шариком черная голова, – совсем точно стебелек. Никто не сказал бы, что Анне скоро четырнадцать лет. Разве приглядевшись, по выражению лица. Такое было оно подчас серьезное и важное.

– Я все знаю, – продолжала она. – Говорят, что мама делает дяде невозможные сцены. Например, всю ночь кричит на него, в истерике, а если он не отвечает – даже за нос его дергает. До болезни его довела. Умер бы, если бы не уехал.

Помолчала, скривив презрительно губы, и прибавила:

– Это ужасно, эти истерички. Достоевщина какая-то. И ты бы окончательно свихнулся в этой атмосфере. Хорошо, что тебя к бабушке увезли.

– Я люблю у бабушки, – вдруг оживился мальчик, слушавший Анну до сих пор безучастно. Он был гораздо моложе, щуплый, с цыплячьими лапками. Совсем детское, курносое лицо выглядело как-то странно: не то задумчиво, не то глуповато.

Качались деревья. Под зеленой горкой блестел, сквозь тополя, длинный пруд.

– Я знаю, как у бабушки, – сказала опять Анна. – Бабушка ведь прежде с нами жила. Да теперь я ее давно не видала. Все так складывается плохо, – прибавила она рассеянно, по-взрослому, точно про

себя. — Тут я заболела, тут выдумали заграницу эту, на целых два месяца. Ничего интересного, дома хоть книги есть. И дачу люблю.

— У нас в соборе мощи скоро откроются, — сказал Леша. — Бабушка говорила, теперь они под спудом, а потом откроются. Чудеса будут. Мы с бабушкой каждый Божий день в собор ходим. Только иногда к Иоанну Предтече. Там хорошо поют. Там «Птичку» знаешь?

— Какую птичку?

— Отче Наш такой, так называется. А еще есть Бортнянский; я Херувимскую знаю.

— Это что ты вчера наигрывал?

— Да, и другое...

Леша всякую свободную минутку подсаживался к дачному пианино и, нерешительно нащупывая клавиши маленькими, цепкими пальцами, извлекал удивительно верные, стройные звуки. И голосок у него был верный, чистый. При всем сознании своего превосходства, Анна тут Леше немного завидовала: была менее музыкальна.

— Ну, пойдем вниз, — сказала она, вставая. — Хочешь, покатаю на лодке? Не боишься?

— Нет, покатай.

— А ты умеешь грести?

— Нет.

— А плавать умеешь?

Мальчик покачал головой.

— Вот и я не умею. Мне давно купаться не позволяют. Вредно. Зато гребу хорошо, увидишь. Давай, побежим.

Схватились за руки и помчались к пруду, вниз, как самые настоящие дети, — оба. Живя постоянно между взрослыми, Анна привыкла и на себя смотреть, как на взрослую; ведь и книги она давно читала, какие хотела, с учителями рассуждала, как равная. Конечно, новоявленный двоюродный брат, смешной и глупенький, мог ее лишь забавлять...

Но вдруг вся важная взрослость точно слетала с Анны; вот и сейчас: бегут, смеются, одинаково ни о чем не думая, кроме веселого своего бега!

2

Как оно вышло, кто это сначала придумал, — неизвестно. Само вышло. Анна спросила Лешу, когда он раз сидел за пианино, подбирая всякие «гласы», знает ли он богослужение: «Потому что ты наверное батюшкой будешь».

Леша, конечно, знал. Ничего другого не знал, а это — назубок. Тогда и выдумалась пустая дача за акациями, куда можно было влезать в

окно и совершать служения. «Тебе практиковаться нужно? – спрашивала Анна. – А я буду помогать. И так хорошо можно устроить».

В имении, где жили, была церковь, – в конце липовой аллеи, тут же. Но служил батюшка только по воскресеньям. И певчих не было. Анна же говорила Леше:

– Разве ты не читал бабушке, что нужна постоянная молитва. Постоянно молитесь и всегда радуйтесь. Может быть, вернее тебе даже не батюшкой сделаться, а монахом.

– Нет, монахи все святые.

– Ну, так что ж. Да святость, главное, от веры. Если ты имеешь веру...

Леша, оживившись, залепетал:

– Да, да, хоть с самое горчичное зерно, тогда все можешь... Сама бабушка говорила... Если молиться...

Анна усмехнулась.

– Ну, что там бабушка. Ты свою веру испытуй, старайся.

Так учредились в пустой даче моления. Анна в службах была не тверда, но скоро, с помощью книжки гимназической, подучилась, и дело пошло гладко. Леша, когда нужно, действовал за троих и читал, и возглашал, а уж пел-то он – прямо за целый хор.

Вскоре же начались и чудеса. Начались так: за чайным столом сидели дети вдвоем, только еще Эмма Федоровна, а мама уехала в город. Принесли кипящий самовар. Эмма Федоровна заварила чай и поставила чайник на самовар.

Анна обернулась к Леше и шепнула:

– Если иметь веру, так и мощей не нужно, и так будут чудеса. Ты имеешь веру.

– Я не знаю какую... – растерялся Леша. – Может, еще не с горчичное...

– А ты испробуй, попытай... Сильно сосредоточься сначала, потом посмотри... хоть на чайник. И скажи: истинно говорю тебе, чайник, двинься.

Леша крепко-крепко сжал рот, зажмурился на секунду, потом повел глазами вверх, остановил их на чайнике и тихо, но явственно произнес нужные слова. Произнес – и побледнел: крышка чайника шевельнулась и стала потихоньку подпрыгивать.

Леша после этого случая не возгордился; он знал, что веру всегда и потерять можно. Что делать, чтобы не потерять? Посоветовался с Анной. Ну, да. Кроме постоянной молитвы, еще постоянное помышление о грехах. Усиленно стал искать их, опять с Анной советовался, думал и наизусть твердил, чтобы не забыть малейшего: теперь помышление, а

через неделю Успенский пост, все на духу, кстати, скажет. Бабушку не послушался. Черносливом объелся. В соборе, за «оглашении изыдите» — чихнул громко. Ну и еще другое такое, многое. А кроме помышления и покаяния, — что? Вспомнил еще — «не заботьтесь»... Положим, и так не заботился, Бог сам сделает, если захочет.

На узком плоту, мостике, далеко вдававшемся в неширокий, но очень глубокий пруд под горой, Леша полюбил сидеть часами, ловить рыбу. Самые святые ведь были рыбаки. У него, однако, рыба не поймалась ни одна до сих пор. Попросту рассуждая, трудно ей было поймать-ся: удочку Леша сам соорудил, — на палку привязал тонкую бечевку, а на бечевку — шпильку Эммы Федоровны: вот и крючок. Приманки не было никакой. Зачем же. Если с верой, рыба и так поймается. А забота — уж нехорошо.

Но рыба не ловилась. Ее, может быть, и вовсе не было в пруде. Это, впрочем, значения иметь не могло.

— А вели ей теперь ты, — сказал Леша. — Вместе ведь молились.

В Анниной вере он также мало сомневался, как и в своей.

— Главное, не надо впадать в уныние, — сказала Анна. — Уныние большой грех.

Леша знал, что грех.

— Вот видишь. Надо терпеть до конца. Хоть сто дней сидеть и надеяться. Или так: укрепи удочку, когда домой надо, а потом будем приходить и смотреть, словилась ли.

— Хорошо, — с готовностью согласился Леша и тотчас стал привязывать палку к перилам мостика. — Мы вечером... А до того будем еще сегодня молиться в даче.

Анна покачала головой.

— Нельзя. У нас огарков больше нет. Как же без свечек?

— Без свечек нельзя молебна, — испугался Леша и чуть не впал в уныние. Растерянно поглядел на Анну. Она сидела на узких перилах, качая длинными, тонкими ногами. Вдруг спрыгнула.

— Ну, пойдем. Все равно, сейчас обедать позовут. Ты все-таки неразумный. Надо прозревать.

Леша поплелся за ней, по крутой тенистой аллее, к дому. У самого цветника Анна остановилась, обернулась. Но смотрела на него молча.

— А, может, есть свечки, Анна? — сказал он робко.

— Ты же сам помнишь, догорели последние. Нету.

— А, может... если с верой... так окажутся. Ничего, что догорели.

И просиял весь надеждой.

— Ну... это с чем пойдешь. Ты пойди туда после обеда, чуть смеркнется, один. А я потом приду.

3

Еще было светло, когда кончили обедать. Леша сбежал со ступенек балкона, подпрыгнул, было, – и сам испугался: разве так можно? Не торопясь, надо, приготовление души надо, – сама Анна говорила.

Исполняя должное, он мерным шагом направился – не туда, к пустой даче, а в противоположную сторону. В липовую аллею, что вела к церкви.

В узкой ограде никого. Тихо. Леша взошел на паперть, остановился перед глухо запертой дверью, крестясь и стараясь помышлять о грехах. Под сводом паперти уже темнело, и большого образа над дверью рассмотреть было нельзя; но Леша видел его раньше, каждый день видал и знал, что он – непрерывное чудо. Анна показала: если справа зайти, – на нем Бог Отец. Слева – Иисус Христос. А глядеть прямо – на нем же один Дух Святой, голубь, и никого больше.

Леша вглядывался, крестясь, и как будто разглядел в темноте широкие крылья. Еще покрестился и сошел со ступеней. Липы стояли уже черные, между ними зеленело небо. Пора. Стараясь не торопиться, все тем же мерным шагом, Леша направился через парк, в обход, к заветной даче, заросшей акациями. Завидев ее, не удержался, побежал.

Влез в маленькое, припертое снаружи, окно. Там, в белой комнатке, все было на своих местах. На стене образки, – бумажные, правда, но хорошие; на гвоздике, сбоку, – «одеяния»: Аннин белый капот, тальма для Леши.

А на четырехугольном столике посередине, покрытом старой ковровой скатертью и маминой кружевной салфеткой, стояло в ряд целых семь больших стеариновых огарков. Целых семь. И около – даже спички.

Леша не удивился. Если бы удивился – значит, не верил бы. А он с верой шел, что явятся.

Когда зашуршали кусты, и в то же окно влезла Анна, все огарки уже были зажжены. Позолота на образках так и сияла.

Отпели молебен, даже два, один за другим. Разоблачились, Леша растроганным шепотом сказал:

– Теперь идти?

– Куда? – позабыв, рассеянно спросила Анна. Уж очень хорошо они молебствовали, и Леша так пел хорошо.

Но спохватилась:

– На мостик.

– Ну да же. Там поймалась. Посмотреть, что поймалось.

– Нет, Леша, погоди, – зашептала Анна. – Раньше надо так: я и ты, мы оба должны еще в уединении молча побдеть. Лучше всего на коленях. Ты побди здесь, потуши свечки, и один. В молчании. Пони-

маешь. А я внизу, под акациями. Когда довольно – я тебе постучу в окно, и мы побежим.

– Хорошо, – сейчас же согласился Леша и двумя пальцами стал тушить стеариновые огарки. Он знал, что ночное бдение – очень важно.

Анна легко спрыгнула в кусты, в теплую, почти жаркую, темную ночь, и приперла окно. От звезд, впрочем, в комнате совсем темно не было; привыкнув, Леша уже различал пятно стола и синеватый оконный четырехугольник.

Сначала Леша стоял на коленях, но потом как-то незаметно сел на пятки и замер. Он не очень хорошо знал, о чем надо думать при ночном бдении; а потому вышло, что совсем перестал думать, просто сидел, не двигаясь и не замечая времени. Но вот стукнуло окошко, и Анна прерывистым шепотом позвала:

– Скорее вылезай! Пора!

К пруду они побежали кружной левой дорожкой. Она не тенистая, на ней светлее. Леша два раза споткнулся, так скоро мчалась вниз, таща его за руку, запыхавшаяся Анна (будто не вниз, а на гору только что взбежала).

Вот и берег. По берегу надо к мостику уже без дорожки. Но совсем светло здесь, и пруд светлый: должно быть, луна, еще невидная, подымается. На узком мостике они точно на прудовой середине: со всех сторон вода.

– Отцепляй! Палку, палку сначала от перил отвяжи! Потом тащи.

Леша отвязал палку. Что-то темное взметнулось в воздухе на конце мокрой веревки и шлепнулось о доски плота.

– Я знал, я знал, – взвизгнул Леша, задыхаясь и присел на корточки рассмотреть, что такое поймалось.

– Рак! – в восхищении произнес он. – Не рыба, целый рак! Правда, Анна? И уж не живой.

– Ну и лучше, что не живой, – сказала Анна, быстро сцепив рака со шпильки. – А то подумай, убивать, жалко было бы.

– И какой красивый, – продолжал Леша, рассматривая рака в посветлевшем воздухе.

Рак был красный.

– Я знал, что не могло не пойматься. Сегодня – он, значит завтра, или потом, и рыба!

– Постой, а ты не подумал, куда мы его? – сказала Анна. – Ведь он чудесный, значит священный, значит есть его нельзя. Это мы простых нынче ели. Я тебе вот что предлагаю...

– Что?

— Зароем его около жасминной беседки, в углу; а сверху камень положим побольше. Потом на камне надпись даже сделать можно, мы придумаем, хочешь?

Так и решили. Понесли рака бережно к беседке, ямку Леша вырыл палкой хорошую; а камень, какой нужно, будто нарочно рядом лежал. Луна выплыла из-за елок, и все вокруг стало серебряное.

У Леши глаза блестели. Радовался, к Анне приставал:

— Ты рада ведь? Рада? Значит, горчичное-то? Зерно-то! Было, а?

— Да-а!.. Я ра-ада... — протянула Анна, с каким-то, впрочем, безвесельем в голосе. И вдруг прибавила сурово:

— Смотри, возгордиться — страшный грех. И вообще искушение всегда близко, ты знаешь. Бесы всегда около бродят.

Но Леша не испугался бесов. Ничто, казалось, не могло нарушить его тихой радости: он весь ею точно светился. Анна торопила домой, — пора, пора, довольно, по ночам гулять — еще достанется. Ей и вправду хотелось домой. Леше она почти не отвечала и от детски блаженного лица его старалась отвертываться.

4

Дело было в том, что маленькая взрослая Анна в Бога очень верила, а в чудеса не верила.

Должно быть, уж давно не верила, но этого не знала; просто в голову не приходило, случая не было об этом подумать. Когда случай явился, в виде Леши, тут и оказалось, что она в чудеса не верит. Разве стала бы она так над Лешей, хоть и глупым, потешаться, если бы сама хоть чуточку, хоть в какое-нибудь чудо, верила?

Но ведь Бог велит в чудеса верить. Значит, она отступница, и на исповеди надо покаяться, то есть обещать верить; а как это обещать? И про Лешу сказать надо, ведь обман; обман же всегда нехорошо, и недаром сегодня, когда он вареному раку поверил, радовался, ей так стало его жалко-жалко...

Не спалось. Голова даже заболела. Анна высвободила из-под легкого одеяла тонкую, худую руку, облокотилась на подушку. В углу, перед образом, теплилась, дрожа, малиновая лампадка, — еще бабушкина. «Господи, — подумала Анна. — Какая я гадкая. Но пусть гадкая. Если Тебе непременно нужно, чтобы я в чудеса верила, покажи мне хоть чуточное, что Тебе стоит!».

Испугалась такой молитвы, спряталась под одеяло: «Что я? доказательств, как для теоремы, требую! Надо прямо веры просить». Но тут же почувствовала, что ей вовсе и не хочется такой веры, вроде Лешиной, например, чтобы рак вареный, по молитве, на шпильку мог действительно пойматься.

К утру она заснула, решив кое-как, начерно, главное: про неверие на исповеди скажет, но неверие у нее не такое большое: про древние времена, – это не касается. Там чудеса могли быть. Только теперь, и уж давно, никаких не бывает и быть не может. Гора по слову не станет двигаться, ни за что. Хоть сам митрополит ей скажи. Да ведь это и в учебнике «Истории Церкви» написано: «Когда же благодатные дары в церкви прекратились...». Прекратились.

Уж совсем засыпая, подумала, что про обман на исповеди скажет и обманывать больше не будет (ведь и жалко Лешу, жалко до слез!) – но самому ему ничего не скажет, пусть, потому что опять его жалко.

Леша на другое утро так и кинулся к ней, но Анна посмотрела неприветливо, сначала сухо, – будто и не она. Сказала, что голова болит, взяла толстую книгу и забралась с ногами на диван.

– Так никуда и не пойдем? – робко спросил присмиревший, недоумевающий Леша.

Он повертелся еще около нее, вздохнул.

– Ну, я один. Удочку пока направлю. Посижу там.

Дни стояли – кончался июль – томительно жаркие. Ни белого облачного хлопочка вверху, ни легчайшего веяния внизу; солнце, казалось, не лучи посылает на зеленую землю, а льет на нее сплошное, как из ведра, пламя.

Анна солнечного пламени не боялась. Она его любила. Но с Лешей не гуляла теперь, – все одна, – да и не говорила с ним почти. Он сначала недоуменно приставал к ней, потом испугался, загрустил; но вдруг, точно мысль какая-то неожиданная его осенила, повеселел. Днем покорно исчезал куда-то один, а вечером, все с тем же блаженным лицом, искал маленькими пальцами торжественные аккорды на пианино и тихо подпевал. Быть может, ему представилось, что нужен теперь им обет молчания и уединения. Этого подвига они ведь еще не проходили. Быть может, виделись ему за таким подвигом веры и терпения – скорые новые чудеса... как знать!

Близко к полдню. Анна давно отдыхала в лодке, у самого дальнего конца пруда, где берег зарос густыми, низкими кустами. Захотелось на солнце. Не повернув лодку, лениво взялась за весла, стала грести кормой вперед.

Выехали на середину. Оттуда, вдали, уже виден узкий мостик; она заметила на конце его, у самой воды, светлую фигурку. Догадалась: Леша. Когда отвязывала от мостика лодку, его там не было. А теперь сидит, и завтра будет сидеть, и послезавтра, с идиотским беззлобием и терпением веря, что Бог ему жареную рыбу может на шпильку нацепить.

Тоска ее взяла. «Скажу все, наплевать, пусть ревет, нельзя же, правда, глупости». А потом снова: «Нет, не стоит. Не поверит; он ведь малоумный какой-то... Нет, и не то. А жалко его, вот главное...»

Сама не знала, что думала. Бросила весла. Но лодка медленно двигалась к мостику, пруд был проточный, и посередине шло заметное течение. Вот уж и совсем хорошо видно Лешу. Стоит у края, коричневая голова шариком, непокрытая, и палка с веревкой в руке.

Заметил Анну и лодку. Вдруг закивал, заулыбался и что-то крикнул. Анна не расслышала.

— Чтоо?

Лодка была еще совсем далеко от мостика, тихо скользя по самой середине пруда. Леша прислонил палку к перилам, сложил руки рупором, и, на этот раз, Анна явственно расслышала веселый его крик:

— Скажи — с верой — чтобы я — к тебе — шел. Я — с верой — пойду — пойду.

Девочка вскочила так, что лодка дрогнула под ней, закричала, махая тонкими руками, и увидела последнее, что явственно помнит: голую Лешину ногу в короткой парусиновой штанишке и в сандалии, ступающую с мостика прямо в черную воду.

А потом было что-то странное, ни на что не похожее, притом такое быстрое, что будто и не было его: ужас, ожог, темнота, сверкание, усилие, тяжесть, легкость — и не одно за другим, а будто все сразу, вместе...

Сидели рядом, мокрые, и непонимающими глазами смотрели друг на друга.

— Ты здесь? — сказала, наконец, Анна.

— Да, а ты?

— Мостик далеко. Это не тот берег.

— И лодка уплыла. Вон она где!

Еще помолчали, озираясь. Анна хотела собраться с мыслями. Не могла.

— Разве я тебя вытащила? Как же? Я разве плавать умею?

У Леши стучали зубы. Помолчав, залепетал:

— Я усумнился... А ты за руку. Но почему в лодку меня не взяла? Вот и сама мокрая.

— Постой, молчи, я не знаю, да это пока все равно. Теперь ты сними с себя мокрое, до рубашки, а в рубашке садись прямо на солнце. Я тоже сниму. Здесь ивы, а на солнце живо высохнем. Да, пожалуй, и рубашки снимем, так скорее, никого ведь нет.

Они и сняли все, листьями и травой кое-как вытерли смуглые, худенькие тела, сели спинами прямо на жаркое солнце. И, правда, не заметили, как высохли. Платье легкое тоже уже почти сухое, теплое.

Сандалии сыроваты, ну да их можно не надевать. Жара. По траве пруд обежать и босиком ничего; хоть не близко, да мягко.

Так они переговаривались, сидя еще голенькие, у ив, — похожие. И становилось им понемногу весело.

— А ты дома все-таки скажешь? — спросил Леша, натягивая сухие, только немного сморщенные, штанишки.

— А что скажу? Я ведь не знаю, что это было...

Вдруг сдвинула, сурово и строго поглядела:

— Одно знаю, и ты помни, на носу заруби: ты в страшном грехе, в страшное искушение впал. Да кто ты, чтобы по водам ходить? Да как ты смеешь на чудеса посягать. И с палкой твоей, с крючком... все брось, слышишь. Обещаешь? Это бес тебя за ногу потянул, чтобы потопить без покаяния!

Леша струсил.

— Обещаю! Может, и правда он смутил. А ты меня, значит, спасла, — вытащила.

Они уж добрались до парка, к дому подходили.

— Я? Тебя? — Произнесла Анна в раздумье. — Должно быть, а только если рассудить, — я никак не могла тебя вытащить. Ты с мостика пошел, сразу в самое глубокое, да и лодка еще не тут ведь была, да и плавать я не умею. А мы с тобой вот где очутились, — на том берегу, под ивами. Видишь, я совсем не могла.

— А как же?... — начал Леша и раскрыл рот. — Что же, по-твоему, было?

Анна не ответила. Но она знала, что это было. Было — чудо.

ВОПРОС

I

Не у самой саламандры (это не камин!), а чуть поодаль, у круглого столика, сидели две старухи.

Зимний день темен. Старухи и присоединились к окну с вязаньем, хотя от окна дуло. Но не зажигать же с этих пор лампу над обеденным столом. Привычка за эти годы, — мысль о каждом лишнем франке.

Обеденный стол был тут же, в тесной комнатке. У двери — диван, под серым ковром. В окне, в сером свете, серели крыши.

— Сейчас придет, — сказала первая старуха, — semaine anglaise* у них.

* английская неделя с укороченным рабочим днем в субботу (*фр.*).

Другая ничего не ответила. Только вздохнула. Старухи были разные. Одна — прямая, сухая, со строгим, даже высокомерным лицом, с темными волосами, которые лишь на висках отливали серебром. Складки ее черного платья, сильно поношенного, лежали около нее как-то особенно прямо и благородно. Другая, совсем белоголовая, и вся измученная: маленькое желтое личико, чуть согнутые плечи под темной шалью.

Они могли казаться одного возраста. Да и какой возраст у старух! Между тем, это мать и дочь; и дочь — вторая, измученная, с седой головой.

Щелкнул ключ в передней. Очень молоденькая, но статная, высокая девушка быстро вошла в комнату, бросила на диван портфель и, не скинув легкого пальто и шапочки, подбежала к старухам:

— Вот оне, mes bonnes mamans! * Да что вы в темноте? Подождите, перецелую вас — и лампу! Нельзя же глазки портить!

Целовала обеих, потом присела на пол около матери, седой Марьи Константиновны.

— Тебе холодно, мама? — болтала она, теребя шаль. — Здесь такая жара! Grand mère **, я не раздеваюсь, побегу сейчас купить что-нибудь к обеду, Владимир сказал, что приедет в семь.

— Суп есть, — сказала бабушка, улыбаясь. Ее лицо потеряло строгость, да и трудно было без ласки смотреть в сияющие Варины глаза.

— Знаю, знаю! И все есть, вы уж, bonne maman, обо всем позаботились, я только за котлетками... Это мама моя рассеянная, ни дней, ни чисел, ни часов не знает, все думает о чем-то, думает... Но пусть, она и так хороша!

Варя прижалась к матери.

— Ах, как славно, что вы обе со мной! И что мы так и будем всегда вместе. Владимир сам сказал, прежде, чем я рот успела раскрыть, что мы с вами вместе жить будем. Сам понял, что иначе невозможно. Побольше квартиру, теперь их много в Париже... Он уж присмотрел одну, сегодня расскажет.

— Постой, Варя, — проговорила вдруг Марья Константиновна, выпрямившись и глядя в счастливое лицо дочери. — Ну, а если бы Владимир Иванович не согласился?

— Он? — Варя пожала плечами. — Я же тебе говорю, что он сам, сам хочет... Если б нет, это просто был бы не он...

— Да, но ты представь на минуту... Ну, не он, ну, если б ты не его, другого полюбила?

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* мои добрые мамочки (*фр.*).

** бабушка (*фр.*).

Варя рассмеялась.

– Мама, какие ты пустяки болтаешь! Как это я могла полюбить не его, а другого? Ты меня, просто, не знаешь? Я ни теперь, ни после, никогда уж не могу себе представить, что не люблю Владимира, или что люблю не его. Я такая... старинная, должно быть. Вот grande меня, верно, понимает.

– Знавала. А, впрочем, всяческие в мое время были, – улыбнулась Антонида Петровна. – Что ты, Мариша, девочку тревожишь, если, да если... Любит она, человек, сама видишь, прекрасный, ну и слава Богу. Поцелуй меня, прелесть моя, и беги за котлетками.

Когда Варя, опять просияв, исчезла, старуха-мать поднялась, аккуратно сложила работу еще красивыми руками, зажгла свет. Дочь сидела неподвижно, опять сгорбясь...

Антонида Петровна сжала губы. Покачала головой.

– Тебе нездоровится, Мари, что ли? Вот уж сколько дней замечаю: сама не своя. Враг ты ребенку собственному? Скажите, жених дочернин разонравился. С чего бы? Радовались все, да и не понапрасну, и вдруг – нервы у мамаши. Роду, что ли, он не знатного? Так это, матушка, нам бросить пора. Какая теперь знать! Я и в прежнее время этим не кичилась. Твой барон, если с нашим родом сравнить, что он был такое? Я слова не сказала. А несчастлива ты с ним была, – это уж от человека. Мне он никогда не нравился. Да и тебе самой не очень. Так, сдурила. Сама потом и каялась.

– Мама, что вы... – слабо остановила ее Марья Константиновна. – Я и не думала этого о... Владимире Ивановиче. А вот... не стар ли?

– Ста-ар? Ты, право, не в себе, моя милая. Человеку сорока нет, а на вид много 30–34, – и стар! Да на них оглядываться на улице будут, такая парочка! Варюша статная, крепкая, вся в меня! Я моложе ее венчалась, а мне меньше двадцати двух никто не давал. Скажите, стар! Ты бредишь, душа моя!

Марья Константиновна попыталась еще что-то сказать, но старуха ее оборвала:

– Да нечего разговаривать. Попробуй, убеди Варю отказать ему. Или сама откажи. Всякий подумает, я первая, что ты сошла с ума, собственную дочь убить хочешь.

Марья Константиновна сбросила шаль, выпрямилась в кресле, провела рукой по белоснежным волосам и заговорила твердо, голосом человека, вдруг на что-то решившегося.

– Мама, сядьте. Так, хорошо. Послушайте: ведь вы не знаете, ведь не можете же вы не знать, что Варя – не дочь барона?

Остановилась, глядя на мать. Та молчала.

— Ну, да, конечно, знаете. Вы же знаете, в каких я с ним отношениях была, когда приехала тогда летом к вам, в Красный Кут. Мы уж чуть не год с бароном не видались; о разводе я мечтала; да, все равно, никогда бы и не встретилась больше с ним, если б не эта телеграмма...

Она перевела дух и продолжала:

— У него был удар. А в день моего приезда — второй. Прожил еще четыре месяца, без ног, почти без языка. Конечно, я не могла оставить его. Да вы его видели! А через три месяца после его смерти родилась Варя.

Опять перевела дух, но тотчас же снова заговорила, спеша:

— Вы меня ни о чем никогда не спрашивали, я была благодарна, я могла забыть... Варя — только моя, моя и ваша. Но теперь я скажу. Помните, в то лето, в Красном Куте, у вас, какая я была сумасшедшая? По дням пропадала одна, на Красавчике... Верст за 20 и больше заезжала, сама не знаю, куда. И раз, в сумерках... у меня подпруга ослабела... Студент молодой, совсем мальчик... Не знаю, откуда, в глухом месте. Помог. Ну, вот... И после я туда приезжала... к нему. Там, в лесу, заброшенная избушка была. Я не знаю, где это, очень далеко от нас. Дорогу я по памяти находила. А потом эта телеграмма из Петербурга.

— Он знал о ней? — отрывисто спросила мать.

— Он ничего не знал, ничего! Только мое имя — Мария. А я и этого не знала. Мы оба не хотели. Я его звала: Вова. Он был такой мал... такой совсем мальчик. Потом сразу эта телеграмма, вечером... В ночь я уехала. И все.

Замолчала. Молчала и мать. Прошло минуты две. Наконец, спросила настойчивым шепотом:

— И все?

— А теперь... — Но Марья Константиновна не могла продолжать. Закрыла лицо платком и заплакала, тихо вздрагивая.

Старуха придвинулась к ней, взяла ее за руки и тем же спокойным, настойчивым шепотом:

— А теперь ты думаешь, — не **он** ли? Перестань, возьми себя в руки. Варя сейчас придет. Ты его узнала?

— Нет... Столько времени... Мама, вы верите, мне сначала в голову не пришло. Потом стало что-то мелькать... в глазах, в манерах у него. Потом вы сказали, что он на англичанина похож. Я вспомнила, тот говорил, от матери английская кровь... Потом раз Варя назвала его Вовой... И тогда уж я... Боже мой, Боже мой! Что делать? Что мне делать?..

— Перестань! — прикрикнула на нее старуха. — Слышишь? Не распускаться!

Она встала и прошлась по комнате, не обращая внимания на затихшую Марью Константиновну.

— Во-первых, может быть, и вздор все, истерика, воображение... Это надо узнать как следует. Так, чтоб он сам ни о чем не догадался. Тебя он, понятно, узнать не мог. И тогда уж, — бабье твое лето было... Еще красива была очень...

— Я знаю, мама. После страшных лет в России, после моей болезни... Я старуха, я старше вас. Он не может узнать. Но если я ему напомню...

— Сумасшедшая! Как ты подумать могла! Ну, да что с тобой теперь толковать. Иди в спальную, приляг. Я скажу Варе, что у тебя голова разболелась. Знай, и к обеду не выпущу, если не обещаешь сделать над собой усилие, быть, как всегда. Ты можешь, если захочешь, если надо. А теперь — надо. После поговорим.

II

Варя встретила Владимира Ивановича Байкова в том же французско-американском учреждении, где служила машинисткой. Байков занимал там скромное, но недурное место. Вернувшись, не так давно, из очередной поездки в Нью-Йорк, он сразу заметил энергичное лицо молоденькой соотечественницы. Остальное сделалось само собой. С виду Байков, действительно, смахивал на англичанина, — высокий, сухощавый, с гладко выбритым загорелым лицом, со сдержанными манерами; но в душе он был русский, очень порывистый, хотя и волевой. К Варе его потянуло, и не много нужно было времени, чтобы молодые люди сблизились, стали женихом и невестой. Байков бывал в маленькой квартирке, в семье невесты, почти каждый вечер. Свадьбу назначили в феврале, через два месяца. Квартиру новую подыщут... Байков радовался, что они успокоят Вариных старушек, которые ему нравились.

В этот вечер, после обеда, за кофе, — отлично его варила Антонида Петровна! — все были веселы. Голова Марьи Константиновны прошла, должно быть: сидела совсем бодрая, даже в шаль не куталась, улыбалась. Старуха-мать правду говорила: может, если захочет, если надо.

— Так Варюша думает продолжать службу? — сказала Антонида Петровна, глядя на Байкова.

— Непременно! — с жаром подхватила Варя. — Я хочу, чтоб ничего не менялось. И должна же я заработок иметь! Владимир согласен.

— Ну, это уж так у вас, нынешних, водится. Да вот и мы, праздными барынями-помещицами жизнь проводили, а нужда пришла — всему научились... А, бывало, в имении живешь, в Тамбовской губернии, не знаешь, как и суп варится, готовый на столе...

— В Тамбовской? — спросил Байков. — А в каком уезде?

Антонида Петровна сказала в каком.

— Имение Красный Кут. Вы эти места не знаете.

— Красный Кут не знаю, а Тамбовскую губернию — как же! Детство там провел. Не в вашем, а в Х. уезде, у отца домик небольшой, вроде фермы, был. Глухие места, а какие славные! Потом отец умер, ферму продали, некуда ездить стало. Да потом уж и не до того: вскоре ведь и война началась...

— А я никакой русской деревни не видала, — с грустью проговорила Варя. — Про Красный Кут мне только grand'mère рассказывала, уж здесь. Я была маленькая...

— Значит, вы продали ферму совсем незадолго до войны? — опять обратилась к Байкову Антонида Петровна.

— Да, позвольте... чуть ли не в самый год войны. И пожалеть не успел, я ведь сразу добровольцем... Брать не хотели нас, слишком молодых. Но взяли, однако.

Тень прошла по лицу Байкова. Тень набежала и на лицо старухи-бабушки.

— Какая ты бледная, мама, — сказала Варя. — Опять голова?

Байков встал прощаться.

— Ну, что вспоминать прошлое время, — сказал он, целуя руки старух. — Достаточно мы все натерпелись, каждому своего полной мерой отмерено. Не будем счастливую юность смущать, — прибавил он, нежно глядя на Варю. — Вот у нее нет наших воспоминаний, и, слава Богу!

— Есть, есть! Я много помню, а еще больше знаю и понимаю. Но ты прав, милый, теперь надо вперед, а не назад смотреть. Радость послал Бог, вот и будем радоваться. Разве не радость это, не чудо, что мы встретились? Правда, мама, да? Вот и строгая grand'mère смеется!

Владимир Иванович, тоже улыбаясь, поцеловал Варю в волосы. Она бросилась провожать его в переднюю.

III

Только слаборозовый свет лампадки перед образами мерцал в комнате, где спали обе старухи. Варя ютилась в столовой, на диване, — давно привыкла. А у bonnes mamans хорошая комната, и постели удобные, надо же им!

Марья Константиновна уже зарылась в подушки, маленьким невидным комочком, когда вошла мать. Молча разделась. В юбке, в длинной белой кофте, прямая, высокая, стала перед образом на молитву. Молилась неслышно. Наконец, положив долгий земной поклон, подошла к дочери, села на край постели.

— Мариша, — сказала негромко. — Посмотри на меня, девочка; не надо больше плакать.

— Я не плачу. Мама... мама... что делать?

— Молчать.

— Как? — Мари тихо вскрикнула, откинула одеяло, села на постели. — Как молчать? Мама, это он... Как же?..

— Вероятно, он. Скрывать от тебя не хочу, и я думаю, — он. Надо молчать.

Мари упала на подушки.

— Я девочку твою знаю, — продолжала спокойно Антонида Петровна. — Только о ней и думаю. Для нее — надо молчать.

— Если я допущу... такой грех... — чуть слышно пролепетала Мари.

— Грех? Да. Это твой грех, а не ее, и не его, — он не знает, — твой. Ты и неси. За что же ты ей-то на плечи свой грех положишь?

— О, мама... Не могу, не могу... Да я не выдержу, все равно... Вам бы под силу, а мне — подумайте! Ведь вся жизнь потом, каждый день, каждый час жить с этим ужасом... Я не снесу.

— Снесешь. Свой крест надо нести; если послан — силы найдутся. И я помогу, вместе нести будем. Может, и не долго придется, много ли жизни-то еще? Только на невинных своей муки не складывать; уберечь их.

— Мама, но ведь грех же... и они будут в грехе, пусть в невольном?

— Бог простит им за тебя; вместе со своим понесешь, не тяжелый он. Вместе все простит. Всех... и меня с вами. Родная, дочушка милая, сердце мое. Пошлет Господь силы, если надо...

Крепко обнявшись, плакали безмолвно, тяжелыми, скупыми слезами. Но руки матери такие сильные... Она поможет, если надо.

IV

Неделя проходила за неделей. Ничто как будто не изменилось в маленькой квартирке над парижскими крышами. Так же убегала веселая Варя утром на службу, а, вернувшись, так же бодро помогала своей mère grand варить незатейливый обед. А вечером ждали Байкова. Очень редко Варя выходила с ним, — не любила покидать своих «старушек». И вечера они проводили вместе, за чайным столом. Антонида Петровна всегда что-то вязала, — до сих пор без очков! Марья Константиновна, в глубоком кресле, слушала разговоры, молча и рассеянно улыбаясь. Улыбка теперь почти не сходила с ее изменившегося лица. Она не была больна, но лицо с каждым днем становилось прозрачнее, — тоньше бледные пальцы. Эту перемену не только приметили зоркие глаза Антониды Петровны, но и Варю схватывала какая-то смутная тревога: посреди веселого разговора, она вдруг опускалась на колени у кресла матери, обнимала ее, засматривала в глаза: «Тебе хорошо, мамочка? Ничего не болит? Ты не устала?». Но глаза матери

смотрели так светло, и улыбка была такая светлая, что Варе делалось тихо на душе. «Совсем ангел мама моя, правда?» — сказала она раз, обернувшись к Владимиру Ивановичу. Бабушка шутливо заметила: «Ты на седьмом небе пребываешь, так тебе и я, пожалуй, ангелом кажусь».

— Нет, bonne maman, вы — человечица, громадная человечица! Такие нужны, непременно! Без них ангелы с миром не справились бы. Ходили бы по свету и только плакали...

Никаких разговоров в спальной, при лампадке, уже не происходило. Но раз, незадолго до Рождества, Антонида Петровна, подойдя к постели дочери, сказала спокойно, почти сурово:

— Не отложить ли свадьбу? До весны, скажем? А пока мы бы на юг... Варе отпуск дадут. С деньгами обернемся, ничего. Ты бы отдохнула. Что скажешь?

Тихий голосок Мари:

— Нет, мама, не нужно откладывать. А вот... я бы хотела, если можно... я бы ускорить хотела.

— Ускорить? — Антонида Петровна задумалась. Долго думала. Потом промолвила: «Хорошо». И отошла.

Никаких сомнений, что это **«он»**, уже не было. Всякий день разбуженная память Марьи Константиновны заставляла ее в том или другом повороте головы, в интонации голоса Владимира Ивановича, — узнавать юного студента Вову. А внимательные глаза Антониды Петровны давно подметили легкие, совсем не внешние, почти неуследимые черты сходства Байкова с самой Варей. Взгляд у них часто был одинаковый, — из-под ресниц, быстрый.

Свадьбу решили, вместо февраля, отпраздновать, — тихо, — после Нового Года. Квартиру наняли неподалеку, — четыре комнаты. «У мамы отдельная, у bonne maman, у нас, — и еще большущая столовая!» — радовалась Варя. Денег было мало, — Владимир Иванович уверял, смеясь, что они еще будут богаты, надо только подождать! и устраивали квартиру скромно. Бодрая Антонида Петровна, не боявшаяся лестниц (а, слава Богу, семьдесят пятый стукнул!), очень помогала в этом деле занятым жениху и невесте. «Мать не надо тревожить даром, — говорила она Варе. — Увидит все готовым, еще лучше».

Весело встречали русский Новый Год. Еще в старой крохотной столовой с продавленным диваном, — но через неделю все будет новое, новая жизнь, новое счастье!

— Ты увидишь, мамочка, как тебе хорошо будет в твоей светленькой комнатке, как весело с нами. Вова, ты знаешь, такой же веселый, как я. Правда? — спрашивала Варя, сияя глазами. — А bonne maman, —

по́лно с кастрюлями возиться, у нас будет громадная femme de ménage!* А потом... а потом...

— А потом две громадных, а потом три, — подхватил, забавляясь, Владимир Иванович. — А потом мы поедем все в Америку... А потом свалятся большевики, и мы вернемся в Россию. Новый Год будем встречать не по-здешнему, — в морозе, в снегу... В деревне, — ты и не представляешь себе, — выше окон снегу иной раз наметает.

— А ты бывал зимой в деревне, Вова?

— Взрослым я только зимой там и бывал...

— Это в Тамбовской губернии? — спросила Антонида Петровна и поставила на стол недопитый стакан.

— Да; там, — я говорил, кажется, — мыза у нас была небольшая, именьице. В лесу совсем, Белый Ключ называлось. С детства помню, да и гимназистом живал. А как гимназию кончил, — с тех пор только на Рождество как-то вырвался. Летом ни разу не пришлось. Вова один ездил.

— Вова? — не понимая, сказала Антонида Петровна. — Вова? Какой же еще Вова? То есть, вы?

Владимир Иванович слегка улыбнулся.

— Нет, Вова. Я говорил Варе, она знает. Мы близнецы, и в детстве так дружны и неразлучны были, что нас обоих звали Вова. Вместе и гимназию кончили. Но он в университет пошел, математики испугался, а я на год в Англию, в политехникум, уехал. На год всего. И опять, вместе с братом, Вадимом, добровольцами...

— Вадим? — медленно произнесла Антонида Петровна. Вова, брат. Он... где теперь?

— Убит. При мне. В первый год войны.

Глаза двух женщин встретились. Антонида Петровна встала и перекрестилась широким крестом.

— Мама! Мама! Тебе дурно? — вскрикнула Варя, бросившись к матери и обнимая ее.

— Нет, деточка... Мне хорошо. Мне хорошо.

НИКОЛОВО ПОЖАЛЕНИЕ

Рассказ

Таня теперь часто читала Варварушке вслух. Заберутся они с Костей в нянькину комнату (хорошая комната, отдельная, уютная, только электричества нет — лампада, да оно и лучше) — целый вечер, до самого чаю, просиживают.

* домработница (*фр.*).

Тане скоро восемь лет, Косте семь. К ним давно ходит русский учитель, учатся они очень хорошо и уже много знают. А чему не учит учитель, то они знают от няньки: Варварушка умная, она в России жила, к Троице-Сергию и даже к Тихону Задонскому пешком ходила. Папа и мама ее уважают, папу она вынянчила, как потом, в Париже, и Таню с Костей. Еще никогда не случалось, чтобы Варварушку диво какое-нибудь в тупик поставило. «Вот поехали мы с барыней покойной, и с Сережинькой, в заграницу, – рассказывала она. – Сережинька, папа-то ваш, по седьмому году тогда был. Задумчивый такой ребенок, а мамаша страх его баловала: одно мечтанье, как бы его чем позабавить. Вот приехали мы в город, – ничего себе, город как город, улицы, и все. Барыня и к Сережиньке: видишь? И ко мне: видишь, няня, хорошо ведь? Да чего плохого, люди как люди, на двух ногах. Ничего. И Сережинька не удивляется. Барыня говорит: а завтра я вас в такое диво свезу, что ахнете. Вот Сережа будет доволен! Ну хорошо. Назавтра поехали и видим как бы подземелье, комнаты обыкновенные, только вроде пещер. За стенами рыбы плавают разных сортов. По комнатам и другие люди скромненько прохаживаются, либо тихо на лавочках сидят, – лавочки понаставлены. Барыня хлопочет: видишь, Сережа? Няня, а это видишь? И показывает в уголок. Вижу, говорю; что ж лоханка, а в лоханке змей, довольно порядочный, и с зубами. А невдалеке вон кошка над картошкой старается, ишь как грызет. Барыня моя рассердилась: какая, мол, кошка, разве это кошка? Это обезьяна, и вовсе не картошку жует. А змея такого разве ты видела? Ты только Сереже всякое удовольствие отбиваешь! Расстроившись, села на лавочку и сквозь слезы: ты недоволен, Сережа? Ты недоволен? Ему, понятно, жаль, утешает: «Нет, мама, я доволен. Только я думал, музыка будет играть, а рыбы будут плясать». Как признался, – она пуще: «Значит ты недоволен?». А он за свое, что доволен, только ожидал, чего не нашел. Так мы без музыки и рыбьего пляса домой и пошли». Костя и Таня рассказ этот нянькин знали, и няньку знали. Еще никогда дети не слышали, чтоб она чему-нибудь подивилась; или что-нибудь охаяла. Все ей нипочем, все будто так и ждала она, не иначе. В лесу, где она всякий день бодро с детьми гуляла, прямая, в платочке, благообразная, ей все казалось обыкновенным и скорее нравилось: и французские приятели Тани и Кости, – «ничего, славные деточки!» и деревья, и башня из-за деревьев: «Ничего себе башня, словно Петр Великий!».

– А в России, нянечка, все дети по-русски говорят? – спрашивала Таня. – Вот ты рассказывала, что Летний сад и папа, маленький, с тобой гулял там, и другие дети? Так они все по-русски?

– Всяко, милая. И по-русски, а другие, с мамзелями, и по-иному тоже. Всякое бывает.

— А почему здесь святых нет?

— Что это, матушка, — нет! Должны быть. Святые по всей земле.

Нянька знала и сказки, а больше любила про святых рассказывать. У нее была толстая книга в зеленом переплете, и когда дети подросли, Таня полюбила, примостившись на скамеечке у нянькиного кресла, читать ей вслух эту книгу, — Жития святых. Самое интересное, что прочтут так про кого-нибудь, — а Варварушка вспомнит еще про другого, какого в книге нет, и рассказывает от себя.

Костя объявил раз, что сам будет святым, когда вырастет. Поедет в Россию и в землянку зароется, — спасаться.

— Таких много, — одобрила Варварушка. — А пуще того — святые помощники. Вот Никола милостивый: где ни беда — он уж тут, сейчас пожалеет, поможет.

У няни, в углу, рядом с Казанской и Симеоном Верхотурским, сидел и Никола.

Книжку в зеленом переплете прочитали они уже не раз и не два. А нынче пришли дети к няньке, и Таня говорит: «Что у меня есть! Мне мама купила. Тут все про Николая Угодника. Как он по морям ездил и в беде добрым помогал. Только про Россию мало».

И принялись читать Варварушке книгу Ремизова. Варварушка слушала с удовольствием. Подчас даже спицами двигать переставала и очки подымала на лоб. Косте тоже очень нравилось. Так все хорошо, справедливо. И не жалко гадких, если тонут, поделом им!

— А вот еще, что слышала я, от бабки от моей, — промолвила Варварушка, когда Таня кончила читать. — И не так, чтоб в очень давние времена оно было. Тоже Никола Угодника пожаление.

— А что, нянички, расскажи! Где было?

— Да в наших, будто, местах. Святые, они по всей земле ходят, не разбираются. Для всех они святые помощники. Вон ты читала, каким он, Никола, народам ни являлся, по каким морям ни ездил! И в нашей беде он первый наставник.

— Ну, няничка?

— А вот, слушайте. Жила одна госпожа в именьи своем, и была она добрая и богобоязненная. Мужа своего любила, — душа в душу жили, — бедным помогала, и все, кто с ней ни знался, очень ее почитали. Только было у нее горе: детей Бог не давал. Стала она усердно молиться, на богомолье сколько раз ездила, на коленках ночи простаивала. Наконец того — радость: будет дитя! Мать думает: это Николай Угодник посылает; родится сын — назову его Николаем и Угоднику поручу. И что ж ты думаешь? Родился сын, в самый в Николин день, в Николу летнего. Тут уж радости такие пошли, и сказать нельзя. Не наглядятся на дитя, а дитя растет, и такое милое, тихое, нежное, и с ли-

чика красивое. Минуло ему шесть годков, либо семь, восьмой пошел, — вот как тебе, Костя, — и вдруг заболел, двух ночей не помучился, — и отдал Богу ангельскую душеньку.

— Ну, няня, — тихонько вздохнула Таня, — зачем же это?

— А вот, слушай. Скончался, ну его обмыли, одели, на стол в зале положили, к иконам, кисеей накрыли, цветы кругом, — май месяц... Все по-хорошему. Только мать ни к чему не прикоснулась, глаза дикие, себя не помнит, дрожит, сама в отчаянии. Как это моленое дитя, Николаю Угоднику порученное, любовью моею взлелеянное, и вдруг у меня отнято? Чем я согрешила, чтоб такую муку принять? Да почему моя жизнь лучше от меня не взята?

Словом сказать — возроптала она. И пуще того на Угодника. Я, мол, тебе поручила его, а ты не сохранил... Стоит вечером, поздно, в зале, одна, свечи горят, потрескивают, цветы пахнут, тихо в доме... А она все, руки сжавши, оторваться не может, и не плачет, а в отчаянии своем вопрошает: за что? за что? Ну, свечи тем временем, нагорели, или так, а стало ей видеться, будто у стола, где мальчик лежит, кто-то есть. Она вглядываться, — старичок худенький, и сейчас же обернулся, идет мелко переступает, и мимо нее прошел, — и нет его. Только когда мимо проходил — заметила она, что лик у него печальный и даже как бы суровый. Может, и подумалось ей, не Угодник ли, а может — не успела, потому как веянье по комнате пошло, по свечам даже видно, а кисея на столе, которой мальчик покрыт был, зашевелилась. Мать кинулась, сорвала кисею — а он глазки открыл, смотрит.

— Воскрес! — вскрикнули оба, Костя и Таня, вместе. — Ах, нянечка!

— Подождите, слушайте. Ну, она, конечно, схватила его на руки, в спальню пошла, смеется, плачет, — живой! Живой и есть. Мать, в радости, уж себя не помнит. Вздумала и о старичке, уж не вправду ли Угодник был, пожалел материнское сердце? Только время идет, да идет. Растет Николашенька, а мать на него не насмотрится, не надышется, чего сынок не пожелает — ни в чем отказу. Своевольничает — ну что ж, дитя! А какое уж дитя, выше матери головой. Нанимали учителей — не жили учителя: озорной стал. В город отправили учиться — и там, поучившись мало, накуролесил чего-то. Наконец, в Москву его снарядили, — нельзя же! Не знаю уж, сколько он там годов пробыл, а только годы те матери солоны достались; слухи о нем ходили нехорошие. И все денег требовал. То приедет, на день до вечера, выберет у матери, что есть, — и опять, ни на кого не взглянув, пропал; и лишь вскоре, опять письмом денег требует, Бог весть чем грозит. Мать жилы из себя тянула, именье заложили, разорились совсем. Отец умер, — сын и на похороны глаз не показал. Дошло, что отвечает мать: нету у

меня, Николаша, ничего послать тебе, сама впроголодь сижу. А он, через дня через два, сам заявляется. К вечеру уж, поздновато, да ночи не темные, май месяц стоял. Ну, прямо к матери. И «здравствуй» не сказал; грубо так: давай чего есть, чего нет, скряга старая! Давай добром, что припрятала, хуже будет! А сам страшный, глаза кровью налиты, вином от него как из бочки... Мать встала, глядит: «Да нету у меня ничего, Николаша, вот Бог свидетель...». Глядит – и к двери открытой, на террасу, в сад, понемножку пятится: страшно ей. Он будто по комнате пройтись – в угол отошел. А там сразу обернулся, кошкой присел: «Не-ету? Не даешь добром? Не даешь? Убью!».

Прыгнул на нее, а в руке нож. Под самым ножом выюркнула она на террасу, да с лестницы кубарем, да по темной аллее бежит, бежит, ног не чуя, и слышит, как тот за ней топочет, настигает совсем... И вдруг натолкнулась она в аллее на кого-то встречного, набежала на него прямо. «Постой, слышь, постой!» и сама не зная как – остановилась. Ночь не темная, и видит – давнишний старичок худенький перед ней, а лицо не суровое, доброе, жалостливое. И уже не сомневается, что это Угодник. Заплакала горько, не рассказывает, что сын на мать с ножом кинулся, – Угодник сам знает. Только слезы льет, ту ночь вспоминает, как роптала, Угодника корила, что не сохранил порученное ему дитя. И уж понятно ей, от какой судьбы хранил он душу дитяти, да и ее, материнскую душу. А старичок в ней как в книжке открытой читает. «Иди, – говорит, – раба Божия, мир тебе». И благословил.

Как благословил – так все и пропало. Открыла она глаза – видит себя на полу, свечи горят, оплывают, цветочками пахнет, на столе младенец под кисеей. И кисея лежит, как лежала, не шевелится...

– Не воскрес? – задыхающимся шепотом промолвил Костя. – Не воскрес?

– Она же, мать, – продолжала Варварушка мерным голосом, – слезами новыми облилась, как поняла Николово это пожаление; пожалел он младенца, ему порученного, и мать пожалел...

– Не воскрес, не воскрес! – заревел вдруг Костя в голос. – А я думал... А он...

Таня всполошилась.

– Ты глупый, не смей реветь! Ты не понимаешь, так ему лучше! А так было бы хуже! Это хорошо, что не воскрес, ему было предопределение...

Она, впрочем, и сама плакала, моргая часто-часто. Ей тоже хотелось, чтоб мальчик не умер, чтоб Никола иначе как-нибудь пожалел и его, и мать, и чтоб предопределения не было.

Всхлипнула и спросила:

– А зачем оно, няня, предопределение?

— Коли вы такие глупые, не буду вам больше рассказывать, — промолвила Варварушка, впрочем, не сердясь. — А без предопределения нельзя.

ПРОШУ ВАС...

(Повесть)

Леонид никуда не ходил. К Панкратовым одним, — люди такие добрые и так хорошо отнеслись к нему: без Нестора Ивановича погиб бы, пожалуй. А тот устроил его где-то бухгалтером; работа механическая, на скромную жизнь хватает, даже книги можно на набережной иногда покупать, и вечера свободны: читай, думай.

Книги Леонид читал только старые, без особого выбора и системы: какая приглянется. Современность его как-то не захватывала. А что захватывало еще, — то к современности не подходило.

Был моложав — весь: и лицом, и телом, и душой: точно на двадцати пяти годах остановился и таким дальше жить продолжал, хотя было ему за тридцать. Даже детское мелькало в синих глазах с длинными ресницами. О войне (по молодости прошел одну гражданскую на юге) вспоминал с содроганьем и — с благодарностью Богу, что никого своей рукой не убил. Словом, родись Леонид тремя—четырьмя десятилетиями раньше, — он непременно стал бы толстовцем. У него и взор был такой: человека, прежде всего, честного; до узости, до щепетильности, до мелочности, до упрямства.

У Панкратовых еще бывал он потому, что любил их шестилетнего Мишука. Они подолгу, иной раз, говаривали вместе, отлично друг друга понимая.

Леонид вспомнил, что нынче новогодний вечер, встречать звали; и заторопился пораньше, чтоб не уложили Мишука. Путь дальний, через весь Париж. Леонид нанимал невзрачную, но чистенькую комнатку у старухи-француженки за Клиши, а Панкратовы жили на набережной, около Point du jour *.

Машинально, думая о чем-то своем, опустился от огней сырой, склизкой ночи — к душным огням метро; и не заметил, как доехал.

На шестом этаже, в крошечной передней Панкратовых (они были небогаты, но, благодаря энергии веселого Нестора Ивановича, не нуждались), Леонида сразу встретил Мишук. Красная шелковая рубашечка, золотой поясок. Мишука держали особенно, такая уж идея у роди-

* Рассвет (*фр.*).

телей: он еще ни одного слова, кроме русского, не знал, ни одной французской книжки не видел, няня у него была -- настоящая русская няня, и сказки ему рассказывались только русские. «Надо покрепче фундамент заложить», — уверяла мать, Анна Львовна.

Леонид этому сочувствовал.

— А у нас-то что... — сказал Мишук таинственно, округлив глаза и губы.

— А что такое?

— Тетя Рая у нас, — серьезным шепотом объяснил Мишук.

— Это кто же?

— Я ее прежде не видал. Ее нельзя всегда видеть. Она волшебница.

Леонид улыбнулся, но тотчас серьезно, и тоже шепотом, спросил:

— А ты почем знаешь?

— Я знаю. Чего ты хочешь, — она сейчас дает. Я захотел вагоны, — она вынула, дала. И паровоз с большой трубой. Все смеялись, а она говорит, что в Новый Год, кто чего захочет, можно дать.

Мишук тянул показывать вагоны, но Леониду любопытно было взглянуть сначала на «волшебницу». Держа за руку мальчика, он вошел с ним в столовую.

— А-а! вот и фантаст наш! — закричал весело хозяин, плотный, розоволикий Нестор Иванович. — Об заклад бьюсь, Мишутка уж о вагонах поведал!

В столовой сидели обычные гости Панкратовых, — пять—шесть человек; барышни-племянницы, сорбонский студент, полковник бывший... Леонид всех их знал, встречал. Но он никогда не видел женщину, которая сидела теперь за столом, прямо против двери, и прямо взглянула на него.

Ее полное, круглое лицо облегала белая косынка, — такие носили русские сестры милосердия; только у этой косынка спускалась почти до бровей и падала на плечи, как длинная пелерина. Ничего не было замечательного в простом-простом лице с ясными карими глазами. Лицо свежее, доброе, — и только. Хозяин познакомил:

— Главный Мишуткин друг. А это сестра Раиса... Николаевна. Мы тут о желаниях с ней толкуем.

— Это тетя Рая, — пояснил Мишук. — Это она и есть.

Леонид сел рядом. Мишук убежал за своими вагонами, притащил их и не отставал от Леонида: «Видишь? видишь? я сказал: хочу вагоны! Сейчас вынула и сейчас дала...».

— Вот бы нам так, — произнес со вздохом студент-полковник. Я бы к вам, — как Мишук: тетя Рая, вот чего желаю! А вы бы вынули и дали.

Она улыбнулась и сказала, не тихо и не громко, голосом до того удивительным, не похожим на другие голоса, что Леонид весь обернулся к ней.

— Трудно это вам... как Миша. Как он, — трудно многим.

— Почему? Почему? — заволновался студент. — Желаний, что ли, не хватит? У каждого есть что-нибудь, хотя бы вот у здесь сидящих. Мы говорили...

— Да, да, — подхватила барышня-племянница с умненькими глазками. — Мы говорили сейчас, что вдруг бы, как в сказке, появился добрый гений, спросил каждого, чего он желает, и...

— И вынул бы и дал, как вагоны Мишуку! — подхватил в свою очередь Нестор Иванович. Громко рассмеялся и прибавил:

— Да, ладненько бы было! А ты чего бы пожелала, Наташа? Скажи! Давайте, пофантазируем, кстати, Новый Год, под Новый Год можно. Скажи скорее, чего хотела бы? И пусть все скажут, давайте!

Наташа рассмеялась, за ней другие, заговорили все, но никто ничего путного не сказал. Мишук, обняв свои вагоны, заснул на коленях у тети Раи. Она улыбалась, оглядывая гостей ясными карими глазами, а когда шум затих немножко, промолвила:

— Желание исполнить не так трудно. Да вот беда: желать-то люди не умеют. Не знают твердо сами, чего именно хотят, ну и слов не находят твердых, определительных.

— Как это? Почему вы так думаете? — Ах, неправда, — заговорили вокруг.

— Нет, правда. Вот хоть сейчас доведись: один скажет: хочу много-много денег: другой — удачи, дело выиграть; третий, уж совсем вообще, — хочу счастья. А чтоб вроде Миши — хочу вагоны, нет не найдется сразу ответить, хоть и под Новый Год.

— А если б я у доброго гения автомобиль попросил? — захохотал Нестор Иванович. — Вот и был бы тот же Мишка.

Тетя Рая с улыбкой покачала головой:

— Да разве это заветное твое желание? Самое первое? У Миши было заветное, оно и исполнилось. А получи ты автомобиль, сам знаешь, куда с ним денешься? Продавать — возня, да и совестно, подумай...

Леонид, до тех пор молчавший, вдруг заговорил неожиданно громко, горячо и быстро.

— Да, да, все это правда, правда... Никак нельзя, или трудно найти в себе свое желанье, первое, то есть настоящее и не глупое. То есть выразить его не как-нибудь глупо; и притом не гадко. И еще я хотел сказать, — чтоб оно само было не гадкое. И чтобы за него отвечать. Ведь мы предполагаем, что гений-то добрый, как же я его буду про-

сить о гадком желании? Или даже не гадком, а просто о каком-нибудь мне, мне одному, самому? Деньги, например, сто миллионов найти, — так это, чтоб другой их потерял? Или хоть иначе, — но чтоб опять мне — на деньги эти жить хорошо? А миллиончик, — мол, ради совести успокоения, бедным раздам? Стыдно! А если я все до копейки раздам, — не стыдно, но вздор, вздор! Собрались сто миллионов в одно место на два часа — и опять разошлись, вот и все. Да еще, может, глупей прежнего. Нет, так нельзя, я бы не так. Не то совсем.

— Ну и фантаст! Не то, а как же надо? — с любопытством осведомился Нестор Иванович.

А тетя Рая ласково улыбнулась, даже ободрительно.

— Ничего, вы скажите, что думаете, это ничего. Это можно.

— Я скажу, я еще не знаю, но я скажу, — понесся дальше Леонид. — Если я за свое желание отвечаю, — это очень важно! Очень! Если я честно скажу себе, что не гадкое оно и не глупое оно и что я и сам готов ради него потрудиться...

Он остановился вдруг, как бы ища ускользавшей мысли.

— Вот мое желанье, — сказала Анна Львовна. — И не глупое, — уложить маленького нашего счастливца в постельку. Потружусь — и, наверное, исполнится.

Она взяла сонного Мишука с колен тети Раи и, вместе с игрушками, которых он из рук не выпускал, унесла в спальню.

Все засмеялись, но Леонид, ничего не замечая и глядя теперь на одну тетю Раю, договорил:

— Я бы только одного потребовал у... все равно, у гения этого доброго, или у кого там. Сид... нет, нет, не точно, а средств, которыми я мог бы достичь исполнения моих желаний. И средств опять по моему выбору, потому что и за средства я отвечаю. Да вот! — почти закричал он радостно, точно яркая мысль озарила его, — вот что я бы потребовал: пусть никто, если я с просьбой к нему обращусь, мне не откажет. Тут доверять надо, что я идиотского или бесцельного не попрошу. Но если физически может, пусть исполнит! Больше ничего не надо. И даже не навсегда, на что мне! Только на... ну, хоть на месяц, на два месяца!

— Сказку хитренькую придумал для себя фантаст! — сказал Нестор Иванович, барышни пожали плечами; Наташа проговорила: «Нет, я бы выдумала что-нибудь поволшебнее; я и так знаю, что если разумно попрошу о чем-нибудь человека, — он не откажет».

— Вам-то? Еще бы! И разумное, и безумное! — слюбезничал студент-полковник.

Она ему ответила. Завязался легкий разговор. Тетя Рая между тем, наклонившись к Леониду, сказала вполголоса, без улыбки:

— Два месяца?

Он встрепенулся и, вместо ответной шутки, сказал: «Да». Она повторила: «Да». Помолчав, прибавила так же тихо:

— Вы против насилия («Откуда она знает, что я против насилия?» — подумал Леонид). А ведь это средство — тоже насилие. Маленькое? Краткое? Берете на себя?

Леонида кольнуло. Ничего не ответил.

— Да, это я так, для вас. Не в этом дело. Больше берете, ну и это? А, может быть, не надо?

Он хотел крикнуть: «Не надо!» (точно все взаправду)! Но опять ничего не сказал. Тетя Рая посмотрела на него ясным, добрым взглядом еще раз — и отвела глаза, с другими заговорила. Разговор шел... ну, о чем разговаривают эмигранты, собравшись вместе, если это не очень серые беженцы, не очень заняты личными делами и не вполне нищие? Все о том же, о России, о ее пленении, о ее властителях, — словом, о том, что принято называть «политикой».

Когда подошло к двенадцати, — все стали делать вид, что им особенно весело, хотя всем сделалось грустнее и скучнее. Чокались, — разорился Нестор Иванович, целых две бутылки настоящего шампанского! — смеялись, поздравляли друг друга. Леонид уже чокнулся, кажется, со всеми, когда увидел, около своего, почти полного, стакана, — другой, в руке тети Раи. Увидел косынку, выгиб темных бровей и глаза, которые показались ему огромными. Стекло слабо зазвенело. «Исполнение желанья», — сказала она, и вдруг точно молния пробежала по телу Леонида. Он вздрогнул, задохнулся, но успел залпом выпить стакан, прежде, чем выронил его на пол.

— Это к счастью! Это к счастью! — закричали кругом. Смотрите, вдребезги!

Не очень долго еще оставались. Вышли, кажется, все вместе, кучей (Леонид не хорошо помнил), но потом он оказался на мертвой, черной набережной один. Тяжелая влажность ласкалась к лицу. Неподвижные огни чередовались, — около них еще чернее чернелся воздух.

Легкие, быстрые, точно нагоняющие шаги. Обернулся. И как будто не удивился, увидав тетю Раю. Странно только: совсем как сидела у Панкратовых: косынка тоненькая и на светло-серое платье ничего не натянуто.

— Проводите меня немножко. Недалеко.

Пошли вместе. Удивительно легкий шаг у нее, а была скорее полна, а роста хорошего, среднего. В улочку налево завернули, потом в другую, потом в третью.

— Теперь прощайте, — сказла она, остановившись и подавая ему горячую руку. — Не надо терять времени, вот что я вам напомнить хо-

тела. Ну, завтра еще испробуйте, если не будет веры, что по желанию уже имеете. Один денек или два – не так уж много, из двух-то месяцев.

Они стояли под фонарем, у какой-то глухой стены, даже без реклам.

– А я не схожу с ума? – криво усмехнулся Леонид. – Скажите мне правду, прошу вас...

– Полная правда, – нет, нет. Да вы сами знаете. И ведь это так просто...

Ясные глаза смотрели на него теперь с грустью и – с неоскорбительной жалостью.

– Бедный мой... – проговорила она как-то матерински. – Ну, ничего. Надо вам это, должно быть. Храни вас Господь.

Леонид еще что-то хотел сказать, спросить... но заметил, что ее уже не было около него. Посмотрел, нет ли двери в стене, к которой она привела его, – двери не нашел. Добежал до угла, заглянул в черноту, и там пусто.

«Чепуха, чепуха! – рассердился он вдруг на себя. – Бред какой-то! Простудился я, что ли?».

Очень уж было поздно, когда он, все время вздрагивая от сырости и повторяя: «Чепуха! Вздор!», дошагал до дому. В комнате тоже было холодно, печка погасла. Быстро разделся и упал в сон, как в провал, – точно умер.

* *
*

Бывают неожиданности. Леонид проснулся с совершенно ясной душой. И с ясной притом памятью о вчерашнем. Попробовал, было, повторить: «Что за чепуха!», но засмеялся: нисколько не верил, что чепуха, напротив: несомненно верил, что так это все есть, как она сказала, – даже и проб делать нечего. Здравое рассуждение насчет невозможности происшедшего и бессмыслицы самой веры тоже присутствовало, но ничуть этой вере не мешало.

Хоть лег поздно, – вскочил бодрый, свежий в обычное время. Какая-то новая торопливость в нем нарастала; и веселье – и беспокойство. Быстро зажег печурку, поставил на нее кувшин воды греться. Одевался спеша. В окно смотрел опять мутный, едва разлепивший ресницы, день. Но Леониду он показался хорошим: день, как день, и мутные дни хороши. Почему им не быть?

Одеваясь, припоминал, – разве молча шли они по набережной, а после по улочкам, до той стены? Нет. Только он не слышал как-то слов, звуки одни слышал. Теперь он эти звуки старался припомнить. Сначала вспомнил голос спутницы, потом, вместе с картиной темноты

вокруг, блестящих, под каждым фонарем, камней тротуара, пришли и звуки — уже понятных слов. Ну да, конечно, это она и говорила, да так он и сам знал. Просьба исполняется только при личном обращении, сказанная голосом, услышанная и понятая человеком, или людьми, к которым обращена. И просьба о действии, которое этот человек фактически и физически может совершить. Всякий раз надо подчеркнуть: прошу вас...

«Ну да, ну да, именно так я и воображал, отнюдь не иначе, иначе и невозможно...». Он задумался, глядя на кувшин с водою на печке. Вода уже кипела, — не замечал. «Конечно, попроси я достать луну с неба, или кого-нибудь, рояля не видавшего, сыграть мне шопеновский этюд, — просьба осталась бы неисполненной... Или еще, если б я сказал человеку, обожающему жену свою: прошу вас, разлюбите! Конечно, не разлюбил бы, не от него зависит... Но — ах Боже мой! если б сказать: убейте ее, — ведь убил бы?».

Брови у него болезненно сжались: «Доверие какое у нее! Знает, что такого не попрошу, никогда. Никогда!».

Отвращение к насилию у него было органическое. Но именно потому, что органическое, слишком цельное, — лежало оно в нем грубо: мыслью, рассуждением мало затронутое. И лишь вскользь вспомнились ему слова о том, что и в непременно, неизменно исполненной просьбе — тоже есть насилие. Не приказание ли такая просьба? Да, может быть... Но мысль не остановилась на этом, некогда, побежала дальше.

И вот, медленно, неуловимо медленно, как далекая туча на ясное небо, стала наплывать на него какая-то, едва ощутимая сначала тревога. Кувшин с водой выкипел, облив зашипевшую печку: едва, жиденько, у дна еще бурлило; поленья рассыпались углями, красным и черным рдеющими; а Леонид, полуодетый, все еще сидел неподвижно на стуле и неподвижно глядел на огонь. Брови сдвинул, с непривычным усилием соображая, ища первой правды — перед собой. И перед собой надо быть честным.

«Я говорил, что хочу средств, для исполнения моего желания. И выбрал сам средство. И получил, она не обманула. Это я ее обманул. Я говорил так, будто могу, первое свое желание твердым словом определить, как Мишка — вагоны. А сам тогда и для себя словами-то выговорить мог ли?».

«Ну, хорошо, — думал он дальше. — Не мог тогда, но слова есть же? Надо сузиться, в реальность себя ввести».

Если б не мелочная честность, Леонид давно бы нашел в себе слово для желания. И когда, наконец, нашел, — Россия! — то даже удивился: о чем думал? Конечно же, это одно в нем и было, это первое, заветное,

и узкое – и широкое, – освобождение России. И как это он, зная, будто не знал?

– Теперь надо действовать! – громко сказал он, поднялся, провел рукой по лбу, поглядел еще бессмысленно на пустой кувшин и гаснущие угли, потом быстро умылся холодной водой и, накинув пальто, сбежал вниз: в маленьком угловом кафе он обычно пил утром кофе с круассаном.

День просветлел. Да и по движению на углу заметно было, что час уже не ранний. Леонид взглянул: десять! На службу, значит, опоздал. Ну, ничего. Смутно чувствовал он, что облегчение его – временное, что сейчас, вот-вот, надвинется на него новая туча, темнее первой.

И в самом деле: первые, быстрые облачка-лапки этой тучи уж стали тут же набегать. Он не впустую сказал: «Надо действовать». Знал, что надо. Посланный дар (уверенность, что он им обладает, была прежняя) – этот дар обязывает. Сам хотел, сам выбрал. Теперь он отвечает и за него, в совести своей... – перед кем? Да перед всеми! Она недаром сказала, – нельзя терять времени. Ведь только два месяца!

Только? Пожалуй, прежде он решил бы, что и двух дней довольно, с этаким-то средством! Но сейчас было уже другое. Уж надвигалась туча... Действовать, да и сейчас же, не только дни, но драгоценных следующих двадцати минут не теряя... но что делать? Куда идти? К кому? Кого просить? О чем? – вот сейчас, сию минуту начиная, – какой первый шаг из тысяч, ведущих к цели?

Он сидит в бистро, в Париже. Его никто не знает, он никого не знает. И, главное, ничего не знает, совсем ничего! Газета валяется на соседнем столике, – вспомнил, что уж давно и газет не читал, – изредка русскую, какая попадалась. И у него нет никого, – ни друга, ни товарища, знакомого даже, которому бы он верил. А если б и были? Что они рассказать ему могут? Он давно, незаметно, ушел в свою келью под елью, спрятался, пригрелся там; давно в полглаза видится ему этот муравейник, где муравьи душат друг друга. Идти к ним за помощью? Он не шел никогда. И вот, сам превратился в беспомощного. С ужасом, с ясностью, сознавал свою беспомощность в эту странную минуту.

«Нет, так нельзя! – опомнился он. – Что за стыд? Я не мальчишка. Нужен план действий, и я его составлю. На это есть вечер, ночь... Сейчас сделаю только первое, необходимое, что, во всяком случае, будет нужно».

Первое, конечно, свобода, иметь в своем распоряжении все минуты этих двух месяцев. И, почти уже не думая о дальнейшем, он вышел из кафе и направился в ту французско-русскую контору, где служил. Както решилось, что будет просить отпуска, – по личным обстоятельствам, – и ровно на два месяца. «До тринадцатого марта», – быстро

счел он. Почему отпуска, а не отказа от службы, – он и сам не знал; так пришло в голову, а размышлять он не решался.

В конторе взглянули на него с удивлением, а сосед его по работе, М. Дюнуа, даже с недоброжелательством. Но едва Леонид попросил его провести в кабинет заведующего (первая просьба!), тотчас предупредительно вскочил.

У заведующего все обошлось, как и ждал Леонид. Работы было много, время горячее, штат сокращенный; но Леонид уж придумал, как устроить, чтобы дело не пострадало и чтоб отпуск, который тотчас был ему дан, больших неприятностей никому не доставил. «Мою работу, в виде extra*, я прошу вас передать М. Дюнуа, – сказал он, – вместе с моим содержанием за это время». Позвали М. Дюнуа. Он, конечно, согласился, – может быть, согласился бы и без Леонидова дара: был стеснен и работы лишней искал. Удивился, правда... но приятно удивился и о разгадке не заботился.

Леонид вышел на улицу. Первое дело сделано, он свободен. Теперь... Плана не было, но нет ли чего-нибудь, что понадобится при всяком плане? Леонид уже смутно предчувствовал, что в Париже не останется. Надо будет ехать. Значит, нужны деньги... вот оно, самое неприятное! В кармане у него 600 франков; ни для какого плана не годится. Но как знать без плана, сколько нужно денег? А он ни одной копейки больше, чем нужно, не возьмет.

«Один день можно отдать обдумыванью плана, – решил он, – ведь и она предлагала – денек-два на проверку... А проверки не требуется, да и была уж, кажется. Поброжу по Парижу, так легче думается...».

Но он опять чувствовал себя растерянным, беспомощным и еще придавленным какой-то тяжестью. «Да, я глуп, я невежда, я слабняк... Но не трус же я? И не такой же я слабняк? Э, выпутаюсь!».

На набережной, где он незаметно очутился, около тротуара толпа. В середине автомобиль, такси, шофер с виноватым лицом, полицейский агент. «Несчастье?» – спросил Леонид. Оказалось – нет, просто погрешность против правил езды. Агент что-то записывал. Леониду стало жалко шофера. Подошел к агенту, тронул за рукав: «Прошу вас, не записывайте его. Разорвите бумажку. Пусть едет, махните ему, прошу вас». К изумлению стоящих близко, да и самого шофера, агент вырвал листок из книжки, куда что-то записывал и, разодрав, бросил. Шоферу махнул рукой. Тот быстро отъехал. Но агент злобно повернулся к Леониду и схватил его за плечо. «Оставьте, прошу вас, – спокойно сказал тот. – Дайте мне уйти». Приподнял шляпу и ушел. И уж

* приработок (*фр.*).

далеко был, а все вспоминал, какое злое лицо было у агента, бессильно злое, и как напрасно впутался он в это маленькое, совсем ненужное дело. Агент разорвал свою книжку; ему будет неприятность. А ведь он только долг свой исполнял.

* *
*

Прошло не двадцать минут, и не день или два, — прошла целая неделя. А плана еще не было, — и денег не было.

Сказать, впрочем, что Леонид все это время бездействовал, в созерцательном трансе пребывал — нельзя. Нащупав кое-как беду своей полной невежественности, незнания того, что рядом и вокруг происходит, он, в судороге, стал бросаться во все стороны: хоть первое бы понятие о «моменте» приобрести! «И когда это я успел так откатиться от жизни, и сам не заметил? — в горести повторял он. — Россия! Много я понимаю, что там делается? Да и здесь не знаю, ни что делается, ни, главное, кто делает это неизвестное "что"?».

С первого шага Леонид столкнулся с такой сложностью «момента», что махнул рукой: никакого времени не хватит, надо сузиться, узнать лишь самое необходимое. Узнать, например, какое здесь, в Европе, действительное отношение к России. Не бесчисленные мнения бесчисленных всяких людей узнать, нет, а тех, которые, по соображению Леонида, имели власть свое отношение воплотить в действие, т. е. людей правительственных. Остановив себя на этом, прямо оборвав дальнейшие рассуждения (потом, потом!), Леонид и положил: как можно скорее свидеться хоть кое с кем из этих «правителей» и... только узнать, только; не просить пока ни о чем, Боже сохрани!

Много воли нужно было, чтобы преодолеть и тут свое естество, свой характер, свою скромность; так много, что на размышления, сказать по правде, и времени не хватало. Чувствовал примитив свой, стыдился его, а поверх всего еще глухо претило идти к людям, до которых он, без дара своего, не добрался бы; а теперь может добраться, может и спросить, и заставить их ответить.

«Попросту буду, по-мужицки — по-дурацки», — вспомнил он Толстого и — бросился, как в холодную воду, уже ни о чем не думая.

Выбор приходилось делать и вправду попросту, по сказке, или по теории: ведь он на практике ничего не знал. Верхние люди, власть имущие, — ну, кто? Короли, диктаторы... А где нет королей? Там президент... нет, в Америку ехать невозможно, а во Франции — лучше премьер. К диктатору в одной далекой стране тоже не доехать, и Леонид решил ограничить себя Францией и Бельгией (близко), может быть, Англией... Дело в том, что у него только и было 600 франков, денег он не мог же просить, раз еще не имел плана?.. По совести не мог.

Стиснув зубы, с мучительнейшим чувством непонятного стыда, Леонид приступил к исполнению задачи, которую себе задал. Те, кого он наметил, приняли его (не могли не принять), отвечали ему (не могли не отвечать), а Леонид слушал, теряясь от мысли, что они смотрят на него, как на сумасшедшего, на проходимца, на шпиона, и ничего бы не говорили, если б не были принуждены к тому его просьбой; слушал — и ничего не понимал. «Потом разберусь», — и шел домой, и не разбирался.

Случилось, что приехал в Париж король одной небольшой европейской державы, инкогнито. Узнав об этом, Леонид тотчас же, с автоматической поспешностью, бросился к нему. Он уже выработал приемы, как добираться до намеченного человека, самого недоступного; тут оказалось и совсем легко. А, главное, попал ли он удачно, «властитель» ли был попроще, но у Леонида от него в ушах не зашумело; в собеседнике, хоть и принужденном отвечать, почувствовал он к себе какое-то человеческое сочувствие. Собеседник, видимо, старался понять, чего хочет от него этот тихий, русский, с большими, детски наивными, грустными, но совсем не сумасшедшими глазами. Так и не понял, конечно, зато Леонид понял, наконец, вещь очень простую, которую следовало бы ему знать с самого начала, и стыдно было не знать. Вся его выдумка — к «властителям» европейских стран обращаться, была именно дурацкой выдумкой. Никаких «властителей» здесь нет, и любое отношение любого из так называемых — ровно ничего не значит, не стоит и никаких результатов дать не может.

А дома, вечером, когда ошеломленный этим Леонид пришел в себя, его ждал новый удар. Ну, хорошо, глядел дурак и не видел такого «дважды два четыре». Воображал, что дело обстоит иначе. И полез к «властителям». С какою целью? Отношение к России выпытывать? Да для задачи-то, на что ему нужно то или другое отношение?

«Нет, врешь, — с яростью шептал себе Леонид, бегая по комнате. — Правде своей в глаза гляди, отвечай. Ты к помощи их подбирался; попрошу, мол, подпишите приказ о мобилизации (отказа ведь не будет), ведите ваш народ против России. А если б они могли, как я воображал, фактически могли сделать, чтоб народ пошел? Ведь была бы война, вот чего я хотел, вот к чему я хотел принудить, толкнуть к чему. Дар свой на какое насилие употребить. В проклятых руках моих вот во что он обращается!».

Леонид повалился на кровать ничком. Память войны встала перед его совестью. Нет, нет, к этому он не прикоснется. Ни одна капля крови, все равно чьей, из-за него не будет пролита. Кроме своей, впрочем. На это он готов. Умереть — да, если будет нужно. Но не убить.

Леонид решил ехать в Россию.

* *
*

Последняя ночь в вагоне была довольно мучительна. Поезд простаивал на станциях, и даже без всяких станций, по два, по три часа, отопление давно прекратилось, и холод в вагоне был собачий. «Voltchy!» — бормотал один из спутников Леонида, немец, хваставший, что «корневым» образом изучил русский язык. Немцы, — их в группе было человек шесть, — бранились и возмущались «порядками» почти что одни, и не стесняясь; может быть, потому, что большинство было не туристы, а деловые люди, и чувствовали они за собой какие-то права. Два американца и датчанин держались равнодушно, молчаливо и несообщительно. Между тем, только у немцев имелись настоящие шубы, и вряд ли им так холодно, как туристам и Леониду в его дешевом берлинском пальто.

Леонид холода, впрочем, не замечал. У него и внутри все точно застыло: не слышал, как шевелится сердце и едва следил за медленно проползающими холодными змеями, — мыслями. Ничего, это хорошо, это спокойнее.

Недели в Париже, перед отъездом, он странно провел, и сам был странен: в нем появилась какая-то смесь ловкости, изворотливости, быстрого соображения и — тупости, тупого упрямства, недогадливости. Таковы были и действия его. Он едва-едва не провалил своей поездки в Россию, — да ведь как глупо! Поехал бы все равно, но знал же сразу, что въехать, как сейчас, легально, — лучше. А сунулся не туда, куда следовало, опять бесцельно прилагая дар свой. Сунулся в полпредство парижское за пропуском. Но только что вошел в громадную, темноватую прихожую-сени с тяжелыми дверями направо и налево, с двойной лестницей, убегающей вверх, как наплыл ему на глаза розовый туман, мелкой дрожью внутри что-то задрожало, и он захватил себя на дикой мысли: сейчас попрошу главного собрать всех, кто здесь чекисты, а их попрошу немедленно в Москву уехать, в Москву и не возвращаться!

Когда, вовремя успев опомниться, повернулся и вышел (никого, кроме обалдевшего швейцара, так и не увидав), явилось разумное соображение (без нового опыта не явилось бы): да ведь никто из этих физически не может дать мне годного пропуска! Дал бы вздорную бумажку, соврал бы, а сам телеграммы, так что дрянь вышла бы глупая и ужасная! А чекисты в Москву — глупость, глупость!

Тут же смекнул, что самое лучшее — присоединиться, для въезда, к партии иностранцев, и это сделать можно. Скорее всего (а надо скорее) дело выйдет в Берлине. Он никого не знал в Берлине, но и тут ведь не знал? Новоприобретенная изворотливость и неутомимость помогут.

Теперь – деньги. Денег, для простейшего его плана, требовалось немного. Все-таки было в этом невероятно мучительное. Решил почему-то: во-первых, – не просить у русских; во-вторых, – просить в долг, под расписку. И лучше всего найти человека с шалыми деньгами, такого, которому все равно, даст и забудет. Леонид не забудет, это для него долг чести; на последний случай оставит здесь письмо...

Он у Ritz'a. «Прошу вас сказать мне, у себя ли миссис Кнодль?». Миссис Кнодль, в вечернем голубом манто, как раз спускалась к выходу: ехала в театр. Какая великолепная женщина неизвестного возраста!

– Я прошу у вас пять минут разговора наедине, – сказал Леонид на недурном английском языке (как хорошо, что он знал языки и не забыл!).

Миссис Кнодль молча повернулась. Они вошли в соседний пустой салон.

– Я прошу вас, миссис Кнодль, дать мне чек на 500 долларов. Я прошу не для себя, а на дело, которое считаю очень важным. И прошу заимообразно, – вы получите расписку, но все равно, это мой долг чести. Если к 13-му марта меня не будет в живых, вы получите объяснительное письмо. Прошу, если можете, верьте мне.

– Хорошо, – сказала нарядная женщина, всматриваясь в юношеское лицо Леонида с розовыми пятнами на щеках, в глаза, прямо смотревшие на нее. Расстегнула блестящую сумочку, вынула стило, книжку чеков и, присев к столику, написала нужное.

– Вай! – сказала она, протягивая Леониду бумажку. – Я могу верить, как вы просите. Расписки не надо, я все равно потеряю. А, может быть, вы хотите поехать сегодня со мною в театр?

Леонид покачал головой.

– Нет. Терпеть не могу. Лучше потом, после 13-го, – прибавил он и по-детски улыбнулся. – Да? когда я вернусь... если вернусь.

Она тоже улыбнулась и подала ему руку, которую Леонид, низко наклонившись, поцеловал.

И все. В Берлине Леонид скоро устроил дело, как хотел. В последнюю минуту только рассудил, что и половины денег м-с Кнодль ему довольно, – другую половину оставил в «объяснительном» письме – на последний случай.

И теперь, в морозную ночь, в замерзающем поезде, и сам внутренно замерзая, Леонид находился на пути в Петербург, – в «Ленинград». По паспорту он был Ганс Форст, но об имени уже не заботился. Главное было сделано.

С первым отходящим из Петербурга поездом, – вечером, вероятно, – он выедет в Москву.

*   *
*

Вздыхая и шипя, подтаскивался поезд к Петербургу. Было еще рано. «Середина февраля», – мельком подумал Леонид, прикидывая по старому стилю. «Уж свет должен быть». Он и был, но такой странный, точно не свет. Весь на темно-серой подкладке. Ночью, в поезде, казалось – мороз, но какой мороз под таким светом, под таким небом. Неба, впрочем, Леонид не видел, небо точно вовсе отсутствовало.

В том же холодном полусне, в каком провел ночь, Леонид глядел на медленно закручивающиеся назад плоскости, покрытые тонким слоем сероватого снега, то гладкие, то с торчащими на них темными возвышениями, – деревьями, строениями, – не разберешь. И все равно: может быть, полусон, а может быть, и совсем сон, – не хочется очнуться.

Леонид даже не думал, что этакое найдет на него от одной близости Петербурга. Сначала в Берлине он подосадовал, что группа едет через Петербург, а потом ничего: потеря суток – не великая; то, что сделать нужно в Москве – так кратко, а он увидит Петербург. Леонид родился в Петербурге. С трех лет жил у тетки, родной сестры отца, которого не помнил (мать умерла еще раньше). Тетка его, кажется, любила, он ее не очень, но все шло хорошо. Дом был скучный и тонный. Дружил он только с Ганей, двоюродной сестрой, на год старше его. До гимназии (а поступил он прямо в третий класс) были совсем неразлучны, с ее гувернантками он и языкам научился. После, конечно, когда она взрослой барышней сделалась, уж не то... Да и война; Ганя в госпиталь, в Царское, пошла работать. А Леонид, сразу, из гимназии, хотел, было, в юнкерское, – не успел. В восемнадцать лет он уж на юге, там, среди огня и крови... Не надо вспоминать.

Случайно, вдолге, уж на Балканах, слышал, что тетка будто умерла. О Гане ничего не слышал. Да и мало думал о ней, сказать правду. От всего прежнего отделяла его плотная полоса розового тумана.

Снилось ему, однако, часто, что он возвращается в Петербург. Но никогда не был этот сонный Петербург прежним, или даже таким, каким видел он его в последние месяцы. Совсем другим, ни на что не похожим, неясным, но противным. Неприятный был сон.

Вышли из вагона на платформу кучей. Леонид рассеянно взглянул вокруг, не узнавая вокзала, хотя это был тот же самый, с которого он сотни раз ездил на дачу. Кучку приехавших кольцом окружили какие-то люди, военные и штатские. Были между ними и женщины. Говорили что-то, спрашивали, требовали. Леонид смотрел безучастно. «Я знаю русский! У меня все есть! Пошли, пожалуйста», – протестовал немец в шубе. Только когда двинулись к выходу, все вместе, и Леонид почувствовал, что кто-то вырывает у него из рук маленький его чемо-

данчик, бормоча по-немецки об автокаре, о гостинице для высоких туристов, о гиде, — он произнес, оглядевшись, и, машинально, тоже по-немецки:

— Bitte, прошу вас, оставьте меня в покое. И вас прошу, и вас, — обратился к другим подбежавшим. — Я не поеду в автокаре. Я желаю идти один. И прошу желанию моему содействовать. За мной прошу не следовать.

От него отступили. Но едва он сделал несколько шагов, как столкнулся с другой, новой группой людей, которая остановила его, что-то крича уже по-русски. Пришлось немецкую тираду повторить по-русски. Чтобы слышно было дальше, он выговаривал слова раздельно, громко, отчетливо; нехотя вышло — как бы по-иностранному. «Немец, ну его!» — тихо сказал кто-то около него, точно оправдать хотел свою уступку, исполнение Леонидовой просьбы.

— Прошу вас остаться на месте и минуту помолчать! — возвысил голос Леонид.

Они остались. Эта просьба уж совсем звучала приказаньем. Леонида скрыла серая общая толпа, и он успел, наконец, выйти на улицу, под паучий утренний свет.

Полусон продолжался, хотя Леонид в то же время, если не сознательно, то инстинктивно весь внутренно был собран, весь настороже. Прямая улица, желтовато-снежная, была почти пуста. А кто шел по ней, — так был не похож на него, Леонида, что он тотчас почувствовал: незамеченным не останется. Бояться он мог только неожиданностей; смутное, новое ощущение страха невнятно говорило ему, что здесь именно неожиданности-то и подстерегают.

Зрительная память как будто изменяла: глазами он еще не узнавал ни улицы, ни домов; зато ноги твердо помнили путь и вели, куда надо. Леонид мельком подумал, не пойти ли прямо на Николаевский вокзал? — Николаевский ли он? Там ли еще? И увидел себя уже идущим точно по Загородному. Как он, Загородный, ни называется, путь все же верный.

Людей стало больше. Они скользили, в полусумеречном свете мимо приплюснутых домов, по желтоватой кашице, покрывавшей землю, скользили молча, и вокруг стояла странная тишина. Звуки легкие, — шелест близких шагов, тупой и мокрый стук лошадиного копыта, — углубляли ее; а вырывавшиеся из тишины, — визг полоза, далекий человеческий вскрик — удивляли. Когда проехал автомобиль, — Леонид даже вздрогнул.

Скользившие мимо люди, стали ему казаться тоже, как дома, приплюснутыми и, почему-то все на одно лицо. Главное же — совершенно чужими, более того, — чуждыми, как люди незнакомого племени. И

даже, вероятно, враждебного. Леонид заметил, каким взглядом, исподлобья, окидывали его иные и даже будто в сторону шарахались. Но вот, прямо навстречу ему -- плотная кучка парней, одеты – не разберешь: сборное что-то, развихляное, коричневатое, под стать шоколадной кашице на земле. Эти шли не молча, громко говорили между собой, махали руками, и шли так прямо на него, что Леонид, чтобы пропустить их, прижался к стене.

Проходя мимо, они заговорили еще громче, обернули к нему лица (опять точно все одинаковые!). Говорили по-русски, но что они говорили и о чем – Леонид не понял. Похоже, что о нем; один со смехом даже большим пальцем кивнул через плечо в его сторону, – однако Леонид слов не понял. Змейка безотчетного страха пробежала по телу. Пробежала – исчезла, едва коснувшись сознания.

Парни прошли мимо. Глаза Леонида, скользя вокруг, почти без любопытства, вдруг остановились на чем-то знакомом. Да хвосты! Черно-пятнистые ленты «очереди», извилистые и неподвижные. Неподвижнее, что ли? Тише? Не знал.

Ноги довели его до угла, за которым Леонид повернул направо. «Невский», – подумал он, оглянув широкое, коричневатое пространство. Оно шевелилось, там, здесь. Вот, посередине двигается темно-серое, густое пятно. Люди, в долгополых, до пят кафтанах... нет шинелях, плечо к плечу, бодро шагают, разбрызгивая кашицу. «Ах, солдаты!» – подумал Леонид, и уж не равнодушно, и без страха, а с внутренней дрожью отвращенья, – перестал смотреть, отвел глаза.

Очутившись на знакомой площади с тяжелым памятником и вокзалом, он и ее, внутренно, как бы не признал. Было уже около полдня. Леонид почувствовал, что голоден. Вспомнил: есть специальные лавки для иностранцев, где можно достать нормальную пишу. «Хорошо бы, да где искать, чуть ли не на Морской лавка, далеко», – подумал он, не замечая, что уж искренно считал себя иностранцем. «Ну, пока – на вокзал, чего-нибудь дадут».

При нем были только его доллары. На границе их принудительно отбирают, меняют. Он это знал; приготовился и, ловким манером, шепнув вовремя тому, другому, третьему свое «прошу вас», – доллары сохранил. Тогда не удивился, но теперь почему-то стало ему казаться, что была удача, что мог и не вывернуться.

На вокзале он, без намерения, заговорил опять отчетливо, даже запинаясь иногда, как выучивший русский язык иностранец. Все, что было можно там получить, -- скверный кофе с какими-то темноватыми сухими лепешечками – он, конечно, получил. А когда сказал, что заплатит долларами, то, по испуганно-счастливому лицу и шепоту, понял, что его принимают за важного американца и дали бы, пожалуй, то

же и без заветного «прошу вас». Московский поезд отходил в восемь часов. С билетом, который Леонид захотел приобрести немедленно, вышла, было, заминка. Не тех стал просить. Но сейчас же подвернулся и нужный человек. И самый наилучший билет был у Леонида в кармане, когда он вышел опять на площадь.

Кофейная водица с лепешками все-таки подкрепила его, согрела тело; но полусон не проходил, стал лишь сквозистее; и тупость в мыслях была та же.

«Куда теперь, до восьми-то часов?» — лениво подумал он. Ничего не хотелось. И бродить по этому чужому городу не хотелось. Однако пошел; просто пошел, как бы никуда, — куда ноги поведут.

Ноги и повели. Остановившись около разваленного дома (новый, что ли будут строить?), Леонид заметил, что широкая улица эта могла быть когда-то и Литейным. Затем ноги повернули налево, в улицу более узкую, с такими же молчаливыми, без лавок и вывесок домами, как везде. Иные были, однако, заново раскрашены в весело-грязные тона. Леонид и раньше уж где-то приметил подобную раскраску. Да какое ему дело? Вдруг ноги остановились. Улицу пересекала другая. На противоположном углу стоял дом, не особенно высокий, хотя пятиэтажный; такой ветхий, что новая краска на нем не держалась, и был он цвета неизвестного, пегий. Леонид долго и задумчиво смотрел на него, пока из темных глубин сознания медленно что-то выплывало и выплыло: дом был тем самым домом... нет, подобием того самого дома, где Леонид жил, когда был Петербург; отсюда он ходил в гимназию (совсем близко!), отсюда уехал и на юг, — чтобы не возвратиться. Вот, все окна третьего этажа, на обе улицы, точь-в-точь окна их квартиры. С фонариком, на углу, — гостиная... А два дальних окна — Ганина комната.

Ганя! А ведь она, может быть, жива? Тетя Миля была старая, а Ганя — его, Леонидова, ровесница... Память, точно обрадовавшись, вдруг нарисовала перед ним, и преясно, Ганю; и девочкой, и, потом, большой; их игры, их размолвки. Странно! Давно все это забыл, как в омут ухнуло. А теперь — не угодно ли? Очень странно.

Удивляться, впрочем, не стоило. Или все, сплошь, странно; везде, — и вокруг Леонида, и он сам, стоящий перед подобием своего дома, странен, — или ничего нет странного; все возможно и обыкновенно. Возможно, например, что войди он сейчас в этот дом, спроси Ганю, — Ганя там и окажется. Почему это странно?

Двинулся, пересек улицу наискосок, вошел в подъезд. Лестницу не узнал, но подобие было. Дверь — тоже подобие; белели на ней какие-то записки, — Леонид не читал. Быстро позвонил и тут же заметил, что дверь не заперта. Хотел толкнуть, но за дверью послышался шум, тяжелое отхаркиванье, потом она приотворилась.

— Кто там? Кого? — прохрипел мужской голос.

— Прошу вас, пожалуйста, — начал Леонид, не замечая, что говорит не только отчетливо, а уже почти подражая иностранному акценту, — скажите, прошу вас, не живет ли здесь госпожа Шервинская?

— Не живет, — решительно сказал «тип», отворивший дверь (Леонид так и подумал о нем — «тип»). — Да вы от кого? Здесь никаких госпожей не живет, имейте в виду.

— Тогда не знаете ли где она? — настаивал Леонид. — Скажите, прошу, знаете, или нет? Шервинская, Галина Александровна?

— Нет. Не знаю, где она, — твердо произнес тип. — Не знаю.

За спиной его в это время собралась кучка. Кто-то выглядывал из-за плеча типа, кто-то из-под руки. Разные голоса слышались: «Да кого это?», «Что нужно?», «За кем?».

— Что за кем? — неожиданно рассердился Леонид. — Я прошу сказать, если кто знает, где Галина Александровна?

Голоса испуганно загудели. Начался будто спор, даже перебранка. Но, очевидно, никто не знал. Вдруг просунулась на порог толстая баба с засученными рукавами: «Какая Алина вам?» — проговорила она с явной опаской, почти злобной, но с любопытством. «Чубариха, что ль? Чубариха не здесь, в десятом номере, на этаж вам подняться». Кто-то сказал басом: «Что вы врете? Чубариха — Марина!». «Сами врете!» — разъярилась первая баба. «Марина! Такой и не было! А Чубарова в десятом — это верно!».

— Успокойтесь, пожалуйста, — произнес Леонид. — Я поднимусь в десятый. Заприте, прошу вас, дверь.

Дверь щелкнула. Леонид побежал по лестницы выше. В его доме, выше, жила «тогда» знакомая семья, в квартире, почти такой же по расположению. Здесь Леонид нашел дверь совершенно распахнутой. Слышен был шум, гам, какие-то неясные звуки; над всеми ними — неистовый звонок телефона.

— Чего вам? К кому вы? — накинулся кто-то на Леонида в передней.

Гам затих. Зашлепали туфли, захлопали двери.

— Скажите, прошу вас, Галина Александровна здесь?

— Как? — недоуменно спросил голос из темноты.

— Или Чу... Чубарову я прошу.

— А-а. Его дома нет. Вы от кого?

В коридоре зажглась слабая лампочка. Из ряда дверей («и откуда их такое множество?» — удивился Леонид) высунулись чьи-то головы. Перед Леонидом стоял сутулый, седоватый человек в серой рубахе под расстегнутым пиджаком.

— Я прошу вас... — начал Леонид. Человек съежился, обернулся, крикнул кому-то: «Вот, к Илье Абрамовичу пришли!» и тотчас, зорко окинув Леонида взглядом, скрылся в одну из ближайших дверей.

В коридор вышла женщина, с закутанной головой, и спросила Леонида простуженным голосом.

— Вам что? Нету Ильи Абрамовича.

— Скажите, прошу вас, — повторил он свое, — знаете ли, где Галина Александровна... Шервинская?

Леонид стоял прямо под лампочкой. Она слабо золотила его волосы.

Женщина подошла ближе, подняла глаза. Прохрипела: «Знаю» и в ту же минуту дернулась назад, чтобы уйти. Но Леонид схватил ее за руку.

— Прошу вас, проводите меня к ней, если недалеко. Прошу вас, слышите?

Не вырывая руки, женщина молча пошла с Леонидом по коридору и толкнула одну из дверей. Леонид заметил только, что узенькая комната вся была загромождена, и не мебелью, а Бог весть чем, какими-то корзинами, кучами тряпья, всяким хламом. Только у окна, через грязные стекла которого шел бледный свет, было чище; там, на деревянном столике, лежали растрепанные книжки.

Женщина присела на единственную постель, кое-как прикрытую серым одеялом. Взглянула направо, налево. Потом быстро наклонилась к самому уху Леонида, сидевшего с ней рядом, и, обдавая его кисловатым запахом старой шерсти, кухни и нездорового человека, едва слышно прохрипела: «Леня, ты нелегально, ты белый; ты погубить нас пришел? Уйди, сумасшедший, проклятый. Уйди».

Леонид понимал, что эта женщина, пожилая и желтая, с закутанной головой, так что из-под серого платка виднелся, главное, сухой длинный и бледный нос, — что это Ганя. Но совершенно так же отчетливо и полно — не верил, что это Ганя. Подобие его могло еще смутить: но здесь не находил он и подобия.

Женщина, все также озираясь, продолжала шептать:

— Илья Абрамович партийный. Да чистка будет. А теперь, что будет? В заграничном пальто его спрашивали. Да еще я, как дурища, в комнату повела, сама не знаю...

— Ты за меня не бойся, — проговорил Леонид, не совсем ее понимая. — Я иностранец, да и так в полной безопасности.

— Тише, тише... — прошипела женщина, закрывая ему рот рукой. — Иностранец! Того чище! А какие разговоры у партийного человека с иностранцами? Зачем иностранец в частную квартиру к партийцу лезет? Я тебя знать не знаю. Уходи, а то крикну сейчас на коридор, что ты самовольно. И милиция недалеко.

— Прошу тебя не делать этого. Да что ты шепчешь? Мы одни.

— Уходи, — злобно проскрипела женщина. — О-о! Карлушка мой сейчас придет с пионерского, увидит, тогда уж пиши нам пропал. Да все равно, все на коридоре видели, донесут... О-о!

— Я ухожу, прощай, — сказал Леонид, поднимаясь. — А ты не бойся, я их попрошу...

В ту же минуту понял, что говорит пустяки. Попросит? Кого? Всех, кто его видел? Но как узнать именно тех и всех, кто видел? И где их отыскивать? По комнатам ходить? В нижнюю квартиру спускаться? Да о чем и просить? Чепуха, чепуха! В первый раз почувствовал он бессилие — своего дара. Что женщина заботится не о нем, а о себе, — это он уже понял. Было жалко ее очень.

На пороге остановился, обернулся.

— Не нужно ли тебе денег? У меня доллары.

В миг женщина была около него. Блеснули глаза; руки, которыми она стала поправлять платок, у нее затряслись.

— Шш... Нельзя. Если видели, сейчас дознаваться... откудова? Ну да может... Илья Абрамович как-нибудь... Давай уж, давай.

Леонид сунул ей бумажки, сколько захватилось, и вышел в коридор. Любопытно-испуганные лица опять высунулись из дверей по сторонам. А с порога дальней двери несся за ним хриплый, но теперь нарочито громкий голос женщины: «И дожидаться нечего было. Илья Абрамович к вашей специальности безо всякого отношения... В Орзовуч обратитесь, может, там сведения дадут. А Илья Абрамович совершенно ни при чем, вы же ему неизвестны...»

На площадке лестницы Леонида толкнул с грохотом бегущий мальчишка. Лет семи, низкорослый, испитой, гологоловый, в громадных, скорежившихся башмаках, грязный, а все-таки хорошенький. С полминуты изумленно смотрел на Леонида (заграничное пальто опять), потом скорчил гадкую гримасу, дрыгнул ногой, протрещал что-то, — не то поговорку, не то частушку, или так, — слов Леонид не понял. «Карлуша!» — крикнул кто-то из коридора. Это было последнее, что донеслось оттуда до уходящего Леонида.

* *
*

«У меня жар, кажется», — поморщился Леонид и опять прилег на диван. «Вот некстати! А которое сегодня число?».

Но число его, в сущности, не беспокоило. Простота плана, на котором он остановился, еще с Парижа и о котором уже не позволял себе размышлять, дотрагиваться до него мыслью, — эта простота времени не требовала. А до первого марта (по-старому) было еще далеко. Лишь бы не заболеть. Вот это скверно.

Он уже в дороге почувствовал себя не совсем хорошо. Не знал, как поступить: сразу ли приняться за решенное дело, кончить пока не разболелся (а там ведь все равно), или отдохнуть дня два, может — обойдется, и тогда уж...

В конце концов решился на последнее. В Москве, на вокзале, держал себя обыкновенным туристом-иностранцем, предъявил свои бумаги (они были у него очень хорошие), позволил двум каким-то, вроде гидов, отвезти себя в гостиницу (довольно недурную); к «просьбам» прибегал, конечно, но в необходимых случаях: «гидов» своих просил, например, оставить его действовать так, как будто они его забыли; удостоил объяснить, что нездоров, хочет пока отдохнуть, посидеть в номере. Эти, конечно, послушались, но все время лезли другие, которым приходилось каждый раз повторять то же.

Леонид уж хотел внизу, в гостинице, «попросить», чтобы к нему не пускали никого, — да стал соображать, не хуже ли выйдет: не пускающих не послушаются, еще арестовывать их начнут (что здесь невозможного?) — и начнется. Бог знает, какая катавасия! Нет, надо потерпеть. А тут еще жар! Только бы не разболеться.

Но жару не было, хотя чувствовал он себя очень плохо. Уж не петербургский полусон, душевная и телесная замороженность, — что-то другое стало медленно наваливаться. Не разбирался, только все тело его тосковало, а внутри было пусто, словно вынули сердце.

«Нельзя же так, нельзя», — уговаривал он себя, лежа на вытертом красном бархате номерного дивана. «Если я болен, простудился, — ну позвать доктора, порошков попросить, переждать... А если не простуда, то нельзя. Нечестно, подло. Да в чем дело?».

А дело и было в этой пустоте, непонимаемой, но все время ощущаемой как свежая и открытая рана. Леонид, подобно почти всем людям, глупым и умным, маленьким и большим, дурным и хорошим, носил в себе целую ткань вер, и этими верами, главное, и жил. У каждого они свои веры, в тесном, тоже своем, соединении; поэтому опасен всякий прорыв на ткани: сейчас около — другой, за ним третий. И все может оборваться, кругом клочками повиснуть. Тогда бывает, как с аэропланом, у которого двигатель остановился, умер: либо сразу падение, либо медленный, уже бездушный, спуск вниз.

Каковы ни были у Леонида его веры — почти все для него смутные — одна потверже, другая послабее, одна поярче, другая потусклее, детски-наивная, глупенькая, рядом с разумно-простой, — но они у него были, и так или иначе, им двигали. А теперь, ощущая всей тоской своей прорыв, изумляясь и теряясь перед овладевавшей телом недвижностью, он мучительно доискивался, — в чем дело? Потерялось что-то... Но что? Когда?

Петербург. Люди, улицы. Ганя... Усмехнулся: Ганя! Усмехнулся холодно, мертво. Все вместе вспомнилось, а вот эта, главное, чуждость всего и всех ему. Незнакомый, да еще подобиями гримасничающий, город, незнакомое и неинтересное племя. Ни интереса, ни любопытства — именно от этой совершенной чуждости, далекости... навсегда.

Острая боль заставила вскочить его с дивана. «Я с ума схожу! Ведь я ничего не знаю, ничего не видел. У меня дело, я за делом приехал, а это все случайные, отрывочные, ну, неожиданные, конечно, впечатления. Очень они важны! Это — Россия, мой народ, мое, мое племя, моя земля, и свет над ней небесный — мой, какой он ни на есть. Россия в плену, в страдании. Я не видел, да я ровно ничего не видел, но я знаю! А дело-то мое? Желанье-то мое первое, ради которого я сам и дар выбрал! По разумению и сердцу ехал, с даром с этим, Россию мою освободить. Верил, что хочу, что так можно, что сумею, что хочу! хочу! хочу!».

Голова болит. И пол точно уплывает из-под ног. Невнятно шептал он себе эти слова, слушал их, и нехорошо усмехался. Россия, как слово, была знакома и привычна, но, как ощущал он ее всем собой, — кожей, дыханьем, — продолжала оставаться чем-то чуждым, совсем отдельным от него.

«Где же я? Я-то сам?» — спросил он себя почти с ужасом. И ответил, — по правде, по совести, как всегда отвечал себе: «Нигде». Уж не пол — земля уплывала из-под ног.

Теперь, с этой потерей, на чьей бы земле он ни оказался, — он все равно будет — нигде.

Усмешка опять скривила губы. «Жилец мирового пространства! C'est du joli!» *. И так не шла к нему эта усмешка, эта ирония, что будто подменил его кто-то; даже лицо сразу постарело.

«Ну-с, прекрасно, к черту меня со всеми моими "переживаниями", новыми или старыми. Главное — новыми. На ключ! Пусть хоть подохнут взаперти. А с чем ехал, как думал, то надо исполнить. Когда бы в долг ни взял — отдавай. И что получил — плати. Рассуждать не приходится».

В дверь постучали и прежде, чем Леонид, все больше играющий зачем-то роль иностранца, крикнул «herein!» **, — вошел лысый, грязноватый лакей, — «служащий». Он чаще других являлся, и все неожиданно. Леонид и не дослушал, что тот ему предлагал, крикнул:

— Я сказал — не надо, ничего не надо!

Лакей не ушел, настаивал, про чай что-то завел, про закуски...

* Это так хорошо (*фр.*).

** «войдите» (*нем.*).

— Не надо, не надо! Я болен, в постель ложусь!

Тут только, опомнившись, видя, что лакей и не думает уходить, прибавил тише:

— Уходите, прошу вас.

Очень медленно лакей повернулся и медленно вышел. Так медленно, что Леонид успел подумать: «А вдруг не уйдет?». В первый раз такая мысль пришла в голову. Испугался. Что это? Уж не теряет ли веру и в дар свой? Дар не обманывал; но... разве не могло быть иногда и просто случайности?

Леонид терял не одну эту веру, такую важную. Но всех потерь не видел еще. Только в постели, когда старался обдумать в самых реальных подробностях предстоящее на завтра «дело», — оно казалось ему все труднее, все сложнее и... нелепее.

* * *

Автомат, состроенный для выполнения определенных действий, точен и верен, как никогда не будет точен человек. Если представить себе, например, почтальона, который в такой-то час отправляется разносить пакеты по таким-то домам: можно быть уверенным, что с дороги он не сойдет и минута в минуту протянет стальную руку к такому-то ящику и опустит туда именно этот, а не другой пакет.

Вот беда, однако: идеальный почтальон вряд ли совершит благополучно свое даже первое путешествие: он, как всякий автомат, будет неловок. Неловкость не зависит от несовершенства механизма; неловкость — коренное, неотъемлемое его свойство; чем совершеннее он и чем сложнее его функции, тем вернее его гибель от полного отсутствия ловкости. Малейшее непредвиденное изменение в окружающей обстановке, случайное препятствие, которое можно бы обойти, но автомат обойти не может, — и беда: если не разбито препятствие, живое или мертвое, — разбит почтальон.

Проснувшись утром от луча солнца из незанавешенного окна, Леонид подумал: «Сегодня», и зевнул. Он чувствовал себя ни хорошо, ни плохо — никак. От вечерних мыслей, да и от всяких вообще, — ничего не оставалось. Точно и в самом деле запер он их на ключ. Сегодняшний день был днем, когда Леониду предстояло совершить известное действие. Действие это было задумано, обдумано ранее — и решено. Теперь конец, ни на какие пересмотры Леонид уже не способен. Разве детали проверить, выпавший винтик вставить.

Этим он машинально и занялся, старательно умываясь и одеваясь и потом, сидя за кофеем, который попросил принести в номер. Приходил вчерашний лакей, приходили опять «гиды»; чтобы сократить

объяснения. Леонид обвязал горло платком и хрипловато просил оставить его в покое, так как он еще болен.

Времени, впрочем, было достаточно. Выйти надо не раньше, чем начнет смеркаться. До Кремля рукой подать, на переговоры-просьбы, — ну, полчаса, в общей сложности, вот и как раз. А побродить раньше по Москве, посмотреть, ему и в голову не пришло. Если б пришло, — только поморщился бы. Москва его глубоко не интересовала. Он ни вчера, ни сегодня к окну даже не подошел ни разу, на улицу не взглянул. Особенно не хотелось Москвы потому, может быть, что он ее знал, часто бывал, а по веснам, перед каникулами, и живал. Гостил у Сережи Рокотова. Этот Сережа, единственный близкий друг, не вспомнился ему здесь ни разу. Тенью только маячил за сознанием, — в память Леонид его не пожелал впустить. Еще вспомнилось бы, как Сережа, почти рядом с ним, пал сначала на колени, потом ничком, а он, Леонид до того обезумел, что выстрелил в красноармейца, который убил Сережу. Красноармеец убежал, впрочем... Вот когда Леонид присел прямо около Сережи на корточки, силясь поднять или хоть повернуть его тело, и когда увидел, вместо лица, кусок кровавого мяса, — тогда, должно быть, и понял он окончательно... что? Но он не знал, тогда ли, да и теперь это все равно.

Леониду было даже не скучно — сидеть так, ничего не делая, ни о чем, решительно ни о чем, не думая, иногда проверяя, перебирая винтики, — все, кажется, на местах, какие знал.

Обед тоже попросил в номер. Неважный обед, ел, как будто, но ел и, кажется, усмехнулся мимолетно: «Надо же машину подмазать!».

Не размышляя, не думая ни о чем, он не думал и о своем сегодняшнем автоматизме. Но глухой страх, где-то в живой еще части души, шевелился. Страх перед бесчисленными и неведомыми опасностями, которые грозят делу, автоматически совершаемому, и которых именно потому, что оно совершается автоматически, ни учесть, ни избежать нельзя.

Стало смеркаться. Леонид оделся, не спеша. Из гостиницы ему удалось выйти так, как он рассчитывал, да случайно и не встретил почти никого по дороге, — не было ни того лакея, ни гидов; так что и с просьбой не к кому было обращаться.

Но на улице противно — глухое ощущение невидимых и непонятных опасностей еще отяжеляло. Двигался, уж совсем ничего вокруг не замечая, не видя; ни даже земли, — камней, покрытых грязью, — под ногами. Шли люди; но он чувствовал, — не все идут просто, а кто-то идет за ним, именно за ним, и что идет это опасность, а средств защиты от нее нет; она невидима и неосязаема. Не обернуться же, не крикнуть же всем, сплошь просьбу, чтобы они остановились, не шли по тому

4 Зак. 4570

направлению, по которому он идет? Соображенье подсказало ему всю нелепость и, даже не бесполезность, – опасность такой выходки.

Уже сильно темнело. Леонид в слепой тоске, сам не ожидая, свернул вдруг в сторону от Кремлевских ворот и пошел, по грязи через улицу; даже через площадь, кажется. С ним рядом, или сзади, шли другие. Внезапно, с грохотом и звоном вылетел откуда-то автомобиль и врезался в кучку. Леонида отбросило в сторону, но он удержался на ногах. Из-под автомобиля слышались теперь звериные крики и ровный, на одной ноте, рев. Леонида мгновенно залила и завила ошалелая толпа, со своим ревом окружавшая автомобиль. Как в спасительный омут, инстинктивно нырнул Леонид в толпу; и она его закрыла.

«Случай!» – пронеслось в голове; и страх не отступил, еще отяжелился.

Не отчетливо помнил он, как шли под ним ноги, куда ступали, и как очутился он перед Кремлевскими воротами. Еще меньше помнил, что было дальше. Словно, не сам обращался к кому-то, не сам говорил, другой рядом; а он только слушал этот голос, похожий на его, с иностранным акцентом, сыпавший русскими словами, где постоянно повторялось: «Прошу вас, прошу вас... Да, пропуск, да, но прошу вас... Ганс Форст, да... Я прошу вас...»

Они идут долго, тишина, темнота, какие-то молчавшие люди впереди, какие-то – назади. Вот лестница, двери, огни, другие люди, снова «прошу вас, прошу вас...», и опять люди, уже новые, но так же каменно молчащие, каменно выступающие впереди, уже по коридору. «Прошу вас», – и маленькая дверь отворяется. Темноватая, неизвестная комнатка, круг лампы под зеленым абажуром на небольшом деревянном столе, в зеленоватой тени – невиданное, но знаемое, черноусое, все в бороздах и провалах, лицо... Ганс Форст у цели, у завершения плана, и уже кричит:

– Я прошу вас... Товарищ Сталин... уйдите! Я прошу вас уйти. Прошу вас уйти от...

Последние слова были покрыты пронзительным, захлебывающимся женским визгом; да были и ненужны: гораздо раньше, чем они, и даже второе «прошу вас» прозвучало, – Сталин ушел, вернее, убежал из комнаты.

– Я про... – крикнул обезумевший Леонид, не зная сам, к кому обращается, к визжащей ли в темном углу не видной женщине или к каким-то людям, с топотом врывающимся теперь в комнату. – Я про... – но не кончил слова: в спину что-то его толкнуло, потом тяжелое обрушилось на голову, и он стал падать вперед, теряя сознание.

Еще понял, что его берут за ноги, еще визг звенел в ушах; потом визг оборвался, и мягкая, ласковая чернота со всех сторон накрыла Леонида.

* *
*

Некоторое время чернота была неподвижна, притворялась, что ее нет, так же, как нет и Леонида. Потом, неизвестно когда потом, шевельнулась, но не отступила, а только перестала греть тело Леонида, и это тело почувствовало такой холод, какого никогда не знало. В нем, в теле, до головы добежало вот только одно: «холод», и то гасло, то снова появлялось: «холод», но в этом одном помещалось, как будто, все, что есть и было когда-нибудь в мире последне-ужасного.

Чернота снова шевельнулась, снова облипла тело, но уже не грея, стала душить. И тело опять совсем исчезло.

Однако не навсегда. Появившись, оно в себе не чувствовало, а как будто – около себя, хотя болело совершенно, как свое, чуть не подпрыгивало карасем на сковородке от боли и от неизъяснимого к боли отвращения. Удивительнее всего, что около были и другие тела, другие люди, обыкновенные, знакомые, и они так же болели все, хотя сами-то этой боли не чувствовали, были даже веселы. Мишук, например, заливчато хохотал, не заботясь о боли тела; да, впрочем, тело его валялось, как тряпка, на диване, хохотала одна голова, и было чему: высоко прыгала, а разодетая миссис Кнодль ловила ее, играла, как мячиком. Надо бы крикнуть, предупредить: ведь это вовсе не Мишкина, а Карлушкина голова. Пожалуй, и не голова даже, а Карлушкины сапоги, грязные, с отставшим одним носком. Ганя, совсем закутанная, уже схватила сзади и оттягивает м-с Кнодль от сапогов; щекочет ее, должно быть, потому что м-с Кнодль захохотала сама и говорит по-русски с иностранным акцентом: ах, как смешно! Ах, как комично! На Ривьере туча москитов; но ни один и за пятьсот долларов не согласится никого укусить, это было бы насилие! Ганя вертит головой и подымает то одну ногу, то другую: иначе она ответить не может, у нее под платком нет лица, как у Сережи Рокотова, когда в него выстрелил красноармеец. Впрочем, он, красноармеец, тут же, на этой же самой парадной лестнице, и не убегает, да и зачем? У него все равно тоже нет лица. Рассказать нельзя, как болит это его лицо и вся голова (а он-то и не замечает!), но глупо просить извинения: слишком отвратительна эта боль. Так отвратительна, что необходимо хохотать: недаром же хохочет м-с Кнодль. Если только это м-с Кнодль: ведь уж не хохочет, а визжит: американки так не визжат. Надо поехать с ней в театр; там все выяснится; вот только бы добраться до конца коридора, а то здесь люди в два ряда идут: нижний ряд по полу, а верхний по головам нижних, и очень больно ступают тяжелыми сапогами. Но коридор не кончался, тогда все принялись хохотать; и, сделавшись огромными зайцами, прыснули в разные стороны. Было противно, что, хотя они убегали, но тут же, хохоча, возвращались, и опять убегали, и опять возвращались,

а теперь даже плыли за пароходом, который шел в Англию. На каждой острой волне, подскакивавшей к самому борту, сидело по такому громадному зайцу с одинаковыми мордами, и каждый хохотал, широко раскрывая рот. Рты виднелись очень ясно, пока не стал пароход медленно входить в туман. Хоть лондонский туман оказался не черный, а белый, мягкий и нежный, как вата. В него можно опуститься и, приятно покачиваясь, спать, спать...

И Леонид спал, спал, спал. А когда, наконец, проснулся, то, раскрыв глаза, встретился с глазами неизвестного человека. Человек сидел, не двигаясь, и смотрел на него. Смотрел-смотрел – и вдруг улыбнулся. Тут Леонид заметил, что у него не одни глаза, есть и лицо: худые щеки пошли складками. Около щек висели белесоватые, ровно подстриженные волосы.

– Теперь все на отличный манер пойдет, только будьте добры, – поспите еще немножко, – сказал человек и встал. Леонид успел еще заметить, что у человека одной ноги нет – деревяшка, но сейчас же покорно закрыл глаза и снова заснул.

Второе пробуждение было интереснее: т. е. Леониду было уже интересно, кто этот одноногий человек, который опять был около него, с каким-то темненьким горшочком, и тихо говорил: «Картошка жатая, ничего, поешьте, подкрепиться надо». Леонид стал глотать с ложки, показалось вкусно; запить потом дали чем-то горячим. Попробовал пошевелиться, – ничего; и головой ничего, хотя голова была обвязана.

Уж понимал, что день, что комната, где он лежит, крошечная, с одним низким окном, наполовину завешенным тряпкой.

– Да, все, значит, как следует, – произнес одноногий, улыбаясь. – Попозднее Риша еще чего принесет, сил надо набираться, поторапливаться.

– Я... здоров... – очень слабым, однако, голосом произнес Леонид. – А... Это что? Кто?

– А это мы все потом. Сразу не беспокоиться, так оно в конечном счете скорее будет. Организм же у вас, благодарение судьбе, хороший, крепкий.

И в самом деле: с каждым пробуждением Леонид чувствовал себя яснее и сильнее. Что ни давали есть, – казалось вкусным. Ничего еще не помнил, не вспоминал: легко вздремывал, легко просыпался. Никого, кроме одноногого, не видел; иногда, за стенкой, слышались, впрочем, будто голоса. Одноногий же был при нем почти постоянно.

– Вас как зовут? – спросил Леонид, наконец.

– Александром. Так и зовите, так уж я привык.

– Да вы кто же?

В комнате, и за стенкой, и во всем домике (это, очевидно, был маленький домик, хибарка деревянная какая-нибудь), и даже вокруг него, – была полная тишина. Точно на краю света стояла хибарка.

– Я из бывших священников, – сказал одноногий. – Но я – ничего, я в момент революции уж рясу скинул, сразу народ защищать пошел, вот даже ногу потерял. Это известно. А брат молодой, – тот ответственный работник. И к Главному Управлению имеет отношение. Я считаюсь инвалидом революции, при брате живущим. Мы не из духовного сословия, из крестьянского клана. Вот и живу при брате. Здесь.

– Здесь? – Леонид выпрямился, он уж сидел на постели, и какие-то обрывки мыслей закружились в памяти, – а я здесь... ваш арестант, что ли?

Александр заулыбался, собирая складки на щеках.

– Ну-ну, какой там арестант. Наоборот, можно сказать. Я б вам объяснил, да вы не поймете, конечно. Мы сначала думали, – вы иностранец, по-немецки бредили, а потом убедились, нет, русский. И не здешний, конечно. Трудно вам будет понять.

– У меня был паспорт. Ганс... Форст... – с трудом вспоминая, проговорил Леонид. – И еще было... – прибавил он, оглядывая себя и серую рубаху на себе. – Еще... а где же это?

Александр свистнул.

– Вот, кто ж может знать? Я, извиняюсь, голеньким вас воспринял, как в старорежимные времена ребенка от купели. Без преувеличения. Вам наши чудеса не будут понятны, но чтоб вам не беспокоиться, я вам главные пункты данного означу. Тем более, пора ближайшее будущее определить.

Ни одним словом не прервал Леонид рассказа, который услышал. Силился все понять, потом бросил, слушал, как дети слушают страшную сказку: нужно ли ее понимать? Достаточно верить.

Александр обстоятельно рассказал, что домик этот братнин, на выселках старых, не под самой Москвой, но и не так чтоб далеко. Место еще глухое, хотя недавно, за ложбинкой, завод теперь строится, рабочих много нагнали, кое-где, у постройки, селятся они; кто в землянках, кто в бараках, а кто и в здешних, ближних старых хибарках. Плохи они, да приспособились, далеко только на постройку ходить. Что ж, ребята молодые, комсомол, им ничего. Александру же веселее, что рядом в домишках они порой шумят, забавляются. Риша-то, комсомолка, все это время продукты таскала, надо же больному!

Далее услышал Леонид, что на другой стороне Александрова поселка – совсем глушь, где роща в овраг идет. Туда ночью из Москвы грузовики приезжают. В прежние годы часто, теперь, конечно, реже, и все

в определенные дни. Разница тоже такая, что прежде по нескольку грузовиков приезжало, и долго возились, а теперь один приедет и сейчас почти назад. Оттого, пояснил Александр, что прежде живых возили, пока-то справятся, а нынче в Москве набьют, и, как набьют довольно, то сложат поленницей, брезентом накроют, и гайда. Мертвым, да голым, много ль места нужно, одним грузовиком и справляются. А под овражиной места уж нарытые; неглубоко и кладут, разве снегу больше, ну тогда повозятся.

У него же, Александра, с прежних годов остался обычай: как отъедут, — сковылять туда, поглядеть, что такое. Часто ведь — еще когда живых возили, в спешке не добивали; как же не посмотреть? Не годится. Раскопаешь немножко, а он и застонал. Александр один, конечно, не хаживал; да и подручники и тогда были, а уж теперь-то... ну, да про это после. Так вот, с новым положением, трудно живых ожидать, разве какого наспех, перед самой экскурсией, приготовят, а другие и по неделе ждут там... «Вы второй у меня только за все это время покойник», — сказал Александр, улыбаясь с простотой, с какой и весь свой рассказ вел.

Нет живых, — ну, что ж, все-таки потрудиться, уложить кого поприличнее, землю сравнять... А то и молитву прочесть, по старой памяти, бывши-то священником. Ничего. Уж такой обычай взят, что ж отходить?

И приятельки его любят это. Их много у него теперь. «Как станет известно, что нынче в ночь будут, — брат ли даст знать, или другой, — так и соберемся, и ждем. Ночью грузовик всегда слышно. Если брат дома, не на службе, и он идет». «Так-то мы и вас добыли, голенького, — закончил Александр. — Совсем поверху лежали. Я бы не догадался, приятелька одна, — пари, говорит, держу, батя, — живой!».

Леонид молча смотрел на «бывшего».

— Какие же «приятельки»? — спросил, наконец, хрипло. — Откуда? Не понимаю.

— Не понять, конечно, не зная-то. Вам скажут: комсомол, у нас уже идея готова. Есть, не спорю, всего, уж мы ко всему привыкли. Однако приятельство у меня главное, — все в комсомоле, ни одного так нет. Я знаю, про что знаю, а другие, хоть в телескоп гляди, — никогда не увидят. Их и по дыханью, кому не нужно, не откроет. Мы здесь такие стали, что вам не вообразится никогда. Ну, конечно, и брат тоже, и я сам, — каменная стена.

— И брат?

— А что ж? И он из комсомола. А теперь ответственный, заявил себя. Большую волю имеет. Теперь оно и с руки. Я сам так учил его. Памятливый. Я вот говорю с вами, я уж старый человек, жалею, да и

отправляться вам надо, а брат не то, что вам, — дереву в поле слова не скажет, какого не следует, не в линии. Понимаете?

— Нет еще, — признался Леонид. — Ведь кругом... Ведь разные же. Лежит у вас больной. Неужели не знают?

— Знают, знают, и в те разы знали, и про вас. Вы же и есть брат. И те — брат. Да вы не беспокойтесь, так уж устроено у нас. Брат сейчас на службе объявляет заболеванье и — домой, будто. А сам как камень в воду. Я же, понятно, за больным, за ним будто в этой каморке гляжу. Доктора не зовем, не стоит. Один, давно уж, не выжил, скончался, — ну, схоронили мы его в овраге, с молитвой, ночью. А брат будто выздоровел. Вот какие у нас чудеса.

Леонид в эту ночь думал, что опять разболеется, — так шумело в голове. Рана, хоть зажила, но еще чувствовалась. Она была не так серьезна, впрочем; огнестрельная, на плече, и совсем оказалась пустой, хотя дольше мучила. Теперь зажила и она. Но Леонид не думал, в сущности, ни о ранах своих, ни о себе. Себя он как-то бесповоротно отдал, поручил «отцу» Александру (так выговорилось мысленно: «отцу»). Что он скажет, то с Леонидом и будет, то он и сделает. А скажет непременно. Он понимает. А Леонид — еще ничего. Или почти ничего.

Когда Александр был дома, и один, Леониду позволялось вставать. Даже в соседнюю горницу раз, в сумерки, вышел он. А то Александр скажет: «Вы полежите мало, к стенке отвернувшись, будто спите. Мне отлучиться необходимо. А мои ребята на крылечке, поберегут». И Леонид покорно ложился.

Иной раз слышал и голоса невдалеке, смех; но лишь однажды приоткрылась дверь, и Леонид увидел, сквозь ресницы, заглянувшую к нему девушку в белом платочке, ее круглое, свежее лицо, карие глаза. Кто-то позвал тихонько: «Ариша! Риша!», и дверь закрылась.

— Вот, значит, выяснил я делишки, — молвил Александр, вернувшись как-то к вечеру. — Завтра и провожу вас, и отправитесь.

— Завтра? — оторопело сказал Леонид. — Завтра? Я понимаю, вам нельзя, надо уходить. Только я вам не рассказал еще про себя...

— А это и ни к чему. Никакой нужды нам нет про ваши дела знать. Нам и своих довольно. Мы, что до вас касающе, все исполним, и про это вы меня послушайте, а там уж линия ваша.

— Куда же вы меня отправите?

— Откуда приехали, туда и направим. Только инструкции мои внимательно выслушайте, и чтобы исполнять верно, — труда большого нет. Скажу, в целом, так: человек один в командировку едет, брат же и посылает, а вы, значит, при нем. Куда он ни подастся — и вы с ним. Разговаривать вам не о чем, да вы обвяжитесь тряпицей, будто зубы нестерпимо болят, вот и всего лучше. А человечек этот, в свое время,

укажет, что понадобится. Может, еще придется вам с ним поболтаться, поездить, это ничего. Спешить хуже бывает...

— Да я совсем готов... на все, — начал ошеломленный Леонид. — Я бы и один... А вы за границу опять хотите меня переправить?

— Непременнейшим образом. Нам свое доделать, как определено, а дальнейшее — уж ваш ответ, мы в курс дела и не вступаем.

— Да кто это «мы»? — взволнованно проговорил Леонид. — Кто вы? Неужели не скажете? Я не понимаю. Кто?

Александр заулыбался.

— Грешники мы, грешники, скажу по-старорежимному, раз уж вам известна бывшая моя духовная принадлежность. И не зарекаемся, еще много погрешим, до срока-то. А вы не беспокойте себя нами, мы ничего.

— Вы... из земли меня откопали...

— Ничего, ничего. А другого, случится, и зароем, ничего. Разное бывает. Главное же, послушайте теперь, сообщу вам кое-что подетальнее, насчет командировки-то, чтоб ошибочки не вышло.

Придвинулся к Леониду и зашептал ему на ухо «инструкции», для ясности даже пальцы один за другим загибая.

— Одежда, — шептал он, — сапоги, куртка, фуражка, ну, там еще что надо, это все брат доставит, соответственное. А человечек — к сумеркам, тоже свое принесет, какое необходимо. На станцию либо машина будет, а то и пешком дойдете. Здоровье ничего уж, а погода теплая.

Теплая? Леонид вспомнил вдруг, что не спросил ни разу и не знает ни числа, ни месяца, ни дня... Но зачем знать?

* *
*

Бывают в Париже, поздней осенью, дни прелестнее весенних. Свежесть и чистота падают с небес на город, чистые лучи солнца зажигают нежданные огни в движущейся толпе; и она, переливчатая, и тяжелый город, будто делаются тоже чистыми, нежно-веселыми.

В такой день Леонид стоял на самом, кажется, шумном и блестящем парижском перекрестке — на углу бульвара, около Оперы. Он собирался перейти бульвар, чтобы завернуть на широкую, прямую, голубовато-дымчатую авеню, ожидая, чтобы замерли в ряд тупорылые машины, бледно поблескивая, и полился мимо человеческий ручей, — задумался и так стоял, рассеянно и тепло улыбаясь. Солнцу ли улыбался, людям, или тому, что от людей и солнца в душе подымалось, — не мог бы и сам сказать.

Кто-то произнес тихо: «Здравствуйте». Люди кругом теснили его, проходили, разноцветные, мелькали пятна. Леонид остановил взгляд на белом пятне, — узнал, — не удивился.

— Здравствуйте, — ответил просто. — Так и думал, что еще увижу вас. Рад спасибо сказать.

— И я рада, — проговорила она, глядя на него материнско-добрыми карими глазами. — Вы изменились. Очень.

Леонид и в самом деле был другой. Уже ничего ребяческого, наивно-застылого не было в нем.

— Вырос? — улыбнулся он. — Нет, куда уж расти, мы люди маленькие, хорошо, коль до самих себя дорастем, себя найдем!.. и еще что-нибудь.

— Я рада, — повторила она. — Я так и думала, что вы... найдете.

— А вы почему не сказали мне, что надо все потерять сначала, все, до себя, — чтобы найти?

— А вы разве поверили бы, если б я сказала?

Они пересекли бульвар мимо неподвижного ряда уставившихся на них круглыми мордами автомобилей. Медленно шли теперь по другой стороне, с толпой, прямо к солнцу.

— Я не много потерял, потому что не много имел, — заговорил Леонид, спеша, как будто свиданье их не должно было длиться. — Я думал, что имею землю свою, и вправду какую-то свою, а были это все кусочки, обрывочки негодные.

— Подождите, — прервала она, ласково глядя на него из-под косынки. — Надо проще. А то вы и меня, и себя спутаете: вы дома были, знаю. Какие потери там ждут — и то знаю.

— Да. Я и потерял... что думал иметь. А как потерял, — так и нашел, другое больше. Чтобы попросту, и главное, — нашел я грешников праведных, и самого себя в них. Праведность их, — что злу и злому не покорились, не покорятся никогда, обиженных защищают, страха за себя не зная; и других так учат. А грехи, — о чистоте своей не заботясь, ничем не брезгуют, ни обманом, ни хитростью, ни больше: обидчиков не жалеют, когда то нужно, чтоб не предать им кровь невинную; и так других научают. По всей земле есть такие: оттого, — от них, — и вся земля мне — моя. Только в России сейчас праведность светлее, грехи тяжелее; все разделю их, чтобы заодно с грешными моими праведниками быть. И кто сейчас пойдет в ряду с ними, против обидчиков, — я с тем. Кто ни пойдет, как ни пойдет — я с тем. Да что спрашиваете? И не побоялись послать меня на все потери, хоть на потерю жизни. И за это вам спасибо.

Он говорил горячо, но не громко, и голос его сливался с шумом города, с говором и шорохом толпы.

— Да благословит вас Бог, — словно, из этой толпы, внятно, прошелестело около него. Леонид огляделся. Люди текли кругом, теснили его, мелькали, проплывали, — разноцветные, и темные, и яркие. Но

белого пятна не было. Она, женщина в белой косынке с материнскими глазами, смешалась с ней. Леонид ее не искал. Пошел своей дорогой, вперед, да где солнца уж не было, — только свежела нежная небесная чистота и улыбалась земле.

ЯПОНОЧКА

I

— Он сегодня вернется, правда? — сказала высокая тоненькая девушка, почти девочка, с такими светлыми волосами, что издали они казались седыми.

— Папа? — отозвалась Анна Ильинишна, сидевшая у окна просторной гостиной за какими-то бумагами. — Говорил, сегодня. Да вот, не он ли?

Пышноволосая Ли-ди не успела броситься в перéднюю; Павел Ильич был уже на пороге. Она тотчас повисла ему на шею.

— Подумаешь, недолго расставались, — усмехнулась Анна Ильинишна, полная пожилая женщина, подходя к брату. — Как ты на три дня в Бельгию, — не дождется, точно ты опять пропадешь.

Ли-ди и за обедом не спускала глаз с отца, оживленно что-то ему рассказывала. Думала она по-французски; но дома было заведено говорить по-русски, а с отцом ей и самой по-русски было почему-то говорить приятнее. Она не похожа на отца, как не бывает похож детский портрет на человека в зрелые годы: Павел Ильич немолод, широк и плотен. Но такие же правильные, красивые черты лица у обоих; такие же, чуть разве темнее, волосы и у него; такие же серо-синие глаза; и те же широкие, пушистые полоски бровей: от них в обоих лицах было что-то упрямое, страстное и робкое.

Павел Ильич все поглядывал на четвертый прибор. Наконец, спросил:

— А где же другая... моя дочка?

— Всегда опаздывает. Придет, — вскользь ответила тетка.

После кофе Павел Ильич пошел к себе. Частые деловые поездки в Бельгию (он был видный инженер) стали утомлять его, особенно в последнее время. Но и домой возвращался он теперь в каком-то смутно-тревожном состоянии.

Домой! Этот «дом» был у него совсем недавно. Для семьи своей Павел Ильич Корвин с 17-го года «пропал без вести». Для Корвина с того же года пропала его семья. Он не знал, что старик-отец умер в московской тюрьме, а молодая жена, еще раньше, — в нетопленой

больнице. Но не знал он также, что старшая его сестра, энергичная женщина-врач, давно сумела выбраться с двумя маленькими девочками за границу. Поисками явно погибшего брата ей некогда было заниматься: сообразив положение, она тотчас принялась переучивать свою медицину, добывать французский диплом. Трудно пришлось вначале: подготовка к экзаменам, средств почти никаких, дети на руках... Но и тут вывернулась: отдала пока девочек в какой-то полуприют-полупансион к «Petites Soeurs» *, а сама бесстрашно повела студенческую жизнь.

Все это было далеко позади. И в тот год, когда Анне Ильинишне попалось на глаза газетное сообщение о работах бельгийского инженера Paul Korvine, — она уже имела место при французской клинике, уютную квартирку, а девочки готовились держать bachot **.

Так нашел Павел Ильич свой «дом». Службу в Брюсселе оставить он не мог; устроился так, чтоб туда наезжать, а жить — «дома». Взяли большую квартиру в тенистом Auteuil, — Корвин очень хорошо зарабатывал, скромничать нужды не было. И потекла мирная жизнь.

Ничто в ней как будто не менялось. Но есть перемены, — и это самые коварные и нежданные, — которых долго не замечаешь. Заметишь вдруг, когда все уже совершилось. Такую перемену открыл в себе, совсем недавно, Павел Ильич.

Войдя в кабинет, Корвин зажег зеленую над столом лампу; сел на широкий кожаный диван; задумался.

В дверь тихонько постучали. Она отворилась, но кто вошел, — нельзя было заметить в зеленом полусумраке; как будто — никто не вошел. Корвин вскочил с дивана; и маленькое существо, стоящее рядом с этим крупным, высоким человеком, казалось еще меньше.

— Я вас потревожила, па? Я хотела сказать вам bonsoir ***.

— Нет, что ты! — Корвин взял ее за руки, усадил подле. — Ну, как? Дай поглядеть на себя, — он протянул руку и поднял немного лампу над столом, — все учишься? Не заучилась еще?

Маленькое существо улыбалось. Свет падал теперь на эту улыбку, такую неизменную, такую неподвижную, словно это была сама форма крошечного розового рта. Черные как матовый уголь волосы, в кружок подстриженные, совершенно прямые, спускались до бровей.

Корвин заглянул ей в глаза. Они, может быть, смотрели на него, — может быть, нет. В узких прорезах век глаза ее были как будто без зрачков: влажная, сплошная чернота.

* «Малые сестры» (*фр.*).

** экзамен на аттестат зрелости (*фр.*).

*** добрый вечер (*фр.*).

— Вы, значит, хорошо? — сказала Тэ-ки, улыбаясь. — Значит, теперь пойду.

Говорила по-русски без акцента, как все, начавшие в детстве с русского языка; но несвободно, — гораздо более несвободно, чем Лиди, — и без выражения. Впрочем, у нее и голос был такой: ровный, ровно-веселый.

— Да куда, посиди, — удерживал Корвин, не выпуская ее рук. — Расскажи, что делала? Все лекции?

— Все лекции. Надо много работать. Это ничего, хорошо.

Она, было, села, но опять встала. Глядя близко на ее лицо, свежее, ровно смуглое, без тени румянца, с прелестной линией овала, Корвин думал, что оно похоже на только что снесенное яичко; бывают такие: маленькие, почти прозрачные, и не белые, а темноватые, тепло-коричневые.

— Ну, ступай, непоседа, — сказал он, наконец. — Беги.

Маленькая девушка неслышно выскользнула из комнаты. Всегда ходила неслышно. И легко, будто танцовала.

II

В самый год войны, старик Корвин, известный московский промышленник, возвратясь из обычного своего, делового, путешествия в Сибирь и на далекий восток, — привез молодой невестке подарок — вторую дочку. «Беленькая уж есть, вот тебе черненькая». Сопровождавшие хозяина управитель и двое служащих много что-то рассказывали, как попался им ребенок, и как они его везли. Старик говорил только, что «сироточка», и «мало не пропала»; что «японочка», а потому надо покрестить. Девочку окрестили, и «сестренки» стали жить в одной детской.

Павел Ильич помнит еще, в Москве (когда в последний раз приезжал туда с фронта) двух смешных крошек в одинаковых платьицах, но уже совсем не похожих друг на дружку. Одна себя называла Ли-ли-ди... другая — Тэ-тэ-ки.

А затем — провал, до дня, когда в парижской квартире встретил он высокую светловолосую Ли-ди рядом с этой странной черной куколкой — Тэ-ки, — и розовогубой ее улыбкой.

Для Павла Ильича и оне, и сестра были, прежде всего, семья, чудесно обретенный «дом». Так он всех их вместе сразу и принял; жил в тихом празднике. Лишь понемногу стал замечать, какие «дочки» у него, — разные; как не похожа порывистая Ли-ди на ровно-ласковую черненькую куколку, — другую. Росли вместе, а не дружны, хотя никогда не ссорятся. Ли-ди прекрасно училась, но, кончив, — не захотела в университет: упрямо решила, что пойдет на специальные курсы, бу-

дет infirmière diplomée*. Тэ-ки — прилежная студентка, ходит в Сорбонну.

«Ли-ди и маленькая была капризна, с фантазиями, — рассказывает брату Анна Ильинишна; — из пансиона я ее брала, от этих «Petites Soeurs» — рыдала; и, вообрази, до сих пор их навещает. Ну, другая, — та всегда ровная, везде ей хорошо, и все хороши. Добрая; только какая-то она... непривязчивая».

Корвин все вглядывался в «другую», с каждым днем внимательнее; и — странно: живет рядом, о жизни ее и о ней самой знает Павел Ильич так же, как о Ли-ди и сестре; а кажется ему порой — ничего не знает. Все в ней, — и темное личико с маленьким, широким носом, с бессветными глазами, и каждое движение тела, и ровная ласковость, — все свое, ни на чье не похожее; непонятное, неожиданное...

Вот уже следит Павел Ильич, как она встанет, сядет, рассмеется... Следит, сам не зная, для чего; не понимая, почему эта чужая девочка так его тревожит и что с ним делается.

Понял не скоро. Но понял.

Зимним утром, проснувшись (не дома, в брюссельской своей комнате), — он вдруг почувствовал, что маленькое существо это, все целиком, с узкими, непроницаемыми глазами и легким телом, — до сладкой тоски влечет его к себе.

Было чего испугаться. За годы скитаний Корвин помнит всякие встречи; и сложности иной раз выходили (он не любил их, впрочем). Но теперь, это... совсем что-то другое.

Закрыл глаза — и снова перед ним смешное круглое личико, непонятная улыбка...

«Посмотрим, посмотрим...» — шептал, вскочив, быстро одеваясь. Сразу все представил, что разумно сказал бы ему другой, или даже он сам себе. Ну, конечно, еще бы... Только ничего ведь нет? А есть — не будет. Не будет.

Скользнула быстрая мысль: «Зачем? Ведь я могу... жениться на ней?». Но и тут оборвал себя. Лучше вовсе ни о чем не думать.

С этой-то поры и стали ему тяжки возвращения домой. Надо казаться прежним, быть совсем таким, как всегда.

Таким не был. Казаться уставал. Отдых один — ни о чем не думать.

III

Первый летний дождь прошумел. Солнце, но душно; опять, верно, налетит ливень. Пронзительно пахнет свежей листвой. С густых деревьев, на тихой улице, падают сверкающие капли.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* медсестра с дипломом (*фр.*).

Павел Ильич с утра дома не был. Теперь издалека шел пешком; думал, хорошо, после дождя, пройтись; но влажная духота истомила.

Открыл дверь своим ключом. В квартире тихо. Он заглянул в столовую. Там длинное окно, прямо в зелень деревьев, распахнуто настежь. У решетки, спиной к нему, стояла маленькая Тэ-ки.

Обернулась на шаги. Так быстро спрыгнула с порога, что легкое, темно-красное платьице вспыхнуло на солнце; танцующим шагом подошла.

— Никого дома, па! — сказала, улыбаясь. — Только я.

Корвин тяжеловато опустился на первый стул. Провел рукой по голове, по светлому бобрику волос.

— Да, — проговорил он. — Да. Так никого? А вот ты...

Протянул руку и, охватив всю ее, маленькую, посадил к себе на колени.

— Вот так — ты — тоже сидела у меня — давно... — лепетал он, теряя понимание слов. Под широкой ладонью он чувствовал холодноватую свежесть ее обнаженной до плеча руки. Розовая улыбка была так нестерпимо близка, что Корвин не помнил, когда поцеловал ее в первый раз. Вырываясь, полуприходя в себя, шептал: «Деточка, маленькая моя... большая... хочешь, я тебе все... всю жизнь... Я всю, не бойся...».

Она и не думала бояться. С легкой неподвижностью лежала у него на руках. Так же глядели — не глядели на него глаза без зрачков, так же улыбались не покрасневшие от поцелуев губы. Это неудивление и веселое спокойствие на секунду отрезвили Корвина. Но Тэ-ки, высвободив нежные, смуглые руки, обняла его за шею и, смешным движением играющего зверька, прильнула щекой к его лицу.

За окном опять хлынул теплый ливень, и весело шумела под ним густая листва дерев.

IV

— Не понимаю и не понимаю, — сердито говорила Анна Ильинишна. — Зачем ей понадобилось жить отдельно?

Ни Ли-ди, ни Павел Ильич (они втроем сидели за вечерним чаем) не ответили. Она продолжала:

— В самом деле, ну какой смысл? Стесняли ее здесь, что ли? Да, наконец, она бедная девушка, а теперь хоть и по-студенчески жить, не малое нужно содержание...

Павел Ильич, откашливаясь, возразил, негромко:

— Что это, Аня, право... Это уж напрасно. Стоит ли говорить. Средства у нас есть. А она... ты обеих вырастила.

Анна Ильинишна пожала плечами, сдерживаясь. В ней кипела и досада, и смутное огорчение.

— Тетя, ну что ж, — ласково сказала ей Ли-ди. - Она всегда... она и здесь отдельно жила.

— Да... это правда. Я только не понимаю. И какую она там комнату нашла? Мы должны же знать...

— Ах, не беспокойся, все устроится! — перебил ее вдруг Корвин, встал и вышел из комнаты. Ли-ди проводила его испуганным взглядом.

Дело в том, что у Корвина уже несколько месяцев, как имелась на левом берегу, квартирка, нанятая для встреч с Тэ-ки. Туда-то и решено было, что Тэ-ки переедет совсем. Он ли решил, она ли, — неизвестно: у них все решалось, делалось неизвестно кем. Павел Ильич не беспокоился: она весела, довольна, — значит, все идет как надо. Если спрашивал о чем-нибудь, — редко отвечала; глядит, улыбается; и он, глядя на ее улыбку, забывал вопрос.

Однажды, — в самом еще начале, — ответила. Он сказал: «Деточка, мы женимся. Я на тебе женюсь». Вдруг приподнялась, — она лежала у него на руках, — и так замотала черной головкой, что легкие волосы запрыгали около щек. Он испугался: «Нет? Не хочешь? Почему?». Она опять покачала головой, улыбнулась... и в тот вечер он больше не спрашивал, почему она не хочет, чтобы они женились.

Любила подарки. Заметив это, Корвин уже не знал удержу. Только бы увидеть, как она, в ярком капотике, выбежит навстречу и, на цыпочках, тянется обнять его, поблагодарить. Страстно любила цветы. Павел Ильич, с подарками, привозил ей и цветы. Но она и сама еще покупала, хотя не часто: была бережлива. Корвин не жалел для нее ничего.

А со всем тем — оставалась она и обычной парижской студенткой. Посещала лекции, занималась. С Корвиным о сорбоннских делах никогда, впрочем, не говорила; и он не заводил речи, боялся, видел, что она не любит. По правде сказать, невнятная какая-то боязнь перед ней никогда его не покидала; откуда? Но он ничего не знал; он и не спрашивал себя, что влечет его к странному маленькому существу: любовь? страсть? Или сладкая, пугающая чуждость, неизъяснимая непонятность?

Часто выезжал теперь из «дома» на вокзал, — в Бельгию. Но по дороге менял такси и оставался, до следующего дня, на левом берегу, — у нее. Утром она, собрав книги, уходила, в синем костюме, в берете. В ожидании часа своего поезда, Корвин бесцельно смотрел в окно, на крыши Парижа; отдавался несвязным мыслям о Тэ-ки: где она теперь? С кем? Когда вернется? Или думал, как счастливо выходит, что «дома» никто еще ни о чем не догадывается, и все там по-прежнему.

Если бы Павел Ильич не был так поглощен одним, он давно бы приметил, что не все по-прежнему и дома. Ли-ди уже не бросается к

нему на шею, когда он приезжает, не приходит, как бывало, в кабинет поболтать. Сестра смотрит озабоченно; с ним молчит, но раз он слышал ее голос в комнате Ли-ди – возбужденный, то негодующий, то просящий. «Что-нибудь о своих делах, о клинике, или насчет курсов этих, где Ли-ди учится», – подумал рассеянно.

А тут еще случай один совсем отвлек его внимание. Павел Ильич шел по большому левобережному бульвару, не замечая густой толпы, тупо думая, что сегодня вечером предстоит-таки ехать в Брюссель: его вызывают; кажется, что-то слишком забросил он дела...

Вдруг его будто толкнуло: увидел идущую впереди Тэ-ки. Толпа на минуту заслонила ее. Он прибавил шагу: она, она. Ее фигурка, ее белый берет. И она не одна: с ней какой-то мальчик, в спортивном костюме, без шляпы. Павел Ильич заметил только маленькую, черную, круглую головку. Заспешил, чтобы догнать, не успел: Тэ-ки, со спутником, уже ловко перебралась через шумный перекресток, а его задержал ряд автобусов. Один, другой, третий... Когда прошел последний, – на противоположном углу уже никого не было. Куда они завернули? Улиц целых шесть...

Вечером, вместо Брюсселя, отправился к Тэ-ки: «Я на минутку, ты не ждала... Видел тебя издали сегодня, на St. Michel. С маленьким мальчиком каким-то». Тэ-ки удивилась: «С маленьким мальчиком? Ah, oui! – рассмеялась она: – это студент, collega».

– Такой маленький!

– Почему, маленький? Много разных...

Улыбалась. Он не знал, что сказать еще, схватил ее на руки, сжал крепко, до боли: «Ну, я уйду, занимайся... я в среду... до среды...».

Конечно, много разных. Сколько студентов видит она каждый день! Но почему такой маленький?

В Бельгию Павел Ильич, однако, совсем не поехал, – забыл. Шатался по улицам, курил в кабинете, ждал среды.

V

Как раз в среду, только что он собрался, в кабинет неожиданно вошла Анна Ильинишна.

Села на диван и, с обычной своей прямой и резкой манерой, глядя брату в глаза, сказала:

– Долго верить не хотелось. Непонятное что-то. Ты соблазнил Тэ-ки? Содержанкой своей сделал?

Павел Ильич весь как-то съежился. Стало вдруг холодно.

– Я... не знаю. То есть, я... Зачем такие слова, Анюта? – прибавил он, стараясь оправиться. – Я ее люблю. Я сам не знаю, как это вышло.

— Не знаешь? Послушай, брат. Мы с тобой старых взглядов люди, мы люди честные. Я не говорю, что ты чуть не втрое старше, что она была тебе, как дочь, — это пусть... Но если ты любишь, почему ты не женишься? Отвечай!

— Она не хочет, — с горестью прошептал Павел Ильич.

— Что? Она? Да ты не лги мне, я ведь все знаю, что между вами. Ты, право, сумасшедший. Дай Бог, чтоб не хуже. Ты спрашивал ли ее?

— Анюта, верь же! Ну, я был безумец, кляни меня, хотя, — вот слово, — я сам не понимаю, что это такое! Но я сразу думал, что мы женимся. Я и теперь... Она не хочет!

Анна Ильинишна долго молчала. Потом проговорила, тише:

— Ты ли ее погубил, она ли тебя губит... не пойму. И ты... давно уж ходишь, как шалый. Давно уж вижу. Но я добьюсь толку. Поговорю.

— Анюта, оставь ее! — взмолился Корвин. — Я сам, я лучше. Спрошу опять... Да не это одно, я бы все ей отдал! Это фатум какой-то.

— Фатум, фатум... И Ли-ди еще, бедная. Тоже не фатум ли?

— Что Ли-ди? — встрепенулся Павел Ильич. — Она знает?

— Догадывается, вероятно... Да не в том дело, это совсем другое. После. Успеешь о Ли-ди. И я-то, — прибавила с сердитой усмешкой, — высидела курица утят! Ну, та чужая... Всегда чужая была. А куда родную тянет, — и того не поймешь. Ах, Павел, Павел...

Он обнял старую сестру свою, прислонился головой к ее плечу. Между ними было горе. Непонятное. Но на краткую минуту оно их соединило.

VI

«Вот и узналось, и ничего!» — думал Корвин как-то вяло. Отупение и расслабление нашло на него в последние дни. Пусть бы так все и шло, как шло; не трогать только. С Тэ-ки виделся, но не сказал ничего, — не сказалось. Дома жил странно, — точно по стенке ходил, голову вобрав в плечи, тщательно избегая встретиться с сестрой. Но, конечно, что должно было случиться, — случилось. Он тихонько проходил по коридору, когда Анна Ильинишна заступила дорогу: «Как же у вас решено?» — спросила она.

Павел Ильич затих. И вдруг, в неожиданной ярости, закричал, почти завопил, сжимая кулаки:

— Да оставят ли меня в покое! В покое! В покое!

Схватил шляпу, выбежал вон. На улице пришел немного в себя, хотел, было, вернуться, — не вернулся. Все равно. Поехал к Тэ-ки.

Она встретила его спокойно и весело, как всегда. Что-то заговорила, радостно и привычно ласкаясь. Но он снял с плеч ее руки. Усадил около себя, на низенький, узкий диванчик.

— Послушай, деточка моя, — начал он возбужденно. — Послушай. Мне очень трудно. Я совсем не могу без тебя. Такая уж ты маленькая волшебница, — жалко пошутил он, преодолевая внутреннюю дрожь. — Скажи мне, обещай мне, что мы никогда не расстанемся.

— Зачем? — сказала Тэ-ки, глядя на него непроницаемыми своими глазами без зрачков. — Ведь вам здесь всегда весело, па?

Корвин проговорил с тоской:

— Да нет. Я о тебе. Хочешь, мы всегда, всегда будем вместе?

— Это нельзя, — покачала Тэ-ки головой.

— Нет, можно! Ты скажи только: ты хочешь?

— Никак нельзя. А зачем?.. Постойте, — перебила она себя, — я лучше покажу... мои chrisantèmes. Они в той комнате. Какие красивые!

Она всегда немножко затруднялась русской речью. Но не избегала ее. «Очень красивые!» — повторила она и сделала попытку встать. Корвин удержал ее за руки.

— Нет, девочка, потом. Я хочу знать, почему нельзя. Ты не хочешь? Зачем же ты лукавишь?

— Я? Я никогда не... это, не лукавлю, — сказала Тэ-ки и сказала правду: никакого лукавства не было в ее улыбке, как ни одной складочки на ровно-смуглом лице. — Я сказала, — вам хорошо со мной, па? Теперь? Да? Теперь — так, потом — другое.

— Потом другое? — повторил он, не понимая, но холодея. — Какое другое? Ты моя жена; для меня и теперь жена, но мы должны повенчаться. И будем не другое, а только мы будем всегда вместе.

Тэ-ки, улыбаясь, тихонько старалась освободиться.

— Другое — это потом, не сейчас. А жениться... нет, зачем? Жениться с вами... нельзя. Не буду.

Теряя терпение, он больно сжал ее темные ручки.

— Ах, па! Зачем сердиться на меня? Я не хочу.

Но он уже не слушал.

— Не хочешь? Не будешь? Не любишь? Стар для тебя? За старого идти не хочешь?

— Мне все равно это, — сказала она равнодушно. — Не оттого совсем это. Все хорошо, если весело, если — так. А жениться — это другое. Сарокки кончит, мы тогда женимся. А потом мы уедем. Потом, после.

Корвин выпустил ее пальцы. Смотрел, не понимая.

— Какой Сарокки? — спросил тихо.

— Студент, collega. Вы говорили, па, видели его, на Saint Michel. Это не сейчас будет. Это после.

— Так. Маленький, черненький, вроде тебя. Так, — говорил Корвин спокойно, тем же беззвучным голосом. — Женится, значит, на тебе. И уж ходит... сюда?

— Нет. Зачем? — удивилась Тэ-ки.

— Скрываешь, значит? Про меня?

— Про вас? Нет же, мы говорим. Это ведь совсем... cela n'a aucune relation *. Вы другое, и он тоже другое. Вы — сейчас, теперь, и хорошо, да? А то совсем, совсем после...

Корвин сидел, не двигаясь. У него было такое спокойное, только побледневшее, лицо. Тэ-ки игриво-ласково положила ему руки на плечи.

— Plus faché, mon pa? ** — заболтала она по-французски. — Улыбнитесь же, какой скучный вечер сегодня! А я так ждала вас, непременно хотела показать вам свои хризантемы. Вы не нашли бы, они не везде, это первые. Вот увидите, чудные!

— Кризанте-мы? — протянул Корвин, медленно поднимаясь с места. — Кризан-темы?

И вдруг захохотал. Цепко захватил обе руки ее в свою, выкрикивал, сквозь хохот, дикие слова:

— Кризантемы! Гейша! Макака! Макака с макакой! Вот тебе твои кризантемы!

С такой силой отбросил маленькое тельце, что оно отлетело в противоположный угол и там беспомощно упало. Край распахнувшегося атласного халатика жидким золотом лежал на ковре.

Павел Ильич постоял, мутными глазами поглядел на притихшего зверька в углу, — и вышел.

Анна Ильинишна, вернувшись к себе, в комнатку скромного пансиона, нашла письмо с американским штемпелем. Не часты письма от брата, и коротки: жив, здоров, туда-то переезжаю. Но это — длинное.

«...Анюта, сегодня в первый раз у меня спокойная ясность на душе. И хочется написать тебе по-настоящему, — после стольких месяцев! Ты и сама, верно, догадываешься, как нелегко мне живется. Нелегко, в 46 лет, жизнь сызнова строить, на новых развалинах; и каких — для меня! В те дни, когда все на нас обрушилось сразу, когда я, вдобавок, оказался нищим, потеряв дело, весь многолетний труд (а не вам ли он принадлежал?), я серьезно думал: надо... совсем не жить. Легче? Еще бы! Да уж очень мне показалось это недостойно... Я, Анюта, ничего не забыл и не ищу забыть. Только и вин я ничьих больше не ищу. Даже своих. Не понимаю тут чего-то: может, все всегда виноваты, а, может, — никто. Разобраться не могу, — так и судить не хочу. Вот ты за

* это никакая не связь (*фр.*).

** Сердитесь, мой па? (*фр*).

Ли-ди себя винишь (и меня, конечно). А надо ли? Пишешь – была у нее недавно; в крошечном садике, стенами обнесенном, застала ее за стиркой грубого монастырского белья, в подоткнутом, неуклюжем платье "новисы"-послушницы, с повязанными волосами. Ты кратко, просто написала, а я ведь чувствовал, какая горечь у тебя, какая боль. И упрек – себе: не доглядела, опасную связь ее с этими "Soeurs" вовремя не пресекла... Мне тоже упрек: оскорбил своим «падением» ее душу, толкнул искать спасение – от жизни. А почем ты знаешь, не нашла ли бы она его для себя там же, так же, и без толчка, только позднее? И почему ты думаешь, что она была бы счастливее, если б жила, – по твоему выражению, – "нормально", училась, работала, вышла замуж? Сама же пишешь: "А глаза у нее веселые, счастливые..." Нет, Анюта, мы и в родной нашей Ли-ди кое-чего не понимаем; не те мы люди, мы своим временем и на своей земле воспитаны. С нас одно требуется: не понимаешь – не суди.

А другая? Чужая? Тут уж, Анюта, не годы, не воспитание; а такое – что все это покрывает, вечную чуждость творит: кровь. Беги за чужим, не беги – та же стена; и ничьей тут вины ни перед кем не оказывается, значит, и судить некого.

Непонятно все, Анюта, и верь, обоим нам станет легче жить, если мы наше непонимание примем. И родную Ли-ди примем, какая она есть, и чужую Тэ-ки; и разрушение дома... И последнее наше одиночество».

ДОЧКИ

Две большелобые, бледненькие девочки сидели рядом на каменном пороге своего дома. Дом прилегал к таким же домикам, розовым и серым; тихая улочка южного городка на холме вымощена квадратными плитами.

Девочки сидят смирно, молчат. Им лет по восьми, может быть, немного меньше, или больше. Одеты в обыкновенные голубые платьица-фартучки. Да и сами оне довольно обыкновенные, как и короткая жизнь их: в ней, кроме того, что год тому назад умерла мама ихняя, ничего особенного не случалось.

Сейчас готовилось, впрочем, новое событие; о нем теперь девочки всего чаще и говорили – и молчали.

Да, вот это у них было не совсем обыкновенно: оне умели сообщаться между собою не только разговором, но и молчанием. Говорили, потом умолкали, но разговор в тишине как бы продолжался и мог в любую минуту опять продолжаться, далее идти, громко.

Так оно и хорошо, и к лучшему, потому что слов у них, по сравнению с тем, что надо бы сказать, было очень мало; во всяком случае, для того огромного, что каждая порою в себе видела, – никаких слов не могло хватить. Словами оне лишь закрепляли что-нибудь понятное и решенное.

Шура и Мара – не одинаковы: оне похожи друг на дружку, как правая рука похожа на левую. У обеих большие лбы, и волосы над ними ложатся так же, только не в одну и ту же сторону. У обеих личики не то детские, не то старческие; болезненные, может быть? а круглые, как вода, светлые глаза смотрят серьезно.

Их все любят, ни одна соседка не пройдет мимо без улыбки, без приветливого слова; девочки и сами добрые, приветливые, вежливые. Не различает их никто (даже папа!), тем более, что и каждая из них, обращаясь к другим, непременно говорит «мы» (а не «я»). Одна мама никогда их не путала. Да и так, если знать: у Шуры волосы слегка с рыжинкой, у Мары – серебристые.

– Опять вечер, – говорит Мара, глядя на зеленеющее над крышами небо.

– Завтра тоже, – говорит Шура. – И всегда.

– Если мы будем большие...

– Зачем нам. Может, не будем...

– Ничего, когда умрем, опять маленькими сделаемся, как сейчас.

– Нет, меньше, как когда мама умерла.

– А она всегда – такая же; морщинка на лобике.

– Которую мы целовали. Наша была. Да она вся наша, ничья больше. Не папина.

– Ну, еще бы его! Ни-ни, не его.

Оне умолкли, продолжая в тиши, внутри, переговариваться, без слов, быстрыми полумыслями, полуощущениями, – понятными, совпадающими.

Говорили оне между собою, – когда говорили, – по-русски, как до последнего дня с матерью, которая сама и учила их, и книги с ними русские читала. На всем свете мама, такая точно, одна была; и с тех пор, как на всем свете ее будто нет, у Шуры и Мары завелась где-то внутри, около горла, беспокойная, стоячая боль – тяжесть. Оне мало думали о ней, безропотно несли; и оттого, что несли обе – им было не легче, а тяжелее: каждая свою боль несла вдвойне.

Главное же – связь их, почти физическая, с матерью даже теперь не порвалась, только больно натянулась и все больнее натягивалась; особенно больно и недоуменно в последнее время, когда папа объявил, что через два воскресенья у них будет «другая мама».

— Она — épicière*, — заговорила опять Шура. — Мы в этой самой комнате, где ей быть, у нашей мамы родились. Значит, это невозможно.

— Конечно, невозможно. Но что невозможно, то все-таки бывает.

— Бывает, только не по-настоящему.

— Мама раз говорила, что M-me Etamp симпатичная. Для épicière. Папа теперь хочет, чтобы мы ее любили.

— Почему ж? Не в любви дело. Мы только про невозможность.

— Конечно, про невозможность. Это надо сказать.

— Это надо.

Опять оне замолкли, как будто задумались. Но думать было не о чем. В лавку к M-me Etamp еще мама их нередко посылала. Оне шли, чинно взявшись за руки (всегда так ходили), вежливо разговаривали с хозяйкой, которая очень была ласкова, леденцы им дарила, а оне рассматривали ее зеленые сережки, черные волосы, и жалели, что у нее такой крикливый голос.

Изумляло, как это не понимают «другие»: им все просто, и ничего не кажется невозможным. Даже старуха, которая у них теперь стряпает и за бельем следит, и та радуется: это, говорит, и вам, и отцу хорошо: она богатая; отец эписери займется и масонскую тяжелую работу оставит; оба они молодые, красивые, она — хозяйка, дом умеет держать...

Девочки улыбались старухе, — она ведь за них радовалась... Наверно, M-me Etamp умеет дом держать... Но старуха прибавляла, расхваливая вдову: «Вам, сироткам, она доброй матерью будет...». И девочки растерянно переглядывались, не зная, как объяснить старухе, что все это совершенно невозможно.

Когда на осеннем, ярко-зеленом небе крыши стали угольно-черные, пришел папа с работы. Издали слышен был говор, шаги, — он возвращался домой с другими.

Заметил девочек на пороге, сказал им что-то ласковое, засмеялся и в дом прошел. Скорей рабочее платье скинуть, — ужинать пора.

Прежде и папа дома по-русски говорил, а теперь с кем же, старуха не понимает, совсем отвык. Девочки по-французски отлично знали — не учились, само оно, из воздуха как-то пришло к ним. И русского в доме только и осталось теперь, что говорили оне по-русски между собой; и думали, конечно.

От мамы оне много слышали о России, и о том, что Россию надо любить. Но оне не любили; не знали, как любят никогда не виденное. Рассказывала мама и про войну, про то, как папа совсем молоденьким

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* бакалейщица (*фр.*).

был ранен, а мама в госпитале была сестрой и его выходила; как потом они вместе бежали, долго скитались без работы, пока в этом городке не сделался папа каменщиком; наняли домик, поженились, а потом родились и Шура с Марой, вместе, в день всех святых.

Соседки говорили, что это хороший день, и хорошо быть «jumelles» *. О папе говорили, что он очень красив, а маму жалели: такая она была худенькая, бледная, слабая.

Слушая мамины бесконечные рассказы о неизвестном, девочки все это по-своему, по-особому, конечно, представляли. И по-особому в него верили. Раз, давно уж, мама сказала: «Я ведь не так молода и не очень здорова; вы, двойка моя, смотрите, помните обо мне, когда я уйду». Девочки хоть и маленькие еще были, очень испугались: знали, что «уйду», — значит «умру». Знали про смерть, в их же городке умирали разные чужие люди... Но мама? Ведь она не чужая, она совсем другое?.. Увидав, что оне испугались, мама засмеялась, успокаивать стала: «Да вы еще, может, раньше меня уйдете и там меня поджидать будете; а если нет, если я сперва, — я буду ждать вас и дождусь. Так прямо и явитесь, память только обо мне не теряйте».

— А где же ты будешь?

— Да уж где ни буду, а вам той страны не миновать.

У девочек, совсем тогда маленьких, все спуталось в голове от страха; а услышав о «стране», Мара спросила:

— Хорошая страна? Вроде России?

Шура, однако, быстро и решительно добавила:

— А нельзя ли, чтоб и ты, и мы здесь остались, никуда не уходили?

Оказалось — нельзя. Мама заболела, месяца три пролежала и умерла. Девочки, уже большие, понимали теперь смерть по-настоящему — ой-ой, как! Но вот это осталось у них, неистребимо: хоть и умерла, а ничего, жива где-то; надо только не забыть, совсем, совсем ее не забывать.

В доме, внизу — сени, чулан, кухня большая, где обедают. После ужина папа, если погода хорошая, выходил курить наружу; а последнее время совсем уходил, в кафе, или куда еще. Девочки и не слышали, когда он возвращался; давно уж, с самой болезни маминой, спал он наверху, в чердачной комнате.

А первый этаж — две комнатки славные, беленькие; одна поменьше, где стоят две детские кроватки, — но Шура и Мара не спят в них; оне спят в большой комнате, на широкой белой кровати, изголовьем в белую стену; на той самой кровати, бывшей маминой и папиной, на которой мама и умерла.

* двойня (*фр.*).

Каждый вечер, чуть из-за стола, еще старуха в кухне возится, — спешат с папой проститься, спешат — бегут по лестнице, спешат платьица скинуть, умыться — и в постель. Постель большая, оне маленькие, надо поближе друг к другу. Улягутся, наконец, и тогда Шура или Мара, или обе вместе, непременно скажут:

— Ну, давай!

Это значит, что в темноте оне будут, вместе — не думать, не вспоминать о маме, а представлять ее себе всю, живую, каждую ее милую, знакомую черточку: родинку маленькую на виске, у глаза, розовую нежную ладонь, щербинку на переднем зубе, справа, прядку темных волос над ухом... Ну, все, словом, как есть. Иногда, шепотом, одна другой что-нибудь напоминала...

На этом девочки обычно и засыпали, — не сразу, не скоро, но спокойно, как будто, мама, живая, сидела сама у их постели.

Оттого-то, нынче, по утрам, особенно казалось им невозможным, что через одно и еще через одно воскресенье, на этой самой постели будет спать папа с M-me Etamp, announcing эписьеркой, и что она после мэрии сделается для них еще какой-то, другой, мамой.

— Если у нашего кюре спросить, — сказала рыженькая Шура. — Он, наверно, скажет — невозможно.

Мара пригладила серебристые волоски. Согласилась.

— Давай, спросим. Он скажет. Ведь это он сказал, когда ее увезли, а мы плакали на улице: votre mère vous regarde*. Он, значит, тоже думает, что она жива.

Было яркое утро южного осеннего дня. Утро не воскресное, но девочки знали, что оне в этот ранний час непременно встретят кюре где-нибудь близ церкви.

Взялись за руки и пошли по теплым тенистым улочкам — вниз.

Было это в Шуре и Маре довольно примечательно, что никаких людей оне не дичились, не боялись; кто бы их о чем ни спросил — охотно отвечали; и каждому хотели, при случае, сказать или сделать приятное. А еще замечательнее в них — странное, порою, знание того, о чем никто им никогда не говорил; знание «из воздуха» и даже, собственно, не знание, потому что слов для него ни малейших не было у них; так что-то вроде знания, хотя и твердого, ощутительного. Зато многое, что знают дети их лет, — девочкам было неизвестно и не занимательно. Никто бы не угадал (если б и захотел кто-нибудь внимательный) — что этих девочек развеселит, что озаботит.

Мама им много о чем рассказывала, но о таких вещах, как, например, о Боге, — почти ничего. От других оне тоже много про это не слы-

* ваша мама смотрит на вас (*фр.*).

шали. В городке была церковь, большая, собор; была и маленькая, был кюре, которого называли г. аббат. Но мама сказала как-то, что это не ихние церкви и кюре не ихний; а у них есть свои. Потому и не похоронили маму тут, а увезли в большой город, куда-то, где, говорили, есть «свой» кюре и «свое» кладбище. Это очень девочкам не понравилось, и, раз навсегда, в это не поверилось. Оне давно, не сговариваясь и не рассуждая, решили про себя: всякие, без различия, кюре, и все церкви одинаково относятся к Богу; Бог же — что-то хорошее, необходимо нужное, но о чем говорить нельзя, потому что нечего.

Оне и теперь пошли искать кюре не для разговоров о Боге, а просто, чтоб посоветоваться насчет дела насущно-важного.

Молодой быстроногий аббат с книжечкой встретился им в платановой аллее, которая вела прямо к собору.

Девочки подошли, сделали книксен, и Мара заговорила:

— Мы хотим спросить вас, M-r l'abbé, не правда ли, мы верно думаем, что наша мама — жива?

Как ни неожиданно было появление девочек и вопрос — через две—три секунды аббат все вспомнил, сообразил и горячо ответил:

— Mes chères petites *, не сомневайтесь в этом. О, конечно, ваша maman любит вас, смотрит на вас. Любовь никогда не умирает, любовь всегда жива.

— Merci bien, m-r l'abbé **, — сказала Мара. — Мы так и думали. Оттого это и невозможно...

— То есть, — пояснила Шура, — чтобы другая живая мама, не наша, на той же постели спала.

Аббат растерялся, заикнулся:

— На той... comment? Mes petites ***, вы не поняли...

— Нет, мы поняли.

— Но какая же... ваша другая?

— M-me Etamp, announcement эписьерка. Теперь мы там спим, где наша мама, а через воскресенье папа в эту комнату вернется, и M-me Etamp с ним. Она симпатичная, для épicière, мы ее любим, но зачем же она, если настоящая мама хоть сколько-нибудь жена? Совсем невозможно!

— Невозможно... невозможно... mais... chères enfants, ècoutez-moi... **** — начал аббат, быстро оправившись и кое-что сообразив. Он взял за плечо одну из девочек и горячо стал говорить, объяснять что-то насчет неба, насчет веры... Напрасно. Девочки, после его «impos-

* Мои дорогие крошки (*фр.*).

** Большое спасибо, г-н аббат (*фр.*).

*** как? Мои крошки (*фр.*).

**** но... дорогие дети, послушайте... (*фр.*).

sible»* уже дальше не слушали. Вежливо улыбались, не уходили; но светлые их, круглые глаза смотрели куда-то на солнечные платаны или на зеленый луг вдали, только не на аббата.

Он сказал, наконец, что придет к ним, побеседует с отцом... Это они услышали, обрадовались, — ведь, правда же, невозможно? Поблагодарили аббата, присели ему и пошли домой.

По дороге их окликнула M-me Etamp, зазвала в лавку, шибко говорила что-то ласковое, дала по шоколадной таблетке. Девочки и ее поблагодарили: такая симпатичная.

Вечером гремел гром, в окнах блестело, потом ровно застукал дождь.

Папа ушел, — до дождя успел, а старуха поднялась к девочкам и стала спрашивать, не боятся ли оне. Оне совсем не боялись, но она все-таки принялась их утешать, — скоро, мол, дом будет настоящий, добрая французская семья, родители вечерами станут дома сидеть, а спать с детьми рядом, и тогда уж совсем нечего бояться.

Девочки старухе улыбались, но рады были, когда она, поговорив, ушла.

Свечу не тушили: все равно шум, и за окном еще дрожат белые огни.

— Отчего это нам... скучно? — сказала Шура.

— Это вот отчего. Это вот...

Но тоненький Марин голосок затих. Оне не знали, отчего им «скучно». Говорили — скучно, но это была не скука, а та же, сегодня особенно ощутимая, жалость-тяжесть-боль где-то около сердца, и у каждой вдвойне, за себя и за другую.

— А все-таки, — задумчиво проговорила одна, — все-таки лучше бы наша мама была так жива, как прежде.

— Как M-me Etamp, — отозвалась другая.

— Да, чтоб не уходила, здесь была. Это говорится — ушла, а ведь она умерла.

— Это и значит: жива, но не здесь. Говорила сама, что будет нас дожидаться, что мы прямо к ней явимся, если ее не забудем. А мы не забыли... Мы ужасно помним.

Чувствовали, как дрожит и натягивается неразорванная их связь с той, которая есть где-то, но неизвестно, где. А слов и для этого у них не было. Только, настороженные, оне словно прислушивались к чему-то.

Дождь утих. Мара дунула на огарок, нашла Шуру на постели, в теплом мраке, и прижалась к ней.

* «невозможно» (*фр.*).

— А, правда: зачем нам-то здесь оставаться?

— Мы и не останемся, — зашелестел ответ. — Мы же знаем. Она позовет, и мы пойдем.

— Нам здесь одним совсем ни к чему. Если б скорей позвала.

— А ты прислушивайся. Думаешь о ней? Видишь? Помнишь? Давай слушать вместе, давай хорошенько... Зовет?

МЕТАМОРФОЗЫ

(Рассказ приятеля)

...Ряд волшебных изменений
Милого лица...

Фет

Вот курьез, — встреча моя вчерашняя. Может, и не курьез, не знаю; неведомый переплет какой-то, мне непонятный. Судите сами, а я, признаться, давно уж многого не понимаю, не разбираюсь. Что, например, в России делается — как в темную воду глядеть; уж и обсуждений всяких боюсь. А с тех пор, как свою «фермочку» завел, картофель сажаю, — вот уж третий год, — я и от эмигрантской жизни совсем отстал, отвлекся; в Париже бываю часто, — 40 минут езды всего! И комнатка мне у Благово всегда готова, — но не слежу. За газетами даже не слежу. Развернешь — многое непонятно. Правда, и некогда следить; но парижскую жизнь люблю, самый Париж тоже люблю. Выдастся свободное время — и еду. Кое-кого повидаю, а то и так пошатаюсь.

Вчера утром приехал я на целых два дня... Постойте, впрочем: если рассказывать, так сначала. Потому что вчерашняя встреча вторая; как бы вторая глава: без первой — выйдет окончательная дичь, даже не курьезная. Первая же встреча была уж год... нет больше тому назад. Я о ней не рассказывал, — просто забыл, признаться; совсем из головы вылетело. А случилось так: иду я весной ранней по Монпарнасскому бульвару: тоже приехал отдохнуть, проветриться. День такой приятный, холодноватый, сухой, еще светло; но уж близко к сумеркам. Иду, поглядываю на народ, рассуждаю, в какое бы мне кафе зайти. Вдруг вижу, впереди меня, — старик: мельчит шагами, сутулый, а рядом с ним широкоплечий, неуклюжий какой-то, молодой мальчик. В Париже столько всяких фигур встречается, никакая уж не удивляет; но на старика этого я обратил внимание; странно и шел он, и одет был — хотя совсем не бедно, в новеньком даже пальто, но все-таки странновато: будто ему в этом пальто не по себе. В мальце тоже виделось мне

диковатое. Русские? Да русских теперь не всякий среди парижской толпы отличит, даже борода седая не верный признак... Я, однако, прибавил шагу и, поравнявшись, без церемонии в лица им заглянул. Без церемонии, но просто как обыкновенный прохожий. Старик, однако, отпрянул и даже испугался и остановился.

— Мсье... мсье... — залепетал, бегая глазами.

Я хотел уж сказать «пардон» и пройти мимо, но он вдруг наклонился ко мне и прошептал: «Вы, может быть, Си-нельни-ков? Валерьян... да?». Я вглядываться: нет, незнакомый старик. «Не узнаете, ну да-да, но я рад. Хоть и нельзя мне, но я рад, рад на минуточку. Я Байков, да, Лесли, может, вспомните Лесли...».

Тут передо мной туманно-давнишнее завертелось, и в давнишнем — Лесли. Но причем же старик? Воспоминание ведь быстро, как молния; все приходит сразу, одной картиной. Байков-Лесли и встал передо мной, как я, будучи юнцом, в Петербурге его видел — раз пять — шесть всего: полнотелый, громкогласный, красивый интеллигент. Говорили, что он готовился в дипломаты, но повернул на журналистику и стал бойко пописывать в левых газетах. Хотя я сам тогда мечтал сделаться журналистом, Лесли мне не нравился. Скорее нравилась жена (он тогда только что женился) — молоденькая бойкая курсистка, черноволосая. И как это я все вспомнил? Но мой Лесли со стариком общего ничего не имел.

Не имел, а все же это был он. Долго рассказ рассказывается, скоро дело делается, и вот, хоть и с большими усилиями (почему?) затащил я старика в ближнее кафе, уселся напротив, рассматриваю, слушаю его бормотанье; и все ничего не понимаю.

— Я вам скоренько, скоренько, — бормотал он. — Потому нельзя... Хорошо, мы в углу. Да ведь огни. И место публичное. Но все же были знакомы... А ты, Маркуша... может мы насчет площадок узнаем что.

Малец стариковский тоже последовал за нами в кафе. Он как-то неодобрительно глядел на старика, на меня, поминутно вскидывал плечи: лицо обыкновенное, и было бы, пожалуй, приятно, если б не глаза: странно тупые, совсем рыбьи.

Старик полубормотал-полушептал, да так быстро, точно для миллиона слов ему отмерено было пять минут.

— Уж неделю мы, неделю целую здесь... О, счастье-то какое? Я бывал в Париже, знаю, не теперь, теперь... После пережитого. Что я пережил, да вы не знаете, этого никто не знает, не воображает, я один... И вот, только она, Анна Федотовна. (Мы давно в разводе, нельзя же), — но она не забывала по возможности. Помогала все-таки. А потом говорит: нет, поезжай лучше, Иван Степанович, ты мне здесь обуза по твоей нескладности, ты мне мешаешь, ты бестактен. Поезжай, но смотри!

Если там тише травы не будешь, — я все прекращу, во-первых, а во-вторых — ты знаешь, захочу — и обратно достану. Тогда уж не посетуй. О, она все теперь может. А я готов, кого мне видеть, зачем? Мне бы не там... Не мог я! Не мог там! Довольно!

— Ну, крути, Гаврила! — грубо прервал его малец. Старик съежился и виновато улыбнулся.

— Да что ж? Тут ничего особенного. Это ведь она же решила, чтоб мне ехать. Да, — обратился он снова ко мне, — как решила, так и сделалось: а Маркушка уж сам увязался, у ней отпросился, буржье, говорит, хочу поглядеть... Согласилась, — балует она его, — ну чтоб сейчас назад.

— Да мне наплевать на кровать, — пробасил снова Марк, — мне главное, какие тут спортивные площадки, чего они тут, эти, наколбасили...

— Французского он не знает, — извиняюще проговорил Лесли. — Я-то знал, да как в лесу еще, после пережитого! Экипировались мы тут сначала немножко, то, се... Вот куда сунуть его с площадками, с этими, еще не придумаю; способный мальчик, Анна Федотовна говорит — непременно будет ответственный со временем. Она лучше знает, занималась им, сердце, конечно...

— Это сын, может, Анны Федотовны? — успел я вставить.

— Как же, как же, наш, на другой год бойни этой... то есть войны, родился. Анна Федотовна им занималась, при ней он остался. Я — куда же, после пережитого? И развод. Но сердце у нее не какое-нибудь. Сама увидала, что не могу там. Так вот, насчет площадок-то...

— Постойте, Иван Степанович, не пойму я: значит вы обратно не собираетесь? Эмигрантом стали? В здешних газетах писать будете?

— В газетах? — всполошился старик, — ни-ни-ни! Мне только осмотреться. А чтобы обратно — ни-ни! Анна Федотовна сама согласилась и помогать будет. Я тише травы. Осмотрюсь, площадки найдем, отправлю его восвояси, а сам здесь доживать, скромненько, как она велела. Я ведь ничего, я только там не могу и ей мешаю: она поняла. А этого комсомолия его дожидает, первый он у них в ячейке, нельзя же.

Мне дерганье, бормотанье и дичь, в которой я разобраться не мог, порядочно надоели. Мальчишка — ясно: «стопроцентный», тамошней выделки: видали таких, постарше, правда: у маменьки дойдет. А маменька важная там, должно быть, шишка. Но сам-то старик? Очевидно, не врет о «пережитом», — ведь какая развалина и скелет-скелетом! Доволен, что вырвался. Надоел, видно, бывшей супруге, если пенсион назначала, веди только себя смирнехонько. Все-таки дичь! Но давно уж мы отвыкли удивляться: не понимаем — и так принимаем — проехало.

Стал я подумывать, как бы уйти, но тут Байков, едва заслышав, что о спортивных площадках я ничего не ведаю, сам заторопился от меня отвязаться: вскочил, стал мне за пиво франки совать (я не взял), забормотал что-то совсем уж несуразное, прощается. Я, было, спросил, где он живет – не сказал: «Так... тут... пока приютились... Пока...». Меня он совсем ни о чем не спрашивал. Странно, как узнал, да еще имя запомнил. Между прочим, приглядевшись, я заметил, что он не так уж стар: это худоба скелетная, да борода, да то, что зубов у него почти не было – это все и делало его стариком. Конечно, полусумасшедший; но все они оттуда, если сразу, такими нам кажутся. Отойдет понемножку.

Взял он своего парня, который мне даже головой не кивнул, засеменил прочь, беспомощно оглядываясь. Только обоих я и видел.

В тот же вечер оба они из памяти испарились и после не вспомнились, я вам уже говорил.

Год у меня выдался трудный, не до того. К лету нынче только стало немножко легче. Тут и разыгралась вторая глава. Обе-то вместе – право, чудная история.

Сижу вчера вечером, часу уж в десятом, в кафе, тоже на Монпарнассе, но кафе из пышных, людных; да теперь, в начале-то июня, все там кафе людные, шумные. А меня из деревни, это освежает.

Сижу, гляжу, ни о чем не думаю, и вдруг – точно меня ударило: Лесли! Да не тот, прошлогодний старик, а настоящий: солидный, крупный мужчина, с брюшком даже, бритый, славно одетый. И громогласный. Ей-Богу, совсем тот журналист в Петербурге: был, пропал – и воскрес. Рассмотрел, конечно: щеки полные висят, волосы с сильной проседью; зато вон смеется с кем-то – зубы так и сверкают.

В дверях стоял, потом в мою сторону двинулся, а я все глаз с него не спускаю. Удивлен был, в кои-то веки! А он меня заметил и – прямо ко мне: руку так широко, по-прежнему, подает: «А, здравствуйте, батенька! Сколько зим! Позволительно присесть к вам? Я тут кое-кого дожидаю».

Представьте, говорит даже совсем ничего, по-петербургски, ясно, положительно, бормотанья – никакого; точно и вправду был тогда не он, а теперь вот он. Видит мое удивление – захохотал:

– Метаморфоза? Да, батенька! Выпьем-ка чего-нибудь поинтереснее. Вы одни? Гарсон!

–Что ж, говорю, сынка давно домой отправили?

Вдруг он поморщился, нахмурился, постарел, придвинулся ко мне и сказал не так громко:

– Единственная туча на моем горизонте. Вам можно сказать, вы нас тогда в ламентабельном виде, сразу из страны чудес, встретили. С тех пор много воды утекло. Да. Не поехал он! И со мной уж давно не

живет. Я сначала думал – пропаду. Анна-то Федотовна! Ну, умному человеку никогда отчаиваться не следует. А уж Анна-то Федотовна, не умница ли! Погрозила, да и выручила. Мне что, лишь бы я здесь, а я со всем справляюсь. Маркушу пускай сама ловит, коли дастся.

– Ничего не понимаю, – сердито сказал я, – если ваш сын исчез, вы можете через полицию его отыскать.

– То-то, батенька, не понимаете! Пережили бы с мое – поняли бы. Кабы исчез! – хуже: в такой уклон завязался... То-то и страшно мне было. А деньги-то с меня требует. Дрожу (не знает Анна Федотовна), а даю. Шантажист мальчишка. Коли деньги материнские, да мои, не нравятся – не бери. Иди тогда с кем знаешь. А то ведь, на порог к себе не пускает, на свиданья в кафе только согласен, и пожалуйте!

Опять он мне сумасшедшим показался. Молчу.

– Да вон он, является! Небось идеи идеями, а своего не упустит. Э, где вам таких знать, новый переплет!

Я поднял глаза и тут мне пришлось так удивиться, что даже приятно стало, с непривычки. К нам подходил статный молодой человек, ловко одетый, со спортивной ноткой в костюме: без шляпы, как ходит парижская молодежь, с гладко прилизанными темными волосами. Лицо я узнал... а, пожалуй, не совсем: запомнил рыбьи глаза, но были они уж не рыбьи. Бог весть, какие, только без тупости; наглые, может быть, а скорее просто молодые, дерзкие глаза.

Не подавая руки отцу, но кивнув мне головой, он уселся за наш столик. Крикнул что-то проходящему гарсону – и с какой непринужденной манерой! Да, способный мальчик.

– Ну? – сказал отцу с прежней грубостью (грубость в нем оставалась), – есть?

Байков пошевелил плечами, нерешительно улыбнулся.

– Да, ладно. Ведь посидишь еще.

Марк взглянул на браслет.

– Десять минут. Время мне с тобой!

– Да-да-да, так, – зачастил Байков и сделался похож на прошлогоднего старика. – Вот они, дети наши, – подмигнул он мне. – Ни в мать, ни в отца... Пореволюционное сознание, видите ли... А черт, сколько этих сознаний...

– Закрывай лавочку, – оборвал Марк. – А то ведь договор договором... мне тебя провалить недолго.

– И сам сядешь, – злобно проговорил Байков.

– Без этого-то? Э, коль захочу, плевать в конечном счете!

Двинув плечами и видно было, – ему и вправду плевать.

Байков осел: «Да, хорошо уж, хорошо... Постой, – завидел он кого-то вдали и вскочил: – я сейчас, в две минуты, там человечек один...».

Умчался. Марк отнесся к этому равнодушно. Процедил сквозь зубы: «Не удерет...» и занялся какой-то, поданной ему смесью. Мы помолчали.

— Вы эмигрант? Белый? — спросил вдруг меня байковский отпрыск.

— Эмигрант, так значит не красный.

— Ну... еще не значит. Вон тоже эмигрант... — он кивнул головой в сторону отца. И прибавил: — Вы с ним не очень...

— Как это?

— Да так. У них, у старья, дисциплины ума не имеется. Шкурничество всех без разбора одолело. Трясется, на семь сторон дрожит, угодить хочет. Только бы ему, по Достоевскому, «чай пить». Я с матерью и со всеми там идейно расплевался, а он, тоже ведь идеи были! умолил-таки ее. Заданье принял, насчет эмиграции. Провалится.

— Какое заданье? Да вы сами кто? Коммунист?

— Я? — фыркнул молодой человек, — с ветошью-то этой? Пожил коммунизм, довольно! Пора на покой. Да и коммунистов нет уж никаких. Вроде же старика моего, чего изволите, только бы мне брюхо набить. Теперь новому черед. Мы, молодежь, прохвостину эту на километр не допускаем. Деньги я у него беру, награбленные, пока учусь, — это у нас все знают и одобряют, — проваливать до срока не хочу: а сам провалится — не заплачу. Обойдемся.

— Да где же вы то? — с изумлением спросил я, все меньше понимая.

Он небрежно назвал мне какой-то кружок эмигрантской молодежи, о котором я слышал вскользь и представление имел смутное: не то неоидеалисты, не то неомонархисты, а, может быть, неодемократы, — что-то довольно хаотическое. Мысленно махнув рукой, я спросил неоюношу:

— А как же спорт у вас?

Одушевился и что-то детское мелькнуло у него в лице.

— Отлично у нас поставлено. Все виды. У нас идея, т. е. конечная цель, разумеется, чтобы спорт был работой, а работа как спорт. До этого еще далеко, разумеется, но идея-то самая — видите, какая идея? Мы — завтрашний день. Мы пока готовимся. А этот... — тут к нему вернулась опять прежняя грубость (отец, лавируя меж столиками, приближался к нам), — этот пусть себе пока гуляет, заданья свои исполняет... нам что? Переедай друг дружку...

Байков, улыбаясь, усаживался за столик, но я встал.

— Куда же вы, батенька? Погодите! Мы и не поболтали как следует! Ведь сколько зим! Да где вы живете? Ни разу вас в наших зарубежных кругах не встречал, ни в писательских, ни в других... Но случается, случается.

Громогласие его было последней каплей. Даже не вспомню, как я выбрался из кафе, как простился, может, и совсем не простился. Час по улицам бродил, ни о чем не думал: голова распухла.

Сегодня тоже не думаю. Рассказал вам, что видел и слышал: с виду метаморфозы довольно курьезные, а что они означают, кто и во что превратился, — все равно не понять. Начнешь разбираться — еще к тому, не дай Бог, придешь, что в Бедламе каком-то живем. Вот уеду нынче к огороду, картофелю моему, — там просто.

«СЕРДЦЕ, ОТДОХНИ...»

Рассказ

Ее, эту красивую старую женщину, я встретил во время войны, в 15-м году. Никто еще к войне тогда не привык, даже на фронте, не говоря о тыле. Сокрушались о матерях, о ежечасной их пытке надеждой и страхом. Вспоминали некрасовское «Внимая ужасам войны» и «слезы бедных матерей...».

Вот тогда-то я Марью Марковну и встретил. Так меня встреча взволновала, что я тут же, перед новой, после ранения, отправкой на фронт, ее описал и в петербургской одной газете это напечатал. Множество писем пришло потом в редакцию. Писали все больше матери. Одне — восхищались Марьей Марковной, завидовали ей; другие возмущались, осуждали, даже осыпали упреками ее, да и меня, кстати, хотя я только изложил, что от нее слышал, без всякого суда. Не знал я, как судить: да и теперь не знаю. Теперь вопрос о материнском страдании звучит не современно, может быть: и войны нет, и матери какие-то другие... столько ведь перенесли мы, особенно мы, того, что хуже войны всякой! Но в глубине-то он, вопрос душевного страдания длительного, остался, думаю. Для кого остался, тому любопытна будет и Марья Марковна моя. Жаль, записи тогдашней не сохранилось, а за столько лет многое я позабыл. Напишу коротко, что вспомнится: главную-то суть всю помню.

* *
*

Так вот, вышел я в то лето из петербургского госпиталя не инвалидом, но не совсем еще окрепшим: раньше осени на фронт возвращаться было нельзя. Дядя и тетка, единственные мои родственники, посоветовали, чтоб не торчать больше в городе, съездить в их именьице, там пожить. Сами они туда давно не показывались, все за границу, а теперь

5 Зак 4570

в Крым. Домик старый, глушь, но место, говорила тетка, славное. Я глуши был рад, живо собрался.

И правда, хорошо. Речка с высоким берегом, село за речкой, церковь с зелеными куполами, леса вдали... Домик мой ветхий, сторож глухой, сторожиха кроме яичницы да щей ничего готовить не умеет... Очень мне все нравилось.

Через речку от меня была на другой берег, высокий, – лава (переход), а там подъем прямо к церкви. С моего берега церковь резко виднелась на небе; рядом, так же резко, темная купа вековых деревьев и, почти на самом обрывистом берегу, чуть заслоненный деревьями, белый дом с колоннами. Этот дом привлекал меня: так он был условно красив, по старинной картинке; настоящий помещичий дом, из тех, которые даже назывались иногда «дворцами». Он, очевидно, и был старинный, и, что всего удивительнее, – не необитаемый: окна не заколочены, и хоть стеклами не слишком блестят, но явно живые.

С лавы, снизу, часто я на этот дом глядел, задумавшись. Я, впрочем, тогда на все, на людей, на небо, глядел в странной какой-то задумчивости, из которой и выходить не хотелось. Кажется, пошло это со времени моего ранения и долгого потом беспамятства.

Был август месяц, и прелестная купа деревьев между церковью и белым домом расцветилась золотым и красным узором. Озолотели старые березы и у самой церкви, где, в ограде, полюбил я сидеть: хорошо, чисто, скамейки меж памятниками и решетками могильных плит. И никого в просторной ограде нет никогда: дьячок разве встретится, – жил где-то неподалеку.

Не помню, когда в первый раз увидел я в ограде, на дальней скамейке, стройную женщину в темно-сером платье. Такого же, стального, цвета вуаль был накинут на ее аккуратно причесанные серо-белые букли. Это, и все в ней, я заметил, но как-то бессознательно; лишь в следующий раз вспомнил, что уже видел ее, что видел на той же скамейке, около красивого и нового, кажется, мраморного памятника. Подножье его закрывали кусты, – на них цвели некрупные, поздние розы.

Рассмотрел я и лицо женщины: тонкое и – не строгое, но какое-то удивительно спокойное. Такое спокойное, что я, глядя, спокойствием этим точно заразился: глаз не отводил, ни о чем не думал, просто сидел, как она сидела, и смотрел.

Опомнился немного лишь, когда она встала и легко ушла за деревья.

Я подождал, потом побрел, по дорожке, к тому памятнику, около которого стояла ее скамейка. Памятник – просто колонна серого мрамора, остро срезанная. Скромно золотились буквы: «Валентин Боро-

виков, 1894–1914». Двадцатилетний мальчик... сын, верно. Неужели на войне? Вряд ли... Боровиков... какое-то полувоспоминание, что-то до сознания не дошедшее, пролетело в уме и сгасло. Я сел на скамейку, опять в беспредметной своей задумчивости. Вздрогнул, когда около раздался голос откуда-то взявшегося дьячка:

– Воздух-то какой! Благодать! Прогуливаетесь?

Присел рядом со мной на скамейку.

– Очень приятные места наши, – продолжал словоохотливо. – И приход ничего. А все Боровикова барыня...

– Это что тут сейчас сидела?

– А как же. Вот за парком дом ихний, и все имение Боровиково зовется. Богачи были. Куда и теперь... Она вот уж два года здесь безвыездно. Одна живет, как перст. Люди только, повар, сторож, девушки. Кучер есть, да он лошадей так проезжает, она – никуда.

– А эта могилка, – указал я на памятник, – сын ее был?

Дьячок поджал губы, странно как-то, искоса, поглядел и проговорил:

– Сын. Да. Сын.

Помолчал. Потом вдруг наклонился ко мне и таинственно прошептал:

– А их там нету.

Я, было, удивился, но сейчас же сообразил, что в военное время случай не редкий.

– Так он на войне, значит? Это бывает, когда тело нельзя вынести. Дают только заверенную справку.

Дьячок ухмыльнулся и покачал головой.

– Справку! Да ей, Марье Марковне, не то что справку, у нее такой приказ, чтоб никто ей ничего с почты возить не смел. Никто и не возит. И не ездит к ней никто. Был весной барин какой-то, добивался, – не приняла, карточку даже брать не велела. Деньги ей приходят, – у прикащика доверенность. А вы говорите – справка!

Я пожал плечами. Странно. Помешанная, что ли? Но дьячок опять замотал головой.

– Ни-ни! А такой уж характер. Как она в себе решила – так и должно быть. Добрая, – сколько добра кругом делает! а только характерная.

– Как характерная? Что решила?

Но дьячок не хотел, или не мог ничего мне объяснить толковее. Напустил на себя таинственность и, Бог весть куда, повернул: панихид, мол, не служат, но памятник на церковной, однако, земле, потому у нее «рука». Все это мне наболтав, дьячок ушел – жена кликнула. Если он хотел меня заинтересовать – в этом, признаюсь, успел. О даме из бе-

лого дома я в этот день вспоминал не раз. А еще через день нарочно пошел к вечеру, в церковную ограду, надеясь встретиться.

Надо сказать, что война, — фронтовая, окопная жизнь, — изменила многих из нас в том еще смысле, что упростила наши отношения с людьми, особенно условно-светские. Я, например: был, что называется, «блестящим» молодым человеком, привык к «обществу», да еще карьеру дипломатическую начинал: кажется, вымуштрован. И все это с меня, через год, окопов слетело. Я не то, что огрубел, — опрямел и опростел: условности отошли куда-то; всегда теперь что-то важнее их шевелилось в душе и мысли.

Мог ли я прежде хоть подумать подойти к незнакомой почтенной даме и заговорить с ней только потому, что меня привлекло светлое спокойствие ее лица? А теперь сделал это и не подумав. Подошел, низко поклонился, попросил — не позволит ли она сесть рядом, сказать ей несколько слов?

Она не удивилась и, тоже без условностей, ровным голосом произнесла:

— Вы, кажется, офицер? Вам не о чем говорить со мной. Я о войне не буду слушать.

— Я и сам не намеревался о войне. Я хотел спросить вас... впрочем, не знаю сейчас, о чем. Только войны это не касалось. Я о ней, вот уж два месяца, не думаю.

— Это хорошо, — сказала она, не глядя на меня. — Можете сесть.

Говорила не холодно, не сухо, не равнодушно, — только спокойно. Мы помолчали. Вдруг она, все глядя куда-то вдаль, спросила:

— Ваша мать жива?

— Нет, я и не помню ее. У меня никого нет, близких, родных. Я один.

— Это хорошо, — опять сказала она.

Мне тоже показалось в эту минуту, что хорошо; не заметил, как опять задумался, на вечернее, до пустоты ясное, небо глядя. Внизу, далеко, чернела неподвижная линия — лес, должно быть.

— Когда смотришь долго на неподвижное, — сказал я, — кажется, что время не проходит.

Моя соседка тихо улыбнулась.

— Правда. Или что все оно уже прошло... Вы видели мой дом? — прибавила она неожиданно.

— Он мне издали нравился очень.

— Приходите, если хотите, когда-нибудь вечером. Когда стемнеет. Будем чай пить. У меня есть книги. Хорошие. Старые.

— Вы никого не принимаете...

— А, вам говорили. Вас приму.

* *
*

Я, конечно, пошел к ней. И скоро случилось так, что в боровиковском доме стал я проводить почти всякий вечер.

Точно в другой мир какой-то вступал я, входя в эти комнаты, — не буду их описывать. Лучше всяких описаний — любая гравюра деревенского быта нашего 30-х, скажем, годов. Видал я такие. Только по гравюре запаха не узнаешь, воздуха не почувствуешь, а я его чувствовал, совсем особый, и не сомневался, что это именно тот, такой, какой был сто лет назад. Сохраняют же книги, в начале прошлого века изданные, свой запах? Таких столетних книг у Марьи Марковны было много. Мы их, в «боскетной», где обычно проводили вечера, вместе читали; даже известные делались неизвестными, новым светом для меня загорались, — потому что вот этот, кожаный переплет, облекал их, и ласкала пальцы нежная тряпичная бумага. Но не прошлое, не эстетика завлекала меня, а сам не знаю, что.

Марья Марковна нисколько не поклонялась прошлому. Она не жалела о нем, не хвалила его, не предпочитала, как все старые люди, настоящему. Это очень трудно объяснить, я сам долго не понимал: но она из всех времен равно брала, что ей нравилось, и брала, и оставляла, — свободно; точно все они, времена, одинаково шли-проходили где-то вне ее, около, или даже все для нее уже прошли.

В том удивительном покое, которым веяло от этой женщины, было что-то сродни тогдашней задумчивости моей: я часами мог сидеть неподвижно, почти без мыслей, в каком-то широком, без берегов, отдыхе. Там, у памятника, Марья Марковна показалась мне не совсем понятной; заинтересовала «странностью»; теперь я ни о какой странности больше не думал, забыл; само вышло, что мы ее коснулись.

Читали Жуковского... словно живая передо мной прелестная книга эта в мягкой коричневой коже! Сначала я читал, потом книгу взяла Марья Марковна.

Розы расцветают,
Сердце, отдохни...

Как удивительно читала она! И какие стихи магичные!

Сердце будет ясно,
Розою прекрасной
Сердце расцветет...

— Вы розы любите? — вдруг перебил я. — Там, в ограде... на могиле сына вашего розы и сейчас цветут. Он умер на войне?

Я спросил без любопытства, совсем просто. Так же просто она ответила:

— Я не знаю. Умер, когда пошел на войну.

— Когда пошел? — переспросил я с пробудившимся удивлением. — Где же? Как?

— Так. Здесь. Вы видели его могилку. Я ее с тех пор не покидала.

Эти ответы сбили меня: я хотел спросить еще, дальше, но не мог сразу найти слов для нужного вопроса. Она, видя мою непонимающую растерянность, улыбнулась, спокойно стала объяснять.

— Вы матери вашей не помните, это к лучшему, вы меня скорей, может быть, поймете. Оно просто, да люди к другому привыкли. Валентин был моей душою, самой жизнью моей сделался. С юности, с детства даже, знала я пытку любовью и надеждой, страхом потерь. Так что под конец сил страдать у сердца уж не оставалось. Не сердце одно, вся душа во мне устала... и на новую пытку идти не могла. Валентин знал это: мы с ним так понимали друг друга, что иногда глазами одними разговаривали. И если в первый же день сказал, что пойдет на войну, значит, не мог не идти. Все-таки попросила: до завтра подумай. Завтра — окончательно. Тогда решу. Даром оба помучились до завтра. Изменить уж было нельзя.

Она остановилась. Глядела в темное, такое темное окно, будто за стеклом совсем ничего не было, мир кончался. В боскетной было тепло и уютно, тихо, шипя горела старинная масляная лампа, — карселью, кажется, их называли. Лицо Марьи Марковны было спокойно, и в первый раз спокойствие это не успокаивало меня, а тревожило.

— Ну, а потом, — докончила она, — потом я его отдала. Совсем отдала. В одну ночь, сразу, до конца, пережила его смерть. Так, как если бы в эту ночь он действительно умер у меня на руках. Простилась с ним, — уже с мертвым: последним целованием губы его поцеловала. Он знает, он принял так. И теперь...

— А если он жив теперь? — прошептал я в неизъяснимом, изумленном ужасе.

— Я не знаю. Да это все равно. Одну смерть два раза не переживают. Что есть теперь, что будет завтра, — все равно. Все уже совершилось для меня.

— Но ведь он совсем, совсем уцелеть может! А если он возвратится, — живой? Тогда как?

Я был взволнован, у меня срывался голос. Марья Марковна, с полуулыбкой, умиротворяюще положила свою бледную руку на мою.

— Тогда... он второй раз родится у меня. Но я не думаю об этом. Я храню его в сердце. Оно, сердце мое, сделало последнее свое усилие, — принять его смерть, — и приняло... Чтобы потом отдохнуть.

— Вы в Бога верите, — пролепетал я. — Если верить, то грех это. Вы от надежды отрекаетесь. Это не любовь.

— Не любовь? А что же? И от надежды совсем я не отрекаюсь. Если говорю, с Жуковским: «сердце, отдохни», — то ведь и дальше, вы слышали:

Сердце, — уповай:
Есть, нам обещают,
Где-то лучший край.
Вечно молодая
Там весна живет.
Там, в долине рая
Жизнь для нас иная
Розой расцветет...

— Видите, — добавила она, опуская книжку, — у меня лучшая, и не грешная, а единственно-праведная надежда. Здешняя, земная любовь... земная надежда... стоит ли муки то, что проходит? Послушайте святых: все здешнее ничтожно, не нужно... Есть иной, лучший край. И туда — это тоже Жуковский сказал, — «Туда через могилу путь; в могиле ж — только отдохнуть».

Она умолкла. В молчании ее, как и в словах, не было грусти. Был все тот же светлый, ровный, отдохновенный покой. Что нарушит его? Он неуязвим. От страха сама надежда, — эта, — как щит. Годная могилка, расцветают розы, сердце — уповай...

Я шел от Марьи Марковны домой. Тихая, темная, черная была ночь. Не скрою: тогда, только еще на переломе живой моей жизни, — холодом могильным повеяло на меня из этой души. Точно заглянул я в тихую, темную, ласковую — пропасть. Где она, эта женщина, кто она? Не только ли серая, мертвая колонна памятника над могилой в ограде? Он, тот, чья это могила, жив, может быть... а она — жива ли?

Странным страхом полна была душа. Но была она уже ранена жизнью. И от того, после безглазого страха, куда-то сникшего, почувствовал я... зависть. Всем ведь дано знать пытку надеждой и ужасом потери, пытку любви. Но матерям дано ее знать в пределе. Не блаженна ли имеющая силу вольно выпить чашку до дна сразу, чтобы сказать потом сердцу — отдохни в уповании, не похожем на обманную надежду земную?

Впрочем. я старался не судить, зная, что рассудить этого до конца не сумею. Скоро уехал и — много лет прошло, а я о Марье Марковне ничего больше не слышал. О сыне ее — вспомнил, что еще раньше слышал: ранен был какой-то Боровиков на северном фронте. Может, и не он.

Но не раз, за долгие эти, тяжкие годы, вставало передо мной спокойное лицо Марьи Марковны. Ограда церковная, родные клены,

розы на могилке... Думал я о Марье Марковне и тогда, когда о матери друга моего Володи узнал. Тысячу дней, тысячу ночей провела она в пытке надеждой и страхом, а когда, наконец, убили Володю на юге красные, сердце не успело отдохнуть: умерла она от горя и сама, через месяц. Не успела поверить, что –

Там, в долине рая,
Жизнь для нас иная
Розой расцветет.

ТАЙНЫ

Рассказ

Пожалуйста, не смейтесь: Любочка этого терпеть не может. Ее еще зовут не Любочкой, а просто Люлю, как она назвала себя, когда была маленькая, когда у нее были «года»; теперь, с некоторого времени, у нее «лета» (пять). С летами, хотя Любочка очень ждала их, мало что переменилось; все так же «большие» находят Люлю девочкой избалованной и дикой; все так же они что-то скрывают, а многого сами не понимают; все так же отвратительно громко хохочут. Хохота Люлю совсем не могла выносить: вздрагивала, хмурилась, а то начинала и реветь.

Люлю разговаривала только с няней своей Грушей, не маленькой, но не очень и большой, от которой требовала неотступности, днем и ночью: да еще с бабушкой в мезонине. Мама – не в счет, с мамой и некогда разговаривать, с ней нацеловаться не успеваешь; и мама – немножко сама же Люлю. Что немножко, что не совсем, – это Люлю узнала вот как: она видела во сне сад, и что с мамой в саду гуляет. А когда спросила маму, помнит ли она об этом, мама покачала головой и сказала: «Ведь ты же видела сон, а не я». Это было непонятно, мама во сне так же видела сад, как Люлю, но спрашивать, даже маму (не то, что других больших!) Любочка не хотела: и тут, очевидно, была тайна, – как везде и повсюду кругом. Тайна же – это всегда то, о чем нельзя спрашивать, стыдно, страшно, да и бесполезно, особенно больших: наверно не скажут, если и знают; выдумают что-нибудь нарочно. Самое большее, что можно, – спросить не прямо, а так, обыкновенное, подходящее... Любочка вся, раз, замерла от ужаса, когда шестилетний кузен Вася прямо спросил, за обедом, почему в супе плавают кружки. Ему ответили, что это масло. Он поверил, хотя знал же, что масло твердое и белое, а кружки прозрачные. С Васей, и с другими мальчика-

ми и девочками, Люлю еще меньше говорила, чем с «большими», и не играла. Совсем ничего не понимают!

Насчет сада и мамы во сне, Любочка думала одна и могла только придумать, что сны видятся изнутри. А внутри — я. Мама говорит: «Не я видела». А видела я, Люлю. Значит, сны отдельные. Значит, мы с мамой, во сне, отдельные... Это-то так, но и так — еще хуже тайна. Да их, впрочем, не оберешься. Почему слова, например? Почему каждое что-нибудь значит, но если какое-нибудь все повторят, — «муфта, муфта, муфта»... оно уж ничего не значит? А есть такие, которые сами значат — тайну. Любочка не знала этого сперва и, услышав слово «болонка», спросила. Ей сказали: «Маленькая собачка». Нарочно сказали: потому что когда Люлю увидала из окна маленькую собачку, закричала: «Болонка! болонка! Принеси мне сейчас болонку!» и собачку принесли, все стали гадко хохотать: «Какая же это болонка? Это дворняжка!». Про «устрицу» Люлю уж и не спрашивала; сама ее себе вообразила. И когда раз шли оне с Грушей — няней на даче, по дорожке, и выскочила, через дорожку прокатилась, устрица, вся круглая, в серых иглах, и Люлю закричала, в восторге: «Устрица! устрица!» — Груша только головой покачала: «Что вы, Любовь Ивановна, можно ли это говорить!».

Если большие очень пристают — Люлю умела поставить их на место. Один из дядей, — Коля, — громадный, черный (сама Люлю ужасно мала, бледные волосы завиваются слабыми локонами), дядя этот особенный приставала. Шарады выдумал: первое имя Лю, второе тоже Лю, и целое — глупая девочка. И опять: первое Лю, и второе Лю, а целое — капризная дурочка. Отгадала?

Люлю только глядела, насупившись, а потом говорит:

— Я тоже шараду. Первое мое имя Ко, второе Ля, а целое... — тут она задумалась на минутку, потом, как отрезала:

— А целое — бессмертный дурачина!

Когда кругом захохотали, Люлю не удостоила раздражиться, взяла Грушу за руку и — в детскую.

Люлю приметлива: она, кроме тайн, заметила, что если ждешь чего-нибудь, думаешь, будет вот так, — будет непременно не так. Тетя Маша поехала в лавки: «Я тебе, Люлюша, подарочек привезу». Целый день оне с Грушей гадали, какой подарочек. Всякое придумывали. Только бы не конфет! боялась Люлю. Груша утешала: «Что вы! Оне знают, что вы не любите!». А тетя привезла именно конфет и обиделась, что Люлю целый час громко ревела.

Мало того, что большие тайн не понимают. Они любят обманывать, сами не зная, зачем. «Папино завтра рожденье». «Что это, рожденье?» — спросила Люлю. «А папа завтра родится, будет маленький ре-

беночек, в колыбельке лежать, у-а кричать». Люлю промолчала, но поверила. Когда же, на другое утро, увидала, что папа выходит из спальни, в лисьей своей тужурке, точь-в-точь такой же большой, как вчера, – бросилась Груше на руки и опять заревела. Никто не понимал, почему; а она вовсе не на папу обиделась, – на обман.

Это уж давно, впрочем, было. Теперь она редко чему верит, сама соображает. Если с большими – осторожно, ничего им не рассказывает, не спрашивает и не верит, то хорошо, что они есть. Даже гости. Они приезжают больше тогда, когда Люлю уже спит, привозят игрушки; и утром Люлю сейчас же, – еще Петр полы не подмел, – стремится в гостиную: какие игрушки? Бывают разные: куклы со шлейфами, карета с лошадьми и кучером, ферма с деревцами и коровками... Люлю серьезно разбирает их, расставляет, оценивает... редко любит. Они должны быть в гостиной, гости должны их привозить... ну, а нравиться – они могут и не очень все нравиться. У Люлю есть одна только любимая: это большой, черный, картонный медведь без морды. Так-таки совсем без морды, пустота спереди, и видна его серая картонная изнанка. Этого медведя не гости привезли: его Люлю отняла у бедной девочки, к которой попала она с Грушей случайно: мама велела Груше, с прогулки, письмо занести маме этой девочки. Медведь и тогда был без морды, но, должно быть, имелась в нем какая-то прелесть, потому что девочка, хозяйка, любила его без памяти. Впрочем, других игрушек у нее и не было. Люлю, едва взглянув, заявила: «Хочу, чтоб он мой. Хочу, хочу!». Девочка заплакала, мама ее растерялась. Груша вздумала уговаривать Люлю: «Мы лучше найдем, купим, вот он без носу!», но разве можно не верящую Люлю уговорить?

Кончилось тем, что медведя спрятали, обманув девочку, что спрятали от Люлю, а на лестнице девочкина мама тихонько сунула его, завязанного в большой платок, Груше. И торжествующая Люлю водворила безмордую тварь в детской, за своей сеточной постелькой.

Скоро Рождество. Люлю знает: если зима, снег, если для гулянья надевать надо белую пуховую шубку с такой же муфтой на шнурочке, – значит, скоро Рождество. Что такое Рождество? Это – елка. А елка... Игрушки, подарки, конфеты (которых она не любит) у Люлю всегда, всякий день, она привыкла. Но елка – не то, и елка, только если Рождество. Давно, давно, когда Люлю была маленькая, то есть когда еще никаких ей не было, как теперь, «лет» (пять!) – она помнит: тоже случилось Рождество, – елка, в первый раз.

Люлю, конечно, тогда не понимала (как теперь) про тайны. Что они везде, вокруг, всякие. Но они были же и тогда, и елочная тайна, самая, может быть, таинственная, так поразила Люлю маленькую, что ее едва унесли из залы. Но елка продолжалась во сне: с плачем Люлю

проснулась ночью: «Ушла! ушла! Елка ушла!». И так не верила, что не ушла: «Я слышала, как она стучала!», что ее понесли в залу, к елке. «Видишь? Вот она. А огоньков нет – это она спит. А ты ее будишь». Люлю с серьезностью посмотрела на елку, тихонько до веточки дотронулась. И сама в постельку назад попросилась.

Потом еще была елка, опять вся в теплых огнях и в своей таинственной тайне. Но теперь, новая, которая будет скоро, потому что скоро Рождество, – о, теперь...

Люлю идет, в пуховой своей шубке, с Грушей, по Московской улице. Мимо тумб скользят и скрипят санки. Голубые, белые вывески, золотые, на солнышке, буквы. Вот большая, любимая. Люлю громко читает: «П!.. У.. П. у Ч!.. КОВ... Пуч-ков». «Это Пучкова торговля», – как всегда говорит Груша. Люлю не понимает хорошенько ни торговли, ни Пучкова, и ей все равно: ей весело и странно, что из золотых палок выходит почему-то смешное слово, а из других, черных, выйдет, если она захочет, другое...

Но она не хочет. Украшения в окне опять вернули ее к елке. Люлю не думает словами. Слова – это, чтобы говорить, называть что-нибудь или читать, как Пучкова; а когда самое важное и таинственное, то оно тут само, – и больше ничего. Елку она, думая о ней, не то, что видит, а еще как-то громадно обнимает со всех сторон. И тут же, рядом с невидимо-видимой будущей елкой, у Люлю теперь еще другое, – другая, совсем новая, неожиданная тайна. Это случилось недавно. Это – просто мамина гостья, она часто приезжает днем. И когда приезжает, Люлю уже не хочет играть; она тащит за руку Грушу из детской, потихоньку; но они не сразу идут в гостиную, а бродят сначала по всем комнатам; потом уж в гостиную. Груша у двери остается, а Люля, как мышка, прямо за мамину спину на диван, и там затихнет.

Мама занята разговором; Люлю не слушает, ей только бы незаметно из-под маминой ласковой руки выглядывать и смотреть... на гостью. Люлю ничего о ней не думает и совсем не думает, что любит ее. Любит она маму, папу, бабушку... Грушу; а это – это совсем ведь другое. Или если уж все-таки любит, то как елку; нет, как именно ту елку, которая ей видится; которая могла уйти и не ушла.

Впрочем, так как Люлю не рассуждала, то и мы не будем этим заниматься. Да и неизвестно еще, нужны ли здесь вообще рассуждения.

Одно в Люлю крепко: тайну должна она хранить и сохранить от всех, во что бы то ни стало. Об этом она тоже не думала, но это было так.

Гостью зовут... все равно, Люлю знает, конечно, но не очень помнит. «Она» – и довольно, и все. Люлю хочет от нее только чтоб она была, больше ничего. Чтоб Люлю на нее смотрела, а она чтоб этого не

видела, не заметила. И, едва гостья вставала, Люлю выскальзывала из-под маминой руки, стараясь потихоньку убежать к Груше, пока еще говорят, не обращают внимания; а то вдруг увидят, вдруг мама заставит прощаться!

«Куда вы, куда вы, Любовь Ивановна?» – кричала Груша, едва поспевая за Люлю. А Люлю неслась по коридору, нарочно припрыгивая, чтобы и Груша чего не заметила; хотя неизвестно, что могла бы заметить Груша, если б Люлю не припрыгивала.

Раз Люлю видела «ее» во сне. Она была совсем такая же, как наяву: лицо такое же, и ямки на щеках, и черная бархатка на шее, и – главное – так же была «она». Сидела в гостиной и разговаривала, а Люлю с тем же восторгом на нее глядела; только, хотя мама на диване, было не страшно: Люлю и во сне вспомнила, что это она видит сон, а не мама, а мама о нем не знает. Проснувшись, веселилась: «она» есть и во сне, и наяву; во сне такая же, только лучше.

Груша-няня – человек болтливый; а так как была она при Люлю неотлучно, то и болтала, даже к ней и не обращаясь, все равно без перерыва, что в голову придет. И такое, подчас, незанимательное, непонятное: Люлю не слушала. Раз, среди трескотни, вдруг «ее» имя:

– Уж такие эти барышни хорошенькие, уж такие хорошенькие, – прямо красавицы! Куда нашей Ольге Максимовне до них!

– Что? – насупившись, проговорила Люлю. Она выцарапывала в это время глаз из разбитой головы куклы, нелюбимой.

– Ольге Максимовне, говорю, тете Оле, куда до них! Такие красавицы!

– Что это – красавицы? Молчи, пожалуйста. С гадостями.

– Это барышни-то эти – гадости? Уж скажете, тоже. Все любуются... Всякий видит.

– Нет, гадость, гадость! Никто не видит! Гадость!

Люлю топала ногами, ревела, и долго бы не успокоила ее испуганная Груша, если б не догадалась шепнуть, что у лакея Петра есть, со вчерашнего дня, два белых кролика с красными глазами, и он принесет их показать.

Елка, темная, холодная, громадная, – до самого потолка, – была уже в зале. Пахло от нее сосульками, скипидаром, мохом и немножко мышами. Ее нынче еще можно было видеть, а завтра, с утра, двери в залу плотно запрутся: елку будут одевать, и пока она не сделается настоящей елкой, Люлю ее не увидит.

Одевают большие. Люлю не задумывается, как это они делают, ей все равно: она уже проснулась в беспокойном тумане ожидания, плохо кушала и капризничала... немножко, впрочем; но ничем не могла заняться. Груша болтала некстати: «Ну, а что, Любовь Ивановна, пода-

рят вам нынче! Я знаю, да сказать не велено!». Как будто в этом дело! Потом говорила, сколько гостей наедет, — туча! Люлю знала, что приедут и разные дети знакомые, что было ей неприятно; лучше бы елка для нее одной вся. Ну, и большие... и «она», конечно. Вот самое главное: «она» — и елка. Елка — и «она»...

Большие уж давно в зале; то и дело отворяется и затворяется туда дверь. А вот стали приезжать и маленькие; их сразу ведут в детскую. Поздоровавшись с Люлю, они уже не обращают на нее внимания, как и она на них: сидит, прижавшись к няне, молча, и холодно смотрит, слушает глупую болтовню. Дети все немножко старше Люлю; есть семилетние даже. Толстенькая курносая Валя Митрофанова, ровесница Люлю, еще ничего; а вот Лидочку Белявскую терпеть нельзя, такая она шумная, с мальчиками дерется, к большим пристает и ничего не понимает.

Две девочки приехали с гувернанткой. Люлю старается не смотреть на толстую, старую француженку, ей страшно: мама сказала, что у Люлю тоже будет гувернантка... потом. Хорошо еще, что потом...

Торопливо пробегая, заглянула в детскую тетя Оля: «Соскучились, дети? Люлюшка, не сиди сычом! Через две минуточки, ждите!».

Может, и правда две минуточки, только были они ужасно длинные. Но все-таки прошли. Двери раскрылись. Не топоча, без шума, дети двинулись в зал. Крепко вцепившись в Грушину руку, шла Люлю и, по правде сказать, ничего не видела, пока теплый запах воска, теплое, мерцающее сиянье не обняли ее. Много еще чего было, на что смотреть, но для нее слишком довольно этого сиянья: в сиянии, тут же, стояла — «она». Не с большими, которые толпились вместе, поодаль, а как-то отдельно, под самой елкой. Была в белом, без бархатки, с белым цветком-розой в волосах, — какой Люлю ее никогда, во сне даже, не видала: но ведь никогда не видала она ее и вместе с елкой, всю в огнях...

Люлю стояла неподвижно, словно в землю вросла, и смотрела, смотрела... Дети теперь шумели, кричали, визжали, обегая елку кругом. Подошли большие, что-то говорили, коробки раскрывали... «Кукля! Кукля!» — пела курносая Валичка. Борик сопел над какими-то колесами. Люлю не двигалась; следила только глазами за «ней»: вот, она огонек поправила, сняла хлопушку; большой Вася говорит с ней, — и как он смеет? — просит о чем-то; вот она улыбается... «Люлю! Что же ты своего подарка не смотришь?» — говорит кто-то и подает ей большого, пушистого коричневого медведя с настоящей мордой. Люлю взяла, не взглянув (некогда!), выпустила Грушину руку и, с медведем в объятиях, все так же молча, без улыбки, стояла и смотрела, смотрела, смотрела...

Потом была музыка, играла на рояле гувернантка, дети танцовали, и визжала Лидочка Белявская. Потом — как-то скоро — нижние звездочки стали, одна за другой, гаснуть, елка делалась все бархатистее, только головка, под потолком, еще светилась. Дети опять зашумели, — кажется, их увозили; прощались.

А Люлю кто-то взял, с медведем, и посадил к себе на колени. Это Нина Филипповна, гостья противная, всегда так громко хохочет. Они сидят теперь, — все оставшиеся большие, — в уголку, в зале, где, под пальмой, — маленький диванчик и кресла. Люлю не любит Нину Филипповну, но теперь это ничего, потому что с ее колен прямо перед собой она видит и темную елку («глазки закрыла, заснула») и — «ее», всю светлую, с белым цветком-розой, под белой лампой, которую только что зажгли. Обеих сразу, и елку, и «ее» видит Люлю; и, прижимая к себе неживого, чужого медведя, смотрит, смотрит...

— Поглядите-ка на Люлюшку, — сказал вдруг дядя Коля, он сидел рядом с Ниной Филипповной. Нина Филипповна захохотала, а мама проговорила спокойным голосом: «Ей давно спать пора».

— Не хочу спать, — прошептала Люлю, не оборачивая головы.

— Да нет, вы поглядите! Она глаз от Наталии Сергеевны не отрывает. Так и впилась. Да уж не в первый раз это, кажется... Ну не покорительница ли вы сердец, Наталия Сергеевна? От старого до малого...

На дяди Колины слова все засмеялись, а тетя Маша сказала:

— Да, Люлюша очень любит Наталию Сергеевну. Всегда, чуть вы приедете, бежит... Это так мило...

Люлю все шире и шире открывала глаза. Что-то внутри у нее заколотилось, запрыгало, должно быть — тайна, которую у нее отнимали, а она, тайна, отниматься не хотела. И это был еще не конец. Ужасное наступило, когда вдруг «она», улыбаясь, с ямками на щеках, наклонилась немного вперед и сказала:

— Так ты любишь меня, Люлю? Правда, любишь?

Люлю порывисто сползла, задирая платьице, с колен гостьи и, как чурку, сжав медведя крепко сложенными руками, остановилась прямо перед Натальей Сергеевной.

— Неправда. Не люблю, — сказала она. И, чтоб уж твердо было, — потому что наступил последний момент последнего спасенья, — прибавила, глядя на «нее» широкими глазами:

— Дрянь. Гадость. Тьфу!

На другой день утром Любочка сидела у бабушки в мезонине, за столом, а мама ходила по комнате и сердилась.

Что-то много она говорила: что ей стыдно за Люлю, что Люлю невежливая девочка, что браниться нельзя... и много еще, чего Любочка не слышала, потому что совсем и не слушала, занятая чем-то другим, своим, важным.

Бабушка, наконец, погладила ее по головке и сказала маме:

– Ну, что ты ее? Такой праздник нынче, Рождество Христово, а ты на нее сердишься. Ну, она больше не будет. Разве она понимает?

Люлю вытянула губки вперед, потом улыбнулась. Подумала про себя (опять не словами, конечно), что вот и мама – большая, а большие-то, как раз, ничего и не понимают. Особенно о тайнах, – ни-чего!

Оттого они такие и глупые, – почти все.

Декабрь, 1932

ПЕРЛАМУТРОВАЯ ТРОСТЬ

(Опять Мартынов)

Писал любовные мемуары. Бросил. Все какие-то случайные анекдоты, короткие. А ведь бывало же посерьезнее? Попробуем. И чтоб краткостью не соблазняться, но чтоб не надоедали и подробности, а писать искренно и старательно. Долгих подступов к истории тоже не побоюсь.

I
Бабушка

Случилось это в годы, когда я был женат на моей бабушке.

Бабушка к истории отношения прямого не имеет. Упоминаю вскользь, ради отношения очень непрямого, – дальше видно будет, какого. А про женитьбу скажу только, что был момент, когда мне нужно было оказаться «женатым», иначе хоть в петлю. Почему – неинтересно. Вот она тогда и выручила меня, дорогая моя покойная бабушка (я ей троюродным внучатым племянником приходился, но с детства любил, уважал и бабушкой звал). У нее, в Долгом, в Тамбовской губернии, мы и обвенчались утречком рано, а после, днем, я уехал. Почти что прямо опять в Германию.

Вот, собственно, и все. Теперь будет новый подступ, длинный, в виде целой истории: чужой, не моей, но для моей ее приходится рассказать.

II
Чужая история. Начало

Франц фон Галлен.

Самый мой близкий друг, даже единственный друг среди кучи приятелей, студентов Гейдельбергского университета.

Старше меня, – ну, положим, я-то был тогда чуть не самым юным из всех студентов. Никогда я не думал, что такого (современного) немца могу встретить. Знали, были прежде, но живого не надеялся увидать. Был очень немец (из хорошей, старой немецкой семьи, чрезвычайно, притом, богатой), и окружало его какое-то нежнейшее обаяние. Мечтательной тишины – соединенной с острой мыслью, всегда глубокой. Писал, конечно, стихи (мне они казались прекрасными, не хуже Новалиса) и серьезно занимался философией.

С философии сближение наше началось; потом уж пошло дальше.

И с виду Франц мне казался таким, каким должен бы, по моему представлению, быть или молодой Шеллинг, или тот же Новалис, – кто-нибудь из дорогих мне прежних немцев; я их обожал. От плотного бурша в нем – ничего. Какие глаза, с голубыми блесками! Тонкий, даже слишком тонкий стан. Рисунок губ немножко беспокоил: розово-нежные, складывались они с какой-то трогательной беспомощностью.

Мы стали неразлучны. У меня не было от него тайн. У него, я думал, тоже. Отношения идеальной дружбы. Как Тик и Вакенродер, восторженно вспоминал я.

Никакого оттенка старшинства в его дружбе не было. Только временами, неожиданно, проявлялось в ней что-то не совсем понятное для меня; какое-то нежно-ласковое отдаление, словно бережность по отношению ко мне.

Но я и не задумывался над этим.

Потом мы расстались. И потекли годы. Разделили нас? И да, и нет. За эти годы я несколько раз видел его, возвращаясь в Германию; но не это, а наша, не всегда частая, но постоянная переписка сблизили нас... и совсем по-новому. Ушла юная, гейдельбергская восторженность, – Бог с ней! Я узнал Франца, как он есть, и, по-человечески, верно, привязался к нему. Я, впрочем, вообще верен.

Потому, когда пришло это последнее письмо, где он звал меня приехать, хоть ненадолго, – я не задумался. Давно его не видал, но то, что случилось с ним года два тому назад, – знал. Теперь Франц зовет меня. Зовет успокоенным, почти веселым письмом. Но все-таки зачем-то я ему нужен? Поеду.

И поехал.

III
Драма и трагедия Франца

Сквозь глициниевый покров, бледно-сиреневую сетку, шелковистую – ядовито-зеленое Ионическое море. Высокое. С муаровыми лесами ближе к скалам. А больше ничего. Направо и налево от веран-

ды — буйно заросшие горные уступы, — это сад. Вилла — крошечный домик, — точно спрятана со всех сторон, точно провалилась она в цветущую заросль.

— Ты мой друг, — говорит Франц, — самый близкий друг. Ты все знаешь, ты все можешь проникнуть умом и сердцем. Ты мне нужен иногда, как никто в мире. Но я не обманываю себя: понять ты меня не можешь.

Милый, тонкий профиль на сиреневом шелке глициний. Глаза опущены.

— Франц, что ты называешь «понять»?

— Как если б ты был мной... на минуту. Да нет, вернулся в себя — опять забыл. Это — вот эта часть человеческой жизни и существа, — самая забвенная. И друг в друге самая непонятная, если не схожая. Могу встретить человека случайного, далекого, глупого, противного, но который будет понимать. Мы с ним будем «мы»...

— А я с тобой — никогда? — перебил я. — Ты прав, вероятно; если речь о таком понимании. Только видишь ли... Ты слушаешь меня, Франц? Одни, как ты, познали себя; для других, как для меня, все тут загадочно, и я сам не знаю хорошенько, с кем я — «мы». Кажется, не с тобой... Но, кажется, — и не с ними...

— Нигде? — улыбнулся Франц и встал. — Вот уж неправда! Это-то я о тебе знаю, и ты сам знаешь. Но оставим пока. Хочешь, пройдемся? К Дикой скале, вниз?

Неслышно ступая, вошел один из служителей Франца.

— Signor...

Сказал что-то Францу, я не разобрал, хотя по-итальянски знал недурно. Но к сицилианскому их говору еще не привык.

— Вот, не могу, — произнес Франц, слегка пожав плечами. — Джованне уверяет, что со снимками что-то неладно, которые у меня сушились. Надо пересмотреть. Ты придешь вечером? Перед закатом?

Я обещал. И, взяв шляпу, вышел из сада на ослепительную каменистую тропинку.

Я не живу у Франца. Он устроил меня в знакомой ему семье, у венгерского художника, женатого на немке; красивая вилла по ту сторону городка, Флориола.

Домик Франца, запрятанный так, что ниоткуда его не видать, называется Pax. А Франц здесь, в этом крошечном городке Bestra — навсегда. Так он говорит, так мне верится, хотя... мне почему-то за него больно, я даже возмущаюсь. Всю жизнь... а есть ли ему 35 лет?

Франц занимается художественной фотографией. Для себя, конечно. Снимки его действительно прелестны. Почти все сделаны у него же в саду, а сад этот, с его могучей растительностью, с неизвестными мне

подчас, странными деревьями, похож не на сад, а скорее на рай в счастливые дни, до грехопадения.

Франц живет один, — с несколькими служителями. Они же и помощники его. Они же и натурщики, когда он снимает свой райский сад.

Сначала я их не различал: все одеты одинаково, все одного, сицилианского, типа — не совсем итальянского, с какой-то примесью: короткий, прямой нос, и смуглота особая, с золотом. Теперь я знаю и Джиованне, и Джузеппо, и Нино... и как его? самый маленький?

Знаю немножко Бестру, знаю, почему ее именно выбрал Франц, когда, больше двух лет тому назад, решил искать уединения, «навсегда» порвал с семьей и с родиной.

Он мне писал об этой драме. Писал подробно, открыто, не щадя ни себя — ни других. И я хорошо понял, что грубый скандал, разыгравшийся в грубом берлинском обществе (так называемом «лучшем», к нему принадлежал Франц), не мог не быть для Франца «драмой», — и не мог он ее не завершить, как завершил.

Я понял драму. Совсем, совсем, до конца понял. Но ведь за драмой Франца стоит трагедия? Ведь о ней-то и говорил он, что я не могу — как он понимает понимание — ее понять?

Кажется, не могу. Или могу?

IV
Продолжение

Дома я застал вакханалию цветов.

То есть не у меня, не в моих комнатах, а в громадной, полупустой, красивой комнате — салоне-столовой — хозяев. Я туда сразу прошел, хозяйка окликнула меня из лоджии, сверху.

Самого старого венгерца, Мариуса, как всегда, не было. В мастерской, очевидно. Я туда к нему заходил; хорошо, только жара, а ведь еще апрель в начале.

На столах, на стульях, даже на полу, кучами лежали цветы. Всякие, от лилий, — и каких-то странных, голубых, — до полевых и горных асфоделей, фрезий, оранжевых и розовых ромашек. Эти вороха ловко разбирала Клара, с помощью трех прислужниц.

— Идите помогать! — крикнула она, повернув ко мне худое, молодое лицо. Блеснуло pince-nez, с которым она не расставалась. — Это все друзья мои здешние нанесли, нынче ведь день моего рождения... А, дона Чиччия! — перебила она себя, вставая навстречу какой-то дикой сицилианской бабе с очередным снопом красных цветов. Заболтала с ней по-сицилиански.

Хозяйка моя была очень популярна. Но я долго не мог взять в толк, почему и что это, вообще, за семья. Вилла Флориола, едва я вошел, поразила меня гармоничностью линий, вкусом строгого, скупого, внутреннего убранства. И несколькими картинами, — маслом, сепией, гуашью — женские лица такой прелести, что не верилось в портретность. Произведения Мариуса, пояснила мне хозяйка, фрау Цетте (или Клара, как я мысленно ее называл). Клара эта была, прежде всего, ужасная «немка», с ног до головы: ноги довольно плоские, а белокурые волосы с чуть зеленоватым отливом.

— Наш общий друг, Monsieur von Hallen, находит Флориолу недурной, — сказала она певуче. — Вас здесь ничто не будет оскорблять.

Я сразу понял, что эта немка не просто себе молодая немка, отлично ведущая хозяйство. Хозяйство-то ведет, но она, кроме того, немка с «чтением» и с «запросами». Это по-русски, впрочем, — с «запросами»; по-немецки надо бы как-нибудь иначе, — с «порывами», с «мечтаниями»... практике не мешающими.

Почему, например, говорит она со мной по-французски? При Мариусе мы переходим на немецкий, а чуть вдвоем — она французит. Говорит бегло, акцент небольшой, но интонации голоса глубоко немецкие.

И причем этот Мариус, приземистый, грубоватый, диковатый, с седыми висками? Клара не очень красива, худа, костлява даже немного; однако наружности не неприятной, — птица в пенсне; и совсем молода, тотчас объявила мне, что ей двадцать пять лет.

— Мариус сам строил Флориолу, по своему плану, сам смешивал и краски для каждой комнаты; мы ее выстроили, когда поженились. Ах, она мне дорого стоила! — разоткровенничалась Клара (и это с первого знакомства). — Вот не мечтала, что тут останусь жить. Приехала из Мюнхена ненадолго, с братом-художником... Мариус жил здесь уж давно.

Я заключил из этого, что Мариус был беден, она — богата. Но зачем они поженились — не понимал. Мне было все равно, да уж такой характер: люблю, глядя на людей, как-то их психологически устраивать, о них догадываясь. Часто делаешь неверные догадки; ищешь непременно смысла в людских поступках, а всегда ли он есть?

Тут я решил, что Мариус не влюбился в Клару, сумел как-то обольстить богатенькую молоденькую дурнушку и получил вместе с ней виллу и чудесную мастерскую. А увидев воочию оригиналы Мариусовых рисунков, так меня прельстивших, — каюсь: в первую минуту заподозрил даже, что Мариус завел себе и гарем.

Вышло глупо: нет, три красавицы, — подлинные красавицы! — были самыми несомненными служанками четы Цетте. Вероятно, их

выбирали, как годных и для этюдов Мариуса; но только с этой стороны он ими интересовался. Клара учила их работать и обращалась с ними, как строгая мать. Три девушки, – даже девочки: старшей, Марии, едва минуло 16 лет. Пранказии, самой темной и огнеокой – 14. А Джованнине всего 12. Но, Боже мой, как они, все разные, были хороши! Не буду описывать, пусть бы Гоголь... Да и Гоголь спасовал со своей Анунциатой; кроме того, здесь и не было никаких условных «итальянских», римских, красавиц. Куда Анунциата перед лицом Марии, напоминающей Мадонну какого-то старого испанского художника, или перед ангельским личиком Джованны! Я не мог не подумать, что и Мариус все-таки исказил их, не справился. И я не мог решить, которая лучше. Ну, Бог с ними.

– Вы сегодня будете обедать у нас, – сказала Клара, проворно связывая цветы. Хоть в такие же красивые букеты, то длинные, то широкие, связывали цветы три пары смуглых рук – ворох не уменьшался. После доны Чиччии еще являлись такие же «доны», и все с цветами.

– Придет signor il dottore*, придут... – Клара назвала несколько лиц из «высшего» местного общества. Да, в Бестре было свое «высшее» общество: древние фамилии сицилианские. Я даже был, с фрау Цетте, с визитом в такой семье – Клара повела меня туда, отрекомендовав, как своего друга, иностранного «барона», интересующегося старинными вещами. Они были мне показаны, но потрясло меня другое: существование, в двадцатом веке, таких людей, с такими обычаями, в таких домах живущих. Каменная лестница, вечная сырость, вечный темный холод: окна никогда не отворяются. На железные узорчатые балконы никто никогда не выходит. Не принято. Мы видели каких-то старых фефел, – я их не различал в сумраке и едва понимал. Барышни не показываются. Впрочем, оне и на улицу не показываются. Гуляют изредка, и только в сумерки, с накинутым на голову кружевом. Гулять не принято. А что было бы, если б какой-нибудь из этих «синьорин» пришло в голову надеть шляпку! Ничего нет более «непринятого». К счастью, синьоринам такой мысли в голову не приходит.

– Когда я их приглашаю обедать, я не зову иностранцев, – продолжала Клара. – Вы – ничего, вы живете в доме. Мы сами иностранцы, но мы уже местные жители. И то наш единственный, кажется, дом, где они бывают. Так вы придете?

Обычно я обедал у себя, внизу, если не у Франца. Но случалось и у хозяев.

* синьор доктор (*ит.*).

– Я... не знаю, – ответил я заплетающимся языком. – У меня... голова болит. Прошу... извините меня.

Дело в том, что цветы меня одолели. Отуманили, одурманили. В сон какой-то погрузили. У меня было ощущение, что я объелся цветами. Полусознательно продолжал их перебирать, однако.

Клара ничего не заметила.

– Приходите! Или вы обещали M-r von Hallen?

Я вспомнил, обрадовался:

– Да... Ему обещал... Мадам Цетте, вы меня извините, у меня кружится голова.

– А, это fiori di Portugaio!* С непривычки, в комнате...

– Нет, все, кажется, вместе. Как вы этот... цветопад выдерживаете?

Она засмеялась. Хлопнула в ладоши и – presto-presto!** – велела своим девочкам утащить куда-то вороха. Букеты остались. Голова у меня продолжала кружиться. Нет, пойду на воздух! Я встал.

– Je l'aime... Oh, que je l'aime... *** – произнес около меня чей-то тихий голос. Это не имело никакого смысла, некому было и говорить, а потому я испугался: бред, что ли, начинается?

– Как жаль, что вы не можете! – сказала Клара. – Вы нам изменяете. Вот и M-r von Hallen – с тех пор, как вы здесь, – Флориола его совсем не видит. Это ваша вина.

Смеясь, погрозила мне пальцем, еще что-то болтала, но я уже не слышал: скорей, на террасу, и дальше, на дорогу. Хорошо бы на свежесть моря, – а то ведь и на воздухе (теперь я чувствую) везде тут пахнет цветами, цветами, цветами...

V
Продолжение

Францу я аккуратно рассказывал мои впечатления от Бестры. Он очень внимательно слушал, сам не говорил ничего, как будто хотел, чтобы я самостоятельно осмотрелся. Как будто выжидал... чего?

В тот вечер, на острой Дикой скале, я ему не без юмора сообщил, как я «объелся» цветами. Потом спросил:

– Что, собственно, эта чета Цетте из себя представляет? Ты их давно знаешь?

По правде сказать, другой вопрос вертелся у меня на языке, поважнее Цеттов: что – они! знаю их три дня, уеду и не вспомню... Меня занимало нечто более важное. Зачем нужен я Францу? Конечно, долгая

* цветы Португалии (*ит.*).

** скорее, скорее (*ит.*).

*** Я люблю. О, как я люблю (*фр.*).

разлука создает отдаление, сразу не войдешь в полосу открытых разговоров. Надобно время, чтобы даже близость письменную, когда она есть, перевести на разговорную. Но все-таки! Он — спокойнее, чем я ожидал. Драма его, мне известная, как будто отошла в прошлое, а трагедия... он сказал, что я ее не понимаю и не пойму. Зачем я ему нужен?

На вопрос о Цетте он ничего не ответил, точно не слышал. Смотрел на высокое море под нами. Из-за ледяной, расползшейся Этны падали последние лучи заката, море стало совсем муаровым.

— Скучно... — сказал вдруг и обернул ко мне тонкое лицо. Я невольно подумал, — это часто случалось, — что Франц особенно, одухотворенно красив. Даже не чертами, а Бог весть чем.

— Ты знаешь, Отто женился, — прибавил он.

Отто — молодой граф Х., из-за которого и разыгралась тяжелая драма Франца. Женился? Я не знал, что сказать и молчал.

— Да, женился. И, главное, очень счастлив. Он мне написал.

— Так что же... — начал я и договорил скороговоркой: — Или ты его еще любишь?

Франц сдвинул брови, лицо его стало жестко. Пожал плечами. И — мне показалось — с сожалением посмотрел на меня:

— Но я думал... ты не поймешь.

— Опять?

— Да. Впрочем, когда-нибудь, может, и поймешь. Не желаю тебе этого.

— Франц, право надоело. Очень хочу понять, уверен, что пойму. И не драпируйся ты в эту тогу непонятого, — передо мной! Я сам давно хотел спросить тебя...

— Потом, потом! — с нетерпением и мучительством перебил Франц.

Мы замолчали. Вдруг он, неожиданно:

— Ты, кажется, спрашивал меня о Цетте? Это... примечательная семья. И он... и Клара.

Я поднял глаза. Удивился. Столько доброты, грустной, правда, но почти нежной, было в лице Франца. Впрочем, я знал и эту его черту: он был бесконечно добр к людям, и не к людям только, а ко всему живому. Он как-то светился весь иногда, — не оскорбляющей, пронзительной добротой — жалостью.

— Она очень несчастна, — сказал он. — Клара.

Я изумился.

— И невинно-несчастна, — прибавил Франц, вставая. — Но ты...

— Опять и этого не пойму? Нет, Франц, ты просто смеешься надо мной.

Франц и действительно расхохотался, да так весело, что и я, глядя на него, тоже.

Стояли друг перед другом и хохотали. Будто опять два студента в далеком Гейдельберге. Будто не чаша южного моря зеленела перед нами; не темнеющий жаркий воздух дышал на нас бесстыдным запахом «цветов португальских», и не широкая Этна лежала в углу; а серые, свежие гейдельбергские горы смотрели на нас. Милая, чистая, острая свежесть! Сама – как молодость.

VI
Вечер в Рах

Франц жил вовсе не таким отшельником, как я себе сначала воображал. С местными старыми «фамилиями» он, правда, не общался, но в этом глухом скалистом городишке, из одной-единственной улицы состоявшем, было, оказывается, немало иностранцев. Для приезжих имелось два отеля, – очень скверных; но большинство иностранцев – люди не приезжие: по зеленым скатам, там и здесь, лепились белые домики-виллы, а собственниками были богатые люди, заблагорассудившие в Бестре поселиться, – англичане, американцы, немцы... вот французов я что-то не помню. Все жили уединенно, как Франц, но не отшельнически; не чуждались общения между собою, кое-кого я у Франца уже встретил.

Городская улица с обеих сторон заканчивалась древними каменными воротами: Восточными и Западными. Все виллы-домики ютились по крутым склонам вне города, за городскими воротами. В глаза не бросались, иные точно совсем были запрятаны в густую зелень, чуть заметна плоская крыша. От виллы Франца, – Рах – и крыши не видать: скалы заслоняют.

Наша Флориола была, напротив, на скале: низенькая с дороги – она, с другой стороны, была в три этажа. Мой длинный чугунный балкон-галерея висел над провалом, глубоким зеленым скатом. Вдали, за ним, туманилось высокое море. Рах был не так близко: к Францу я попадал, пройдя Восточные ворота, всю городскую улицу и ворота Западные, выходящие на Этну. Мог, впрочем, обойти город узкими горными тропами, вдоль города вьющимися, но я в них путался, особенно ночью.

Редко видел я Франца в нашей Флориоле, и то не у меня, а у моих хозяев: вчера пришел приглашать их к себе, на «праздник в Рах». Это, – как он объяснил мне, – немножко музыки, несколько случайных друзей...

Обычай Бестры, вероятно. Я уже привык, что в Бестре много обычаев, с виду не странных, но все же своеобразных: то, что везде – и не совсем то, а иногда и совсем не то.

Загадка Бестры была загадка простая; но такая тонкая, что я долго не мог найти слов и для нее, и для ответа на нее.

Одно было ясно: попал я в мир, в какой еще не попадал. Неистовый юг, сицилианский, на другие не похожий (а я бывал и южнее), цепкий, сладкий, тяжело-ладанный — обнимал тело, внутрь проникал и словно там, в душе, тоже что-то по-своему переделывал. Ведь вот, цветы голову кружили, до тошноты, а я оторваться от них не мог: без мысли, готов был часами перебирать шелковые лепестки, прятать в них губы и лицо. А ночью, на балконе, над темным провалом, откуда, словно клубы удушливого ладана, подымались на меня земные запахи, — я отдавался им со сладким безволием. И даже любил, кажется, это безволие — чего? Души или тела?

В этом особом мире была и Бестра, тоже особая и внешне, и внутренно.

Но тут, хоть и скучно, я должен сказать два слова о себе. Для ясности дальнейшего.

Полной ясности, конечно, все же не будет: Франц говорил правду, самая непонятная сторона в человеке — его сторона... любовная. Франц говорил — непонятная для другого. Прибавлю: и для самого себя.

Как всякий размышляющий человек, я об этой стороне очень много думал. И вообще, и относительно себя. Пришел к довольно интересным выводам и заключениям. Мало-помалу у меня создалась даже своя теория, не лишенная гармоничности и крепко построенная.

Я был очень доволен, пока не заметил: живу я, чувствую, поступаю, действую так, как будто никакой у меня теории нет. Даже не вопреки ей живу, люблю и ненавижу, а помимо нее, начисто все ее забывая, когда приходится жить и действовать.

Когда же, в свободное время, я ее вспоминал — она опять казалась мне стройной, всеобъясняющей, идеально-прекрасной; и было досадно и удивительно, что даже в мелочах, в подробностях, она для жизни оказывалась не нужной и к жизни не приспособляемой.

Виновата, конечно, не теория (или моя «Философия Любви», как я называл) — виноват я сам, до нее не доросший. Я сам ее создал, — лучшей частью моего «я», — но моя физиология и даже психология — примитивны и по-своему — знать ничего не желая, — живут; своим примитивным законам покоряются.

Да, очень досадно. Но я не отчаивался. Несоответствие? Но оно с течением времени может ведь сгладиться? Или нет?

Во всяком случае, рассуждая о любви, — я обязательно высказывал мои теоретические взгляды; говорил о великом единстве любви и великой свободе в любви (хотя и объективно свободу эту как-то не очень понимал и принимал).

Франц не сомневался, что я утверждаю его святое право на ту любовь, какая ему дана и послана. И я не сомневался, — еще бы я это святое право не утверждал!

Я сурово судил человеческие предрассудки, привычные и неподвижные. Назвали одну форму любви — «нормой», по большинству, дали большинству права, а у меньшинства отняли все. Портят жизнь себе и другим, отравляют подозрениями, презрениями, гонениями... Драма Франца — не отсюда ли?

И то, что я сам порою, в наитемнейшей глубине, тоже ощущал норму — нормой, а другое — чем-то таким, о чем «не говорят и скрывают», — повергало меня в немалый ужас. Власть привычного, обывательского предрассудка? Даже надо мною? Нет! Нет!

Вот она, милая Бестра, вот разгадка ее радостной особенности: здесь — «говорят и не скрывают»; здесь не тащат за собой предрассудков, здесь все просто; здесь свободно — всем.

Когда я это все разгадал, мне стало двое веселее.

VII
Оно

Праздник Франца отложен. Почему? Какие-то будто цветы не расцвели еще. Вот вздор! А, может быть, правда? Клара не удивилась же, приняла, как понятное.

Но на Франца что-то нашло. Я уж стал, было, привыкать, что он успокоенно-счастлив и что для того он меня и вызвал, чтобы я на его успокоенность посмотрел; а тут вдруг выступило из-под нее новое... или старое, прежняя какая-то его мука. Всегда она у него была, в нем чувствовалась. Трагедия, которой я не понимаю?

Мы с Францем и молчать вместе умели, и говорить. Но случалось ли что-нибудь со мной, или с ним, — ни я, ни он не начинали рассказывать. Только если другой догадывался, приблизительно, в чем дело, — мог начаться разговор.

Франц обо мне всегда догадывался. Я — реже. Уж очень много было в нем неожиданного. Однако я его слишком любил, а потому тоже угадывал часто, что его мучит, хотя бы и не понимал самой муки.

Тут я вдруг почувствовал, что Францу всего тяжелее сейчас — граф Отто, а почему граф Отто — я объяснить себе не мог. Вопрос мой: разве ты его любишь? — был грубый, пошлый, поверхностный вопрос: я знал, что Франц его не любит.

Два дня я Франца совсем не видел. Потом мы целый день гуляли вместе, далеко, в горах, и молчали. Вечером, у него, опять молчали. Я поднялся уходить. Он меня не удерживал. Я уж сошел со ступенек веранды. Постоял, поглядел на звезды над морем, невыносимо беспокойные, громадные; медленно вернулся и, сам не знаю как, сказал:

— Отто?

Франц кивнул головой, а я ушел.

Ночью проснулся от ужаса: темнота комнаты была наполнена сонмом визжащих ведьм. Я еще не знал, что это ветер, не знал, что такое ветер Бестры. Это не наяву и не во сне. Точно в сорокаградусном жару летел я сам куда-то в бездонную пропасть вместе с этим полчищем орущих ведьм, грохочущих и хохочущих дьяволов. Не было похоже ни на бурю, на грозу с громом; ни на что не похоже. Ни одной мысли в голове — только этот режущий визг. Мне стало казаться, что и я сам, и все тело мое визжит, пролетая темные пространства.

К утру я пришел в себя, хотя визг продолжался. Попробовал встать, — ничего, встал. К изумлению — увидел даже, что красавица Мария несет мне завтрак, — идет по внешней лестнице к дверям балкона. Золотые волосы бились у ее лица, платье, как мокрое, обнимало ноги.

Я набрался мужества, приоткрыл дверь. Думал, меня оглушит, но звук уж, кажется, не мог усилиться. Мария ловко вошла, поставила поднос на столик, что-то говорила, улыбаясь, но слов расслышать было нельзя.

Весь этот день — день удивлений.

Клара пришла ко мне, но так как и ее я расслышать не мог, она взяла меня за руку и бесстрашно повела, сквозь весь этот серый ужас крика и лета, — наверх. Там, в большой и пустой комнате, мне показалось еще невозможнее: к визгу цимбалы какие-то присоединились, металлические звоны...

В углу был накрыт чайный стол. Черно-сизое море в белых локонах смотрело в окно. А за столом сидел Франц.

Он улыбался, улыбалась Клара, смеялись девочки. Мне стало стыдно. Голоса Клары я еще не мог расслышать, но крик Франца начал понимать. Оказывается, он очень любил этот ветер. Он знал, что я, с непривычки, потеряю голову. Но пора ее найти...

Клара улыбалась, у нее было приятно взволнованное, даже порозовевшее лицо. Франц был любезен, наше чаепитие выходило премилое, но я все-таки не совсем еще понимал, что вокруг меня творится и говорится — даже на каком языке. То будто по-немецки, а то по-французски. Или вдруг по-итальянски. Я улавливал отрывки фраз, слова, неизвестно кем произносимые, иногда нелепые, которые явно никому из нас не могли принадлежать. Например, откуда вдруг это: «Voglio bene... voglio tanto bene»?..* Ведьмы, конечно, издеваясь провизжали...

* «Люблю... так люблю» (*ит.*).

И – хлоп! Камнем вдруг упала тишина. Никогда я не думал, что она может упасть так тяжело. Я глядел, раскрыв рот, на Клару, потом на Франца. Все молчали. Франц улыбался.

– К этому тоже надо привыкнуть, – сказал он тихонько (мне показалось – ужасно громко). – Только не радуйся: еще вернется. Воспользуемся, впрочем, минуткой: проводи меня.

Он встал.

– Но Monsieur не успеет... – Клара поглядела на меня с жалостью.

– Ничего, это будет первый урок. Идем, mon ami*. Да не надо шляпы, что ты!

Мы вышли.

Да. Удивительный день! Начался удивлением, продолжался и кончился. Удесятеренный вопль и вихрь, после каменной тишины; мы с Францем на острой тропе, крепко друг за друга держащиеся; и этот разговор в вихре... почему, однако, я уже хорошо слышу Франца, а он меня?

Я, кажется, понял трагедию Франца. И очередную его, сегодняшнюю, муку понял. Словами рассказать, как я понял, – нельзя, конечно. Расскажу потом словами, но заранее знаю, будет решительно не то.

Догадался я также, что еще что-то здесь, около Франца, постороннее путается, досада какая-то, печаль какая-то для нежно-жалостливого его сердца. Но еще не знал, где она, откуда.

Узнал после.

VIII
Передышка

Нужные цветы, вероятно, расцвели, потому что отложенный праздник в Рах снова был назначен.

Незадолго до него, я проснулся однажды с необыкновенной легкостью в душе, в теле и в памяти. Бывают такие странные... ну не полосы жизни, для полос слишком кратко, но промежутки, когда все важное, тревожащее, точно отступает, отпадает от тебя; знаешь, что оно есть, иной раз даже предчувствие чего-то важного в будущем есть, или было вчера... А сегодня – ничего нет, кроме легкого и милого настоящего.

Бестра, я думаю, – город, где особенно часто случается это с людьми. Такое уж ее свойство...

Прекрасное утро мое не для меня одного встало странно прекрасным: Клара смеялась внизу с какими-то старыми англичанками, смеялась пробежавшая вниз Пранказия. А когда я вышел к Восточным воротам в городе и разболтался со знакомыми мальчиками у старой

* мой друг (*фр.*).

стены, я увидел Франца, да такого веселого, с таким беспечным лицом, что мне стало совсем хорошо. Франц держал в руках букет совершенно необычных голубых роз: они растут только в саду signore il dottore, это его тайна! Франц заходил к нему в сад, и смешной этот доктор Бестры преподнес ему розы, с гордостью.

Мы условились, что я приду вечером: у Франца нынче день работы. Право, и он, как я, не думает сегодня ни о чем!

А я пока решил слазить на Monte Venere. Гора не гора — острая серая скала, как раз над виллой Рах. Наверху — крошечное селенье и старенький монастырь.

Забавная эта гора — Венеры. Как все забавно и мило в Бестре, теплой, пахучей, бело-голубой. Издревле свободны ее граждане, старые и юные. Всем это известно, известны и старые ее привычки, обычаи мирной жизни. Но юность буйна, а добрый порядок нужен. И carabinieri * (их целая пара) за ним все же следят. Смуглые юноши, от Восточных ли, от Западных ли ворот, если черту порядка, бывает, переступят, — посылаются, с отеческим наставлением, в ссылку: ненадолго, и недалеко, всего-то на гору Венеры, в старый монастырь. Не строгий, ну а все же юноши этого не любят и ведут себя, большей частью, добропорядочно.

Мне у Венеры понравилось. Тишина какая! У монахов пряники винные. А ссыльных не случилось.

Вечером у Франца... давно нам не было так весело. Мы болтали глупости, хохотали, шутили с Пеппо, с Нино; они тоже разошлись, как никогда. Только Джиованне держался в стороне. Самый красивый! Нет, Нино тоже очень хорош. Из райского сада несло такими благоуханьями, что голова тихо кружилась и опять это тихое, безвольное блаженство... Под конец уж и говорить не хотелось: так сладостно блаженное томление.

Месяц давно закатился; ночь, как чернила, как тушь китайская; в двух шагах не видел я ни Франца, ни его кресла. Но я чувствовал Франца. Его и себя вместе чувствовал — в одном, а что это «одно» было — неизвестно; что-то вроде томительного счастья.

Пробили далекие городские часы.

— Как поздно, — сказал я, но не двинулся.

— Подожди. По нижней тропинке дойдешь в пять минут.

— Нет. Слишком темно.

— Тебя проводит... Джиованне. Нет, Нино. Нино, возьми фонарь.

Легкая тень метнулась по веранде. Мерцающий огонек зажегся, осветил на секунду кресло, глицинии, бледные черты Франца...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* полицейские (*ит.*).

— Ecco, signore*.

Мы с Нино на крутой скользкой тропе. Налево — скала, выше — полуразрушенные стены города. А направо — черное ничего: однако оно чувствуется громадным и пустым. Только густые запахи его наполняют, но я уж, кажется, перестаю их слышать.

Моя рука лежит на узком плече Нино. Я гораздо выше Нино (мы ведь с Францем почти одного роста). Я чувствую худенькое плечо сквозь тонкую ткань рубашки. Качающийся огонь снизу освещает нежное, смуглое лицо, особенно незнакомое в этих теневых неровных лучах. Моя рука скользит, протягивается дальше... она уже на другом плече Нино. Весь он ближе ко мне, совсем близко... Мы еще идем, но все тише. Тише колеблется круг света. Моя рука скользит...

— Signor... Signor... — шепчет Нино.

Я тоже шепчу какие-то простые слова. Наклонившись, ищу его лица, ищу губами его свежих губ.

— Oh, signore... Impos...**

Знаю, знаю эти шепоты, это «нет», которое всегда звучит «да, да...».

Но что случилось? Точно чья-то холодная рука ласково отстранила меня от Нино. И я разжал объятия. Прислонился к скале. Неподвижно и бессмысленно глядел, целое долгое мгновенье, на неподвижный теперь огонек фонаря на земле, пока огонек не закачался снова. Шепот Нино я продолжал слышать, но как-то не слушал, не понимал. Кажется, Нино шептал, что мы уже выходим на большую дорогу, что она вот «gia qua»*** и что «i carabinieri sono adosso... sono adosso...»****.

Мне было это теперь решительно все равно.

Дома я запер окна, ставни, зажег свечу, присел на постель.

Сердце билось редкими, тяжелыми ударами, словно было оно во мне ужасно большое.

Что случилось? Почему я?.. Нет, Франц не понял бы меня. Да и кто понял бы, если я сам себя не понимаю?

Франц сказал бы, пожав плечами: «Ну да, вы все так... Если б Нино был не «он», а «она»...

Но это неправда! Неправда! В памяти мелькнула далекая история ранней юности, ницский карнавал, глаза Марсель, — чьи? Кто это, «он» или «она»? Я не знал, я не думал об этом, Марсель была (или был) для меня «ты»... Единственное «ты» в мире...

* Вот, синьор (*ит.*).

** О синьор, невозм... (*ит.*).

*** уже здесь (*ит.*).

**** «полицейские сзади... сзади» (*ит.*).

А Нино — прежде всего, и наверно, не «ты». И тогда уж безразлично опять, «он» ли, «она» ли. Потому что Нино тогда — «оно».

Я чувствовал, как я путаюсь, путаюсь и все безнадежнее запутываюсь в нитках собственных мыслей. Рвал нитки, злился, но отстать не мог.

Половину ночи просидел так нелепо на постели.

А когда решил, наконец, раздеться и лечь, то одно только знал наверное: что передышка-то, во всяком случае, кончена.

IX
Перламутровая трость

У Клары в последнее время такое бледное, измученное лицо, что я ни в чем не могу ей отказать. Зовет меня пойти с ней к знакомой англичанке-художнице.

Я этих Клариных англичанок терпеть не могу. И проезжих, из отеля, и местных. Потому что местных, со своими виллами, в Бестре тоже много. Что оне тут делают — кто их знает. Живет такая англичанка, непременно староватая и уродливая, одна, чаще с другой, компаньонкой, и занимаются чем-нибудь «художественным»: рисуют оне, что-то, будто, пишут, или коллекционируют...

Я, впрочем, мало этими знакомыми Клары интересуясь, видел их только издали. Тип англичанки на континенте известен; в Англии же я не бывал и почему-то совсем меня туда не тянуло: ни страна, ни народ, ни даже литература английская не привлекали. Бывают такие идиосинкразии.

Бледненькую Клару пожалел огорчить и, хотя не то что к англичанке, а совсем никуда не хотелось мне в тот день идти, — пошел.

По дороге задумался, что же это с Кларой? Мариус ей надоел, с мрачным видом своим и толстыми черно-серыми усами? И почему Франц так значительно сказал о ней: невинно-несчастна?

Клара старалась занять меня, рассказывала о художнице; она будет рада видеть меня, Клара ей обо мне говорила. Она интересуется современными идеями в литературе и философии. А в живописи она увлечена кубизмом. Клара не поклонница его... Но все-таки любопытно.

Мне было совсем не любопытно. Увидав же кубистку, я окончательно сник. Одно разве утешительно: эта расползшаяся дама, с крутыми, явно крашеными, темно-красными волосами, оказывалась скорее немкой, нежели англичанкой, а в саду ее виллы было сидеть приятно.

Сад спускался вниз полукруглыми террасами. На одной из них, около низкой, широкой каменной ограды — парапета, был приготовлен чайный стол. Какое-то густое темное дерево, похожее на иву, — но не ива, конечно, — струило длинные мягкие ветви вниз, стлало их по

камню низкой ограды. Казалось, тень от этого дерева особенно свежа и тиха. Свежую тишину и болтовня английской немки не нарушала, я не слушал. Не помню даже, на каком языке шел разговор: на немецком? На английском? На французском? Или все вместе?

По гравию шаги. Новая гостья. Клара и хозяйка встретили ее приветливыми восклицаниями. Я обернулся, встал с соломенного кресла.

Хозяйка что-то спрашивала у новопришедшей по-английски. Клара обратилась ко мне, принялась нас знакомить.

Гостья была маленькая девочка. Так мне показалось с первого взгляда. Очень маленькая и худенькая – да, но чуть она робко присела на каменный парапет, прямо под струящимися ветвями, я увидел, что это, пожалуй, и не девочка. Некрасивое, узкое личико даже старообразно. Все в нем остро: острый подбородок, длинноватый острый нос. Только бледно-розовые губы – детские.

Клара назвала ее «баронессой»... фамилии я не уловил. Хозяйка спросила что-то о здоровье «your mother». Клара, думая, вероятно, обо мне и привыкнув говорить со мной по-французски, перебила:

– Oh, parlons donc français!

– Parlons français! * – согласилась маленькая баронесса, но я понял, что это не ее язык. Раньше она сказала несколько слов по-немецки, потом по-английски, но и там мне почудился едва уловимый акцент. Кто она?

Хозяйка с такой же силой болтливого красноречия разливалась теперь по-французски. Но я не слушал. И не на нее смотрел. Короткое серое платье; и как-то жалобно скрещенные ножки в серых чулках и белых туфельках. Немножко сутулится, оттого, сидя, кажется еще меньше. Широкий жакет английского покроя, английская соломенная шляпа.

– Dites moi, Monsieur, qu'est-ce que c'est que le symbolisme? Dites moi... **

Обернулся к хозяйке, не видя ее.

– Mais je ne sais pas, Madame. Je ne sais rien du tout. Je ne pense jamais à rien... ***

К счастью, вмешалась Клара. А я продолжал свое странное занятие, – ни о чем, действительно, не думая, глядеть на баронессу и на свисающие ветки.

* – Давайте говорить по-французски. – Будем говорить по-французски! (*фр.*).

** Скажите, мсье, что такое символизм? Скажите... (*фр.*).

*** Я не знаю, мадам. Я ничего об этом не знаю. Я об этом ничего не думаю... (*фр.*).

Немка-англичанка затрещала о современной музыке. Маленькая баронесса сняла шляпку, положила ее на парапет, рядом. Я увидел коричневые волосы, с золотыми искорками. Остриженные высоким бобриком, они пышно поднялись надо лбом. Не волнисто, а только пышно.

— Какая у вас красивая палка, — сказал я.

Она молча протянула мне свою трость. Черное дерево внизу, а вся верхняя половина покрыта сплошь перламутровой инкрустацией. Но я почти не видел; я увидел глаза, светло-светло-карие, с желтым ободком вокруг зрачка, и в них, и в том, как она протянула мне эту свою трость, увидел... не знаю что, неопределимо, час судьбы, может быть. Знаю только свое уверенное чувство тогда: с этим существом я могу сделать все, что захочу, оно — мое.

— Ах, Элла, я всегда любуюсь этой прелестной палкой! — таратарила художница. — Мадам Цетте, вы видели трость Эллы? Неправда ли, вещь замечательной красоты? Где миссис Миддл достала для вас такую?

Клара хотела взять перламутровую трость у меня из рук, но я отдал ее маленькой Элле.

Она сказала робко, не опуская светлых глаз.

— Старинная... Ma mère* нашла ее в Египте. Я всегда с нею...

Потом все было очень просто. Мы вышли от художницы втроем, — Клара сказала, что мы проводим Эллу до отеля, нам и по дороге. Элла развеселилась, улыбнулась раза два, по-детски, и, хотя говорила больше Клара, я кое-что об Элле узнал: она музыкантша, композиторша, кончила лондонскую консерваторию, живет всегда в Англии, но миссис Миддл так любит путешествовать, что оне весь свет, кажется, изъездили... В Бестре сейчас проездом, но бывали и раньше. Специальность Эллы — оркестровая музыка. Миссис Миддл очень заботится о карьере Эллы, для этого нужно поддерживать в Лондоне связи.

Вдруг Клара онемела. Навстречу шел Франц. Сдвинутые брови, опущенные глаза. Но он поднял их, увидел нас. Лицо сразу изменилось. Стало добрым и приветливым. К удивлению, с Эллой он поздоровался, как со знакомой. Но он не знал, что она в Бестре.

Мы поговорили с минуту. Праздник в Рах — завтра. Баронесса Роон (какая странная фамилия!) тоже придет, неправда ли?

Мы разошлись, а так как это было в двух шагах от Bella Vista, где жила Элла с матерью, то мы простились и с Эллой.

Почему, однако, мать ее миссис Миддл? А где же барон? Замужем, эта девочка?

* Моя мама (*фр.*).

Клара была странно молчалива. Подходя к дому, я все-таки спросил:

— Она хорошая музыкантша, эта маленькая дама?

— Элла? Очень хорошая. А ей всего двадцать четыре года...

— Она разошлась с мужем?

— С каким мужем? Да она вовсе не замужем! С чего вы вообразили?

Клара засмеялась. Отворила калитку. С балкона послышался голос Мариуса:

— Cla-ra!

— Ich komme! * — ответила Клара и побежала наверх.

А я пошел к себе.

X
Наконец праздник в Рах

По совести говоря, я преувеличил, когда объявил, что после ветрового с Францем разговора я все решительно понял, и только словами сказать не умею.

Понять-то понял, а все же не так, как Франц разумеет понимание. Понял больше извне, чем изнутри. В такое понимание, хотя тоже большое, много входит веры. Но зато рассказать о нем легче.

Так вот, прежде всего, я понял, что в душе человека, вернее — в существе человека, может подняться великой силы вихрь, великой и непреодолимой. Малое подобие его был тот природный вихрь, который меня обезумил. Но по сближению я понял. Важна непреодолимость. Он сметает все, чем мог бы человек его преодолеть. Борьба бесполезна. Уляжется сам, а не уляжется — лети в нем до конца. Хорошо, что не каждое человеческое существо достаточно глубоко и широко, чтоб поднимались в нем такие ослепляющие вихри.

Но Франц... он их знает. Помочь ему тут нельзя (непреодолимо!), но когда он увидел, что я, около него стоящий, кое-как уразумел это, почувствовал, — ему было утешение.

А затем еще другое о Франце, насчет Отто. Более частное, и во что я, говоря откровенно, не совсем проник, на веру же принял вполне.

Франц не может и не хочет принять того, что Отто счастлив... с женщиной. Он говорит: если это так, значит Отто, которого он, Франц, любил, был вовсе не Отто, а кто-то другой. А настоящего Отто вовсе и не было. Но любовь-то Франца была; была — к никому? Вот этого Франц перенести и не может. Спасается тем, что еще не верит в счастье Отто. Мне показалось, что здесь он надеется на какую-то мою помощь. Но какую?

* Иду! (*нем.*).

6 Зак 4570

Иногда я точно опоминаюсь: да все это, en bloc*, не катится ли по краю безумия? И Франц, и я, разбирая его сложности, сочувствуя каким-то, с точки зрения нормального смысла, нелепостям? Франц не любит Отто. Откуда эта дикая ревность, сухая ревность без любви? Мало того, дикая по односторонности: ведь он ревнует Отто к жене, только! Если б Отто изменял ему не с женой, а так, как раньше, и как изменял ему сам Франц...

Нет, нет, тут в самом корне какая-то неразложимая непонятность, может быть нелепость. Любовь тут ни при чем. Да вот и вихри-то эти, что захватывает существо человека, — любовь? Не любовь. Любовь во все это вплетена, запутана, а как ее выплести, как освободить — не понимаю. Может быть, мы еще и в глаза любви-то никакой не видали. И понятия о ней настоящего не имеем. Бог знает, в чем барахтаемся, да так и умрем, не увидев...

Вот до чего я дошел. Любовные мемуары, воспоминания о том, что не было... Ложь! Ложь!

В такие минуты (просветления) мне хочется все бросить. Тем более, что по самой чистой совести говоря — я считаю, что «бросить любовь», или то, что мы к этой области относим, отнюдь не значит «все» бросить. Далеко она не все и — даже не такая уж важная, не первая, область жизни...

Но я смиряюсь. И бросаю только рассуждения. Они, действительно, могут довести до бешенства. И совершенно бесплодного.

Франц, какой он ни есть, живой человек. И со своими вихрями в живой жизни живет. И я тоже, с моими нелепостями. Начал про людей, с их — пусть гримасами любви, — буду рассказывать дальше.

Понимает же нас — пусть уж Бог.

Вилла Рах, такая знакомая, — сегодня другая.

Из комнаты, с красным каменным полом раскрыты настежь двери, широкие, почти во всю стену, — на веранду. Цветные огни сверху, узорчатые фонарики, и не поймешь, какой свет: лавандово-розовый, но светлый и приятный. Белая скатерть на столе отливает серебром, а плотный занавес глициний розовеет. Там, дальше, — такая черная темнота, точно мир кончается. Ничего, кроме мрака.

Кое-кто сидел у стола, другие поодаль, на низких табуретах. Было человек шесть—семь; я не всех узнал сразу, освещение изменяет. Громадный, молодой американец с детским, серьезным лицом. Немецкий граф, извилистый, тонкий, как стебель ириса. Молчаливый и приятный датчанин; другие, — я встречал ранее почти всех. Клара (она пришла с Мариусом) сидела около Франца, веселого, немножко рассеянного.

* в целом (*фр.*).

Мелькали фигуры служителей в длинных, складчатых, сицилианских одеждах. Джованне, с алой повязкой на смоляных кудрях, был удивительно хорош. Какая грация движений, когда он, вместе с другими, опускал перед гостями поднос: высокие кубки на подносах, еще что-то — я не разобрал.

Элла — одна, поодаль, около глициний. Я сразу увидел пятно ее белого платьица, но не подошел; поискал глазами мать: никакой матери не было.

Оживленный, но не очень громкий, немецкий разговор. Американец, впрочем, только улыбался, изредка перекидываясь с Нино и Джузеппе итальянскими словами: он по-немецки не понимал.

Франц поднялся, хлопнул в ладоши. И сейчас же оттуда, из сада, из черной темноты, где, казалось, ничего быть не могло, мир кончался, — тонко зазвенела первая струна.

Невидимые музыканты заиграли тарантеллу.

Сицилианская — она особенная; да, впрочем, я потом и в Сицилии такой не слыхал.

Несложный, быстрый и странный напев; не то что тоскливый, а тяжелый: как страсть бывает тяжелая.

Начали танец Джузеппе и Нино. Секрет тарантеллы (этой, по крайней мере) в постоянном ускорении темпа; при ускорении медленном. Эта медленность, при нарастании непрерывном, позволяет незаметно очутиться в вихре движения. В таком вихре, что, и глядя, точно с ним несешься; несешься, куда — все равно, но только бы донестись, скорей, скорей! Ибо не может же это не кончиться.

Кончается сразу. Мгновенной остановкой, обрывом движения. Джузеппе исчез, а Нино неподвижно остановился перед тонким графом. Это — выбор.

Музыка не оборвалась, и к первой медленности темпа не перешла, чуть-чуть лишь умерилась и утишилась, словно отдалилась. Поэтому граф, выйдя на круг, начал сразу быстро.

Он плясал так хорошо, что даже в современной одежде и рядом с красавцем Нино не был смешон. По-своему грациозен, как-то нежнее и в вихре — беспомощнее.

Вино ли странное в странных стаканах, цветы ли, невидная ли музыка из черного пространства, или тарантелла, — но я прямо чувствовал, как изменялся воздух, атмосфера среди нас. Не могу сказать, что она пьянила; никакого тумана, все было четко; лишь внутренний огонь в ней нарастал, — ну и во мне, конечно, как в других.

Когда вышел Джованне — от него трудно глаза было оторвать. Красивее всех, но не в том дело. Не знаю, в чем. Помню смоляные кудри под алой повязкой и узкую полоску лба, смуглого, гладкого, с кро-

шечными капельками пота. Помню быстрые, легкие, – и все-таки тяжелые, – движения под тяжелый, однообразный и потрясающий напев. А, главное, помню взор черных, точно бессветных, глаз: бессмысленный, пристальный. Когда Джованне, вдруг оборвав движение, стал перед Францем, я испугался этого взора: я его узнал. В громадных черных, совершенно черных глазах было то же самое, безыменное, неопределимое, что я увидел на мгновение так недавно, в глазах светло-карих, с топазовыми блесками. И что заставило меня уверенно почувствовать: это существо – мое.

Франц, улыбаясь, встал. Но он только сделал несколько шагов и остановился неподвижно на середине веранды. О, да, ему и не нужно было танцовать. Так и нужно, только стоять, иногда поворачивая голову к Джованне, плясавшему перед ним, – для него, и потому как бы с ним.

Четкий и воздушный профиль Франца на пологе бледных глициний... и вдруг, случайно отведя от него глаза, я увидел и опять узнал знакомый взор... да что это? Умственные галлюцинации какие-то? На Франца этим отдающимся, почти страшным, взором смотрела – Клара.

Я не стерпел. Был недалеко от нее, от стола, но тут стал пробираться еще ближе. Серые, выпуклые глаза, почти не видящие, неотрывно прилеплены к Францу. Мне показалось, губы что-то шепчут. Неслышное, конечно. А вдруг привычное, столько раз мне чудившееся, – je l'aime, je l'aime?*

Да, или я незаметно погрузился в психопатию воображения, или бедная Клара дотла влюблена в Франца... Мало того: он знает, что влюблена. Вот он обернулся, встретил взор, – и ничего, с какой доброй улыбкой!

Я не успел добраться до Клары: музыка затихла, перерыв, заговорили все, зазвенели стаканы, Франц вернулся на свое место к столу.

С подноса Нино я взял стакан розового вина, выпил залпом. Потрясенный новым открытием, я совсем забыл об Элле. Увидел белое платье тоже у стола: молодой американец обрадованно свистел по-английски, беленькая девочка оживленно ему отвечала.

Я не вслушивался, опять забыл о ней, и так до конца вечера, когда пришлось вспомнить.

Он еще длился – вечер – не знаю, сколько времени; знаю, что горячность атмосферы не ослабевала, может быть, усиливалась, и самое однообразие смен, звуков, движений тому помогали. Я был, к концу, не совсем такой я, каким пришел, и все, не говоря о Кларе и Франце, казались мне не такими.

* я люблю, я люблю? (*фр.*).

Не заметил, как многие ушли, точно исчезли, неслышно и таинственно выскользнули, пропали в пустой черноте.

Кто-то оставался, я не видел, кто: я стоял на самом краю света, на самой черте мрака, — и лицом к нему. Маленькая Элла стояла рядом со мной.

Голос Франца, сзади:

— Подождите, теперь они сыграют вам прощальную серенаду. Они играют ее не часто. Старую сицилианскую.

Три раза хлопнул в ладоши.

И в последний раз, из мрака понеслась музыка, опять точно сама там рождаясь, ни от кого. Была она не похожая на тарантеллу, — или похожая? У меня к музыке совсем свое, совсем особенное отношение, но об этом потом. Теперь я читал музыку по лицу девочки, рядом стоящей. То же острое, тонкое лицо лисички; бобрик каштановый, пышный, надо лбом; но лицо невыразимо посерьезневшее, все — слушающее. Даже глаза: потемнели и тоже как будто не смотрят — слушают.

Она была длинная, серенада. Но уж кончилась, и уж, должно быть, ушли эти невидимые музыканты, а мы все молчали, точно ждали что-то.

— Oui. C'est bien *, — сказала чуть слышно Элла.

Подняла на меня глаза. Опять! Опять! В третий раз сегодня это наваждение, этот взор. Но в коричневых, топазовых глазах он иной, он обращен ко мне.

И я даже разозлился. Довольно с меня! Флюидами какими-то занимаюсь! А что касается маленькой баронессы — влюблен я, что ли, в нее? Нет, нет. Нисколько.

XI
Денек

Такая яркость жаркая, такое сверканье, а в голове такая путаница идиотическая, что нет! Не выйду до вечера. Сумрака хочется, тишины.

В сумраке своей затененной комнаты я и лежал на кушетке, ничего не делая. Но вот легкий стук в припертую ставню. В дверь с балкона проскользнула Клара.

— Вы отдыхали? Я вам помешала? О, простите! Но я пришла... быть может, вы подниметесь к нам около шести, к чаю? Маленькая баронесса и sa mère, миссис Миддл, придут с прощальным визитом. Оне завтра уезжают.

— Уезжают?

— Да, в Рим, кажется. Она очень приятна, Элла, неправда ли? И ее mère adoptive тоже мила.

* Да. Хорошо (*фр.*).

— Так это mère adoptive?

— Ну да. Я думала, вы знаете. Приемная мать. Значит, мы их ждем? Да?

Я подвинул ей кресло, но она не садилась. Говорила белым голосом, точно думая о другом. Мои глаза привыкли к полутьме, я видел лицо Клары очень ясно и видел его не таким, как раньше. Может быть, от вчерашнего воспоминания смотрел иначе. Мне было стеснительно, не то больно, не то стыдно, и хотелось, чтоб она скорее ушла. Поспешно обещал быть к шести и думал, что этим кончится. Но тут-то и началось.

Клара двинулась, было, к двери, потом остановилась. Обернулась.

— К Monsieur von Hallen вы пойдете позднее вечером? Да? Скажите ему, что я его люблю... Он знает. Он все знает. Но повторите ему и вы, его лучший друг, que je l'aime. Je l'aime tant...

На мгновенье я онемел. Но тотчас же пришел в себя. Лучшее, что тут нужно, — быть хладнокровным.

— Зачем же говорить ему это, милая madame Клара? Тем более, если ему известно, зачем буду повторять это я? Бесцельно, жестоко... И ведь безнадежно? Если б вы знали Франца...

— Я знаю, знаю, — спокойно перебила Клара и улыбнулась. — Я знаю, что он не любит меня, не полюбит и не может полюбить, это безнадежно. Но почему вы думаете, что я хочу от него любви?

— А чего же вы хотите? — спросил я глупо, теряя, если не хладнокровие, то всякое понимание.

— Чего я хочу — он вам скажет сам. Да, наверно, скажет. И тогда, если он спросит вас о чем-нибудь, и вы будете отвечать, помните, молю вас... Помните о моей любви. Я так люблю!

Посмотрел на нее, хоть и ничего толком не понимая, с уважением почти: ведь действительно любит, какая она там ни на есть. Любовь-то, она у всякого одна. Клара прямо на глазах похорошела.

Всю путаницу я, однако, решил сегодня же с Францем распутать. И относительно Клары, да и себя. Что, в самом деле! Приехал, хожу, как дурак, ведь не для того же Франц меня вызвал, чтобы я с его мальчишками заигрывал, тарантеллу смотрел и был конфидентом влюбленных в него дам? А через неделю я уеду. Я предполагал, по дороге, еще в Риме и кое-где вообще в Италии остановиться.

Рим... Господи, а Элла? Странно, я как будто все время о ней забываю, но, не помня, все время помню. Очень странно. Ну, завтра уедет, хоть с этим кончено.

Я даже вслух сказал: «хоть с этим». Однако радости, что «кончено», — ни малейшей. И врать перед собой не буду.

Гости уже сидели за нарядным чайным столом, когда я пришел наверх.

Клара (что она за милая, умелая хозяйка!) по-немецки певуче, вела любезный французский разговор. Представила меня... так вот она, mère adoptive! Большая, совсем не старая, белая, жирная, рыжая. Не ярко, а светло-рыжая: англичанки часто бывают такие, прославленный пепельный цвет их волос почти не встречается. Эти желто-рыжие волосы у миссис Миддл взбиты на лбу кудельками, а обширная, лилово-шелковая грудь увешана какими-то цепочками, колечками и медальонами.

Я тотчас приметил, что м-с Миддл очень слабо говорит по-французски и почти ничего не понимает. Но, нисколько этим не смущаясь, она пыталась говорить все время и даже перебила Клару несколько раз. Так была велика, что за ней, да еще за пышным букетом белых цветов, я, в первую минуту, даже не увидал Эллу. Только уж потом заметил ее маленькую фигурку, в том же сером английском костюме, слегка сутулившуюся.

Я плохо знаю по-английски, да если б и хорошо, вряд ли удалось бы мне перевести разговор на родной язык м-с Миддл: слишком нравилось ей говорить по-французски, или, может быть, считала она, что именно здесь, именно сейчас, ей хорошо и следует говорить по-французски. Этой уверенностью и своей величиной она положительно доминировала за столом.

О чем был разговор — не знаю, я не понимал и мало старался понимать. Прислушивался, когда м-с Миддл упоминала имя Эллы (а упоминала она его часто), однако и тут не все разобрал. Нет злостнее английского акцента: он всякий язык может сделать абсолютно непонятным.

К счастью, Клара что-то ловила и пыталась повторять фразы м-с Миддл. То же принялась делать и Элла, — когда речь шла не о ней. Так я узнал, что оне, действительно, едут теперь в Рим, а сколько останутся там — неизвестно, у м-с Миддл в Англии дела, путешествуют же оне давно... Потом всякие «beautés» их путешествия, потом опять что-то о музыкальной карьере и лондонских успехах Эллы, потом о старинной вазе («la» vase), которую м-с Миддл купила в Бестре...

Элла усердно помогала «mother», как она звала м-с Миддл. Эллу я, в первое свиданье, принял за девочку очень застенчивую. Но уже на вечере Франца заметил, что она не робка и довольно самостоятельна.

Хорошо, но почему я стараюсь не смотреть на Эллу? Скользить глазами мимо, не останавливать взора на ее лице? Чего я боюсь?

Не жирной англичанки, во всяком случае. Что такое эта «mère», да еще adoptive, и почему, — я не понимаю. Но какое мне дело, когда я почти не верю, что она существует? Ни пространность ее колыхаю-

щихся телес, ни уверенный звук горлового голоса, наполняющего комнату, еще не доказательства ее бытия...

— Я тоже скоро покидаю Бестру. И тоже в Рим еду.

Сказал это почти неожиданно для себя и в первый раз посмотрел на Эллу.

Если я воображал, что увижу опять что-нибудь «такое» (кто меня знает, — ждал, вероятно), — ошибся. Глаза англичаночки (хотя она не англичанка, уверен) были опущены, и острое личико спокойно.

Непонятное мне самому заявление, что я тоже еду в Рим, пропало даром. Я уж обрадовался, было, так как ничто меня больше своих непонятностей-глупостей не раздражает. Но Клерхен сказала, вероятно, из машинальной любезности:

— Ах, так вы еще встретитесь в Риме, быть может! Вы где остановитесь, cher Monsieur?

Я хотел сказать «не знаю», но прежде, чем «не знаю» выговорилось — назвал маленький отель над Monte Pinchio, где всегда живу, когда попадаю в Рим.

Все это выскользнуло быстро, миссис Миддл ничего не поняла, а Клара уже, слышу, просит Эллу что-нибудь сыграть (пианино тут же, в углу).

— Я ведь не пианистка, chère Madame, — отозвалась Элла, улыбнулась, точно извиняясь, но встала.

— Да, да, она — композитор! Но иногда мы забавляемся вместе, и как у нас выходит! Помните, Элла, наше «Ça ira! Ça ira!» *. Сыграйте это, хотите?

Миссис Миддл тоже встала, — я ужаснулся ее величине, — но потом почему-то села, ожидая, вероятно, первых аккордов.

Конечно, Элла не пианистка. Что за пианистка с такими руками, детски крошечными, хотя и крепкими, мальчишескими, с чуть узловатыми пальчиками?

Видел только наклоненный профиль и над ним, острым, коричневый бобрик волос (она сняла шляпу).

Я уж говорил, у меня особенно, ни на чье не похожее, отношение к музыке; и здесь, опять, не буду его касаться. Скажу только, что все (кроме Франца) твердо знали, что я ее и не люблю, и не понимаю. Они были вполне правы, эти все: да, не любил, как они, не понимал в ней ничего, — как понимали многие, тонко и знающе. Я был невежда. Никогда не ходил ни в какие концерты, не выносил их. И особенно не любил рояля.

* Это будет! Это будет! (*фр.*). Популярная песня времен революции XVIII в.

Но ничего как будто удивительного не случилось для меня, едва заиграла маленькая незнакомка. Только пропала комната Флориолы, Клара, рыжая толстая дама, солнечный свет. Я был у Франца, я опять стоял рядом с девочкой в белом платье, на самой черте мрака. Оттуда, из черной пустоты, и шли странные звуки, которые я слышал.

Когда они прекратились, я еще полминуты оставался в оцепенении. Кажется, и Клара: она молчала.

Отлично понимал, с первой ноты понял, что была это — вчерашняя серенада. Но откуда идет и где сила волшебства, заставившая меня не вспомнить, а снова, всеми пятью чувствами, перечувствовать бывшее, как настоящее? Талант худенькой девочки, что ли, воспроизводившей прошлое до его воскресенья? И что это за талант? Или это во мне, в меня, в темную глубину какую-то попали эти звуки, именно так, а не иначе посланные, и волшебство совершилось — во мне?

Вот и Клара молчит; а если и в ней что-то ответило, — о, по-другому совсем, — на те же звуки?

Полминуты, не больше, длилось наше молчание. Даже меньше, пожалуй. Нас троих, — м-с Миддл его и не заметила. Через полминуты, когда Элла тихо поднялась из-за пианино, «mother» воскликнула:

— Оуа, вы не хотите Ça ira?

Элла покачала головой. За мамашей поднялись и мы.

— Нам пора, mother, вы не думаете? — сказала Элла по-английски. — Нам нужно еще зайти к miss Toll. Вы устанете...

Клара уже пела какие-то любезности, превратившись в хозяйку дома. Я тоже что-то говорил. А, может быть, и нет. Помню только пожатие маленькой холодной ручки и мое спокойствие. Волшебство? Да, такие вещи бывают на свете. Мало ли что бывает!

XII
Продолжение денька

Уж темно, а какая жара. Даже здесь, у самого-самого моря, на гальках, — ни ветерка.

Оба лежим мы под скалами, что-то шуршит около нас, на небе пологий острый месяц, углами кверху, точно улыбается.

— Ну да, — говорит Франц. — Ты поедешь и узнаешь. И потом скажешь мне *всю* правду. Я даю год. Больше года прожить без нее не могу.

— Трудно это, Франц.

— Конечно, трудно. Но ты можешь...

— Могу. То есть, постараюсь.

— Можешь. Ты один можешь. Это ничего, что ты не совсем понимаешь, зачем мне эта правда.

— Кажется, понимаю, — перебил я.

— Отвлеченно формулировал? Да ничего. Тебе же лучше. Но узнать правду ты можешь и передать мне; и тебе одному я поверю. Год. Наскоро, сразу, нельзя узнать. Будущей весной мы съедемся... все равно где, и тогда ты скажешь.

Мы замолкли. Шуршало меж гальками. Улыбался месяц.

В этот странный день ничто уже не казалось странным. Я принял, без споров, поручение Франца. Когда я вижу, что ему что-нибудь действительно нужно, я не могу, ну просто не могу, отойти без помощи. Никто, кроме меня, ему и не даст ее, а главное, ни у кого, кроме меня, никакой он не попросит. И не просил.

Франц хочет, чтобы я, за этот год, узнал правду об Отто. Не внешнюю, а внутреннюю правду его существа. (Я, конечно, сразу понял, какую правду.) Отто женился. И счастлив. Счастлив ли? Может ли быть счастлив? Любовь Франца к Отто, была ли это любовь — к «никому»? Или, на худой конец, к кому-то неизвестному, не тому Отто, какого видел Франц? Но тогда и любви не было?

Я тут, для себя, в рассуждениях путался, и скоро их оставил в покое. Понимаю, чего хочет Франц, с Отто я хорошо знаком, случай приглядеться к нему с нужной стороны — найду, кстати же, этот самый Отто всегда казался мне довольно незамысловатым: я лишь не интересовался его ларчиком, но откроется он, полагаю, без труда.

Ну и довольно. Что я не вполне, не «изнутри» понимаю даже свои собственные объяснения желаний Франца, (узнать, *кого* любил), и сухой ревности без любви, да еще дико — односторонней не понимаю, — Франц знает, и это неважно.

А вот...

— Послушай, есть еще... Есть еще, совсем другое.

Франц повернулся ко мне. Оперся на руку. Я привык к месяцу и видел теперь бледное лицо. Оно было удивительно доброе, с тем выражением тихой нежности, которую я знал в друге.

Но почему-то испугался. Еще? Что еще?

— Не бойся. Это не о маленькой музыкантше. Не о тебе.

Обо мне? О ней? Что он хотел сказать? Я удивленно посмотрел, не ответил.

— Это о бедной Кларе.

Ах! Я вспомнил все. Вспомнил вчерашний вечер, сегодняшнее утро...

— Подожди, выслушай меня сначала, — продолжал Франц, — верь, — да ведь ты мне всегда веришь, — но не удивляйся ничему, не смейся; пойми, как ты умеешь многое понимать.

XIII
Бедная Клара

— Она меня любит, — начал Франц. — Ты это, конечно, знаешь. Догадался, или она тебе сказала — все равно. Подлинная любовь — великий дар, кому бы ни был послан. Он — счастье, и он же несчастье. Кларина любовь ко мне — громадное, почти сплошное несчастье. И она это знает, с самого начала знала. Но кому любовь посылается — тот уж обречен нести ее, как послана. А через маленького этого человека, ничем не замечательную женщину, Клару, — несчастье ее любви, — и мое несчастье.

Я не выдержал, рассердился. Перебил, почти закричал:

— Франц, опомнись! Твое несчастье? Извини, я отвык от этой романтики. Не хочу я тут «высокого штиля». Что это, в первый раз восторженная, праздная дама в тебя влюбилась? Бывало, помнится... И что ж, вместе со всеми ты страдал? Право, сейчас ты напомнил мне... были такие в середине прошлого века, у нас, в России... чувствительные юноши... Так же пустяки размазывали и так же изъяснялись торжественно. Твое несчастье! Случайная немка упрямо влюбилась, в кого не следовало, а ты из-за этого страдаешь! И уж, конечно, — голову прозакладую! — ты-то не виноват!

— А она? — тихо сказал Франц.

— Она? Виновата — не виновата — не знаешь ты женщин, Франц! Над ними время всесильно; если заставить их у этого врача полечиться — каждая выздоровеет. Хочешь, я поговорю с Кларой? Уедет проветриться в Германию, и увидишь, как все обойдется.

— Нет, оставь.

Франц не сердился, хотя я говорил грубо и раздраженно.

— Лучше потом кончим, — сказал он, вставая. — Ты злишься, — я понимаю! Забыл, что я такой: где невинное страданье, да еще через меня, я уж не успокаиваюсь, всячески размышляю, прикидываю, как бы его смягчить. Когда могу.

— Обмани... Разведи с Мариусом и женись на дуре... — буркнул я.

Франц засмеялся, но тотчас сказал серьезно:

— И шутить так не надо, Иван. Это не я, а ты не знаешь женщин. Понятно: тебе некогда о женщине думать: ты в нее влюбляешься, а тогда уж не до размышлений. Спросил бы Клару, хочет ли она обмана или, хоть без обмана, но чтоб я на ней женился?

— Так чего же она от тебя хочет? — почти в отчаянии закричал я.

Едва с крутой дорожки не сорвался: тьма, месяц давно закатился, духота.

Но Франц не сказал. И мы расстались.

XIV
Среди всего

Нелепость и чепуха. Ну как же не чепуха, если опомниться, и эта моя разведка насчет черноглазого, тонконогого графчика, глупого, кажется (не знаю, не интересовался), и эта немка, до которой дела мне нет, и вся Бестра с ее ветрами, мальчишками, серенадами, маленькими и большими англичанками... У меня, наконец, своя жизнь есть, свои мысли, свое дело, — да еще какое! Пора...

Что — пора? Я зол, раздражен, барахтаюсь в кошмаре — но вот вижу, что поверх всего — у меня боль за Франца.

Почему я его не дослушал? Какой он там ни на есть, с его воображениями и странностями (не изменишь!) — я его люблю. Насчет Отто разведывать поеду. О Кларе ему нужно было что-то сказать мне, знаю, что нужно (случалось прежде, говорил о своем и совета спрашивал) — а я вдруг грубо его оборвал.

Эта боль за Франца (в любви моей к нему столько пронзительной жалости... нет, какой-то нежной, заботливой нежности!) совсем меня расстроила. Но идти к нему, стараться возобновить разговор — нельзя; опять грубо. Надо ждать, или придумать что-нибудь другое.

Я на целый день уехал в Катанью. Хотел вернуться вечером, но остался ночевать. Грязный город, грязная гостиница, жара ужасная.

Приехал на Флориолу — совсем больной. И утром — уже не мог встать. Не знаю, что такое было. Говорят, случается это в Сицилии, потрясающее какое-то недомоганье, чуть не с бредом, — и внезапно проходит, через два дня. Выздоровление же, хотя тоже быстрое, но как будто после тяжелой болезни.

В эти два дня я помню шепелявого и милого Signor il dottore, потом Франца, а, главное, все время помню около себя тихую Клару, которая ухаживала за мной неотступно, с чисто материнской заботливостью.

Я уж чувствовал себя совсем хорошо, но она еще не позволяла вставать.

— Завтра, завтра, — улыбалась она, садясь с каким-то рукоделием, у затененной лампы, в моей комнате. — Завтра встанете, но еще нельзя выходить, и никого я к вам не пущу, даже M-r v. Hallen. А послезавтра — все кончено, вы свободны. Это пустяки, это наше солнце, вы были неосторожны, да, может быть, расстроены...

Я смотрел на нее, и, в тихой комнате, она сама тихая, казалась мне другой. Как будто и не та глупая немка, на которую я из-за Франца так разозлился.

— Мадам Клара... — произнес я.

Она подняла на меня близорукие светлые глаза. Потом, просто:

— Он вам сказал?

Я не ответил ничего, хотя понял вопрос.

— Ему трудно, он думает, что это большая ответственность... — продолжала она, как бы про себя, опустив глаза на работу. — Он все понимает, только вот это: какая же ответственность? Одна моя, и я так хочу, чтоб была одна моя.

— Клара, но ведь вы знаете... Вы его любите...

— Да. Мы все знаем друг о друге, и говорить даже почти не надо было. Он всегда знал, что я не думаю, и не хочу его любви... Мне своей слишком достаточно, — прибавила она с какой-то вовсе не печальной, хорошей улыбкой.

Нет, я не понимал. Да в чем же дело? Опять какие-нибудь фантазии Франца? Но ведь она-то, пусть сантиментальная, но практичная немка. Она что-то хочет от Франца, на что он... не соглашается?

Клара, не смущаясь моим молчанием, продолжала:

— Он угадал мое сердце, всю меня, как никто не мог бы. Никто другой. Я не жена. Я не возлюбленная. Я умею любить, так дано мне, но любовь любимого — зачем? Нет, сердце не в ней...

Я вдруг сел на постели. Промелькнули, пронеслись отрывочные фразы, слова, какие-то предупреждения Франца: «Выслушай до конца... Ты не знаешь женщины... И не смейся...» А теперь: «Он меня угадал... Я не жена... Я не возлюбленная...».

— Клара. Вы хотите иметь ребенка? Его ребенка?

— Да.

XV
Демон

После этого «да» — точно по волшебству сложилась передо мною, из кусочков и обрывочков виденного, слышанного, мимо ушей пропущенного, целая картина, в общем такая верная, что Францу потом пришлось дополнить ее только небольшими, хотя и неожиданными подробностями. Зная Франца, как я его знал, мне и труда не составляло догадаться о его чувствах и о взглядах на маленькую драму Клерхен. Для нее самой она не была маленькой; значит, при серьезности Франца, когда шло дело о человеке, не была маленькой драма Клары и для него. Он, конечно, верил (и Клара, да и — кто его знает, может, так оно и было?), что эта женщина, действительно, не «жена», не «возлюбленная», а только, — главным образом, — «мать». Бывают же такие. Я не замечал, положим, да просто не думал об этом; Франц, может быть, и прав, что я не знаю женщин, что некогда мне о них думать.

Отлично понял я, словно по книге прочитал, все сложное душевное состояние Франца, его влекущую силу доброты, а рядом — вечное чув-

ство ответственности... И что еще? Да, да, все, кажется, поняла моя любовь к Францу. Но... тут я, с сожалением, опять должен сказать кое-что о себе. Вернее – о моем демоне.

Воистину проклятый демон: нападает он на меня всегда неожиданно и всегда в самое неподходящее время; бросается на то, что я от него как раз и хотел бы сберечь.

Но он беспощаден, этот демон, – смеха... Смеха самого грубого, самого издевательского. Излюбленная мишень – я сам, конечно, хотя не считается он ни с кем – и ни с чем.

До сих пор вспоминаю: несколько лет тому назад, был я влюблен в двух женщин, – двух сразу. Клянусь, влюблен серьезно, глубоко, любил обеих с одинаковой силой, – по-разному; ведь и оне были разные совсем. Мать и дочь. Дочь была моя невеста. А мать, совсем неожиданно для обоих нас, – стала моей любовницей. Самое ужасное – это что я действительно любил обеих, обе мне были одинаково нужны; и оне любили меня; выход же мне был один: обманув обеих – расстаться с обеими.

Помню трагическую ночь, когда я так смертно мучился, разрывая непонятную сеть, зная, чем будет этот разрыв для меня, и для них, – для каждой (для них еще с обманом, разве мог я сказать правду? Разве поняли бы оне, когда я и сам ее не понимал?). Так вот – в эту ночь вдруг навалился на меня, сверх всего, проклятый дьявол смеха. Я не только смеялся над собой, я издевательски хохотал, грубо дразнил себя, будто я Хлестаков: «Анна Андреевна! Марья Антоновна!». Нельзя ли, мол, с обеими «удалиться под сень струй...». Что ж такое, что одна «в некотором роде замужем»?

Ну, не стоит теперь об этом. Знаю, что едва-едва не пустил себе пулю в лоб, и вот от невыносимого этого смеха, – куда хуже он, чем смех «сквозь слезы».

А вспомнилось потому, что после знаменательного Клариного «да», когда я ее и Франца – всю картину понял, и даже, если можно, еще больше моего серьезного и нежного Франца полюбил, а Клару пожалел, – до утра не сомкнул глаз: так этот поганый дьявол хохота меня душил и трепал. Вместо Франца он мне показывал столь глупую, комическую фигуру, что я покатывался со смеху; – а Клара виделась многоликой истерической рожей – сколько их шляется к знаменитостям: «Прошу сделать мне ребенка! И немедленно!».

Чертовы штуки – сближать факты внешние, чтобы смешать их, убить живое внутреннее содержание там. Где оно есть. Драму превратить не в комедию даже, – в грязный водевиль.

Я всю ночь и превращал, издеваясь над Францем: (попал в переплет и еще вздыхает). Над Кларой: (а Мариуса почему не желаешь?). И

над собой: (советчик! потом попросят совета, какого акушера пригласить! А сначала – роль моя tenir les chandelles*, что ли? О, соглашусь, я таковский!).

Лишь к утру задремал: проснулся в холодном ужасе: что будет, если дьявол схватит меня и при Франце? Или при Кларе? А я не справлюсь и захохочу им в глаза?

Нет, тут решительно есть доля самого настоящего моего безумия...

Но прислушался: молчит, проклятый.

Мария принесла кофе. Осведомляется о здоровье. Signora сказала, что если signor чувствует себя лучше...

– Совсем, совсем хорошо, mia figlia!** Скажите синьоре, что я здоров и сейчас встану!

XVI
Телеграмма

Последняя моя неделя Бестры проходила в самом тесном общении с Францем, в длинных с ним разговорах. Мы совершали прогулки, далеко в горы; случалось, набредя на крошечную деревушку, там и заночевывали.

На Флориоле, вечером, я нередко сталкивался с Кларой на моей террасе. Мало-помалу и с ней у нас установились откровенные отношения. Вместе, Франца и Клару, я почти никогда не видал, но они, кажется, и не бывали вместе. Изредка Франц приходил к 5-часовому чаю.

Им точно и вправду не было нужды вести друг с другом длинные разговоры: все понялось и сказалось сразу в малых словах.

Я угадал верно взгляд Франца на Клару: просто его понял.

Принял так же Клару, с ее любовью, с упорной волей и... практичностью.

Мне понравилось ее решение: она «во всяком случае» расходится с Мариусом и уезжает из Бестры навсегда. Флориолу она дарит Мариусу. У нее есть еще средства, есть и небольшая вилла на итальянском побережье (она не сказала, где), там живет теперь старая ее тетка.

– С M-r v. Hallen, – прибавила она, – мы условимся перед моим отъездом. Он может приехать на несколько дней... лучше всего в Сан-Ремо. Если, конечно...

Она не договорила, никогда не договаривала. В первый раз, при таких словах, я ужасно испугался: вдруг дьявол тут-то меня и схватит? Но она произнесла это так просто, так невинно-просто, что я – ничего. Даже не улыбнулся.

---

* держать свечку (*фр.*).

** моя дочь (*ит.*).

Ну, а что же Франц? О решении Клары покинуть Бестру он знал, он как будто все знал, все как будто принимал... Да, но он не Клара, и разговоры у нас с ним иные. Ближе нельзя, кажется, и так ясно представлял я себе, что делается в этой серьезной и сложной душе. Стал думать, что доброта, — вот его светящаяся доброта, — победит, должна победить. Я уж не смеялся, — на таких особых рельсах шел всегда наш разговор.

Не засмеялся я тогда, когда вдруг заметил еще какую-то сложность, мучающую Франца. Я только беспомощно рассердился и сразу решил об этом совсем не думать, так как сразу увидел, что не понимаю и не пойму. На Франца рассердился: можно ли доводить себя до таких извилин? Допутаться — ну, ей-Богу, до несуществующего? В какую связь он ставит для себя историю Клары (и это несчастное San-Remo) — с моей обещанной разведкой насчет графчика? Нет, просто закрыть уши, отвернуться, забыть, — вон баба сицилианская с кувшином на голове идет, девочка крошечная у двери с кошкой играет, петух где-то запел... милая, грубая, понятная жизнь! И чего люди выкрутасничают?

Франц угадал, кажется, что я сержусь и почему: объяснять мне ничего не стал, не настаивал, улыбнулся, к другому перешел.

Нет, довольно, очень меня утомила Бестра с загадочными ее историями и неожиданными сплетениями. Кое-что распуталось, — я понял, зачем я был нужен Францу, теперь можно вздохнуть с облегчением. Конечно, нелепость этих историй остается, — и Клара, и поручение Франца... Но не стоит думать. Таков уж Франц, поеду в свое время и Отто пытать. Насчет Клары — он знает мои рассуждения...

И с радостью, даже с волнением, ждал я, что вот, через два дня, свободный, поеду путешествовать... куда поеду? Все равно, — в Сиракузы, в Палермо... Оттуда, через Неаполь — в Рим. Знаю его. Но Сиенна, Орвиетто... если б туда? На возвратном пути надо остановиться в Берлине, хоть начать с этим глупым Отто... Ну, до этого еще далеко! Сейчас — словно «тайной радости жду впереди» — жду путешествия...

Укладывал, посвистывая, чемодан (хотя еще целых два дня!), когда Мария, с утренним кофе, принесла мне телеграмму.

Раскрыл. Ничего не понимаю. На каком языке? По-французски? По-итальянски? Ах, по-английски! Вопрос, когда я буду в Риме... «Could travel with you... Mother goes England. Ella» *.

Стоял с раскрытой телеграммой в руках. Смотрел на наклеенную полоску слов. Обернул — да, мне. Очевидно, надо ответить? Куда? Это из Рима. Да вот адрес отеля, — мой же, где я всегда останавливаюсь.

* «Могла бы поехать с вами... Мама уезжает в Англию. Элла» (*англ.*).

Но соображалось плохо. «Mother goes England...». Не показать ли Кларе?

Тотчас решил, что не покажу. Пойду в город сам и отвечу. Когда я буду в Риме? Через неделю? Раньше? А Сиракузы, Палермо? Ну, можно и без Сиракуз. В Палермо день; ночь до Неаполя... Через пять дней я могу быть в Риме.

УЛЫБКА

Небесная чаша была не лазурная, а густо-сиреневая от зноя и от желтизны холмистой равнины. Почти в середине сиреневого свода стояло солнце. Оно казалось прорывом в какой-то невозможный мир, откуда на землю лились огненные лучи.

По дороге, меж нив желтой пшеницы, шли странники. Дорога вилась по холмам, от нижнего селения к тому, что направо, на холме. Видно было далеко и широко, все — в сверкающем зное.

Странники, в желтовато-серых одеждах, с затененными покровами лицами, шли медленно. Они шли вместе, а поодаль за ними следовала женщина.

Шли они давно, давно шла и женщина. Думала, может быть, что они ее не замечают, но все шла, держась вдали. У странников не было ни посохов, ни мешков. Только один нес под складками своей желтой одежды что-то громоздкое, с острыми углами.

Там, где дорога круто подымалась вверх, стояли у дороги три серых, короткотенных дерева. Под ними — горячие белые камни.

— Учитель, отдохнем здесь! — сказал один из странников, подымая покрывало. Он был стар, сед, лыс. Над добрыми бледными глазами удивленно круглились брови, собирая в складки лоб.

— Скоро ты устаешь, Яков! — начал быстро возражать другой, в желтом, что нес ящик под одеждой, но замолчал, потому что и третий путник, безбородый, нежноликий мальчик, тоже сбросил покров с головы, а Тот, кого они называли Учителем, подойдя к одному из белых камней у дерева, сел. Нежноликий мальчик опустился у ног Его, на землю. Сели кругом и другие. От тяжести зноя была тишина.

— И что эта женщина все идет за нами? — сказал вдруг один из путников, остробородый, быстрый в движениях. Приложив ладонь ко лбу, он с любопытством глядел на дорогу. — И не больная. Давно идет. Чего ей нужно?

— Лучше бы женщины сидели дома за пряжей и думали, как бедным помогать, — недовольно сказал человек с ящиком, но тоже стал всматриваться в женщину, обернув к ней лицо.

Лицо у него было молодое, темное; черные волосы, слабо завиваясь, падали на лоб, мягкая бородка чуть курчавилась. Глаза были похожи на небо, но бессветное, и, казалось, человек с таким лицом не может улыбаться. Он и не улыбался никогда. Весь темный был, темный и яркий, в почти яркой желтой одежде.

А женщина все приближалась. Близко, впрочем, не подошла, остановилась у последнего дерева и стояла молча, прислонясь к стволу головой.

Некоторое время молчали и путники. Наконец, остробородый, которому уж не сиделось на месте от любопытства, проговорил:

— Тебе, милая, нужно что-нибудь? Идешь и идешь за нами... Откуда ты? Чья?

Женщина отделилась от дерева и тихо, нерешительно и невнятно произнесла:

— Я... к Учителю вашему... Я оттуда... — она махнула рукой на восток. — Мои родители... — он знает! — вдруг неожиданно и гневно указала она на черного...

— Так ты ее знаешь? — добродушно рассмеялся любопытный, обернувшись к черному. Но тот молчал и не шевелился.

— Мне надо говорить с вашим Учителем, — настойчиво повторила девушка и откинула покрывало. Она была очень молода, лет пятнадцати, с узким, золотисто-смуглым лицом и огромными гневными глазами.

— Не знаешь, чего просишь, — покачал головой любопытный. — Иди домой. Нельзя тебе говорить с Учителем.

— Иди, иди домой, — сказал и Яков, утирая лысину. А двое — длинноволосый и курчавый, зоркий — стали подыматься, и длинноволосый прибавил: «Нехорошо это. Иди».

Девушка испугалась и почти вскрикнула:

— Мне надо... Мне надо сказать Учителю...

Ученики заговорили все сразу, но в эту минуту Учитель сделал тихое движение рукой, и они, удивившись, что Он хочет выслушать девушку, замолкли.

Она вдруг опять оробела, сжала губы и в первый раз подняла взор на Того, за Кем так долго шла. У него были глаза, похожие на небо, но светлее неба, почти солнечные. Казалось, он никогда не улыбается. Но порою Он улыбался. Только Его улыбка была такой невозможной, радостной радостью, что видевшие ее не верили потом, что видели, забывали, что видели. Каждый раз она была и первою, и последнею, и бывшей — и небывшей, и не оставалось слов для воспоминания. Теперь Он смотрел и не улыбался, сидел весь светлый, но не яркий, а тихий, и одежда у Него была светлее, чем у других, — почти совсем белая.

Девушка молчала. Потом, с усилием, проговорила:

— Ты знаешь все, говорят... Ты рассудишь по правде, по закону. Отпусти со мной Твоего ученика. Вот его.

Она слегка обернулась и указала на черного.

— Я обрученная ему невеста. Он из нашего рода самый близкий, я одна дочь в доме отца, и он должен войти в дом наш. И было согласие между нами, и он копил деньги для дома, и вместе прикупили мы овец и другого скота... Я обручена ему, и никто, кроме него, не может войти ко мне... Как исполню закон отцов, если он оставит меня? С тех пор, как прослышал он про Тебя, и пошел, он уже не возвращался под нашу кровлю, и только от людей узнала я про него. Разве мало у Тебя учеников? Сжалься, отпусти его. Прикажи ему, а не послушает, да будет проклят от Бога нарушивший закон!

Ученики заговорили, и ропот их прервал слова девушки.

— Что ты! Что ты! — испугался Яков. — О чем просишь? Учитель велит оставлять нам и домы, и жен, и детей, а ты...

— Молчи, старик! — прервала девушка. — Ты прожил жизнь по закону, остаток дней отдаешь, я же не оставляю — но оставлена; я не жила — и умру, как затоптанная трава, и род наш изотрется в пыль. Учитель не захочет, чтоб мать не видела детей своих!

Зоркий, курчавый ученик с пытливым сомнением поглядел на девушку.

— Еще надо исследовать, так ли все, — сказал он и прибавил, обратясь к черному: — Значит, ты оставил ее? И пошел? Как же теперь сделаешь?

Черный, не поднимая глаз, проговорил:

— Я сделаю, что велит Учитель. Он знает мой путь.

Тогда все глаза обратились к Учителю. Ждали, что он скажет. Но Учитель молчал.

Девушка молила, протягивая руки:

— Его одного я у Тебя прошу, отпусти его! Должно исполниться закону, данному от отцов на вечные времена!

Нежноликий мальчик, сидевший у ног Учителя, проговорил тихо, точно вздохнул:

— Должно исполниться временам и срокам...

Учитель молчал. И девушка, придя в отчаяние, вдруг крикнула:

— Ты не хочешь отпустить его? Ты думаешь, он любит Тебя? Я знаю, не оттого он с Тобой, что любит Тебя! Еще и не видал, прослышал только про дела Твои, а уж задумал свое. Слава пророка впереди него бежит, и он... он, что сидит теперь и не смотрит... подумал тогда — не я ли тоже пророк? И не та же ли у меня сила? Потому что, — девуш-

ка остановилась от волнения и гнева, — потому что наговорили ему в уши, что он похож на Тебя, как близнец...

Выкрикнув эти слова, точно помимо воли, она сразу умолкла, с оборвавшимся голосом и широко открытыми глазами. Ученики поднялись с места, пораженные, и глядели на двух, сидящих друг против друга, на человека с ящиком и на Учителя.

Они были похожи. Только один был весь темный, другой весь светлый; один яркий — другой ясный; и в глазах темного не было тишины.

Но какой-то смутный ужас ревности и предчувствия овладел учениками. Лишь юный ученик с бездумным доверием прислонился головой к коленам Учителя и закрыл глаза.

Тогда Учитель поднял на девушку взор — и улыбнулся.

И с Его улыбкой вдруг исчезло все сходство между Ним и черным. Улыбка была такой радостной радостью, что и видевшие уже не верили, что видели, когда она угасла; но у девушки и у окружавших ее отпал ужас и всякая тревога, точно кто-то твердил всколыхнутой и медленно успокаивающейся душе: все хорошо, все свет и радость, все хорошо.

Девушка, с недоуменными слезами на длинных ресницах, ступила несколько шагов вперед и опустилась на колени.

— Господин мой, — сказала кротко и, сама не ведая чему, улыбаясь сквозь слезы. — Прости моему неразумию. Я ничего не знаю, а Ты все знаешь. Я рассуждала, что мне нужен тот, кто обещался мне быть мужем, но мне ничего не нужно. Тебе ведом и путь, и закон. А я хочу не того, чего я хочу, а чего Ты хочешь.

И она простерлась перед Ним на земле, как перед Богом.

Учитель встал, встали и все сидевшие еще ученики. Встал и черный, но не подошел близко, а был поодаль.

Учитель тихо опустил руку на непокрытую голову девушки. Она не посмела поцеловать руку, лежавшую на ее волосах, только поднесла к губам конец Его покрывала. Учитель пошел вперед, дальше, в гору. За ним, поспешно накидывая покровы, тесной кучкой двинулись ученики. Ближе к Учителю шел нежноликий мальчик, к нему притиснулся любопытный с острой бородкой, потом шел робкий Яков и другие.

Черный шел позади. Солнце придавило ему плечи. Сгибаясь под огненными лучами, словно под острыми бичами, поддерживая тянущий его вниз ящик, тяжело поднимался он в гору. Белое покрывало Учителя сверкало и горело уже далеко, почти на вершине холма.

А внизу, прислонясь к дереву и глядя вслед, вверх, — стояла девушка с веселыми слезами на ресницах. Она по-прежнему ничего не знала, но ее новая безымянная радость осталась с ней.

НЕПОДХОДЯЩАЯ

Валя сама хорошенько не знала, как это случилось, как она сказала «да» и сделалась невестой студента Шатицкого.

Они познакомились в каком-то кружке молодежи, где Валя зимой бывала. Валина мама находила, что русская девушка должна быть «à la page»* и в русском отношении, т. е. общаться с русской молодежью, притом не на одних теннисных площадках, но идейно тоже. Валя не противилась, – она вообще редко чему противилась, – но на собраниях не то что скучала, а была рассеянна. Молодые ораторы говорили горячо, но не совсем понятно; громили капитализм, партийную политику, – политика же Вале плохо давалась; так, на веру больше, возьмет, что услышит, а потом забудет.

России она не знала, а потому особенно ее обожала. Какую Россию, какой образ ей представлялся, – она не могла бы сказать. Что-то туманное, прекрасное и – цельное: самые разные эпохи, – царствование Екатерины, время «Войны и мира» Толстого, и дальше, – все у нее смешивалось и сливалось в одном горячем чувстве. Иногда ей снилась Россия в виде старой, – а больше, сказочной, конечно, – Москвы: колокола, солнце, и кругом все на солнце блестит. Никому об этих снах не рассказывала: какие-то «несовременные».

Впрочем, мама и так находит, что Валя «несовременна». Даже лицом «вся в бабушку», взгляд даже томный, как на бабушкином портрете, где она написана белокурой красавицей. Но бабушка – институтка, а Валя в парижском лицее училась и спортом занимается. Спорт, – а рядом стихи, которые она для чего-то переписывает в тайный альбом. Особенно любит она Жуковского. Ей кажется, что там (где?) все особенное, и люди – не как все...

Лева Шатицкий был решительно как все. Ходил без шляпы, с приклеенными на голове волосами, в легком макинтоше: шагал крупно, подрагивая на каждой ноге; в кружках громил старую, засохшую в партиях, эмигрантщину; кончал с большим огнем и приблизительно так: «Нет, не отжившие отцы наши, а мы, только мы, непосредственным чувством воспринявшие национальную Россию и мессианское ее призвание...».

«Россия – Мессия» – это Валю, от привычки, может быть, не трогало. Но мама находила, что хорошо, и когда со студентом они познакомились, и Валя увидала, что мамочка очень ему понравилась, то и Валя стала находить его «милым». Валя обожала свою маму и гордилась, что она такая красивая.

---

* «как паж» (*фр.*).

Может быть, Шатицкий за Валей и ухаживал, — она не знала, не могла бы сказать, никогда об этом не думала, — ну, и не заметила. Вдруг, — именно вдруг, — случилось, что он сделал ей предложение. Это было при маме. Оба они смотрели на нее, улыбаясь, и мама так, очевидно, не сомневалась в Валином «да», что ей ничего другого и нельзя было сказать. Сказала, расплакалась и убежала. «Совсем, как бабушка!» — говорила потом, смеясь, мама.

Но Валя заплакала не совсем, как бабушки плакали; те — от стыдливой радости; Валя, в этот первый момент, просто от неожиданности. Ночью же, одна, пустилась в новые слезы; хоть и не горькие, а все же и утром подушка была сырая.

Дело в том, что уже давно Валя была тайно влюблена. Но любовь эта — такая невозможная, такая безнадежная, такая, ну, совсем другое, чем свадьба с Шатицким; и хоть проплакала Валя всю ночь, — свадьба эта казалась ей вещью простой. Лучше бы, конечно, если б ее не было, но что ж, раз вышло! А это не измена. Никто, ведь, и ничто не может помешать Вале любить «его», как она любит; никто во всем мире не знает и узнать не может об этой любви. Уж много месяцев прошло с тех пор, как Валя видела «его», неизвестного, проходящего мимо, видела почти каждое утро. А он и сейчас перед ней, как живой. Небо над южным морем, белые камни набережной... и **он.** Раз он проходил, держа шляпу в руке; Валя видела темные, с серебром, волнистые волосы. Как всегда, глаза его встретились с Валиными на мгновенье. И, как всегда, — он прошел.

Ни кто он, ни имени его Валя не знает и не хочет знать. Ей довольно того, что нужно знать: она его любит. Лева Шатицкий? Он, кажется, славный. Валя будет ему верной женой. Все пойдет, как надо, это... и другое, ее никому неведомая, навечная любовь.

И Валя была даже весела. Только рассеянна стала не в меру. Раз поехали они в Версаль, втроем (всегда втроем гуляли и катались), и Валя, хотя за рулем сидеть ей было привычно и машину свою она знала, — вдруг, без нужды, чуть на грузовик не наехала.

— Нет, — сказала удивленная мама. — Влюбленным девочкам такого дела поручать нельзя. Да не красней, пожалуйста!

— А влюбленным мальчикам можно? — засмеялся Лева и сел на Валино место, за руль.

Валя, от маминого замечания, действительно покраснела: если б мама знала, какая это правда, о влюбленной девочке!

В конце марта Лева объявил, что едет «домой». Всегда в это время ездит. «Традиция! Мой старик ждет. А теперь и надо его повидать».

Вскоре собралась на юг и Валина мама.

Накануне отъезда, вечером, в неурочный час, Валя вошла в мамин кабинет. Мама, за бюро, проверяла какие-то счета, звенела ключами. Вскинула темные ресницы.

— Что тебе, девочка?

Красивой мамой своей Валя недаром гордилась: совсем еще молодая, и так на Валю не похожа: смуглая, с теплым румянцем, с быстрыми движениями.

— Я, мама... — начала Валя и остановилась, будто задохнулась. — Я не хочу... не хотела бы ехать.

— Не хочешь ехать? Да почему? Что с тобой?

Валя опустилась в кресло и заплакала. Плакала смешно: лицо не изменялось, только из открытых глаз крупными горошинками падали светлые слезы.

— Пойдем, деточка, ляг в постель, — сказала мама, покачав головой. — Изнервничалась, сама себя не понимаешь.

Валя и вправду себя не понимала. Чего она боится? Разве не все уже обдумано, решено на вечные времена? Ну, увидит опять «его», встретятся они глазами, и пройдет он, неизвестно куда, неизвестно кто, вечно и тайно любимый... Что изменилось?

Однако в первый день приезда, Валя, чтобы не выйти на Променаду, пожаловалась на усталость и легла в постель. А было такое яркое солнце! Спать не хотелось, но лежала с закрытыми глазами. Мама что-то говорила ей, — о Леве, кажется; не слушала.

На другое утро надо же, наконец, выйти. Да Валя уж ни о чем не думает, так лучше. Вот оне сидят на скамейке, на широкой Набережной. Море, в сверкании, круглится очень что-то большое, пустое, голое. Пустота и сверканье успокаивают, усыпляют Валю. Тени людей скользят мимо, но Валя не смотрит, ей сегодня безтревожно. Нежное лицо с остреньким подбородком кажется розовым от кружева воздушной шляпки.

Маме хочется пройтись; но Валя еще слаба, пусть отдохнет. И Лева сказал, они сюда...

— Ах, да вот же они! Валя, Валя, посмотри, кто идет!

Валя подняла глаза. Увидела, в двух шагах от себя, очень высокую, тонкую, по военному прямую фигуру человека в светло-сером. Увидела, — когда он, кланяясь, снял шляпу, волнистые, темные с серебром, волосы. Увидела знакомые, навсегда милые, глаза... и больше ничего не увидела.

— Боже мой, ей дурно! — закричала мама. — Это солнце! Ради Бога, простите! Левочка, вы мне поможете довести ее домой, отель напротив. Но как несчастливо, Петр Львович, для первого знакомства...

Валя слышала голос, но глаз так и не открыла. Может быть, и в самом деле тут было действие солнца. Долго она металась и бредила. Мама, переменяя холодные компрессы, прислушивалась к бреду, но ничего не понимала.

Шатицкие пообедали этим вечером в Казино, а потом пошли по крутой дороге вверх, где ютилась, среди зелени, маленькая вилла Петра Львовича. Вечер был свежий, воздушный. Лева, после обеда, находился в самом приятном настроении. Любил иногда и покутить, и поболтать со своим «стариком», – ведь, в сущности, они приятели! А приятельские эти отношения даже помогали Петру Львовичу всматриваться в сына ближе: славный мальчик, неглупый, только находят на него какие-то легкомысленные фантазии; допытаться – и сам он не знает, что, почему и зачем.

Допытываться, обходными путями разузнавать, Петр Львович умел. И, когда они, придя домой, сели еще покурить на сумеречной веранде, Петр Львович уже много знал насчет Левиного жениховства. Знал, что это «как-то само собою вышло», что «обе оне – прелесть», хотя «абсолютно разные».

– Да, мамаша побойчее, – сказал Петр Львович. – Я их еще в прошлом году здесь видал. Вот не думал породниться! Да и о тебе не думал, что на двадцать втором году в брак вступишь. Ничего, ранний брак – хорошее дело.

– Ну, положим... – протянул Лева, расхаживая по веранде. – Ведь не сейчас же... Спешить некуда.

– Конечно. Ближе узнаете друг друга. Вот ты говоришь, она молчаливая такая. И в кружках ваших особой деятельности не проявляет. Может ведь статься, – она тебе и не подходит.

Лева неожиданно вспыхнул.

– Как это не подходит? Уж ты не родительский ли протест заявляешь? Благословения, что ли, лишишь?

– Не лишу, мой друг, не лишу. Женись хоть завтра. Я так, к слову сказал. И раз ты ее любишь, и она тебя любит...

Остановился, ожидая реплики, но Лева не сказал ничего.

– Я готов даже совсем в твои дела не мешаться, – продолжал Петр Львович. – Извинись завтра перед ними, скажи, что я нездоров, очень сожалею...

– Нет, нет! – торопливо перебил Лева. – Мы, напротив, хотели... То есть, она хотела... то есть, я о матери говорю. В ней много еще от традиций. Познакомьте, да познакомьте нас с вашим отцом... Ты брось эти свои манеры, не обижайся, сделай милость. Завтра же пойдем. Вот увидишь: замечательный между ними контраст! Конечно, и мать чужда актуальности. Да ты этого не поймешь. Это вопрос поколений.

Лева долго еще разглагольствовал: то о поколениях и парижских кружках, то о прелестной семье, которую они завтра увидят, то опять о кружках... Петр Львович молчал, а скоро перестал слушать. Он уже знал все, что ему нужно было знать. Если б Лева не был так увлечен собственным красноречием, он заметил бы, когда вспыхивала папироска, что отец улыбается своей лукаво-ласковой улыбкой, которая неизменно предвещала какую-нибудь неожиданность.

Вот уже скоро два года, как Валя замужем за Петром Львовичем Шатицким. Они живут постоянно в той же вилле, наверху, над блестящим южным городом. Молодая «генеральша», — как все ее зовут, — расцвела, пополнела и много занимается благотворительностью. Недавно ее заботами открылся новый приют для русских детей. Мама, все такая же веселая, приезжает из Парижа и, в сезон, подолгу гостит.

Приезжает, в свои сроки, к «старикам» и Лева. Целуя ручки у юной belle-mère*, думает, чуть-чуть снисходительно: «Очень мила!». Она же, без всякой снисходительности, искренно: «Право, он славный!».

ЛИРИКА

Может быть, это всегда так: вырастая, теряешь способность влюбляться. Говорю, конечно, о влюблении настоящем, которое откуда-то налетает со своим блаженным страданием и мучительным блаженством, а главное — со всей своей таинственностью. Оттого я, верно, и терял к нему способность, что незаметно терял тайну: мир для меня все упрощался, делался все понятнее, и я даже забывал, каким видел его прежде.

Но шло это медленно. Хотя самая первая влюбленность, — в мамину гостью с бархаткой на шее, — была самая острая и таинственная, последующие — Сашенька, кузина Лили, м-м Карич, поповна Марья Ивановна, — все это была она же, непонятная, крылатая, упоительно-бесцельная влюбленность. Рассказывать, впрочем, какая она, нет смысла: слова к ней только подбегают и сейчас же назад.

Я рос совсем один; в гимназию поступил поздно. На свободе привязался к книгам, постоянно читал; или играл, тоже один, и по-своему. Еще маленьким открыл, что игрушки — противны; все «нарочные», и зачем? Ведь можно вообразить себе все, что захочешь, совсем так, как

---

* мачеха (*фр.*).

будто оно есть. Я и воображал, до полной живности, что мне было нужно. Летом, в пустой бане, у меня случалась «семья»: жена, двое ребятишек (знал их в лицо и по именам). Конечно, жизни этой я не выносил, надо идти в пещеру, спасаться. Жена ложилась на пороге, дети плакали, но я переступал через жену и все-таки уходил. В пещере (в кустах) я долго спасался. Концы бывали разные. Но часто, к концу, появлялось (т. е. я сам являл себе) видение, или существо, похожее сразу на всех, в кого я был влюблен, и лучше их всех. После сомнений (пустынники должны быть осторожны), я убеждался, что существо это вроде ангела, и, закрыв глаза, шел за ним, не знаю, куда... только не назад, в пустую баню. Ничего, что когда глаза открывал, оказывался около нее. Игра уже была закончена.

А книги... разве не игра тоже? Я тоже «воображал-видел», как настоящих, и ведьму-панночку, и Наташу Ростову, и Раскольникова. Все ходили вокруг меня, живые, хотя и не всегда, — в книге, — делали то, чего бы мне желалось.

Впрочем, еще задолго до гимназии, я стал изменяться, только не замечал. Но с гимназии началось во мне какое-то раздвоение. Я и о нем сначала ничего не думал. Просто мне стало весело, ново, захотелось походить на других. Один товарищ, широколицый Луполов, возбуждал во мне неопределенную зависть. Так смело он говорил обо всем, так открыто, не стесняясь, сознавался, что ничего не читал и читать не желает, так все для него было просто и ясно, что я все больше стыдился своей «дикости», старых «воображений». В разговоре о женщинах — Луполов всегда первый, и тоже необыкновенно прост.

Правда, временами я точно заболевал неодолимым отвращением к Луполову. Таил, конечно. И проходило.

Памятное лето, о котором хочу рассказать, было уже перед выпускным классом. Мы переехали с матерью на старую нашу дачу-мызу, — где жили не первый год, — рано, в мае. И едва переехали, со мной случилась неожиданность: я точно окунулся в прежнее, начисто забыл гимназию, забыл Луполова... Вот она, моя ива разлапистая у ручья, а ручей еще полный, весенний. Еще коростель скрипит вечерами, за полянкой. В парке сыровато, а в лесу, говорят, уж ничего.

Люблю нашу дачу, — глушь. Деревня далеко, а в старом графском имении только одна эта наша «мыза» и есть; стоит среди громадного парка особняком, а парк в лес переходит. Нашу часть парка от графской отделяет, в самой глубине, длинный проточный пруд. Длинный и узкий, и ниоткуда не видный, так обступили его высокие деревья.

В графский парк и в именье я не хожу. К управляющему иногда, он в прошлом году давал мне лошадей верховых, графских (графов никогда нет).

Ночью прошла гроза. Утро, раннее-раннее, такое встало светлое, такое милое и свежее, что я не вытерпел: взглянул на небо с мезонинного моего балкона (мезонин у нас просторный, но живу я там пока один), наскоро оделся и тихонько сбежал вниз.

Никогда, кажется, не видал такого утра. Деревья были, словно дети после купанья. Лужайка улыбалась золотыми весенними цветками. И я сам был — не то что веселый, а беспричинно и серьезно радостный, как прежде, давно, случалось: чего-то ждешь, что не приходит, а радость все-таки не уменьшается.

Шел вперед, вперед. Зеленосводная аллея вывела меня вниз, к пруду. Я шагнул к самой воде, к невысоким еще камышам, и поднял глаза.

Прямо передо мной, на том берегу, на старом деревянном плотике, стояла незнакомая барышня. Нас разделяла только узкая полоса воды. Воздух чуть заметно струился и дрожал в косых лучах еще низкого солнца. Сквозь это струение я видел белое платье с зелеными цветочками, две тугие косы, перекинутые наперед, серьезный взгляд светлых глаз, устремленный прямо на меня. Так продолжалось... не знаю, сколько времени. Может быть, полминуты. Может быть, дольше. Потом она медленно повернулась, пошла от пруда, и тотчас за деревьями ее не стало видно. А я сел тут же, у камышей, и тупо смотрел на плотик, где ее уже не было.

Только вечером понял я, что влюбился. А влюбленность эта была особенно острая, больше всего похожая на ту, древнюю, первую, — в мамину гостью с бархаткой. Положим, и с кузиной, и с поповной я не хотел разговаривать, а только издали смотреть и томиться; но тут я не хотел знать, — пламенно хотел не знать, — даже кто она, моя незнакомка у пруда. Я боялся, я дрожал, что другие тоже видели ее (посмели!), и вдруг заговорят при мне, скажут, откуда она. Только этот страх и нарушал полноту моего счастья. Когда она отступала, — волны блаженства тихо заливали меня. Нечего и говорить, что в имение, к управляющему, просить верховую лошадь, я не пошел: вдруг он скажет, что к нему приехала дочь... но у него нет дочери... ну, племянница. Племянница управляющего! Нет, нет. Ничего не надо!

Чтобы видеть мою Неизвестную (как бы я мог жить, не видя ее?), я ходил к пруду, но всегда или ранним утром, или на закате. Мне почему-то казалось, что в другое время ее не будет. И мы виделись. Порой я уже заставал ее сидящей на шаткой скамье, не плотике; а порой, еще не успев прийти в отчаяние, следил за мелькающим меж деревьев платьем, когда она шла к воде. И было все так же. Так же смотрели мы друг на друга несколько мгновений (может быть, дольше), и она уходила. Я уже хорошо знал ее лицо, — о, как я его знал! — но чуть оставался один, — не мог его вспомнить. Впрочем, это всегда так бывает.

В эти-то волны несказанного моего блаженства и упала, как камень, Лидия Марковна.

— Ах, неужели это Женичка? Давно ли... маленький, болезненный мальчик! А теперь — ну, просто гвардеец молодой!

Так говорила дама, которую я встретил неожиданно на круглом балконе, вернувшись с прогулки. Даму я не помнил; и откуда она взялась? Лишь потом, как из сна, пришли на память недавние мамины слова о старинной знакомой: живет, после развода, в Париже, теперь приехала в Россию по делам и собирается к нам погостить.

— Какая прелесть — ваша глушь! — продолжала Лилия Марковна, щуря необыкновенно черные ресницы. — Эта полянка, эти клены... Вы много гуляете, Женичка? Ах, вы мне должны здесь все, все показать! Я отличный ходок, вы знаете.

Она оперлась полным голым локтем о перила балкона и бросила на меня взгляд, который почему-то меня смутил. Чувствуя, что краснею, я ответил с нарочитой развязностью:

— О, не сомневаюсь! Я к вашим услугам. Здесь чудесные прогулки.

Сошел с балкона и был уже далеко, когда до меня долетели слова Лидии Марковны: «...и как он красив, ваш Женичка. Эта теплая смуглость...».

Я знал, что красив, и мало думал об этом; почему же случайные слова, случайно услышанные, опять смутили меня, даже взволновали?

Прошло несколько дней, пока я разобрал, в чем дело. Эта женщина нисколько не нравилась мне. Ровно-матовые, полные щеки. И сама, хоть не толстая, слишком полная, на мой взгляд. Волосы, искрасно-рыжие, лежат будто деревянными завитушками... Да не в этом вовсе дело! А в том, что она беспокоила меня, волновала каждым движением, каждой мелочью: по-иному стянутым платьем; тем, что лицо у нее короткое, как у кошки; тем, что из полуотворенной двери ее комнаты (она поселилась в мезонине) пахнет так душно, пыльно и сладко... как и от нее самой, даже на воздухе.

И, главное, главное: она, словно толчком, оживила во мне, — другого меня; того, кто отлично помнил гимназию, разговоры о женщинах и завидовал Луполову. Это его-то и волновала Лидия Марковна. Но он был — я же; я оказывался «вдвойне». Так именно и сказал себе: вдвойне. Потому что и влюбленный в девушку на пруду нисколько не умер, ничего не забыл. Я понимал, что ему и луполовскому нельзя быть вместе; и было ужасно, что они все-таки вместе, — во мне.

Весьма трезво, ясно, оценивал я (т. е. луполовский я) как свое волнение, так и Лидию Марковну с ее авансами, и возможность интрижки, против которой что же можно иметь? Прогулки вдвоем были забавны; волнение, которому я отдавался, очень приятно...

А потом, вдруг... потом я тащился к пруду с такой тяжестью, виноватостью в душе, что почти хотел не дойти, или не увидеть «ее». Но если она приходила, — сразу весь я зажигался каким-то тихим светом, а Лидии Марковны точно и не бывало никогда.

Однако и чепуха! — смеялся я над собой, сидя за завтраком, на балконе, рядом с Лидией Марковной. Не то я психопат, не то у меня остатки младенческих бредней. Будет ли когда-нибудь окончательное окончание? А эта Лидия... жаль, глаза уж чересчур подмазывает. Ну, да на худой конец...

Немножко-то я все же храбрился. Развязка, между тем, близилась, а за ней, своим чередом, пришло и то, что я называл «окончательным окончанием».

Помню, последнее утро, — последнее, — как вчера. Встретил я его в парке, потому что в парке провел и почти всю эту ночь, — темную, насквозь сырую, полную тонкими иглами тумана. Но если бы нельзя было тогда из мезонина, из комнаты Лидии Марковны убежать по лестнице, — я все равно спрыгнул бы с мезонинного балкона.

Время я как-то совсем потерял. Ночь длилась и могла совсем не кончиться, — такая ровная и плотная стояла от тумана тишь. Я — то ложился на просыревшую дерновую скамью, или прямо на землю, на траву, где было скользко, то вставал и ходил по черной, как сажа, аллее. Ни о чем еще не думал. Слишком еще занят был своим телом, отвращением, которое все его наполняло, и было похоже на неиспытанную тошноту. Липко холодная, душная темь не успокаивала. Хуже от нее было.

Но когда ночь медленно стала седеть, я вспомнил: да! ведь я хотел... ведь мне нужно... Остальное договаривалось полусловами-полупредставлениями: вот я иду вниз. Камыши, вода. Просит прощения... Оскорбил — «ее». Я переплыву воду, там узко, я скажу, она простит. Или нет: не надо прощенья, нельзя. Только бы еще увидеть. Только бы она пришла.

Длинная, толстая, белая подушка тумана лежала на воде, когда я сошел к камышам. Плотика точно и не было никогда, да и всего того берега не было. Одни стволы высоких деревьев чернелись, будто росли прямо из тумана.

Я сел на размытый берег, в грязь, и стал ждать. Неуследимо светлела белая подушка; потом вытянулись из нее вверх длинные узкие языки. И вот, словно призраки в саванах, поднялись, забродили меж камышами, запрозрачнели, еще вытянулись и поплыли, качаясь, вверх. Вот обозначился, сквозь муть, и плотик, темный от сырости. Но на нем никого не было.

Должно быть, я ждал очень долго. Солнце, бледное, едва-едва золотое, то скрывалось, то опять выглядывало, и вдруг я заметил, что оно уже совсем высоко.

Она не пришла. Не у кого просить прощенья. Не с кем и проститься перед вечной разлукой. Потому что я знал, — больше не увижу ее никогда.

Не заходя домой, я, как был, через парк и поле пошел на станцию и уехал в город, в пустую квартиру. Хотел обдумать, как лучше... умереть.

Не умер, конечно. Только лихорадкой долго был болен, — простудился.

ВАНЯ ПУГАЧЕВ И ВАНЯ РУМЯНЦЕВ

Сыны народа. — Любовь и патриотизм. — В русской северной деревне. — Два матроса: поэт и «революционер». — Листья, бурей гонимые

Оба они — настоящие люди, и фамилии их тоже невыдуманные. Фамилии знаменитые, но сами они совсем не знамениты; зато, может быть, характерны.

Ваня Пугачев — сирота, прачкин племянник. Что с ним тетка делала, выписав мальчишкой из деревни, отдавала ли в какое ученье, — неизвестно. Увидели мы Ваню перед войной уже взрослым парнем в Петербурге, с теткой-прачкой: ей покровительствовала наша старая няня, ну, и племяннику тоже. Летом ехала тетка с нами на дачу, ехал и Ваня, помогать «вообще». Тетка ничего от него, кажется, не требовала: «Ему на призыв скоро, пусть погуляет».

Парень был громадный, широкоплечий, с лица рябой, впрочем, не без приятности, и довольно ловкий. Ловкий — и мешковатый: как будто и хитрый, — как будто и тупой.

В последнее лето произошло с Ваней смешное приключение: он влюбился. Влюбился непохоже на себя, — грустно, глупо и безнадежно, потому что влюбился — во француженку.

Большой каменный дом в именье северо-западной полосы России, где жили в то лето две семьи, был населен и немалым количеством женской прислуги. Одна из горничных оказалась привезенной для чего-то из Парижа: молоденькая, черноглазая, с недурным, немножко надутым, личиком, — Мари-Луиз. С десяти лет бегавшая по парижским улицам из материнского прачечного заведения «по клиентам», случайно попавшая затем в русскую семью, которая «на год» взяла ее в

Петербург, — можно представить себе, как была она некстати среди всех Тань и Маш, в русской деревне, около старой няньки, Ваниной тетушки, да и самого Вани. Не то, чтоб была она умнее или культурнее Тань и Маш: нет, нисколько, а Тани и Маши, пожалуй, лишь добрее и проще; но была вся, до последнего движения, — другая. Оттого Ваня, должно быть, и влюбился. Мари, для него, — таинственность: таинственная и речь ее, которой он не понимал. Кроме того, она важничала: по неприятной своей натуре, она даже особенно важничала. Заметив Ванино обожание, она, по-своему, однако, с ним кокетничала; даже вечерние свидания в парке ему назначала; но прихватывая с собой которую-нибудь из Тань. Ване оставалось только безмолвно млеть, или, подыгрывая себе на гитаре, тихонько напевать единственную чувствительную песенку, которую знал «Пускай могила меня накажет...». Даже пламенно восторженные взгляды были ни к чему: на условленной скамейке, под ветвями, вечером особенно темно.

А к тому времени, когда Мари переняла несколько русских слов, и Ваня, приобретя французские вокабулы, затвердил две—три необходимые фразы, любовь его обернулась трагически: он оказался вмешанным в яростную борьбу на почве патриотизма. Тетка-прачка, нянька, а за ними и Тани с Машами, доказывали Мари преимущества России; Мари же фыркала на все русское, потому что Франция (Париж, другой Франции она не знала) выше всякой России, никуда перед ней негодной. Ни один обед не проходил без спора, самого ожесточенного; както ухитрялись понимать друг друга; притом часто, после криков, дело доходило до драки, а это уж всем понятно.

Ваня бессильно пытался стать на сторону Мари; но Мари этих робких попыток не ценила, да и не воспринимала, смешивая его с «врагами». Только тетка-прачка яростно накидывалась на Ваню за эту защиту.

Вечером, в саду, Ваня напрасно объяснял Мари свою горькую долю. Как-то, чтоб разжалобить ее, сказал, что вот, мол, судьба его: должен идти в солдаты... Но Мари и тут нашла повод для презрения: во Франции считают за счастье и честь быть солдатом, служить отечеству.

Ваня, на этот раз, не сдался. До полуночи пыхтел над вокабулами и утром прочел Мари, русскими буквами написанное: он решил поступить во флот, чтобы при дальнем плавании попасть во Францию и увидеться там с «бьенеме». Мари пожала плечами, но удостоила улыбнуться.

Каждую неделю, в обширных помещениях внизу, затевались балы: из соседних деревень являлись парни-гармонисты, девушки, и танцы шли за полночь. Мари не принимала в них участия: сидела на высоком

деревянном катке (прачешная, как самая просторная, была бальной залой) и с презрительной миной глядела на танцующих: ей ли, парижанке, плясать с русскими мужиками!

Между тем, деревенский и сельский люд в этих местах сильно отличался от населения средней России. Отличался к своей выгоде. Насколько можно было видеть, все они, — средние мужики, парни, девушки, — жили не то что культурнее, но как-то обрядливее: жили «с понятием», не в пример местам Новгородской, хотя бы, губернии. Однажды сельский выборной позвал нас на праздник пожарной команды. Кто-то из привыкших к «праздникам» этой самой Новгородской губернии, сказал: «Да ведь у вас там пьянство пойдет...». Мужик только усмехнулся: «А вот, пожалуйте». И когда, уже после пира в каком-то длинном бараке или сарае, приглашенные шли смотреть игры и хороводы на специальной лужайке, этот выборной с торжеством спросил: «Ну, где же это пьянство, которого вы так страстно боялись?».

В некоторых отношениях северные деревни эти казались, — как ни странно, — и более русскими, чем в средней полосе России. Женщины и девушки лишь изредка, в праздник, надевали городское платье, а обычно ходили в сарафанах; никто не визжал частушек, пелись славные старые песни. Когда шли с поля или с покоса, просто любо смотреть, как, своими же песнями увлекшись, оне весело приплясывали. Иной раз даже странно: будто на картинке — «счастливые поселяне». Парни, приходившие танцовать с нашими Танями, не только были грамотные, но и «разговор понимающие»; перед многими «петербургский» Ваня казался обломом.

Впрочем, казался он таким и перед своим приятелем, Ваней Румянцевым, — в те годы, накануне войны. Приятельство двух Вань было не тесное: понятно, уж очень они друг на дружку не походили.

Ваня Румянцев на северной даче не жил: он был сын извозчика на Сиверской. В дачное время и сам уж ездил. Там они с нашим Ваней Пугачевым и подружились. А когда обоим вышли года и вместе их взяли на службу, Ваня Румянцев появился у нас и в Петербурге.

Весь запас «поэзии», имевшийся у Вани Пугачева, был истрачен на историю с Мари. Собственно истории даже не было, а так что-то, что Ваня начисто и забыл, едва Мари исчезла. Но Ваня Румянцев был настоящий поэт. Не поэт, пишущий стихи, конечно, но было в нем какое-то нежно задумчивое, жертвенное томленье, словами не выражающееся и для него невыразимое: слова его были самые обыкновенные, и говорил он о самых обычных вещах. Небольшого роста, щуплый, светловолосый, скромный и тихий, он в старой няне возбуждал материнскую жалостливость, хотя жалеть его — за что? Здоров и как будто до-

волен. Разбитным Дуням и Машам он очень нравился; заигрываний их не чуждался, но сам был, кажется, равнодушен.

Ваня Пугачев, попав на службу, быстро стал «развиваться»: появилась уверенность в движеньях, военная развязность и, необычные для него, длинные, громкие (и глуповатые) рассуждения. Ваня Румянцев остался тем же, так же говорил скромно, так же таскал в кармане какую-нибудь потрепанную книжицу: песенник, роман, что придется.

Оба попали во флот. Ваня Пугачев, за рост, верно, даже на императорскую яхту. Сразу началась война — оба они фронта и не попробовали, остались в Кронштадте.

Ваня Пугачев своим положением на императорской яхте очень гордился; пространно рассуждал о войне и выражал самые верноподданнические чувства. Яхта, впрочем, стояла праздно; да и обоим Ваням не много было дела в Кронштадте, по всем видимостям: Румянцев, как и Пугачев, то и дело появлялись у нас на кухне, в Петербурге. Только Румянцев о войне и патриотизме говорил мало; часто вздыхал; жизнь свою, впрочем, хвалил: начальники, хорошие, ничего.

Но вот и морозно-яркие, снежные дни мартовской революции.

Известно, что Петербург тогда сразу наполнился героями, которые с совершенной уверенностью героями себя и считали (отчасти, может быть, по праву). Наш собственный герой, Ваня Пугачев, объявился в первые же дни, даже в первые часы. Начал, положим, с видимых невероятностей, с восторженного привиранья: как он только что участвовал в освобождении из крепости Хрусталева-Носаря, который «десять лет там страдал за народ» (и которого тогда в Петербурге даже и не было). Как потом поехал он, Ваня, с этим Носарем поджигать Окружный Суд, а оттуда в Думу, где Носарю «сейчас предложили какую хочет должность занять...».

Но, с течением дней, Ваня, выбранный в первый «Совет депутатов» и заседавший в Таврическом дворце «перманентно», делался все солиднее и важнее. При всяком перерыве он являлся к нам подкрепить силы и обстоятельно «разъяснить положение» толпившейся вокруг него, домашней демократии, — женского, больше, состава. Слушали его восторженно. Все принимали. Когда Ваня авторитетно подтвердил, что вместе с царем свергли и «попов» — дворничиха радостно вскрикнула: «Это так! Сама видела! Несут — "долой монахию" написано. Всех, значит, монахов по шапке!».

— Не мужественно Николай себя вел, — рассуждал Ваня. — Ну, мы терпели, как крепостные. Довольно. А только не всем народ доверился... Другим товарищам — этим народ верит, как они ни в чем не замечены...

7 Зак 4570

Ваня Румянцев тоже бывал в Думе, но к нам приходил реже. Улыбался, ни о чем особенно не рассказывал, и в улыбке было что-то беспокойное. Он точно силился что-то понять и чуял внутренним чутьем, что все равно не поймет. Ваня Пугачев, в упоении своего величия, называл его «тюрей».

Раз пришли они поздно вечером вместе, из Таврического дворца. Ваня Пугачев захлебывался от всего, что сейчас же хотел сообщить. Как же! Приказ № 1 обсуждали!

— Это тонко надо понимать. Обезоруживайте офицеров. Ну, мы тонко поняли. Лейтенант Кузьмин расплакался даже...

— Напрасно ты говоришь, — тонко, — сказал Ваня Румянцев. — Знаю я. Вот есть у нас капитан II-го ранга... отец родной. Что ж, так сряду и готово дело?

— За-чем! А только так оставлять — тоже нельзя. Мы много сделали. Крови мало пролито. Во Франции сколько крови пролили...

Началось у них что-то вроде спора, хотя нельзя было понять о чем, да и сами они, кажется, не знали, — так некстати говорил каждый какие-то неидущие слова. Но оба горячились, особенно Ваня Пугачев, переполненный неведомыми восторженными чувствами.

Прошло какое-то время, — среди событий его не замечаешь: может быть, неделя, может быть, три дня.

— Ваня-то... Румянцев, — прошептала нянька, входя, и перекрестилась. — Убили. На судне на его. Много там набили. Ванька-то рассказывает...

Ваня Пугачев действительно рассказывал, несколько мрачно, но с достоинством, что случилось это «на ихнем крейсере», и по всей видимости, — говорят товарищи, — зря Ванька попал: офицерское разоружение, а он, ни сговорившись, ничего, за этого ихнего капитана один стал; ну, понятно, видя такое сопротивление революционному народу, его и прикончили.

Рассказ Ваня вел смутно и путано, с чужих, видно, слов. Но больше мы ничего не узнали.

А вскоре скрылся, как в воду канул, и Ваня Пугачев. О нем, впрочем, и нянька не беспокоилась: этот не пропадет. Кто-то говорил, что видел его гарцующим на коне, во время июльского восстания: защищал будто Временное Правительство.

Он появился только один раз еще, в 19-м году. Появился — кем, большевиком? В том-то и дело, что неизвестно кем. Нянька привела его в холодную столовую, где мы пили чай, — или что-то вроде чая, — с картофельными лепешками. Пока он угощался, все глядели на него: да Ваня ли это? В пиджаке, рябое лицо бледно и нагло, весь он дергается, не то от самогона, не то от кокаина, пожалуй, — и говорит, гово-

рит... С прежней, или пущей, самоуверенностью, с бесконечными мутными выкрутасами. О чем он рассказывал? Для чего? Где он был? Куда направляется? Чего хочет? И кто он сейчас, — мешочник? спекулянт? Может быть, уже и большевик? Все это осталось тайной. Прежде, в его многословных рассуждениях, пусть нахватанных, отражалось что-то вроде его отношения к жизни. А тут — просто одурение, просто каша. И вовсе не худой человек какой-нибудь перед нами сидел: только лист, в бурю попавший и бурей гонимый.

Если такой Ваня, — а сколько их было? — оказался со временем в большевиках, даже в чекистах, — у кого хватит духу винить и обвинить его?

ДЕНЬГИ

(Очерк первый)

Яркий весенний день. По тротуару одной из главных, самых модных парижских улиц, шла женщина с большим синим свертком в руках. Текучая толпа теснила, обгоняла, толкала ее; она сторонилась, но шла тем же, утомленно-припадающим шагом, никуда не глядя.

Одета бедно — и хуже, чем бедно: так одеваются, когда уже незаметно утрачена всякая мысль об одежде, когда берут и натягивают ее механически, не видя и не думая, вычищена ли она, не разорвана ли, прямо или криво надета. Черное заношенное платье женщины, старая шляпка, кое-как надвинутая, никуда не смотрящие глаза, — все это была не просто бедность, а особая, длительная, полунищета. Попав в нее, как в воронку, человек уже перестает и бороться, забывает обо всем, кроме сегодняшнего дня, опускается до неряшества и понемногу освобождается от уважения к себе.

На углу бульвара толпа так сгустилась, что женщине пришлось остановиться. В эту минуту к тротуару подъехала легкая машина. Дама, которая сама ею управляла, выскочила и направилась ко входу в магазин, где золотилась вывеска с именем очень известной модистки.

Женщина со свертком смотрела на даму, как на других, не видя. Но вдруг, когда та, пробираясь сквозь толпу, почти с ней столкнулась, — увидела; что-то вроде изумления прошло по лицу, и, будто невольно, негромко она сказала:

— Françoise!

Дама обернулась, остановилась с недоумевающим и вопросительным «pardon?..». Окликнувшая ее женщина отступила, было, но так как дама продолжала в нее вглядываться и не двигалась, — залепетала:

— J'ai cru... Мне показалось... Вы так похожи... Я — мадам... Мадам Терникофски. Rue d'Auteuil, прежде, давно...

Миловидное лицо дамы выразило удивление. Несколько секунд она широкооткрытыми глазами смотрела на собеседницу. Потом вдруг улыбнулась, даже рассмеялась.

— Ах, Боже мой! Возможно ли? — затараторила чисто парижским говорком. — Comment donc! C'est Madame... m-me Tirnikoff... * А мое имя теперь мадам Фукэ. Я замужем! Ну что? Ну, как? Тысяча извинений, что я вас не узнала. Так ведь давно! Ведь это... c'est d'avant guerre! **

Продолжала болтать, с той общей, невинной приветливостью, под которой часто скрывается не менее невинное безразличие парижанки. Но Франсуаза была по природе добродушна. Если она не узнала Нину Ивановну Черниковскую, бывшую свою «Madame», у которой целых два года, перед войной, служила горничной, — то сделала это не почему-нибудь, не нарочно. Глядя на них рядом, никто бы не поверил, что обе — почти одних лет. Веселая и уверенная Франсуаза, изящно одетая, немножко подмазанная, казалась настолько моложе своих лет, насколько Нина Ивановна старше. Франсуаза и сейчас не очень узнает свою «Madame». Смутно припоминает (так ведь давно!) молоденькую, веселую, капризную модницу; женщина с длинным усталым лицом, в обтрепанной юбке, никак на нее не походит. Эту юбку и растоптанные туфли Франсуаза тотчас же, конечно, заметила. Но сообразила: о «несчастных русских» было ведь слышно. Несмотря на собственное счастье (или «chance») в ней много еще оставалось от «bonne fille» ***; она почувствовала жалость, смешанную с любопытством. Осведомилась о «Monsieur»... тотчас же поправившись: «Monsieur Tirnikoff?»

Нина Ивановна торопливо сказала, что он умер, вот уж пять лет. Черниковский, довольно известный ученый, работал, перед войной, два года в Пастеровском институте, заканчивал свои исследования. (Тогда-то Франсуаза у них и служила.) Очутившись после войны в том же Париже, но эмигрантом, этот человек, почти старик, должен был прибегнуть к тяжелому физическому труду и, конечно, не выдержал.

Франсуаза, которой эти подробности были и ненужны, рассыпалась в условных выражениях сочувствия: «Ah! ce pauvre Mr. Tirnikoff...» ****.

— Я вас, может быть, задерживаю, — Фран... мадам Фукэ, — пробормотала Нина Ивановна. — Вы спешили...

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Как же! Это мадам... Терникофф... (*фр.*).

** это до войны (*фр.*).

*** добрая девочка (*фр.*).

**** О! Бедный г-н Терникофф... (*фр.*).

Но нет, Франсуаза не спешит. Она только хотела зайти к Шардо, примерить шляпку. Но Шардо подождет. Вот, если мадам Тирнеф торопится, Франсуаза с удовольствием доставит ее на место. Муж, Гастон, недавно подарил ей эту машину. Уже две недели, как Франсуаза имеет «перми». Совсем нетрудно управлять... Это далеко?

Нина Ивановна сказала адрес. Действительно, далеко. Вряд ли она, с больными ногами, добрела бы туда и через час. А надо было сдать работу: она шила мужские рубашки на большой магазин. Ее предупредили, что дальнейших заказов, вероятно, не будет: сокращение; несла сегодня последние полдюжины.

С неловкой робостью, но обрадованная, влезла Нина Ивановна в элегантную каретку этой милой мадам Фукэ. Уселась на каштановом сафьяне, подобрав порыжевшие складки своего платья. Было странно, немножко стыдно, немножко приятно; впрочем, Нина Ивановна давно уж все чувствовала «немножко», и не очень ясно; а думала, большею частью, короткими мыслями о самом близком.

Несмотря на свежесть своего «перми», Франсуаза лицом в грязь не ударила. Ехала смело, лавировала, дублировала; а притом еще без устали болтала, — рассказывала о себе, во всех подробностях. Они — dans le commerce *. Гастон, когда женился, был маленьким employé (приказчиком) в рыбной лавке. Но оба много работали, потом «la chance»... и вот, сейчас у них три лучших гастрономических магазина в Париже. Детей нет, сначала Франсуаза жалела об этом, но теперь думает, что так лучше: больше порядка в доме. Купили небольшой отель в Neuilly; с ними живут, в отдельном этаже, и beaux-parents **: Гастон выписал стариков из своей «pays» ***. За всем домом следит, конечно, она, Франсуаза. При всяком состоянии порядок нужен. Теперешние их средства много позволяют, и как же не пользоваться, пока молоды! но безрассудными транжирами ни она, ни Гастон никогда не были. Гастон ведет большие дела; а для дома тоже необходима твердая рука (la main ferme) — это уж забота жены. Зато Гастон не упускает случая ее побаловать!

Так она болтала-рассказывала, с обстоятельностью и видимым удовольствием; и лишь когда они были уже недалеко от нужной улицы, — приостановилась; взглянула на слушательницу, которая показалась ей особенно жалкой, и вспомнила, что ее-то она совсем еще не расспросила. Куда она едет — домой? И что это за пакет у нее?

* в торговле (*фр.*).
** родители мужа (*фр.*).
*** местности (*фр.*).

Нина Ивановна тотчас, с торопливой готовностью, объяснила мадам Фукэ, что живет не здесь, на другом конце Парижа; а здесь ей нужно сдать заказ; прибавила монотонным, привычным к жалобам голосом, что больше, верно, не дадут.

— Значит, вы на большие магазины работаете? Платят неважно, разумеется. Зато не требовательны, можно быстро работать. А вы хорошо работаете?

— Да как вам сказать?.. Именно к быстроте-то у меня навыка нет, — проговорила Нина Ивановна, как бы извиняясь.

Между тем подъехали. Захватив свои рубашки и вылезая, Нина Ивановна принялась, было, за благодарности этой доброй, милой м-м Фукэ, но та вдруг ее оборвала:

— Знаете что, мадам Тикнеф? Я, пожалуй, подожду вас с машиной и отвезу домой. Мне труда не составит, а что ж пешком будете тащиться. Только поторапливайтесь, конечно!

Нина Ивановна, не ожидавшая этого, забормотала усиленные благодарности и действительно заторопилась. Прошло, однако, минут десять прежде, чем она снова подковыляла к автомобилю, уже без свертка.

— Рассчитались с вами? — спросила Франсуаза, когда машина двинулась.

— Да, отдали (Нина Ивановна назвала бедную цифру расчета). А больше, говорят, ничего не будет до окончания сезона. Не будет и не будет.

Ехали некоторое время молча. Потом Нина Ивановна завела:

— Не знаю теперь, куда и толкнуться еще. До окончания сезона, говорят. А кончится — совсем ничего не дадут. Не знаю, что и будет.

Франсуаза ничего не ответила. Отдала как будто все внимание рулю.

— Если бы вы, мадам, услышали о какой-нибудь работе, — начала опять Нина Ивановна, — и могли бы меня направить... Или дать рекомендацию... Я бы так, так была вам благодарна! — прибавила она привычно просящим, нудным голосом.

Франсуаза опять не ответила. Выехали на длинную avenue. Обернувшись к спутнице, Франсуаза деловито проговорила:

— Видите ли, мадам Тирнеф. Я не знаю, как вы работаете. Но если брали заказы, то простое белье, очевидно, шьете. Я бы, пожалуй, дала вам, до окончания сезона, работу у меня.

— Ah, Madame! — всхлипнула Нина Ивановна. — Как вы бесконечно добры!

Франсуаза продолжала, так же деловито:

— Простая швея в доме всегда нужна. Не для меня, у меня свои фурниссеры, и для белья, и для платьев, но мало ли... У меня и была,

недавно пришлось отказать. Если б вы, помимо белья, знали немного кройку, в доме, при большом персонале, и это бы пригодилось. Условия обычные: в половине девятого, приходя, вы получаете первый завтрак. A midi * – второй. Работаете до 6, когда можете уходить. 30 франков в день, если знаете кройку, 20, если нет.

– Я немного знаю кройку, да, немного знаю... – лепетала Нина Ивановна. – Я очень, очень благодарна, мадам.

– Вы будете работать в маленькой комнате, около моей гардеробной. Только вам нужно будет поправиться... какой-нибудь костюм, или une petite robe... ** Ну, мы это устроим.

Оне подъехали, наконец, к громадному, новому, кирпичному дому, почти на окраине. Здесь, на седьмом этаже, Нина Ивановна и занимала комнату. До пятого можно было иногда пользоваться лифтом.

– Вам-таки довольно далеко будет ходить в Neuilly, – добродушно усмехнулась Франсуаза. – Но если выйти раньше... Потом можно взять метро, или автобус У-Х. Вот моя карточка с адресом. Когда же мы начинаем? Сегодня пятница. С будущей недели? Lundi? ***

– Да, да, lundi, – говорила Нина Ивановна, схватив протянутую ей из окна руку Франсуазы обеими руками, крепко пожимая ее и кланяясь. – Не могу выразить вам моей благодарности. Vous êtes généreuse... ****

Франсуаза чувствовала искренность в этих расточаемых благодарностях, в несколько униженных поклонах, и тоже была довольна.

– Я очень рада сделать что-нибудь для вас, ma chère dame. Les russes sont si malheureux, русские так несчастны! До свиданья, до понедельника!

Изящный автомобиль отъехал.

(Очерк второй)

За круглым столом, в эмигрантской квартире, сидело, в обычный день, несколько человек. На этот раз их было немного; а иногда случалось до пятнадцати.

Ни один из собравшихся за круглым столом не был похож на соседа; каждый имел свое лицо, свою, долгую или короткую, «историю». Однако было между ними и кое-что общее, что их связывало, притом немаловажное, лишь на первый взгляд – случайное.

* В полдень (*фр.*).
** платьице (*фр.*).
*** Понедельник? (*фр.*).
**** Вы так добры (*фр.*).

Прежде всего, это были эмигранты, начавшие сознательную жизнь здесь, а не в России, т. е. люди приблизительно лет 25–30; иные чуть моложе или чуть старше. Затем – они были интеллигенты, дети интеллигентных родителей. Без исключения все имели склонность и способности к умственному труду, к той или другой интеллигентской профессии. И вовсе не были только «подающими надежды» – нет, за многими уже имелось кое-что, способности или талант доказывающее.

Можно себе представить, какие любопытные разговоры велись иногда за круглым столом. Хозяин, единственный старик, высокий, худой, как палка, бывший профессор, в разговоры обычно не вмешивался. Но на этот раз он как будто покинул свой скучающий вид («объективный», как он говорил): уж слишком необыкновенным, по здешнему месту, был разговор. Впрочем, велся он с полной естественностью, как и другие.

Говорили о деньгах.

Не о «капитализме» – тут ведь не эстрада какого-нибудь из «пореволюционных» кружков молодежи – и даже не о нужде общих эмигрантских масс; нет, говорили попросту о жизни своей и другого, о том, что такое сейчас – деньги.

– Сначала установим, как оно всегда бывало, во все времена, – сказал Адрианов, очень молодой человек с худым, приятно-простым лицом, даровитый стихотворец. – Всегда бывало, что вопрос уважения и унижения лежал в деньгах. И, кажется, не оттого, что люди плохи. У одного, допустим, семь пядей во лбу; у другого только одна восьмая пяди – деньги. И что ж? Отношения между ними, – нормальные, – невозможны. Даже если оба отличные люди – невозможны. Бедный с семью пядями не будет чувствовать равенства; будет ощущать себя по какому-то ниже; не то что ниже, – это трудно определить, – но вроде; а богатый, если он не груб, будет это понимать, осторожничать, но внутренне-то он ужасно себя именно уважает. Вот и выходят ненормальные отношения. Остальное уже оттенки, детали. И это надо всегда помнить. Тут совсем не зависть – другое. Впрочем, к нашей минуте оно не имеет прямого отношения, по видимости.

– К ней имеет отношение то, что ты маляр, – сказал Симонов. – Даже специальность имеешь, а какой толк из малярной твоей специальности?

Симонов с виду казался моложе Адрианова; красивое лицо его отражало такую женственную слабость, что его можно было то ужасно жалеть, то вдруг ужасно на него рассердиться. Этот успел себя заявить интересным беллетристом, но уже давно не писал, так как работал бухгалтером в частном банке.

Адрианов скромно улыбнулся.

— Когда у меня есть работа по специальности, — я лак особым образом накладываю — ничего. А то, конечно, трудно. Родным ведь надо помогать. Свое-то уж я оставил. Мне главное — что и читать ничего некогда, а ведь сознаешь, что в сущности невежда. Ты — другое дело, ты в 6 кончаешь.

— Я? После банковского дня читать, работать для себя?

Симонов махнул рукой и безнадежно опустил голову. Его поддержали другие: да, невозможно ничего после такого дня, во всяком случае, трудно.

Высоченный молодой человек с провалившимися щеками, но с веселым выражением лица, Кимонович, страстно влюбленный... в химию, — сказал:

— А я читаю. На стоянке — много ли теперь такси берут! Я и читаю. Газеты старые, конечно. Больше ничего.

Завязался, было, спор, у кого сколько может остаться времени «на культуру». Но всех их, маляров, масонов, бухгалтеров, рассыльных, телефонистов, шоферов, побил доселе молчавший Вандовский, молодой философ, которого многие считали одним из самых интересных и талантливых друзей кружка. С некоторых пор он стал, однако, почти невидим. Неулыбающиеся глаза. Медлительный голос. И будто всю его молодость кто-то в нем вдруг остановил, сжал в насильственных тисках.

— Мне странно слушать, что вот здесь говорят все-таки по-человечески. О культуре, о книгах... Я уж почти не от мира сего. Предварительную историю моего поступления на «службу» вы знаете... Чтобы добиться этого места... ну, да, словом, нелегко и гадко было... И все-таки все время думал — обманут. Но вот, уже три месяца — служу. А знаете ли вы, что такое служба — не фигурированье, а служба в кинематографе? Нет, вы не знаете...

— Знаем, знаем эту «украинскую ночь»! — закричал кто-то.

Многие, действительно, знали. Понаслышке, без опыта. Очень трудно было попасть.

Без малейшего тона жалобы, ровным голосом, Вандовский рассказал, что его работа — всегда одна и та же, удушливо-автоматическая; что возвращается он часов в 11—12 вечера; не отпускают порой и в воскресенье; а проходит работа в атмосфере... да нет, лучше не говорить об атмосфере.

— Ну, понятно, ты там с ума сойдешь, — не без жестокости сказал высокий шофер-химик. — Признаки уж и сейчас есть. Тебе цыганка на Монпарнассе это и по руке предсказала. Непременно сойдешь.

— Может быть, — равнодушно ответил Вандовский. — Это бы даже недурно было, я иногда мечтаю. Сойдешь с ума — и все сделается нипочем.

— Но зато вы хорошо зарабатываете, — подбодряюще заметил старик-хозяин.

Вандовский покачал головой.

— Пока еще ничего. Обещают. Пока не платили.

За столом сидел один счастливчик. Возмутился: не платили? И он поступил было куда-то на службу — счетоводом. Два месяца не платили — ушел. Конечно, он будет работать... (Но он счастливчик: он может ждать.)

А в конце концов все как-то были согласны, что положение Вандовского — деталь, т. е. лишь в некоторых подробностях отличается от положений маляра-поэта, романиста-бухгалтера, шофера-химика, черненького художника, моющего витрины, и других «служащих» за круглым столом. Если Вандовский не может «думать» после кинематографического дня, то и Адрианов после своего, лакировочного, не может читать, а Симонов — творить, хотя и не в 11, а к 6 часам возвращается.

— Главное — сознание, что это будет всегда, всегда, — повторял Симонов. — Так и будет всегда, и с каждым днем все ниже опускаешься, опускаешься, тупеешь... Конечно, я знаю, надо преодолеть...

Но это «преодолеть» он произнес совсем не преодолевающим голосом. Может быть, и знал действительно, что преодолеть надо; но как — не знал, а потому вряд ли в преодоление верил.

— Мы для культуры погибшие люди, — сказал Вандовский. — Мы все, вот, это наше здешнее... полупоколение, что ли, — мы ничего для культуры не сделаем, не можем, а потому и она не может нам помочь. Нас от нее все больше отрывает... что? Если хотите — деньги, это просто: еще проще — хлеб насущный; а шире взять — вся совокупность жизни в данный момент. Но все равно, Симонов говорит: преодолеть. Я не вижу, как будет, ну, хоть Симонов, реально преодолевать этот разрыв с культурой, от которой его каждый реальный день отдаляет? И притом, во имя чего? Во имя той же культуры? Нет, вам, пожалуй, надо пока думать, чтобы хоть сберечься, задержать свое опусканье. А то и не заметишь, и совсем себя потеряешь. Надо, пожалуй, найти в себе сначала нетеряемое. А уж потом виднее будет.

— Ах, если б мы были американцы, — воскликнул веселый шофер-химик. — Вся беда, что мы русские. А будь мы американские мальчики, да разве мы никли бы головами, как Симонов? Сходили бы с ума, как Вандовский? Печалились бы, как Адрианов, что в деньгах и уважение, и унижение? Да мы бы эти самые деньги и мытьем и катаньем приобретали, и с громадным успехом, потому что без стонов, а со вкусом! Залог успеха — вкус! И не рассуждали бы ни о каких разрывах.

— Конечно, о разрыве с культурой не рассуждали бы, — подтвердил Вандовский. — Американцы-то, подумай, станут они рассуждать, да еще о такой чуждой им вещи — культуре? Что ж, в смысле удовольствия — жаль, если хочешь, что мы не американцы. А только пусть мы пропадем, пусть деньги заедят нас, — не хочу быть американцем, хочу быть русским.

— И я! И я хочу! — заорал Киманович, вскакивая. — Ты что думал? Деньги, эка штука, деньги и наживаются, и теряются. А у нас — сам говоришь — есть где-то нетеряемое.

— Да где? Да что? — простонал Симонов тихонько, но на него не обратили внимания. Все уже поднялись из-за стола — пора было уходить — но не уходили, стоя говорили, вместе. Вдруг из группы выдвинулся Чермаков. Постарше других, — он еще в России кончил университет и готовил, было, диссертацию; — за круглым столом его редко было слышно.

— Погодите, — сказал он. — Это все так, я слушал, но я хочу резюме. Это все так, и мы один беднее другого, и разрыв с культурой, и все... Я четыре года на фабрике работал, потом шомаж, ну и всего бывало, и Армия Спасения, и ночлежки, и мало ли... Теперь опять там пока. Но это ничего, это даже необыкновенно хорошо. Представить себе, что ничего не случилось, что мы бы в России жили, выросли бы интеллигентами разными, писателями, адвокатами там, учеными... и все говорили бы, рассуждали... ведь все бы впустую, без переверта! Теперь мы говорим — деньги — уважение — унижение, — мы знаем! Мы теперь и себя знаем, то есть можем узнать, чего каждый стоит. А это драгоценность, такое знание. Тут отбор происходит, уж не погневайтесь. Эти стоны о культуре, да ну их! Она у нас, как душа: кто ее сейчас сберегает, тот и потеряет навсегда. Нет, мой вывод — что хорошо, очень хорошо, бери только, пользуйся! Конечно, нет силенок сквозь пройти, и унижение, да — ну, тот, значит, и при вольной жизни двух франков не стоил бы.

Накуренная комната давно казалась сумеречной; но вдруг последний луч солнца упал на противоположные дома, и хозяин раскрыл балконную дверь навстречу этому холодно-веселому, отраженному свету.

— Отбор так отбор, — сказал скромный Адрианов. — А вот и солнышко.

Заговорили опять сразу. Чермаковское «резюме» далеко не всем понравилось. Да что ж? В конце концов и он говорил только отвлеченные вещи. Хорошо, хорошо... не очень-то сейчас каждому хорошо! И сам-то Чермаков — он уж и говорить почти разучился. Да где он? Никто не заметил, что Чермаков после своей неожиданной тирады от-

скользнул в переднюю, нашел расшлепнутую фуражку и тихонько скрылся.

Неунывающий Кимонович всем, однако, был доволен.

— Господа, кому по дороге — я подвезу, мое такси здесь. А Чермаков — он ничего, он серьезный человек. Может, и прав, может, и хорошо. Ты, Вандовский, не сходи с ума, пожалуйста. Выберемся все, да еще какими! Твой любезный Бергсон, кабы он смолоду нашего попробовал, пожалуй, не такую бы книгу написал, поглубже своих «Deux sources» *.

Гости простились и вышли шумной гурьбой. Хозяин стоял на балконе и смотрел, как они долго, на тротуаре, кучкой, о чем-то рассуждали, и как усаживал Киманович двух—трех приятелей в скромное такси, все еще блестевшее в луче солнца.

СО ЗВЕЗДОЮ

Когда, в тринадцатом году, умерла прокурорская свояченица, ее отпевали в городском монастыре и там же, в ограде, похоронили. С тех пор между монастырем и прокурорской семьей завязалась связь. Прокурорша, после обедни, захаживала к настоятелю, архимандриту Ионе; захаживали в прокурорский дом монахи. Но главным гостем сделался монастырский диакон, о. Нафанаил.

Прокурор нанимал большой дом на выезде из городка, и дом был — как усадьба: позади зеленел тенистый сад, где протекала речка с купальней, за садом начиналась роща, а дальше уже шли поля и перелески. В углу поместительного дома находилась «бабушкина горница», комната прокурорской тещи, простецкой старушки в чепчике, с чулком, с тавлинкой берестяной и с приверженностью к «божественному».

О. Нафанаил посещения свои начал с этой горницы; там угощался, обычно, чайком с вареньем и с бубликами. Потом, мало-помалу, стал приходить в гостиную: «Бабушка, небось, спать полегла».

О. Нафанаил звал всех не по именам, а как слышал: тещу звал бабушкой, прокуроршу мамой, самого прокурора папой, а двенадцатилетнюю дочку просто Зинкой. Когда приехал сын, петербургский студент, диакон и его стал звать Васей. Никто не обижался, все видели, что о. Нафанаил это по простоте. Студент сначала удивился, но скоро нашел, что он любопытное «дитя природы».

* Два истока» (*фр*.).

Студент был бледен, тщедушен, немного кривобок; Нафанаил, — почти что ему ровесник, — цвел здоровьем: статный, чернобровый, с лица красивый; хотя и было в лице у него что-то младенческое. А главная его гордость — волосы: не в обхват толстая каштановая коса почти что до колен. Зинка ему завидовала. Он подарил ей карточку, где снят был, сидя, с распущенными из-под клобука волосами. Волнистые, они одевали его, как мантией, а концов на карточке даже видно не было.

— Не благословляет о. архимандрит этак служить. Чтоб только поверх немного, по плечам выпустить, а концы под самый подрясник, и на горле крепко чтоб застегнуло. Оно и ладнее, — дамы, бывало, щупают, удивляются.

И прибавлял, густо и добродушно смеясь, отчего на щеках, обрамленных кудрявой бородкой, выступали ребяческие ямочки:

— Ты, Зинка, не горюй, придешь в мой возраст, у тебя такая же коса будет.

— Да я не хочу в монастырь, — возражала, некстати, Зинка, и о. Нафанаил пуще заливался:

— Вот дурашка-то! Тебе в монастырь — это последней косицы лишиться! Это нам, в нашем спасении, власы сказано не тронуты иметь, а у вашего брата, у монашек, головки-то под скуфейками стриженые!

Весна здешняя — не северная; взялась дружно. Грязь по улицам, жидкая, не перейти, — засохла сначала калмыжками, а потом в толстый пуховый настил пыли обратилась. Зазеленели вишневые сады, а в прокурорском саду такая пошла благодать, что какое ни пекло, — там тень и сладость, да еще от реки водяной прохладой несет.

О. Нафанаил как ни пришел — сейчас в сад его тянет. Радуется. Со студентом Васей часто они на бережку лежали; клобук черный — подле, и не видать его в густой траве. К монаху Вася относился с любопытством, ну и с некоторым, конечно, покровительственным сожалением: бедное «дитя природы»! И угораздило его под клобук попасть! Родился казаком — казак и остался.

— Это так и есть, — объяснял о. Нафанаил. — Я из станицы. Только нельзя мне было там. Родительница помирала, открылась мне: обещанный я сын. Я и пошел после нее в губернию. Долго шел, пешком; по четырнадцатому году тогда был. Пришел — давай искать, где тут монастырь? Добился толку. Взяли служкой сначала, а потом — парень, говорят, ты смышленый, усердие твое крепкое, исхлопотали в семинарию. Я подогнался, ничего. А потом, как восхотел, и постриг. Рукоположен-то уже здесь. Отец-настоятель здешний любит меня. За голос за мой тоже.

— Так вы, значит, учились, о. Нафанаил? — удивился Вася.

— Ну, какое там, в семинарии, ученье! Я своим умом больше живу. А что, Вася, не искупаться ли нам? Вода-то больно славная.

— Пожалуй. А разве вам... позволено? — нерешительно сказал Вася. Он не встречался раньше с монахами, только слышал о них что-то смутное.

— Купаться-то не позволено? — захохотал о. дьякон. — Ну и сказал, дурашка! Ты погляди, как я плаваю-то! В купальню не пойду, что там в ящике! я на воле.

Он уж раздевался. Вася тоже, — довольно, впрочем, неохотно. Дно здесь илистое, вязкое, плавал он скверно, а в купальню идти как-то, перед дьяконом, стыдно.

— Постой, постой, я косу платком подвяжу, не замочить бы! Эко, тело-то у тебя, Вася, как есть цыплячье. Ну, Господи благослови!

Ринулся с мостиков, обдав студента целым снопом разноцветных брызг. И пошел отмеривать могучими руками «по саженкам».

Студент, пополоскавшись у берега, вылез и уж был почти одет, когда накупавшийся дьякон тоже стал облачаться и косу развязал.

— Господи-батюшка, Царь небесный! И до чего это Ты все преблагостно устроил!

Но Вася был почему-то в недовольном духе.

— Да, как же великолепно все устроено! Наконец — вы не обижайтесь, пожалуйста — еще неизвестно, может, и Бога-то никакого нет.

— Ишь ты, дурашка, — промолвил о. Нафанаил без всякой обиды. — Тебе неизвестно, а другому известно. Кабы не было Его, так и тех людей не было бы, кому Он открылся.

— Да эти люди, может, выдумывают, — пробурчал студент.

— Вот на, у них и разума такого нет, чтобы выдумать. А тебе кто это наговаривает? Люди Господни не будут; те, другие, нелюдь... те, конечно, — по отцу своему... Ты боронись, сам рассуждай.

— Ничего не понимаю, — сказал Вася, приподымаясь с травы. — Какая нелюдь мне наговаривает? Про какого вы отца?

— Про какого! Сына врага они, про него и речь. Бог-то пшеницу посеял, настоящих людей создал, по своему подобию; а враг сейчас между ними своих сынов насадил, без душ вовсе, так, пустышек, для соблазна одного. С виду такие же, ан не люди, изначала состав другой. Ты, дурашка, забыл, может, как оно сказано, так вот слушай.

Рассказал обстоятельно притчу евангельскую о пшенице и плевелах и добавил:

— А чтоб не мудровали люди, Господь сразу и объяснил, как понимать: сеятель, мол, Господь. Добрый злак — Его творение, люди. Плевелы — сыны врага, меж людей для искушенья пущенные. Враг сколько хочешь может наделать таких, с виду похожих, для своего дела.

Такому что, он искусил — и пропал, как туман. Уж так твердо в святом Писании это обозначено, — тверже нельзя.

— Нну... не знаю, — протянул студент. — Махнули вы, о. Нафанаил. Какую-то мистику развели... А как же, допустим, с вашей же точки зрения: этакую плевелу встретишь — истребить ее еще в заслугу будет?

— Ни-ни-ни! — замотал диакон головой и даже брови сдвинул как-то грозно. — Слышал, и ангелам не позволено их трогать! Да ты ни про кого и знать не смеешь, плевел он, или не плевел. Твое дело соблазн распознать, от соблазна уберечься, для какого он к тебе подкинулся. Конечно, и настоящий человек, коли уж сам искушен, тоже тебе в соблазн обернуться может. Соблазн-то — ой, как широко расходится! Камень в одном месте бухнет, а круги и пошли, и пошли...

— Если этих ваших плевелов и узнавать, запрещается, — рассмеялся Вася, — так ну их совсем! А вы мне, отец святый, только вот что объясните, опять с вашей точки зрения: зачем это ваш Бог, добрый и благостный, отдал людей на... соблазн, как вы говорите, — то есть, чтоб их тянуть на худое, по-вашему? И даже ангелам не позволил плевелы эти выкинуть? Это что же, хорошо устроено?

О. Нафанаил с сожалительным вздохом посмотрел на студента.

— Дурашка ты, дурашка, совсем глупенький! Соображенья нет рассудить: Господь своих людей пешками, что ли, создал? На рельсовый путь уставил, на прямой, — катитесь, мол, куда показано? Очень такие-то Ему нужны! Он их по своему образу сотворил, на вольную волю пустил: Ему надо, чтоб всяк сам, без принуды, свой путь избирал, куда пойдет. Это вражьи сыны по машинке наделаны, не дадено им своей воли: соблазни, как приказано и баста! За то они, чучелы соломенные, и сгорят в куче, и не почувствуют. Да ну тебя, дурашка, заболтались с тобой, вечереет уж. Июльские вечера скорые. Гляди, вон поверх рощи и звездочка зеленая зажглась. Вон мигает! Погляди!

Но студент потянулся, зевнул, несколько притворно, и произнес:

— Да, любите вы россказни, отец диакон. Интересно, как это у вас в голове все укладывается, и свобода воли, и соблазны какие-то, и пути, будто для вас где-то они написаны, и вы в них разбираетесь...

— А что ж?.. — начал диакон и вдруг весело прервал себя: — Никак это Зинка по дорожке к нам бежит? Она! И щеняшка с ней, что я вчера принес. Самовар, верно, уж подали, звать бежит.

— Вы сказали вчера, отец диакон, что «от соблазна» в рукаве рясы щенка этого принесли. И тут, значит, «соблазн» где-то был?

Но диакон уже не слушал или не слышал небрежно-насмешливых слов студента. Шел, улыбаясь доверчиво-радостной своей улыбкой, навстречу девочке и маленькому желтому комочку, чуть видному на потемневшей, в сумерках, песчаной дорожке.

Не последние были это россказни отца Нафанаила и добродушные наставления «дурашке» Васе. Не наставления, впрочем, а скорее какие-то утешения: ничего, мол, дурачок, ты проси, – тебе разуменье, насчет соблазнов, и будет дадено.

Лето прошло; и такое – уж не вернулось. В январе прокурора перевели в Петербург. Дом-усадьба, сад с речкой – опустели. А потом пришла беда: война. И потянулись годы, один другого темнее, один другого страшнее... Сколько их минуло? Четыре? Пять?

Опомнился – все там же: темно, холодно, больно, страшно. Еще, как будто холоднее, страшнее, потому что тишина. «Ранен я, – подумалось. – Бросили, подлецы». Захотел шевельнуться, но громко застонал от боли и замер, как лежал, на спине. Лежал низко, голова совсем в снеге угрузла. Сбоку он, взрытый, нависал заледеневшими кучами; и Вася, бывший студент, ныне раненый красноармеец, ничего сбоку, кроме чуть синевшего снега, не видел. Но вбок смотреть было и трудно, головы не поворачивая. Прямо – удобнее.

А прямо и выше было что-то и темнее, и синее снега. Посередине этого синего куска была точно золотая дырочка; по краям она шевелилась, тихонько трепетала. Вася долго-долго смотрел, потом подумал: «Это звезда», – подумал со странным каким-то равнодушием. Он уже переставал чувствовать холод, все увеличивающийся; цепенел в нем, будто замерзая, и страх. Лежал так неподвижно, все так, все так, навсегда. Тихо погасали мысли...

Вдруг что-то большое, черное, наклонилось сверху, заслонило звезду, и сейчас же такая невообразимая, разрывающая тело, боль схватила, что он едва успел вскрикнуть, – и все провалилось куда-то: и боль, и он сам.

Но вот опять... Открыл глаза: темно, холодно, больно, лежит на спине, как лежал, – а что-то изменилось. И холод чувствует. И снег не синеет сбоку. И звезды нет.

Медленно-медленно входило понимание. Ранен был, бросили в снегу... Но сейчас он не на снегу: на подстилке, шинелью укрыт, и будто в халупе, или в палатке: в углу вон огонек светится. Опять попытался шевельнуться – и застонал от боли, закрыл глаза. А когда открыл, увидел над собой незнакомое бородатое лицо. Вдруг вернулся и страх: белым попался!

– Ну-ну, не ворошись, завязано плечо-то, – грубовато сказал незнакомый человек. – Разбередишься. Как тащил тебя оттудова, – крови-то под тобой! Ну да теперь ладно будет. Слава Господу, аминь теперь.

— Вы меня... Я у белых?

— Чего там, белые, серые... Вот скажу батьку, так узнаешь. Спи-ка лучше. Либо постой, дурашка, испей вперед горяченького, я сейчас...

Снова все будто провалилось. Но откуда-то, как из тумана, медленно начало выплывать что-то старое, древнее, словно уж нездешнее. И когда бородач в военной куртке принес дымящуюся кружку, бывший студент Вася в полусне проговорил: «Отец Нафанаил».

Лицо бородача расплылось улыбкой.

— Ишь, признал, дурашка! А я тебя — уж тут, уж как сюда притащил. Я, после дела, все иду глядеть, не жив ли кто, из этих, остался. Не подбирают они своих. Не разумеют ничего такого, не дадено. Вот, ныне — какая ночь? Ныне звезды играют, на земле мир, в человецех благоволение. А заместо того, в самую звезду, прибегли, бац-бац, набили кого ни попадя, покров земной осквернили, вот те и человецы. А эти и своих побросали. Не разумеют, вражьи дети.

— Плевелы? — слабо улыбнувшись, сказал Вася, опять точно во сне, точно не сам сказал.

— Какие там плевелы! — ничуть не удивился бородач. — Люди, человеки, в соблазн впавшие, вот кто! У тебя-то у самого, нешто ты ведал? Господи-батюшка, широко ныне соблазн раскинулся, до самых до Божьих путей. И на мою долю хватило. По мне, что ли, с винтовкой на людей смущенных идти? Ну нельзя тоже. Не своя обида, Царю Небесному обида. Как пошло это Ему надругание, разор там, убили отца игумена, — я рясу прочь, да к батьке к нашему. Послужу, думаю, на свою долю, а то и кончину приму. Ныне доля моя кончилась. Велел нам батько назавтра — кто куда к границам пробирайся. Ну, мне на Афон есть указание. А там — как Бог еще откроет.

Прибавил, помолчав:

— Папа-то с мамой не живы, чуется мне. Зинку жаль, не пропала бы. А ты как? Неужто — волей?

— Не знаю... — простонал Вася.

Он, действительно, ничего уж как будто не знал, и слова Нафанаила полуслышал, полупонимая. Он только жался, как озябший, очень больной, покинутый ребенок.

— Вы... вы не оставляйте меня, отец Нафанаил, — прошептал он. — С собой возьмите, куда вы... хоть на Афон.

Нафанаил заулыбался, закивал курчавой головой.

— Ладно уж, где тебе. Ишь, дурашка, на Афон захотел! Лошадку, санки надо будет на завтра спроворить, вон ты еще какой, пока-то оклемаешься. И то путь не ближний, время студеное, и как Господь: даст — беспокойные Палестины. А ты страху не имей. Верному и Бог

верен. Достигнем и на Афон... Постой, шинелишка-то сырая, дай свою принесу, посуше.

Принес, укрыл Васю и сказал с жалостью:

– То-то, дурашка. Спи, не бойся. Попадем, куда надо. А там, дале, как Бог откроет. Какое еще служение укажет.

Боль затихла. Плыли, качались в дреме Васиной какие-то образы, что-то и близкое, и незапамятное вместе. Зеленая звезда щурилась и дрожала перед его закрытыми глазами, – может быть, та, что видел Вася, лежа на спине, в перебудораженном, кровавом снегу? Или та, в давний-давний июльский вечер за рощей взошедшая, над речкой? А может быть, и просто чудилась она ему, потому что из уголка халупы, где огонек мерцал, и возился отец Нафанаил, доносилось чуть слышно низко-рокочущее пенье и слова:

«...Волеви же со Звездою путешествуют...».

ПОСЛЕДНЯЯ ЕЛКА

Рассказ

...Нам было тогда ужасно весело. Молодость, конечно, но и в молодости такое веселье, как в эти дни, – редкость. Словно воздух играл вокруг, как вино, и пьянил нас. Он, положим, и был такой, – зимний-то, горный воздух. Я расскажу вам эту историю, ничего, я люблю ее вспоминать, хоть и странно она кончается. Впрочем, вы в ней, может, и странного ничего не найдете: частный эпизод, «кончившийся естественной случайностью...».

Собеседник мой поднял на меня милые голубые глаза и улыбнулся, отчего по худым щекам его поползли длинные складки. Но и в них было что-то милое, как во всем его тихом, отнюдь не печальном, лице: другого слова к нему, кроме «милое» и не подберешь. Мы встречались с этим человеком иногда, по вечерам, в небольшом парижском кафе. И я каждый раз был рад встрече, хотя разговаривали мы не много, и я почти ничего не знал о нем: знал, что он живет где-то в комнатке, неподалеку, что есть у него работа в одном инвалидном учреждении, – плетет корзины и сиденья стульев. То, что правой ноги у него нет, – деревянная, – не мешало бы взять, конечно, работу посложнее: но у него и правая рука не очень хорошо действует; к плетенью же ничего, приспособилась.

Вот и все почти, что я о нем знал – он был неразговорчив. Но в этот день, – один из суетливых предрождественских парижских дней, когда все кругом бежит, спешит, блестит и кучи пышных зеленых елок громоздятся на тротуарах, – в этом день, или вечер, я застал моего

знакомца каким-то особенно радостным. Он сидел в привычном углу, за кружкой пива, и сразу мне улыбнулся. Мы заговорили о празднике, о елках. Тут-то он и предложил мне рассказать о своей «последней елке», когда было так «ужасно весело все время, почти до конца»...

* * *

...Я, конечно, не умею рассказывать, но вы не обращайте внимания, это я, как умею, для себя вспоминаю. Случилось тогда, что мы, ваша семья, да семья тетки моей, да еще третья, очень нам близкая и дружественная, поехали все из Петербурга, на рождественские праздники на Кавказ. Выбрали небольшой курорт горный, где летом и бывает народ, а зимой – мало: ведь у нас тогда, в России, зимний спорт в моду еще не входил, а в тот год военный, и вообще было не до новых мод. Ну вот, отправились мы, все вместе, – третья семья, впрочем, на два дня раньше уехала. Отцы, понятно, остались, не до путешествий: матери только; нас же, детей было человек двенадцать. Я говорю «детей», но собственно детей, и то не маленьких, лет 8–9, оказывалось всего двое, либо трое (не помню уж), а другие – молодежь, одного, приблизительно, возраста, очень зеленого. Я – гимназист-шестиклассник, – первый ученик, извините! – брат Миша годом моложе, ну и кузены мои, и приятели, и куча барышен из трех семей, – все почти однолетки. «Старик» между нами был один: студент Порфирий, филолог-первокурсник, племянник дружеской семьи. Он был худой, неловкий, в очках и сначала не то важничал (20 целых лет!), не то стеснялся, но скоро мы и его захватили в нашу «банду». А мы именно сделались бандой. Как только увидели разноцветные искры солнца на снегах, как вдохнули этот белый, крепкий воздух, так словно с ума от веселья сошли: сбивались, с раннего утра, в кучу, и все бы нам бежать куда-нибудь по этой сияющей белизне, зарываться в нее, или на деревья лезть, тоже белые, с тяжело висящими ветками.

Кроме того, мы были влюблены; почти все, как я подозревал; о себе не подозревал, а твердо знал (и теперь знаю), что влюблен – в Женичку. Какая она, – что в этом? Я вот перед собой ее сейчас вижу, а глаза черненькие, раскосые немножко, – такие веселые! И губку верхнюю, чуть-чуть вперед, и пушок на щеках золотистый, – ну, а кто когда лицо так описал, чтоб другой его увидел?

Эти наши влюбленности еще усиливали, конечно, веселье (наверно каждый, как я, считал, что его любовь – самая важная и сильная). Но не думайте, что мы были просто-напросто щенки, в веселом восторге от хорошей погоды и от своей юности; мы были умненькая человеческая молодежь; мы знали, и по своему осознавали, что происходит в

мире. По вечерам, случалось, заводили разные горячие споры. Часто говорили о войне. Одни жалели, что идти им на войну «рано», а когда можно будет — война, конечно, кончится. Другие стояли за Толстого, не очень, однако, решительно, — потому что ведь Россия; не погибать же ей? Только студент Порфирий, блестя очками, твердо заявлял, что ни на какую войну никогда не пойдет, и не из-за Толстого, а потому что война в принципе ущербляет культуру вообще и науку в частности. Все это были наивные отвлеченности, конечно, потому что никто из нас войны не знал и себе ее не представлял. Не отвлеченно было у нас одно это — никогда нас не покидавшее, в те дни, радостное веселье, не совсем даже обыкновенное; похожее... ну трудно объяснить... похоже на то, как если б кто-то любящий нас и любимый, сделал нам, уезжая, последний и самый прекрасный подарок. Вы не поймете, и мы тогда не понимали, это я теперь так вижу. У нас было только ощущение — «все хорошо», и другое под этим, главное: «Все будет хорошо».

Но вот, слушайте. Жили мы все в громадной деревянной даче. Старинная, построенная в затейливом каком-то вкусе, холодная; да и как натопить гигантские полупустые комнаты-залы внизу? А их было тринадцать, кажется, в них свободно помещались обе наши семьи. Третья — наверху (дети, Порфирий, моя Женичка), там было теплее. Дача стояла на довольно высокой горушке; эта горушка, в виде широкой снежной поляны, спускалась вниз, к забору, к белой тихой улочке. По бокам теснились деревья; а на поляне — только одна, высокая-высокая, разлапистая ель. Темно-сизые ветви ее, отяжеленные снегом, чуть гнулись; но она была царственно пряма и как будто радовалась, что одна стоит.

Она нам нравилась. Мы ее любили. Из каждого окна ее было видно. Кому первому пришло в голову, кто первый сказал: «Вот это будет наша елка?». Не знаю, должно быть, все сразу, потому что всем сразу стало все ясно: святки, елка, но никакой у нас здесь другой елки не может быть, кроме этой — и живой.

Матери наши и те как будто не удивились, хотя проект «живой», не комнатной, да еще такой громадной елки, был не совсем обыкновенный проект. Впрочем, если б они и удивились, мы бы не заметили: ничто остановить нас уже не могло.

Одни практические препятствия преодолеть — какая нужна была энергия! Долго осуждали, сколько потребуется свечей: тысяча? две? — или меньше? Решили поручить Володе: он скупит все здешние, потом в соседний городок съездит, и там сколько найдется. Нитку зажигательную, конечно... А как на верхушку достать? Неужели верхушка будет темная? Многие из нас были очень ловки, теперешним спортсменам не уступили бы. Мы с братом Мишей особенно. Однако он сказал задум-

чиво, оглядывая нашу елку (мы все стояли перед ней, был закат, и она в нем нежно розовела):

— На самую-самую верхушку, пожалуй, нельзя: очень выгнало тонко. Но вблизи — попытаемся. Две лестницы, во-первых, свяжем, или три. А кто так, по стволу.

Женичка сказала, полусердито:

— Ну вот, нельзя на самую! Там свечка была бы, как звезда, близко-близко к настоящим. И тогда бы вправду было — «звезда с звездою говорит»: наша с теми.

Каждый вечер мы видели, как одна, другая, третья, — зажигались над нашей полянкой белой, над елкой, — звезды. И потом тихо стояло, над верхушкой, небо, все в пестром золоте. Мы так привыкли к этой сверкающей небесной неподвижности, к ясно морозной земной тишине, что когда раз Порфирий, вначале, сказал: «А не будет задувать на воздухе?», мы только засмеялись, и он сам сконфузился.

Была, впрочем, сделана маленькая репетиция, когда уже почти все было готово, главные трудности побеждены. Следовало выучиться крепить свечи быстро и прямо. Не буду говорить о наших для этого изобретениях и приспособлениях. Репетиция отлично удалась. Несколько свечей на нижних ветках держались — нельзя лучше. Мы их зажгли — пламя неподвижной стрелкой стояло; не колебалось, желтенькое, пока мы не потушили.

Эти свечи мы оставили на елке — рождественские: репетицию мы делали под Рождество, потому что зажечь-то, по-настоящему, елку решили под новый год. Кое-что еще не успели, лестницы одной не хватало.

Я этой отсрочке радовался: первого января было мое рожденье. И даже родился я в первый час нового года, т. е. именно в ночь, когда зажжем елку. Надо сказать, что первый час того нового года, когда я родился, был и первым часом нового века. Почему-то мне это нравилось. В детстве, когда меня спрашивали, сколько мне лет, я, нараспев, отвечал: «Сколько веку, столько Вике, сколько Вике, столько веку...». (меня зовут Виктор).

Значит, когда будет гореть елка, мне пойдет 17-й год. А потом, ровно через пять лет, я и Женечка... Да, да, все будет хорошо.

Встал этот день, — канун 17-го моего года — таким сияющим, что еще не было, кажется, радостнее. Разноцветными огнями переливался снег под солнцем, горели белые вершины окрестных гор на сине-лиловом небе. Работы нам было с утра; от работы еще расцветало веселье, смех стоял, не умолкая. Соседи набрались из местных жителей, нам помогать, — про елку все знали кругом. Сторож Кондрат, подручные парни какие-то, дворники, и другой местный люд, все принимали са-

мое усердное участие в наших хлопотах. Свечи надо было начать устраивать сверху. Раз десять Миша и я лазали по тонким связанным лестницам. Они гнулись и дрожали, но никому из нас в голову не пришло, что они могут развязаться или сломаться. Да ничего такого и не случилось. Порфирий, впрочем, не полез. Решил попробовать по стволу, но с первого сучка свалился в глубокий снег. «Куда вам! — закричала моя сестра Наташа. — Могли бы только ветки переломать, хорошо, что она у нас, елка, такая могучая. Я сразу загадала... Ах, давайте загадаем, — святки ведь, все гадают! — загадаем, какая наша елка выйдет, так все и будет в Новый Год!».

Мы-то с Женичкой давно загадали: две свечки я прикрепил, рядом, и отметил; не на самой, конечно, верхушке, но высоко, и на видном месте, обе розовые (у нас всяческие были). Условились смотреть, как они гореть будут, дружно ли; и если не упадет ни одна и вместе прогорят хорошо — все будет хорошо, великолепно, а мы с ней уж наверно, значит, поженимся. Не сейчас, конечно, но наверно!

Как мы обедали, и обедали ли, не помню. Хотели ужасно зажечь елку и пораньше (не терпелось!), хотели и попозже (чтоб к Новому Году ближе). Спорили. Кто-то крикнул, взглянув в окно: «Вызвездило! Уж вызвездило!», и мы гурьбой бросились в темный сад, на ходу натягивая меховые куртки и шубки.

Что ж! Такого праздника, такой елки вы, думаю, не видали, да и не увидите. Когда Миша поджег нитку, и огненная черта поползла, кружась и потрескивая, вверх, — все мы замерли. Вдруг сейчас потухнет? И мрак, уже непоправимый... Но нитка верно ползла кверху, зажигая на пути, в ветвистой черноте, робкие сначала, звездочки. Вот их все больше, все больше... У меня задрожало сердце, — где же мои две розовые, теперь невидные? Зажгутся ли? О, вот они, вот они, вижу. Я схватил Женичку за руку, она поняла, тоже смотрела на эти два огонька рядом — такие далекие.

Могучая елка наша горела звездами. Мы все вокруг (сколько народу набралось!) были все-таки черные, на снегу, а она, ель, хотя тоже черная — светлая. Это было так удивительно, что в первую минуту тишина стояла. А после — не знаю, должно быть, мы кричали, смеялись, пели, потому что хотелось и кричать, и петь.

С чего началось... это? И когда? И первый ли я услыхал, сквозь говор и смех, этот не сильный, но острый, такой визг? Я сначала только удивился, так было ни на что не похоже, — словно ведьма провизжала, промчавшись мимо на помеле. А дальше — я до сих пор не припоминаю, как это было дальше, что после чего; или все навалилось сразу? Я вдруг ослеп в белом, крутящемся дыму, в неслыханном гвалте. Кто-то меня схватил за плечи, на кого-то бросил, — на движущуюся, бегущую

толпу, мне показалось кто-то, будто сторож Кондрат, орал под ухом: «Беги домой надо... сряду все... давно бы...». Еще я различал слова: «С Шишака это... всегда так... буран это...».

Когда мы, вся наша обезумевшая куча, очутились в нижней дачной зале, – не много изменилось вокруг. Тот же будто рев, визг, хляск, и пролетало что-то из одного угла в другой, невидимое, злое, клоня, вытягивая пламя свечи, – кто-то умудрился зажечь огарок. Старая дача вся вздрагивала и охала. В черные стекла то и дело хлопало простынями, или точно белые черти рвались, и не успев – отпадали.

Главное – этот визг, этот переливчатый, неумолкающий вой, тысячеголосый вой взбесившейся, нечеловеческой армии. Я узнал с тех пор южные, африканские голоса бурь и ветров. Но, поверьте, перед теми голосами, в ту ночь, эти южные только гадкая музыка.

Мы сбились, в дальнем углу, в беспорядочную кучу. Я различил только бледное лицо моей матери и сестренку у нее на коленях, которая, должно быть, ревела: я видел раскрытый рот. Из-под дивана торчали чьи-то мокрые сапоги. Я вяло сообразил, что это Порфирий.

Визг, вой, грохоты, трески не уменьшались, как будто увеличивались; но мы, должно быть, привыкали к ним, постепенно, и начинали понимать, что если это и будет продолжаться вечно, то мы вечно так сидеть не можем. Огарок догорит, или его, наконец, задует: есть где-то другой. У кого-то есть спички. Какая-то постель цела: уложить детей.

Не могу сказать, что я совершенно пришел в себя, когда мы стали осторожно, безмолвно (кто бы кого не услышал?) расползаться. Я еще ровно ничего не думал, действовал довольно бессознательно: встал, нащупал брошенную бурку, вышел с нею в соседнюю, темную комнату и где-то лег на полу, завернувшись в бурку с головой.

Спал? Может быть, если кошмар, когда мчишься, задыхаясь, в темноту ада, с сонмом визжащих ведьм, может назваться сном.

Очнулся внезапно, от грубого толчка. Этот толчок – была тишина. Да, настоящая тишина, которая казалась невероятной, удивительной, небывалой. Я осторожно высвободил голову из-под бурки. Тишина продолжалась. Белесо светлел четырехугольник окна. Бесело-туманный стоял воздух и в комнате. Я сел на своей бурке и вдруг, с поразительной ясностью, отчетливостью, вспомнил все. Ну да, было весело, мы устраивали елку; потом налетел горный буран, мы с непривычки растерялись: шум этот, дача старая... Но ничего особенного не случилось, дача не обрушилась, буря утихла... Сегодня мое рожденье... Я рассуждал и не понимал, почему все эти мысли, обыкновенные и непечальные, у меня, однако, на серой подкладке: не то царапающей жалости, не то мутного страха. Чуть-чуть даже тошнило от него.

Догадывался: это мне жалко, что вот устраивали, старались, и так все вышло. Нас жалко. Нет, главное елку жаль тоже, такая была прекрасная, и сразу... Стоит, верно, теперь вся опять снегом заваленная...

Я встал, чтобы пройти в соседнюю комнату – там окна выходят на нашу поляну. Который час? Может быть, рано совсем, – вон свет какой мутный, и все еще спят? Часов у меня не было, но я вспомнил, что слышал уже как будто и шаги, и голоса в дальней столовой. Значит, встали. Я медленно пошел к двери в залу. Надо же взглянуть. Но почему-то не торопился; и дверь даже не сразу открыл.

В зале было пусто. Только у окна, ко мне спиной, стояла Женичка. Я ее тотчас узнал, хотя в зале был тот же белесовато-мутный свет. Она обернулась, и я с изумленным и глупым страхом увидел, что она плачет.

– Что вы?.. – пробормотал я. – Что такое..?

– Так. Ничего. Так.

На минутку рассердилась, должно быть, надула губы. Потом взяла меня за руку, повернула к окну.

– Это так. Глупости. А вот, посмотрите.

Я взглянул сквозь белую муть стекла, на нашу полянку. Высокий, ровный, гладкий пласт снега. Сначала я ничего, кроме него, не увидел. Но потом заметил, что посередине, из снега, торчит темноватое острие: совсем точно зуб сломанный какого-то гигантского чудовища. Я, было, и не понял; но слева сугроб, весь распухший, нелепый, казался уж не сугробом, а какой-то кучей, нагороженной; и я – понял.

Вошла Наташа, моя сестра. И Порфирий.

– Что, любуетесь? – сказала Наташа невесело. – Жалко ужасно елку. Стояла-стояла, сколько веков, может, и вдруг сломило. Как это необыкновенно!

– Ничего необыкновенного, – произнес Порфирий. – Стихийная сила ветра, положение дерева было невыгодное, – другие, с боков, уцелели же. Наконец, ель была старая, может быть трухлявая...

– Не смейте так говорить! – неожиданно закричала Женичка. – Трухлявая! Да нисколько! Мне все равно, а вы не смейте! Слышите?

Порфирий округлил глаза от недоумения, хотел сказать, что ничего не понимает, но Женичка уже вылетела из комнаты и дверью за собой хлопнула. Мы некоторое время молчали. Странную Женичкину выходку понять было нельзя; я и не старался; но зато, к ужасу и стыду своему, я почувствовал, – я, первый ученик, спортсмен, – что хочу плакать. На семнадцатом году, плакать, и притом без малейших разумных поводов!

Я посмотрел на сапоги Порфирия, вспомнил, как они ночью торчали из-под дивана, пожал плечами и вышел.

* *
*

– Ну, вот вам и все о последней елке, – сказал мой собеседник, улыбнувшись милой своей, утомленной, улыбкой.

– А потом? – спросил я.

– Потом – ничего. Потом мы скоро уехали: никому, верно, не хотелось около трупа нашей елки оставаться. Я вам до конца эту историю досказал. Вы удивляетесь, что я ее так помню, как будто вот-вот вижу все. Я и вправду точно вижу. Как Женичкино лицо, – я вам говорил, – глаза немножко раскосые, пушок на щеках, – ведь ей пятнадцать лет! Такой точно и совсем увижу ее скоро.

– Она... Вы увидитесь? – спросил я, чего-то не понимая, но, не решаясь, из осторожности, задать более определенный вопрос.

Он кивнул головой и опять улыбнулся...

– Ничего, вы не думайте, я ведь знаю. Только просто это на свете. Человеку, что ему необходимо, то сейчас и дается. Мне, например, необходимо с Женичкой увидеться, я и знаю, что увижусь, и жду. Иной раз думается – только вы не смейтесь, это я не наверно, – пожалуй, и елку нашу, «живую», не сломанной еще увижу. Ту самую. И будет весело, и все будет хорошо. Кому мое знание не нужно, – ну вот вам, например, я понимаю, у того другое какое-нибудь взамен, свое богатство, вот ему и хорошо. Я бы вам о моем не говорил, да уж вышло, вы спросили. У вас другое. А нам, – прибавил он с детской, извиняющейся улыбкой, – таким, как мы, без этого именно богатства – никак не обойтись.

Очень хотелось мне еще спросить его о многом, о судьбе дальнейшей, после его 17-го года... Но зачем? Это была, вероятно, судьба многих, во всей ее обыкновенной необыкновенности. Главное же о себе он сказал: будет Женичка. Будет елка. Все будет хорошо.

Париж, 1933 г.

БАРЫШНЯ И ДЕВЧОНКИ

– Да что это за наказанье? Ведь знаешь эту букву? Знаешь?

Мавруша задумчиво шмыгнула носом, но тотчас, с усердием надувая щеки, произнесла:

– Б.

– Ну, а эта?

– Эта? А.

– Теперь вместе что будет? Вместе говори.

— Сряду?

— Господи, да говори их одну, потом сразу другую.

— Б, — твердо сказала Маврушка, остановилась и прибавила: а.

Лида хлопнула азбукой по колену: «Да нет, да нет! Вместе надо! Ты тяни, тяни одну сначала!». Мавруша, выпятив губы, затянула: «б-б-б...», но не выдержала, фыркнула и засмеялась.

Все три девочки засмеялись. Оне были почти одного возраста, лет по тринадцати, но очень друг на дружку не похожие. Катюша, кухаркина дочь, недавно выписанная из деревни в Москву, сидела на полу, на ковре, и быстро перебирая худенькими смуглыми руками, вязала чулок из серой шерсти. Она была тонконосая, кареглазая, в кубовом старом сарафанишке с холщевыми рукавами и в желтом платке на гладких темных волосах.

— Не дается ей дело, — сказала она, приятно нараспев, без смущения. — А чего бы, кажись...

Барышня Лида, беленькая, с толстой рыжеватой косой на спине, только что хохотавшая, рассердилась:

— Это надо же быть такой глупой! Сколько времени я тебя учу? Ведь знаешь все буквы, почему же сложить не можешь? Катя бы, наверно, скорее поняла!

— Да я, барышня... — начала Маврушка и не кончила, опять шмыгнув круглым носом. У нее и глаза, и всегда расстегнутый рот, — все в лице было круглое. Эта — уже больше году жила в Лидиной семье девчонкой на побегушках. Толку от нее было мало: к учению кухаркину, как Лидину, оказалась непонятлива; неряха, притом, несусветная. Впрочем, послушна: по первому слову, со всех ног кидается... сама еще не зная, куда.

Лидочка твердо решила «образовать» Маврушку и, прежде всего, конечно, выучить ее читать. Ученье происходит по вечерам. Мамы, обыкновенно, дома нет, тетя, немного шальная, у себя французские переводные романы читает, и Лида, на низеньком стуле, рядом с Маврушкой на скамеечке, начинает урок. С тех пор, как выписана Аннушкина Катя, в зальцу является и она, с неизменным своим чулком: вяжет его «по саженкам». Что это значит «по саженкам», — непонятно, а Катя объяснить Лиде не умеет. Многое из того, что говорит Катя, — непонятно, однако нравится, и Лиду занимает. От матери — целый день тумаки. «За что девчонку бьешь?» — спросят Аннушку. Та, еще молодая баба, такая же темноглазая и тонконосая, таинственно-грозно сдвинет брови: «А речиста больно. Мое порождение! Хочу с кашей ем, хочу с маслом пахтаю!».

Катька, хоть тумаки терпела, но вид у нее был такой, что можно было сомневаться: с кашей ее, пожалуй, и не съешь. Мать выписала ее

из дальней деревни — в ученье отдать, к модистке. И место сговорено, и будто водила уж ее Аннушка к мадаме на показ. А вот все еще Катька по вечерам у барышни с чулком; днем, в тесной кухонке, от матери тумаки получает и на постелюшке в углу тихо ревет.

Речиста Катя, — это правда. Лида стала торопиться окончить с Маврушкой: лучше поболтать вместе, послушать Катю: какие она песни знает неожиданные, тоненько-тоненько выводит. Поговорки разные говорит, а то целые сказки: от «бабушки» слышала, она мастерица. Кое-чего в этих сказках и загадках Лида не понимает; не понимает, почему вдруг обе девчонки начинают хохотать, как зарезанные, но тоже смеется, ей с ними весело. А жаркие Катины россказни о родных «Дубках», — какие там вправду дубы стоят, — «во!» — Лида находила даже «поэтичными».

Так зимние вечера и проходили в деревянном домике, в тихом остоженском переулке.

* * *

Однако Лиду беспокоило, что она не может научить Маврушку складывать. Есть же способ, надо только знать. Лида не знает, ее никто не учил читать. Она даже не помнит, когда она читать не умела. Кажется, что всегда умела.

Насчет способа Лида спросит у Николая Петровича. Кстати, и об Аннушкиной Катюшке расскажет, ему будет интересно: он как-то спорил с мамой и Лиде потом говорил о «поэтичности» русского народа. Как раз она, Катюшка, поэтична, — по крайней мере, Лида это думает. И насчет «сочинения» на пословицу надо секрет открыть...

Николай Петрович — Лидин учитель. В гимназию она не ходит, по слабости здоровья, а занимается дома, с учителями. Николай Петрович, — по русскому языку и «предметам», — любимый. Он совсем не стар (хотя Лидочка и считает его старым), худ, жестко-вьющиеся, светлые волосы, закинутые назад, и, главное, что видно на узком лице, — это большой, толстый нос и pince-nez. На уроках всегда увлекается: или стихи вслух читает Лиде, Пушкина и Некрасова, — и с таким жаром! — или говорит о русском народе. Любит задавать сочинения. Но так как Лидочка знает, что он сам пишет сочинения и даже печатал их в петербургских журналах, она боится давать ему свои (что гадко!), и подчас совсем не знает, о чем написать. Так, он задал недавно написать на пословицу «сколько голов, столько умов». Задал в последнюю минуту и ушел; Лида весь день напрасно голову ломала, ничего не придумала. Под конец, сама пословица ей стала казаться противно-непонятной, и ночью снились вертящиеся головы. Вдруг, утром, будто осенило: а сказка «бабушкина», что Катюшка вчера ска-

зывала? Сказка про трех купцовых сыновей, как нашли они по дороге большущий камень с деньгами. Как заспорили они, что им с этими деньгами делать, и не могли согласиться: всякий хотел по-своему, по своему уму, и все говорили разное... Ну, и что из этого потом вышло... Лидочка обрадовалась, целиком сказку написала, а Николай Петрович так ее стал расхваливать, — даже на ошибки грамматические не обратил внимания, — что Лидочка смутилась и про Катюшку ничего не сказала. Но теперь она скажет. В эту же среду скажет.

Еще до среды случилась вся история. Целый день гром посуды шел из кухни, да Аннушкины вопли. И Маврушка шепнула барышне, — Катьку, мол, она, с утра, ни во что колотит, та ревмя-ревет, а не поддается. Лидочка вскрикнула, было, «мама!», но вдруг повернулась и сама побежала на кухню.

В кухне стоял чад, вой и гром. Катька лежала ничком на постелюшке, только желтый головной платок и виднелся.

— Как ты смеешь бить Катюшку? — неожиданно закричала Лидочка и затопала ногами. — Ты не смеешь, не смеешь! Я знаю, чего ты хочешь! Ты гадкого ей хочешь! Она лучше знает! А тебя сейчас в полицию за битье. Да, в полицию!

Кухарка сначала остолбенела. Потом подняла, было, голос, но Лидочка продолжала пронзительно визжать «в полицию» и топать ногами, пока сама не остановилась.

— А, когда так... — сумрачно-разъяренно произнесла Аннушка, ступила к постелюшке и дернула с нее Катьку: — Идем к барыне!

Мама Лиды уже сама звала Аннушку.

— Что это такое? А ты, Лида, что с тобой? Зачем ты пошла в кухню? Чтобы простудиться?

— Мама, — начала Лида, задыхаясь. — Посмотри, она бьет ее... Чтоб к этой модистке, а она не хочет. Ей в Дубках лучше. А бить нельзя позволять. Скажи ей.

Лидина мама была женщиной решительной и соображала быстро. Аннушка, при всем своем яростном характере, ее побаивалась. Без крика, плаксиво затянула: «Да я, барыня, што... Да я ли не добра своему рождению пожелаю? А она, накося... Сатана упрямая...».

— Ну, довольно. Вот дура. Ты что, — продолжала мама, повернувшись к желтому платочку, из-под которого виднелось смуглое, заплаканное лицо, — ты назад, в деревню хочешь? Не хочешь в Москве?

— Я мамушке говорила. Я там лучше, и ей здесь спокойнее. Вот барышня сама знает. Не хочется мне в Москве.

— Завтра же и отправишь ее. Деньги на дорогу я даю. Пойди, собирай. И чтоб больше я ни о чем не слышала.

Катю проводили, а Лидочка, в среду, вместо урока, целый час рассказывала про нее Николаю Петровичу. И про ее сказки, и про ее песни, и про то, как она в Москве не хотела оставаться, и про Дубки, – про всю историю. Николай Петрович так взволновался, что по комнате заходил.

– Умница! Ведь девчонка, а какая рассудительность, твердость, какая любовь к земле! И талантливость... Вот, вы понимаете, мать уж испорчена городом... К модистке! От гибели здравый ум девочку спас. И все они, все они такие там, «во глубине России»... Не нам, барышня, их учить...

* *
*

Через пятнадцать лет. В большой профессорской квартире, на Арбате, идет обыск. Это уж не первый. Самого профессора нет, его увезли прошлый раз. Жена, еще молодая худенькая женщина, с тупым равнодушием следит за парящими руками ночных гостей. Кутается в плед, – квартира давно нетоплена. Два солдата у дверей. Нынче с ними и с двумя щупленькими субъектами в обычных кожаных куртках, – еще две женщины, две бабы, худая и толстая, и шустрый, вихрастый мальчишка, лет восьми. Мальчишка занялся ящиками комода. Но вот, нашел круглую коробочку с леденцами от кашля и с удовольствием хрумает, приостановив рытье. Худая женщина глядит, по стенам, спрашивает профессоршу: «Стремянки нет ли у вас?». Та, удивленно: «Чего?». «Стремянки, ну, лестницы, что ли. На печку поглядеть». Профессорша пожимает плечами: «Печка под самый потолок. Никто на эту вышину не лазил. Возьмите библиотечную лесенку, только я знаю, что не хватит». Баба неуверенно отправляется все-таки за лестницей. Другая, большая и толстая, с засученными для чего-то рукавами, двинулась к письменному столу, где ворохом были накиданы всякие бумаги. Взяла одну: «А мне желательно телеграмму прочитать», – сказала, развертывая бланк.

Профессорша, стоявшая возле стола, равнодушно не ответила. Но вдруг, в этой бабе, в том, как она склонилась над листком, шевеля толстыми губами, ей почудилось что-то бывшее, знаемое, как сон виденный, но целиком забытый; не памятью – внутренним ощущением еще хранимый. Потом нить и к памяти протянулась, встало слово: «Мавруша», а за ним уж сложные, смутные образы того, что было тогда вокруг. «Как странно! – думала профессорша. – Почему, если человек проваливается для тебя на несколько лет в неизвестность, начинаешь думать, что он давно умер от старости? Верно, и Катя жива, и молода, как эта Маврушка?».

Баба все еще шевелила губами над телеграммой, а прежняя барышня Лида думала дальше: «Это я ее читать научила... плохо как научила! Катю бы скорее». Но почему-то не могла представить себе на месте Мавры Катю читающей, с засученными рукавами, чужую телеграмму. «А если окликнуть? Нет, ни за что!» – ответила сама себе; и даже страх пришел, в следующую минуту, как бы Мавра и без оклика ее не узнала? Но бояться было нечего; на Мавре, очевидно, такое дальнее прошлое не оставило следов; ей за глаза было довольно каждого «сегодня»; послушная – им и жила.

Аккуратно сложив телеграмму, Мавра скользнула круглыми глазами, не остановила их на профессорше и двинулась к печке: там, на лесенке, бессильно стояла баба худая, задрав голову вверх: увидеть, нет ли чего меж печкой и потолком, было никак нельзя. Мальчишка, съев все пилюли, спрятал коробочку в карман. Товарищи в куртках перебранивались и лениво связывали не то бумаги, не то пачки старых газет.

Профессорша Лида тупо ждала: возьмут ее сегодня, или нет? Кажется, нет, еще не сегодня. И душа ее, повернувшись, снова упала в такую недавнюю, но уже привычную боль-мысль – о муже. Для Мавры не оставалось места. И Мавру она забыла.

ДАВИД

Толпа вошла, толпа вломилась...

Тютчев

Имени я не назову. Положим, имя и самого человека, давно все забыли... а вдруг кому-нибудь вспомнится? Это было бы против его воли. Из его воли выходит не хочу. Он мне нравится, хотя очень, по-моему, непонятен. Расскажу о наших встречах, как сумею. Попроще.

Впервые я увидел его еще «вундеркиндом». Но и вундеркиндом он был на других не похожим.

Единственный сын богатого венского коммерсанта, г-на Ш. Еврейская семья, – не старозаветная, культурная, однако не без традиций. Дом у них, под самой Веной, был удивительный: исторический, говорил г-н Ш. Кажется – дворец-вилла какого-то знаменитого придворного вельможи. Г. Ш., отделывая его, очень заботился о сохранении стиля. И были красивы, по-своему, пустоватые залы, прямые углы, высокие окна. За окнами шумел темный сад.

Сам г-н Ш., симпатичный, плотный, жизнерадостный, всегда был весел. Болезненная жена его куталась в шаль, говорила плачущим го-

лосом. Хозяйничала и распоряжалась – Мальвина, старшая дочь. С первого взгляда на ее некрасивое, энергичное лицо, можно было сказать, что это – старая дева. Она точно старой девой и родилась. Я, вначале удивлялся: редкость в еврейской семье! Но потом понял, что Мальвине и незачем было выходить замуж: у нее уже было дитя – Давид.

Когда в первый раз отец подвел ко мне, держа за руку, этого коротконогого, большеносого двенадцатилетнего мальчика, – я почему-то смутился. Я тогда немногими годами был его старше; но тут почувствовал себя сразу: и очень «взрослым», и совсем глупым ребенком. Должно быть, смутили глаза: такие черные-черные, что зрачка не видно, серьезные и нежные, – непонятные. От них и все лицо казалось нежно-серьезным, непонятным.

Я уже знал раньше кое-что о Давиде: учится дома, к нему ездят учителя. И, главное: он музыкант. Но о музыке с ним говорить нельзя. Почему нельзя? Отец засмеялся: «Так. Не любит. Дичок. Но не думайте. Не дилетант, о! Под руководством Z., лучшего венского профессора...» Я скоро убедился, что Давид – гордость и кумир всей семьи. Но странно: никакой избалованности в нем не чувствовалось. Семейное поклонение стыдило его; но что бы ни говорили, – не возражал, словно боясь причинить боль.

«Дичком» отец назвал его напрасно; он быстро подружился со мной, и мы, забравшись в сад, подолгу с ним болтали. Не о музыке, правда: я помнил предупреждение. Игры Давида я никогда не слышал. Внизу и рояля не было. От отца я знал, что во втором этаже есть свой зал и свой Бехштейн. Толстые стены дома звуков вниз не пропускают.

Итак, – с веселым Давидом мы говорили обо всем, кроме музыки. Иной раз он казался самым обыкновенным мальчиком: стругал палки, бегал, даже на деревья лазал.

Но как-то, в сумерках, застал я его в саду, тихо сидящего на скамейке, одного.

– О чем мечтаете? – спросил шутливо.

– Я? Нет, так. Я никогда не мечтаю. Так, думаю.

Помолчал и прибавил торопливо, будто чтобы отделаться, чтоб я больше не спрашивал:

– Так, ну, обыкновенно. Про то, что все ничего не понимают, а всех жалко. Я тоже; только меня не жалко.

Я хотел ответить, но тут заскрипел песок под тяжеловатыми шагами г-на Ш.

– А, вот вы где! Все с вундеркиндом моим приятельствуете! (Давида от «вундеркинда» страдальчески передернуло, но г-н Ш. этого не заметил.) Нет, ты вот что мне скажи, мой мальчуган: с герр В. такие вы

друзья, почему ты ни разу ему не сыграл, а? Ты думаешь, ему не обидно, а? Очень обидно!

Давид вдруг вскочил, словно укушенный, крепко схватил меня за руку и потащил за собой. Почти бежал, не глядя на меня и повторяя: «Я сыграю... я не подумал... я сыграю...». Протащил меня, изумленного, по нижним залам, потом по лестнице в другой зал, почти пустой. Против окон темнел длинный хвост рояля. Крышка была поднята. Коротконогий Давид взобрался на табурет и заиграл.

Я не специалист, т. е. не специальный знаток музыки, но я и тогда уже был человеком музыкально-образованным, любителем понимающим. Почти всех знаменитых пианистов слышал; и умел о них судить. А вот этого еврейского мальчика, — сразу почувствовал, — я судить не могу. Ответить, конечно, мог бы, если б спросили о его технике, что техника и тогда была у него почти безупречная, туше очень приятное... Но ответил бы по воспоминанию, потому что пока он играл, — я ровно ни о чем таком не думал. Не в этом было дело... А в чем — постараюсь определить, пользуясь, кстати, и чужой помощью — словами слышавших его впоследствии. Определить, думаю, можно: ведь тут речь не о музыке, собственно, не об «описании музыки» словесном, которое никогда еще никому не удавалось. О другом.

По мне — это был грандиознейший обман. Слушая, я поддавался ему; знал — и не хотел не поддаваться. Точно открывались передо мною какие-то неожиданные двери, и я в них входил с радостным изумлением от своей легкости. И так еще, будто бы я от этой легкости и об этих дверях всегда мечтал, этого не подозревая; и вот — дается. Самое удивительное, что Давид не импровизировал: играл очень известные вещи, я их узнавал, машинально отмечал и тут же забывал. Слушал, как неслышанное, хотя, по совести должен сказать, он их не переделывал, ничего не изменял. Точно суть новая их изменяла. Впоследствии, одна дама, немудрящая, сказала мне: «Знаете, он эту сонату играет так, как ее Бетховен в раю слышит теперь. Оттого для нас и не похоже». Другая дама, не более мудрящая, уверяла кого-то при мне, что Давид — «он не по этому миру ходит, не по нашему, и вас туда завлекает».

Эти дамы, и не одне дамы, завлекались с полным восторгом; но я-то человек рассудительный, в какие-то «другие» миры и в «райские напевы» не верю, искусство люблю, как оно есть. А потому и говорю, что для меня — музыка Давида была, прежде всего — обман.

Но будем продолжать историю. Она с перерывами. Я увидал Давида лишь через 8—9 лет, и не в тихом «дворце» его детства, а в громадном концертном зале Лондона, среди беснующейся от восторга толпы. Я знал, конечно, о его европейской славе, все растущей; но на концерт

его мне удалось попасть впервые. Шел с громадным любопытством, даже с волнением. Изменился ли Давид?

На первый взгляд — изменился он мало: чуть-чуть вырос, но тот же коротконогий мальчик с черными, жестко-волнистыми волосами. Не изменилась и его игра, — в главном, в сути: тот же обман завлекающий. Но когда, после первого отделения, Давид стоял на эстраде, среди всяческих оваций, криков, протянутых к нему рук, я, всмотревшись в его лицо, испугался: бледное, с неподвижной, страшной улыбкой; приветливое мученичество в ней было какое-то; нежность — и смерть.

Я пошел в артистическую. Не пробраться, конечно. Спины, спины, ни малейшего Давида. Кто-то окликнул меня по-немецки. Ах, фрейлейн Мальвина! Все та же, но как потемнело ее длинное, строгое лицо! Давид?.. Мальвина повела подбородком, и я нашел, взглянув, Давида, маленького, съеженного в углу, плотно стиснутого разноцветной толпой. Я все-таки, через чье-то плечо, протянул ему руку: Давид! Он всмотрелся, перестал улыбаться, схватил мою руку обеими руками... Но высвободиться, без резкого движения, не мог: надо было бы стряхнуть с себя эти наплывшие на него, чужие тела. А тут и другие наплыли, руки наши разжались, меня отнесло в сторону. Я понял, что мне здесь делать нечего, и ушел.

Через год — странное известие, обошедшее все газеты: знаменитый молодой пианист Д. — исчез. Одни говорили, что он погиб, возвращаясь из Америки; другие, — что примкнул к полярной экспедиции; третьи, — что убит на Корсике. Но верным было лишь то, что «несравненный», «единственный» и т. д. Д. — перестал существовать. Может быть, судьба этого «метеора» еще долго занимала бы внимание, но тут начались европейские события. Давида забыли. Да так плотно, что и потом не вспомнили. Забыл и я.

* * *

Года два, три тому назад пробирался я, поневоле пешком, из Германии, — сам еще не решив, куда: где повезет устроиться. Нищенское положение не очень удручало: вывернусь! А пешком идти — что же? Силы еще были, была старая спортивная привычка, сума не тяготила, а время хорошее — июнь.

По-strannически, не торопясь, шел, выбирая, где пригляднее. В этот день, яркий и свежий, запутался немножко в горах и спустился к «Епископским Лугам» (так назвали мне долину) уж перед закатом. Действительно, луга! Цветущие, широкие, трава в рост человека. Селения кое-где видны, с острой колокольней, рощи; справа лес синеет... Я заметил на опушке крошечную часовню, всю в солнце. Там решил отдохнуть.

8 Зак 4570

В открытой часовне стояла небольшая черная мадонна с черным младенцем. Негритянские мадонны не редки в этих местах. Пучок красных цветов лежал у подножья.

Как хорошо было в этих травах, словно в земном море, — покойно. И тишина, тишина, только свистошепот кузнечиков... Но вдруг высокие стебли качнулись надо мной. Кто-то рядом лежал в траве, невидный. Я приподнялся, раздвинул стебли. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, я и мой сосед. И я узнал черные, совсем черные, глаза. Давид! Он без слова подвинулся ко мне, схватил мою руку обеими руками. «Давид, как давно!..» — говорил я тихо, почти шепотом. «Очень давно. Я рад. Мы давно ведь здесь. Уходили раз в горы! А потом опять сюда. В наш домик».

Я все больше узнавал Давида, — но не того, концертного, с приветливо-мертвой улыбкой, а прежнего мальчика. Узнавал, хотя и видел серебряные нити в жестких волосах, морщины на обветренном лице. Как спросить его? О том, что меня интересовало? Он уже рассказывал мне — о старом: что родные умерли, что венской виллы, конечно, нет... Он здесь — с Мальвиной, конечно. «У нас маленький, совсем крошечный домик. Две комнатки. Так хорошо».

— А... где же рояль ваш помещается? — спросил я, наконец.

— Рояль? Рояля нет. Зачем?

— Как зачем? Вы бросили музыку?

— Я не бросил. Ах, Боже мой, как это трудно — говорить! И я ужасно не умею! — Он с такой грустью взглянул на меня, что я торопливо сказал: «Не надо, если трудно».

— Нет, надо, надо: вы мой друг, вы обидитесь... а я ни за что не хочу! Понимаете: мы с Мальвиной думали сначала, что я могу... там; а после она поняла. Мне всех жалко, особенно женщин, но и оне, да и все, очень уж меня не оставляли. Я старался, каждому кусочек себя давал, от жалости; но не выходило ничего, не утешались. Тогда Мальвина и увидела, что я только напрасно буду весь по кусочкам. И еще Мальвина поняла, что мне-то звуков совсем не нужно.

— Как, музыки не нужно? Вам?

— Нет, вы не понимаете? Звуков, которые я сам... Ну, вот рояль. Зачем мне? Я и так их слышу, все время. Ужасно жаль, что для вас, например, — трава, и эта черная, — он указал на негритянку в часовне, — просто тишина, а для меня... я их слышу. Разве, и с роялем, я могу рассказать, что слышу? Только мучаюсь от жалости, что не могу. Вот и порешила Мальвина — уйти совсем от других...

Опустил голову, помолчал. И вдруг прибавил, с детским, горячим сомнением:

– А может, и не правы мы? Может, надо мучиться с другими, до конца?

Что я мог ответить? Развести теорию, что талант обязывает, что скрывать его, губить, не морально? Но он, готовый раздавать себя по кусочкам, теории не поймет. Ведь и я его не понимаю, что ж мне в суд вступать. Материнское сердце Мальвины лучше знает. И я сказал: «Сверх силы не надо мучиться. Давид. Живите покойно». Он расцвел, точно я снял с него на минуту тяжесть, развеселился, опять что-то простое стал рассказывать, даже из своего «концертного» прошлого разные случаи припомнил. А я думал: удивительно! Совсем раскрыт, – однако непонятен. Как это, человек, – и ни тени честолюбия, соблазна славы, сознания своего таланта? Баловень женщин, – и такая чистота, не знавшая, как будто, искушений? «Идиот» Достоевского? Бедный Рыцарь? «Он имел одно виденье, непостижное уму...». Мне вспомнилась странная, – обманная, – игра. Это и было его виденье, – виденье звуков.

– Давид, цветы черной мадонне – вы положили?

– Я. Красные. Ах, если б вы слышали их сегодня утром вместе!

Февраль, 1934

НАСТЕНЬКА И ЕЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ

Рассказ

Мы сидели, со старинной моей приятельницей Ириной Александровной, в кафе. Разговорились о давнем: вспоминали Петербург...

– Многое уж забыто, – сказала она. – Да и хорошо, что забыто. Один случай, например... сама не знаю, почему вдруг пришел на память. Так была рада его забыть. Никому не рассказывала – никогда.

Я попросил: расскажите мне.

– Пожалуй. Теперь все уж равно. Столько времени прошло, а ведь каждый год – как век! Да и пространство... на каком аэроплане, на какой ракете мы могли бы сейчас долететь до Петербурга? Легче на луну. Только уговор: обещайте, когда я кончу, сказать, что вы сделали бы на моем месте? Придумали бы совет? Я сказала, что могла. Настоящего совета не сумела придумать. Казалось, тогда... А, может быть, иначе надо было человеку помочь? Со стороны легко требовать душевного геройства. Не знаю, впрочем... Вы сами рассудите. Обещаете?

Я согласился. И вот что рассказала мне моя собеседница.

* *
*

«...Было это во время войны: в самом, кажется, начале шестнадцатого года. Слышу как-то телефонный звонок. Взволнованный женский голос, незнакомый. "Вы такая-то?". Отвечаю – да. Без удивления, потому что, вы знаете, в Петербурге я была довольно известна, и незнакомые люди нередко со всякими делами и разными историями ко мне обращались.

На мой вопрос слышу какой-то лепет, в котором сначала не могу разобраться. Но затем начинаю понимать. "Вы меня не знаете, – полушепчет женский голос, – но я вас знаю. Не лично знаю, но все равно. У меня, поймите, никого нет, некому сказать... а сказать нужно. Мне "пойти некуда", ну вот, как у Достоевского. Он же говорит, что это нельзя, чтоб человеку было некуда пойти. Я хочу к вам пойти, вы все поймете. Невозможно, чтоб не поняли. Об имени не спрашивайте, вам и не важно. Дайти мне прийти к вам, но к вам одной".

В конце концов и такая просьба о свиданье для психологического рассказа о своих делах не была для меня новостью. Помню встречи с людьми "последнего отчаяния", иногда минутного, – но подлинного; с верующими в свое вот-вот самоубийство... Быть может, и вера эта была минутная, ничего бы и так не было, но я, по мере сил, старалась придержать такого человека: методами разными, – надо было только догадаться, какой для кого метод более годен.

Женские "отчаяния" случались обычно любовные. Вероятно, и у новой телефонной незнакомки моей что-нибудь в этом роде. Разве ей **нужно** кому-то о себе рассказать, и некому, – пусть придет. И я назначаю ей день и час, – с перспективой, предчувствуя, что история будет длинная.

Пришла ко мне скромная, интеллигентного вида барышня или дама. Видно – молодая, и даже была бы хорошенькая, только очень уж измученное лицо, бледное, с провалившимися глазами. Одета прилично, даже модно; и что-то в ней не петербургское.

Я думала, она долго будет стесняться, но она сразу начала говорить: по-видимому, действительно, намолчалась, измучилась, и уж ей все равно, что она в первый раз меня в лицо видит. Но я тотчас заметила, что она, при всей своей взволнованности, человек нормальный, т. е. не "психопатка".

– Вам безразлично имя, а для удобства – я буду для вас Наденька. Родом из-под Москвы; а была в Риге школьной учительницей. Там я встретилась случайно с одним... военным здешним, – генштабистом. Он меня... я полюбила его и теперь живу с ним здесь. Ничего не могу сказать, он хорош со мной, любит... а, главное, я люблю его без памяти. Ну, не совсем без "памяти" (улыбнулась жалко), а то бы – что мне!

Только так, что свою жизнь за него хоть сто раз отдам. Но вот здесь и начинается...

Она остановилась, передохнула, подняла на меня доверчивые глаза, – в старых повестях сказали бы "честные" глаза. Я молча ждала продолжения, еще не понимая, в чем дело. Хочет ли она, чтоб он женился на ней, что ли?.. Наденька имела вид курсистки; вряд ли держится таких "предрассудков"...

И точно, дело оказалось гораздо сложнее и серьезнее. Говорила Наденька просто, рассказывала живо, образно и убедительно. Умела наблюдать и была, вероятно, не глупее своего возлюбленного.

— Я думала, что знаю его... И все о нем знаю...

Оказывается — нет. Возлюбленный не откровенничал, конечно, с ней, но вряд ли давал себе больший труд вести себя так, чтоб она не могла кое-чего заметить. Она заметила, стала следить, — "о, против воли!" – и теперь знает: этот офицер, — "он очень видный, — спешно прибавила Наденька, — я сказала, академик", — он и несколько его товарищей, часто у них бывающих, в сношениях... Тут Наденька остановилась, задохнулась, но преодолела себя и закончила почти спокойно:

— В сношениях с офицерской германской группой. Есть такая, не все знают. Даже никто почти не знает. Так вот эти, наши... И "он", главное... Он у них даже главный... Они постоянно... Вы понимаете? Понимаете?

Я, конечно, понимала. Шла великая война. У нас, у России несчастной, цепь необъяснимых неудач. По Петербургу ходили всякие слухи. Обвиняли в "предательстве" главным образом Гришку Распутина, а то даже императрицу. Впрочем, среди интеллигенции был и слух, очень смутный, правда, насчет какой-то могущественной группы германских офицеров, тайной.

Но я начинала понимать и Наденьку. Теперь, после войны, уж не говоря о стране советов, нигде такая Наденька, пожалуй, невозможна. Она его любит, он ее любит, не все ли теперешней равно, чем он там занят, по мужскому своему положению? Но подумалось и тогда: волнение Наденьки — не страх ли за него, что попадется?

Это у меня мелькнуло, но тотчас же Наденька, будто угадав, заговорила дальше:

— Вы до конца меня поймете. Я его люблю, всегда буду любить, а он продает... Я на деньги его смотреть не могу. Мы прежде часто с ним говорили насчет убеждений. Что ж, я, я верю, он передо мной не скрывал, что у него давно убеждения социалистические. Но ведь сейчас война. И деньги... Я сама не знаю, но я этого не могу. Что мне делать? Ничего, ничего не сумею сказать ему, да и как посмею? Никто не знает и не узнает, они очень сильны. И у них идет. А я люблю его. Боюсь од-

ного только: чтоб не догадался, что я вижу. Так дальше, — смотреть, и ничего, — тоже не могу.

— Постойте, — начала я, но она меня перебила:

— Вы, может, скажете — уйти от него... Думала уж я об этом. Но уйти — куда? Он найдет меня, будет спрашивать; знает ведь, что люблю. Что скажу? И уйти, чтобы только самой не видеть, а дело-то будет продолжаться?.. И вдруг еще он подумает, что я донести на него могу, — вдруг вскрикнула она и разрыдалась. — Я! Я!

Впрочем, быстро успокоилась и совсем тихо прибавила:

— Нет уж. Если уйти, так совсем...

Признаться, я этой Наденьке сразу ничего не нашла сказать. Она меня запутала, хотелось сообразить, и я стала расспрашивать о подробностях. Уверена ли она, что не ошибается? Может быть, ее догадки пустое дело, и раз она этого человека любит, надо в него больше верить. Словом, разные банальности пока что. Но тут вышло гораздо хуже.

— Ах, разве я не хотела верить, не верила в него до конца? — вскрикнула Наденька горестно. — Не хотела ослепнуть, оглохнуть лучше! Вы послушайте, сами судите, можно ли сомневаться...

Я слушала, слушала подробный, образный рассказ (очень, видимо, хотела Наденька открыть себя до конца, передать мне свою правду; перед мелкими черточками жизни не останавливалась), и, слушая, вдруг я почувствовала, как у меня похолодели щеки. Я **узнала** ее возлюбленного! И в эту минуту, правду сказать, забыла о Наденьке. С яркостью вспомнился человек, — я с ним была знакома, встречала его несколько раз на каких-то интеллигентских собраниях. Высокий, плотный, видный, улыбающийся. Еще ярче вспомнилось и все, что я о нем знала, что слышала. В кругах левой интеллигенции он считался близким другом, тесно с ней соприкасался. Писал (под строгим псевдонимом) статьи в ее журналах. Вот что я знала, а слышала от его же "друзей" и еще кое-что: перед самой войной возникло среди них глухое подозрение, что он не совсем "верен"; тогдашним языком говоря — в "провокаторстве" замешан. Темный этот слух хотя и скрывался, но был так упорен, что кое-кому было поручено его проверить. Война помешала, кажется; оставила дело в прежнем положении.

А теперь... Я вспомнила, наконец, про Наденьку. Она сидела передо мною, все еще говорила, тихо плача и сморкаясь. Такая это была простая русская девушка, самая дореволюционная, с незамысловато-честными понятиями и о родине, и о войне, и о правде, и даже о любви. Судьба не пожалела ее, запутала. Надо что-то "сделать по правде". А что? Спросить не у кого, — одна. Если б не одна... ведь ответ-то есть, должен быть!...».

* *
*

...Тут Ирина Александровна с полуулыбкой взглянула на меня: «Вы обещали: скажите, что вы бедной Наденьке посоветовали бы? Как ей "по правде" поступить, по ее правде, по ее душе? Какие бы слова вы ей сказали?».

Я не знал, немного рассердился: «Кончите сначала. Вы сами что сказали?».

— Я уж призналась, что не сумела ответить. Кто бы сумел? Но вот, слушайте дальше.

И моя собеседница продолжала:

«Наденьку я прежде всего усадила рядом с собой, на маленький диванчик, обняла за плечи: "Ваше положение трудное: что скрывать — по-моему, безвыходное. Полувыходы есть, а полного нет. Все полувыходы начинаются, однако, со слова: **уйти.** Надо, значит, из них выбирать. Вы говорите: лучше «совсем» (то есть умереть?), потому что если не «совсем», то **куда** уйти? **Как** скрыться от него? И **чем** жить внутренно (а, может быть, и внешне?). Это правда. Этот последний полувыход гораздо труднее, тяжелее, больше сил требует. Но у вас их бы хватило, пожалуй, если бы вы поняли и не захотели смертного, — легкого. К тому же он сомнителен".

— Почему? — шепнула она, не понимая.

— А вот почему. Вы, я думаю, неверующая? И соблазняет вас смерть тем, что вы уж ничего ни видеть, ни чувствовать не будете? Но это так же не доказано, как обратное. Тут тоже вера, а вера всегда надвое. А потом я не знаю, легче ли решаться на что-нибудь с сознанием своей слабости (легкое "уйти"), или с сознанием силы ("уйти" — трудное). Но это вы решите сама.

— Я? Сама?

— Да. За другого нельзя. И если вы, скажем, выберете смерть и пойдете сейчас от меня, чтоб в Фонтанку броситься...

— Думала как раз... — прошептала она, но я продолжала:

— ...Ни жеста не сделаю, чтоб вас удержать. Только — мне кажется почему-то, очень кажется сейчас, что вы **это** не выберете. Другое "уйти" выберете. И так я верю — доверяю вам, что вот смотрите...

Я встала, взяла из ящика 4 тюбика хлорала.

— Фонтанка — нехорошо, а возьмите это, для свободного выбора. Даю — и не боюсь; для себя-то уж выбор ваш знаю.

Вот и все. Она взяла. Мы поцеловались и расстались. Да не скрою, что я, на прощанье, не утешала ее: не сказав, конечно, что знаю "его", твердо повторила: не любите его, но ни на что не надейтесь; помните, человек этот, вероятно, по природе изменник; таким и останется. Говорю без суда. А любовь всегда "вопреки". Любите так — любите, но не обманывайтесь».

* *
*

— Что же потом? — удивился я. — Какой же это конец? Неужели так и неизвестно, что дальше было с Наденькой? А «он», которого вы знали и узнали?

— Его я видела. Самое любопытное наше свиданье — было последнее. Уже в двадцать пятом году. Вы знаете, лично я в эти первые годы никаких особых страданий внешних не перенесла, — только чужие видела и как еще видела! Но, наконец, попала в тюрьму. Месяцы шли без допроса. А когда привели — не угодно ли, мой знакомец! Наденькин возлюбленный! Я даже рассмеялась. Лицо у него отекло, глаза тяжелые, косят. Ну, поговорили, — как в этих местах принято, — а под конец я не утерпела, — и Наденьку помянула. Он не ответил, конечно, только весь перекосился; уж не глаза, а все отечное лицо. Пробрало-таки. Но я в его натуре не обманулась. Через год и с этими «друзьями» что-то неладное у него вышло, — расстреляли.

— А Наденька?

— Она, друг мой... Она свой полувыход так хорошо устроила, как я ей не сумела посоветовать. Она сестрой на фронт ушла; а потом в белой армии, в Ростове, от тифа погибла. Хлорал мой не понадобился. По «правде» своей все-таки что-то сделала? Пойдемте, однако. Мы здесь засиделись.

Я ПРОСТИЛ

Седьмой вечер Калитин бродит по Парижу, один. Фридочку оставляет в отеле. Это жестоко: ведь он привез ее показать Париж, — когда же его показывать, как не вечером? Днями он занят, — для дел ведь приехал; Фридочка же одна и днем боится в незнакомом городе. Вначале он свозил ее туда-сюда, но потом стал уговаривать, что она слишком утомляется, что ей лучше рано ложиться, и уходил один.

Десять лет Парижа не видал. Десять лет! Казалось, что надо везде побывать, все места и запахи вспомнить, и себя, свою молодость... хотя зачем? И теперь он еще молод. Теперь он здоров, солиден, спокоен, прекрасно одет. Повезло в Берлине. А тогда, здесь, — бедность, болезнь, — последствия ранения, — и потом еще... Но об этом «потом еще» Калитин не позволял себе думать. То есть скрывал от себя, что все время только об этом и думает.

Скрывал удачно. Иначе волей-неволей пришлось бы рассмеяться над собой и повернуть в отель, к Фридочке. Начав думать, он бы должен был и признаться, что не столько для «воспоминаний» бродит

ночью по городу, сколько ради вполне невероятной, глупой надежды — увидеть Лизу.

Не глупо ли, в самом деле? Уже лет пять, как о Лизе даже смутного слуха не имел. Может быть, она не в Париже. Или умерла. А если и нет, зачем она будет вечером в одном из бесчисленных кафе, в которые он терпеливо заглядывал?

Банальный пример — найти иголку в стоге сена, — ну, нет, увидеть Лизу гораздо труднее. И он о Лизе не думал; только всякий раз, возвращаясь поздно в отель и укладываясь на широченную постель рядом со спящей Фридочкой, думал, что ему как-то скучно, или досадно, или неизвестно что...

В этот седьмой вечер — душный, почти жаркий (конец сентября) — Калитин возвращался раньше обычного, успев, впрочем, обегать пол-Парижа. Медленно подымался по Елисейским Полям к Арке, — там, вблизи, их дорогой отель. Не очень замечал пятна света и мрака под деревьями; было как-то все равно, — и Париж, и все: знакомая полутошнота скуки. Подумал, что скоро уезжать: скука не прошла.

Идет все медленнее. Вот, на углу, громадный, ярко освещенный круг — широкая терраса фешенебельного кафе. В этом кругу Калитин остановился на секунду, бессознательно, никуда не глядя. И, — не глядя, — краем глаза увидал Лизу. Если б думал и смотрел, может быть, не увидал бы, или не узнал. И сидела-то вполоборота. Но тут сразу увидел, не усомнился, — она.

Что же теперь? Во-первых — это было чудо, во-вторых, — к чуду он не позволял себе подготовиться. Надо поспешно сообразить. Пока он торопился, Лиза встала. Встали и двое сидевших с ней — один старый, английского типа; другой помоложе; пошли все вместе, между столиками, как раз к тому месту тротуара, где стоял Калитин. Под белым электрическим шаром Лиза показалась Калитину очень бледной. Она была тоньше и красивее, чем та, какую он помнил. Но главное — это была она.

«Ваня!» — сказала она негромко, вдруг остановившись. Он еще не кончил своих соображений, а она, быстро обернувшись к спутникам, что-то сказала им по-английски, простилась, — и Калитин уже шел под деревьями, назад, к Concorde*, чувствуя на руке своей Лизину руку.

— Пойдем, посидим где-нибудь здесь, вечер такой славный. Поговорим. Хочешь?

— Да. Хочу. Поговорим, — произнес Калитин, от волнения деревянно. — Я так не ожидал...

* площадь Согласия (*фр.*).

— Не ожидал? А я знала, что ты в Париже. Положилась на случайность. Встретимся, так встретимся...

Шли и говорили, но бессвязно, как будто и отрывочно. То, казалось, ни о чем, а то — о самом важном.

— О себе можешь не рассказывать, я, приблизительно, знаю, — весело говорила Лиза. — Ты в Берлине очень хорошо устроился; ну и фрейлейн Штейнбах, твоя новая супруга... Вот разве только насчет самочувствия спросить... Ты правду скажешь, ведь ты тот же, «самый правдивый человек на свете». Счастлив?

— Нет, Лиза. Кто счастлив? А у меня тоска.

И прибавил:

— Зачем ты меня бросила? За что? Ты знала, что я тебя люблю. И ведь я тебя простил. От всего сердца, от всей души простил.

Лиза улыбнулась. А, может быть, нет; может быть, светы сквозь деревья, под которыми они шли, так скользнули по лицу. Калитин всматривался в ее лицо близко, жадно; старался вообразить, что никаких десяти лет не было. Но вдруг вспомнились слезы, резкие слова последней, такой непонятной, сцены.

— Теперь можно говорить спокойно, — произнесла Лиза. — Теперь все давно кончено, и все равно, что ты ответишь, если я опять повторю прежнее. А другого у меня нет. Оттого и ушла, что... простил. От твоего «прощения».

— Лиза, нет, как же я мог не простить? Любил тебя.

— Любовь не помогает таким, как ты. О, «правдивые» люди! Такие правдивые, так в правдивость свою влюбленные, что, под конец, только одну ее и видят. Другие, кругом, — все лгут. Никому нельзя верить. Но надо уметь прощать. И любоваться этим умением. Я тогда еще неясно это понимала. Теперь — вижу. И совсем не виню тебя, — даже за Костю бедного. Ведь ты же искренно думал, что тебе надо и его прощать.

— Лиза, опять это тяжелое... Я знаю, Костя любил меня и не вынес.

— Чего? Да вот прощенья твоего, когда не в чем было прощать, и не вынес! Твоего безнадежного неверия, непотрясаемого твоего убеждения, что он лжет, что он виноват, и ты ему только великодушно прощаешь. На одну маленькую минуточку вообрази, что мы тебе не лгали (потом, как хочешь); да, не лгали, между мной и Костей ничего не было, даже мысленной тебе измены, — ничего! Но несчастье вошло тебе в душу, и ты его хранил; может быть, сам не зная, ради случая «простить». Нам, мне и Косте, ты уже и не мог, и не хотел, поверить. Когда слишком себе доверяешь, тогда другим доверять нельзя... Постой, сядем на минуточку, — прервала она и направилась к темной пустой аллее под деревьями.

— Я сама не знаю, зачем я тебе все это говорю, — продолжала Лиза, когда они сели. — Ты, наверно, такой же, как был. Я — тоже. Но раз уж мы встретились... Главное, не думай, что я тебя виню. Я Костю скорее виню: в слабости. И в глупом обожании тебя, верности тебе до такого предела... ну, чтобы даже застрелиться от твоего недоверия и ненужного твоего прощения.

Она замолчала на минуту. Молчал и Калитин. Он видел теперь неясно ее лицо. Но голос был спокойный.

— Если б я догадалась тогда, что ты нарочно пойдешь «прощать» Костю, я бы, пожалуй, предупредила тебя. Он был такой нервный, впечатлительный, и так любил тебя. Ну, да разве ты его видел? И не послушался бы меня. Подумал бы — виновата я, хоть и прощеная, жена все-таки о возлюбленном заботится. А помнишь его последнюю записку — тебе? Сумбурная, да ведь все то же, о доверии мольба, не о прощении. Но ты и мертвого не услышал, опять прощением прикрыл... Ваня, я тебе делаю больно? Или ничего? Ничего; ничего, все давно прошло, все хорошо. Костя умер, но я не умерла, хоть и любила тебя. И в твоей любви не сомневалась. Только моя, понимаешь, такой, твоей, не захотела, — такой, извини меня, без правды, без настоящей. И я ушла. Вот и все.

Помолчав, прибавила, с простотой:

— Если б ты был болен, нуждался во мне, как в первый год, я бы, верно, подождала. Но ты поправился, и уж видно было, что выберешься. Вот и выбрался. Я — тоже, мое дело, с магазином, пошло. Те двое, в кафе, агенты мои деловые: в Англии отделение. Давай, пройдемся еще немного, до площади. Очень люблю этот столб топазовый, обелиск; — точно изнутри светится, правда?

Говорила теперь нежно, почти весело. А бывший ее муж, бывший Ваня, беженец, ныне солидный берлинский коммерсант и Фридочкин супруг, шел за ней в каком-то странном, точно деревянном, состоянии: в горле пересохло, никакие слова не выговаривались, да и не было слов, как, впрочем, и мыслей; один только страх, что вот сейчас все кончится: она уйдет, он останется; а так как встреча уже была, то искать и ждать больше нечего.

— Ты сказал — тоскуешь, Ваничка, — проговорила она ласково. — Не надо, милый. Жизнь — трудная штука, да не такая уж плохая. Бери свое по-своему. Заработаешься — не насилуй себя, отдохни. Я вот тоже думаю дело пока передать, уеду куда-нибудь. Костину девочку я ведь к себе взяла. Большая уж теперь.

— Девочку? Костину? — произнес Калитин хрипловато, — от долгого молчания.

— Ну, да, Нюсю. Помнишь, крошечную из Константинополя привез, где его жена умерла. Еще мы же тогда хлопотали, в приют устроили. Потом... После... я ее к себе взяла.

— Та-ак, — протянул Калитин. И вдруг, неожиданно для себя, спросил, белым голосом:

— А если б Костя не умер, ты... после... ты бы ушла к нему?

Они были уже на площади, в полусветлом полупустынном кругу. Калитину показалось, что Лиза вздрогнула. Наклонилась, тихо проговорила, почти прошептала ему на ухо:

— Ванюша, бедный мой! Вот когда прости, сама знаю, виновата: не к чему о старом, ни тебе, ни мне не нужно. Встретились — погуляли бы, поболтали и все... А так — даром милое время потратили. Больше, может, и не увидимся... Теперь пора мне, дружок...

Она махнула рукой пробежавшему такси.

— Лиза... — начал Калитин.

Дверца была уже открыта. Лиза улыбалась:

— Что, милый?

Он сказал бессмысленно (и зная, что бессмысленно):

— Лиза, вернись ко мне. Лиза, я никогда не лгу, я люблю тебя, это правда, люблю. И я давно тебе все...

— Знаю, знаю, — перебила она, — давно все простил. Я верю. Спасибо тебе, родной. Поцелуй меня скорее, мне пора.

Он, сам не понимая, как, холодными губами, прикоснулся к ее губам. Услышал — щелкнула дверца. В стекле еще мелькнуло ее лицо. Потом скрежет первого поворота колес. Потом — ничего. То есть все, что сейчас было вокруг единственно нужного Калитину, все, кроме этого нужного.

Но Калитин это еще не совсем ясно понимает. Смотрит на светящийся топазовый столб обелиска. И повторяет, не про себя, а как будто все еще с ней беседуя, ее в чем-то убеждая:

— Лиза, Лиза...

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА

...Я все простил...

— Тетя Лиза, почему ты скучная?

Вытерев о передник руки, запачканные в земле (цветы еще не все рассажены, а уж становится жарко), Аня присела на скамейку, рядом со смуглой молодой женщиной, и старалась заглянуть ей в глаза. Вы-

сокий эвкалипт бросал на них прозрачно-серую тень. В садике виллы «Мари», на скале, над самым Теулем, много этих могучих деревьев без коры, точно голых; но тень их — плохая защита от южного солнца. Море внизу лежало большое, ленивое, как будто и ему надоела жара и собственный блеск.

— Ты что же молчишь? — настаивала девочка. — Я ведь вижу, — скучная. О чем-то думаешь... Скажи скорей!

— Да, Аннюся. Я думаю... Подожди, я еще сама не знаю, как сделать, как лучше.

Лиза давно говорила со своей «сироткой», как с большой; ей даже казалось, что всегда так было, но, конечно, нет: Аннюсю, дальнюю племянницу, взяла она «в дочери» еще двухлетнюю, еще когда сама была совсем молоденькая. Сейчас Аннюся была девочка уже высоконькая, тонкая, как веточка, с лицом таким серьезным, что даже беспокоила эта серьезность. Беспокоили и глаза: слишком чисто-голубые, слишком большие на узком личике.

Привычным немигающим взором девочка смотрела на Лизу, ждала.

— Тут один человек приехал, Аннюся. Он недалеко, в Каннах. Нездоров. Он не знает, что я здесь, а, верно, был бы рад, если к нему поехать. Вот я и раздумываю, поехать или нет?

Голубые глаза шире открылись от удивления. Больной? Будет рад? О чем же она раздумывает? Но Лиза поспешно продолжала:

— Это, Аннюся, не просто знакомый, а то, конечно... Это мой бывший муж. Я о нем не говорила, как будто он умер, но он не умер, а мы давным-давно разошлись. Ты еще крошка была.

— Значит, ты его разлюбила? — сдвинув брови, сказала Аннюся.

— Нет, нет! И он меня не разлюбил. Только я не могла... Ну, это долго рассказывать. Так вот: он тогда в Берлин переехал, место у него там было хорошее. Я, конечно, все о нем знала, радовалась за него. Два года тому назад встретились мы случайно, на улице, он по делам в Париж приехал... Он тогда на немочке недавно женился...

— Как женился? — прервала Аннюся. — А ты говоришь... Значит, разлюбил тебя?

— Нет, Аннюся, совсем не значит. Так прямо нельзя судить о людях, люди сложней. Я, было, порадовалась за него, что и женился, а когда встретились, вижу — и это ни к чему. Это — так, а он все равно не счастлив. Но хоть жизнь удачно складывалась, и то хорошо. А теперь, оказывается, и жизнь перевернулась. С немочкой, или с родителями ее, у него что-то вышло; развелся; потом потерял место, заболел, в клинике полгода лежал. Верно, не совсем еще и оправился. Вернется ли в Берлин, — уж не знаю...

Аннюся произнесла сурово, тоном твердым и решительным:

— Нет, тетя. Ты плохо рассказываешь. Ничего не могу понять. Мне дико это. Человек больной, несчастный, будет рад тебе, — а ты не знаешь, навестить ли его? Сама же его покинула. Да он гадкий, что ли?..

— Хороший, Аннюся. Не я только, — все его любили. И папа твой покойный тоже, очень... — прибавила она тише и будто нечаянно.

Нежное лицо Аннюси вспыхнуло. Рассердилась. Но сдержала себя и проговорила еще тверже: «Теперь пора завтракать. Потом, после, ты мне расскажешь это, как следует. Просто невозможно!».

В тот же день, к вечеру, оне спустились вниз, в маленькую пустынную бухточку под акведуком, — купаться. В теплой волне Аннюся развеселилась, но когда оне, одевшись, легли на нежные гальки отдохнуть, опять задумалась. Примолкла и Лиза. Утренний разговор ее почему-то смущал. Начала его и не кончила; и не знает теперь, нужно ли рассказать все, до самого конца? Впервые пришло в голову: уж права ли, обращаясь с девочкой по-равному, в полной правдивости? Это ее пунктик, идея, что никому правда не может повредить. Но Аннюся не по летам серьезна, подчас неожиданно глубока, — хороша ли эта ранняя мудрость? «Объясню главное, она поймет. А про Костю... зачем, может быть, и не надо».

— Ты спрашивала, Аннюся, почему я Ваню Калитина, мужа моего, любила, а все-таки от него ушла? Это с виду и, правда, непонятно, потому что он хороший, и меня очень любил. Но, видишь, он мне не верил. Подумает, например, что я против него что-нибудь сделала, и сколько я ни говорю — нет, неправда, — не верит. Верит себе, а про меня думает — лгу...

— И сердится? — взволнованно произнесла Аннюся, приподнялась, села на песке.

— То-то, что нисколько. Готов все простить и прощает, от чистого сердца. Не видит только, что не за что прощать, про меня думает — лгу. Ложь тоже прощает, а что нет ее никакой — не видит. Вот я и решила...

— Тетя Лиза! — вдруг закричала девочка в неистовом волнении. — Я знаю! Я знаю! Катя Кудрина... я тебе не говорила... когда я хотела пропасть...?

— Как, пропасть? Причем Катя?

Испуганная Лиза тоже приподнялась. Спеша, захлебываясь, Аннюся объясняла:

— Катя, ты знаешь, Кудрина, мы такие ужасные, такие ужасные были подруги, она мне сказала один секрет громадный, мне одной, и чтоб навеки хранить. И вдруг через сколько-то времени, говорит — Маня Волкова знает, это ты сказала. Я говорю — нет, нет, неправда! А она свое: я не сержусь, я тебе простила, будем по-прежнему, а только

неправда, что ты не сказала, ты сказала. Я уверяю, плачу (я еще маленькая была, прошлой-то весной!), она тоже заплакала, а верить не может. Тогда я ужаснулась и решила пропасть. Уйти, ну, просто по дороге, от всех. Питаться – что подадут, или так...

– О, глупая девочка моя! И от меня уйти? И тебе не стало стыдно...

– Тетя Лиза, ведь я же маленькая была! И все-таки не пропала же! Не то что стыдно... а просто ужасно я Катю пожалела. Мне-то, хорошо, я знаю, что не виновата, а ей-то каково? Тогда решила: не пропаду, а тоже ей прощу, если она не может верить.

– Простишь?

– Ну да, тетя, не мешай. Сказала ей в распоследний раз: Катя, я не виновата, ей-Богу не лгу, но если ты не веришь, лучше хочешь простить, – так пусть. И будет по-прежнему. Вот, тетя, и все.

– И вы стали по-прежнему? Совсем?

– Не знаю. Сначала вроде как по-прежнему. Ведь очень же, тетя Лиза, несправедливо, обидно мне. А вспомню, что жалко ее, тогда опять ничего, пусть.

– И ничего мне не рассказала!

– Это же секрет был, тетечка, наш с Катей вдвоем. Теперь уж ничего, можно. Да я забыла, сейчас только вспомнилось. Конечно, я была маленькая...

Оне обе замолчали, – Аннюся погрузилась в собственные воспоминания, а Лиза старалась разобраться, понять, чем детский рассказ Аннюси ее так растревожил: «Главное, я ее совсем не знаю! Пропадать хотела, а я, рядом, словно чужая, – ни о чем не догадывалась!».

Аннюся, сжав губы, думала, сцепляла мысли, сцепила и сказала последнюю: «Значит, тебе его жалко не было?». Сразу поняв, Лиза ответила: «Нет, было...». Но, хотя ей тут же пришло в голову, – не себя ли больше, все-таки? – громко этого не прибавила.

Снова оне помолчали.

– Я, пожалуй, съезжу к нему завтра, – проговорила Лиза, наконец.

– И я, тетечка, и меня возьми! Хорошо? Хорошо?

Аннюся оживилась, засмеялась, вдруг забыв все, кроме ребяческого любопытства, интереса к новоявленному тетиному «мужу»: сколько времени не было его, – и внезапно оказался! Поедут в Канны... тетя непременно должна взять ее с собой, непременно!

А Лиза совсем перепугалась. Господи, и зачем было начинать этот разговор, эти объяснения? Аннюся отлично поняла, что надо было понять; вон у ней, оказывается, тоже свой «опыт»... Но истории с подружками, желание «пропасть», детская обида, по-своему преодоленная, – это одно; а настоящая жизнь... Впрочем, о Ване Калитине и о

себе, — Лиза сказала правду. И все-таки она не хочет, чтобы Аннюся с ним встретилась. Если не рассказать ей еще чего-то, — будет обман; а как рассказать, что от неверия, ненужным прощением прикрытого, в самом деле пропал, погиб человек, память которого Аннюся так свято чтит, — отец? «Это ей отравит душу. И Ваню она возненавидит».

Поднимаясь на виллу, Аннюся продолжала еще говорить что-то весело о завтрашней поездке, вспоминала как будто и разговор, и Катю... Лиза не слушала. И, всмотревшись в ее лицо, Аннюся примолкла.

Кошмарная ночь! Всячески решала Лиза: ничего не скажет, поедет одна. Расскажет своей «сиротке» — и не поедет совсем. Никогда. Чтобы «пропасть», для него окончательно...

А вышло все по-другому.

Маленький автомобиль знакомого теульского лавочника довез их обеих до ближайшего предместья Канн, до Бокки: там, только по новой эспланаде пройти, всегда пустынной, сейчас и городской сад. Жарко, но не очень: легкие тучки то и дело закрывали солнце. Сад уже виднелся, когда Лиза, все время молчавшая, повернула к эспланадной скамейке, над самым морем и села. Ничего, кроме моря с широкими муаровыми полосами, тихо шелестящего, перед ними не было.

— Аннюся, послушай. Ты непременно хотела со мной к Ване поехать; но я тебе про него не докончила. Ты знаешь, какой он... правде не мог верить. Так вот, он и Косте... папе твоему... тоже не верил. Думал, что лжет. Прощал и ложь, и вину, а ни вины, ни лжи не было. Понимаешь?

Голубые глаза смотрели прямо в Лизины. Еще бы не понимать!

— А папа твой так сильно любил Ваню, так сильно, — продолжала Лиза, передохнув, — и так было это ему больно, обидно и вынести не мог. И умер. Из-за этого, — прибавила она с суровой отчетливостью, чтобы уже все докончить. — Из-за Вани Калитина, своего брата двоюродного.

Лиза уже не думала о том, права или нет, открывая это девочке, отдавая дальнейшее и себя, может быть, в ее волю. Верно, нельзя иначе, если сделалось так.

Море посерело. Потом опять вспыхнуло нестерпимыми блесками, чтобы опять, на мгновение, погаснуть. Направо спокойно золотилась падающая линия далеких туманных гор. Минутка прошла? Или сколько прошло времени?

— Пойдем, тетя Лиза. — Аннюся встала и взяла Лизу за руку. — Пойдем.

И оне пошли. Миновали тенистый, свежий сад. Там, как раз за ним, — неуютный пансиончик-отель «Атлантида». С неуютным, ко-

сым и полуголым палисадником. Аннюся толкнула калитку. В палисаднике никого не было. Только у веранды, на низко раскинутом кресле, полулежал кто-то в белом. Не взглянул, не двинулся; но когда оне подошли ближе, повернул голову и вдруг вскочил. Очень худой, или исхудавший: белый пиджак висит мешком, на темном лице – впадины.

– Ваня, – тихо произнесла Лиза и протянула руки.

Но он не взял рук; стоял, смотрел, будто еще не совсем понимая. Аннюся подошла совсем близко:

– Что же ты, здравствуй, дядя Ваня! Мы к тебе приехали, это тетя Лиза, а я – Нюся. Мы приехали... Мы приехали...

Начала громко, спокойно, решительно, – и вдруг голос у нее сорвался: Калитин неожиданно, порывистым движением, обнял ее, и Аннюся заплакала, по-детски громко, уткнувшись в костлявое плечо. Но это была всего крошечная минутка: тотчас же, подняв голову, девочка твердо договорила свое, то, что хотела и решила сказать:

– Мы приехали... чтоб тебе, дядя, тоже все, все простить. Пусть, ты только не обижайся, хорошо? И пусть все будет почти как по-прежнему, хорошо? Хорошо?

ИГРА

Шестеро в банде, а банда крепкая и замкнутая.

Я узнал это, – и еще многое другое, – лежа днями на песке, под скалой, около небольшого морского курорта. Место было уединенное, приятное, но оказалось, что его избрала и банда. В первый же день я заслышал у кустов недовольные голоса: банда заметила меня и совещалась. Говор был русский. Но я прикрыл глаза, не двинулся; и шестеро, не желая лишаться излюбленного местечка из-за одного неподвижного человека, решили, видно, что меня как бы вовсе нет. Впоследствии не замечали они, когда я и шевелился, – так твердо укоренилось в них убеждение, что я не существую.

Мне же нравилось безмолвно догадываться о них, узнавать их и различать. Имена сразу узнавал по песенке, – с ней они часто прибегали, держась за руки, под скалу. Тонкими голосами выводили:

Катя – Паша – Маша... –
днн-дин-дин...
Лида – Коля – Саша...
ден-ден-ден...

Трое первых были рыжеватенькие, а Паша, крупный и сильный мальчик, даже совсем рыжий; другие трое, – другой семьи, вероятно, – черненькие и остроносые. Впрочем, семейные сходства на этом и кончались: каждый из шести был очень сам по себе.

Скоро я увидел, что являются они в эту излюбленную песочную выемку под скалой не случайно, и не просто, а с определенной целью: играть. Притом игра у них была все как будто одна и та же, только все с новыми, неожиданными, приключениями. Называлась игра: «в богатых и бедных».

Странно, пожалуй, – откуда? Все шестеро, по виду, были из семей среднедостаточных. Но я быстро понял, что они о себе ничего не знают и вообще не думают: их занимает игра, и чтоб было, «как бывает на свете». (Это сказал раз Паша, а я подумал: «Ага! Вот оно, время! Старшим вряд ли больше девяти, а уж в сказку волшебную не станут играть, давай им «как бывает»!)

Однако воображенье у них было удивительное; следя за игрой, я сам заражался. Прорытая дорожка к скале, к старой купальной будке, была улица с красивыми, высокими домами. А будка – замок: в нем жил главный богач (Паша) со своими сокровищами: три аккуратных мешочка, набитых красными морскими камушками, специально подобранными. У черненькой Лиди, тоже «богатой», имелся такой же мешок, – но один. У Лиди, кроме того, была «дочка» (современная кукла, ростом с грудного ребенка), Машу, хитроглазую, в золотистых кудрях, Лидя взяла в няньки, но водила, – ввиду ее «бедности»? – неизменно в «рубище». Коля и Саша – тоже бедняки. Ночуют под мостом (дальний куст). Ну, а Катя? Первая в песенке? Увы, Катя, бледная, неуклюжая толстушка, «не умела» быть ни бедной, ни богатой. Умела только с особой пронзительностью визжать; и в ходе игры исполняла разнообразные назначения.

Вот, Паша гуляет по улице с частью сокровищ: остальные заперты в «замке». Навстречу Лидя с дочкой (Маша следует сзади в своем рубище). Останавливаются, болтают. Паша благосклонно похохатывает. Но тут робко подходит к ним Коля. Он горд; если решается просить на хлеб, то потому, что уже ослабел от голода: его только что едва не задавила Катя, – она в это время гудела автомобилями по улице. Паша едва взглядывает на Колю, презрительно махает рукой, двигается вперед; но когда к нему подходит другой бедняк, Саша, – он уже негодует, он резок, грубо отталкивает просителя, садится в свой «рольс» (Катя) и уезжает.

Но бедняки, Саша и Коля, – соединились. Долго совещались «под мостом» и решили ограбить замок. Темной ночью (солнце, конечно, светило, да это ничего) они, ползком, стали пробираться к замку. Но

вдруг наткнулись на «электрический сигнал тревоги». Раздались оглушительные звонки, т. е. визг Кати, лежавшей на пороге в будку; испуганные грабители бросились бежать, исчезли в темноте. Однако на другую ночь вернулись, поумнев: перерезали провода (Катя молчала), успешно захватили у спящего богача все три мешка, выскользнули, довольные, из замка, собираясь скрыться с ними на какой-то «шаланде» (я не понял насчет шаланды). Но случилось непредвиденное: богач проснулся, ужаснулся, выскочил из замка, и началось преследование!

Кричал «народ» в домах (Катя визжала). Что будет? Поймает ли богач воров? Этого никто не знал, потому что богач «вправду» ловил воров, воры «вправду» старались скрыться: иначе какая же игра? На этот раз вышло, что воры-таки успели добежать до «шаланды» (до берега моря, настоящего), но, второпях, спасаясь, бросили мешки. И Паша их понес домой, крича, свистя и грозя, что «так не оставит».

Игра до этого момента не могла, конечно, дойти в один день. Игра была одна, и действовали все те же, а приключения созидались все новые; как бы одна история длилась бесконечно. Иногда дети сами ее прерывали, чтобы завтра, с того же места, шло дальше, – новое; а иногда чей-то скрипучий женский голос издали начинал выкликать: «Кать! Лид! Са...» – и тотчас банда срывалась, убегала, явно боясь, чтоб не открыли их заветное место.

А я, на другой день, забирался под кусты раньше банды, ожидая продолжения истории. Но приключения, главным образом, занимали меня; приключения созидались, наверное, из кусочков слышанного, схваченного на лету. Сами эти маленькие люди, в их игре, меня интересовали; хотелось угадать характер каждого; то, что неизменно в нем. Расстраивало и путало, что в игре не было «добрых» и «злых». Богачи с правом копили сокровища, но бедняки с правом лезли их грабить. Всякой удаче все сочувствовали, была ли она на стороне грабителей, или поймавшего их богача...

После не совсем успешного ограбления замка (и после множества других приключений), Маша, кудрявая нянька «в рубище», надоумила бедняков выкрасть Лидину дочку: «А я прибегу разодранная, скажу – воры отдадут за выкуп, – два мешка. А мы мешки разделим». Так и вышло: дочку, опять «темной ночью», уволокли за ногу; Лидя, конечно, согласилась на выкуп, но... у нее был только один мешок, а воры, по словам коварной Маши, требовали два. Подумав, Лидя побежала в замок. А так как Паша остался неумолим, то Лидя незаметно стащила у него недостающий мешок, спрятала за спину и побежала к няньке: «Неси за бэбичку». Это был ужасный момент: богач кражу заметил и уже быстрыми шагами, с криком, шел по улице к Маше, – сокровища она держала в руках. Если и успеет улизнуть, я предчувствовал ос-

ложнения: по своему характеру Маша не захочет делиться сокровищами с бедными ворами, Колей и Сашей, а непременно придумает их как-нибудь надуть...

Увы, увы! Никто из нас не узнал, что было бы дальше! Будто нарочно, в эту самую минуту раздался зовущий скрипучий голос (гувернантки? тетки?) – и раздался так близко, что испуганная банда опешила, а потом сразу, кучей, ринулась прочь. Едва успел Паша забросить мешки в будку. Воры, мгновенно покинувшие «тайную пещеру», убегали, конечно, с остальными, дочку волочили за что попало.

Мир игры угас во времени. Ничего, возникнет. Опять будет длиться. Такая уж игра, что ей концов нет. Бросить только можно. Да маленькие люди не скоро бросают затеянное.

На другой день шел проливной дождь. Я все-таки наведался на скалу. Никого не было. Завтра? Но холодные дожди зарядили сплошь, – конец августа, конец сезона. После ненастья, хоть и наступили опять ясные дни, – уже не летние, осенние, с хрустальным небом и черно-синим, серьезным морем, – а излюбленное место оставалось пустым.

Я лежал в моей сырой выемке, глядел на почерневший от дождя замок-будку, никого уже не ожидая (их увезли всех, очень просто!). И вдруг... знакомые тоненькие голоса: «Ден-ден-ден...» – издалека, все ближе, – а вот и сами они, – Катя – Паша – Маша, Лидя – Коля – Саша. Все налицо, с «дочкой», в теплых вязанках, в шапочках. Как будто те же; но по озабоченным мордочкам, по тому, что они не подбежали, а солидно, держась за руки, подошли к месту, я понял, что явились они в последний раз. Вряд ли знали, зачем: проститься ли с любимым местом, или с игрой, или, может быть, в распоследний разок все-таки поиграть? Если и да, то продолжением старой истории эта игра не будет, подумал я, когда все шестеро сели смирно кружком. Куклу-дочку Лидя держала на руках.

Посидели. Вдруг Паша вскочил, бросился в замок, принес четыре мешка (промокших) с сокровищами, один отдал черненькой Лиде, а свои 3 положил на песок: «Вот что. Мне надоело быть богачом. Скучно «их» всегда сторожить. И некогда. Я буду знаменитый ученый, буду делать открытия. А сокровища я всем разделю поровну». Но Лидя положила свой мешок к Пашиным: «Я делить не хочу. Мне ничего не нужно. Я буду странница. И дочки не надо».

Положила куклу к мешочкам, но толстенькая Катя потянула ее к себе: «Отдай мне. А делить и я не хочу». Коля и Саша тоже не захотели дележа. Коля объявил, что он будет «великим живописцем», а у великих живописцев не бывает сокровищ. Саша станет укрощать диких зверей, ему тоже некогда за сокровищами смотреть.

Белокурая Маша, когда-то нянька «в рубище» – хихикнула: «Я бы взяла. Зачем поровну, никто не хочет. А я бы все взяла. Я люблю быть богатой». Тут вдруг поднялся неожиданный шум. Катя беспредметно визжала, Паша свистнул, а Коля орал: «Это чтоб опять богачиха? Чтоб нам опять тебя грабить? Нет уж, дудочки, надоело!». «Так в море их побросать? – кричала Маша. – А я чтоб опять бедная, когда я не хочу?».

Я боялся – передерутся, и по-серьезному. Но Паша загрохотал мешками, а Катя, по его знаку, такой визг подняла, что все примолкли. Сидели в недоумении. Наконец, Паша сказал нерешительно: «Я вот что придумал. Поровну, правда, не стоит. В море бросать тоже глупо. Тогда все будут бедняки... А надо так, чтоб бедняков особенных не было, и богачей особенных тоже. Пусть сокровища будут забронированные». «Ну, и потом?» – фыркнула Маша. «А потом, сколько кому на свое сейчас нужно, ровно столько пусть берет. Кате, например, дочку воспитывать. Коле нужно на краски. Или мне, лабораторию строить. Только надо согласиться вместе». Опять зашумели, но одобрительно. «А Машу совсем не подпускать, – кричал Саша. – Она все возьмет, ей для богачества, ей ровно все нужно!».

Лидя заступилась за Машу: не совсем не подпускать, а только следить строго. Сама Лидя ничего не может взять: нельзя страннице, если настоящая.

Так и согласились, – наспех немножко; ранние сумерки надвигались, а надо было «забронировать» сокровища: зарыли их, в песок, под старой будкой. Окончив дело, повеселели, взялись за руки, побежали. По привычке, завели и песенку свою: Катя – Паша – Маша... Лидя – Коля – Саша... динь-динь-динь...

А я, слушая замирающие тоненькие голоса, думал, что с концом своей прежней игры маленькие люди, пожалуй, поспешили. Не успели сообразить, что «так на свете не бывает».

МОТИВЫ

Парижский рассказ

Солнечным утром я сидел в парке Монсо с приятелем, довольно известным французским адвокатом. По соседней аллее, мимо, опять прошла эта пара. Я спросил приятеля:

– Не знаете ли, кто они? Вижу их здесь часто. Какие трогательные старички!

– Конечно, знаю. Это мой давний друг, отца моего еще друг, с женой. Я вечерком к нему иногда захаживаю.

Он замолк, а я все еще следил глазами за обоими, уже чуть видными сквозь зелень. Но я встречал их и совсем близко. Она — маленькая, толстенькая и ходит уже плохо. Он — высок, сух, прям. Так прям, что, казалось, совсем не может сгибаться. Она кое-как завернута в черное. Он — почти элегантен; седые усы, черные брови; лицо — не знаю даже, суровое ли: спокойно-неподвижное, словно вырезанное из камня. Он мог бы шагать широко, но идет тихо: для нее. И она, — слишком ей высоко идти под руку, — она неизменно держится за его рукав. В этом держании за рукав что-то пронзительно трогательное и нежное. Оба молчат; ее маленькое темное личико склонено вниз. Я даже не рассмотрел его, такое оно... уснувшее. Да, да, именно уснувшее.

— Как они, должно быть, счастливы! — заметил я. — После долгой жизни встретить вместе спокойную старость, — не истинное ли счастье?

— Счастье? — задумчиво повторил мой приятель. — Что есть счастье? Вопрос, равный другому: что есть истина? Ну, а если без философствований, так скажу вам: редко встречал я людей более несчастливых, чем вот этот мой друг и его жена. Бывает ведь, вцепится в кого-нибудь судьба, да и бьет с молодости до гробовой доски. Еще старается не сразу убить, чтобы дольше издеваться.

— Что же с ними такое? — спросил я, заинтересованный. — Расскажите, если можно. Меня эта пара и привлекает, и умиляет... но и чем-то тревожит.

— Рассказать не трудно, да понять трудно чужое страданье. Извне, впрочем, всякий поймет; только вздор это — так понимать... Но бросим рассуждения, слушайте; и начну я с самого начала. От отца еще слышал, и, зная моего друга, знаю, чем было для него вот это: в самый день свадьбы его невеста сгорела живой. Он долго болел, потом весь ушел в работу. Через десять лет женился на старшей сестре своей невесты, уже немолодой и некрасивой девушке. Родился сын: ему оба отдали душу, особенно несчастная женщина. Несчастная одной этой любовью, слишком острой, сверхматеринской какой-то. Ревновала сына ко всему и ко всем. Особенно к молодой жене (он женился рано). Тут, пожалуй, была права: через два года молодая женщина бросила мужа, ребенка, уехала с кем-то в Америку, где вскоре погибла от несчастного случая. Марсель, талантливый ученый (кстати сказать, мой близкий друг), так потрясен был уходом и смертью жены, что сам едва не погиб. Мать его отстояла: будто второй раз родила. «Il n'y a que maman» *, — говорил он. Но... тут произошел взрыв земного шара: война! Марсель ушел в первые же дни. И знаете: много я мужественных матерей видел, а такой, как «maman» Марселя — не видел. У нее, думается,

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* «Есть только мама» (*фр.*).

нож в сердце сразу вошел, и с ним, с холодком его, годы войны она и ходила; но ни звуком не пожаловалась – никому.

Все годы Марсель пробыл на фронте в самом огне и – ни царапины. Убили его только перед перемирием, чуть не накануне. Не наповал, часов 12 еще мучился.

Мать – не знаю, как это выразить: точно «изумилась» раз навсегда: застыла, заснула в изумлении. Продолжала жить, потихоньку, мало говоря. Сядет около мужа, и сидит, и ничего, будто ей только это и надо. Он – вдвойне страдал, и за себя, и за нее, очень живой еще был. О маленьком Рожэ, оставшемся у них, сколько мог заботился. А она – и к внуку относилась странно: как к чужому ребенку, сына в нем точно не узнавала.

Рожэ, мальчик смышленый и красивый, вырастал на полной свободе. Особых склонностей у него, по-видимому, не было. Оксфорд надоел ему раньше года. К родным чрезмерной привязанности не выказывал, жизнь вел независимую. Я, признаться, мало им интересовался: слишком походил он на обычного молодого человека наших дней, послевоенных, – из состоятельного круга. В деньгах отказа ему и не было, хотя больших капиталов мой друг не имел. Состояние же Рожэ, от матери, дед-опекун хранил неприкосновенным до совершеннолетия внука.

Меня не было в Париже, когда оно наступило. Вернувшись, я узнал новость: Рожэ потребовал от опекуна отчетов, сдачи ему всего капитала, после чего съехал от стариков и живет отдельно. Друг мой, всегда сдержанный, показался мне неспокойным; но я его не расспрашивал.

Теперь скажу кратко: Рожэ в два года растратил буквально все свое немалое состояние. Аппетиты не уменьшались по мере таянья денег, и когда они растаяли, Рожэ показалось, что это случилось как-то внезапно. У него была уже куча долгов, но он и это еще заметить не удосужился, когда, в один прекрасный вечер, торопясь в клуб, увидел, что в кармане у него пусто. Это был неприятный толчок. Деньги ведь нужны и завтра, и послезавтра... Дальше послезавтра он не задумывал.

Что это за монстр легкомыслия! скажете вы. Мог бы сообразить раньше, рассчитать... Ну да, только сейчас Рожэ торопился, главным образом, туда, где его ждали. Как быть, однако? Вспомнил, что на этой же улице магазин знакомого деду антиквара. Зайти к нему? Было не поздно, но в старой узенькой улице светились только два окна лавки. Старик был там один. Удивился. Но при имени моего друга решил, вероятно, что с молодым человеком произошла случайная забывчивость, открыл конторку, сто франков достать.

Когда наклонился, Рожэ острым старинным пресс-папье ударил его по темени и рассек череп. Старик упал не охнув. Но из осторожности

Рожэ еще ударил его раза два, выгреб все, что было в конторке, осмотрел себя, не запачкан ли кровью, и вышел, не забыв потушить свет.

Вечер он провел, как предполагал, да и следующие, ибо взятых денег оказалось немало. Как все открылось — не стану рассказывать; далеко не сразу, и могло бы даже не открыться новое. Но когда Рожэ взяли, он ни минуты не запирался: рассказал все точно, как было. Защищал его очень известный мэтр; и я. Но приговор оказался самым суровым — смертным. Нас это не особенно испугало: осужденный — юноша, к тому же сын павшего в бою; да и убийство было не заранее обдуманное (оружие — случайное пресс-папье). Мы решили опротестовать приговор; в крайности — просьба о помиловании не могла не иметь успеха. Но нас ждала неожиданность: Рожэ объявил, что не подпишет ни протест, ни просьбу. Все наши уговоры разбивались о его «не хочу». И был при этом ни угрюм, ни нервен: спокоен, только молчалив.

Сроки, однако, истекали. Я решил сделать последнюю попытку. Увидаться с ним наедине. Скажу откровенно: помимо боли за старика, я чувствовал интерес и к самому Рожэ: он был для меня загадкой.

Встретил меня просто. Я опять заметил, что он, похудев, потемнев в заключении, удивительно стал напоминать отца.

— Послушайте, Рожэ. Мне, право, непонятно: почему вы так упрямо хотите умереть? Может быть, здесь, в одиночестве вы обдумали... Вы жалеете... Ах, если б вы знали вашего отца!

— Я знаю все о нем. А что ж жалеть? Раскаиваться? Это судьба. Я отлично мог не попасться.

— Да нет! Я о том, что вы, ведь, убили...

— Отец тоже убил. И не одного, вероятно.

— Что вы говорите? — ужаснулся я. — Какое же сравнение? Отец ваш жертвовал собою...

— То есть шел на риск. Мог и не проиграть. Проиграл — заплатил. Так же и я, раз проиграл. А вам аналогию заслоняет разница мотивов. Вы все не действия судите, не факты, а мотивы. Какой смысл? Условность старая. Допустим, у отца свои были мотивы, у меня свои, но если факты одинаковые, — что это меняет?

Признаться, я даже не нашелся сразу что ответить. А Рожэ добавил, подняв на меня карие глаза, — совсем отцовские, только пустоватые какие-то:

— Вот и не уговаривайте меня больше. И другим скажите. Что ж, не всегда бывает удача. Я вполне мог бы не попасться. Не удалось, попался, — о чем еще разговаривать?

Так и кончилось. Скажу еще, что своеобразного своего мужества Рожэ не потерял до... до последней минуты. Старику я о нашем свида-

нии тогда и не рассказал. Очень он изменился. Будто жизнь в нем медленно стала иссякать, усыхать. Сначала все боялся, как бы до старушки чего не дошло. Но, пожалуй, напрасно боялся: она как во сне жила; о Рожэ, верно, и забыла. Только от старика своего ни на шаг. А раз, говорил он мне, сидела она здесь на скамейке, и сзади мальчишеский голос закричал: «Maman! maman!». Она, словно разбудили ее, позвали, встрепенулась, заторопилась... Ну, он успокоил.

Вдолге, уж через год, я старику о свидании с Рожэ и о «мотивах» рассказал. К слову пришлось, о современности мы говорили. Старик слушал, молча. А я увлекся, и у меня вырвалось жестокое слово:

— Ведь он с малых лет у вас, ведь вы же его воспитали!

Старик продолжал молчать. Потом поднял усталые руки и сказал спокойно:

— Нет, дружок. Было воспитанье, только не мое. Мальчика моего воздух новый, сегодняшний, воспитал. Это, вот... насчет «мотивов»... это в воздухе.

Я хотел, было, возразить, но он продолжал, не слушая:

— Чтобы судить мотивы, нужно воображенье. А теперь нет воображенья: теперь его дальше, чем на нынешний день, не хватает. Актуальность. Факты. Ими живут, ими и судят. Когда же еще мотивы разбирать, о мотивах думать?

Он опять замолк, и мы больше не разговаривали.

— Вот вам и вся история «счастливой» пары, — сказал мой приятель с улыбкой. — А теперь пора завтракать.

Мы встали и пошли к выходу. Мне по-новому припомнился высокий старик и державшаяся за его рукав маленькая спутница.

— Да, — сказал я, в раздумьи. — Зато теперь старичкам вашим уж ничто больше не страшно. А насчет современного уравнения мотивов, — то, когда они окончательно сравняются, и мы с вами будем, пожалуй, в таком упрощенном обществе, довольно несчастны. Как вы думаете?

Приятель мой, усмехнувшись, произнес ободряюще:

— Думаю, не будем. Успеем, думаю, умереть к тому времени.

ТАК СЛУЧИЛОСЬ

Уже в сумерки, — позвонили. Я отворил дверь и с недоумением посмотрел на незнакомую даму в темном.

— Не узнаете? — тихо сказал она. — Я Нератова. Кузина.

Нератовы – знакомая семья, где я бывал, изредка. Но посетительницу я все-таки не узнавал.

– Я так, случайно к вам... Я Ольга Петровна.

Тут мне припомнилось, что у Нератовых живет их дальняя родственница. Мне даже рассказывали, что она приехала в Петербург учиться пению. Но, вместо консерватории, поступила в банк, и так и осталась в Петербурге. Незаметная, уже не молодая девушка. Я с ней слова никогда не сказал. Можно было удивиться визиту! Провел ее, однако, в кабинет. Когда зажег лампу и взглянул гостье в лицо, – оно меня поразило. То же лицо, – я его уже вспомнил, – бледное, смуглое, в юности, верно, красивое, но увядшее, с тенью над резко очерченными губами, – это лицо, теперь, было совершенно мертвое. Никогда не видал я такого лица у живого человека. Черные глаза были матовые, как у большой мертвой птицы. Я не знал, что сказать, но она сама тотчас заговорила, ровным, – тоже будто мертвым, – голосом.

– Случайно зашла к вам, по дороге. Увидела дом, вспомнила и зашла. Вы мне самый посторонний человек, как и я вам. Человек вообще. Кто-то. «Кому-то» мне вдруг и понадобилось сказать, что через полчаса я умру. Совсем. Должно быть, так бывает, когда знаешь, что наверно один и сейчас один умрешь.

Она улыбнулась, – лучше бы не улыбалась: оскалилась, раздвинув губы. Я молчал.

– Сказать «кому-то» – это почти никому, но надо все сказать: ведь уж заботы нет ни о чем. Мой жених... он три года был моим женихом. В нашу любовь я положила всю жизнь. Неделю тому назад вдруг написал, что, хотя и не признавался, но давно уж не любит меня, а любит молодую девушку, Марусю Рязанцеву. Надеется, что наше обручение как было тайным, так и останется. Я называю имена, потому что какое теперь имеет значение, что меня зовут Ольгой, его невесту Марусей Рязанцевой, а того, кого люблю, Алексеем Ден?

Она опять улыбнулась – оскалилась, а я пришел в некоторое остолбенение. Не от банальной любовной истории, конечно, в которую меня неприятно впутывали, а от того, что Алексея Ден, – Лелю Ден, – я знал; одно время мы были даже приятелями. И теперь изредка встречал, – не у Нератовых: что там делать блестящему гвардейскому офицеру, известному общему баловню и красавцу? И он – жених этой старой девы, Ольги Петровны? Уж не бредит ли она? Всю историю выдумала, в нее поверила, и сейчас на границе безумия. Однако, что Леля ухаживает за Марусей, я уже слышал, и Марусю видал, в каком-то артистическом кружке: девица-модерн, тогдашнего, предвоенного времени: живая, смелая, избалованная. Мне она не нрави-

лась, была в ней какая-то фальшивка, но Лелю я понимал. Вот насчет Ольги Петровны не понимал. Она, между тем, продолжала свое:

– Не велел писать ему, но я написала, о свиданьи просила, чтоб он мне это живым голосом сказал; что мне так нужно. Вернул письмо, с припиской: «А мне не нужно. Не пиши, больше не отвечу». Но я еще раз написала; мне, главное, чтоб он никак меня не боялся. Я ничего ему худого не желаю и не сделаю, и к Марусе нет у меня зла. Да и себе самой дурного я не хочу. Никто не повинен, что я умерла. Случилось. А случилось – мое дело одно еще, маленькое, – докончить. Думала, как? Фонтанка лучше всего, выбора ведь и не много. А там есть одно местечко... К нему и шла; к вам – по дороге: тоже так случилось, чтоб кому-то сказать. Сказала – теперь пойду.

Поднялась сразу, словно на пружинах. Но тут я, полунеожиданно для себя самого, схватил ее за руку, дернул опять на стул и начал грубо на нее кричать.

– Сидите! Я ваши глупые ламентации слушал, извольте и вы меня послушать! Потом можете убираться ко всем чертям. Коли правда, что Лелька Ден хотел на вас жениться, а не навообразили вы все это себе, – молодец он, что вовремя отъехал! Потому что вы шантажистка, да! Я знаю, что говорю!

Но, по совести, не очень знал, и отчего так кричу на нее – тоже не совсем знал. В конце концов, эта нератовская родственница, эта Ольга Петровна, с ее судьбой, была мне глубоко безразлична. Но действовала, должно быть, невыносимая неприятность мертвого лица, такая невыносимая, что где уж тут сдержаться. Кстати и мысль мелькнула: если передо мной истеричка, – с ними надо строго. И я продолжал орать:

– Скажите пожалуйста! Такая любовь у нее, что чуть не по ней – готово, умерла от любви! В Фонтанку идет, «доканчиваться»! Как оригинально! Черта вы там любили, только не Лелю и не другого кого, – себя, себя в первую голову! Я Лельку не сужу; каков ни на есть; но вы, ежели не врете, не навыдумывали, а вправду были его невестой, – за что вы на его плечи себя, утопленницу, наложить хотите, – таскай всю жизнь! Это любовь? Любовь?

Она покорно не двигалась. Смотрела на меня широко раскрытыми, черными глазами. И мне показались они уже не такими матовыми: что-то вроде испуганного внимания в них было, и лицо от этого изменилось. Чуть заметно изменилось, но мне стало легче, и я невольно снизил тон.

– Все повторяете: случилось. Вот это, мол, случилось, вот так случилось. Да много мы понимаем, что такое с нами случается, что завтра

случится? Если б вы на месте умерли, ну, можно бы сказать, что это с вами случилось. А то, не угодно ли, будто случилась смерть, да надо еще случай доканчивать, самовольно в Фонтанку лезть! И все потому, что вы, вы, Ольга Петровна, гвардейскому офицеру не нужны оказались...

— Вы его знаете... Лелю?

— Да-с, знаю. И, поверьте, он в тысячу раз приятнее мне, понятнее гораздо. А вы... да делайте, что хотите, не красуйтесь только собственной любовью: права не имеете! Конечно, если вы больны, если все наврали... Ведь дико же: вы и Леля Ден! Ведь он вас лет на 5–6 моложе.

— Я правду, нет, я правду... — сказал она, вдруг всхлипнув, положила голову на согнутую руку, на стол, и заплакала. Не истерически заплакала, — тихо, горько, и все старалась, другой рукой, не подымая лица, вытащить из жалкой сумочки платок. А мне от этих слез стало отдохновенно, почти весело. Я уж не думал, что она «наврала». Но это все равно. А вот мертвечины этой перед собой я больше не увижу! Так не плачут те, кому осталось себя «доканчивать».

Ничуть, однако, не разжалобившись, я не перестал ей твердить, повторять примитивные вещи о любви, выбирая то, что на нее больше действовало. Не постеснялся высказать и несколько горьких истин о ней самой: пусть знает, что претендовать на вечную Лелину любовь не очень ей кстати... Хорошенько не помню уж, что говорил: получепуху, полуправду, — по наитию.

А кончили мы так: свободу ее стеснять не хочу, но предлагаю, если она при своем решении, подумав, останется, посоветовать обойтись без Фонтанки: ведь это уж недопустимо, ведь она поняла, что нельзя утопленницу на человека наваливать? Вместе поразмыслим, как сделать, чтоб он никогда ничего не узнал; я помогу.

Говорил я это честно, однако честно прибавил, что, по-моему, смерти с ней не случилось, доканчивать нечего и что она, как я вижу, сейчас и сама это понимает.

— Весь вопрос: любите ли вы его? Чувствуете любовь, значит живы. Нет — другое дело.

— Люблю, — тихонько сказал она. — Да, я понимаю... кажется, понимаю. Я не знаю. А вы мне верите? Верите, что сейчас не пойду... туда?

— Твердо верю. Будете упорствовать, я от слова не отказываюсь, совет дам, на свободу вашу не посягну, даже хоть и на своеволие ваше. А до тех пор... верю, что по глупому своеволию ничего не сделаете.

И она ушла.

Я оставался еще в Петербурге, но больше ее не видел.

Потом я уехал на несколько месяцев. А потом – война, и дальше, дальше... Я потерял из виду почти всех, кого знал, даже тех, кто был несравненно мне ближе Лели и какой-то Ольги Петровны. Этих я, потеряв, и забыл совсем. Ни разу, кажется, не вспомнил.

* *
*

Светло-серый, зимний, парижский день. Я шел по одной из бесчисленных новых улочек в районе Мюэтт, где всегда так тихо, пустынно, безветренно и пахнет цементом от недоконченных домов.

Я шел даже не по тротуару, – прямо по дороге, потому что и направо, и налево была стройка. Шел не торопясь, однако идущих впереди незаметно обогнал и был уже шагах в пяти от них, когда вдруг услышал свое имя. Остановился, обернулся к окликнувшей меня старухе. Таких старух и стариков я встречал в этих местах на каждом шагу. Идут-ползут по двое, мало различимые, только либо она за него держится, либо он за нее. За мою старуху, крепкую, бодрую, жилистую, явно держался ее спутник: он горбился и слегка волочил ногу.

– Здравствуйте, – сказала старуха почти весело. – Узнала-таки вас! Не сразу, да ведь сколько воды утекло! Я Ольга Петровна. Забыли Петербург? Кирочную, где квартира ваша была? Я-то помню!.. А это Леля. Леля, что ж ты давнего приятеля не узнаешь?

Он поднял сухое лицо, обросшее жесткой серой бородой, и протянул мне руку. А у меня в голове, как в синема, все завертелось назад, назад... да неужели? Неужели это Леля? А беловолосая дама, которая так оживленно мне что-то рассказывает, блестя темными глазами, и совсем не замечает моего удивления, – неужели та самая Ольга Петровна, случайная моя посетительница с мертвым лицом?

– Проводите нас, вот тут, за углом, лавочка наша: новенькая. Прогорают нынче многие, а мы ничего, понемножку. Конечно, я больше, но и он тоже. Здоровье только у него, ну да что ж, после всего, после всех этих ранений. Теперь, слава Богу, может пожить спокойно. Так хорошо случилось.

– Все ты... – произнес старик и с привычной нежностью поглядел на свою старуху.

Я проводил их до чистенькой лавочки, где лежали, в окне, огурцы, колбаса, пирожки.

– Заходите как-нибудь, – приглашала Ольга Петровна. – Вот я вам порасскажу! Чего только с ним, да со мной, не было!

Но я уже и так, на пути к лавочке, понял главное. Понял, что любовь у Ольги Петровны была настоящая и что любовь эта была нужна.

РАДИ МАШЕЧКИ

Роман Иванович Никитин отпустил шофера; с заседания торгового русско-французского общества, где был членом, он часто возвращался пешком. Приятно пройтись по темным левобережным улицам, а то и завернуть на светлые, шумные, выпить кружку пива в каком-нибудь кафе. Главное – домой его не тянуло, в удобную и уютную квартиру; порядок, довольство и такое одиночество! Человек деловой, прямой, как будто суровый, – жизненным одиночеством он всегда тяготился, а теперь, к старости, особенно. Да что будешь делать!

В кафе, куда зашел Роман Иванович, было шумно, тесно, душно и как-то выпукло, до наглости, светло. Публика самая разнообразная и привычно одинаковая; Роман Иванович любил смотреть так, видеть всех – и никого. Любил и слушать говор вокруг – и не слушать. Но вдруг русская фраза, благо сзади него произнесенная, и другая, ответная, остановили внимание. Не обернулся; он видел в зеркале очень ясно сидевшую за ним компанию. Глаза у Никитина были зоркие, слух тонкий, да и компания, говорившая вперемежку то по-русски, то по-французски, ничуть и не стеснялась; плотный старик с аккуратно подстриженной седоватой бородкой, прекрасно одетый, сидящий к тому же спиной, ее не занимал.

Четверо: 3 молодых человека, на первый взгляд неразличимые, – с подклеенными волосами, с четвероугольными плечами, – и барышня в темном берете, очень молоденькая, очень бледная. Приподнятая верхняя губка давала ее лицу презрительное выражение. Барышня и один из компании были, кажется, французы: лишь двое других перекидывались иногда русскими словами.

«Саврасы», – подумал Роман Иванович, прекрасно зная, впрочем, что название это не совсем подходит к известному ему типу «кофейной» парижской молодежи. Тип вообще неопределимый. Молодые люди без занятий и не желающие никаких занятий, живущие изо дня в день «pour s'amuser» *. Социальное, семейное и материальное положение малую играют роль: обычно все это среднее, бывает и ниже среднего, и выше. Поглощенные главной целью, они изобретательны в изыскании средств; не брезгуют никакими; и тут уж все зависит от случая и ловкости. Но длительных удач не бывает, так как остановиться ни на какой уже нельзя.

Все это думал Роман Иванович, следя в зеркало за молодой компанией, и тут же осудил себя за суровость: «Что это, Господи, да чем они, такие, виноваты? Особенно русские, мало ли брошенных, сызмальства

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* «ради развлечений» (*фр.*).

непритык? И времена-то какие нынче! Сколько пропащих зря. Хотя бы Никаша Машечки покойной, где-то он, бедняга?».

Любимая «Машечка» – была вдова Чалова: Роман Иванович женился на ней во времена войны. В первый же год эмиграции, в Берлине, она бросила Никитина ради немецкого офицера Типица, лет на десять ее моложе, ушла к нему, вместе с маленьким сыном. Когда, через несколько лет, Роман Иванович услышал стороной (на письма не отвечала), что она умерла, поехал в Берлин, из Парижа, но ничего толком не добился; и куда девался Типиц с пасынком, так и не узнал.

Молодая компания, между тем, болтала все оживленнее. Обсуждался какой-то блестящий план.

– Нет, ты простофиля, mon vieux*, – сказал русский молодой человек постарше, черноволосый, с кривым и нагловатым лицом. – Упустил тогда «боперчика» номер второй... да я бы сам лучше на американке той женился, а не позволил бы себя rouler!**

– Ну, эти коровы, – проговорил, морщась, другой, тонкий, блондинистый, с синими подглазниками. – Да и разве я мог тогда жениться? А про этого, ном. 1, у меня из головы вон. Недавно только, случайно, узнал... И сообразил...

– Главное, все заранее установить, – сказал первый. – Ты расскажи толком, вместе обдумаем.

Заговорили по-французски. Героем предприятия оказывался блондинистый юноша. Он был полон надежд. Молодой француз настаивал, что тут нужно знать психологию «старика» и с ней считаться. Если он, действительно, сентиментален и действительно богат... Но он может быть хитрым деспотом...

– Не беспокойся, – кричал блондинистый. – Я даже письма его к ней открыл. Чувствительнейшее сердце. Не то, что этот ном. 2, которому я был так глупо поручен! На этой струнке и будем играть. На днях, вы увидите...

– J'aurai mon renard, Nick?*** – сказала, не улыбаясь, барышня с презрительно поднятой губкой.

Опять заговорили сразу, и блондинистый, – что renard! А вот, если удается ауто добыть, да в Sable d'Olonne вместе, pour une quinzaine...**** Да и тем не кончится. Ведь все известно...

Много еще говорили, подробно. Роман Иванович, не отрываясь, смотрел в посиневшее от табачного дыма зеркало. Когда в первый раз

* старина (*фр.*).

** облапошить (*фр.*).

*** Будет ли у меня лиса, Ник? (*фр.*).

**** на две недели (*фр.*).

у него стукнуло, толчком, сердце и холод побежал по спине вниз, он подумал: «Вот, говорят, не бывает...» — но додумал уже без слов, — мгновенным представлением: «Говорят, что не бывает случаев таких, встреч случайных и узнаваний; а вот — бывает же, потому что ведь это, блондин этот, Машечкин Никаша. И говорит он обо мне, — это я бопер ном. 1, богатый и чувствительный, и это у меня он придет денег просить для своей компании, для ренара для девицы; и психологию это мою они обсуждают...».

Сомнений у него не было, да и не могло быть: слишком обстоятельно рассказал все блондинистый; иные подробности были Роману Ивановичу неизвестны, но все связывалось. Да теперь он уж и узнавал белые Никашины ресницы, — Машечкиного диковатого мальчика в развязном молодом человеке с подклеенными волосами.

Заплатив за недопитое пиво, Роман Иванович тяжело поднялся и, не обернувшись, вышел.

* *
*

Дела, конечно, не ждали; они и шли своим чередом, но около дел была, в эти дни неотступающая мысль о Никаше. Роман Иванович, человек справедливый, прямой и решительный, впервые, кажется, находился в смятении и не знал, как ему, по справедливости, с Никашей быть. Он когда-то вел немалые дела с заграницей, считался, в коммерческом мире, одним из дельцов самых надежных и честных; состояния, попав в эмиграцию, не потерял, с течением времени приумножил; но сказать, что гонялся за деньгами, никак было нельзя. Имел только руку легкую, и когда деньги шли, заботился, главное, распорядиться с ними умно и по справедливости. Беду с Машечкой принял мужественно, — воля Божия, сердца не насилуешь! Обеспечил ее с мальчиком (да у нее и свои деньги еще были). А вернулась бы — с любовью назад бы принял. Но не вернулась. Ища потом следов, Роман Иванович не раз думал, что мальчика хорошо бы к себе взять. Ради Машечкиной памяти, образованием его озаботился бы, в люди вывел бы; пригодилось бы тогда имение его, и опыт; да и утешение какое в одинокой старости.

Давно это было. И вот когда только нашелся Никаша! Ему уж теперь под тридцать. Роман Иванович слишком хорошо знал жизнь и людей, чтобы после встречи в кафе обманывать себя насчет Машечкиного сына. Не переделаешь его. Но... как все-таки быть с ним теперь «по справедливости»? Ведь он придет.

Никаша пришел дней через пять. Было воскресенье. Роман Иванович лег, было, отдохнуть после завтрака, — встал, принял его в кабинете. Принял спокойно; не удивился, что молодой человек из кафе был

теперь одет нарочито бедно: грязный пиджак, рваные башмаки. «На психологию бьет», – подумал Роман Иванович. Спокойная встреча несколько смутила Никашу; рассчитывал, очевидно, что старик будет потрясен и тронут, – старики ведь живут воспоминаниями! Быстро оправился, впрочем, и начал плести свою историю, пока Роман Иванович мысленно отмечал, где он вставляет в густую кашу лжи изюминку правды.

«Когда мама умерла, я в русской гимназии учился, в берлинской, – частил Никаша, похлопывая белыми ресницами. – Потом Типиц меня взял, в Париж с собой повез; опекун он мой был. Мама не хотела, вам меня хотела бы поручить, я знаю... Но Типиц такой... он не желал вас искать. Наконец, женился, внезапно, и в Америку уехал. Оставил мне пустяки, я не знаю... Я вынужден был искать работы, – чего только не делал! Наконец, совсем остался без куска. Все время искал вас... как мама велела. Едва вчера, по чистой случайности... Ни души знакомых здесь...».

– Та-ак, – прервал болтовню Роман Иванович. – Вы с Типицем деньги, значит, прожили. И теперь ни души у тебя знакомых? Чего же ты от меня хочешь?

– Ясно, кажется, – уже с некоторым раздражением произнес Никаша, уставший скромничать. – Вы человек состоятельный... И мама ни минуты не сомневалась...

– Ну, мать оставь, – сдвинул брови Роман Иванович. – Каково мое состояние тоже тебя не касается. А ежели правда ищешь работы... – остановился, поглядел гостю в глаза, – я могу в конторе моей тебя занять... под началом доверенного моего человека. Он увидит, что ты умеешь и какое твое старание. У нас баклуши не бьют.

Сказал – и опять поглядел, пытливо и грустно.

– Но я не понимаю... – уже не без наглости заговорил Никаша. – Я желал бы докончить образование... И мне надо экипироваться. Я решительно не понимаю. У меня есть ваши письма к матери...

– Это оставь, говорю тебе. И какое теперь еще образование.

Роман Иванович ясно видел, что Никаша не остановился бы и перед шантажом, имей на то возможность. Да и резонов у него нет, которые бы перед чем-нибудь его остановили, когда сулится желанное. Видел ясно и другое: невозможность устроиться с ним «по справедливости». Так, чтобы самому-то Никаше не было скверно. Временные подачки? Не жаль, да ведь они только раздразнят его, с компанией, аппетиты; дальше – больше, закрутят во вранье без конца-краю, – до чего доведут? А ежели все прямо, сразу, отрезать... ведь на каком пути скользком лживый этот парень, не очень, притом, умный и хитрый, до чего он докатиться может, в подходящей-то компании? Жалко парня,

9 Зак 4570

вины на нем нет, и Машечкино ведь рождение... «Нет, где уж по справедливости, — стиснув зубы, думал Роман Иванович. — А просто ради Машечки как-нибудь»... Готов был на все, даже мелькнула мысль взвалить его на себя, неустанно следить, действовать строгостью, лаской, убеждением... только знал, что и не по силам это, и бесполезно.

— Вот что, Никандр Степаныч, — сказал он устало, поднимаясь с кресла. — Ты мне достаточно врал, и психологии этой со мной больше не разводи. Надумаешь работать — место в конторе будет. Вознаграждение по заслугам. Как решишь — хоть завтра являйся, а даром ко мне больше не ходи, тебя и Василий мой не примет. На экипировку не дам. В конторе не на балу... да у тебя, верно, есть сапоги поцельнее, — прибавил он с улыбкой. — Прощай покуда.

Тон у старика был такой для Никаши непривычный, что он как-то осел и только бормотал злобно, пятясь к дверям:

— Не понимаю... Вы безобразно поступаете... Этому имени нет... Я этого так не оставлю. Я вам не чужой... Вы хоть бы ради матери моей...

— Поди. Поди. Я сказал. Сам посмотришь. Сообразишь.

Когда Никаша, сопровожденный бравым служителем Василием, ушел, Роман Иванович долго еще сидел у стола, склонив голову на руки, прикрыв глаза, и шептал про себя: «Ради Машечки покойной... Ради нее... Что деньги эти, на кой? А как ради Машечки-то мне быть с ним?».

ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Рассказ о рассказе

Это рассказ о «рассказе». Притом не выдумка, а рассказ о действительном происшествии с одним из моих действительных рассказов, недавно напечатанном в воскресном номере известной парижской газеты.

Рассказ назывался **«Так случилось».** Он-то был сплошной выдумкой (что следует запомнить); и содержание, — я передам его вкратце, ниже, — не так важно, как то, что с этим рассказом в самом деле «случилось». Случай любопытный, за всю мою долгую литературную практику — первый; сколько сотен рассказов у меня написано — я даже не припомню; а ни с одним этого не было. Что касается других авторов-беллетристов — тоже не слышно; разве если целую анкету устроить, то можно бы узнать, бывал ли с кем-нибудь подобный случай.

Однако к делу.

Всякий знает, как трудно, по нынешним временам, русскому литератору — просто, что-нибудь напечатать. Журналов нет, газет — по-

чти, в каждой свои постоянные сотрудники, давно приспособившиеся или во всех отношениях совпавшие с обликом данной газеты; литератору просто, как я говорю, особенно давнему, привыкшему к известной свободе в старой России, надо сначала пораскинуть умом: скажешь что-нибудь, хотя бы устами героя, что может показаться не вполне совпадающим со взглядами газеты, и пропала работа. Или выйдет на несколько строк больше определенного их количества — тоже пропал случай заработать. Вот и прикидываешь заранее, чтобы и размер — по условиям, и содержание как можно безобиднее. Любовный сюжет самый, в принципе, безобидный; но и тут большое внимание требуется и большое усилие выдумки — сузить до явной безобидности.

Рассказ «Так случилось» был успешен, т. е. в газете появился. Выдуман, как уже сказано, сплошь. Имена, отчества, фамилии, названия петербургских улиц, — все это взято случайно, имена обыденные, фамилии придуманные. Содержание такое: некто рассказывает, что однажды, в сумерки, к нему позвонили. (Дело происходит в Петербурге, осенью, за год до войны.) Вошедшую даму рассказчик не узнает, но она рекомендуется: «Я — Ольга Петровна...» и он вспоминает, что встречал, в знакомой семье, на Васильевском Острове, какую-то незаметную, не очень красивую и не очень молодую девушку, Ольгу Петровну, с которой он, впрочем, никогда не сказал слова. Ведет ее, удивленный визитом, в кабинет, зажигает лампу, и, при первом взгляде на посетительницу, ужасается: ее бледное лицо, с черными, «матовыми» глазами, совершенно мертвое. Таким же мертвым голосом она говорит, что зашла случайно, проходя мимо, и, вероятно, потому, что «за полчаса до смерти, надо «кому-то» сказать, рассказать все, что теперь уже и ей все равно; а он именно этот «кто-то», — ведь ему тоже все равно». (У меня нет текста, пишу по памяти.) Монотонно продолжая, рассказала, что была невестой такого-то гвардейского офицера, любила его, ждала два года, верила, когда он вдруг написал, что между ними все кончено. Убедившись, что разрыв совершился, она почувствовала, что умерла; смерть уже в ней, ее дело лишь «докончить» последнее, для чего она сейчас и шла — в Фонтанку.

Слушатель, — ее «кто-то», — не прерывал рассказа; к полузнакомой женщине этой он не питал никаких чувств, но она была человек, и смотреть на еще живого человека с мертвым лицом было невыносимо. Просто самому невыносимо, вне сочувствия обманутой невесте: скорее он сочувствовал жениху, которого она назвала; он его случайно знал и удивился, что этот красивый, блестящий гвардеец был женихом такой неподходящей особы. Но тут была смерть: девушка, какая она ни на есть, может быть, глупая, может быть, истеричка, в Фонтанку-то пой-

дет сейчас кидаться; непременно пойдет, он это чувствовал. И на него нашло вдохновенье. Я, рассказывает, сам не знал, что ей говорю, чепуху какую-то нес, и кричал, главное, – на случай, что она истеричка: на истеричек необходимо, с грубостью, кричать. Стыдил ее, насмехался. – Да какая это любовь у вас, голый эгоизм! Не достался, мол, ты мне, так на, покойницей на совесть твою лягу! Неси до смерти! Ну и другое, в том же духе говорил, орал... Не удерживал, однако; не понимаешь, – иди, топись, сделай милость. Доказывай свою «великую» любовь, хотя она, мол, такая, – ничего и не стоит. Единственно, что предлагал ей, – дать себе некий срок для большого понимания; пусть, поразмыслив, опять придет, и, если в том же решении останется – рассказчик ей поможет обойтись, по крайней мере, без Фонтанки: очень уж гадко, холодно, драматично. Есть другие способы. На свободу же ее решения он не будет посягать...

Условились, в конце концов, что она еще придет. Но она не пришла. А потом рассказчик о ней забыл. Началась война, цепь катастроф... Забыты были не только полузнакомые, но исчезли куда-то и друзья, потерялись родные...

И много лет протекло, когда тот же «некто» встретил, в новом квартале парижского Пасси, на тихой улочке, странную пару. Не очень странную, он привык видеть в Париже таких медленно гуляющих старичков, друг за друга держащихся. Тут «он», чуть волочивший ногу, держался за «нее», – еще бодрую, седую старуху. И вдруг старуха окликнула проходившего по имени: «Не узнаете? Я Ольга Петровна». Ее еще можно было узнать: но как поверить, что осунувшийся, хромой и слабый старик – блестящий гвардеец, «великая» любовь Ольги Петровны? Из оживленной болтовни ее выяснилось, что у них «тут за углом, русская лавочка»; хлопот много, и «он» помогает, только «после всех ранений» не так здоров, конечно... Болеет часто...

Рассказчик проводил их до лавочки, неопределенно ответил на приглашение «заходить» и покинул «счастливую» пару в еще более неопределенном раздумии...

Вот, приблизительно, и все. Но тут-то удивительное и начинается.

Через редакцию газеты, где рассказ появился, я получаю радостное письмо от неизвестной мне дамы: наконец-то она нашла свою «кузину Олечку»! Настоятельная просьба сообщить адрес «лавочки» (единственно, что «не указано» у меня). Никаких сомнений, что я пишу именно об Олечке, Ольге Петровне: с такими малейшими подробностями описана ее наружность, ее черные «матовые» глаза, ее страстная любовь к известному блестящему гвардейцу; упомянуто даже, что она была несколько истерична... И улицы петербургские названы как раз те же, где протекала «Олечкина» драма. Ясно, что, встретив потерянную кузину в Париже, я поспешу сообщить ее нынешний адрес...

В смущении я пишу даме (она живет в окрестностях Парижа), что никакой реальной Ольги Петровны не знаю и что весь рассказ выдуман. Мне приходит в голову: или она мне не поверит, — ведь не бывает же так, чтобы все сходилось, вплоть до имен, отчества и фамилий! Или уж не истеричка ли она сама, эта дама, не выдумала ли свою небывалую «Олечку»?

Но дама пишет очень разумно, положительно. И на заверительное мое письмо о выдуманности так же разумно ответила. По-моему, она сделала вид, что верит. Еще раз остановившись обстоятельно на Ольге Петровне, ее семье, характере, на любви к этому гвардейцу и т. д., закончила, что если, мол, все у меня лишь угадано, то это благодаря моему «таланту». Очень любезно, понимаю, но — причем тут талант, и какой, спрашивается, талант может воспроизвести историю не «похожую» на действительность, а действительно точную, с точными именами, отчествами и фамилиями героев, если автор ни героев, ни истории не знал фактически? А имена взял первые попавшиеся?

Никто из разумных людей не мог мне дать объяснения этому маленькому загадочному происшествию. Некоторые, правда, нашли, что дело «очень просто»... но это оказались, увы, верующие в телепатию. Я же к подобным вещам склонности не имею, а потому и телепатические объяснения меня нисколько не удовлетворяют. Впрочем, и с точки зрения самих телепатов непонятно, зачем именно мне понадобилось что-то угадывать о навеки неизвестной Олечке и ее женихе?

Но, по правде сказать, есть что-то в этом случае и неприятное. Неприятна его необъяснимость и, главное, исключительность. Неужели ни с кем из пишущих или писавших рассказы ничего такого и в самом деле не случалось? Совпадения, конечно, были, но тут какие же «совпадения»? А вот не было ли у кого-нибудь этих же «таинственных» (и бесполезных) угадок?

Хочу думать, что были. Сколько ведь рассказчиков на свете! Если случилось с одним, значит и с другим бывало. Только, к сожалению, это мне неизвестно.

Париж

НЕЖНОСТЬ

Николай Слетов приехал к матери совершенно неожиданно. Хоть от Парижа до маленького городка всего два часа езды, навещать Анну Ивановну и молоденькую сестру Лидочку ему не часто удавалось: много работы в Пастеровском институте. Недавно, на праздниках, гостил

три дня, с женой, и вдруг опять приехал. Анна Ивановна невольно встревожилась. Ни о чем не спросила, только все вглядывалась в красивое, всегда такое серьезное, лицо своего единственного сына, вечного любимца. Сердцем почувствовала: что-то неладно.

За обедом тоже не расспрашивала, – при четырнадцатилетней Лидочке. И он был молчалив. Но когда, позднее, они остались вдвоем, Николай закурил папиросу и сказал, очень просто:

– О Варюше я беспокоюсь. Она от меня ушла.

Мать, еще не старая женщина, с нежными покорными глазами, так и осела в кресле.

– Варя? Ушла? Куда? Когда?

– Да вот уже недели две, – продолжал Николай. – Это длинная история, мама. Тебе не верится, ты ничего не знала. Я-то знал давно, только не все так понимал... как теперь понимаю.

– Нет, Николя, нет... я просто поражена. Варя! Три года жили душа в душу. Ведь как она влюблена в тебя была, отравляться даже хотела! Ведь тогда мы и узнали. После того ты и женился.

– Да, мама. И я ее полюбил, пожалел.

– Толком расскажи, не пойму я... И взгляни за дверь, – прибавила она тише, – боюсь, Лидочка бы не услышала... Ах, Варя, Варя! Да из-за чего вы поссорились-то?

Николай сдвинул портьеру, прошелся по комнате.

– Мы совсем не поссорились, мама. Она к певцу одному ушла. Кончает консерваторию. Бывал у нас.

Анна Ивановна всплеснула руками и охнула.

– Этого еще не доставало! К певцу! Кто бы мог думать... да я и не думала... что Варя наша дрянная такая женщина!

– Вот этого, мама, я и не хочу, – не говори так! – сказал Николай строго. – Совсем она не дрянная. Я тебе лучше расскажу, как все вышло. Ты увидишь. Я и приехал рассказать.

Закурил новую папиросу и начал, спокойнее.

– Думается, Варе скучно стало, ведь уже три года со мной прожила. Я был всегда ласков с ней, ты сама видела, баловал ее, как умел. Никогда мы не ссорились. Бесед у нас с ней, правда, не выходило: если я ей рассказывал, что меня занимало, – она слушает, кивнет головой, поцелует меня, и только. Бывали у нас люди, интересные, но ведь ты знаешь ее, – живая такая, веселая, ребячливая, хохотушка... ей что-то другое было надо. И у нее завелось свое общество. Художники какие-то, из не очень известных, музыканты, две барышни-танцовщицы... Конечно, хотелось бы, чтоб не такая пустельга, сортом повыше, но я не судил: Варе с ними было весело, Варя довольна, чего же еще? Часто повторяла, в то время, что любит меня, и с такой искренностью... по-

верь, не сомневалась сама нисколько. А у меня особая нежность к ней росла.

Николай замолк на мгновенье, потом продолжал, не глядя на мать, будто себе самому рассказывал.

— Так и шло, понемножку. Она все в своей компании, мы стали реже встречаться. Ревновать я ее не мог, вообще никогда не мог бы: до такой степени не было у меня к ней чувства собственности, — ни малейшего! Только, видишь ли, она этого не понимала. И я стал замечать: вдруг недоверчиво так взглядывает на меня, с опаской, словно ждет, что я вот-вот ее примусь стеснять. Несколько раз начинала рассуждения: она, мол, живет искусством, это ее стихия; а я всему этому чужд. Голос у нее открылся; объявила, что хочет брать уроки пения и прибавила, как-то и запальчиво, и боязливо: «Ты может быть, мне запретишь?».

Я, наконец, и сам стал ее бояться: как бы ей чего невольно не запретить, то есть как бы ей не показалось...

— Коля, Коля! — стонуще прервала его Анна Ивановна. — Ведь это недостойная слабость со стороны мужа! Ведь она тебя обманывала!

— Да разве она знала? Что она сама знала? Все делалось незаметно, постепенно. Начала по целым дням пропадать, а то и до утра. Тут я стал бояться, как бы она просто в безалаберную жизнь не втянулась, это бывает, с дансингами да кафе, и в какую еще компанию попадешь... За здоровье ее боялся тоже. По некоторым признакам вижу — нет, не в богемной жизни главное дело, а скорее увлечение определенное... Особенно же мучило меня, что она все старалась подыскивать какие-то оправдания, — точно они мне нужны! Опять повторяла: «Мы живем чувствами, миром ощущений; тебе это недоступно...» А потому, мол, я и не должен посягать на ее свободу. Никогда я не спрашивал, где она, с кем была, но, однако, сама она точно искала ответов: скажет что-то, видно, что неправду, и взглянет искоса: верю ли. Так мы и мучались оба, я — ее мучением, главное. Но как его прекратить? Как сделать, чтобы она ничего не боялась?

— Одно время я думал просто подойти, обнять с лаской, шепнуть: доверься, мол, мне, Варюша; я ведь только чтоб ты была довольна. Я на все готов. Поживи на свободе, одна, или как захочется. Если я тебе понадоблюсь — всегда помогу; не понадоблюсь — мне и то хорошо, знать, что тебе хорошо... Много раз хотел так попытаться, да нет: хуже только растревожу, очень вросло в нее недоверие: ведь я — «муж». Вот и сообразил: надо с хитростью, не особенно даже хитрой, но чтобы для нее зато было понятно. Утром пошел в комнату к ней. Писала какое-то письмо, тотчас прикрыла (точно я читал когда-нибудь ее письма!). Ну, я, твердым голосом, сразу:

— Варя, я все знаю.

Было это, конечно, по-дурацки, да что же поделаешь? Она побледнела, пожала плечами: «Вижу, кто тебе сказал. Пускай. И напрасно ты мне грозишь. Этот человек (назвала певца) любит меня. И глубоко во мне нуждается. Я рождена артисткой. Ты не можешь понять...».

Я пошел, было, к себе — она за мной. Бледная, и шла-то будто от испуга: «Ты не можешь меня удерживать...». Я говорю: «Да нет, Варя, нет, конечно, не могу; но она, почти с криком, свое: «Не можешь! Я давно хотела сказать, что ухожу! Не к нему, я должна быть свободна, а у него в отеле есть комната...». Что-то еще много она говорила; потом я слышал, как она торопливо собиралась — уехала. На другой день прислала записку: «Надеюсь, вы достаточно владеете собой и не предпримете никаких безумств. Оставшиеся вещи прошу прислать по такому-то адресу». Все же еще боялась! Я, конечно, отослал вещи, и денег, сколько было под рукой. Ведь француз этот, певец, — Бог его знает...

Мать снова прервала Николая стоном:

— Господи, Господи! Променять тебя на певца!

— Ах, ничего она не променяла, — сказал Николай, досадливо морщась и занятый своими мыслями.

— Да ведь она певца полюбила!

— Отчего — полюбила? Конечно, если они захотят пожениться, я это устрою для нее, с разводом теперь легко. Но я не думаю. Он еще ученик и очень занят своей будущей карьерой. По всей вероятности, Варя не долго им будет увлекаться. Поживет весело, на свободе... Вот только здоровье у нее хрупкое. Беспокоюсь, не заболела бы. Непременно напишу, чтобы, если устанет или заболеет, вернулась ко мне. Я ее выхожу.

— Николай, да что с тобой? Ты хочешь простить эту безнравственную женщину?

— Ничего я Варе не хочу простить, — не вижу, что прощать? И почему безнравственная? Это не касается ни нравственности, ни безнравственности. Я, может, и сам бы так судил прежде, — по людской привычке. Но теперь мне ясно. Теперь знаю, почему я Варю не понимал. Жаль, конечно, что с Варей именно так случилось, и общество неказистое, и певец... С другими бывает иначе, счастливее. Но со всеми, самыми счастливыми, всегда тоже может случиться, не такое — ну вроде. Тоже как будто непонятное. Это — женское, а женское нельзя понять, да и не нужно: оно и само себя — разве понимает? Другое дело, если «чувство собственности» к близкой; а если нет — иначе любишь. Тогда ее надо ласкать, угревать, веселить; уйдет — оставить, издали заботиться. Придет — угреть.

— Господи, да ты помешался! Коля, дорогой мой! Забудь эту женщину, ты так молод, ты еще встретишь достойную, честную девушку, ты еще будешь счастлив...

— Да что ты, мама, право? Почему Варя не «честная», если честно — жить по своей природе? А природа уж такая, то есть женская, что не позволяет знать, что завтра будет, куда повлечет. И никогда вины нет на женщине, всегда только перед ней вина! Всегда перед ней! Оттого и хочу о Варе заботиться, хоть издали. Покинуть не хочу.

Уловив легкий шум за портьерой, Анна Ивановна взволнованно зашептала:

— Коля, ради Бога... Взгляни, боюсь ужасно, не слушает ли нас Лидочка? Она такой ребенок...

Николай приподнял портьеру. На него глянули темные глаза, полудетские, но уже полные вечно непонятной женской прелести. И только на мгновенье, — Лидочка бесшумно исчезла.

Подслушивала? Или случайно слышала? Не надо спрашивать. Она, вероятно, и сама не знала.

— Что, никого? — шепнула мать. И прибавила громче, со вздохами:

— Нет, Коля, нет, дорогое дитя мое. Я понимаю, ты еще любишь эту женщину, ты ослеплен. Конечно, помочь ей, при случае, не дать совсем погрязнуть — я не говорю. А простить, Боже сохрани: она же тебя станет презирать, поверь... Нет, на певца променяла, и кого? моего красавца, моего умницу... Ужасно, ужасно!

Николай не ответил. С усталой и виноватой улыбкой вдруг опустился на ковер, у кресла матери, обнял крепко, прижался головой к ее плечу. Зачем так долго рассказывал он о своем, о себе, с такой мукой пытался что-то ей объяснить? Он до слез любит ее, единственную, кровью рожденья с ним связанную, но им не дано понимать друг друга. А понимания, может быть, совсем и не нужно, если есть любовь.

Любовь.

ОБЫКНОВЕННОСТЬ СЧАСТЬЯ

Какая свежесть! Да нет, не то: какая радость! И опять не то, не совсем то. Мало. День весь этот, шестое августа, и я в нем, и даже не только в нем, а во всем, что вокруг и что вокруг этого вокруг... Ну, запутался, не могу объяснить. Не я не могу, а вообще нельзя словами, потому что таких слов не существует. Словами можно рассказывать, что случается, как мы двигаемся и говорим. А тут ничего не случается, или почти ничего, но просто все есть.

Значит, оставлю это «есть» про себя. Ведь я даже не знаю, откуда оно взялось в этот день, шестого августа, из чего — главное. О чем ни вспомню, ни увижу — сейчас оно кажется главным. Ну, и довольно, если все главное.

Мы едем с ней, верхами, по Приреченской дороге, по самой опушке леса. Откуда-то тянет острой, предосенней свежестью, пахнет то яблоками, а то легкой гарью, тонким дымком. А, может быть, это длинные, пологие, красновато-желтые лучи солнца меж стволами, — они так пахнут. Глотаю воздух, как ключевую воду, и сердце во мне улыбается.

Она, моя спутница, тоже улыбается.

— Ваня, хорошо сегодня, правда? Вчера дождь, дождь, и лето, гадкое... а сегодня вдруг светлая такая осень. Кобчик рыси просит, но мы лучше пока шагом.

Наши кони и вправду нетерпеливо мотают головами, особенно ее, вороной, молодой и горячий. Только что, когда она выбежала на крыльцо, в гладкой синей своей амазонке и дачном берете, Кобчик так вертелся, что она не сразу вскочила в седло.

— Не люблю я, Светик, когда ты эту лошадь берешь. Она злая. Будь осторожнее, — говорит полная старуха.

— Что вы, grand'ma*, ничуть не злая. И любит меня.

Наклонившись, поцеловала Кобчика — между ушами, в челку. Но величественная старуха в сером шелковом капоте и белой наколке на белых волосах, только рукой махнула. Знала, что все равно Светика своего не переспорит.

«Светик» — потому что ее имя Светлана, но она его терпеть не может. Бабушке только позволяет так, а мне... Вот и сейчас: хотел ей ответить, чуть заикнулся:

— Свет...

Оборвала немедля:

— Сколько раз говорила я, Ваня: не зовите меня этим «нарочитым» именем. Я буду обыкновенная Софья. Я сама обыкновенная и хочу быть обыкновенной, слышите? Самой обыкновенной...

— Какая же вы... — начал я и не кончил, рассмеявшись. Мне в сущности было глубоко безразлично, обыкновенная она, или нет. И зовут ли ее Софьей или Светланой. Важно одно, что она тут, едет рядом, на великолепном своем Кобчике, что копыта наших лошадей мягко стучат по проселку, что солнце ложится вот так, полого, а не как-нибудь иначе, что лес петрищенский вдали синеет длинной, нестрашной тучей, что пахнет этим далеким дымком... и вдруг из-за соседнего плетня, крапивой и мятой. Я меньше всего в мечтательном настроении; я все

* бабушка (*фр.*).

вижу, все помню и знаю. Знаю, что ей 18 лет, а мне 20; что она приреченская барышня, а я петербургский юнкер; но я ни о чем не думаю и ничего не хочу, кроме того, что есть сейчас. Больше: мне даже кажется, что ничего другого и не будет и всегда будет так, навсегда: полувечер, полуосень, полупрозрачное, нежное лицо ее близко, поскрипыванье седла, чуть слышный запах кожи, лошадиного пота...

Я бы удивился, если бы она что-нибудь сказала или сделала... ну, не по-моему; она сказала, правда, «хочу» быть обыкновенной. Но это так, слова, которые она часто повторяла, а сейчас у нее тоже никаких нет желаний, наверно.

Обернулась ко мне:

— Ваня. Мы ведь собирались в Голубево заехать. Не стоит! Помчимся лучше туда, к петрищенскому лесу!

Чуть подняла хлыстик, и мы уже мчимся по узкой полевой дороге, мчимся, остро разрезая холодный воздух, и как будто сами бежим, летим, потому что я уже одно с лошадью. О, я и моя Джеля ни за что не хотим отстать от нее с Кобчиком. Мы вровень, вровень... но где мы? Никакой синей тучи уже нет, вот он, строевой петрищенский лес. Будто сам вдруг придвинулся к нам. И сразу распахнулся широкой просекой. Бежать дальше нельзя; дороги нет, трава по пояс. Мы въезжаем шагом. Моя Джеля взмылена, а Кобчик совсем свежий и недоволен, по-видимому, что поле кончилось. Подрагивает кожей на крупе, махает головой.

У Светланы-Сони горят щеки, из-под берета выбилась каштановая завитушка. Здесь, на просеке, в траве, между сплошными темными стенами деревьев, сырее, но еще пахучее. Конца просеки не видно. Как раз в конце — небо, а на небе — уже низкое солнце. От него вся трава будто позолоченная.

Мы тихо едем по сырому золоту, молчим, слушаем тишину. Тишина и, правда, такая, что ее надо слушать. Предосенняя, предвечерняя, когда притихли птицы и притихают деревья.

Долго едем; она говорит:

— Ваня, куда же это мы едем? — И тотчас, не дождавшись моего ответа, сама отвечает:

— Так. К солнцу.

Но солнце все скользит вниз и направо. Сейчас будет тень. Уже загорается верхушка левой стены — красной медью.

Она вдруг остановила Кобчика:

— Ваня, слышите?

Кажется, что сам воздух зашептал-зазвенел, но он только принес нам на невидимых волнах далекий-далекий, частый и тонкий, лепет, — звон деревенского колокола.

— В Лаптеве... за рекой... к вечерне звонят... — говорит она, будто про себя. И голос ее, и слова как-то сливаются для меня с этим воздушным звоном. И снова будто верю, что это — навсегда. Всегда будет и колокол, и просека, и закат, и она, и я, всегда так, не иначе. Всегда так будет смеяться и плакать сердце, — смеяться от счастливой боли, плакать от радости; и все это — неизвестно почему и для чего, но хорошо, что неизвестно.

Я наклоняюсь к ней с седла. Обнимаю худенькие плечи. Ее щека прижимается к моей, — должно быть, так надо, чтобы слышать колокол. Мы слушаем, не двигаясь, и лошади стоят смирно, будто тоже слушают. Я чувствую ласку ее ресниц на моем лице. Мы так долго слушаем, что уж не знаем, умолк ли колокол или все еще летают слабые звуки. Или это воздух поплыл от холодеющих деревьев.

Но вот мы едем медленно назад по той же просеке, и уже совсем темно. Не понимаю, как это вдруг так стемнело. Оборачиваюсь: в конце просеки, где было солнце, огненно-алое пятно зари, над ней, сразу, тихая небесная зелень. Нет, еще не ночь, это в лесу только темно.

От меня ускользает наш обратный путь, во всяком случае, описать я его решительно не могу. Ехали все время медленно, молча, сворачивая, когда нужно. Иногда, на просеке, нас обдавало теплой волной воздуха, потом опять душистым сырым холодом. Зажигались, одна за другой, крошечные, слабые звезды; потом они, мерцая, словно отряхивались, расправляя одежды, крепли, крупнели, разгорались, как следует.

Звезды ничего не меняли. Не то, что огни приреченского дома. Только что они замелькали меж деревьями парка, я почувствовал, что переступаю какую-то грань — просыпаюсь... Нет, нет, в том-то и дело, что нет. Не просыпаюсь, не из сна в явь перехожу, а обратно: из простой, понятной, обыкновенной яви в какой-то необыкновенно сложный и беспокойный сон. Знаю его: тысячи мыслей, соображений, хотений и нехотений, устройств и неустройств, и что-то нужно говорить, вовсе ненужное; думаешь, что идешь, — а тебя в это время несет, — к неожиданному, кривому, необыкновенному... во сне всегда так. И все время сон этот по краю кошмара скользит... очень, очень знаю. Не все время только помнится ведь, что это сон.

— Ах, как скучно! — говорит моя спутница, когда мы едем по прямой аллее, к дому. — Сейчас grand'ma начнет упреки, ламентации... Ночь, она так беспокоилась, я сведу ее с ума... Приготовьтесь к худшему, Ваня, к самому необыкновенному выговору.

Ну, да, вот и она тоже, как я, входит в этот «сон». Мы с ней там часто ссоримся. Она дразнит меня юнкерством, а я тем более злюсь, что сам не понимаю, как очутился в юнкерском училище: я люблю историю и особенно философию. А что она любит, — я не знаю.

Но сегодня, сейчас, как я вдруг понял ее постоянные слова (беспомощные, конечно) о том, что она хочет «обыкновенного». Сама, быть может, и не понимает, но я-то знаю: обыкновенного, — то есть настоящего. Обыкновенного, как наш сегодняшний день, шестого августа, такой простой-простой, но когда нечего желать, — все есть.

День, однако, сменился ночью, и мы аккуратно въехали в наш сон. На дворе ругались двое работников с Федором — кучером, копошась в тусклом свете фонаря: им всем было приказано седлать лошадей, ехать (неведомо куда) нас искать. В гостиной бабушка («grand-ma») лежала в кресле, постанывая, у кресла — старая ее горничная, Агаша, с солями и платками.

Я остановился на пороге, а спутница моя подбежала к креслу, опустилась на колени:

— Grand'ma, ну, как не стыдно, ничего же не случилось, мы только чуточку запоздали. Мы целы, а Кобчик даже ни разу не споткнулся.

Когда старуха оправилась, все жалобы и попреки обратила на меня. Я один виноват. Никогда бы «Светик» не доставила такого огорчения и беспокойства бабушке. Ведь уже десятый час...

— Неужели десятый? — равнодушно удивился я, уловив эти слова: остальных не слушал, молча стоя у порога. Инстинктивно принял, кажется, виноватый вид.

Потом мы ужинали, «Светик» что-то болтала, продолжая успокаивать грозную старуху. Меня, впрочем, не защищала, я и за то был благодарен. Потом я пошел через темный двор, к себе, во флигель, о чем-то постороннем думая, на что-то досадуя, что-то соображая насчет скорого отъезда в Петербург и всяких предстоящих делишек.

А потом...

* *
*

Все, что случилось и делалось со мной потом, я бы мог, при усилии памяти, отлично рассказать, описать словами. И рассказывал много раз, пока не надоело. В необыкновенном этом сне, то и дело переходившем в кошмар, очень много ярких приключений. А я в них мотаюсь, — с нудой в душе, с чувством, как всегда, их какой-то неестественности, ненормальности... Но редко, почти никогда, не вспоминал, что сплю, действовал будто вправду. То кого-то все убивал, убивал, или меня убивали. Но потом оказывался жив, куда-то уже ехал на пароходе, потом шел пешком, старался, а ноги почти не двигались (всегда во сне). Время, в ощущении, вело себя странно: казалось, что и быстро оно, как фосфорная черта на стене, но и медленно ужасно, — будто ползет толстая, объевшаяся змея.

Однако довольно. Без шуток говорю – слишком много рассказывал я о своих необыкновенных приключениях, устал; надоело.

Само собою разумеется, что среди них я с приреченской барышней не встречался, и никакого, даже приблизительного, шестого августа в них не имелось. Что ж, если, действительно, как я про шестое августа чувствовал, что оно и все вокруг – «есть», а приключений моих, может быть, и нет, то все понятно.

А как-то раз... не знаю в точности, когда, которое свое кольцо волочила мимо сытая змея времени, – я вижу себя, идущего наверх по боковой пологой лестнице римского Капитолия. Лестница, подле стены, такая пологая, что даже как бы и не лестница, ряд порогов. Дети прыгают, старушка плетется, держась за стену, – по обету, верно; дойдет или не дойдет?

В храме торжественно пусто и темно; а на улице вечер римский, осенний так ярок. Я спешу выйти в другие двери, на широкую террасу. Огненно-алая полоса вечерней зари передо мною. Над ней – зелень высокого спокойного неба. Это от него такой острый идет осенний холодок.

Я подошел к самому парапету. Никого нет, только рядом чуть колеблются длинные, белые монашеские крылья. Монахиня обернулась. Ее лицо под крыльями, – это ее лицо. Близкие глаза смотрят на меня, каким далеким взором. Но мне все равно, я опять знаю, что все **есть,** и я, и эти глаза, и заря алая, осенняя, и острый холодок с неба, и город внизу... все в той счастливой, обыкновенной, ясной полноте, когда нечего желать, потому что ничего иного не нужно.

Ее улыбка. Потом первая звезда – слеза над погасающим пламенем зари.

Потом – больше ничего.

ТАИНСТВЕННЫЙ АМЕРИКАНЕЦ

Рассказ

Большая комната – зала, несколько сарайного вида, с десятком простых столиков. Вход прямо со двора. Это столовая бывшего ресторана «Хлеб да соль». Бывшего – потому что энергичная Любовь Ивановна, когда дела пошли хуже, перевела его в другое помещение, простецкое, в другой квартал, на окраине; и теперь уже не ресторан, а просто «дешевые обеды»; кормежка всякого русского люда, малодостаточного. Из своего длинного названия учреждение это сохранило последнее слово: звалось постоянными посетителями попросту «Соль».

Дела-таки шли неважно, особенно летом. И неизвестно, как бы Любовь Ивановна вывертывалась, если б не удачные на кухне помощницы; тем более, что любила чистоту и даже чинную элегантность: в столовой служили две прехорошенькие барышни, из знакомых домов, да третья, ее дочь, Марина: выдержав башо, сама решила остаться при столовой, помогать матери.

Катя и Таня были, по правде сказать, барышнями с претензиями. Изящная Таня попала даже год тому назад в какие-то «королевы», или «мисс» (что ей практически нисколько не помогло); бойкая черненькая Катя тоже была очаровательна; обе скучали среди непрезентабельной публики в «Соль» — да что ж поделаешь, нынче службу другую не скоро найдешь... Товарка их, Марина, была младшая, и «дичок»; барышни считали ее дурнушкой. И правда, куда же этой круглолицей полудевочке с пепельно-белокурой косой за плечами, до Тани или Кати! Брови, темные, были у нее так чисты, что Таня непременно бы их выщипала, но Марина этого не понимала.

С некоторого времени, впрочем, барышням не было так скучно: их заинтересовал («заинтриговал», по выражению Кати) новый, постоянный посетитель. Уж одно то, что он был иностранец, и вовсе не француз, но американский рабочий, казалось любопытным. Почему американец — и вдруг работает у Пежо? И почему он так аккуратно появляется в «Соль», с удовольствием глотает жирный борщ со сметаной, морковные пироги, маслит кашу? И почему он всегда один? С виду он был настоящий американец: ширококостный малый, лет тридцати. Слегка красноватое, бритое лицо, — пожалуй, красивое; только на лбу глубокий, от брови, шрам, не особенно его, впрочем, портивший.

Американец был вежлив, приветлив, прекрасно говорил по-французски. И так как часто оставался последним, за кружкой пива, то барышни с ним незаметно подружились. Не то что подружились, а все больше стали с ним разговаривать, присаживались, в свободное время, к его столику, и этому он, видимо, радовался. Заводчицей была Катя, но даже Марина скоро перестала дичиться: он так интересно рассказывал об Африке! Любопытная Катя не Африкой интересовалась: ей, да и Тане, хотелось бы, чтоб американец объяснил, кто он, зачем в Париже, почему выбрал «Соль» — русскими интересуется? Но ничего, кроме уже известного, — т. е. что он рабочий у Пежо и зовут его Билл Карр, — барышни не узнали: американец как-то умел весело не отвечать на расспросы. Однако болтать с ним или слушать его рассказы о разных странах было забавно, барышням он нравился. Но когда он уходил, аккуратно расплатившись в кассе за обед (лишнего ничего не брал, кроме пива) — барышни разговаривали о нем.

— По-моему, — сказала раз Таня, — он коммунист. И как-нибудь на службе у Москвы. Расследует жизнь эмигрантов. Мы ему о нас все рассказываем, а он — ведь ничего!

— Какие глупости! Что ему здесь расследовать? — фыркнула Катя. — Все и так на ладони, очень мы большевикам интересны! Уж не похитить ли тебя, за красоту, собираются? Нет, милая, я думаю другое...

Таня и Марина поглядели на нее с ожиданием, — такой был у нее значительный вид.

— Я думаю, — начала Катя, понизив голос, — что он — гангстер.

— Как, гангстер? — тихо вскрикнула Таня.

— Да. Все признаки. Вы ничего не читаете, а я знаю, современная Америка не один Холливуд. Это наш м-р Билл — один шрам его чего стоит, и путешествия его, и какая-то культурность. Очевидно, бежал и во Франции скрывается. Здесь, среди русских, ему всего безопаснее. Бог знает, что он там, у себя наделал...

— А как же... почему же он работает, и бедный? — прошептала Таня. — Они ведь бандами, и миллионеры, и друг другу помогают...

Катя несколько смутилась.

— Мало ли... Сегодня он богач, а завтра, если его полиция ищет, последний бедняк, и с бандой не может сообщаться.

— А что ему сделают, когда найдут? — неожиданно спросила Марина, насупив брови.

— Электрический стул, это известно; если Америке выдадут.

На другой день, когда Билл приветливо и привычно барышням заулыбался, лицо Тани выразило нерешительный испуг. Марина, напротив, казалась особенно заботливой, лишь Катя была спокойна, как всегда. Столовая, в этот день, скоро опустела; барышни, одна за другой, подсели к столику Билла, — его столик был в дальнем углу, под окном... Американец поглядел на Таню и вдруг спросил: почему она в дурном настроении? Катя не дала ей ответить, воодушевленно принялась жаловаться: как трудно им живется, и все хуже, и бедность, и страна чужая... Таня в Холливуд могла бы попасть, — «ведь красивая, правда?», а вместо того грязную посуду моет...

— Вы тоже очень красивы, — сказал Билл, улыбаясь.

— А что наша красота? Вот, если б повезло, за вашего соотечественника, только настоящего американца, богатого, замуж выскочить... Я бы сейчас, хоть за столетнего Форда... Да где они? Настоящие к нам не ходят...

— Очень интересно, — сказал Билл без улыбки и прибавил: — Хорошо, что я не «настоящий». Если б и разбогател, на вас бы не женился.

Катя вспыхнула, обиделась.

— О! вы — если и превратитесь опять в внезапного богача, мы с Таней сами вас не пожелаем. Такие внезапные перемены положений не внушают доверия.

— Мое положение никогда еще не изменялось.

Таня, понявшая намек, взглянула на подругу: какой же гангстер? Просто неудачник. Очень мил, а в сущности мало интересен. Но Марина была, кажется, другого мнения. И спросила, с суровой настойчивостью:

— Никогда не менялось? Даже немножко? А если, — вы говорили, — работу потеряете? Тогда уедете?

Билл взглянул на нее с ласковым удивлением.

— Это, ведь, не так важно. Где-нибудь найдется другое...

Через несколько дней в столовую «Соль», часа в 4, пришел молодой, элегантно одетый француз (такие сюда не захаживают). Окинув взглядом пустую в этот час залу, подошел к Любовь Ивановне, о чем-то говорившей с Таней, и вежливо спросил: не здесь ли бывает иностранец, м-р Вильям Кар... и когда? Ответила Таня (она сразу схватила восхищенный взгляд француза):

— О да, Monsieur, он всегда у нас обедает. Но если вы хотите встретить его, надо прийти позднее. Адрес? Но мы...

В эту минуту вошли Катя и Марина, каждая со стопкой чистых тарелок. Катя перебила подругу:

— Мы не знаем адреса, Monsieur. Мы и не спрашивали.

Когда француз, с любезными благодарностями, откланялся, Катя зашептала Тане: «Глупая! Зачем ты болтала? Ведь это же полицейский, — в штатском. Найдут у нас гангстера этого — неприятностей не оберешься. Ну, да теперь уж нечего. Может, и лучше, сразу освободимся от него. Нам только в стороне... клиент и клиент».

Любовь Ивановна ничего этого не слышала. Но Марина слышала.

В седьмом часу, едва стала прибывать ранняя публика, Марина незаметно выскользнула на улицу. В темненьком платьице с горошинами, в синем берете, она казалась совсем девочкой. Но лицо было не по-ребячески серьезно. Она тоже не знала, в какой меблирашке живет Билл: но знала, что на пути к ним он проходит через сквер на ближней площади. Сквер гадкий, пыльный, толкались кучки всякого народа в этот темнеющий час (август!). Марина села на грязную скамейку. Будет ждать здесь, — все равно, сколько времени, час, два, — только бы не пропустить!

В серых сумерках, пронзенных кое-где желтыми точками огней, показалась знакомая фигура. Узнал тотчас: «M-lle Марина! Что вы тут делаете?».

— Я для вас, — сказала она сухо. — Чтобы вы к нам не шли.

— Почему? — удивился он и сел рядом на скамейку.

— У нас был... Катя говорит — полицейский, en civil*. Спрашивал вас, Таня сказала, что вы будете в 8. Катя сначала ее бранила, — неприятность выйдет для ресторана, а потом говорит — ничего, и лучше, если его арестуют.

— Меня арестуют? — с интересом спросил Билл.

— Да, но я не хочу. Значит, не идите к нам.

— Хорошо. А почему вы не хотите? Что хотите, чтоб я сделал?

— Чтоб вы лучше убежали. Катя думает — вы гангстер, я не знаю, но если вообще что-нибудь, — и арест, — я не хочу. Пусть и гангстер — все равно не хочу.

С улыбкой в голосе, — лица его Марина не различала, — Билл сказал:

— Гангстер? Хорошо, Марина, я все сделаю, но вы мне скажите сначала: почему вы так... ни за что не хотите, чтоб со мной случилось... дурное, по-вашему?

— Я вас жалею, — твердо проговорила Марина. — Только по-французски «je vous plaindre» — не совсем то: по-русски тут не обидно, иное совсем. Вы не понимаете...

— Я пойму, если скажете, за что жалеете. Что я бедный? Что меня в тюрьму посадят?

— Ах, нет! Нет, — вскрикнула Марина. — Нельзя спрашивать, «за что» жалеется! За все вместе и ни за что. За то, что вы вот это говорите, вот так смеетесь, за то, что у вас этот шрам... За то, что вы — вы!

Он взял ее маленькие жесткие ручки и крепко их стиснул.

— Марина, а если я гангстер и без вас не согласен бежать, убежите вы со мною? Или, постойте, другое: если я просто рабочий, потерявший здесь заработок, уедете со мною? Выйдете за меня? Скажите... только правду!

— Я всегда говорю правду. Если первое, т. е. гангстер, или вроде, — да. Если второе — тоже да. Я все сделаю, чтоб с вами не было, чего не хочу.

Он быстро поднялся, не выпуская ее рук.

— Марина, я вам верю. Я тоже правду люблю. Ради нее... вы простите мне одну маленькую неправду? Нет, не ложь, нет... Вы потом узнаете. Скоро. Теперь идите домой.

Он еще раз сжал ее руки, повернулся и скоро исчез за чахлыми темными деревьями.

Прошла целая неделя. Американец как в воду канул. Но Таня все-таки испугалась, когда в пустую столовую, днем, вошел знакомый эле-

* в штатском (*фр.*).

гантный француз, и подал ей карточку, прося свидания с Madame Nevirow. Если б Катя... но Кати как раз сегодня не было! Впрочем, испуг Тани сменился удивлением, когда она взглянула на карточку: там стояло имя G. Tinet, очень известного парижского журналиста.

Удивилась и Любовь Ивановна. Гостя попросила в «бюро» — так называлась крошечная задняя комнатка с окном на двор. Отрекомендовавшись, любезный гость начал:

— Я к вам послом от ближайшего моего друга. Его семья не находится в Европе, но он с ними уже снесся. Он просит руки вашей дочери. Посещая ежедневно ваш гостеприимный дом...

— Что? Кто? — прервала ошеломленная Любовь Ивановна, глядя во все глаза на улыбающегося француза.

— Он предвидел, что тут понадобятся некоторые объяснения, — продолжал гость. — М-р Карнеди (я его знаю много лет, мы вместе путешествовали) — сын очень известного американского финансиста. Такие счастливцы фортуны часто склонны ко всевозможным фантазиям. В последние годы у него явилась странная идея, что ни одна женщина не способна заинтересоваться им самим, помимо интереса к его... положению. Было тут, вероятно, и какое-нибудь разочарование сердечное... На леопардовой охоте получил шрам, который ничуть его не безобразит, по-моему, — но он такой упрямый чудак! Отсюда его фантазия «путешествия по душам», как он выразился. Изменив, конечно, свой аспект... гм... и положение. Я сам ничего долго не знал. Понятия не имел, где он производит свои опыты...

— Опыты! — возмутилась Любовь Ивановна. — Мы не для того работаем, чтобы переодетые люди здесь опыты производили...

— Простите, — улыбнулся француз. — Ведь это ж невиннейшая, романтическая фантазия. L'essentiel* — что прекрасный человек полюбил вашу дочь, она дала ему согласие...

Любовь Ивановна поспешно встала и крикнула, отворив дверь: «Марина! Поди сюда!». M-er Tinet почему-то думал, что войдет эта красавица, что она-то и есть Марина. Но вошла круглолицая, чернобровая девочка в белом переднике.

— Марина... Ты дала согласие... м-ру Карнеди? Отвечай!

Марина, бледная, перевела глаза с гостя на мать. Выговорила: «да» и опустилась на табуретку. Гость заговорил, сызнова начав свои длинные объяснения, восхваляя интересного друга, м-ра Карнеди. Марина долго слушала, не понимая. «Он приедет сам вечером, — закончил француз, — и тогда...».

* Главное (*фр.*).

— Нет! Нет! — неожиданно вскрикнула Марина, закрыла лицо руками и заплакала. — Я не хочу! Я думала... Я не думала... Нет, нет! Вон!

Mr. Tinet растерялся. Он ничего не понимал. Вбежавшая на крики Таня (она стояла у двери и слышала всю историю) не понимала эту «дурочку»: Таня и позавидовать не успела, а она кричит «не хочу».

Что-то понимала, о чем-то догадалась одна Любовь Ивановна. Обняла плачущую Марину, тихонько успокаивая, а гостю шепнула: «Pardon M-er c'est... nitchevo! * Передайте вашему другу — я его жду вечером. Мы поговорим. Ничего!».

Mr. Tinet раскланялся, особенно любезно улыбнулся Тане и вышел, — в некотором, однако, недоумении. Фантастические причуды этого доброго Билла забавны, хотя понятны мало; но совсем уж непонятна влюбленная «petite russe» **, которая рыдает, узнав, что жених — сын богача, и кричит «не хочу». Да и мамаша, спокойно это принимающая, со своим «ничего». Загадочные азиато-славянские души!

Nitchevo. Quel sens donne-t-elles à ce mot sinistre — nitchevo» ***.

ОТКРЫТИЕ

Мне три года.

Ну, может быть, немножко больше, может быть, около четырех. Но запомнилось — «три». Что это такое, я не очень знаю, да и «года» — тоже; но не забочусь: столько других вещей, уже знаемых, в этом новом для меня мире.

О нем я знаю, наиболее твердо, что он, во-первых, полон всякими маленькими неприятностями. С ними надо бороться тем, что большие называют «капризами». Например, когда мне чего-нибудь не дают, чего мне хочется, или не желают, чтобы я, Ниночка, делала, как я хочу. Тут сейчас же и нужны капризы, которые обыкновенно помогают. А, во-вторых, я знаю еще, что в мире повсюду «тайны». О них никто не говорит, и нельзя спрашивать: потому ли, что они все равно никому не известны, или по другой, тоже таинственной, причине, но нельзя. И мне это нравится, что нельзя. Пусть будут тайны.

Я не люблю детей. Когда слышу, что я «одна» у папы с мамой, я очень довольна. Мне, кажется, хотелось бы, чтобы на всем свете я

* Простите, мсье, это... ничего! (*фр.*).

** «маленькая русская» (*фр.*).

*** Ничего. Какой смысл она все-таки вкладывает в это зловещее слово — ничего» (*фр.*).

была единственная маленькая девочка. Больших пусть будет сколько угодно. Около меня их много: кроме папы с мамой и бабушки в мезонине, всякие разные дяди и тети. Они — то есть, то их нет, то опять все есть. Главная же — няня Даша, которая всегда-всегда со мной, как я требую, и всегда делает, что я требую.

Дети к нам и не приходят. Раз вдруг привезли Лидочку Белявскую, но я стала кричать и потребовала, чтоб няня Даша взяла меня на руки и унесла в детскую. Все удивились, а я сказала, что Лидочка гадкая: скачет, визжит, бегает одна по комнатам, лезет к моим тетям на колени и обо всем, без разбора, спрашивает: видно, не знает про тайны, — те, что и большие не знают, и нельзя спрашивать.

Коля (дядя Коля, с бородой) сказал: «Она не дикая, а Нина у нас дикая». Дикая — это если бояться. Коля не знал, что я ничего не боюсь. Я даже устрицы не испугалась. Мы шли с няней Дашей по дорожке, в лесу, вдруг она через дорожку прокатилась. Кричу: «Устрица! Устрица!», а ее уж и нет. Няня Даша сказала, что эту устрицу зовут «Ежик» и что у нее, вместо шерстки, все иголки и больно колются. Но я не боялась, а Лидочка, — мама говорила, — боится даже темной комнаты. Как это — комнаты? А темная — значит лампадку зажгли, я в кроватке и держусь за нянь-Дашину руку. Чего ж тут бояться? Потом сейчас же делается утро... Гадкая Лидочка и выходит дикая, а я не дикая.

— Зато вы чужих боитесь, Нина Александровна, — говорит няня Даша.

Вот глупая! Уж и задала же я ей. Никаких чужих я не боюсь. Все большие, и чужие, и свои, одинаково нестрашные; но, конечно, кого я не знаю, на того и не смотрю, пока он со мной не разговаривает. Мама, бабушка и няня Даша больше всех со мной разговаривают. Няня Даша зовет меня «Нина Александровна» и «батюшка белый». Или еще «упир» и «сампрандер», но это когда она сразу не сделает, чего я хочу, а сделает только после «капризов». Бабушка всегда сразу делает и зовет меня «маточкой».

Серж и Коля (дядя высокий и дядя с бородой) тоже любят со мной играть и разговаривать. Коля любит «дразнить», но я не поддаюсь. Раз говорит: «Хочешь играть в шарады? Это такая загадка. Я скажу, а ты угадай, про кого? Вот: сначала — Ни. Потом — На. А все вместе — глупая девочка». Я не понимала, но когда он еще сказал, и еще, и всегда кончал: гадкая девочка, и глупая, и дурочка, — я о шараде догадалась. Хотела зареветь, но решила — потом; а вперед и ему шараду. Удивился: «А ну, посмотрим!».

Я говорю: «Сначала Ко. Потом Ля...». Тут я задумалась: кто же все вместе? Самое надо ему страшное. И непонятное. Поглядела на него:

«А все вместе – бессмертный дурачина». Он захохотал, другие кругом тоже; папа сказал – «умница, Нинка», но я все-таки заревела, потому что совсем не могу терпеть, если громко хохочут. Они перестали, конечно.

Я говорю очень чисто, как большие. Но я не умею почему-то говорить так обо всем, как они говорят между собою, хотя и слушаю. Понемногу начинаю подозревать, что, кроме тех тайн, о которых нельзя спрашивать, так как они все равно неизвестны, есть и другое что-то, всякое: большие его понимают, а я нет. Мне это неприятно: ведь я не знаю, какое оно, хорошее или гадкое, и что значит.

Раз, утром, говорю мама: «А помнишь, я тебя видела во сне, мы по саду гуляли?».

Мама смеется: «Как же я могу помнить? Ведь это ты меня во сне видела, а я тебя не видела. Нинка видела, а не мама. Ты видела, не я».

– А ты – кто же? Не я?

– Я – для себя я, а ты для себя, – объясняет мама, но я начинаю реветь, я не понимаю и чувствую тут что-то угрожающее, непривычное. Мама успокаивает: «Не дури, Нинок, о чем ты? Все глупости. Просто, у каждого свой сон. Как чашки, у Нины своя, розовая, маленькая, с фестонами; у мамы своя, белая. Нина из своей чай пьет, с молоком, мама из своей. Так и сны, у всех свои собственные.

Реветь я перестала, но чашки ничуть не помогли – понять. А мама понимает... Целый день капризничала, потом забыла.

У нас часто бывают гости. Я их не вижу, они приходят, когда я сплю, но утром я тотчас же требую идти в гостиную: там гости мне оставляют подарки. Зверинец со всякими львами и мартышками, или карету с лошадями, или домик с деревьями и стадом коров. Гости знают, что я не люблю кукол (они вроде девочек), а, главное, – зверей. Зверей у меня много, но все хочется новых. У меня есть книжка с картинками, – про лягушку. Я ее всякое утро рассматриваю, а няня Даша про лягушку рассказывает. Иной раз терпения нет, пока-то няня Даша меня умоет, пока-то всю головку намочит, в локоны на пальцах завьет, и бант; потом кашка манная с черными пенками, и тогда уж я требую: «Ну, давай лягушку и горбушку!». (Я люблю, с книжкой, малюсенькую белую горбушку иметь.)

Из больших мне не нравится Анна Ивановна. Она не гостья, а так, днем приходит. Говорит маме: «Какая у вас Ниночка славная, а моя Соничка что-то не растет». А няне Даше говорит: «Пойдете гулять, заходите к нам с Ниночкой».

Я, конечно, не хотела. Но раз как-то мы к ней вдруг пошли в гости. Мне сразу не понравилось: и Анна Ивановна тут, и девочка Сонечка, – гадкая. Ее кроватка не в детсткой, а здесь же, в столовой. Я уцепилась

за нянь-Дашину руку и только что захотела закричать «пойдем!», как она говорит: «Поглядите, батюшка мой, какой у Сонички медведь!». Я медведя и увидала. Он был черный, картонный, на двух лапах, и такой большой – чуть поменьше Сонички: она его обеими руками держала. Анна Ивановна взяла его и показывает: «Вон какой, Соничка с ним не расстается, даром, что он без морды! Я уж маску старую к нему привязала!». Распустила шнурочки, вместо морды, пустая дыра, и там картон виден серый. Мне это было все равно, потому что медведь очень понравился. Потащила его к себе, но Соничка принялась хныкать. «Что ты, – говорит Анна Ивановна, – дай же Ниночке с твоим медведем поиграть, она гостья». Я, однако, вовсе не хотела быть гостьей и поиграть с медведем. Я хотела его совсем, и чтоб скорей уйти с ним домой. Так и объявила, и потребовала. Соничка громко заплакала, но я плакала еще громче и глупых нянь-Дашиных уговоров слушать не желала. Вовсе он не гадкий; что ж, что у меня три медведя с мордами, а у Сонички этот один? Я этого хочу, он самый большой! Тут Анна Ивановна схватила медведя, закутала его в большой серый платок, сунула в Соничкину кроватку, а няне Даше, под наш крик, зашептала: «Я Соничку унесу, а вы его берите и уходите скорей».

Так и вышло, и мы отправились с медведем домой. Я была очень довольна. Показала медведя маме, няня Даша про него рассказала. Мама посмотрела и говорит: «Как же, Нина, а вдруг бы Соничка пришла и твоего медведя себе потребовала?». – «Которого?». – «Ну, хоть маленького, коричневого». – «Шерстяного? Ну, и пусть бы. Я этого хочу».

Ночью медведь спал на стуле, а утром в гостиной, я с ним играла; на ковре полоски – это, будто, ручейки, и будто я ему помогаю через них прыгать: он ведь не видит ничего, глаз нет. Очень весело!

А потом, когда-то, случилось вот что: мама велела няне Даше надеть на меня платье с бархатками, белые носочки, и мы поехали кататься. Поехали и приехали в какой-то дом с длинной лестницей; наверху была комната, где повсюду окна; на потолке тоже окна. Большой чужой господин с такой же бородой, как у дяди Коли и у Ивана Валерьяныча (его у нас зовут «доктором»), подал мне руку и сказал: «Ах, какая умненькая барышня, не боится моего черного домика, знает, что он не страшный, а занимательный». Черный домик с трубой на боку стоял посреди комнаты на длинных-предлинных ногах.

Господин что-то поговорил маме; она посадила меня – одну – на мягкий стул против домика, расправила платьице, а господин подвинул под ноги скамеечку. Сам же бросился к домику и спрятался сзади под черный платок. Я не хотела сидеть, пока он там прячется, потяну-

лась к няне Даше, чтоб она сняла меня со стула, но господин вдруг выскочил из-под платка и говорит мне, так серьезно:

— Смотрите, смотрите, барышня, вот я крышку с трубы сниму, и сейчас к вам птичка оттуда вылетит!

И мама тоже: «Смотри, смотри хорошенько!».

Но птичка не вылетела. Я хорошо смотрела, — нет, не вылетела. Вместо того, господин закрыл трубу и стал с мамой разговаривать. Няня Даша сняла меня со стула, повела вниз одевать, мы сели в коляску и поехали. Я не понимала о птичке. Никак не понимала. Может, и мама не понимает? «Мама, — говорю, наконец, — а птичка не вылетела?». — «Какая птичка?». — «Про какую он сказал!». Мама рассмеялась: «Это он нарочно, чтобы ты смирно сидела. Карточку с тебя снимал, вот какие в альбоме». Но карточки меня не заняли: «Мама, а птичка где же?». — «Ах, какая ты глупенькая! Птички и вовсе не было». — «Да он же сказал — вылетит. Значит, была?».

Мама покачала головой: «Вот приставалка! Не было у него взаправду никакой птички, он нарочно и обманул, чтоб ты не вертелась. Поняла?». Я больше не спрашивала, но еще хуже не поняла. Сказал: птичка, а ее вовсе не было. Когда, прежде, я слышала «нарочно» и «обмануть», я, должно быть, и не подозревала, что это значит. А оно вот что! Птички нет, а можно сказать есть. Как же я тогда узнаю, есть или нет?

Целый вечер капризничала, никто не знал, чем мне угодить; я и сама не знала, ничего мне было не надо. Ночью все плакала, мама спрашивала, что болит, и давала пить. Но я не пила, а плакала и боялась, потому что, вместо мамы, вдруг пришел черный медведь без морды и стал требовать, чтоб я смотрела — из него птичка вылетит. Но, вместо птички, вылетело большущее колесо-вертун, как в волшебном фонаре, красное-зеленое, и все вертелось, вертелось, все в себя, и меня очень тошнило. Потом опять мама, потом опять колесо и всякое другое, — гадкое. И все была ночь, утро никогда не приходило. А раз увидала того господина с бородой, закричала «не хочу!», а мама говорит: «Да посмотри, это наш Иван Валерьянович, доктор». Я посмотрела, как он сделался доктором, и успокоилась, заснула. Долго спала, пока стало утро. «Ну вот, теперь тебе лучше, — сказала мама. — Беда с тобой, сколько дней больна».

Потом я опять спала, а потом все приходили, и папа, и бабушка, и тетя. Тетя Маша говорит: «А что у меня есть, Нинок, знаю, тебе понравится». Я испугалась, вспомнила о птичке: может, и тетя нарочно, и ничего у нее нет? Но тетя принесла громадного медведя, желтого, пушистого, с розовыми пяточками, с круглым носиком. Положила мне в кроватку. «А черный где?» — спрашиваю тихонько. — «Вон, в углу. Хочешь его?» — «Нет, нет, не надо!». — Я помнила, как он меня ночью обманывал.

Новый мягкий Мишка такой славный. Обнимаю его, сама все-таки думаю: а если и он? Уж если люди, да еще большие, вдруг говорят – есть, чего нет... Как же тогда узнавать, что есть, а что нарочно?

ПРИЕХАЛА

(С натуры)

– Это долг совести, выкупить ее, – волновалась Марья Павловна. – Подумай, Серж ведь она чуть не девочкой в Россию попала и всю жизнь в нашей семье провела. Тебя еще женихом знала. Нас за сестер принимали. А потом – сколько пережито вместе! Как родная была. Неужели оставить, после стольких лет, когда я и живой ее не чаяла? Мы же теперь в достатке...

Добродушный супруг Марьи Павловны, инженер, поглаживал красноватую лысину и не думал возражать. Дело шло о выкупе из СССР старой гувернантки Расстановых, мадемуазель Денизы. Она пропала еще тогда, во время трагического бегства семьи из России, и лишь недавно получилась от нее открытка из Москвы, – жива. Собственно «выкупать» ее, француженку, было бы и не нужно, если б совсем юной не выскочила она замуж за расстановского управляющего и не превратилась в г-жу Ивакову. Через полгода, овдовев, она вернулась в семью, перешла потом в семью Марьи Павловны, – Мани, – когда та вышла замуж, и так в ней и осталась прежней мадемуазель Денизой.

Марья Павловна свято хранила память о Денизе и детям о ней рассказывала. Мишель, высокий, стройный студент, даже уверял, что смутно помнит «Ди-зи», как она его целовала и плакала. Лили, конечно, ничего не помнила (она была тогда грудным ребенком), да и мало интересовали ее эти «допотопные» истории. Удивилась только, когда пришла первая, грязная открытка с каракулями, что Дениза, француженка, – пишет по-русски. Сама Лили давным-давно, говоря по-русски, переводила мысленно с французского.

Дело с выкупом, после хлопот, сладилось наконец. Дениза выпущена, – в дороге. Но, как и первые, из Москвы, открытки ее с дороги довольно бестолковые: третий день ездит Марья Павловна встречать на вокзал, к условленному поезду, и все никого нет.

Уж не случилось ли чего? Долго ли до греха, путешествовать Дениза отвыкла...

На четвертый день терпеливая Марья Павловна опять отправилась на вокзал, с Мишелем.

* *
*

У Мишеля свой автомобиль, новенький: длинный, весь пологий, похож на рыбу или на моржа, только что вылезшего из воды, – и лоснится, по-моржиному, словно мокрый и скользкий. Ловкой смелости сына Марья Павловна доверяет, а он этим доверием гордится и очень любит ездить со своей красивой «maman». Марья Павловна еще очень авантажна; она, впрочем, не молодится, но все у нее в меру, а потому она кажется моложе своих лет: в меру полна, в меру подкрашена, любит темные цвета; волосы, с едва заметной проседью, лежат красиво.

Скользкая рыба живо домчала их, через весь Париж, до вокзала, но там они опять никого не встретили. Марья Павловна совсем забеспокоилась. Мишель предложил:

– Останемся, через 18 минут другой поезд придет. Все равно мы здесь, а она могла на экспресс не попасть. On ne sait jamais!* Отвыкла путешествовать, наверно.

Так как по расчету Марьи Павловны сегодня был последний срок, – решили остаться. Без особенной, впрочем, надежды. Когда пассажиры второго поезда высыпали на плохо освещенный перрон (уже давно стемнело), Марья Павловна невнимательно их и разглядывала: никакой Денизы не будет.

Толпа редела, Марья Павловна повернулась к выходу за Мишелем и вдруг вскрикнула: чьи-то ручонки цепко схватили ее сзади за пальто.

Мишель быстро обернулся и раньше матери увидал маленькую старушонку: она крепко держалась за карман толстого манто Марьи Павловны и что-то выкрикивала; но когда Мишель бросился на помощь – Марья Павловна уже узнала старушонку. Сделала, по крайней мере, вид, что узнала, потому что старушонка, хрипловато смеясь, твердила: «Маничка! Да это Маня, пари держу! Маня, вправду, штоли?».

Марья Павловна подумала, что если бы это было в книге, то можно бы упасть в обморок. Не упала, но слабо произнесла: – Denise! Alors c'est vous, Denise?**

– А кто я! Ты штож удивляешься? И сейчас по-французски, к чему я отвыкла, запрещается у нас. Нехорошо на это смотрится.

– Вы так похудели, Дениза. Я не узнала.

– А это... укатали сивые горки, моя милая. А ты как? Ничего. Полная. Буржуйка в форме. Э, вези на квартиру. Мешочки мои не забыть.

Около старухи лежат два порядочных холщовых мешка. Неизвестно впрочем, были ли они холщевые: очень уж грязные. Все у старухи

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Никогда не знаешь (*фр.*).

** Дениз! Так это вы, Дениз? (*фр.*).

казалось грязным: и шляпка на коротких седых брылах, и рыжая толстая кофта. Высоко подхлестанная черная юбка обнажала ноги в каких-то плоских бахилах, не то сапогах, не то опорках.

Марья Павловна продолжала не узнавать Денизу, не «видеть» Денизу в этой сморщенной и обтрепанной старухе; но доброе сердце ее уже ныло от жалости, а совесть упрекала за неузнаванье: «Что она должна была перенести, чтоб такой стать, а я... а мне она...».

Готовая прослезиться, Марья Павловна поборола себя, однако. Обернулась к Мишелю, который стоял как столб, неподвижно и молча: «Иди, милый, к автомобилю, мы сейчас придем»; когда Мишель исчез — сделала, было, знак носильщику, для мешков, но Дениза с необычайной ловкостью подхватила оба тяжелые мешка сама: «Не надо!». На вопрос о багаже только фыркнула: «Какой багаж!».

Мишель за рулем, Марья Павловна с Денизой и с мешками кое-как позади — тронулись. «Надо же ее расспросить, начать что-нибудь», — думала, стесненно, Марья Павловна, но первых слов не находила. Дениза никакого стеснения, видимо, не чувствовала; но и радости особенной от свиданья не выражала. В окна не смотрела, ничему не удивлялась, как будто все, что ее окружало, одинаково было ей и чуждо, и обычно. Все как быть должно. Удивляться — удивлялась Марья Павловна: «Ведь все-таки это ее родная страна, и после России, этот новый Париж...».

Пробормотав что-то про себя беззубым ртом, пожевав губами, Дениза спросила: «А как твои маленькие?».

— Маленькие? — испуганно улыбнулась Марья Павловна. — Какие же маленькие? Вот это Мишель... Миша, он студент. А Лили, вы увидите, тоже совсем большая барышня.

— Так, как, подросши, — кивнула Дениза головой.

Обширная квартира Андреевых, в новом доме, и заботливо приготовленная комната для Денизы тоже не произвели на нее особого впечатления. Никому не позволила дотронуться до мешков, сама втащила. Огляделась, и только сказала, ни весело, ни грустно: «А, какая жилплощадь! Все ваше?».

Марья Павловна, войдя за Денизой, робко предложила «переодеться с дороги; ванну, может быть, взять... белье вот я свое принесла пока...».

Дениза уже развертывала мешки. Тряпье и какие-то неизвестные предметы из жести заботливо раскладывала на атласном постельном одеяле. Мельком взглянула на кружевные рубашки в руках Марьи Павловны.

— Чего — белье? Да оставь. Сменюсь завтра. Утром наше стирну в ванне. А теперь пошамать хорошо.

За обедом Дениза ела много и неопрятно, говорила мало. Если Марья Петровна еще не пришла в себя от неожиданной Денизы, то все остальные, даже горничная Сюзанна, следили за ней в каком-то остолбенении. К концу обеда Дениза, видно, насытившись, начала что-то рассказывать. Она и прежде недурно говорила по-русски, теперь акцент у нее стал совсем русский, однако никто хорошенько ее не понимал. Потому ли, что среди знакомых слов выскакивали у нее незнакомые, потому ли, что о незнакомом, неизвестном, рассказывала, — Бог знает! — но слушать ее было почти жутко. Только раз, случайно, произнесла французскую фразу, и так «по-французски», что у Марьи Павловны на минуту отлегло от сердца: мелькнула Дениза в старушонке. Мелькнула — и погасла.

Когда, после обеда, Дениза принялась зевать и без церемонии объявила, что пойдет «ложиться», Сергей Сергеевич закурил сигару и глубокомысленно сказал «Да!». А Лили вскрикнула: «Mais c'est une vieille folle!* Француженка! Невозможно! Она себя сделала русской. А русские все такие». «Что за вздор! — нервно перебил Мишель. — Ты сама русская!». «Я? Moi», — закричала Лили. Готовилась ссора, но отец вступился:

— Дети, довольно! А ты, Манюся, я вижу, огорчаешься. Я сам поражен... но подожди, она обойдется. Оденем ее прилично, зубы вставим... Привыкнет. И ты привыкнешь.

Однако и месяц прошел, и два, а Дениза оставалась все такой же непонятной и неузнаваемой.

Еще в первые дни Марья Павловна предложила поехать с ней за «приданым»: ничего ведь нет, одни лохмотья. Дениза согласилась и сказала, будто что-то припомнив: «На дешевку, в Samaritaine?** На улице-то бывает нынче она?». Там, с упорством, набрала последнего хламу, но кучу порядочную. На протесты Марьи Павловны — никакого внимания: «Нам же лучше, деньги сбережем. Вон кофта, — два франка... это сколько рублей? Очень дешево. И запас надо; тебе понадобится — всегда есть». Марья Павловна бросила спорить, «приданое» вышло дряннейшее, и даже не совсем «приличное», так как Дениза любила (теперь полюбила) больше пестрое и яркое. Но все же лучше ее лохмотьев.

Ванну она продолжала считать удобнейшим местом для своих постирушек, на них не ленилась. Да и всю квартиру Андреевых по-своему как-то распланировала, по-своему понимая назначение каждого угла «нашей роскошной жилплощади», по ее выражению. В кухню

* Это же безумная старуха (*фр.*).

** Самаритянин (*фр.*), магазин для бедных.

шмыгала постоянно и, после момента дружбы с кухаркой, начались свары. Тут Дениза по-французски припомнила, — нужное ей, по крайней мере. К ужасу бедной Марьи Павловны обе кидались ей жаловаться друг на друга. Кричала кухарка, кричала Дениза, путая французские слова с русскими, обличая кухарку, что получает «примы», что берет самое дорогое и только портит «добро», да еще сама то же ест, и вино пьет... «У нас... такая работница... — шамкала она, — сейчас милиция... сейчас...».

Пока, до новой кухарки, Дениза чадила в кухне оладьями, угощала Андреевых, похваляясь дешевизной, не очень свежим бараньим боком с кашей и приговаривала: «Кушайте, кушайте, русскому русское блюдо здорово. Здесь «они» что, — намешают травы... Кушайте пока есть много. Папа, мама, показ показывайте!».

Андреев был человек дельный, во всем умеренный и большой оптимист. Эмиграцию принял, как неизбежное; что дети у него растут полуфранцузами — тоже. А когда, недавно, Мишель, сойдясь с кружком «русских мальчиков», забредил «Россией» — отец и к этому отнесся спокойно. В рассуждения Мишеля и новых его друзей он не вникал, да и что же? Никакой России, ни старой, ни новой, «рыцари» эти не знают, только влекутся к ней влюбленной мечтой, — как к «далекой принцессе», — и чувства эти очень симпатичны. Потом все выяснится и как-нибудь образуется.

Насчет маленького домашнего дела, — Денизы, — Андреев тоже думал, что «образуется». А что она о России расскажет? Можно бы и позвать кое-кого «послушать»... Но Дениза ничего толком не говорила, а когда говорила, и подчас, сердилась, то опять на непонятное и казавшееся ничтожным. Знакомых же Андреевых, эмигрантов, резко отказалась видеть; это опять было непонятно. А раз, вернувшись, Сергей Сергеевич нашел ящик своего стола выдвинутым, — пачка конвертов унесена, даже перо и чернильница унесены.

— Это ваша Дениза! Повсюду ходит и у меня рылась! — закричала Лили: как ни сдерживала она себя, но мамину vieille folle franco-russe * презирала все больше, ничуть не стараясь ее и понимать.

Марья Павловна пошла к Денизе объясняться. Та спокойно лизала унесенные марки, заклеивала унесенные конверты. Тут же стояла и унесенная чернильница. Самое искреннее, почти детское изумление встретило первые слова Марьи Павловны. Ну да, она не нашла, что нужно, в комнате Лили. У Сергея Сергеевича нашла; и марки, и подходящие конверты. И чернильница у него удобнее. Она вздумала Татьяне

* безумная франко-русская старуха (*фр.*).

Лукьяновне написать, да Петру Гаврилычу. Как с наркомпросом они разделались? Жиры на волторге почем теперь? Она ответит.

Марья Павловна опять попыталась свое, — почему Дениза не спросила? И зачем ей искать самой в кабинете, уносить?.. Новое удивление Денизы. Почему же нет? Ведь они живут здесь на общих началах, разве Дениза «вселенная» какая-нибудь? Раз никто не вселен, как же иначе? Если ей, Марье Павловне, что-нибудь понадобится у Денизы, почему ей не прийти и не взять?

Марья Павловна, вернувшись, смущенно передала это мужу и прибавила: «Она не понимает...».

Сергей Сергеевич вздохнул.

— Да и мы тоже. По-моему, Манюся, она все еще живет в какой-то России, которую мы совсем не знаем.

— В России? — закричал Мишель. — Много она понимает Россию! Француженка, да еще оглупевшая, главное — нисколько не русская!

— Почему вдруг не русская? — поддразнила брата Лили. — Что в ней французского? Настоящая âme slave des soviets! *

Нелепый взор возгорелся, злой и ни к чему не ведущий. Отец ушел. Марья Павловна не вступалась, грустно и беспомощно думая о своем. Все равно «personne ne comprend personne»... **

Даже удивительно, как может один человек, неуловимыми мелочами, расстроить налаженную жизнь целого дома. Так выходило с Денизой. Шмыгая без дела, — но какое ей придумать занятие? — по андреевской квартире, или роясь в тряпках, у себя, она постоянно находилась в ворчливом настроении. Только и оживлялась, когда получала открытки «из дому».

Раз, уже к весне, Дениза куда-то на целый день пропала. Марья Павловна даже забеспокоилась: Дениза почти никогда не выходила. К обеду явилась, но ничего не сказала; поджав губы, проследовала в свою комнату. Через день опять куда-то хлопотливо отправилась. Марья Павловна подумала: «Может, она занятий ищет. Надо быть внимательнее, надо спросить...».

Дениза сидела на кровати, разбирая какие-то кусочки материй.

— Vous étiez aux soldes, Denise? *** — спросила Марья Павловна.

— Сольды? Не была. Сложиться надо. Теперь такой план имею, домой могу побывать.

— Как это? Какой план?

* славянская советская душа (*фр.*).

** «она не понимает» (*фр.*).

*** Вы были на распродаже, Дениз? (*фр.*).

— А через товарища Седелкина. Иван Лукьяныч адресок дал, как формальности справить. Побываю это у нас, посмотрю, потом опять назад, смотря обстоятельства.

Марья Павловна совсем растерялась. Пробормотала:

— В Россию вы хотите? Обратно? Но как это... кто это...

— Что — кто? Сказала — Иван Лукьяныч. Он знает. По адресу-то я пошла, и раз пошла, и два, — ничего, выдадут скоро разрешение. Подписку требовали, извиняемся, говорят, пустяки требуются.

— Какую же вы дали... подписку?

— Oh la!* Пустое. Манюша, не грусти. Я побыла, тебя повидала, твоих всех, теперь дома побуду и еще приеду. Сколько денег на дорогу, и там, — сама высчитай. Много не надо. Зачем тратиться.

Марья Павловна молчала. В голове у нее была какая-то чепуха. Очень уж неожиданно. И нелепо. А у Денизы было лицо оживленное, заботливо-хлопотливое.

— И поеду, и поеду, — нараспев шамкала она (зубов так и не вставила, — только возиться да тратиться!) — надо; посмотрю. Иван Лукьяныч пишет, комнату заселили, да есть другая, можно достать, говорит. Более лучшая, говорит. Пишет — Москва наша прибралась, совсем хорошо. Пишет про беды тоже всякие, — что сделаешь. С умом — ничего, всего достает, кто с умом. В Европе тоже, я говорю, гниль. Употреблений злых очень много. И лодырей много. Работать надо. А про Анну Гавриловну что он пишет, Иван Лукьяныч, и про товарища Седелкина, — вот номер! Imagine-toi**, Маня... воображай, до Загса дело едва не дошло; только послушай...

Но Марья Павловна не слушала историю про Седелкина. Все искала, что сказать, не находила, да так и не нашла.

* *
*

В нежный весенний вечер Марья Павловна с Мишелем отвезли Денизу на вокзал, на том же лоснисто-пологом автомобиле-рыбе. Как уладила Д. «формальности» никто ее не расспрашивал, а она не рассказывала, — все устроила сама «с умом», конечно. Везла теперь три новеньких, дешевых чемодана, вроде мешков; и на ней было все новое, толстое, одно на другое навьюченное, хотя погода стояла почти жаркая.

Когда они вернулись, Сергей Сергеевич сказал:

— Что это, Манюся, какое у тебя лицо, точно ты с похорон! А я, признаться, рад, что проводили. Кума с возу, куму легче. Да это не изза денег...

---

* Вот так! (*фр.*).

** Представь себе (*фр.*).

— Конечно, причем деньги, — слабо проговорила Марья Павловна, снимая перчатки. — Но тяжело почему-то. Не понимаю, что ее могло так... ну точно подменить. Чужая совсем. Люди молодые, там выросшие, другое дело. А она старая, да и по крови чистая француженка. И вдруг — ни следа...

— Кровь, дружок, не так много, должно быть, и значит...

— Mais voyons, papa...* — начал было Мишель, волнуясь, но Сергей Сергеевич, с улыбкой, перебил:

— Вот он, наш кровно-русский француз! Не сердись, милый, очень тебя понимаю и сочувствую, только верь мне, ничего еще кровь не решает. По-моему... не умею тебе определить, но для понятия «родины» много-много чего требуется, помимо кровных ощущений.

— Ты думаешь? — сказал Мишель и нахмурил брови.

Париж

ЯБЛОНЬКА

(Сережа Чагин)

Матушка, голубушка,
Солнышко мое,
Пожалей, родимая,
Дитятко мое...

Ирина, а по-домашнему Ариша, едва отворив дверь с лестницы, заслышала песенку и вздохнула. Это тетя Надя... Ах, как все надоело! И комнаты, и звук прокатного пианино, и песенки тети Нади (особенно эта, ее любимая), и сама тетя Надя, и... да все, все! Хоть не возвращайся домой. Но частные уроки стенографии, которые берет теперь Ариша, окончив русскую гимназию, не занимают много времени; болтаться по парижским улицам скромная Ариша не любит; волей-неволей надо идти домой. Обед, а вечером уж известно: придут Борины товарищи, и начнется... Хорошо, если Сережа придет и Лелечка Бер. Сережа славный, вежливый, много молчит; а Лелечка, если сказать правду, — от нее шуму иной раз еще больше бывает: непременно в споры ввязывается. Но Ариша любит Лелечку: это ее единственная подруга, она все понимает.

* Видишь ли, папа... (*фр.*).

Ариша разделась в темной передней, пригладила наскоро русые волосы, заплетенные в косы, и, не оглянувшись на тетю Надю за пианино («пожалей, род-и-мая...»), прошла через «зал» в дальнюю комнату. Отца еще не было.

Капитан-инженер Тайранов с давних пор занимал какое-то место в одном из русских учреждений. Надеялся и Борю туда пристроить, но пока дело не выходило. Боря кричал, что найдет себе работу, чисто физическую, что он ни от какой не отказывается, что теперь долг – иметь мозолистые руки... Но он был слаб, как цыпленок; из случайных попыток его толку до сих пор большого не вышло. Про себя, молчаливая Ариша считала его бездельником; она непременно свой заработок найдет, и такой, чтоб дома не сидеть; все сделает, чтоб найти, вот только эти курсы кончить. Да языки ей, странно, не даются...

Тетя Надя ничего не делала. Не умела ровно ничего, – даже чулка не могла заштопать. К счастью, внизу была русская лавка, знакомых ихних, Свиридовых: оттуда приносили готовый обед, даже кофе утром с баранками. А тетя Надя – только песенки свои, русские, напевает: специальность ее когда-то, лет тридцать тому назад. На каких вечерах выступала! Кто ее не знал в Москве! А начались, с войной, патриотические концерты, – она первая, даром, что уж не молоденькая. Замуж так и не пришлось выйти: был жених, да славно под Цусимой погиб.

Теперь ничего не осталось у тети Нади: только память, да песенки эти родные. Вот и сидит, днями, за скверным пианино, худая, с шишечкой заколотых седоватых волос, вспоминает любимое, подыгрывая аккомпанемент слабыми пальцами. Нисколько не жалкая, очень довольная. Брат-капитан, нижние Свиридовы, даже Боря иногда, – все любят ее песенки. Ариша их слышит, помнит, – как себя помнит. О, как ей надоело!

Ежевечерние ссоры-свары начались нынче перед обедом. Начались понемножку, шуточками, едва пришел Боря, высокий, тонконосый мальчик с нежным лицом. Тетя Надя заливалась:

Не шей ты мне, матушка, красный сарафан,
Не входи, родимая, попусту в изъян...

Боря свистнул, тетя Надя вздрогнула, охнула, а Боря опять за свое: «Поздно пташечка запела, сшит сарафан, извините, самый красный! Вот разве позументику чуть-чуть не хватает, да завтра прикупим!».

Тетя Надя язвительно усмехнулась:

– Стыдочку-то нет в глазах. Пробрать бы хорошенько, так с кожей бы эти революции с тебя слезли. Да вот, поперек лавки уж не ложишься!

Боря в долгу не остался:

10 Зак 4570

— Розги, тетенька, все вышли. Перепроизводство было в дореволюционное время. Погодите, свежие подрастут, для кого только, — неизвестно...

Тетя Надя раскрыла рот, чтобы возразить, но в эту минуту раздался в передней голос капитана: едва ввалившись, он громогласно требовал обеда.

Мальчишка из нижней лавки уже стучался в кухонную дверь. Мигом накрыл стол в «зале» (тетя Надя и этого не умела), притащил уху с расстегаями, к сторонке поставил блюдо с котлетами, которые еще пощипывали, салатник с капустой, открыл квас. Погодя придет собрать посуду.

Капитан, благодаря крупной своей фигуре, толстым седым усам и лысине, вид имел грозный. Но никто его не боялся. Даже тогда, когда густой голос наполнял всю квартиру, а случалось это постоянно, так как был он великий спорщик. Любил свои взгляды отстаивать, никому не спуская.

— Андик Белоусов хотел нынче зайти, — сказал Боря. — Может, и Арефьев.

— А Сережа? Впрочем, он редко... — проговорила Ариша.

— Что он кривляется? На нашем собрании, третьего дня, стал возражать Андику... Против чего вдруг протестует? А еще редактор! Папа, вы читали наш последний номер?

Кружок Бори выпускал крошечный журнальчик в ремингтоне — «Наша Россия». Капитан крякнул.

— Читал, голубчики мои, читал. Эка скверно печатаете.

— Вот еще! Дело в сути. Кабы не Сережкина статья, — развел какие-то сомнения, — так все хорошо, в неопределенности «Нашу Россию» не упрекнете.

— Тэк-с. Одно только: хороша Маша, да не ваша.

— Ваша, что ли, в порядке дня? Сплыла фондаментально!

Тетя Надя взмолилась:

— Бросьте вы, ради Христа! Дайте кусок проглотить!

Кусок проглотили, мальчишка унес посуду. Капитан надел очки, развернул газету. Скоро явились какие-то Борины товарищи; он увел их в свою комнатку, крошечную, как чемодан. Но тут подошли нижние Свиридовы, Марья Федотовна сварганила в кухне чай, и все, к удовольствию капитана, собрались в зале, за круглый стол. Ариша не любила этих чаепитий, зная, что, в конце концов, Боря непременно сцепится с капитаном; но сегодня, к чаю, пришла неожиданно Лелечка Бер, а потом и другой редкий гость, единственный из Бориных товарищей, который ей нравился, — Сережа Чагин.

Появление Лелечки, а затем Сережи, прервало на минуту уже разгоравшийся спор. Капитан к Лелечке относился с неодобрением и подозрением: Аринку сбивает.

— Здравствуйте-с. Все докладики читаете? Об интернационалах?

Лелечка, не смущаясь, тряхнула рыжеватыми кудрями.

— Читаю-с. А о чем, — придите, послушайте.

Капитан побагровел: «Чтобы я... и здесь довольно наслышаны. Позвольте-с, позвольте...». И спор поднялся с новой силой. Капитан гремел, но Боря, хоть и срывался иногда с голоса, его перекрикивал. Приятели ему посильно вторили, — Андик, заикающийся юноша с маленькой головкой на длинной шее, и не очень юный Арефьев, — только Сережа молчал. Скромный Свиридов, хромой интеллигент из самарских журналистов, поддакивал капитану, но с оговорками, которых никто не слушал. Спор шел, конечно, о России. И так, будто Россия лежала вот тут, на этом самом круглом столе, рядом с пузатым жестяным чайником, и каждая сторона заявляла свои права на нее, свою исключительную любовь к ней, и тащила ее к себе.

«Странно! — думал Сережа, слушая. — Точно нет никаких «сторон»; точно все они и согласны, и в то же время ни один ни с кем...».

У него начиналась мигрень. Боря, тем временем, кричал капитану и Свиридову:

— Она нас и не знает, забыла давно! Вы — остатки! Не сущие обломки бывшего! Оплакивайте его, если угодно, нам дела нет! Мы...

— Кто это — «мы»? — хрипел капитан.

— Борис разумеет новейшее поколение, — вставил Арефьев, плотненький человечек с серым лицом. — Во всех проекциях оно, здешнее, совпадает с тамошним. Заметьте, как быстро последнее национализируется. И нам, отсюда, стоит лишь дать знак... Принятие нашей линии неизбежно...

— Позвольте, — возражал Свиридов, спешно глотая слюну. — Я не вполне согласен с капитаном. Но ваш национализм... Вы забываете, Россия всегда любила свободу... Ее шири, ее просторы...

— Ну, вы еще... просторы... — замахал на него руками капитан, не слушая. Никто не слушал и торопливого, полушепотного разговора тети Нади с Марьей Федотовной. Оне тоже говорили о России: «А помните Кунцево? Весной? Колокольчики?». — «Нет, я Волгу люблю... Для меня, Волга... Никогда здешние не поймут...». — «Да что они понимают?...».

— Вы ответьте мне раз навсегда, — гремел, между тем, капитан, — вы какую Россию любите? Какую? Какую?

Андик, заикаясь, тонко, но властно прокричал:

— Россию и-истинную любим! Великую Русь нашу на-национальную, православную...

Капитан, было, опешил: ведь и он тоже говорил, что любит «великую Русь православную». Но Андик, запнувшись, докончил:

— Русь по-по-революционную! Единую сущую!

Тут произошел бы, вероятно, особый шум, — капитан слова «революция» не выносил ни без приставок, ни с приставками, но в эту минуту Лелечка, спокойным и ясным голосом, произнесла:

— А я никакой России не люблю.

Все замолкли, почти в испуге. Но тут случилось еще более удивительное: заговорила Ариша, всегда молчавшая:

— Да, да, и я тоже никакой. Любить, — это чувствовать, правда? Мы с Лелей не можем чувствовать. Откуда мы знаем Россию? По рассказам? По картинкам? А когда всю жизнь твердят: ты должна любить, должна... так еще хуже.

— Бесстыдница, — начал капитан грозным шепотом, но Лелечка, не обращая на него внимания, прибавила:

— И эти тоже... Боря, Андик, кружковцы наши... Разве они, по-живому, могут чувствовать? Один в Берлине родился, другой в Константинополе.

— А я в Белграде, — заспешила Ирина, сама немножко испуганная. — Родная земля все-таки Россия, да, но как по-родному чувствовать, — я не знаю. Вы, папа, и тетя Надя, — другое: вы чувствуете любовь, помните. Она пропала, та Россия, но все-таки ничего. А мы все — иначе. Боря навообразил себе Россию и доволен. А мне надоело, я хочу по-честному. Не хочу спорить и болтать о том, чего не знаю.

— Дура несчастная! — презрительно сказал Боря и, обратившись к отцу, прибавил: — вот вбивали ей в голову старую Россию, — что получилось? Между вами и нами — бездна, но мы знаем, где мы. А Ирина где, спрашивается?

— Постой, Боря... — начал, было, Сережа Чагин, но, не кончив, замолчал.

Капитан ворочал глазами, искал, на кого вперед обрушиться. Свиридов грустно-извиняюще бормотал что-то о «денационализации юных»... Марья Федотовна, как разумная женщина, встала и громко произнесла:

— Душечка, Надежда Ивановна, спойте нам что-нибудь. Спойте «Яблоньку» сибирскую, все мы ее любим. А там мы с Евсеем и побежим...

Когда Ариша, проводив Лелечку и Сережу, возвращалась по коридору к себе, до нее долетел слабенький голос тети Нади и тоскующе-напевные звуки «Яблоньки»:

...Поливала, укрывала
От мороза берегла...
Я на яблоньке цветику не видывала,
Я сахарного яблочка не кушивала...

АГАТА

Рассказ

— А что, паныч, — обернулся Грицько с козел к Вадиму, — чи ведьми у Киеви сидят, аль и в других местах открываются?

Вадим поднял брови, черные и густые, как у отца, засмеялся.

— Какие ведьмы? Нигде никаких ведьм нет. Ты лучше смотри, Хмара у тебя подкову сейчас потеряет.

Грицько наклонился, взглянул на пристяжную, недовольно шмыгнул носом и ничего не ответил. О подкове Вадим сказал так себе. На станции довольно наговорился с Грицько; теперь, в блаженном состоянии, хотелось ему молчать; даже не думал ни о чем, просто был счастлив: от весенних полей этих, от мягкого стука колес по знакомому проселку, от золота неба вечернего. Если разобрать, то от многого и другого еще, — оттого, что в пятый класс перешел первым, оттого, что на целое лето едет в милую Филевку, оттого, что сейчас увидит отца... Но он не разбирал, все сошлось вместе, слилось в одно счастье.

А вот и гусиный пруд с двумя старыми ветлами. Грицько подогнал, завернули во двор шибко, да Вадим на ходу выскочил и побежал на крыльцо.

Разахалась старая Устинья, поправляя лиловый очипок, — Вадим ее первую встретил и, от счастья, не мог не обнять и не чмокнуть, куда попало: «Да глядите ж! паныч-то какой большой!». Отец стоял на пороге в кабинете, знакомым жестом приглаживая пышные, совсем белые, волосы. Тоже удивился: «Да, выгнало тебя. Почти с меня ростом. Тебе пятнадцатый?».

Вадим щедро обнимался с домочадцами, чуть не поцеловал вечно угрюмого, хмурого лакея Тихона, — впрочем, этот «пессимист», как он сам себя называл, был его главный приятель. Прибежала, запыхавшись, тетя Пратя; Вадим, когда она обнимала его, удивился: какая маленькая!

— Ну, пойдем, дылда, там тебе готово, наверху, умойся с дороги, — хлопотала тетя Пратя, подбирая серый капот, чтоб не запнуться на узкой лесенке в мезонине.

— А Маня и Миля где же? — спросил Вадим.

— Гуляют девочки. Мы ведь не знали, когда ты... Третий раз Грицьку посылаем. Гуляют.

— С мадам Лежье? — улыбнулся Вадим, вспомнив бархатную кофту и начесы старой гувернантки, злющей. Ей, прошлым летом, Вадим всякие штуки подстраивал, к восторгу Мани и Мили, десятилетних своих сестер-близнецов.

— Хватился! Ее — давно духу нет. Злая, говорили... так что ж, добрые-то, иной раз... пойми их, — странно прибавила тетя Пратя, сжав губы. — Ну, все есть? Сундучок твой принес Тихон. Мойся. Ужинать будем. К ужину вернутся девочки. Тоже выросли, — не узнаешь. К ужину утка будет холодная, варенец твой любимый, с пенками, с черными. А ягод нет еще, да скоро будут. Клубники на грядках много нынче...

Вадим остался один. В этой знакомой, родной комнате, просторной, с низковатым потолком, где он знал каждое пятнышко на обоях, где пахло отцветающей сиренью из двери на крошечный балкон, — тихое его блаженство стало еще тише и упоительнее.

Он вышел на балкон. Сквозь деревья видна зеленая поляна, спуск к «сажалке»: ее и купальни не видно за тополями. Острые тополя эти рядами подымаются и к усадьбе; за ними, влево, фруктовый сад. Вадиму не хочется сейчас все это обегать, убедиться, что оно осталось на своих местах; успеется, сейчас ему и так хорошо; «до сна» хорошо, как он говорил маленький, когда было уж очень хорошо: ему снились удивительные, необыкновенные сны, о которых он и не пытался рассказывать. Только знал про них, а рассказать нельзя, — другое. Он и говорил просто о чем-нибудь наяву хорошем: «До сна хорошо» (или «почти до сна»).

Так было ему, в этот вечер, хорошо — почти «до сна».

Но сумерки близко. Внизу, на круглом балконе, голоса, звяканье посуды. Ужин. Быстро приведя себя в порядок (Вадя мальчик аккуратный и любит, чтобы гимназическая блуза его была свежа и ловко сидела) — пошел вниз.

Топот детских ног. «Вадя! Вадя!». Две смуглые, стриженые девочки целуют и тормошат его. Наперерыв что-то спрашивают, что-то рассказывают, — ничего нельзя понять. С ними обеими Вадим и вошел на круглый балкон, где собирались ужинать. Стол накрыт, но никого еще не было. Впрочем, нет: у перил стояла высокая барышня в белом платье с короткими пышными рукавами. Две темные толстые косы перекинуты вперед.

— M-lle Агата, это наш брат, Вадя, — кричала Маня. Видите, какой большой, выше вас!

— Вадя, это m-lle Агата, — кричала Маня. — Это не мадам Лежье. Мы той не боялись, потому что мы никого не боимся, а M-lle Агата сама всех боится. Мы ее по-русски учим. Она уж все почти понимает.

Лица Агаты Вадим не разглядел, оттого ли, что она стояла спиной к свету, или от внезапного, не очень понятного смущения. Пожал узкую руку, хотел что-нибудь сказать, но как-то не собрался. Да тут подали ужин, явилась тетя Пратя, пришел отец, и в том как раз весело-лукавом настроении, которое так любил Вадим. Девочки непрерывно хохотали от его шуток. На половине ужина Тихон принес свечи в стеклянных колпаках. Вадим несколько раз, искоса, взглянул на Агату. Лицо ее все-таки ускользало от него; заметил только длинные-длинные черные ресницы, — она почти все время держала их опущенными, — и глубокую ямочку на подбородке.

Позднее, часу в десятом, подавали еще чай. Но отец к чаю редко выходил. А потом — слава Богу! — пора и в постельку добрым людям. Вадим, конечно, ушел бродить. Возвращаясь, обогнул хуторские постройки, вышел на двор. Окно флигеля, где жил Тихон, светилось. Вадим заметил и самого Тихона, — сидит на крылечке. А перед ним, в свету из окна, женская фигура, и Вадим тотчас признал ее: Василиса-прачка. Была по-будничному, в синей запаске с красным кушаком, в холщовой рубахе, но на голове, поверх повязанного платка, был надет еще громадный венок торчащих розовых роз из бумаги.

— Вот как, а я и не знал, что Василиса — невеста, — проговорил Вадим, усаживаясь рядом с Тихоном на крылечке. (Василиса, едва завидев его, убежала, только ноги сверкнули, босые. Сватались за нее многие, давно: белокурая, щербатенькая, да такая веселая, такая певунья, что одним голосом, говорят, привораживала. Но слыла разборчивой.)

— И до чего дуры эти здесь бабы, — вздохнул Тихон, — до чего дуры! Нацепят этот на голову кавардак... Ничего подобного у нас в Москве. Да. И столько я разов Валериану Михайловичу докладал, что не нравятся мне здешние места, вследствие чего прошу меня отпустить. Не соглашаются. Тебе, говорят, везде нравиться не будет, так все равно.

— Да ты про Василису скажи, Тихон: за кого она выходит? За нее, в том году, Грицько сватался, я сам слышал...

— Грицько! — с презрением проговорил Тихон. — И до чего народ этот глупый, хохлы то есть, что бабы, что мужики. Какое же сравнение с нашей стороной! У нашего народа понятие есть, а у этих все не по-людски. Грызут эту, с позволения сказать, кукурузу, — «пшеничка, пшеничка!». И словесность у них, извольте, Вадим Валерьяныч, заметить, самая грубая.

— Ну, завел свое, — с нетерпением сказал Вадим. — Чем тебе здешний народ плох? Словесность грубая, скажите! Вот повезет тебя папа за границу, так узнаешь, где твоя сторона, где чужая, как ни слова не поймешь!

— За границу? — вскинулся Тихон. — Да уж этого... да чтобы нога моя... Навидано и здесь довольно. Хоть бы эта старуха прошлогодняя у барышен... Да как я ее не убил! А теперь эта, новая... То-то бы она не худче, — прибавил он с таинственным видом.

— Почему худше? — сказал Вадим и почувствовал, что у него забилось сердце. Черные косы, опущенные ресницы...

Тихон помолчал.

— Так. После вам скажу. Я ее раз на мостках видел... Да что, пустое, нечего вам, после скажу.

Вадим встал.

— Ну, как хочешь. Прощай, я спать пойду.

Остановившись, поднял голову. На бархатно-синем небе дрожали крупные звезды. Точно длинные ресницы дрожали...

— Да, Тихон? За кого же Василиса-то выходит?

— А вот, не угодно ли, — завел монотонно Тихон, — вот скажи подобной дуре здешней пустое какое слово, сейчас каламбур этот нацепила, и ходит, как настоящая, и ходит...

Вадим не дослушал, не понял, да ему было все равно, за кого выходит Василиса. Он думал о другой.

* *
*

В июне пошла жара. Тихон здешнюю жару с отвращением называл «палючей»; уверял, что в его стороне жара «христианская», а такой не бывает. Правда, Филевка лежала среди необозримых полей и луговин, на которых разбросаны были хутора, в шапках кудрявой зелени садов. И ни реки вблизи, только повсюду, на хуторах, «сажалки», — широкие пруды. В филевском парке славная была сажалка; да парк такой густой, тенистый, что если забраться — жары не чувствуешь; во фруктовом саду — конечно; но там дыни, арбузы, смородина, вишенье, дули и сливы всех сортов радостно подставляли наливные свои брюшка под лучи солнца. А кармазинные яблочки собирались алеть во все тельце, и даже насквозь, до самого нутра.

У Вадима было излюбленное место в парке: забирался меж кустов, недалеко от тополевой аллеи, ложился в траву, густую, высокую, и лежал так часами. Думал? Вряд ли; хотя ему было о чем подумать.

Если, как нынче, отыскивали его девочки и присаживались около, — не очень был доволен. Знал, что болтовня их непременно сведется к Агате. Вот и сейчас.

— Как ты думаешь, Вадя, чем ее так обидели, на первом месте, еще во Франции, что она убежала? И в той семье, что в Киев ее завезла, тоже? Это счастье, что папа встретил ее в конторе и нанял к нам. Она сиротка, ее нельзя обижать. Мы ее ужасно любим.

Вадим промолчал, а Маня, с виду как две капли воды похожая на Милю, но более серьезная, сказала:

— Мы-то любим, а вот другие, тете Пратя, например, и вообще в доме, даже Тихон... Они ее не любят.

— Папа никому не даст ее обидеть! — вспыхнула Миля. — Никому! Что ты думаешь, наш папа будет со всякими дурнями и с самой тетей Пратей считаться?

Девочки обожали отца. Вадим — что говорить: у него к отцу был даже какой-то культ. Вадиму казался он самым красивым, умным, смелым, самым прекрасным человеком на свете. Они были не близки. Может быть, само чувство обожания и веры в отца мешало близости.

Девочки еще поболтали о новой гувернантке и убежали. Вадим остался со своими думами, теперь постоянными.

Большой Вадим был еще маленьким, но не совсем. Он еще раза четыре был влюблен, — весьма издали, правда, — но так, как сейчас влюблен в Агату — никогда. Не понял даже сначала, что это влюбленность. Да и была она не совсем обыкновенная. Он мало говорил с ней: острая и сладкая боль, при встречах, делала его непобедимо робким, смущенным, а то, что и она смущалась, беспомощно опускала ресницы, совсем лишало его самой простой смелости. А между тем, эта ее пугливая робость, какая-то беззащитная чистота, к ней и влекла особенно. Он догадывался, как и чем ее «в чужих людях» всегда обижали, почему она отовсюду «спасалась». Ну, теперь, зато теперь...

А что не любят ее «в доме» — чепуха, конечно. «Чужая», да еще держится от робости, как чужая... Вдруг он засмеялся, вспомнив Тихона. На днях, в ночной беседе на крылечке, Тихон таинственно сообщил, что «мамзель», по его убеждению, из ведьм: видел ее на мостках, у сажалки; сидит, «волосы черные, длиннущие, по плечам, месяц — во! Светит на нее, она на месяц глядит, и ни гу-гу. Обязательно, из ведьм. На это и у Грицька есть понятие». Вадим тогда рассердился на Тихона, теперь ему смешно.

Тишина в саду. Даже кузнечики будто замолкли. Вадим, закинув руки за голову, смотрит в небо. Оно, от синевы, кажется особенно высоким. «Зачем я ее люблю?» — думает он: «Ну что, ну что из этого может выйти? Разлюблю? Нет, наверно никогда, и не хочу, и не желаю, и не могу... это уж наверно. Самое ужасное, что мне только пятнадцать... четырнадцать лет. Если б я был большой, я бы сейчас женился на ней... то есть если б она меня полюбила, конечно... все-таки можно бы тогда

надеяться, что есть исход. А теперь безысходно. И глупо мечтать, что, вот мол, когда я вырасту... Ребячество. Может, мы все умрем к тому времени...».

Так он полудумал, полумучился, сам не зная, грустно ему, больно, или сладко... Шаги в близкой тополевой аллее прервали эти размышления. Сел, прислушался. Кто это? Разговаривают. Вадима не видно, но и ему не видна, или чуть видна, аллея, теперь, к вечеру, еще потемневшая. Шаги ближе. Нет, не разговор: говорит тихо, почти шепотом, один. Вдруг Вадим уловил французское слово. И в ту же секунду узнал голос. Узнал — и не узнавал: такая была в нем горячая, дерзкая настойчивость и еще что-то... слов Вадим не различал, да и нужды не было, они и так угадывались. Другой голос, испуганный и нежный, произнес что-то и вдруг оборвался на тихом вскрике. Шорох, легкие, убегающие шаги, но за ними другие, быстрые, твердые... И все кончилось.

Все кончилось, сразу, но Вадим не сразу все понял. Понимание входило в него медленно, тяжело. Ничком лежал в траве. Не плакал. Эти три минуты что-то сделали с ним огромное. Что-то перевернули в нем, и внутри было теперь непривычно холодно и непривычно ясно.

Пришел домой к ужину. Очень спокойный. Агаты не было: «У нее мигрень», — сказали Маня и Миля. «От жары, верно», — заметил отец. Он был, как всегда. Как всегда прошел, перед чаем, в свой угловой кабинет, с маленьким балкончиком, прямо в сад. Вадим остался. Но через несколько минут вдруг, молча, последовал за отцом в кабинет; это уж было совсем не как всегда.

Рассеянно-ласковая улыбка, даже не удивленная.

— Тебе что-нибудь нужно, милый?

— Да, нужно.

Если бы Вадим хоть на секунду усомнился в себе, в своем решении в том, что надобное должно и будет сделано, — еще неизвестно, как бы дело кончилось. Но Вадим ни в чем не сомневался. И сказал, не понизив голоса, кратко:

— Папа. Ты влюблен в мадемуазель Агату. Если влюблен, и если она согласится, кончи с ней по-хорошему. Я так решил. Обижать ее, все равно, я не позволю.

— Что-о?

Валериан Михайлович быстро поднялся. Они стояли теперь лицом к лицу, оба почти одного роста, с одинаковыми, крепко сдвинутыми, черными бровями. Эти полминуты, когда они так стояли и молча глядели друг на друга в глаза, для Вадима были, пожалуй, не менее важны, чем недавние три минуты около тополевой аллеи.

Но кто-то пробежал мимо, по коридору, засмеялись дети...

— Идем в парк, — сквозь зубы, проговорил Валериан Михайлович, сжав руку Вадима, повыше локтя, сильными пальцами. Вдвоем, спустились они со ступеней углового балкона и пропали в теплой и душистой ночной черноте.

И удивилась же Филевка: Валерьян-то Михайлыч ихний на мамзели женился! И обвенчался словно крадучись: поехали, без барышен, с панычем с одним, утречком, после Успенья, в Бобринскую церковь, окрутились, да тем же махом назад. Грицько и тот «не чуял», пока туда их вез. Тетя Пратя, узнав, так и села, заплакала. Слыхали потом, Устинье жаловалась, грозилась со свету «Агашку» сжить, на что Устинья резонно отвечала: «Чого ще! От той госпожи обиды не буде, нехай живет!». Девочки были в восторге: как интересно! Своей матери они не помнили (как и Вадим), а мачехой Агату не признавали, — ведь это все та же m-lle Агата!

К удивлению Вадима, Тихон принял женитьбу барина на «чужачке» (и еще «из ведьм») с видимым удовольствием. Это скоро объяснилось: заводил-заводил речи о дурах, «пустое слово им скажешь, она уж рога свои напялила», а в конце вышло наружу: Василисин жених он и есть, сам Тихон. С презрением фыркал, когда тетя Пратя говорила, что его, «москаля», здешние парни за Василису побить собираются: «Русский человек ничего не боится».

А дни, меж тем, бежали, и вот, снова едет Вадим, по той же дороге, с тем же Грицько и той же Хмарой на пристяжке; только не со станции — а на станцию, к поезду киевскому. Все будто то же, но все переменилось, или перевернулось. Другие запахи, другой свет и пустые, скошенные поля — другие: на них и над ними — тишина.

Вадим молчит, но вовсе не от прежнего «блаженства»: он о нем забыл; а если б припомнил, то ему показалось бы, вероятно, что это было с другим, не с ним, или тогда, — давным-давно, — когда он был «маленьким».

Блаженства нет, но нет ни боли, ни тоски. Что же, пока так, как надо. Дальше — целая жизнь; он о ней не думает. Он ни о чем, вообще, не думает. В нем, как в воздухе этом осеннем, как в опустевших скошенных полях, — простота и тишина.

ДВЕ ДАМЫ

(Сережа Чагин)

I

...Предчувствую: изменишь облик Ты...

А. Блок

— Как трудно жить, — думал Иван Павлович Чагин, возвращаясь домой.

Жить ему, действительно, было трудно и вовсе не потому, почему трудно другим: внешняя жизнь кое-как сложилась, он имел заработок, небольшой, правда, но работа интеллигентная; вдвоем с сыном Сережей ему было достаточно. И Сережа — мальчик хороший. Нет, главная трудность в том, что Иван Павлович не мог удовлетвориться собственной жизнью: смотрел, как идет жизнь кругом, и ему казалось, что она идет плохо. А помочь нельзя, во всяком случае, не он, Иван Павлович Чагин, этому поможет: не говоря уж ни о чем другом, — уважение к человеческой свободе так в нем было сильно, что он, теперь, даже в резкие споры избегал вступать, предпочитал отдаляться от несогласных и был очень одинок.

Последнее время так случилось, что он видел больше Сережиных товарищей, самую зеленую молодежь. Так как Сережа всем заявлял: «Папа — мой друг», то он, зная, что присутствием не стесняет, часто слушал их разговоры. Мальчики эти и молоденькие девушки ему нравились: одни больше, другие меньше. Но в разговоры сам он не вступал никогда: ведь это все «пореволюционеры»; Иван же Павлович был революционер просто.

Революционер? Пожалуй, сказать это о нем сейчас, — и неверно. Одно верно, что и сейчас он, в глубине, таков же, каким был. А был, в предвоенные годы, одним из хороших русских студентов, честных, со средним умом и с большой совестью. Все это, — особенно безотчетная влюбленность в «свободу», которая, в молодости, походила на влюбленность в «прекрасную даму», или в «далекую принцессу», — привело его, вместе с другими студентами, к партии «социалистов-революционеров». На первых ролях он там не был; возможно, что ему больше подходило бы стать «народником»; но так уж случилось, и он ни о чем не жалел. В душе, с молодости, была у него, должно быть, какая-то крепость и сохранилась, несмотря на все пережитое: октябрь, добровольчество, тяжелое ранение, эвакуация, и, теперь, жизнь в чужой стране. В Турции он женился на сестре милосердия, много старше его. Жена умерла, когда Сереже было 12 лет. С тех-то пор они особенно и

«сдружились»: мальчик вырос на полной свободе; а вот худого не вышло. Серьезный только чересчур, и это уж в натуре.

Все-таки, — «трудно жить», — говорил себе Иван Павлович, взбираясь по лестнице в пятый свой этаж. Хотел бы не повторять этого, — зачем? а повторялось.

Квартира удачная: две маленькие комнатки, а третья большая: в ней-то и собирались Сережины друзья — «по-революционеры».

Сережа был уже дома. Ивану Павловичу показалось, что он как будто задумчив, или озабочен. Темные, разлетающиеся брови сдвинуты, лицо, с которого еще не сошла детскость, но уже энергичное, — бледновато. Иван Павлович все это заметил; ни о чем не спросил, — сам скажет, если захочет.

За обедом (все нужное им с утра готовила приходящая прислуга) Сережа проговорил, немножко вскользь: «А я больше не участвую в «Нашей России». (Это был маленький «пореволюционный» журнальчик.)

— Почему? — спросил Чагин. — Ведь ты ее даже редактировал.

— Так. Не хочется. Пусть Андик редактирует. Или Боря Тайранов. А Лелечка Бер тоже выходит. И другие еще, кое-кто.

Иван Павлович, конечно, знал, что «пореволюционеры» не единое что-нибудь, а делятся на группы, часто между собой не согласные. И скорбел об этом, понимая, что поверх несогласий у них, как у его поколения, среднего (Иван Павлович далеко не стар), тоже есть своя «прекрасная дама», одна у всех, и называется она «Россия».

— Я, папа, очень-очень серьезно хочу с тобой поговорить, — сказал Сережа, вскинув на отца живые, темные глаза. — Хорошо?

Они устроились за прибранным столом, закурили.

— Ты поймешь, папа.... Я не от группы нашей сейчас говорю, это у меня личная мысль. Я тебе расскажу, а ты обдумай. На прошлой неделе, у капитана...

— Ну, капитан! — отмахнулся Иван Павлович.

— Знаю, знаю! Ископаемый. И нелепо ввязывается еще в споры. Мы туда ходим... я, по крайней мере, скорее для Ариши. Она очень страдает в этой атмосфере. Постой, так вот: были там кое-кто из наших и Лелечка. Поднялся спор, ну, о России, конечно, какой она должна быть, кто какую любит. Все зря, и возмутительно. Лелечка, посреди этого, — ты знаешь, какая она смелая, — вдруг говорит: «А я никакой России не люблю, я никакой не знаю, ни новой, ни старой». Капитан и не опомнился, как Ариша тоже: «И я, — говорит, — не люблю, любить, это — чувствовать, по-живому, а я по-живому Россию не знаю, ни капельки, ну, и не чувствую...». Все, конечно, в ужасе. И я в ужасе.

Иван Павлович улыбнулся:

— Потому что ты — чувствуешь?

— Да. Она не права, не права! Отлично вижу. А вдруг все-таки немножко права? А, папа? Вдруг ты, например, больше чувствуешь? Ты какую-то Россию видел, знаешь, а я ведь никакой? Мы с тобой разные, хоть ты и все понимаешь. Я только во сне иногда...

— Конечно, разные, Сережа. Вот ты сказал «во сне»... Во сне Россию видишь, да? Будто вернулся... то есть я хочу сказать, приехал, и сон смутный, но радостный, да? Я тоже, во сне, будто вернулся... только самый это у меня страшный, тяжелый сон. Видишь, и сны у нас разные.

Сережа искоса взглянул на отца. Иван Павлович знал этот взгляд, подмечал его, если не у Сережи, — у других. Даже прозвал его, для себя, кратко, двумя словами: «серебряные ложки». Для них, юных (о, бессознательно, невинно!) все «старые», от капитана до Ивана Павловича, без различия, если имеют что-то против России, то это, главное, из-за своих там «потерь»... Можно и не грубо понимать, но сущность остается; это отношение молодежи Иван Павлович и обозначал про себя грубыми «серебряными ложками».

— Да, насчет снов, — это так, — заторопился он. — Ты скажи свою мысль. Что ты надумал?

Прошло полминуты молчания. Сережа поднял голову, посмотрел отцу в глаза и сказал:

— Я хочу поехать в Россию.

Опять молчание. Иван Павлович не был удивлен: он будто этого ждал. Понимал, что не выходка Лелечки причиной, — все вместе и уж давно... Ему было известно, что немалое количество русских студентов, одиночек, и связи с эмиграцией не имевших, уже уехало в Россию. Это, думалось, особый тип оевропеивавшихся современных юношей с чисто практическими задачами. У Сережиных товарищей и у Сережи — другое, и сами они другое.

— А как же... кружки твои? — произнес, откашлявшись, Иван Павлович.

Сережа заговорил; спеша и немного путаясь, старался объяснить, что «кружки», хотя и разные, но везде только «болтовня», а никто путем не знает, чего хочет; и что «лучшие» у них давно уж считают, что никому о России верить не стоит, а нужен опыт, — «экспериментальное касанье»...

— Ты, папа, если захочешь, — можешь понять. Тебе это неприятно, но ты постарайся стать на другую точку зрения. Против тебя я, конечно, не пойду, только ты подумай: когда меня спрашивают, — что ты там будешь делать? Я отвечаю: а здесь, что я делаю? Да я и не собираюсь там сейчас же что-то «делать», а просто хочу сам увидеть, сам по-

нять. Скажу тебе по секрету, кое-кто из наших так же думают. Только большинство не от себя зависит, Ариша, например... Лелечка скорее. А я, — ты, папа, если поймешь, не прямо запретишь, ты мне очень поможешь. Я даже раз подумал... да все равно.

— Что подумал?

— В конце концов, ведь может случиться, что и ты... — с виноватой улыбкой начал Сережа. — И ты, как-нибудь после, надумаешь... Ведь сегодняшней России ты тоже не знаешь? А что был когда-то добровольцем, на это уж не смотрят, ей-Богу.

Он запутался и смолк. Иван Павлович улыбнулся, покачал головой, предложил только разговор пока прекратить: «Я подумаю, мальчик; вместе и решим твое дело. А теперь вон кто-то звонит...». «Это, наверное, Ден и Лелечка!» — закричал Сережа и побежал в переднюю.

Немало дней прошло, а Иван Павлович все еще «думал». Прежде всего, он постарался отстранить от вопроса себя и свое: свою боль от разлуки с сыном, свой страх за него, свой страх одиночества (может быть, последнего?). Нет, только так, как нужнее, важнее, разумнее — для Сережи. Он знал своего хорошего мальчика. Он понимал, что его влечет к «далекой принцессе», к «прекрасной даме» — России. Не так же ли влекло и самого Ивана Павловича к его прекрасной даме — Свободе?

Вот она где, горючая рана, — и опять о Сереже: поймет ли он, свою Даму увидев, почувствует ли, что и та ему нужна, прежняя, «старая», которая живет в душе «старого» Ивана Павловича? От нее не откажется Сережа (как сейчас не понимает и не может понять, сколько ни объясняй), — вот тогда настоящая разлука, уж, действительно, навсегда, душевная...

«Что ж, естественный разрыв между ближайшими поколениями», — усмехался, про себя, Иван Павлович, но усмешка выходила насильственная. Потому что и не хотел он, — а все-таки чувствовал, что между его «прекрасной дамой» и Сережиной нет разрыва, не должно быть, а если есть, — он неестественный.

Тяжелые эти дни размышлений не были, в сущности, нужны: Иван Павлович с самого начала знал, что ни запрета на Сережу не наложит (еще бы!), ни даже увещевать, чтоб он отказался от поездки, не будет. Увещания, идущие от того, кто имеет власть «запретить», тоже своего рода насилие, — так, по крайней мере, рассуждал Иван Павлович. Если б он верил в Бога, то, вероятно, свое решение выразил бы просто отдачей Сережи в волю Божью. Но, с тем же решением, Иван Павлович сказал себе: «Пусть мальчик мой действует свободно. У него хоро-

шая натура. Он поймет... если нужно и когда нужно. На это и стану надеяться».

Стараясь говорить спокойно, задержал раз Сережу после обеда и объявил, что намерение его обдумал и в принципе не возражает. «Только насчет формальностей... боюсь, не сумею тебе тут помочь. Придется уж самому, ты посоветуйся...».

Сережа вспыхнул, немного растерялся.

— Да, да... Я ужасно рад, папа, что ты — ничего. Я, впрочем, так и знал. У нас много спорят; я не со всеми согласен... Но, главное, конечно, остается. Знаешь, мне трудно будет без тебя, папа. Но ведь я же не совсем, мое задание этого не требует. Мы его не скрываем. Что тут спорить еще? Ну, да обо всем нашем я после тебе расскажу.

Иван Павлович на дальнейших объяснениях не настаивал. Надо выждать. Однако потянулись дни, потом недели, — Сережа, непрерывно задумчивый и молчаливый, разговора не заводил. А Ивана Павловича стали мучить в это время какие-то неожиданные — и «не осмысленные», как он себе говорил, — мечтания: во-первых, — новая надежда: не та, отдаленная, дозволенная, — «поймет после, на опыте», — а другая: «Ведь еще не уехал... мало ли как еще обернется...». Во-вторых, не совсем понятное беспокойство совести: так ли уж он, Иван Павлович, прав, все возлагая на Сережу, от малейшего ему словечка воздерживаясь? Не умовение ли это рук? Хорошо — принцип свободы, но любовь-то с принципами не всегда считается...

Иван Павлович старался гнать от себя эти «мечтания». Теперь, когда у Сережи собирались, даже уходил из дому, нарочно. Да теперь редко собирались.

— Нет, спрошу, наконец, — думал Иван Павлович, возвращаясь вечером домой. — Что ж это, ведь точно нас разделило вдруг... Это неестественно.

Сережа встретил его в передней.

— Сережа, — начал Иван Павлович, — я хотел тебе сказать...

— Нет, папа, это я хотел, постой, подожди! Сейчас вот Лелечка Бер приходила, она так же... Я тебя ждал... — торопился Сережа, идя за отцом в столовую. — Я тебе в двух словах. Ты должен понять...

Иван Павлович опустился в кресло.

— Папа, мы раскололись, — продолжал Сережа. — То есть несколько человек из нас откололись. Вошли в сношения с другими, ну, и с теми, с кем нужно, по делу, по нашему. Они — «да, да, конечно, это легко устроить». Но — точно издевка! давно вижу, просто обманывают. Для чего? Какая цель? Я, наконец, потребовал, чтобы нам прямо ответили: да или нет? Если нет — почему? Мы же ничего не скрывали, — испытывать они нас, что ли, хотят? Подождите, мол, годик, и

здесь вам дело найдется... Какое? Мне все это, папа, отвратительно. И какая они Россия? Я им так и сказал. Даже сказал, что Россию они от нас не запрут, захотим – и без них обойдемся.

В волнении, Сережа бегал по комнате, глотал слова. Иван Павлович прервал его, сказал твердо:

– Нет, Сережа. Ехать «без них», это – другой разговор. Ты свободен, конечно, но я требую, – слышишь? Требую, чтобы ты не в возбуждении чувств действовал. Чтобы ты своим маленьким опытом... ну, не о России, а насчет России, воспользовался, серьезно-серьезно над ним подумал. Понял бы хоть кое-что по-настоящему.

Сережа утих. Остановился, постоял, молча. Потом подошел, присел на ручку кресла и, по детской, мальчишеской привычке, прислонился головой к виску Ивана Павловича.

Отец тихонько погладил его по руке.

– Знаю, милый, знаю. Ты хороший у меня человек. И другие, друзья твои... А Россия – она от вас не уйдет... живая Россия.

НОЧЬ ВОСКРЕСЕНИЯ

(Из воспоминаний)

Помнится мне одна пасхальная ночь.

Это было в Петербурге, в те далекие времена, о которых кажется теперь, что их и вовсе не было. Впервые поднялся тогда «железный занавес» за Николаевским вокзалом, отделявший «светский» Петербург от «духовного», церковного, от Александро-Невской Лавры со всем его населением и с особым его бытом: тогдашний обер-прокурор Победоносцев разрешил религиозно-философские собрания. Полутайные, правда, без «гостей», только для членов, но это не помешало сделаться им сразу очень многолюдными. Почин шел от «светских»; духовенство откликнулось горячо, даже высшая иерархия, не говоря о молодых приват-доцентах Дух. академии, принявших «сан» и еще не принявших.

Получить разрешение было нелегко: дело новое; подействовала, кажется, кем-то брошенная мысль, что это будет «миссия среди интеллигенции».

Председателем собраний был еп. Сергий, – тот самый, что 20 лет, при большевиках, возглавляет гонимую церковь, нынешний «местоблюститель» патриаршего престола. В те времена он был ректором Духовной академии, несмотря на молодость. Помню его хорошо:

скромный, тихий русский человек; красноватое, широкое, добродушное лицо; блестят очки; русые волосы — вялыми прядками по плечам. Он так молод, что юные приват-доценты Дух. ак. (новые наши приятели, Карташев между ними) все боятся окликнуть его «Ваней»: они однокашники.

Еп. Сергий — не номинальный председатель, а настоящий, на каждом собрании присутствующий и нередко своей кротостью смиряющий страсти споров. А споры между сторонами, «светской» и «духовной», бывают горячие и ведутся свободно, как нигде.

Не помню, кто дал еп. Сергию мысль пригласить некоторых членов собраний, в ночь Светлого Воскресенья, на хоры лаврской церкви. Мы, конечно, с удовольствием на приглашение откликнулись.

Странная это была ночь. Впрочем, пасхальная ночь в прежнем Петербурге, когда «пустынны улицы, а храмы многолюдны», всегда казалось странной. Даже если не заходишь в церковь, а лишь из холодной, бездонно-весенней темноты глядишь на извивающиеся факелы на верхних углах Исаакиевского собора, на эти огненные языки громадных небесных змей; или, если посмотришь в узкие окна маленького храма где-нибудь в переулочке и видишь кудрявое золото бесчисленных свечей, что трепещет внутри; везде, и там, внутри, и на темных улицах, одна притихшая странность — ожидания. Точно и воздух замолк, от неба до земли; точно и он ждет, сама тишина ждет... чего? Какой небывалой, какой невыносимой радости?

Много мне помнится этих зеленовато-темных, петербургских ночей. Но та, о которой говорю, была по-другому странна; и, вначале не имела, пожалуй, особенно торжественного настроения.

Академическая церковь примыкала к самому зданию академии, расположенной внутри лаврской ограды, в саду-парке. Дверь на хоры была прямо из широкого коридора во втором этаже. По сторонам коридора — двери в громадные, точно залы, жилые комнаты монашествующих иерархов-академистов. В одну из них дверь стояла настежь: там «хозяева» (участники собраний) приготовили нам «разговенье» на двух больших столах.

Но вот — пора, и мы идем, через коридор, в хоры. Они как раз против алтаря. Вся церковь нежно и длинно круглится под нами, с узкими окнами по бокам. В окнах еще поблескивает небесная зелень, — церковь темна, только тают, истаивают крупные свечи у плащаницы, да недвижным рдением разноцветятся в углах лампады. Полутемень — гуще внизу: церковь полна народом. Гулко прокатывается голос чтеца, но звук лишь стены облетает, а в середке — шелестящая, живая, людская тишина.

А вот вспыхивают один за другим огни. Еще, еще... Светлее, но не светло. Загораются точками золота ризы, и тяжело колеблют хоругви негнущиеся полотнища...

Служба началась. Вновь, сразу, потемнело в церкви, — ушел крестный ход. Огни роятся за окнами, мерцают, мелькают. Пенье едва слышится: двери заперты.

И вдруг — сразу вскинулось, потоком вхлынуло с огнями, золотыми сверканьями, с людским дыханием и теплым восковым дыханьем свечей: «Христос воскресе из мертвых...».

Заутреня не долга, даже и в «сослужении». После «розговен» в нашей комнате (не совсем все-таки похожих на «светские» разговены, ведь рядом шла служба — на всю ночь) — многие уехали. Мы — остались.

В пасхальную ночь ранняя обедня особенно длинна. Еп. Сергий читал Евангелие, по уставу, на разных языках. Пасхальное пение все время, как бы нетерпеливо-радостно, прерывает службу. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос воскрес!».

Но кончилась и обедня. Опять люди, люди, рясы, кресты; помню, кажется и утомленное, доброе лицо Сергия...

Все прошло, затихают голоса, даже шаги. Мы почти одни, надо одеваться и уходить. Двери из коридора в церковь все так же раскрыты настежь. Почему мы не спускаемся сразу к выходу? Я не знаю. Но мы не спускаемся, мы еще раз идем в темную дверь, туда, на хоры. В церковь.

Церковь этой краткой минуты запомнилась мне навсегда. Что было в ней? Разве это не та же самая церковь, которую мы только что видели в ее торжестве из торжеств, в ликовании и сияньи? Да, та же самая. И странно, и страшно — другая.

Она была пуста. Сумеречна, но не темна. Рассветно-холодными полосами зеленели узкие окна. А там, за окнами, еще не догорели костры, и дрожащими, багровыми пятнами отливала зелень окон.

Церковь пуста — и вся полна тяжко плавающим кадильным дымом. Вот это, должно быть, и было ее страшное: пустота — и прозрачная, призрачная наполненность. Колеблется душный дым: он сизый, ало-сизый, — но не от зари его алость: темная алость, от пламени костров за окнами.

Нет, не пустота, — опустенье. И тишина другая: не ждущее притиханье перед радостью, но тишина замирающая, тяжело падающая, как и волны фимиама.

Почему так запомнилась эта минута, — эта жуткая и грозная красота опустелого храма, сизые дымы его в отсветах дыма и крови?

ФОН И НЕ ФОН

Жили они тогда в Зачатиевском переулке, у Воскресенья на Остоженке, и Лизочка еще бегала в гимназию.

Первой ученицей не была, да и о том не заботилась. Любимые «предметы» всегда знала отлично, лучше всех.

Самые любимые – греческий и математика, особенно – геометрия. Греческий нравился потому, что «ничей», никто на нем не говорит; говорили какие-то древние, таинственные люди (о них тоже интересно); кроме того, и звуки нравились: вот как начало Одиссеи: ну, точно музыка. А геометрия – другое: Лизочка любила ее за фигуры, за линии, такие стройные, ясные, и, в то же время – «воображаемые». Их как будто нет нигде: а вот я и их рисую, и они очень есть, даже есть «доказательства».

Еще нравился Лизочке «русский»; он и давался ей, только «сочинения не выходили». Как задаст учитель тему, так Лизочке и покажется, что именно об этом она ничего написать не может, да и не хочет писать.

Для нелюбимых предметов не хватало у нее и времени: сядет учить скучный урок и задумается совсем о другом, о чем-нибудь непонятном: его столько вокруг. Ей постоянно приходили в голову всякие «отчего?», «почему?» и «как?». Но спрашивать – терпеть не могла, в крайнем разве случае; ведь можно, пожалуй, и самой понять, решить, если подумать.

Еще совсем маленькая, все доискивалась: как она папу любит, как маму и кого больше? Теперь папа умер, мама, конечно, первая. Но за ней еще осталось много кого любить. И Лизочка, хотя уже большая, нет-нет, и раздумается: как она этих близких людей любит и какие сами они разные.

Две бабушки... Нет, впрочем, только одна, мамина, а другая папина, Grand'mama. Бабушка всегжа жила с ними, а Grand'mama всегда в Москве. Когда Лиза была маленькая, они только наезжали в Москву. Теперь, после папиной смерти, совсем туда переехали. Квартира в двух шагах, в угловом белом доме, как раз против Воскресенья. Лизочка постоянно туда забегает. Grand'mama с ней дружит.

Это хорошо, что она не позволяет звать себя «бабушкой». Нельзя же одинаково звать таких разных-разных, как она – и бабушка, что с ними живет.

Бабушка – маленькая, сгорбленная, так что ситцевый подол у нее спереди всегда свисает. На голове платочек; медные очки с тесемочкой, вяжет чулок на спицах и нюхает табак из берестяной тавлинки. Бабушка никогда с ними за столом не обедает, у себя кашу только: зуб

всего один. Пьет чаек с клюквой, чайную посуду любит перемывать. Бабушка не умеет ни читать, ни писать.

Сколько раз Лизочка спрашивала: «Неужели, бабушка, ни одной буквы не знаешь? Хочешь, я тебе покажу?».

— Да что это, маточка, на что мне? Когда мне время и смолоду-то было? Девушек у нас, в Екатеринбурхе, строго держали. По пятнадцатому году просватали меня... а какое житье спервоначалу-то было! За все сама, и щи вари, и полы мой, а тут дети пошли... Это уж потом, как Василь Захарыч, дедушка твой, полицмейстером стал, у нас и домик свой, и лошадки; а забот-то и того больше... Где ж тут! Да. Вот насчет сыновей Василь Захарыч строг был. Чтоб сейчас в Казань, учиться, а после того и в Москву.

Про эти «строгости» дедушкины к сыновьям Лиза давно знала: один, дядя Коля, теперь адвокат в Туле; мама говорит «известный»; у другого даже своя в Киеве газета... а бабушка и заглавия ее прочесть не может.

Над узенькой бабушкиной кроваткой, прикрытой стеганым кумачовым одеялом — портрет. Увеличенная, раскрашенная фотография, в золоченой овальной раме. Это и есть дедушка Василь Захарыч. Сидит в широченной полицмейстерской шинели, с пухлыми черными усами. Привычный. Может быть, и строгий. Для Лизочки, не знавшей его, — скучный.

У Grand'mama, у постели, тоже дедушка. Ах, какой другой! Да и постель другая: широкая, с длинным белым пологом, с кружевным покрывалом. Этот дедушка — такая же большая фотография, тоже в овальной, но тусклой рамке, и не раскрашенная, серая. Стоит прямой, тонкий человек, весь выбритый; кажется, во фраке; из-под отворота — звезда. Вот этот уж, наверное, строгий. Или злой? Не скучное, а каменное какое-то лицо. Когда Лизочка ездит с мамой на папину могилу, то видит, в склепе, и другую, с немного стертой надписью: «Карл Роман фон...».

Grand'mama веселая, пряменькая, толстенькая: в широких мантильях своих и в юбках оборчатых — совсем, как пирамидка. На каштановом шиньоне-косе наколка кружевная с бридами. Смеется немного вбок, но зубы пребелые. Пухлыми ручками раскладывает пасьянсы, любит кофей и конфетки. У нее кухарка Анисья и курносая, белобрысая девчонка Танька: на побегушках и чтобы старую болонку, Зизинку, гулять водить. Зизинку не слишком любит: «Очень уж стара!». А чем Зизинка виновата, что ходит, переваливаясь, что шерсть у нее пожелтела? Она так жалобно смотрит на Grand'mama заплаканными глазами...

Конечно, Grand'mama умеет читать и писать. Только по-русски, верно, не любит; пишет по-французски. И книжка у нее на ночном сто-

лике, истрепанная, тоже французская. Grand'mama, как и бабушка, любит рассказывать про все прежнее, про Москву, про свою жизнь. Интересно. Как ее девицей в железный корсет затягивали, чтоб не горбиться и для талии. Про маскарады и балы, и как хорошо она танцовала два танца: монимаску и матрадуру.

Но особенно нравилась Лизочке рассматривать старинные альбомы: такие длинненькие, бархатные, кожаные, всякие. На толстых губчатых листках разные стихи, рисунки с надписями: очень хорошо видно, хотя чернила бледно-коричневые. Например, деревья, между ними вода, а верхушки вместе, и подпись: «Ручей два древа разделяет, но ветви их сплетясь растут». Потом две руки, одна в другой, и продолжение: «Судьба два сердца разделяет, но...» — дальше была клякса, или затерто, да ведь и так понятно. Были и французские стихи: «A Nathalie»:

La vie est brève,
Un peu de rêve,
Un peu d'amour,
Et puis bonjour...*

С припиской: «Mais mon amour est éternel»**.

Многие из этих стишков наизусть помнила; а какие кто писал, тех уже забыла. Да они все давно умерли.

Лизочка раз представила себе, что такие альбомы — у бабушки, или что бабушка такие стихи говорит, и рассмеялась: вот не подходит! Бабушка вообще стихов не знала; зато знала разные песни. Сидит иной раз у окна, в праздник (когда чулка нельзя вязать), пригорюнится, и тоненьким, слабеньким голоском поет: либо «Яблоньку», либо долгую, заунывную:

Прихожу к тому ручью,
С милым где быва-ла...
Ручеек все так журчит,
Счастье минова-ло...

Нравились Лизочке и рассказы бабушкины про святых, про то, как она на богомолье в Верхотурье ходила. В углу у нее, рядом с темными-претемными иконами в серебряных ризах, висел и светленький Симеон Верхотурский: один в чистом поле стоит, сзади небо зеленое и розовое. Бабушка вечерами долго молилась, на коленках; по субботам

* Жизнь коротка, немного мечты, немного любви, и затем будь здоров (*фр.*).

** «Но моя любовь вечная» (*фр.*).

ходила «ко всеночной». У Grand'mama икон Лизочка не помнит: верно, какие-нибудь незаметные. Да бабушкины совсем бы не подходили.

Grand'mama не часто бывала у них в гостях (чаще мама с Лизой бывали у нее). Но когда все-таки приходила, с бабушкой оне не встречались. Лиза совсем не помнит их вместе. И как-то улыбнувшись про себя, даже подумала: а вдруг Grand'mama и не знает, что есть бабушка, а бабушка — что есть Grand'mama? Неправда, конечно, а похоже, потому — смешно...

* * *

С некоторых пор Лизочку стала все больше занимать одна «непонятность»; давно уж присматривалась, да все объяснений не находилось. Это касалось двух ее двоюродных сестер Кати и Нати, которых она раньше переезда в Москву не видала. Хотя Лиза была девочка, а Катя и Натя взрослые барышни, оне, познакомившись, сразу сдружились. Лизина мама их тоже полюбила, а оне ее. (Впрочем, Лизину маму решительно все-все любили, такая уж она была.)

Катя и Натя — самые родные двоюродные сестры: дочери папиной сестры, тети Лизетты. Она давно умерла. Отец их тоже. Лизочка знала: это отцов брат — их дядя — воспитал «сироток». «С ним оне и посейчас живут», в сером деревянном доме с мезонином, «собственном». Дом тут же, на Остоженке: как пройти Воскресенье — на левой руке.

Все это просто, а вот, начинаются загадки.

Лизе нравились и хорошенькие кузины, и старый их дом, с калиткой во двор, весь заваленный сугробами, с неуютными, холодными комнатами. Но барышни редко звали ее к себе; а маму Лизину и совсем никогда. Сами являлись к ним больше «вечерами»: и как-то так выходило, что именно в те вечера, когда и «дядя» из дому уезжал.

Этот дядя был, для Лизочки, как бы частью загадки. Видела его всего раза два, мельком: оба раза ушел из столовой, чуть она явилась. Ничего в нем страшного не было: просто господин с седоватой густой бородой и такими же бровями. Но Лизочка его боялась. Он из-под бровей так ненавистнически на нее взглядывал, что спине становилось холодно.

«Что я ему сделала? — терзалась Лизочка. — Или это мне все кажется?».

А насчет Grand'mama еще необъяснимее: Катя и Натя такие же родственные ей внучки, как Лиза; живут еще ближе (и всегда жили); а являются к ней только два—три раза в год, в большие праздники, с поздравлением. Церемонный визит делают. Grand'mama говорит о них редко; они о ней — никогда. Не любят ее? За что? И она их не любит? Почему? Почему Лизочку любит, а их нет?

Можно бы спросить маму... да, нет, нельзя: как спросить, о чем? Вдруг ничего нет, только кажется? Или вдруг это вообще необъяснимо?

Насчет тети Лизетты было известно (но Лизочка только теперь про это вспомнила), что она вышла замуж против воли родителей. Даже как будто убежала, «тайком» вышла. Они не хотели. Почему?

— Мама, а он был плохой человек?

— Кто? — удивилась мама.

— Жених тети Лизетты? За которого она «против воли»?

— С чего ты взяла? Я его не знала, но слышала, что, напротив, был прекрасный человек.

В тот вечер, после обеда, Лизочка учила уроки; дверь в соседнюю гостиную была, как всегда, раскрыта. Мама разговаривала со своим братом, приехавшим из Тулы дня на два, по делам.

Лизочка в разговор не вслушивалась. Но вдруг заговорили, как будто, о Grand'mama, о Кате и Нате с их дядей.

— До сих пор продолжается. Монтекки и Капулетти.

Мама ответила:

— Да, так жаль. И досадно. Девочки премилые. А все это «фон» наделал; пора бы забыть; нет, продолжает действовать...

Мама засмеялась, еще что-то прибавила, но Лизочка не слушала дальше. Какой фон? Чего? Нет, необходимо спросить, наконец.

На ночь, прощаясь с мамой (не выучив географии из-за размышлений), спросила, как бы небрежно:

— А что, ты говорила, фон наделал? Какой фон? Да, да, вспомни: еще про тетю Лизетту вы говорили, про Монтекки...

— И глупенькая же ты девочка, Лизок, — улыбнулась мама. — Твоя фамилия с «фона» начинается. И моя, и Grand'mama. И Лизетт была «фон». А жених ее, да еще попович, звался Добросердов. Родители и не хотели. Унижение, мол, для всей фамилии такой брак...

— Унижение, что без «фон»? — мрачно сказала Лизочка. — А как же ты и папа? Разве ты была фон?

Мама терпеливо объяснила, что это другое: что она сама превратилась в «фон», а Лизетта свой фон потеряла. И ее дети, Катя и Натя, просто Добросердовы.

Лизочка вспыхнула от удовольствия: все понятно. Хотя ужасно.

Grand'mama любит ее, потому что она «фон», а те поповны, то есть внучки попа, она их не может любить. Их дядя страшный: это он всех с фонами ненавидит, забыть не может, что его семья считается «унизительной». Ну, да все понятно, однако...

— Никто же не виноват, как он, с какой фамилией, родится, — задумчиво протянула Лизочка.

— Дед твой иначе смотрел. Родом своим, происхождением слишком гордился, Лизеттиного мужа так до смерти на глаза не пустил. Grand'mama, та уж за ним, всю семью Добросердовых возненавидела... Нет, Лизок, не будем старых людей судить: ихнее время было такое. Теперь уж многое из прежнего проходит, и совсем пройдет, и не оглянешься.

Лизочка соскочила с ручки маминого кресла, затанцевала по комнате, припевая:

— Все проходит, все пройдет, все пройдет... мама, а помнишь, у Андерсена: «Что позолочено, сотрется, свиная кожа остается». Только я не знаю, к чему это сейчас подходит?..

НЕРОЖДЕННАЯ ДЕВОЧКА НА ЕЛКЕ

Христос проходил по верхней аллее Рая и остановился на полянке с розовой травой, где обычно играли Нерожденные дети. Среди них попадались и другие, уже побывавшие на земле и почему-нибудь быстро вернувшиеся. Они мало что помнили; вся разница с Нерожденными у них была та, что они уж наверно никогда не родятся. Это нисколько не мешало им всем играть вместе.

Увидев Христа, дети окружили Его. Без всякого дела, просто так, для удовольствия: были к Нему привязаны.

Но одна Девочка, из Нерожденных, осталась в сторонке. Христос поглядел на нее, и девочка тотчас подошла (в Раю все делается тотчас, и говорится тотчас: ведь скрыть ничего нельзя).

— Я хочу родиться, — сказала Девочка. — Сейчас же.

— Что значит «сейчас же»? — спросил Христос.

Девочка не знала, а потому только повторила:

— Хочу родиться.

Слово «хочу», или «не хочу», очень редко слышится в раю. (Но бывает, конечно.) А редко не потому, что там никто не «хочет» чего-нибудь, или не «не хочет». Но по той простой причине, что всякое «хотенье» обычно сливается там с исполненьем, и обратно: исполненье с хотеньем. На этот раз случилось иначе. Девочка захотела родиться не тогда, когда ей надо было этого захотеть.

— Почему? — спросил Христос.

— Хочу видеть елку. Вот этот мальчик, — указала на одного Вернувшегося, — рассказывал, пока не забыл, что там, внизу, елка, свечки... И так, так весело было ему на елке.

Девочка торопливо объясняла, и это опять было Раю несвойственно: там не говорят много, ведь и так все тотчас понимается.

— А ты хотел бы еще елку? — спросил Христос у вернувшегося Мальчика и поглядел ему в глаза, чтобы он немножко вспомнил: елка, свечки...

Мальчик засмеялся.

— Зачем? Звездочки...

Но Девочка была упряма:

— Не хочу звездочек. Хочу свечек, хочу родиться.

Христу стало ее жалко.

— Хорошо, — сказал Он. — Родиться — ты родишься, когда в самом деле захочешь. А елку увидишь... сейчас же, — прибавил Он, улыбнувшись. — Мы с тобой вместе вниз спустимся. Я тебе разные елки покажу.

Так как и это в Раю было не совсем обычно, Девочка не поняла, не знала, радоваться ли, сомневалась: тот мальчик видел елку, потому что родился; она не родится, а елку увидит?..

— Не думай так, — строго сказал Христос и взял ее за руку. — Пойдем.

И они отправились.

* *
*

Сначала Девочка почувствовала что-то новое, неприятное: холод, но она этого не знала. Только руке было хорошо, за которую ее держал Христос; не обыкновенный, райский, а мальчик, такой же маленький, как она сама.

Потом стало теплее: Девочка увидела, что они — в закрытом коробке, где была сероватая полутьма и стоял рев. Привыкнув немножко, Девочка различила в полутьме детей, разных форматов: они двигались и кричали дикими, острыми голосами. Крепко обвязаны темным, но прыгают и топочут, крутясь вокруг чего-то. Девочка пыталась рассмотреть, что это, и наконец увидела, посреди коробка, мертвое (зарезанное) дерево с еще зелеными, но умирающими лапками-ветками. Меж лапок тускнели кое-где огоньки; к самим лапкам привешены были тяжести разные, длинные и короткие, посветлее и почернее.

Девочка заметила, что и она крутится с детьми вокруг дерева. За правую ручку ее тащил огромный, явно рожденный, мальчик: и руке было нехорошо (Девочка не знала, что это называется «больно»): но левой рукой она держалась за Христа: если б Он ей кое-чего попутно не объяснял, она бы ровно ничего не понимала.

Огоньки на дереве стали между тем гаснуть. Зажглись другие, сбоку, большие, желтые и тоже тусклые. Дерево зашаталось; у кричащих

детей были теперь в руках разные гадкие вещи, темные и плотные: то широкие, с колесами, то еще шире, с колесиками: или узкие палки с дырой на конце. «Это не живые штуки, мертвые, — объяснял неслышно Христос. — Их люди себе устраивают, чтобы двигаться, а палки, чтобы убивать. Здесь они маленькие, игрушки, а настоящие — большие. Называются машинами». Но Девочка не понимала машин, ни больших, ни маленьких, ни как в машины играть, ни зачем из палок убивают. Спросить, однако, не успела: толстый мальчик около нее поссорился, из-за какой-то машины с другим, поменьше: отнял машину и стал ею же маленького колотить по голове. Оба, при этом, оглушительно вопили. Так было, пока не показались из полутьмы длинные люди и, тоже крича, мальчиков не развели.

Все это еще ничего бы: но тут внезапно заорал маленький коробок в углу и так раздирающе, так ужасно, что Девочка задрожала и схватилась за Христа. «Это ничего, это ихняя музыка, — сказал Христос. — Люди поют, тоже через машину». Но Девочка уж больше не могла: осовела, заплакала бы, если б была рожденная. Христу опять стало ее жалко; но возвращаться сразу домой (как Девочке неясно хотелось) не имело смысла. И Он сказал: «Подожди, это мы были у богатых людей (которых называют «счастливыми») на их богатой елке. Давай еще хоть одну поглядим».

Пошли. Потихоньку шли, скоро ли, — но увидела Девочка другой коробок, поменьше, тоже темноватый, но посветлее. Белая постелька. На постели, прислонясь к подушкам, худенький больной мальчик в беленькой рубашке, а около, на столике, крошечное деревцо, но живое, корни в горшке с землей. На деревце горели разноцветные огоньки, тускловатые; но мальчику они казались, должно быть, очень светлыми. Он весело поздоровался с детьми. Христос ему сказал громко: «Мы на твою елку пришли».

— Это мама мне устроила, — засмеялся больной мальчик. — Сегодня Христос родился.

Нерожденная Девочка хотела сказать, что это и есть Христос, тот мальчик, который держит ее за руку. Но громко говорить она не умела, а потому только улыбнулась в ответ.

В коробке становилось все светлее. Однако девочка заметила, что это не от огоньков на деревце, а от глаз больного мальчика, когда он на них смотрит. В коробок вошла большая людская женщина, и он сказал ей:

— Мама, у меня гости. На елку ко мне пришли. Дети.

У женщины на руках был крошечный ребенок. Девочка взглянула на него и вдруг — узнала: да ведь с ним они вместе играли, с нерожденным еще! Ребеночек поглядел — и тоже ее узнал: он еще ничего не за-

был, все помнил, пока не мог ни говорить громко, и ничего по-здешнему, по-нижнему, делать. Мог, правда, плакать (сразу научился!), но это памяти не мешало, так как говорящие люди слез все равно не понимают.

Ребеночек отлично умел смотреть и улыбаться. Он Девочке и улыбнулся. И Христу тоже, потому что и Его узнал.

— Великолепная у меня елка, — сказал больной мальчик. — Правда? Ничего, что крохотная. Еще лучше. А сегодня ангелы поют на небесах, правда? Только мы их не слышим.

Девочка хорошо их слышала, уж давно; слышал и ребеночек, — улыбался. Ей стало ужасно жаль больного мальчика, и она сказала Христу:

— Возьмем его домой. И другого тоже. Обоих возьмем.

Но Христос покачал головой.

— Нет, пусть останется. Видишь, какой он: маленькой, темненькой елке и той рад. Он потом придет; тогда ему дома у нас еще лучше будет, потому что сам он будет лучше. И маленький останется. Женщина хочет, чтоб оба остались: и Я хочу.

Девочка вздохнула. Она, хоть и нерожденная, кое-как побывав на земле, уже понимала грусть.

— Куда же вы? — сказал больной мальчик. — Посидите. Еще не догорела елка.

— Нет, пора, нас дома хватятся. Выздоравливай.

И Христос поцеловал его. Поцеловал и ребеночка: он рассмеялся и сказал глазами: «Приходи опять».

Коробок был уже гораздо светлее, чем когда они пришли.

Ну, не такой, конечно, свет, какой встретил их у знакомых голубых дверей, Рая. (Может быть, и не голубых, а зеленых.) Христос еще держал за руку нерожденную девочку, но уже был обыкновенным, привычным райским Христом и глядел на нее, улыбаясь. Она знала, о чем. Он спрашивает, но не знала, что отвечать. Хочет родиться? Не хочет? Ужасно в темноте, с железными игрушками-машинами. Но хорошо побыть с больным Мальчиком. Здесь, в Раю, на свету, тоже хорошо играть...

— Ничего, — сказал Христос. — Потом ответишь. А родиться — это уж как мы с тобой оба захотим. Теперь ступай, беги к своим, на сиреневую площадку. Расскажи им, как ты на елке была. Да торопись, а то забудешь.

ЕГО СВОБОДА

Рассказ моего знакомого

Он пришел, принес эти листки и сказал:

— Мне нравится, что вы так интересуетесь всяким человеком, не можете успокоиться, пока не разглядите его с изнанки. Знакомство наше старое; мы не часто встречались, но каждый раз я замечал, что вы стараетесь во мне что-то рассмотреть: оно ускользнает, и вам неприятно. А я терпеть не могу доставлять неприятности. Сейчас я уезжаю, — в Новую Зеландию, может быть, проеду, — мы не скоро увидимся; вот я и надумал эти странички написать — для вас, чтоб вам помочь насчет моей изнанки. Тут, кратко, о разных случаях жизни; и почему выходило так, а не иначе. Секрета никакого нет, сами увидите; не всем, правда, рассказываю об этом, да ведь редко кому чужое и понятно. Я сам, может, неверно кое-что понимаю. Вы почитайте листки, авось разберетесь.

Все это, — о моем упрямом интересе к «человеку» вообще и о том, что в данном человеке не удавалось мне главную пружинку разгадать, — истинная правда. Другие, вероятно, и не разгадывали; судили просто (он многим известен), называли разно: кто — оригиналом, кто, напротив, обыкновенным человеком и неудачником; иные подозревали, что в нем сидит авантюрист. Знали о нем, впрочем, не много. Но почти все соглашались, что когда он появляется (временами исчезал), то впечатление производит приятное: и ровной веселостью, и разговором на все темы, — без горячности, без споров. Наружность тоже приятная: моложавый, суховатый, бритое лицо, пышные светлые волосы.

Одна дама уверяла, что боится его, что у него «пустые» глаза.

Но перейдем к «Запискам», — будет виднее.

* *
*

«У англичан есть два слова для обозначения добрых чувств: "like" и "love". По-русски только одно: друга, мать, деньги, путешествие, или варенье — все "люблю". Слово "like" нельзя перевести "нравится": слишком слабо. Но и привязанности в точном смысле, то есть как привязы, связи, слово "like" не обозначает; скорее какое-то другое чувство, ничему не мешающее, милое.

Я сказал "любить" варенье. У меня все и началось с варенья, черносмородинного. В раннем детстве (жили мы тогда в нашей усадьбе) видеть равнодушно не мог этого варенья, так любил. Но раз что-то нашалил, и мне пригрозили, что варенья больше не дадут. Вечером

(меня уж уложили в кроватку) я реветь перестал, варенья же не забыл: а что, если мне и вправду его никогда больше не дадут? А что, если оно совсем со свету пропадет? Ведь может пропасть... Как мне тогда будет? Да и теперь, в ожидании, что пропадет, — что делать? С утра бояться — вдруг пропало? Ничего еще я, конечно, не понимал, но инстинктом почувствовал: не хочу бояться, не буду бояться; чем ждать, пусть оно лучше сразу пропадет. И на другой день я к варенью даже не притронулся. Думали — капризничаю, а мне его совсем больше не хотелось.

Я "отвязался" от варенья, — это я потом понял, когда стал отвязывать себя от всего, к чему была привязь; отказываться сразу, притом без усилия. Понимаю, что такой отказ и без заслуги. Но к заслугам своим я тоже не привязан, мне и так хорошо.

Рано кончил гимназию. В университете серьезно занялся тем, что больше нравилось (естественные науки). А когда началась революция и гражданская война — ушел из дому. Цена добрых моих родителей, я и у них на привязи не был. Но они этого не знали. Ненавижу огорчать людей; а если нельзя иначе — лучше сразу сделать, что нужно, без долгих уговоров и слез. И дом я оставил потихоньку.

А зачем пошел я на войну? Патриотические чувства? Или юный пыл? Не думаю. Тогда, в молодости, я еще не совсем себя понимал: настоящего опыта еще не было. Да, я — свободен (слово это уж было во мне), ничего, как будто, нет, что я боялся бы потерять: никакой связи, привязи, не чувствую... а вдруг все-таки привязан — к своей жизни? Ее потерять боюсь? И с этим страхом потеряю свободу, то есть себя самого? Это я уже знал, что моя свобода — мое "я сам".

Опыт удался. Ничего не потерял, а жизнь терял много раз: в крови, потом в тяжелой болезни, потом в тюрьме-застенке, наконец, в море, когда мы втроем (случайная компания), на утлом баркасе бежали в Румынию. Терял жизнь — и не пугался; а жить мне нравилось, очень.

Как весело было пробираться пешком во Францию! Денег (пищи) ровно столько на каждый день, сколько нужно; и каждый день все другое: и люди, и небо. Хорошо иногда "странничать". Яснее видишь, что важен один сегодняшний день. Придет завтрашний — сказать ему "здравствуй!" и дальше жить, опять сегодняшним. Кажется, и другие могут, в странствии, ощущать ту легкость, которая меня-то никогда не покидает.

Но хороши и большие города, общность людская. К людям меня часто тянет. Никогда их не сужу, только жалею: такие несчастливые, все им тяжко... Вот в большом-то городе и произошли со мной два случая, которые хочу отметить. Первый: совсем неожиданно получил я очень большие деньги. Никогда не знал, что отец, еще перед револю-

цией, почти все состояние перевел в Лондон. Семья наша погибла; и об этом я узнал лишь получив извещение о своем «богатстве».

Отнесся, поначалу, равнодушно; думал больше, с грустью, об отце с матерью. Но через некоторое время вдруг поймал себя на мысли: вот теперь можно опять наукой заняться (естествознанием, биологией). Подучусь — пожалуй, в Рокфеллеровский институт, к Стэнли поеду, в лаборатории работать... Да мало ли что еще теперь можно, раз деньги... Скажу кратко: мыслей этих было достаточно, и я с деньгами развязался, — отдал все. Благотворительных учреждений не терплю, понемножку, по копеечке раздавать считаю глупым, и я отдал все одной семье. Выбрал ее не по симпатии и не потому, что не было беднее: но очень уж там мечтали о деньгах, мне и захотелось воплотить мечту. Иначе как в самом большом секрете устроить это дело я, конечно, не хотел; пришлось даже "исчезнуть" на время, отказавшись от того маленького заработка, которым жил.

А вышло неплохо: узнал подлинную нищету, ночлежки, попрошайничество... и новых для меня людей. Деньги — самая, конечно, тяжелая цепь. Но на пределах, при нищете, человек незаметно перестает себя уважать. Понимаю, гордость тоже привяза; но тут человек отказывается от нее, — унижается, — не в силу свободы, а в силу худшего рабства.

Мое "исчезновение", — нищая жизнь, — длилась года два. А затем — новый, более длительный, период жизни: до второго случая. Раньше замечу: я ведь не оттого отдал мое "богатство", что стал мечтать о "любимом деле"; его — не опасаюсь, знаю, что оно-то меня никогда не свяжет. Искать его не старался. Но оно само меня нашло. И случай, о котором расскажу, застал меня работающим у известного профессора В., в его лаборатории.

Чувствую, тут нужна вставка, хотя бы краткая: о моем отношении к женщинам.

Ни одной женщины я не обманул. Если избегал женщин «легкомысленного поведения» (не могли нравиться, жалость мешала), то ведь много других, просто "легкомыслящих", готовых на маленькую, веселую любовную историю. Но я был осторожен, шел навстречу лишь той, которая на одну веселую историю и казалась способной.

Только единственный раз... Магда, студентка. Светловолосая, с тихими черными глазами. У меня к ней стала расти такая нежность, что я о себе задумался и не успел вовремя ее остановить. Да и как бы я ее остановил? Про себя рассказать? Женщина и не влюбленная этого не поймет, только обидится. А Магда, с ее любовью (у нее была именно любовь), примет это, как жестокость. Мы не были любовниками; можно бы и простой грубостью порвать, но не хватало духу. Тут она забо-

лела; нежность свою я почувствовал как тяжесть – и чуть не пропал. Как сделать, чтоб никто не пропал, ни я, ни она, по-своему? Решил попробовать. Уговорил ее уехать на поправку домой, в провинцию. Обещал, что буду писать. На письма-то свои я и надеялся. Если издали говорить ей чуть-чуть не то, чего она ждет, понемножку изменять для нее человека, которого выбрала (выдумала?) ее любовь, – авось и без жестокости выйдет, как нужно. Большая работа, но постепенно письма наши становились все короче и реже. Потом и сошло все на нет.

А тут подоспел и мой последний случай.

У профессора В., в лаборатории, хорошо было работать, много я делал самостоятельно. Заинтересовался одним опытом... Не вхожу в подробности; просто – привел меня этот опыт к некоторому открытию. Небольшому, но с большими и важными последствиями. Долго проверял. Когда убедился, что так – захватила меня непривычная радость: мое, мое собственное открытие! И дорого оно мне стало ужасно. Целую ночь жил этим волнением. К утру заснул на полчаса. А когда проснулся – еще не думая, уже знал, что с открытием у меня как в детстве со смородинным вареньем: не могу привязы, а тут привяза, себя не обманешь.

Отказаться, как от варенья, – легко. Уйду с работы, забуду «открытие», – чего проще? А нельзя. Если открытие нужно, как я его у людей "украду" для собственного спасения?

Скоро явился план: потихоньку, с терпением, **навести** профессора с его сотрудниками на мое открытие. Так, чтоб он сам его открыл.

Немало понадобилось терпения, пока план удался. Но хорошо удался, никто "наводки" моей не приметил. Все мы за профессора очень радовались. Он прочел несколько специальных докладов, лабораторные опыты и теперь продолжаются, "открытие" это уже не секрет.

Я помедлил, пока дело не приняло нормальное течение, потом ушел. Меня удерживали, но что ж? Не прикован я и к лабораторному своему табурету; захотелось опять немножко постранствовать, других людей повидать... Да, вот еще одно забыл по Италии: по Италии я однажды ходил и забрел в Верну, на гору, где францисканский монастырь. Монахи – ничего, приятные. Но заинтересовал меня Франциск, а потом вообще "святые". Что-то близкое в них мелькнуло, о свободе. Занялся исследованием, книгами всякими. Будто и вправду близкое: даже слово как раз мое, – "detachement", то есть буквально "отвязыванье" от всего. Ничто привязки не стоит, ничем они не дорожат, даже самой жизнью своей: ни за что не боятся. Какие люди! Однако я не долго обманывался: понял, что от меня-то они так же далеко (в другую сторону), как и прочие, не святые. Они, святые, действительно отказываются от всякой в мире связы, но не потому, что так хотят, а пото-

му что выбрали другую связь. Выбор, может быть, мудрый: обычным страхом, обычными страданиями эта связь им не грозит. Да и получают они за свой отказ что-то другое взамен, лучшее. У меня же все иначе. У меня отказ от всякой привязы — ни для чего, для отказа; свобода моя — ради свободы, одну ее и получаю. Отказываюсь притом без усилия, — значит без заслуги, о чем и не забочусь.

Может быть, святым быть — хорошо. Я не знаю. Я ничего не знаю о той "связи", ради которой они рвут все другие. А я уж давно понял: не надо стараться узнавать то, что никогда не узнаешь. И святые не "знают", но у них есть, верно, особый дар чувств, которого я лишен. Все дары уважаю. А довольствуюсь одним, — тем, что мне дан.

Довольствуюсь? Не точно, если это обозначает «самодовольство». Я ведь и к себе не привязан, и никогда не думал — доволен собой, или нет. Даже о том не думал, хорошо ли, что я такой, или нет. Это опять то, чего я никогда не узнаю.

О людях вот часто думаю: жалко всех очень. Главная печаль моя — не умею им помочь. Говорят о свободе, а сами непременно к чему-нибудь прицеплены и за прицепу дрожат: "Мое! Не отдам!" от страха — мученье, от "мое! не отдам!" — злоба, раздиранье друг друга: никто ведь своим "мое" не довольствуется, хочет, чтоб соседнее "мое" тоже было его. Какая грусть!

Раз, в молодости, в неопытности, рассказал я приятелю кое-что про себя. А он (и хороший человек, добрый) вдруг разозлился: ты, кричит, выродок! Ты пустышка и одиночка! А мы за общее счастье боремся!

Но я бы не стал другим навязывать себя, как я есть: у меня своя природа. Только лежит же во всякой природе человеческой что-то от свободы. За счастье борются? Так борются что все время и мир, и жизнь проклинают? Счастья-то и нет вовсе, и не нужно его. Другое нужно, по-моему: благословить, принять мир и жизнь. А как благословить, ничего о свободе не зная?».

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Весенний сад. На скамейке, в тени высоких акаций — две девочки. Перед ними, на грядках, разноцветные тюльпаны. Вдали, сквозь зелень, белеет дом, — почти дворец: он на выезде старого городка в Малороссии.

Лида, старшая, лениво говорит:

— Значит, в Петербург переезжаете. Ты рада, Катрин?

— Не знаю. Я никогда не рада, чего не знаю.

11 Зак 4570

— А что ж ты там будешь делать?

— Не знаю. Учиться, верно.

Лида сгримасничала. Ее правильное, нежное лицо с узким лбом и тупым носом от этого не подурнело: в нем все равно не было очарования — и не предчувствовалось.

— Учиться? Ты и здесь — один учитель не кончил, другой уж дожидается. Мне Гапка говорила.

— Надо же учиться. Я маленькая.

Катрин хотела просто сказать, что в ее годы (ей 12 лет) все учатся; но она в самом деле «маленькая девочка». И не потому так не похожа на подругу, что у нее длинные каштановые косы, а бело-розовая Лида рыжевата, что темные глаза ее не Лидины, бледно-голубые; но видно сразу: Катрин — маленькая, а Лида, пожалуй, уж большая, хотя старше и немногим. Сами подруги об этом, впрочем, не знают.

— Вот ты жалела, Катрин, что мы не мальчишки. Что тогда бегать свободнее. А я ничуть не жалею. Ведь сколько мальчикам надо учиться! Без конца. И не говори: сама гувернанток не любишь.

— Да разве оне — ученье? — рассмеялась Катрин. — Совсем наоборот. Последнюю, старую, — вот я изводила! Пока сам папа не увидал, что гадкая. Отправили. А ты на Каролину Петровну жалуешься, ну и спровадь.

— Она ничуть не гувернантка. Она всегда с нами живет, у нее с мамой... дела, что ли. Занимается, правда, со мной, и следит... ох, ну ее! Злая.

Девочки помолчали.

— А что, Катрин, ты гордишься, что твой папа — барон?

Катрин поглядела на подругу с недоумением. Отца она любит восторженно, со скрытым восхищением, но гордиться, что барон? Никогда в голову не приходило.

— Ну что ж, — произнесла Лида с таинственной улыбкой. — А во мне зато графская кровь.

— Какая графская?

— Да уж такая...

Опять странное в Лиде, непонятное. Катрин сжала брови. Вернулось то самое чувство, от которого она была несчастна с раннего детства. Все вокруг — страшное, потому что все непонятно, неизвестно. Куда ни посмотри — тайны, стены тайн. Никто не замечает... или притворяются? Или нельзя говорить об этом?

Но Катрин уже не ребенок и теперь часто пытается рассуждать. Про себя, конечно. Ведь не все же другие непонятны, и не все же сплошь. Ведь есть же такое, ну хоть маленькое, что можно объяснить, если подумать. Катрин догадывается, что есть объяснения, которых

она еще просто не знает. Но чтобы кому-нибудь решительно все было понятно – в это она верить не может.

Раздумывая о Лидиных словах, Катрин сомневается: какая она графиня? Графиня Винниченко? Мать ее, Алена Филипповна, похожа на простую бабу, толстая, крикливая; и говорит, как баба. Богатая, положим: дом этот белый она сдает семье Катрин, а сама, с Лидой и Каролиной Петровной, живет в подвале, в трех комнатах, приспособленных под жилье. Там низкие, сводчатые потолки и теснота от всяческой старинной мебели... Катрин пускают туда к Лиде редко. Зато, если пустят, бежит к подруге сейчас же, со всякой новой книгой... Вот как третьего дня со «Старосветскими помещиками». Папа дарит Катрин одного Гоголя за другим, и она ужасно любит читать его Лиде вслух.

Задумавшись о Гоголе, Катрин потеряла нить рассуждений.

– Лида, а правда, про колдуна – ужасно? И непонятно. Неужели так долго мстит? Да колдун и не виноват сам, он в своем виноват, но это другое дело...

– Пойдем теперь, – сказала Лида. – А что ты все с книгами, так вот есть у меня одна – интересная!

– Какая? Как называется?

– Она не моя. И про нее нельзя говорить. Она у меня под матрасом, чтоб Каролина не выследила. Ее отдать надо, только я раньше спишу оттуда кое-что...

– А почему нельзя говорить про книгу?

– Потому что, – отрезала Лида и встала. – Пойдем, тебя все равно сейчас искать будут.

Папа уехал куда-то на два дня и оставил Катрин «Мертвые души». Позволил читать все, целиком. Завтра Катрин отпросится вниз, прочитает Лиде «Коробочку».

Но сегодня явилась Каролина Петровна – и прямо к маме в будуар. Сидела долго, а когда ушла, мама позвала Катрин. Лицо у мамы было такое расстроенное, что Катрин испугалась.

– Откуда это? Как ты могла заставлять Лиду писать такие ужасы? Лида все рассказала. Каролина Петровна едва говорить могла от волнения. Какой стыд!

– Мама, я не знаю... Про что это?

– Не притворяйся! Отлично знаешь, какие гадости заставляла Лиду писать. И откуда это у тебя?

– Какие... я? Мама, я ничего не заставляла...

– Довольно. Все открылось. Лида заболела даже. Иди к себе. Завтра приедет папа, тогда поговорим. И тебе не стыдно его так огорчать?

У Катрин холодок пробежал по спине. Хотелось опять, еще раз, про то же, что она не знает и ничего не делала, но вдруг ослабела как-то; и постояв, — вышла.

Постояла еще в темной зале. Потом неожиданно бросилась на лестницу — вниз. И сразу в ту комнату, где, за перегородкой, спали Каролина Петровна и Лида.

— Тише! — встретила ее немка. — Лидочка только что уснула. Что тебе надо?

Под затененной лампой немка раскладывала пасьянс. Лида лежала в постели с закрытыми глазами.

— Каролина Петровна, милая... — зашептала Катрин. — Вы маме сказали... я даже не знаю, про что. Я ничего не писала. И Лида тоже ничего. Все неправда...

Каменное лицо немки. Холодный взгляд сквозь очки. И Катрин опять ослабела. Шепчет — лепечет что-то снова про неправду, и что она не знает... но вот уже и ничего не говорит — плачет. Только плачет, тихонько всхлипывая. «Очень хорошо, — говорит немка, — ты сожалеешь, раскаиваешься. Теперь иди домой». В последний раз Катрин пытается прошептать, что не кается, что не знает... но зачем? Все равно, все равно, ничего нельзя понять, ничего нельзя сказать.

Отец приехал на другой день. С мамой о чем-то говорил (Катрин догадывалась, о чем), но в будуар ее не позвали. Пришел учитель, потом второй... свободна она будет только в шесть часов.

Катрин сегодня другая. Что-то решилось в ней, едва увидела отца, милую, худую его фигуру в дорожном пальто, серые глаза, золотое пенсне. Да, это последнее. Потому что разве можно тут, среди такого, жить? Вспомнила свои стихи (тайком писала): «Пора мне к нему устремиться и жизнь загробную начать». Когда писала — не очень понимала, а теперь... о, теперь так ясно, что больше жить здесь нельзя. И не надо. И никого не жаль здесь. Вот только...

В шесть часов Катрин направилась к двери кабинета, постучала и вошла. Отец сидел за письменным столом. Поднял голову. Несколько мгновений они молча смотрели друг другу в глаза, — большой человек с седеющими висками и маленькая девочка. Потом девочка сказала:

— Тебе говорила мама про меня. Они все не верят, что я — правду, что я даже не знаю, про что это. Я никакой книги у Лиды не видела, или что она писала — тоже. Они все думают, что я нарочно, и не верят. Мне надо знать, как... как ты: поверишь или не пове...

Не кончила, перевела дыханье. Все так же смотрела отцу в глаза. Он тихонько взял ее за руку.

— Поди, сядь сюда, — сказал серьезно. — Я верю тебе. Я знал.

О, как все изменилось! Катрин рядом с папой, в том самом кресле, где сидит, когда он читает ей свои переводные стихи из Ленау и другие разные. И так же смотрит на нее, чуть-чуть улыбаясь. Все, как прежде! А вчера... да никакого «вчера» будто и не было вовсе.

— Не думай больше об этом, Катрин, — говорит папа. — Сказала правду — и довольно. Посмотри лучше, какую я тебе красивую записную книжку привез, — нравится?

Господи, как хорошо жить на свете!

Вечером мама зачем-то пошла вниз, вернулась только к чаю. Входя в столовую, Катрин слышала, что она говорит отцу: «...ну да, конечно. Теперь уверяет, будто ее Лидочка только со страху это о Катрин выдумала. Что Катрин, мол, скорей простят. И что вчера не спала, когда Катрин у ее постели плакала, очень жалела, а сознаться не осмелилась. Катрин ни при чем».

— Вот видишь, мама... — начала, было, Катрин — и рассмеялась: уж очень ей весело сегодня целый день.

Ложась спать, припомнила, однако, мамины слова, немку, Лиду... удивительно! Так удивительно, — нельзя понять. Хотела еще подумать — не успела, заснула.

Только раз еще встретила Лиду Катрин, перед самым отъездом из N, из белого дома-дворца госпожи Винниченко, — он, впрочем, назывался в городе домом Милорадовича.

Катрин обрадовалась Лиде, спрашивала о здоровье (говорили ведь все время, что Лида больна), просила писать ей в Петербург. О том удивительном, странном случае едва вспомнилось. В Лиде всегда было столько странного, непонятного... Положим, не в одной Лиде. Всюду кругом и во всех других — удивительное, непонятное, необъяснимое. Но что делать?

КАТРИН

...Кажется, что во сне, а сердцу больно, как наяву.

Карамзин

Катрин проходила по жизни, как по сну. Впрочем, и по снам она проходила, как по жизни. Была в снах легкая, быстрая, упрямая, то веселая, то сердитая — совсем как наяву...

В раннем детстве даже не отличала снов от яви. Куда девался ежик? Мама в саду его поймала, обещала подарить... Ей объяснили, что это

она видела во сне, что «вправду» ни мамы в саду, ни ежика не было. Не понимала. Сердилась. Упрямилась.

Упрямство в ней так и осталось. Что-то от связи снов с явью тоже осталось. Рано пристрастившись к чтению, она встречалась теперь в снах с людьми, которых не видала в жизни — знала из книг. Только случалось с ними не совсем то, что в книге: среди них была Катрин, и она требовала, чтобы все было по-иному, «по-лучшему». Колдун из «Страшной мести» опомнился, каялся, его прощали. Начальник Акакия Акакиевича дарил ему новую, теплую шинель. Словом, чтобы все «по-справедливому». Если кто-нибудь не хотел — Катрин, грозила уйти и уходила — просыпалась.

Наяву она тоже хотела все «по-справедливому». Это слово нашла (и уже не забывала), когда над ней самой стряслась «несправедливость». Случайная подруга, девочка Лида, тайком добыла какую-то грязную книгу (Катрин книги и не видела), списала оттуда неприличные стихи, а когда список нашли у нее под матрасом — солгала, что это Катрин ей диктовала. И все поверили Лиде — все, все, как ни плакала бедная Катрин, уверяя, что неправда. Было ужасно — целых два дня. И только он один, — папа — вернувшись из отлучки, все изменил: сразу поверил Катрин, по первому слову увидел, что к ней несправедливы. Потом и другие увидели, но уж когда объяснилось; а важно ведь сразу видеть правду, сразу верить. Катрин, в несчастные дни свои, все хотела «уйти», совсем, как уходила из снов. Ей бы помнить, что есть он, отец (недаром же она так любила его); он — есть, и он навсегда справедливый.

Когда отец умер — Катрин заболела и так долго была больна, что и мать, и тетя Софи (папина сестра), стали за нее бояться: ослабела, совсем перестала спать. Только в Финляндии, куда увезла ее тетка, начала приходить в себя. И раз утром улыбнулась тете: «А я и сегодня видела папу. Живой». Хотела еще сказать, но не сказала, про себя опять подумала, отчетливыми словами: «Я его прежде только днем видела, а теперь ночью буду. Вот и все равно».

Училась дома. Кончив уроки — читала. Никто не следил за ней теперь, мать находила в ней странности, но предпочитала ее не трогать: это пройдет. И Катрин, еще девочка, жила по-своему. Свободно перечитала всю отцовскую библиотеку. Когда чувствовала, что не понимает, — боялась. «Ну, потом увижу. Надо все узнавать».

* *
*

Мать позвала Катрин. Тут была и тетя Софи. «Ты уж большая девочка. Мы решили тебе сказать... Скоро в дальний путь. Потому что...

ты знаешь Никиту Васильича. Это такой друг. И тебя так любит. У него дела во Владивостоке. А я... мы решили с ним пожениться».

Катрин не произнесла ни слова. Вздохнув, мама прибавила: «Там и тебе будет хорошо, ты увидишь. У тебя будет новый...». Катрин не дала кончить: «Нет, нет. Подожди, мама, не говори. Нет, я ничего. Пусть ты и Никита Васильич... я не знала, но ничего. Только я не поеду. Не буду с вами. Я лучше уйду». «Куда? — изумилась мама. — Где же ты будешь жить?».

Катрин долго задумалась: где, в самом деле? Но тотчас улыбнулась, взглянула на тетю Софи: «У тети буду. Тетя, ведь вы хотите? Да? Там я все равно не буду».

В конце концов, так оно и вышло.

Тетя Софи, когда началась война, уехала с Катрин и с маленькой дочкой своей Гретой, — в Швецию, к дальней родне. А потом, после, они основались в Милане.

Катрин, с годами, все больше напоминает тете Софи любимого брата, но чем? Она похожа на прежнюю девочку: тонкая, черномазенькая, с быстрыми движениями. Тетя Софи нежно любит ее; подолгу задумывается над ее «странностями»: «Ведь взглянуть — будто, как и все. Книгами, правда, уж очень занята, лекции какие-то вечно... Но и веселая. Сколько людей видит, со всеми мила, — а ни тени кокетства. Что-то в ней замороженное. Никого, пожалуй, не любит. Отца любила, теперь на других не хватает».

Может быть, и так. Катрин никогда не говорит с тетей Софи о «своем», о том, что в книгах ищет, что в жизни находит и узнает. Знает уж много; с каждым днем узнает больше, и все такого... нестерпимого.

У ворот виллы — сторожка; в ней живет «Миша хромой»: отбился когда-то от добровольческой армии, везде плутал, оказался в Милане и как-то прижился в теткином доме, садовником. Часто идет Катрин или к сторожке, или туда, где Миша под акациями копается. Молчат; а то заводят обычные разговоры, все о том же — о несправедливости. Миша так хорошо все понимает, что и объяснять нечего: «Я, Катерина Александровна, вашей заботой сам болел. Мальчишкой, по пятнадцатому году, как сбег в армию, — что я был, ничего не видавши, без понятия, конечно; зато уж потом — навидался». «Все-таки, Миша, убивать побежали». «Ну, это... я ничего. Не отдавать же дьяволам. Да только и наши... офицерье это... и кутят, и меж собой не согласны. Сейчас видать — не будет толку. Другие, конечно... да разве им верили?». «Не верили? А потом как было», — жадно расспрашивала Катрин.

Вдруг она сказала: «Давайте, Миша, уйдем с вами и будем всем говорить, что так нельзя, что они плохо живут, надо по-другому. Вы про себя расскажете, а я... я, правда, сама ничего не видала, да я понимаю».

Миша не удивился, но покачал головой: «Такой народ повсюду... Пойти — отчего не пойти. А только мы с вами, Катерина Александровна, эдак бел-свет не исправим. Хорошо, коль вам, либо мне одна душа поверит. А одну-то душу и так повстречать можно».

— Одну? — задумчиво повторила Катрин. — Это вы верно, Миша. Мне хоть одну бы... А то живу будто даром, ни на что не пригодная. Понимаете, Миша?

Миша понимал.

Катрин замужем.

Тетя Софи прийти в себя не могла, когда Катрин объявила, что выходит за графа Джулио Мадженти.

— Да почему за него? Да ведь он гораздо старше тебя? И вы едва две недели знакомы! Ты все где-то витаешь, а ведь надо разузнать о нем. Кажется, состоятельный, но и ты не бесприданница. Ах, Катрин, не знаешь ты итальянских мужей. О чем разговаривать с ним будешь.

— Мы уж разговаривали. Он мне о войне рассказывал...

Тетка махнула рукой.

— Делай, как хочешь, упрямица. Тебя не разберешь. Могла бы все-таки подумать. Ведь тебе не тринадцать лет.

— Отчего, тетя? Я всегда одинаковая. А что ж думать. Там, потом, виднее будет.

Представительный Джулио Мадженти занимал в Риме видное и, как говорили, влиятельное положение. «Не знаешь ты итальянских мужей», — говорила тетя Софи. Катрин не знала, — да и не узнала, не поняла, хотя в Джулио много было от такого мужа. В римском «обществе» она откровенно скучала; своеобразных условностей этого общества и не приметила; если ее видели на прогулке, или в музее с кем-нибудь вдвоем, хотя бы со старым миланским знакомым, — недоумевала, почему Джулио недоволен? Впрочем, с Джулио бывало и хуже: он вдруг сходил с ума. Раз, когда закричал: «Я тебя убью», Катрин бросилась за доктором. Да и потом искренно считала эти припадки ревности — болезнью (ведь ранен был!). И когда они случались (теперь все реже) — кротко успокаивала его, гладила по голове: «Не бойся, это сейчас пройдет». Оно и действительно проходило, без дальнейших объяснений.

Ближе сошлась Катрин с семьей профессора Андреа Марколетти, давнего друга Джулио. Джулио не раз говорил, что их дружба «спаяна кровью»: вместе были на войне, и Андреа вынес его, раненого, из огня. Катрин любила этот рассказ: как хорошо сделал Андреа и как хорошо, что Джулио это помнит и верит дружбе, хотя они такие разные: Джулио занят своими ответственными делами, а Марколетти весь в своих лекциях, в книгах (у него большая библиотека — радость Катрин).

Живут скромно; пожилая синьора Ванда отдала себя сыну: Гвидо с юности параличный, без ног, его возят в кресле.

Рим... В него Катрин влюбилась с первого дня. В какой? В весь сразу, и даже в Рим всех времен: ведь Тибр, он и сегодня тот же Тибр «всех времен». Только Рим «людской», как она говорила, и сегодняшний – отделяла: не нравился. Знала его хорошо – от Джулио: он как раз в этом Риме жил, действовал и о нем постоянно рассказывал. Слушала молча, сдвинув темные брови; порой становилось тошно, хотелось уйти, не слушать... нет, надо все знать. И еще знать – не спрашивая! – что думает сам Джулио. Но этого она не знала.

* *
*

Катрин все еще похожа на девочку: такая же худенькая и так же косы вокруг головы. Только веселость стала терять последнее время. Сердце в ней тяжелеет, и словно каждый день падает на него еще одна свинцовая капля. Катрин нетерпеливо сердится, не хочет думать. Ах, все равно ничего нельзя понять. И другие не понимают. Но вот это могли бы, наверно могли бы, что живут как не надо, – надо по-другому.

Из маленькой верхней лоджии (Катрин очень ее любит) виден почти весь Рим: и черно-зеленые деревья вилл меж остриями церквей, и шапка Петра. Но сегодня – а вечер такой нежный, такой прозрачный – Катрин смотрит рассеянно, без радости, и на милый Рим в желто-розовом закате. Скучно... или что? Никогда не вспоминает прошлого: что от него осталось – почему тетя Софи? Она далеко, в неуютном Париже. А Маргарита уж большая, учится в консерватории...

Да что ей, Катрин? Она здесь, в Риме. Одна.

Одна? Вот подъехал бесшумный автомобиль (ей видно из лоджии). Это Джулио.

Сошла вниз, к обеду, приветливая, как всегда. Сразу заметила, что муж хмурится. «Ты чем-нибудь озабочен?» – спросила, когда подали кофе. «Да. Неприятно». Помолчав, прибавил: «Андреа должен быть выслан».

– Что? Марколетти? Куда? Зачем? А синьора Ванда? А Гвидо?

– Ах, точно, ты во сне живешь, – поморщился Джулио. – Ведь знаешь, как обстоят дела. Они евреи. Андреа и родился в Риме, но происхождение у него и у жены – еврейское.

Катрин, бледная, молчала. Джулио закурил сигару.

– Очень мне жаль, это зарез для них. Средств нет, параличный на руках, жена. Куда он поедет? В Америку? Во Францию? А что там делать? Чему ты смеешься?

Катрин не смеялась, только улыбалась.

— Я о тебе думала. Ведь ты же не потерпишь... постой, я знаю, другие все терпят. А ты не можешь, тебе нельзя, чтобы к твоему Андреа... такая несправедливость. Вот и пригодилось такое положение... как ты сам говорил — влиятельное. Вот и пригодилось.

— Ты хочешь, чтоб я за Андреа хлопотал. Нет, право, ты как во сне, carina*. Сообрази: ведь это общее распоряжение правительства. Если бы я даже мог... ну, задержать, отсрочить высылку — всякие шаги мои будут риском: вернее, что ничего не добьюсь, собственное же мое положение пошатнется.

— Пошатнется? Так что ж? Я не понимаю.

С Джулио вдруг соскочила вся его сдержанность. Слишком медленно изменяла его жизнь с Катрин. В нем проснулся давний Джулио, простой, страстный, честолюбивый.

— Pazza, pazza!** — закричал он, бросая недокуренную сигару. — Чтоб из-за женского каприза я испортил свою и твою жизнь.

— Моя не испортится. Сядь, успокойся, я не капризна.

Джулио сел.

— Вижу, ты просто не поняла. Мне жаль Андреа, но как же быть? Я должен думать о себе и о тебе.

— Да, подумай. Если ты Андреа не поможешь, не попытаешься помочь, во что бы то ни стало — мне здесь нечего делать. Уеду с ними.

Сказала с таким холодом и таким новым тоном, что Джулио еще не слышал его от своей кроткой Катрин и растерялся. Тотчас опомнился, впрочем, что за нелепости? Хотел закричать или рассмеяться, — она остановила:

— Это не все. Если и согласишься, но ради меня, а не сам поймешь — я все равно от тебя уйду. Вот заранее говорю — и так будет.

Вышла из комнаты, быстрая, легкая — словно и на сердце тяжести уже не было.

* *
*

Андреа Марколетти еще в Риме. Высылка его пока задерживается. Катрин уехала в Париж. Сказала, впрочем, что вернется... может быть.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

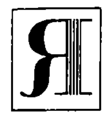
* дорогая (*ит.*).

** Сумасшедший, сумасшедший! (*ит.*).

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ

Речь в «Зеленой Лампе»



Я буду говорить только о *личной* любви; т. е. о мосте, который строит Эрос между двумя личностями. Эроса римляне так и называли: «pontifex», что значит «строитель мостов» (и «священник»).

Но если это мост между двумя личностями, то необходимо сначала условиться о понятии *личности*, хотя бы в первоосновах; иначе и дальше мы ничего не поймем.

Первоосновы личности такие: *абсолютная единственность*, неповторяемость, и *потенция абсолютного бытия* (вечности).

Другие определения мы найдем, когда будем рассматривать, как личность выражается в любви.

И вот что замечательно: стоит подойти к человеку, *не лично*, взять его просто как *одну из особей*, случайно населяющих случайный мир, — как тотчас этот мир окажется полон несообразностей. Одна из них — любовь. Очевидная нелепость! Все попытки ее к чему-нибудь приспособить, — например, к необходимости продолжения рода человеческого, — бесплодны: давно известно, что и без нее род человеческий продолжался бы, притом гораздо лучше. С точки зрения «особей» ее существование *необъяснимо* и ничем *не оправдано*.

Чувство любви, состояние любви, о которой мы говорим, — более или менее знакомо всякому. Все поэтому знают, что оно неизменно сопровождается ощущением, во-первых, абсолютной *единственности* любимого и, во-вторых, — *вечности* любви. (Как раз то, что первично утверждается и в личности — для личности.)

Ощущение единственности — полное: предложите любящему, в обмен, какое угодно человеческое существо, или хоть все другие, — он даже не взглянет: в любимом для него ценность абсолютная. Ощущение же, что любовь эта — навсегда, навек, усложнено еще каким-то

волевым утверждением вечности, огненным в нее прозрением... хотя бы вопреки рассудку. Главная мука Марселя Пруста, во время влюбленности, была в рассудочном предвидении, что эта любовь – пройдет. Всю жизнь Пруст бился «на пороге личности»; понимал ее, но так и умер, не посмев сказать себе, что понимает.

Впрочем, у слишком многих есть это твердое знание: «разлюблю». А рядом такое же твердое: «никогда!». Меньше, чем на вечность, любовь не соглашается.

У любви-влюбленности есть, кроме этих, и другие *общие свойства*, хотя, конечно, нет и не было одинаковой любви, как нет и не было одинаковой личности. Эрос – один; а если разнится, то как вода в разных по величине и форме сосудах. В чем же еще, кроме утверждения единственности любимого и вечности любви, проявляет себя Эрос одинаково во всех влюбленных?

Никогда не бывает эта любовь – чистой духовностью (даже когда такой воображается). Но не бывает она и чистой телесностью. Мы ведь условились исключить из понятия любви как благородный «жар ученого к науке», так и вспышки, голофизиологические, полового инстинкта. Мы говорим только об Эросе, несущем с собою «*веянье нездешней радости*» (по выражению Вл. Соловьева). Это веянье знает каждый влюбленный, оно охватывает человека *всего*, целиком, изменяет внешне и внутренне. Подлинная влюбленность всегда – *духовно-телесная*.

И тут любовь опять есть подобие самой человеческой личности.

О душетелесности человека немало нам твердили, но все, кажется, напрасно. Мы так привыкли делить его *на душу* и *тело*, что ни от языка, ни от воображенья не можем этой привычки оторвать. Мы не представляем себе человека, одухотворенного в каждой клеточке своей, но, довольно неопределенно, воображаем человеческую форму, внутри которой где-то лежит, прозрачно-тонким клубком, душа. В отличие от материалистов, которые и клубка не признают, идеалисты уповают, на бессмертие души. Вылетит комок из человека и будет вечно носится в пространстве...

Но правильно сказал один французский писатель: тело без души, или душа без тела – и то и другое равно знак смерти, распада.

А живой человек – есть некая цельность; и он – *душетелесен*, как его любовь.

Любовь на многое еще открывает глаза человеку: она дает ему познать и трагическое несовершенство мира.

Почему в каждой любви радость так переплетается со страданьем? Оно принимает тысячи форм, и тысячи разнообразных причин нахо-

дит человек, чтобы страдать. А если видимых причин как будто нет – он творит их для себя. И уж, конечно, никакое страдание не заставит человека отказаться от любви.

Исток, или первопричина этих страданий, – от любви неотделимых, – лежит очень глубоко: это – сознательное (или подсознательное) ощущение, что полнота любви *невоплотима* в мире, каков он сейчас есть. Полнота той любви, о которой Эрос что-то открыл человеку; именно той, – другой он не хочет: *единственной и смерти неподклонной.*

Но в этих же страданиях, в каком-то волевом их принятии, лежит награда... если не осуществить любовь в полноте, то *приблизиться* к ней. Человек страдает, когда движется, когда борется... в сущности, все *творчество* человеческое есть *борьба*, – неразлучная со страданием, – *за какую-нибудь ценность*; за превращение бытия *потенциального – в действительное.*

Так или иначе, вложенные в человека аспирации и даже определенные предощущения действительной любви – есть реальность; чтобы ее уничтожить, надо было бы изменить самую природу человеческую. Во все времена люди искали полноты любви, боролись за любовь. Но слишком часто это – борьба «вслепую». Между тем нигде так не важно *сознание*, как в вопросе пола. (Повелительную роль его признают даже физиологи.) Мы видели, как много может открыть Эрос человеческому сознанию. Может он открыть и больше, – открыть некоторые *условия*, в которых осуществление любви делается возможным.

Но тут необходимо остановиться еще на одном природном *свойстве человека – личности* реального человека. Оно, как факт, признается всеми. А важность его в вопросе о личной любви мы сейчас увидим.

Это коренное свойство человека – *андрогинизм.*

Бесчисленных обоснований и объяснений андрогинизма я не касаюсь. Утвердим просто: живое душетелесное человеческое существо, реальный человек, никогда не бывает только мужчиной, или только женщиной. Оба начала, мужское и женское (М. и Ж., по Вейнингеру) в нем соприсутствуют. Но необходимо утвердить и следующее, что я особенно подчеркиваю: в каждом реальном человеке которое-нибудь одно из двух начал, М. или Ж., – *преобладает.*

Человек, таким образом, существо или *мужеженское* или *женомужское*; причем само сложение двух начал в каждом – лично, т. е. как личности единственно и неповторимо.

Во всем этом, вместе взятом, и заключена потенция личной любви.

Действительно: будь люди носителями *одного* начала, эти – мужского, те – женского, то каждое такое *цельное* М. равно влеклось бы к

каждой полярно-противоположной *цельности*, – Ж. (и обратно). Для мужчины *все* женщины были бы одинаковы: ведь все одинаково носительницы *женского*, к которому и стремилось бы его *мужское*. Тогда в мире не только не могла бы родится личная любовь, но даже и понятия о ней бы не существовало.

Она, однако, рождается, и сколько бы раз надежда познать ее, истинную, ни обманывала, человек остается верен этой надежде до конца.

Но в чем же, когда, при каких условиях становится возможным осуществление любви, приближения к ее полноте? Или Эрос нашептывает небылицы, внушая каждому андрогинному человеческому существу, что для его единственного «я» есть какое-то другое единственное «ты»?

Нет, Эрос не лжет. И каждый прав, ища это единственное «ты»: оно потенциально есть, *находимо*.

Оно, для существа *мужеженского*, будет другим человеческим существом, *в соответственно-обратной мере двойным, – женомужским*. Но именно *в соответственно-обратной мере*.

Что бы понять эту обратность, представим себе человека в виде *восьмерки*. Две петли, М. и Ж., непременно неравные (преобладание). Если положить восьмерку на ребро (кстати, лежачая восьмерка в математике символ бесконечности), то петля М., *мужская*, будет *правой*, петля Ж., *женская, – левой*. Попробуем теперь взглянуть на отражение этой восьмерки в зеркале. Мы увидим другую, совершенно подобную, с петлями *в той же мере* неравными. Только правая, у отражения восьмерки, будет левой, левая – правой. Обе петли обеих восьмерок *совпадут*: но *левая* каждой – с *правой* каждой. *Мужская* каждой – с *женской* каждой.

Это и есть *соответственная обратность*.

Но прошу заметить, что восьмерки я беру здесь исключительно как пример, для наглядности. В живом существе, одухотворенном, в каждой своей клеточке, начала М. и Ж. не могут быть так разделены, как петли видимых восьмерок, да и соотношение между обоими началами не находится только в *количественной* категории. (У восьмерок, неравенство их петель только в величине.)

Я напоминаю, что сплетение двух начал, М. и Ж., во всякой личности – *лично*, т. е. единственно и неповторимо, как сама личность.

Но вернемся к совпадению обратностей.

Абсолюта обратности (полярности) *двух*, дающего абсолют любви, нет, конечно, в безабсолютном мире. Но в нем есть возможность неограниченного приближения к абсолюту. Чем полнее душетелесная обратность, тем совершеннее любовь, ближе к вечно желанной, непременно «одной» и непременно «навсегда». За нее мы и боремся, и все знаем, даже не зная, что борьба за любовь – это борьба со смертью.

Здесь много было говорено о Содоме. Впрочем, в последнее время вообще о нем говорят. Берут со всяческих точек зрения: с житейской, исторической, медицинской, моральной, революционной и т. д. Я хочу взять крайне узко. Я хочу только рассмотреть, что такое *Содом* по отношению к *любви* личной.

Эрос не скупится на стрелы, он разбрасывает их, не считая. А наша ответность на всякий зов его такова, что, право, я не знаю, найдется ли хоть один человек, никогда не испытавший влюбленности или чего-то вроде нее. Если бы хоть из миллионной части всех влюбленностей, самых искренних, выходила настоящая любовь, Эросу нечего было бы жаловаться. Она не выходит, но ведь могла бы выйти? Ведь могли бы эти двое оказаться восьмерками с обратно-совпадающими петлями?

Есть все же случаи влюбленности, когда заранее можно сказать, что никакой настоящей любовью она не кончится, к *осуществлению* любви *мира* не приблизить. Такова влюбленность, называемая *однополой*, или *содомской*.

Почему? Да потому, что зеркальная обратность двух личностей не находима между двумя существами *мужеженскими* (реальными *мужчинами*), равно и между двумя женомужскими (*женщинами*). Эта обратность как будто и в плане мира не лежит и потому ненаходима даже *приблизительная*, та, которую воля человеческая могла бы превратить в чудо любви.

Внимательно наблюдая реальную жизнь, мы найдем в ней много подтверждений. Распад содомской *личной* любви наступает особенно быстро, и даже тем быстрее, чем она искреннее. Случается, что человек, сильный и обладающий некоторым сознанием, решает сохранить свою любовь хотя бы в данной стадии и хотя бы ценой отказа от всяких надежд на любовь в идеале: он не стремится к взаимности, не хочет Эроса-pontifex'а, строителя мостов и священника, он старается приделать Эросу, вместо легких крылышек, длинные *ангельские* крылья. На некоторое время это консервирует влюбленность, сообщая ей даже оттенок (немного дешевой) драматической красивости... Но затем обескровленная любовь все-таки слабеет и умирает...

Чаще же не происходит и этого. Ряд содомских влюбленностей, с их быстрыми крахами, распадами, приучает содомиста к распадам; и незаметно ведет его к собственному распаду. Во всяком случае — к распаду своего природного *отношения* к личной любви.

Содомист нисходит тогда к своей *норме*.

Я прошу забыть общепринятое понятие слова «нормальный». *С точки зрения личной любви* одинаково *ненормальны*: и мужчина, говорящий, что он любит вообще *мужчин* (во множественном числе), и дру-

гой мужчина, объявляющий, что любит (тоже во множественном числе и вообще) – *женщин*. Но они оба, по-своему, нормальны; они для *своей* нормы – типичны.

Разница между ними, однако, есть: состояние «женолюбца», – часто, – примитивное состояние: из него можно еще эволюционировать (оставаясь в том же порядке) от общего – к частному, от множественности – к единству. Типичный содомист обыкновенно уже проделал свою эволюцию, обратную: от единства – к общему. И может ее только продолжать.

Мало-помалу в содомистах стираются и *личность* и, вместе, – *андрогинизм*: притягивает только М., только *мужское, отталкивает женское* (даже в себе). Как, наоборот, содомистку влечет исключительно *женское*, элемент *мужского* ей *ненавистен*. Но это своеобразное «наоборот» ни к чему не служит; чем содомист и содомистка типичнее (нормальнее), тем они дальше друг от друга.

Можно отрицать мои выводы и догадки относительно истинной любви; можно все эти андрогинизмы и обратные совпадаемости называть скучным теоретизированьем. Но действительность отрицать уже труднее; Содом нормальный (типичный) принимает в действительной жизни именно такие формы, не другие. Любая *апология* Содома это подтверждает. Такой содомский апологет, например, как André Gide, с наивно-трогательной искренностью открывает нам, в каком виде остается у содомлян «*личная любовь*»: она нисколько не мешает всемерному, тут же, физиологическому распылению. Или *андрогинизм*: он выражается в поисках ежедневного «adolescent merveilleux» *. Отрок может и языка вашего не знать – зачем слова? Здесь Эрос приглашается для веяний исключительно здешней радости...

Насколько любопытны Gid'ы, настолько же неинтересны и бесплодны *борцы против* содомии, особенно осуждающие ее с *моральной* точки зрения. Морали тут делать нечего. Gide не виноват, если ценности личной любви *не видит*, если утерял природно-человеческое стремление. Это его дело. Мы, признающие ее ценность, можем лишь констатировать факт и, *обобщая*, сказать, что содомская дорога уводит очень далеко в сторону от Эроса божественного; и по всем видимостям, ведет она в тупик.

Вот еще одно, последнее, замечание относительно содомии.

В самом высоком, что есть у людей, – в *творчестве*, – где человек умеет облекать плотью свои мечтанья, еще не имеющие плоти в реальном мире, и где он вечно стремится создать образ *совершенной любви*, – никогда этот образ не являлся ему в виде *любви содомской*.

* «чудесный юноша» (*фр.*).

Ведь не объяснять же это страхом истинного художника-творца перед «непринятым», или чем-нибудь в таком роде?

Гоголь в «Старосветских помещиках» дал не бытовую картинку. Он дал, в малых каплях отраженную, полноту личной любви. Он сам это подчеркивает, показывает неподклонность любви «всесокрушающему времени».

И мы не можем вообразить... а, впрочем, попытаемся, все-таки; вообразим хоть на минуту, что Гоголь, думая о совершенной любви, берет не Пульхерию Ивановну и Афанасия Ивановича, а – Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Это они, – не ссорятся из-за гусака, а разве нежно подшучивают друг над другом. Это Иван Иванович, во дни молодости, похитил Иван Никифоровича, взял его увозом, и с тех пор оба неразлучны днем и ночью. Это Иван Никифорович... да мало ли что еще можно вообразить! Лучше оставим, чтобы не обижать содомистов невольным смехом, и вовсе не гоголевским, «сквозь слезы» (да ведь Гоголь этого и не писал!), а самым обыкновенным смехом над гримасой любви.

Я кончаю, хотя вопрос о личной любви тут только и начинается. *Исполнения любви* как задачи, стоящей перед *волей* человеческой, я касаться не хочу, да и не могу. Слишком пришлось бы для этого раздвинуть горизонты... Вл. Соловьев годами твердил о «конечных целях любви», о «деле любви»; кое-чего не досказал, но и сказанного никто не услышал. Он говорил *о должном*, а мы ведь и *данного* еще не понимаем.

Много ли мы понимаем о *личности?* Много ли о *любви?* Недаром Соловьев, пытаясь о ней что-то сказать, новое, важное, вдруг сам себя с отчаяньем прерывал: «Да кто-то когда-нибудь думал о чем-нибудь подобном по поводу любви?».

Ну что ж. Если и не думал, – может быть, впоследствии подумает.

М. ВИШНЯК. ДВА ПУТИ
Издание «Совр. Зап.». Париж, 1931

(О революции и о «правде»)

...Я изменяюсь, – но не изменяю...

Одной из самых интересных, значительных и нужных книг последнего времени я считаю книгу М. Вишняка «Два Пути».

Приверженцы всяких «специализаций» отнесутся скептически к моей критике, к моим утверждениям: книга – о «политике», и автор

специальный политик; я же (какой ни на есть) – поэт, беллетрист; и критик (будто бы) чисто литературный.

Нужно ли в сотый раз повторять, что над всеми «специальными» точками зрения есть высшая, специализмы нивелирующая? Есть и книги, которых иначе, как с этой высшей точки зрения, и нельзя судить. Книга М. Вишняка – одна из них. Это, я не сомневаюсь, докажет будущее: суд политиков над «политической» книгой «Два Пути». Посмотрим, разглядят ли они ее главное, то, что и делает ее сегодня такой значительной.

Тема – наши «Февраль» и «Октябрь». Не «история» революции, не последовательное описание событий. Да ведь «описать событие еще не значит его постичь. Для этого надо еще *сцепить* события, в конкретной обстановке, *связать* их вместе в общий процесс, что *предполагает* определенное *отношение* к явлению, т. е. наличность взглядов и точек зрения» *.

Да, именно достичь, т. е., оценивая явления, вскрывать их *смысл*, – вот первая задача автора данной книги. Ему необходимо, конечно, и бороться против «уже сделанных искажений» (в историях о недавнем прошлом); предупредить, «в качестве современника-очевидца, появление будущих легенд о революции». Настоящий смысл явлений ускользает, если они переданы искаженно.

А потому, для утверждения «своей точки зрения» на пережитое, «своего отношения» к событиям (действительным), М. Вишняк прибегает также и к методу критики многих, уже появившихся, «историй» (русской революции); исследует и оценивает взгляды авторов.

Если мы будем внимательны, то заметим, что в книге, помимо хорошо подобранных и расположенных доводов, есть еще нечто: оно-то и позволяет М. Вишняку с такой особой убедительностью вскрывать «искажения» историков, с такой простотой и ясностью утверждать свое собственное «отношение» к событиям. В чем дело? Я думаю, в известном *отношении* к своему *отношению*. Бывают счастливые книги, где автор не просто рассказывает о своем «взгляде» на предмет, но говорит о своей «*правде*». К таким книгам принадлежит и книга «Два Пути».

Не стоит притворяться, будто мы не понимаем разницы, иметь ли свое как «правду», или иметь свои «взгляды». Взгляды меняются (порою должны меняться), правде же человек никогда не изменяет. Надо еще помнить, что никогда он не мыслит (и не чувствует) ее, как *личную*, только для себя, но как *объективную*, для всех, – иначе она не «правда» и для него.

---

* В цитатах везде курсив автора.

Слова говорящего о такой «правде» и приобретают особую убедительность. Другой вопрос, почему большинство их все-таки не слышит, какая бы это правда ни была, чего бы ни касалась, общего или частного. В конце-то концов ни она, ни даже элементы правды – не погибают; только у большинства на всякую очень медленная реакция.

Вернемся, однако, к М. Вишняку и его «правде» о русской революции.

Чтобы полнее вскрыть положительный смысл ее (февральской, ибо, с точки зрения автора, октябрьский переворот «революцией» зваться не может»), – Вишняк дает нам, в начале, общую картину событий (действительных); всего того, что революции предшествовало, ее вызвало, что ее оборвало, погрузив Россию в глубину ее сегодняшней пропасти.

Оценка Октября, как противоположения Февралю, занимает в книге Вишняка очень важное место. Он настаивает, что между революцией и «штабным переворотом» в октябре нет общего ни внешне, ни, главное, внутренне. Абсолютно неприемлемо для автора легкомысленно-распространенное (среди большинства политиков) мнение, что февральско-мартовская революция – лишь пролог к октябрю. Протестуя против всех, делающих из русских потрясений какое-то «мартобря», Вишняк справедливо полагает, что они вообще не понимают ни истории, ни революции, так как не учитывают в них момента *иррационального*.

В рационализме упрекает автор и Маклакова (даже в «сверхрационализме»), и Милюкова. Спокойный разбор «Истории» последнего (отчасти истории его сменяющихся взглядов) очень удачен. М. Вишняк отмечает (напомнив кое-что из фактического прошлого): «Конструируя свою Историю, П. Н. Милюков был уже во власти совсем других чувств...». Поэтому «интересная работа его не есть ни философия, ни история русской революции».

Кстати, мне понятно удивление Вишняка: разобрав и оценив по достоинству «Записки Суханова», этой лживой и «морально дефективной личности», Вишняк прибавляет: а «Милюков *рекомендует* эти семь томов в качестве полезного дополнения к его собственному изложению, в трех томах, т. е. к разобранной нами выше его "Истории революции"».

Что касается Маклакова, – позиция его так слаба, так неверна прямо фактически, что Вишняку не стоило большого труда ее опрокинуть. У Маклакова явилась (уже в эмиграции, вероятно) странная уверенность: будто умеренные, наши либералы (партия к.-д., прогрессивный блок), могли предотвратить всякую революцию: стоило им лишь действовать смиреннее, быть «законопослушнее» (!).

М. Вишняк восстановляет действительность: предотвратить революцию было *нельзя*: если же либеральная общественность в чем и повинна, так именно в том, что, не понимая этого, вела себя с излишней «законопослушностью»; даже совершившейся революции она *не приняла*, тогда как предугадывая неизбежное и приготовившись к нему, она, действиями своими *внутри революции*, могла бы, может быть, предотвратить октябрьский переворот.

Два слова еще об одной схватке М. Вишняка: с Ф. Степуном. Победить последнего, противопоставив его «Религиозному смыслу революции» точку зрения Вишняка, – не трудно, не хитро. Но... громадный труд, большая затрата сил нужна, чтобы до «смысла» этого добраться. Таковы писания Степуна: сквозь них надо пролезать, как сквозь отчаянно-запущенный, болотистый лес, а это не всякому под силу. Большинство в безмолвном изумлении останавливается перед хаотической громадой вывернутых слов. А малоискушенные в русской словесности, бывает, и соблазняются: это, мол, такой у Степуна «сверххудожественный» язык! Не легко, конечно, разобраться; но – букет причудливых цветов!

М. Вишняк разглядел, что не букет, а куча хвороста, и с завидным бесстрашием врезался в нее, во все «типологические трансрациональности», во все «осмысливания, обессмысливания и переосмысливания». Много раз и мне хотелось сделать то же, да не хватало энергии на предварительный труд: мне даже случалось приводить те же самые цитаты из Степуна, которые приводит Вишняк (об искажающем революцию «мартобря» и о возможной истине у большевиков), – но у Вишняка эти цитаты, благодаря проделанной работе, совсем по-новому ярки. И на фоне их лжи – особенно ярка *правда о революции*.

Эта «правда», о которой говорит в своей книге М. Вишняк, – есть и моя «правда» – о том же самом. Напоминаю, что человек, защищающий свое, как «правду», всегда мыслит ее объективной: иначе она для него и не «правда». Только с этой, объективной, стороны меня и интересует совпадаемость наших «правд» (помимо того, что я, естественно лучше других понимая и «слыша» слова Вишняка, являюсь и лучшим судьей его книги).

Ценность совпадения подчеркивается в данном случае тем, что и вообразить себе, кажется, нельзя более *разных* книг, чем «Два Пути» – и моя (на ту же тему), а равно и большей отдаленности, разности, несхожести положений их авторов. «Два Пути» – серьезно обдуманная книга выводов и закреплений; моя – запись событий (и оценка их) тут же, на месте в день, – иногда час, – когда они происходили. «Два Пути» написаны действенным политиком, находившимся внутри событий; моя – только сторонним, хотя и близким, свидетелем.

У меня почти нет чувства «авторства» к этой книге, к рукописи, десять лет мной невиденной; но «правда» моя (то, чему не изменяют) в ней остается. И не только рисунок главных событий и фактов совпадает в ней с рисунком Вишняка, – но одинаково оцениваются, трактуются, «сцепливаются» крупные и мелкие явления в обеих книгах.

Не скоро пришлось бы мне кончить, вздумай я иллюстрировать параллельными цитатами одинаковость «отношения» обоих пишущих к абсолютизму, к его положению в последние годы, к неизбежности революции, к слепоте «умеренных» и фатальной тактике их, к февральской революции (которую «никто не делал», «сама сделалась»), к причинам «безвластия» Вр. Правительства и т. д., и т. д., – вплоть до одинакового отношения к темному октябрьскому перевороту этой не только не «революции», но и прямой ее противоположности. И не всякий ли, кто скажет о «Смысле Февраля», как Вишняк, должен тотчас же сказать и о «Мифе Октября»?

Повторяю, совпадение «правд» о революции в столь разных книгах, двумя столь разными людьми в разное время написанных, интересует меня с объективной стороны. Как могла явиться эта общность взора на один и тот же момент истории у двух людей, между которыми нет, казалось бы, ничего общего?

Впрочем, есть. Это – что оба они (скажу словами Вишняка) – «пережили революцию в реальности.., имели возможность ощутить ее непосредственное дыхание... И такое, почти физиологическое восприятие ритма событий, цветов и теней революции, не только субъективно убедительнее всякого о ней последующего книжного знания. Оно и *объективно* поучительнее».

Да, такое «общее» важно. Или – совсем не важно. Ведь у Вишняка оно общее и с теми, с кем он спорит, кому о своей «правде» говорит и... кто ее не слышит. Должно быть, мало иметь только *возможность* (физическую) ощутить «дыхание, ритм, цвета и тени» революции.

Вишняк знает это: недаром так настойчиво упрекает он современных «историков» – *в рационализме.*

Слишком ясно, что чистые рационалисты (а таково большинство «чистых политиков» никаких «дыханий и ритмов» услышать не могли. Не услышат они и Вишняка. У них нет органов для восприятия *объективной правды.*

А теперь мне остается сказать несколько слов еще об одной стороне книги М. В. Вишняка.

Будет ли это суд над ней – не знаю. Во всяком случае, отметить данную сторону считаю нужным.

М. Вишняк отнюдь не призывает к забвению прошлого, прошлых ошибок: «в памяти прошлого предостережение будущему», а что касается ошибок — то «иногда ошибки хуже преступлений».

«Mea culpa* — всегда достойно уважения, как акт мужества, — говорит он еще. — Покаяние всегда полезно для самопознания и самооценки кающегося». И, как будто в прямой связи с этим, он бросает упрек: «...В. Маклаков пишет *о чужих*, пишет *о своих* (людях его партии), но только не о себе».

Как, однако, понять этот упрек? Ведь сам-то Вишняк не только о себе, но и о «своих» не говорит в книге ни слова. Между тем роль этих, автору «своих», была, в течение революции, бесспорно — *«виднейшей»*. Почему же «виднейшие» и роль их «не подвергаются ни разбору, ни даже изложению» в труде Вишняка, таком обстоятельно углубленном?

Автор предупреждает об этом в предисловии, но никаких пояснений не дает. Мы не знаем, отуда явились перерывы в четкой линии общего его рисунка, и можем лишь строить догадки.

Опасением внести в книгу элемент субъективный — объяснить замалчиваний нельзя. Вишняк отлично понимает, что без этого элемента никакой книги не напишешь; да и бояться ли его, раз все время подчеркиваешь «свою точку зрения», свое «отношение» и т. д.?

Поищем других причин.

Мы уже отмечали, что книга Вишняка принадлежит к «счастливым» книгам, где автор не просто рассказывает о своих взглядах и отношениях, но говорит о них *как о своей «правде»* (о том, чему всякий остается верен до конца).

Человек, способный иметь «свою правду», бывает, обыкновенно, и природно-верным: т. е. он вообще отвергает измену, всякую, даже все, что похоже на измену. А, между тем, то и дело создаются положения, когда приходится либо «правде» своей изменить, либо совершить что-то вроде измены по отношению к «ближним»... и даже самым близким своим ближним, порою.

Если мы допустим, что именно в такое положение поставила Вишняка жизнь, — мы поймем его умолчание.

В самом деле: не уклоняясь от «правды», рассматривая, все под тем же углом зрения, «виднейшую» роль «своих» в революции, — как избежал бы Вишняк указания на их ошибки? Пусть это даже не те ошибки, которые «иногда хуже преступлений», все равно; в силах ли Вишняка пойти на хотя бы подобие измены? Нет: а так как «правде»-то он

* Моя вина (*лат.*).

и совсем изменить не может – он останавливается. Избирает благую часть.

Именно благую: еще неизвестно, что вышло бы у Вишняка, решись он все-таки «подвергнуть разбору и изложению» роль «своих». Судя по некоторым его словам и замечаниям, вскользь брошенным в данную сторону, он с задачей мог и не справиться. Слова эти сбивчивы, противоречивы. Хотя фаталистическая точка зрения автором принципиально отрицается, он говорит о роковой *безвыходности* положений; странно звучит также фраза, что в какой-то момент Вр. Правительство было «*вынуждено* опереться на большевиков». И уж недалеко от прямого искажения действительности замечание (беглое, правда), что власть революционного правительства в летние месяцы 17 г. постепенно крепла; и что, таким образ., к концу августа правительство это было весьма устойчиво. Подобное утверждение, высказанное недавно (на стр. «Совр. Записок») А. Керенским, вызвало отпор даже со стороны г-жи Кусковой, известной защитницы «мартобря» и рационалистки, давно отпетой.

Вот такие редкие, краткие замечания, там и сям попадающиеся в книге Вишняка, и заставляют опасаться, что примись он все же за подробное «изложение» и «разбор», вышло бы у него кое-что... ну, не «по неправде», а *не совсем* «по правде»...

Нет, умолчания лучше. Так – будто и

Не было измены. Только тишина.
Вечная любовь. Вечная весна...

Судить «верность» я вообще не могу. Судить же за нее автора «счастливой» книги могу тем менее: во всей глубине понимая его «правду» – я понимаю и трудность его положения.

В моей книге-дневнике умолчаний нет (или мало), но какая в этом заслуга? Писал книгу человек сторонний, не политик, не связанный никакими «своими». Да и то еще вопрос: может быть, следовало и в ней о ком-нибудь чего-нибудь не говорить...

Слишком (для темы) краткую заметку мою я кончу, возвратившись к началу: «Два Пути» книга важная, значительная и нужная. В ней та правда о революции и России, которую нужно знать всем. Правда утверждения Февраля – и полного, доконечного, отрицания Октября.

Не к эмпирическому февралю 17 г. вернется Россия: она вернется, – и неминуемо, – на дорогу, им проложенную.

«*Тот* Февраль *благословенный*, – невозвратим и неповторим. Но живет и пребудет, пока жива Россия, *идея* Февраля, его *метаисторическая сущность*: Россия, преображенная Февралем в нацию».

СТРАНИЧКА ПРОШЛОГО

(«Ф. К. Сологубу – для Игоря Северянина»)

Это мое стихотворение – письмо, ниже печатаемое, имеет свою маленькую историю.

Да ведь и относится оно ко временам историческим, – чуть не доисторическим для нас, – довоенным!

В апреле 1913 года Ф. К. Сологуб прислал мне в Ментону (где мы тогда находились) письмо, со вложением стихов Игоря Северянина, о Балтийском море, и посвященных мне. Письмо было откуда-то из Крыма, там Сологуб жил тогда вместе с И. Северянином, а, может быть, попали они туда, совершая одно из совместных своих турне по России.

Мы часто переписывались с Сологубом. Бывало, и в стихах. Ничего не сохранилось из этой переписки. Но сегодняшний приезд Игоря Северянина в Париж заставил меня порыться в старых бумагах и в моей памяти. Клочок бумаги с ответом Сологубу «для передачи Игорю Северянину» – нашелся. Его я печатаю ниже.

Кое-что нашлось, и в памяти. Ф. К. Сологуб с особенной горячностью, даже как будто с увлечением, относился к юному тогда «эго-футуристу», поэту Игорю Северянину. Говорю «как будто», потому что Сологуб был человек с тройным, если не пятерным, дном, и, даже увлекаясь, никогда на «увлекающегося» похож не был. Во всяком случае, это в квартире Сологуба положено было первое начало «поэзо-вечеров», у Сологуба мы, тогдашние петербургские писатели, познакомились с новым поэтом и с напевным чтением его молодых стихов. Это были стихи, впоследствии такие известные, из «Громкокипящего Кубка»: первая книга И. Северянина, скоро потом вышедшая с интересным сологубовским предисловием.

Я очень помню эти вечера в квартире Сологуба. Он, вместе с заботливой, всегда взволнованной А. Н. Чеботаревской, нежно баловал Игоря Северянина. После долгих «поэз» – мы шли веселой гурьбой в столовую. Нам не подавали, правда, «мороженого из сирени», но «ананасы в шампанском» – случалось, и уж непременно удивительный ликер, где-то специально добываемый, – «Crême de Violette».

Дела давно минувших дней! Игорь Северянин их, я думаю, помнит. Вспомнят и другие, кто остался жив.

Письмо Сологуба со стихами И. Северянина и мой ответ стихотворный – относятся к периоду более позднему. Как будто странный ответ: почему говорится в нем столько о «Ледовитом Океане?» Но я вспоминаю, почему: тогда, в Ментоне, мы жили вместе со старыми «царскими», эмигрантами. И были как раз заняты чтением интерес-

нейших писем с крайнего севера, от политических ссыльных (тоже «царских»).

Самое странное, — теперь! — что письма эти, с кучей фотографических снимков, спокойно посылались из России по почте и спокойно эмигрантами получались.

Другие времена. Другие эмигранты. Другая ссылка. Все другое!

Но Ледовитый Океан остался.

Ф. К. Сологубу

(*Ответ*)

Ментона, апрель, 1913 г.

...Я вижу, Игорь Северянин
Тремя морями сразу ранен.
                                        Зане —
Он грезит Балтикой на Черном
                                        бреге
И поэтические шлет побеги
                              Сюда, ко мне
                              На Méditérranée *
Ну что ж, скажите — я благодарю,
Хотя морями вовсе не горю.

Когда над средиземной простынею
Жужжу, ветрюсь на хидроплане,
И то я занят думою одною:
                              О Ледовитом Океане.
Там щурится морская кошка,
Сполохи яркие висят,
А утром встать немножко дрожко:
Наутро в юрте −50.

Там вешний день криклив и хмурен,
Там льдист апрель, июнь обурен,
И наст бесталый, вековой,
Звенит под летнею травой.

Голятся гуси в смертной сетке,
Дощатые неверны ветки **,
Постель из хвой, сырой урас ***

* Средиземное море (*фр.*).
** Плоскодонные лодки.
*** шалаш.

Средь мги, на шкурной растопырке,
Ночного солнца белый глаз,
Седые воды Индигирки...
О, мокротяжкие плащи тумана!
О, стужное кипенье Океана!..

ДАЛЕКАЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА

Во дни моей ранней юности был в Петербурге один особо гостеприимный литературный дом. Собственно, не такой «литературный», как дома Полонского, Плещеева, Майкова, Вейнберга: тут хозяева, вернее, хозяйка, литературой сами вовсе не занимались. Писателей у нее собиралось, однако, очень много, всяких, от знаменитых до неизвестных, да и кроме их бывала куча «интеллигентного» народа.

Один наш приятель с серьезным видом уверял: «Хочешь попасть к г-же Х.? Скажи только: «меня душит реакция» – и будешь принят с распростертыми объятиями».

Что это значило, – для меня, в то время, было и непонятно, и неинтересно. Какая реакция, и почему она душит? Почему **«нельзя»** печататься в «Новом Времени»? Почему Полонский и Плещеев не бывают друг у друга, хотя стихи обоих памятны мне с недавнего детства в одной и той же хрестоматии?

Иногда эти загадки тревожили меня, но больше занимала просто литература и литераторы.

Относительно же дома г-жи Х. мой приятель был и прав, и не прав. Двери хозяйки открывались не только перед этими задушенными «реакцией». Существовали, должно быть, и другие пароли...

Правда, помню характерный вечер, когда вдруг явился чернобородый и лысоватый Гольцев, редактор московской «Русской Мысли». Явился неожиданно и как будто впопыхах. Народу было много, все торопливо и сочувственно жали ему руки. Торопливо было подано шампанское, и Гольцев, с бокалом в руках, провозгласил тост за свою «возлюбленную».

Все это меня крайне удивило и даже раздосадовало: гости кругом не удивляются, как будто знают, в чем дело, а я вот ничего не понимаю!

Кто-то, добрый человек, шепнул мне на ухо, что «возлюбленная» – это **«конституция»**. За нее и пьют. Неожиданность появления Гольцева и торопливость – тоже потом объяснились: приехал, было, в Петербург, и немедля, в тот же день, его высылали... По дороге на Николаевский вокзал он и улучил минутку, заехал в дружественный дом.

Гольцева явно «душила реакция», но уж гораздо менее явно душила она частого гостя г-жи Х. — Владимира Соловьева.

Чуть ли не там впервые (потом мы видались нередко) встретился мне этот красивый, растрепанный человек с серьезными глазами и с постоянными взрывами такого дикого хохота, что непривычные вздрагивали.

За длиннейшим чайным столом (где, сколько бы гостей ни было, всегда оставлялся стул для двух такс: желтой и черной) царила веселая непринужденность. Но Вл. Соловьев держал себя особенно непринужденно, прямо сказать — балагурил. Скоро привыкали к хохоту его и непривычные, — тоже принимались смеяться.

Читал свои стихи: все уморительные пародии на декадентство, едва-едва начинавшее тогда появляться. А раз прочел целую длинную поэму о каком-то пушкинском «Капитоне». Кончалась она появлением в облаке тени князя Мещерского. Поэма вызвала шумный восторг одних, кое-чьи глаза опустились; не мои, впрочем, так как Мещерский мне был неизвестен, и смысл поэмы от меня ускользнул. А был на этот раз, не политический...

За тем же бесконечно длинным столом г-жи Х. оказался у меня однажды сосед, которого, если и «душила реакция», то, наверно, еще больше, с другой стороны, душила именно «нереакция». Как мы теперь знаем, она почти что и задушила его.

Это был Н. С. Лесков.

Чаепитие уже давно началось, когда мы, я и несколько человек зеленой молодежи, вернулись из внутренних комнат г-жи Х.: там один из этих юных родственников хозяйки, 16-летний морской кадетик, читал нам свои стихи, — новые. Новые, — потому что не похожие ни на Майкова, ни на Плещеева, ни даже Надсона. Так называемое «декадентство» (сколько его уж было) мне определенно не нравилось; но не нравились и свои собственные стихи, печатавшиеся в журналах. Чего-то нового хотелось, совсем другого; его не оказалось у кадетика, но у «старых» искать — совсем было бесполезно.

Впрочем, рядом с Лесковым, мысли эти вылетели у меня из головы. И Лесков «старый» писатель. Все они — Тургенев, Полонский, Лесков, Григорович, Гоголь, — были для меня равно писателями «из книги». Встречаться с еще живыми было немножко странно и любопытно; однако живой Григорович оставался отдельно, а тот, книжный, из книги не выходил.

Но Лесков — не Григорович; их книги, да, только книги Лескова и Гоголя были моими любимыми.

Смотрю на широковатую фигуру соседа, на его лицо, очень простое, очень обыкновенное, на русые серебрящиеся волосы; «благоуха-

нья седин», к которому приучили меня длиннобелобородые знаменитые старики, здесь нет. Нет и плещеевской доброты в лице, а острые светлые глаза мне даже кажутся злыми. Или очень холодными.

В широких, немного пухловатых, руках — свое выражение; какое — не могу отгадать, только не злое.

Он мне, однако, нравится. Вижу перстни на пальцах, думаю о его книгах, заговариваю о камнях.

Показывает знаменитый «александрит». Он у него громадный и, действительно, под лучами ламп и свечей, отливает кровью. Почти верить нельзя, что утром он нежно-зеленого цвета. (Тогда не было электричества, нежели в нем, в лесковском, ни одной искры зеленой не осталось бы вечером и сегодняшним?)

— А вот это, — сказал Лесков, снимая с мизинца, другой перстень с большим, круглым непрозрачным камнем — это (не помню названия)... под ним хорошо хранить яд. Он у меня тут и хранится. И кольца с ним я никогда не снимаю.

Может быть, и неправда. Может быть, он хотел попугать неизвестное юное существо, оказавшееся с ним рядом.

Мы оба улыбнулись. Продолжали разговор. Уж, конечно, мне не пришло в голову завести речь о его произведениях, о том, сколько раз читаны его книги, от первых романов до последней, о том, какие больше всего мне нравятся и почему... Я слишком хорошо знаю, как неприятны бывают писателю (настоящему) такие разговоры, такие... пожалуй, «приставанья» случайно встреченного поклонника.

Думаю теперь, что именно с Лесковым это было бы особенно «некстати».

Если в разговоры что-нибудь, от моего знания и человеческого глубокого утверждения, само проскользнуло, — тем лучше. Тогдашнее неведение мое всех душащих «реакций» и «нереакций» не помешало мне почувствовать, что большой человек этот чем-то удушен. Может быть, и озлоблен. Не знаю. В нем и наверное — измученность.

* *
*

Когда была эта встреча, задолго ли до его смерти — точно сказать не могу. Во всяком случае, задолго до «открытия» Лескова Флексером-Волынским, которого тогда еще и в «Сев. Вестнике» не было, да, кажется, не было и на литературном горизонте.

Помню еще, писательница Веселитская, в позднейшие годы, рассказывала нам (у Розанова) много о Лескове.

Но больше мы с ним никогда не встречались.

У КОГО МЫ В РАБСТВЕ?

Слово, произнесенное на собрании кружка «Зеленая Лампа»

В докладе Иванова очень много правды. И хорошо, что он ее сказал.

Да, правда: зарубежная литература наша стала терять самое драгоценное, без чего ей не жить, — свое сердце. И что положение писателей русских — странное, при полной свободе слова — несвободное, — и это правда. А вот насчет причин — тут мы, пожалуй, разойдемся. Или нет, не совсем. Только надо кое-что с места на место передвинуть.

Конечно, между положением нашим у себя дома и положением эмиграции — тысяча различий. Я не буду их касаться. Наша сегодняшняя тема, суженная до литературы, и так довольно широка.

Иванов говорит: случилось коренное несчастие. В эмиграции скончался и зарыт русский читатель. Выжили одни читатели всяких «Брешковских». Почуяв свою власть, они яростно наступают на писателей: давай нам, чего мы любим! И писатели покоряются, цензуруют себя, подделываются под Брешковского. Выходит, значит, что не кто иной, а читательская масса владеет писателями и будет отныне создавать литературу, — по своему вкусу.

Но это не видано! Эмиграция многое перевернула, однако есть вещи, которые совсем наизнанку не вывертываются. Ни при каких обстоятельствах не будет читатель творить литературу. Всегда было и будет — наоборот. Уж не тот ли читатель, на могиле которого грустит Иванов, создал Достоевского и Гоголя? Не они ли — его?

Иванов увидел факт: писатели находятся под чьей-то цензурной лапой. Как? Здесь? При такой свободе — и вдруг цензура да еще хуже, чем Николаевская? Странное явление! Иванов стал смотреть вниз: от читателя, что ли, цензура?

Нет, не от читателя. Попробуем поискать ее в другом месте.

Чтоб вообще имелась литература, т. е. писатели и читатели, надо чтобы имелась пресса, — не так ли? Книги, журналы, газеты... все это в России, по своей мере, было. Не всегда пресса поспевала за движением литературы. Передовой писательский слой не сразу находил место в так называемой «большой» печати. Но являлась другая, и скоро все настоящее, в ней оформившееся, брало и последние позиции — «большой» печати. Толстые журналы, серьезные газеты открывали двери новому течению.

А читатель, обычно, завоевывался еще раньше. Кроме природного «брешковиста». Он всегда был, везде есть, везде тот же. И вовсе он не «гнусен» — а невинен.

Другое дело – не природный «брешковизм». Если правда, что зарубежные читатели все больше **становятся** брешковистами, **делаются** такими, – неужели это они сами, по злонравию? Лучше посмотрим, **кто** или **что** с ними это делает.

Реальное положение зарубежной литературы таково: вся наша пресса, говоря серьезно, сводится к **двум** газетам и **одному** журналу.

Я утверждаю, это вовсе не с «парижской» точки зрения, а с литературной. Знаю, что много еще есть в эмиграции разных изданий, – газет, листовок. Они возникают, исчезают, – суть дела от этого не меняется. Будем же говорить о сути и о трех главных органах нашей прессы.

Это, конечно, органы не чисто литературные, а политико-общественно-литературные. Не только здесь, но и в России иначе не бывало, да и не могло быть. Прав Иванов: никогда русский писатель не был **чистым литератором**. Никогда не была наша литература в полном отчуждении от вопросов общественности и политики (не говоря о многих других). Истинно человеческая широта, включающая в себя все стороны бытия, все, чем жив человек, – это и есть сердце русской литературы. Его непрестанное биенье, – непрестанное движенье литературы во времени, со временем, ее – подлинная жизнь.

Конечно, кому литература – бесполезный букет цветов на обеденном столе, кто не различает даже, бумажные ли они, или настоящие, того не вразумишь. Воображает, что русскому писателю можно, да еще сегодня, сидеть, подыскивать красивые слова, ими удовлетворяться и – не быть при этом пошляком. Опять прав Иванов: писатель «гражданином быть обязан, в наше время особенно», говорит он. Только даже не «обязан»: он таков уж есть, в существе своем. А если нет – и самого его нет как русского писателя. Бумажный цветок, годный для украшения обеденного стола, и стола-то невысокого калибра.

К эмигрантскому несчастию – такие столы и есть три органа бедной нашей прессы. Во главе каждого из них люди, коренным образом в литературе ничего не понимающие. О сердце ее они даже не догадываются, и слова Иванова, что русский писатель – тоже «гражданин», – им кажутся или пустяками, или опасной ересью. Совсем без литературы – нельзя же! Будет **«некультурно»**, как совсем без цветов на обеденном столе. Но прослышали что-то об «искусстве для искусства» и обрадовались, и на том остановились. Очень удобно (как и цветы бумажные удобнее: стоят – не вянут). А главы нашей прессы не только в литературе, в культуре, – но и в своей специальности, в общественности и политике, – за всяческое **стояние**. Всего, что движется, они боятся. Не признают.

На днях Философов в «За Свободу!» говорил о том же; приводил выдержки из статьи Омельянова в «Руле», где опять говорится то же. Вопрос поставлен шире, о всей «культуре» вообще в среде всей эмиграции. Эмигрантская культура (со включением литературы, конечно) признается не только отвергающей всякое движение вперед, но прямо называется реставрацией (попытками к ней, во всяком случае).

Тут, может быть, есть своя правда, — касательно верхов эмиграции. Но для нас и того довольно, если мы назовем общее состояние и настроение всяческих наших верхов, — культурных и политических вождей, руководителей прессы и т. д., — состоянием глубокой **консервации**.

Как будто с тех дней, когда еще была Россия, для всех этих политиков, общественников, искусников, словесников — «Ничто не изменилось, ничто не отошло, — Но вдруг окаменело, само в себя вросло».

Консервируются, — в политике, — те же имена, те же партии, те же лозунги; консервированы понятие о культуре и взгляд на литературу. Странное окаменение, — на воздусях! Ибо земли-то под всеми этими окаменелостями уже нет.

Но совсем не странно, что все живое, все движущееся, сталкиваясь с камнями, — останавливается. Литература, зарубежные писатели, — свободны, как никто. Откуда-то цензура, да еще хуже, чем при Николае I? От читателей, с безнадежностью решил Иванов. Да нет, — от них, от владельцев и редакторов нашей скудной зарубежной прессы.

Три двери, через которые писатель может пройти к читателю. У каждой стоят цензора, а цензурный кодекс одинаков у всех.

Первый пункт — «невмешательство» (по удобному старому принципу «искусство для искусства», литератор «художник слова», аполитичен и вообще, а — все). Некое малое вмешательство инде дозволяется, впрочем; если оно в унисон с настроением начальствующего, и автор человек верный.

Есть пунктик и в соображении читателя. На него — гла́вы прессы смотрят приблизительно, как Иванов: читатель любит почитывать литературу приятную и — благонравную. А как же без читателя? Ну, так если что посерьезнее... или что-нибудь такое, о чем упоминать русские цензора запрещали, — не надо.

Зарубежная литература, писатели всех возрастов и состояний перед этими тремя дверями и стоят. Не хочешь — ни в одну не иди. Не пиши. Не печатайся. А выбрал какую-нибудь — условия известны.

Надо сказать: существуют писатели, выбирающие безболезненно. Цензуры они не чувствуют, она для них не нужна; просто сами приходятся ко двору. Они тоже консерваторы, — в своем роде, в своей обла-

12 Зак 4570

сти. Бумажные цветы? Да, но есть и не бумажные, а самые натуральные, и даже прекрасные — **иммортели**.

Ну, а другим приходится не сладко. Тем, что не из бумаги вырезаны, и не иммортели. Их цензуруют, или они сами себя цензуруют предварительно, подрезывают, подсушивают, подделываются... Сначала туго, неумело. Потом изловчаются. Нужда научит. И нужда не только внутренняя: ведь писатели такие же голодные люди, как другие эмигранты.

Хорошо. Положение мы определили, причины исследовали. Но какой же выход из него, и есть ли выход?

Иванов как будто не видит никакого. Но ведь он и писательскую цензуру ставит в вину читателю, мы же нашли, откуда и от кого эта цензура исходит. Она — как проволочное заграждение между писателем и читателем. Если, пройдя сквозь нее, писатель уже является «брешковистом» — то соответственных читателей и получает. Мы не знаем, а может быть, он нашел бы и других, явись он в своем натуральном виде? Но обойти проволоку нельзя, значит, во всяком случае, — с огульным обвинением читателя надо погодить.

Что касается настоящих цензоров, то они, конечно, виноваты; но жаловаться на них — некому и убеждать их бесполезно: все равно будут выискивать для своих пиров испытанные иммортельки или новенькие, шуршащие папиросной бумагой, лилии и астры. Нет крепче людей, чем природные консерваторы.

Иванов с ужасом говорит: что было бы, если бы теперь вдруг появился Чаадаев? Не объявили ли бы его опять сумасшедшим? Вероятно. Но я поставлю более скромный вопрос, — ближе к теме: что было бы теперь, появись современный Сологуб, или Блок? Подчеркиваю: **современный**, т. е. соответственно движению времени измененный. Ни в одну из трех дверей такого Блока ни за что бы не впустили. Это — наверно. Ну, а стал бы он себя цензуровать, прижиматься под чистого словесника-литератора или брешковиста подделываться?

Боюсь, что да. Другой вопрос, удалось ли бы ему это. А стал бы потому, что не тот или другой, а все наши писатели вообще — **пассивисты**. Перед внешними обстоятельствами сейчас же склоняют головы. По крайней мере в эмиграции они все таковы. Писателей, вышедших из главного течения русской литературы, последних десятилетий, — за рубежом немало. Это наше среднее поколение. Оно-то от цензуры всего больше и страдает. Сталкиваясь с окаменелостями — оно разбивается, вырождается. А между тем ему-то и надо бы действовать. Как раз этот писательский слой, это поколение, могло бы стать звеном между прошлым русской литературы и ее будущим.

Кстати, все эти люди очень талантливые. Но талант не в помощь пассивистам.

Как же нам действовать, спросят они. Не приспособляться? То есть не писать? Героически умереть для литературы, умирая с голоду, как делали и делают оставшиеся в России настоящие писатели – Сологуб, Ахматова и другие?

Нет, зачем. Здесь не те условия. Здесь, вместо героизма, нужно лишь немножко больше практического активизма. Сумели же старые русские «интеллигенты» как-то обернуться, создать свою прессу? Литература там не живет, – создавайте другую печать, где была бы жизнь, без проволочных для нее заграждений.

Я понимаю, это трудно. Писателям, да еще эмигрантам, да еще русским – мечтать о создании своего дела! Американцы бы, конечно, и не мечтали; просто принялись бы создавать, не смущаясь, что – из ничего, и будут сотни неудач и провалов, пока что-нибудь выйдет. Не пора ли нам, однако, в эмиграции, на свободе, от свободных граждан чем-нибудь позаимствоваться?

Будем справедливы: попытки в этом роде уже делались. Вот журнал «Числа». Его судят так и эдак, но он, прежде всего, доказывает, что средняя молодежь («преемственная», как я ее называю, Россию знавшая) – **хочет** движения, **хочет** свободы и на многое ради них способна. Философов им недоволен; я это понимаю. Но в каком смысле считает он его вредным и для кого, – этого уже понять я не могу. Можно сказать, что вот никаких там Фаустов или Карамазовых не напечатано; и что журнал производит впечатление «сборника», где одно с другим не вяжется, одно к другому не подходит, и даже неизвестно, что к самому журналу подходит, что нет. Я не буду спорить, тем более что знаю: после долгой цензурной муштры, привычки «подделываться», сразу ни голоса, ни верного тона не найдешь. Я только напомню Философову: и в журнале «Мир Искусства» когда-то (говорю «все пропорции храня», и времени, и обстоятельств, и др.) – тоже все одно к другому не очень подходило, и при таком же стремлении к свободе: редактор мне даже написал: «Ваша статья (для 1-го номера) конечно, к нам не подходит, и, конечно, мы ее напечатаем». Ни малейших «Фаустов» тоже в «М. Искусства» не было, и тоже, подобно слабым голосам неизвестных юношей «о важном» в «Числах», – слышались и там такие же первые голоса, – Андрея Белого, например. И, наконец, последнее «тоже»: не считался ли «М. Искусства» «вредным?». Еще как! Но объяснить, почему и кому он вреден – так же не могли его судьи, как теперешние не объясняют этого насчет «Чисел».

Нет, при всей моей строгости и объективности, скажут: «Числа» – знак, что есть, среди несчастных наших обстоятельств, люди-писате-

ли, которые и сердце русской литературы чувствуют, и свободными гражданами хотят быть (не свободными литераторами только, но «гражданами») и хотят, по мере сил, как-то «действовать». Ну, а надолго ли хватит у них сил, хватит ли выдержки (громадная выдержка нужна!) — это нам покажет дальнейшее.

Наша драгоценность (единственная, правда, но тем более драгоценная) — свобода. И как «глупому сыну не в помощь богатство» — так лишь «слабым сынам не в помощь свобода». Прекрасная вывеска есть на одной из трех заветных дверей, — на двери «Современных Записок». Им она давно ни к чему, а писателям, сидящим в бесправии, да и не одним писателям, — **всем** нам очень могла бы пригодиться. Не складывай покорно рук: **«В борьбе обретешь ты право свое»**.

«У КОГО МЫ В РАБСТВЕ»

Четвертая цензурная дверь
(О «Числах»)
Письмо в редакцию

Не так давно в газете «За Свободу!» была напечатана статья-речь З. Н. Гиппиус «У кого мы в рабстве». Вполне соглашаясь с общими положениями статьи (да и как не согласиться, когда они справедливы), я хотел бы, однако, внести небольшую фактическую поправку, — возразить против некоторых определений, которые даются автором журналу «Числа». Мое близкое участие в журнале, с первого же номера, мое самое, притом, дружеское к нему расположение, позволяют мне сделать оценку справедливую и точную

Журнал этот, конечно, нельзя назвать, ни с какой стороны, «вредным»; напротив, он даже полезен для многих из беспризорной молодежи, пробующей там свои силы. Но я, прежде всего, сомневаюсь, чтобы «среднее» поколение (журнал редактирующее) могло «стать звеном между прошлым русской литературы и ее будущим», как говорит З. Н. Гиппиус. Оно очень характерно, это поколение, о нем стоит написать, но сейчас мы говорим о частностях и довольно будет следующего: если руководители «Чисел» и «**хотят** движения, **хотят** свободы» (как говорится в статье З. Н. Гиппиус), — то, во всяком случае, хотений своих они еще не осмыслили вполне, так что о воплощениях и говорить не приходится. Никакой параллели между «Числами» и «Миром Искусства», даже toutes proportions gardèes *, уж по этому одному,

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* сообразуясь со всеми различиями (*фр.*).

проводить нельзя, — что опрометчиво делает З. Н. Гиппиус. А сколько других причин!

Я, однако, утверждаю лишь факт, воздерживаясь от обвинений. Как «винить» людей, не успевших созреть на родине, еле-еле успевших осознать себя в грозные, предкатастрофные, годы, о «свободе» даже и не слышавших, «пути своего не помнящих» (по Блоку), неопытных в жизни буквально до мелочей? Винить ли их, если, при самых добрых мечтаниях о «новом» и о «свободе», они, на деле, срываются то в допотопное декадентство, то в подражание цензурному реакционству старых интеллигентов — редакторов? И даже в то и другое вместе, рядом, — смешанно и беспомощно?

Нет «линии», сказал мне кто-то, и я согласился. Нет; а **линия** нужна, — везде, всегда, во всем, всякому и всем живым, пока они живы. Нужна обыденно, до самой крошечной мелочи. Найдут ли ее, хоть какую-нибудь, вот эти писатели — **люди**, — «хотящие движения, хотящие свободы», — о которых идет речь? В частности — руководители «Чисел»?

Вот маленький факт, иллюстрирующий мои соображения.

По просьбе редактора «Чисел» я, как очередные мои «Литературные размышления», дал ему краткую заметку о «Хорошем и дурном тоне». Заметка была набрана, прокорректирована; мы, постоянно встречаясь с редактором, о ней говорили, но... в номере ее не оказалось. Редакторская цензура не пропустила. Оригинальность же данного редактора в том, что он, в течение двух месяцев, **не решался** сказать мне о своем цензурном карандаше, и так до конца и не решился. В этой рекордной редакторской стыдливости есть даже что-то трогательное... Но все-таки сама-то цензура остается фактом знаменательным. Тем более, что из объяснений, данных мне редактором «post factum» *, я ровно ничего не мог понять: так и не уразумел, что было нецензурного в моих кратких, попутных, размышлениях о «Хорошем тоне» (в литературе).

Когда мне удастся, наконец, получить из редакции «Чисел» корректуру заметки (до сих пор не удается) — я пошлю ее в редакцию «За Свободу!». К «трем цензурным дверям», о которых говорила З. Н. Гиппиус, теперь, во всяком случае, прибавилась четвертая. «За Свободу!» не будет, конечно, пятой; если и она эту заметку не напечатает — я лишь пойму, что она, действительно, «нецензурна» по нынешним временам.

P. S. К моему протесту против сравнения (допущенного З. Гиппиус) журнала «Числа» с «Миром Искусства» присоединяется ныне и

* позже (*лат.*).

Д. С. Мережковский. Он когда-то печатал в последнем свой известный труд «Л. Толстой и Достоевский» — рядом с рисунками Гойя, и это его не тревожило. Но он не может простить себе, что отдал главу из новой своей книги «Иисус Неизвестный» в «Числа», где она в 5 № появилась в соседстве с грязными кощунствами декадентского романа Поплавского.

Уж не оттого ли соображения мои о «Хорошем тоне» и кажутся «Числам» неподходящими?

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

(К истории Петербургских Религиозно-Философских Собраний 1901—1903 гг.)

Это были глухие годы. Перелом назревал, но переломы внутренние не совершаются по часам, происходят «неприметно». И даже к началу 1900 года в русском культурном интеллигентном обществе все как будто оставалось по-старому... Однако в молодом поколении, в литературе преимущественно, давно шли сложные процессы, намечались новые линии, совершались новые разделения и новые соединения. Чистого эстетизма, которому впоследствии суждено было совершенно отколоться от «заветов» интеллигенции и зажить самостоятельной жизнью, тогда не существовало. Он находился в ближайшем соприкосновении с другим течением, — **символизма.**

Так или иначе, всю эту молодую часть русской интеллигенции объединяло одно: отрыв от главной основы миросозерцания «отцов» — позитивизма.

Поскольку этот отрыв оставался в области искусства, литературы — он мог лишь создавать художественные ценности. Он их и создавал, но в попутном, совершенно естественном, стремлении к дальнейшему: положить другой краеугольный камень в основу общего своего мировоззрения. Это и привело часть молодой интеллигенции к «новой форме исканий» — **религиозной.**

Частью той же русской интеллигенции данная группа не перестала, конечно, быть, несмотря на разрыв с позитивизмом «отцов». Их заветы она в себе хранила. Идея «Личности», возродившись, не сделалась в ней «индивидуализмом», не вытеснила равноценную идею «общности». Осталась и привычка к «опытным проверкам», приверженность к «мыслящему реализму». Положительное отношение к реальным ценностям у людей «нового религиозного сознания» (как тогда говорили) осталось неприкосновенным.

Этим тяготением к реальности объясняется также, почему с вопросом о религии возникает тотчас вопрос о христианстве, и рядом с ним вопрос о церкви; притом не о церкви в идее, но о церкви реальной, исторической.

Христианство, его данное и (потенциально) должное, его воплощение в мире, в истории, в человечестве — вот главная тема Религиозно-Философских Собраний 1901—1903 гг.

Задолго до самой мысли о них в общем кругу велись разговоры о религии. Стали появляться новые люди, где-то самостоятельно над подобными вопросам задумавшиеся. Были всякие, были и студенты, неожиданного типа и формации.

Розанов, близкий всему нашему основному кругу, тянул за собой лиц уже совсем иной, особой среды. А как было Розанову не подойти вплотную именно к данным вопросам? Ведь он, по его же слову, был сам «весь на религиозную тему».

Складывались всякие кружки, где толковали, спорили, волновались... Кружков этих никто не устраивал — сами устраивались.

Были очень живы, но от смешанности и текучести «дела» из них не выходило.

Однако они были нужны: они выделили из себя другие кружки, более тесные, где уже стало возможным выяснить главную линию движения и где, наконец, явилась мысль создать **«Религиозно-Философские Собрания»**, т. е. встречу с Церковью («исторической»), — с ее представителями, — лицом к лицу.

Это было стремление услышать «голос Церкви» (а где его услышать, если не из уст ее представителей?). Как сама она смотрит на свое прошлое, настоящее и будущее? Включается ли мир — космос и мир человеческий в зону церковного христианства, т. е. христианства, носимого и хранимого реальной исторической Церковью?

Самый проект Собраний, мысль создать эту «встречу», казалась, на первый взгляд, неисполнимой мечтой. Надо помнить, в какое время, при каких условиях, все это происходило.

Тут помогла смешанность, текучесть и разнообразный состав наших частных кружков. В них бывали люди, — без официального положения в духовном ведомстве, — но имеющие соприкосновение с духовными кругами. Мысль Собраний их заинтересовала. Они нащупали почву и указали нам, куда можно обратиться с первыми хлопотами о разрешении (пути официальные, конечно, были заказаны).

8 октября 1901 г. уполномоченные «члены-учредители» отправились по делу открытия «Религиозно-Философских Собраний» в С.-Петербург, к обер-прокурору Святейшего Синода Победоносцеву, а вечером того же дня — посетили Петербургского Митрополита Антония.

«Уполномоченных» было пятеро: Мережковский, Философов, Розанов, Миролюбов и Тернавцев.

С этого дня на разрешение Собраний, – получастных, со строгим выбором, и только для «членов», – можно было питать надежду. Надежда окрылила всех заинтересованных. И тогда именно началось у нас настоящее знакомство с совершенно новым для нас «церковным» миром.

Это воистину были два разных мира. Знакомясь ближе с «новыми» людьми, мы переходили от удивления к удивлению. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке; все было другое, точно совсем другая культура.

Ни происхождение, ни прямая принадлежность к духовному званию («ряса») – не играли тут роли. Человек тогдашнего «церковного мира – неизменно носил на себе отпечаток этого «иного» мира, не похожего на мир наш, обычно интеллигентский, «светский», по выражению церковников.

Были между ними люди своеобразно глубокие, даже тонкие. Они прекрасно понимали идею Рел.-Фил. Собраний, значение «встречи» интеллигенции и Церкви. Другим эта встреча рисовалась просто в виде расширения церковно-проповеднической деятельности, в виде «миссии среди интеллигенции».

Признаться, мы этому толкованию особенно не противоречили: оно могло послужить на пользу разрешения. Только бы разрешили, а там будет видно.

Как «миссию» воспринял будущие Собрания, между прочим, и Скворцов, редактор «Миссионерского Обозрения» – журнала, о существовании которого мы раньше и не подозревали, но который теперь стала выписывать даже ... редакция «Мира Искусства».

Скворцов состоял чиновником особых поручений при Победоносцеве и был фигура довольно любопытная. Отчасти комическая, – но достоин он был и не смеха: официальный «миссионер» – он славился своей жестокостью по «обращению» духоборов и всяких «заблудших» в православие. У этого типичного русского «хитрого мужичонки» (не без своеобразного добродушия) имелась, однако, слабость тщеславия. Он стал мечтать о «среде интеллигенции». Зуд «светскости» и перспектива «миссии» уже не среди нижегородских и самарских мужиков-штундистов, а среди петербургской интеллигенции, совершенно увлекла его.

Но, конечно, не Тернавцев, один из самых замечательных людей того времени, мог помышлять о Собраниях как о «миссии». Он даже высказался против такого взгляда на первом же заседании. На Тернавцеве тоже лежал отпечаток «иного», не нашего мира; в этом смысле и

была и в нем «чуждость»; однако это был человек, наиболее тогда близко стоявший к нашим идеям.

О Тернавцеве, сыгравшем в Собраниях большую роль, нужно сказать особо.

Богослов-эрудит, пламенный православный церковник, он происходил не из духовного звания. Русский по отцу – итальянец по матери; и материнская кровь в нем чувствовалась сразу: так он был ярок. Яркость – главная, кажется, его черта.

Молодой, высокий, плечистый, но легкий, чуть-чуть расхлябанный, – не по-русски, а по-итальянски, – с ленностью в самых живых движениях, чернокудрый и чернобородый – он походил иногда на гигантского ребенка: такие детские бывали у него глаза и такой детский смех. А то чувствуется и хитринка: себе на уме. Помню, как он пришел к нам в первый раз: сидел, большой и робкий, с мягкими концами разлетающегося галстука. Самое замечательное в нем – его талантливость; какое-то общее пыланье и неожиданные переливы огня. Оратор? Собеседник? Рассказчик? Или пророк? И то, и другое, и третье; от пророка было у него очень много, когда вдруг зажигался он заветной какой-нибудь мыслью. Мог и внезапно гаснуть, до следующей минуты подъема. Самый простой рассказ он передавал образно, художественно, нисколько не ища этих образов, – сами приходили. Был ли умен? Трудно сказать. Его талантливость, яркость, его прекрасный русский язык, – тоже не совсем «интеллигентский», – его упрямо-узкая, фанатическая, но глубокая и своеобразная трактовка некоторых идей, – как-то заслоняли вопрос об его уме.

В Петербурге «кудрявый Валентин» появился с семьей не так давно. Жили они в маленькой бедной квартирке. Тернавцев нигде не служил. Был занят какой-то своей бесконечной работой по богословию, кажется, исследованием хилиастического учения.

Наконец, разрешенье было получено. Собственно, полуразрешенье, как бы «попустительство» со стороны Победоносцева, молчаливое обещанье «пока что» терпеть Собрания (увлеченный «светскостью» и «миссией» Скворцов немало, кажется, этой удаче посодействовал).

Иначе отнеслось высшее начальство духовное (менее, положим, властное) – тогдашний митрополит Антоний. Благообразный, с мягкими движениями, еще не старый, он слыл «либеральным». Идее Собраний сочувствовал. Узнав, что «Ведомство» их разрешает – дал благословение ректору Духовной Академии, Сергию, епископу Ямбургскому* быть их председателем; ректору Семинарии, арх. Сергию –

* Впоследствии Финляндский, затем с 1927 г. митрополит-заместитель местоблюстителя патр. престола в Москве.

вице-председателем; дозволил участие в них всему черному и белому духовенству, всем академическим профессорам и приват-доцентам; разрешил даже духовным студентам, по выбору, Собрания посещать.

Открылись Собрания 29 ноября (1901 г.) — докладом Тернавцева.

Неглубокая, но широкая «малая» зала Географического Общества (на Фонтанке) — переполнена. Во всю ширину ее, по глухой стене — стол, покрытый зеленым сукном. Еп. Сергий, молодой, но старообразный, с длинными, вялыми, русыми волосами по плечам, с мягким, круглым лицом, в очках — посередине. Рядом с ним — красивый и злой архим. Сергий, вице-председатель. Духовенство, белое и черное, преобладало. На первый раз даже черного было, кажется, больше. С левой стороны ютились «интеллигенты»: «учредители» и члены просто. В углу — гигантская статуя Будды, чей-то дар Географическому О-ву, закутанная темным коленкором.

«Пользуясь своим положением председателя, — начал еп. Сергий вступительное слово, — я хочу сказать, как я понимаю наши Собрания и, в частности, личное мое в них участие. Я являюсь сюда как служитель церкви и отнюдь не намерен ни скрывать, ни изменять этого качества. Напротив, мое искреннее желание быть здесь не в рясе только, а и на самом деле служителем церкви, верным выразителем ее исповедания... Беседа наша серьезная и строго деловая. Нам тяжело наше разъединение и взаимное непонимание...».

Закончил еп. Сергий обещанием искренности со стороны Церкви и призывом к тому же «подходящих с совершенно противоположной стороны» (интеллигенции). Лишь при таком условии, сказал он, можно надеяться достигнуть единения — «несмотря на все наши несогласия».

Слово еп. Сергия было явно обращением Церкви к «противоположной стороне», с которой она признавалась в «несогласии». К кому была обращена речь Тернавцева? Прямо к Церкви, и ценность доклада увеличивалась тем, что докладчик стоял сам на церковном берегу. Если тут уместно говорить «мы» и «они» (впрочем, это положение установил еп. Сергий) — то Тернавцев в своей речи оказался с «нами», не переставая быть с «ними».

И уж, конечно, никакой представитель интеллигенции, если б он обращался к Церкви с основным вопросом — о **ее позиции общественной**, — не мог бы поставить его в более понятной для Церкви форме, и даже более резкой. Интеллигент и языка бы, вероятно, не нашел подходящего. То, что для нас, «противоположной стороны», казалось примитивным, общеизвестным, — и оно было нужно. Тернав-

цев знал степень осведомленности церковных представителей о новом для них мире. И давал, где следует, — просто информацию.

Тут маленькое замечание.

Я прошу всегда помнить, где и в какое время Собрания происходили. Ничего подобного не могло быть **тогда** сказано в России, в публичной зале, вмещающей около 200 слушателей. Недаром наши Собрания скоро стали зваться «единственным приютом свободного слова». Что они были «как бы» не публичны и без гостей — им только помогало: никакой тени обязательного пристава, а в члены мы записывали всех, по первой просьбе.

Речь Тернавцева, произнесенная в России 30 лет тому назад, вообще была необычайна. И по смелости, да и по некоторым жутким фразам, в которых точно чувствовалось смутное предчувствие всероссийской судьбы.

«Положение России, — начал Тернавцев, — тяжко и, по-видимому, безысходно. Полная неразрешимых противоречий как в просвещении, так и в государственном устройстве... — Россия остается сама с собою перед фактом духовного упадка и экономического разорения народа. Пугающая нагота этого факта, общая беспомощность перед ним еще увеличиваются тем, что помощи ждать, по-видимому, неоткуда...

Мы, как христиане, не можем оставаться безнадежными. Россия возродится... Но где силы, способные ее возродить? Церковь?

Силы Церкви не неизвестны, — продолжает докладчик. — Они слабы... Чем вооружены деятели Церкви? Ведь им придется скоро лицом к лицу встретиться с другими силами, уже не поместно-русского порядка, а мировыми, борющимися с христианством на арене истории... Но церковные деятели в христианстве видят и понимают лишь загробный идеал, оставляя земную жизнь, **весь круг общественных отношений**, пустым. Единственно, что они хранят как истину для земли это **самодержавие**... с которым сами не знают, что делать... — Надо искать новые силы. Где они? Это не бюрократия, не буржуазия, не дворянство, не образованный класс вообще; это — **интеллигенция**».

Уж, конечно, представителям Церкви и не снилось никогда услышать такую апологию «интеллигенции», какую услышали они в тот вечер. Да и мы (пока что «отщепенцы» в глазах настоящей интеллигенции, своим присутствием здесь ее лишь символизирующие) с удивленным вниманием следили за речью. Я жалею, что не могу привести из нее более длинных цитат. Конечно, впервые была сделана такая оценка «ордена» русской интеллигенции, с таким проникновением в сущность этой «цельной общенародной величины», и оценка ее значения с такой необычной — религиозной — точки зрения. Ни преувели-

чений, ни излишнего пафоса не было; напротив, – большая трезвость, историческая верность, точность определений, выраженных своеобразно-ярким, не «интеллигентским» языком. «Эти люди (интеллигенция) не люди церковного исповедания. Но они проявляют в жизни и деятельности нечто такое, что решительно не позволяет их принимать как силу, чуждую света Христова. Дело совести и **свободы**... составляет для них святыню...».

Переходя к параллельному рассмотру «служения» Церкви и интеллигенции, Тернавцев говорит: «Да, Церковь не покидает народа в трудные времена. Но, оставаясь сама безучастна к общественному спасению, она не может дать народу ни надежды, ни радости в его тяжком недуге. Его бедствия она понимает, как посылаемые от Бога испытания, перед которыми приходится только преклоняться... Интеллигенция же, с большими жертвами для себя, отстаивает понимание власти как ответственности. Она создала смелое, убежденное, дорого ей стоящее, обличение власти. Она отстаивает веру, что человечество найдет путь к единению. Эту веру она носит в себе, как некий золотой сон сердца. Вопрос о труде и рабском отношении его к капиталу; проблема собственности, ее противообщественное значение, с одной стороны, ее неизбежность – с другой, вопрос об истинном просвещении* – всему этому интеллигенция остается верна и близка, несмотря на тесноту, гонения и горечь скитальчества...». «Деятелям же Церкви, свидетелям совершенного разорения народа, вопросы эти чужды...»

Ни минуты Тернавцев не сходил со своей позиции христианина и сына Церкви. Это был призыв к единению с интеллигенцией как «силой высшего порядка». Но – только если поймет Церковь сущность и правду интеллигенции, если поймет, «что без веры в **Богозаветную** положительную цену общественного дела» она не выйдет из поместной, удушающей тесноты «на широту земли» – только тогда единение сделается возможным. Напрасно было бы думать, что интеллигенция может примириться с Церковью на какой-нибудь ложной или неглубокой почве. Ни детская вера, ни схоластический деизм под словесными покровами вероучения, никого не утолит...

«...Всеобщая историческая гибель открывается ныне с возрастающей и грозной ясностью. Вот почему наступила пора, для Церкви, дать ответы не словом, а **делом**, на общечеловеческие запросы. Может ли статься, что вопросы действительные, роковые, есть – и нет отвечающего?..».

«Для всего христианства наступает ныне время открыть сокровенную в нем **правду о земле**...».

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Т. е. «культуре», но слово было еще не по времени.

Первый же доклад поставил, таким образом, тему всех дальнейших заседаний: вопрос о христианстве, об отношении его к жизни **человека** и **человеческого общества**. И, попутно, вопрос о христианской Церкви (или Церквах), о том, как ими воспринимается христианство. В частности, конечно, и о реальной русской православной Церкви, о ее положении в данный исторический момент России.

Прения по докладу Тернавцева (им были посвящены два вечера) были такого рода, что могли бы нас смутить, если б мы ожидали чего-нибудь другого.

Влияла, конечно, и приподнятая атмосфера залы. Эта взволнованность, — непривычность обстановки и самый доклад, — сразу спутали и растрепали беседу. Ясно было, что говорившие (отвечала, главным образом, церковная сторона) ничего еще не поняли, не уразумели, о чем, собственно, речь.

Священники начали что-то о городском и сельском духовенстве... Их беспомощные речи перебил представитель черного духовенства, архим. Сергий, вице-председатель. Его речь была настоящий академический эксегезис апостольского учения о Церкви: «Мистическая Церковь... Взаимоотношение между Главою и телом Церкви... Прежде, чем упрекать Церковь в безжизненности, надо пожелать, чтоб было ясно сказано, что под этим разумеют...».

Тернавцев, успевший от всего этого погаснуть, вяло отвечал:

— Под безжизненностью Церкви я понимаю отчуждение ее от насущных интересов общественных...

Напрасно молодые приват-доценты Академии, понимавшие, что дело неладно, пытались выправить линию прений. Вставляли замечания — но осторожные, с оглядкой, — как иначе? Не могли они удержать и Сворцова, жаждавшего выступить и понесшего такую околесицу, что и председателю стало не очень ловко.

Только ответ еп. Сергия был более или менее определенным:

— Я не согласен, — сказал он, — чтобы Церкви надо было **переменить фронт**, поставить себе новую задачу — раскрытия правды о земле. Когда мы устремляемся к небесному, то вместе с тем достигаем и земного. Например, Николай Чудотворец, Преподобный Сергий... Или такой крупнейший пример: Церковь прямо не восставала против рабства, но проповедовала истину небесного идеала. Этим, а не чем-либо иным, она достигла отмены рабства.... Если интеллигенция хочет христианства — ей нет причины восставать против Церкви. Церковь не может отречься от неба, поставив во главу служения земное благополучие...

Никто с нашей стороны даже не нашелся, что на такую речь возразить... Тернавцев увял окончательно. Впрочем, увядать ему оснований

не было, — все последующие Собрания показали, что тема его не исчерпана и доклад далеко не забыт.

С каждым вечером заседания в Географической зале с черною закутанной фигурой Будды в углу становилось все многолюднее, а вопросы все острее. Прения по докладу Мережковского заняли два (а вернее — четыре) заседания. Доклад был об «Отлучении Толстого» (вопрос тогда очень современный). Кто отлучил Толстого? Заявление Синода — действие ли Церкви или Государства? Что такое Синод?

Кончался доклад так:

«Да, здесь опять возникает и вдруг обостряется до последней остроты нерешенный вопрос об отношении **самодержавия** к Православию, о **подчинении** Православия — самодержавию...».

Легко понять, как взволновали сторону духовенства такие вопросы. Даже самая возможность их постановки волновала. И по первым-то вопросам многие хотели, но не успели высказаться, а тут новые, — и такой важности!

Страстная жажда говорить, притом не болтать, а как-то «высказываться», — была именно у духовенства, у церковников. Это так понятно. Даже Скворцовы понятны, но не перед одними Скворцовыми, — перед всеми точно двери новые раскрылись: можно громко сказать живое слово, — **почти** свободно. Все это чувствовали, — от провинциального священника до петербургского иерарха. За годы немоты, к которой они привыкли, до ее незамечания, — вдруг оказалось что-то у них накопленное, и надо, надо высказать... можно!

Сумбур получился немалый. Одни хотели говорить о Синоде, другие о Толстом, третьи о «церковном параличе», четвертые об отношении русской церкви к государству... Председателю* стоило громадного труда разделить вопросы и отложить последний (о самодержавии и русской церкви) на следующие, пятое и шестое заседания... Они в стенографические отчеты не попали; боюсь говорить о них по памяти; знаю лишь, что были они, кажется, самыми острыми из всех, кроме двух последних, перед запрещением — второго о догмате и первого о «священстве» (тоже не напечатанных нигде).

Живые участники Собраний помнят, я думаю, что, кроме докладов и речей, т. е. **слов**, было в этой странной Географической зале еще нечто: атмосфера самой залы. За словами чувствовался невысказанный и не могущий быть высказанным трепет жизни.

— Мы, когда здесь, точно все чего-то ожидаем, — сказал мне один священник. — А чего — неведомо. Как будто хорошего. А иной раз, спаси Господи, тревога какая-то...

---

* Фактические председатели менялись.

Сближение двух разных «миров» происходило, однако, не только в стенах Географического О-ва. Вокруг Собраний, около них, образовалось что-то вроде «новой среды», в которую входили участники Собраний с обеих сторон.

Поднялся, как мы говорили, «железный занавес», отделявший у Николаевского вокзала известную часть культурного Петербурга («светского») — от Лаврского — церковного. Большинство писателей, молодых, юных и тянущихся за новыми течениями пожилых, завертелось около новых кружков. (Традиционная, так называемая «либеральная», интеллигенция оставалась в стороне. Но и правые круги тоже.) Розановские «воскресенья» сделались в ту зиму главным центром, где собирались всякие люди: церковные и нецерковные, близкие и далекие участники Собраний. Были и кружки, более тесные, деловые: там предварительно обсуждались доклады.

Несколько юных доцентов Духовной Академии, оказавшиеся людьми очень чуткими, почти всегда присутствовали при этом обсуждении.

Но присутствовать им было нелегко. Мы сначала даже не понимали, в каком бытовом рабстве находятся эти «светские», т. е. никакого «сана» не носящие люди и даже в Лавре не живущие. Однако имелся по ту сторону Невского дом: обыкновенный дом с квартирами, но именно в них профессорам и доцентам «рекомендовалось» жить. Специальные «отцы», приставленные для надзора, во всякое время могли посещать эти квартиры, осматривать обстановку, следить за жизнью надзираемого. Мне рассказывал один из них, профессор, оставленный при Академии, и вовсе не юноша, что он «не смеет» выходить по вечерам: «Ведь узнается, спросят, — куда?». А картинку из «Нивы», которая понравится, лучше прикреплять кнопочками, — скорей снять можно при «посещении». Рассказывали они это, — и еще многое другое, — как вещи обычные, неизбежные. Они «не смели», потому что им в голову не приходило, что можно «сметь». Очерченные кругом — жили, и круг этот, воображаемый или нет, — был крепок. Да и как вырваться из него могли эти молодые люди, такие, какими они тогда были? Ведь каждый, с одной стороны, — кладезь премудрости, санскритские наречия и т. д., а с другой, — картинки из «Нивы»... «В семинарии лишь как-то раз Белинского читал, тайком, не помню что...». Пушкин? Достоевский? Толстой? Толстой немножко... О Пушкине слыхали... Достоевский — никогда и в руках не был...

Почти невероятно. А так. По Невскому ни один из этих «светских» русских профессоров не доходил до... Александринского театра. Сколько было сомнений, колебаний и страха, когда мы предложили одному из них пойти с нами на эврипидовского «Ипполита»! И страх победил. Не вышло.

Страх этот был какого-то сложного порядка, не один прямой страх перед «начальством». На Собраниях, явно «дозволенных», они все же говорили с оглядкой и озираньем.

Высшее начальство держало себя, действительно, начальством. «Либеральный» митрополит Антоний подчиненных принимал лишь по вызову. А вызов — означал выговор, который провинившееся духовное или «светское» лицо выслушивало стоя и удалялось затем молча.

Епископ Сергий для большинства молодых доцентов, ему подчиненных, был старым товарищем: они помнили его Ваней Старогородским. Помнили про себя, конечно, теперь и для них он — только «владыка».

Нам было тем труднее понять внутренние иерархические отношения в этом мире, что к интеллигентам, внезапно вторгшимся в мир церковный, высшие «носители сана» были крайне терпимы и любезно-снисходительны (говорю о встречах вне Собраний). У других, как у необыкновенно-«ученого», толстогубого, грубого, черного гиганта, архимандрита Антонина, — было какое-то своеобразное, любопытствующее тщеславие, с примесью природного озорства. «Непримиримые» — это уязвленный, ущемленный и злой архимандрит Сергий; или еще Феофан (впоследствии он ввел Распутина в Царскую семью, но раскаялся и за раскаянье был выслан). На Собраниях часто можно было заметить его черную голову с гладкими, точно приклеенными волосами. Не говорил он ни разу. И пошедших к «светскому» обществу, особенно молодых профессоров, своих однокашников, осуждал.

Мы бывали в Лавре и у епископа Сергия, и у митрополита. Всегда только нашей группой, т. е. «интеллигентской»: никто из «зависимых» не приглашался. У Сергия, в пустой зале, с архиерейскими по стенам портретами, до льдистости сверкал паркет; в столовой, где тоненькие послушники подавали чай с вареньем, мы мирно обсуждали какой-нибудь проект доклада для Собраний. В Сергии было тихое, безвольное благолепие. Он, что называется, «не простирался вперед...».

В митрополичьих покоях — пышность и торжественность. Туда нам не сопутствовал не только никто из наших друзей-церковников, но даже из белого духовенства никого не было. Полукругом, около блистающего бриллиантовым крестом клобука митрополита, высились клобуки черные. Когда медленным и красивым жестом Антоний белый клобук снимал (перед чтением), — тотчас снимались, взлетая крыльями, и черные. Чай разносили не послушники, а ливрейные лакеи. Розанов мне на ухо шептал: «А варенье-то засахаренное... у Сергия лучше».

Там читал Мережковский (перед чтением в Собрании) свой реферат «Гоголь и о. Матфей». Очень резкий и даже «дерзновенный» реферат.

Но с каким благосклонным терпением его выслушали. И столь же тихие, благолепные были потом разговоры. Все возражали, и даже не стесненно; только без малейшей горячности, и вообразить какую-нибудь горячность здесь было невозможно.

На Розанова эта атмосфера подействовала одеревеняюще. Выходя, он опять зашептал: «Да что они говорили? Ничего не помню...».

Духовному лицу, чтобы прочесть на Собрании доклад, надо было раньше представить его митрополиту. Но никто не дерзал. Сунулся было раз священник Альбов — запретили. И, собственно, **докладов** с церковной стороны у нас не было, — только ответы. «Как бы» ответы, конечно, ибо духовенство говорило много, пространно, иногда совсем не на тему. Не могу дать списка священников-участников — слишком он длинен. Скажу лишь, что группа «32», известная своей деятельностью во время революции 1905 г., почти вся состояла из лиц, принимавших в Собраниях близкое участие.

Некоторые живы и теперь. Судьба их разнообразна...

Об Антонине, тогда архимандрите, мне уже приходилось писать. Мы его хорошо знали, так как он всей своей честолюбиво-тщеславной стороной прилепился к Собраниям и к «светской» среде. Захаживал к нам нередко. Сдружился с секретарем Собраний Егоровым (впоследствии и секретарем «Нового Пути»). Рекомендуя Егорова, Тернавцев весело хохотал: «Лучше и не выдумать секретаря. Ловкий пес! Удивительный! Шестидесятник; ни в Бога, ни в черта не верует!». Какой он там был «шестидесятник» — трудно сказать, но уменье его обращаться с «попами» и дружба с Антонином, тогдашним духовным цензором, были, действительно, полезны. Дружба закадычная; вместе ходили по трактирам, а запрут лаврские ворота, — Антонин к Егорову ночевать.

Между приятелями было что-то общее. Грубоватость какая-то диковатость. А, может быть, и то, что Антонин тоже «ни в Бога, ни в черта» особенно не веровал. Бурный казак-гигант, бешено честолюбивый и самоуверенный, он не без цинизма это и высказывал своеобразными намеками. В Собраниях он был другим. Во всеоружии своей «учености», — но всегда очень резок. И тут выступала его, может быть, главная и страшная черта: неутолимая жестокость. В ней даже чувствовалось что-то ненормальное, сумасшедшее. Особенно сказалось это в заседаниях «О свободе совести». Даже епископ Иннокентий, тоже не сладкий владыка, с пугающей, совершенно львиной наружностью, говорил тогда о свободе мягче.

Этот доклад С. Волконского («Свобода совести»), написанный по реальному поводу (притеснения сектантов, речь Михаила Стаховича на Орловском съезде), послужил лишь новым толчком для развития и

углубления все той же темы: о церкви, самодержавии, о силе и насилии. Третий вечер был прямо «О силе и насилии в христианстве». А так как все это захватывало самую живую и близкую для духовенства реальную жизнь, то можно себе представить, как остры были прения. На нашей стороне разногласий, конечно, не было. Из священников лишь два были за свободу, т. е. два высказались, а были, конечно, другие, нам известные, молодые, которые не могли не стоять за свободу веры (совести), только они молчали. Выступившие смело – это Черкасский и прот. Устинский (самый замечательный священник и человек, о котором следовало бы написать особо. Он был не петербургский). Кроме этих двух, говорили человек 6–7 (имен я не пишу). Они называли «требование отмены уголовного наказания за отпадения от православия – антицерковным». Вселенская церковь – это русская церковь. «Мы благословляем государственную власть в России, которая, начиная с помазанника Божия... и кончая слугами его, всеми этими губернаторами, исправниками, становыми и урядниками, идет на помощь Ц., пока она, наконец, не оправится» (!). А прот. С. еще прямее: «...на протяжении всей истории только Государственная власть сдерживала совершение величайшего беззакония – разрушение Церкви...».

Я выписываю эти слова не из отчетов, а из «Мисс. Обозрения», которое, не медля, речи данных ораторов напечатало. Произнесены они были гораздо мягче, осторожнее. Иереи данного типа уже начали понимать, что Собраниям для подобных проповедей не место, что сочувствия аудитории они не вызовут, а только, Бог весть, какие еще ответы со стороны светской. Загоняли же Василия Михайловича (Скворцова), а публика поддержала.

Наша сторона, к этому времени, не то, что окрепла, но приобрела некоторый навык в обращении к новой среде, а также научилась иначе трактовать вопросы. Публика, состоявшая теперь большею частью из молодежи (академические студенты туда прямо рвались), неизменно сочувствовала стороне «интеллигенции». Кстати сказать: эта сторона все реже звала себя «интеллигенцией». Ведь из учредителей разве один только Миролюбов не считался «отщепенцем» (хотя и неизвестно почему). Кроме того, сами вопросы очень расширились; и теперь чаще говорилось, вместо «интеллигенция и церковь», – «культурное общество и церковь».

Этим представителям культурного общества аудитория (т. е. не говорящие члены) и сочувствовала; не аплодисментами, – Боже сохрани, их не водилось, – однако выражено было сочувствие очень ясно; в отчетах это лишь мало передающие отметки: «голос», «голоса», «все говорят», «шум».

Так как учредители Собраний, или вообще ядро их, или (для удобства говоря), «мы», – почти все были писатели, то следует сказать два

слова о «литературной» среде этого периода. Ее, в точном смысле, не было. Уже к концу века исчезли, вместе с большими писателями старой формации, и старые литературные кружки. Новое же литературное поколение, декадентство, быстро вылившееся в символизм (всяких оттенков), – своей обособленной, чисто литературной среды не имело. Мы не переставали заниматься литературой, занимаясь Собраниями. Но и вся новая литература в Петербурге имела тогда к Собраниям касательство, более близкое – или менее. «Северного Вестника» уже не было: он погиб на заре символизма. Но был другой журнал, нового типа – культурно эстетический «Мир Искусства», – отнюдь не отделенный ни от символизма и символистов, ни, далее, от розановских «воскресений», – ни от Собраний. Тесный кружок – ядро журнала – посещал Собрания в полном своем составе. Некоторые лица бывали и на частных наших совещаниях.

Молодежь, едва вступавшая тогда в литературу, сразу попадала в общий круг эстето-символизма, внутри которого находились и Собрания. А если, бывало, писатель или поэт из пожилых, но неустроенных, соблазнялся «новыми веяниями», он, усиленно переделывая себя под символиста, – к Собраниям прямо прилипал. Издавна «устроенные» оставались, конечно, на старых местах. Но и они порою заглядывали в Собрания: из любопытства.

Словом, писательскую петербургскую среду того времени, поскольку она была, нельзя назвать средой **чисто** литературной. Не та атмосфера.

Мережковский тогда печатал в «Мире Искусства» свою работу о Гоголе. Отрывок из нее, «Гоголь и о. Матфей», послужил докладом* на предпоследнем вечере Собраний. Прения заняли и второй вечер, которым заседания этой зимы оканчивались.

Все тот же тернавцевский вопрос – о безземности церковно-исторического христианства. Включает ли в себя христианство, как оно понимается церковью, культуру? Свободу? Общественность? Или, напротив, отметает оно все эти человеческие ценности вместе со всей плотью мира?

Прения были опять так живы, что постоянно превращались в диалог или беседу, – без всякого, впрочем, беспорядка. Несколько лиц, забыв о длинных речах, обменивались короткими репликами. На реплики мастер был Розанов. Он и вообще речей произносить не умел. Выступал или с «запиской», которую сам даже не прочитывал, или с краткими, в несколько слов, острыми ответами.

* В «Мире Искусства» был в нему приложен рисунок Репина «Гоголь и о. Матфей».

Ничего, конечно, не решилось и на последнем заседании. Но решений никто и не ожидал. «Важно, что вопросность вопросов у нас здесь обострилась...» — сказал кто-то в конце. Так или иначе, но у нас от этой зимы осталось впечатление, что Собрания — нужны. Кажется, и на противоположной стороне, — церковной, — многие думали то же самое.

Но медовые месяцы Собраний кончились. Зима 1902—1903 гг. (до весеннего запрещения) — уже другая эпоха. Поле борьбы расширилось. У нас явился «Новый Путь», который, с одной стороны, дал возможность пробовать свои силы молодым нашим друзьям-церковникам, высказываться по вопросам Собраний (о, в глубочайшей тайне!). С другой — он открыл двери молодым, едва начинающим писателям и поэтам. Их было много, очень много. Всех почти, о ком осталась память, зовут теперь, все-таки, «символистами» (как ни разнообразна их дальнейшая судьба). В «Новом Пути» начинали А. Блок — и Флоренский*, Андрей Белый — и Леонид Семенов**, поэт Пяст, Лундберг, Сергеев-Ценский и другие. Писали там, под строжайшими псевдонимами, и молодые доценты — Карташев, братья Успенские... те, что год назад еще ничего не знали о Достоевском и, ей-Богу, мало отличали стихи от прозы.

Но и в церковном мире приготовились усилить оборону: к сентябрю 1902 г. был вызван из Казани ректор тамошней Академии, арх. Михаил. Это была не очень счастливая мысль. Как яро начал он в Собраниях борьбу против интеллигенции, я расскажу в очерке следующей зимы. Но, может быть, еще не все забыли, что результатом явилось его страстное обличение Православия, в списках ходившее по рукам под заглавием: «Я обвиняю...».

Он перешел в старообрядчество; долго скрывался в Финляндии. Потом был убит в Москве.

Но все это вдолге...

Закончу очерк первой зимы выдержкой из записанного мною тогда же, в 1902 г. (листки случайно сохранившиеся). В них дается как бы резюме опыта первой зимы. Несмотря на некоторую наивность и поспешность выводов, фактически записки эти верны и не лишены историзма.

«...Мы узнали много новых людей. Узнавали все больше, из кого состоит православная (учащая) Церковь, которая, казалось нам, нуж-

* Тогда студент-математик, впоследствии известнейший священник, автор книги «Столп и утверждение Истины».

** Поэт, затем революционер, кончивший «опрощением», по Ал. Добролюбову, и убитый большевиками.

дается в движении, в расширении, в раскрытии того, что отвечало бы современной душе.

Вот из кого ныне состоит Православная Церковь: из верующих слепо, по-древнему, по-детскому (святость Иоанна Кронштадтского). Им наши вопросы, наша жизнь – не понятны, не нужны и кажутся проклятыми. Затем: из равнодушных иерархов-чиновников. Из тихих, неподвижных полубуддистов: еп. Сергий. Из диких, злых аскетов мысли. Из форменных позитивистов (вот это самое удивляющее, на что мы натолкнулись здесь: позитивизм!). Позитивисты разные: бессознательные позитивисты-нравственники честолюбивы и жестки. Блестящий схоласт Антонин не верит даже в историческое бытие Христа.

Профессора Академии почти сплошь позитивисты. Есть карьеристы, а есть и с молодыми студенческими душами; но и они еще мало понимают, ибо глубоко, по воспитанию, некультурны. К-в: странный, юный культурностью, полуживой человек; задерганный воспитанием, полупонимающий, тянущийся к культуре и – до конца **не верующий.**

Так вот из кого ныне состоит учащая Церковь. Говорю, зная, имея опыт. Отстранив всех, лишь внешне в ней находящихся, получим одного о. Иоанна и кто с ним (первичная святость, подлинная). Народ? Не верю я в «православный» народ. Он спит, а чуть кто просыпается, думать начинает, – тотчас идет куда-то, сам не разобравшись (плотники в Семенове, "согласия" "немоляев" и "ищущих" за Волгой). Наверно, есть «во глубине России», в народе, схимники, подвижники... но ведь их святость – далекой ниточкой связана со святостью все того же о. Иоанна Кронштадтского.

Увы, увы! А что же нам-то делать? Отсечь эту жажду разуменной веры, мысли о **всем** человеке, о **всем** мире и всех людях, "землю наполняющих"?

Прав Тернавцев: тут дело почти не в людях церкви. Тут только удар какой-то новый разбудит, все переменит, новое понятие откроет...».

ПЕРЕД ЗАПРЕЩЕНИЕМ

(Зима 1902–1903 гг. СПБ-ских Религиозно-Философских Собраний)

I

Уже к концу первой зимы Религ.-Философских Собраний можно было заметить, что высшее духовное начальство ими недовольно. Ни митрополит, ни епископы, ни, тем менее, белое духовенство: высшим начальством было «Духовное Ведомство».

Победоносцев, давая свое полуразрешение, рассчитывал, вероятно, на кое-какую от них «пользу». Толстой, его проповедь, его «отлучение» – все это в то время «волновало умы». Если в известном слое общества заговорили о религии, о церкви, выразили желание войти в связь с ее представителями, то не является ли данная группа, в какой-то мере, группой союзников?

Если подобные соображения, хоть отчасти, и побудили обер-прокурора дозволить Собрания, то после докладов об «отлучении», о «свободе совести» и неожиданных прений «Ведомство» успело о разрешении пожалеть; но пока выжидало. Самая «закрытость» Собраний, при их многолюдстве, оказывалась неудобной: о них все говорили, всякий по-своему, и Бог весть, что из этих передач происходило.

Не знаю, кому принадлежала мысль вызвать, – для подкрепления церковной стороны, – казанского иеромонаха Михаила. Иер. Михаил слыл «ученым богословом» и богословом особого рода: не духовного происхождения (он, по рождению, был еврей), не из духовной школы вышедший, – имел он, как думали, помимо богословской, и «светскую» образованность: знакомство с современной литературой, поэзией и т. д. На него, известного притом своей благонадежностью, и пал выбор. Собрания, осенью 1902 года, прямо начались с его доклада.

Но гораздо раньше, к концу лета того же 1902 года, у нас явилась надежда иметь свой журнал, т. е. возможность печатать отчеты заседаний (все они, начиная с первого, были застенографированы).

В августе приехал к нам на дачу П. П. Перцов, вместе с некиим Пирожковым, и совершенно неожиданно объявил, что журнал будет, и дело уже на мази. (Оно и действительно оказалось на мази: первая книжка «Нового Пути», помеченная январем 1903 года, вышла в ноябре 1902.)

Перцов рекомендовал нам Пирожкова – маленького, черноватенького математика, с веселыми глазами и манерами, – как человека грандиозных издательских планов. Пирожков имел намерение издавать книги всех лучших новых писателей.

Не очень верилось, что журнал разрешат; еще менее, что позволят печатать отчеты. Лишь когда оба разрешения были получены, мы сообразили: опять, вероятно, то же; опять рассчитывает начальство получить от нас кое-какую «пользу» в смысле «успокоения умов». Журнал – религиозный; в программной статье – отречение от позитивизма; следовательно, по упрощенным, привычным понятиям тогдашней власти, отречение и от «либерализма». А кроме того, журнал будет находиться, весь целиком, под двойной цензурой (светской и духовной), даже под тройной, – так как для последнего, третьего, просмотра, был назначен арх. Антонин.

«Итак, Собрания наши теперь вновь открыты...» — начинает свое слово председатель, еп. Сергий.

Та же зала, та же фигура Будды в углу, под черным коленкором. Народу полным-полно. За длиннейшим зеленым столом — участники почти в том же составе. Только белого духовенства еще больше. Да чувствуется, что у стороны «светской» есть, в стороне духовной, и новые друзья, и новые враги...

Рядом с еп. Сергием сидит докладчик, казанский иеромонах Михаил. Он маленький черный, но уже начинающий лысеть, с порывистыми движениями и необыкновенно блестящими черными глазами.

Доклад его — «О браке».

Каким образом явилась эта тема у иер. Михаила для первого его выступления — догадаться нетрудно. Он был наслышан, конечно, что писатель Розанов, специально занимающийся «брачным вопросом», — самый строптивый из членов Собраний. Обвиняет «монашествующих» и самую церковь, что приверженность к аскетизму заставила их «косо смотреть» на брак и на семью... Иер. Михаилу, должно быть, и подумалось, что надо начать прямо с розановской темы, показав, кстати, петербургским писателям свою литературную начитанность.

Нашей группе заглавие доклада, с которым выступил приезжий монах, было безразлично. Никто не сомневался, что тема, как будто лишь розановская, узкая, немедленно расширится до коренных тем Собраний: до вопроса, как приемлется, — и приемлется ли, — церковным христианством жизнь и плоть мира.

Доклад начался, как предполагалось, с Толстого. И, как мы ожидали, с «Крейцеровой сонаты», взятой в виде примера толстовских «заблуждений». Отталкиваясь от них, иер. Михаил пытался обрисовать положительное отношение церкви к браку.

Из первых же возражений выяснилось, по каким линиям пойдут дальнейшие прения.

Почему, спрашивал Мережковский, о. Михаил сказал, что будет говорить о браке, а о «девстве» (аскетизме) говорить не будет? Можно ли, указывая на положительное отношение церкви к браку, не касаться вопроса, каково ее отношение к девству? Не выше ли для нее идеал девства, т. е. отречения, отрешения, удаления?.. Историческая христианская церковь создала себе высший идеал — девства, отречения от мира, а потому, по словам Розанова, и не может принимать брак иначе, как словесно, номинально... «Вы одинаково приводите, в виде ваших доказательств, мнения: Шарапова, Мирянина, Вербицкой, Розанова, Марселя Прево... У вас это как бы равнозначащие ценности. Между тем, имея такого могучего противника, как Розанов, вам следовало бы сосредоточиться на нем одном...».

Иер. Михаил, немного растерявшийся от возражений, от непривычной атмосферы Собраний и от того разговорного стиля, в котором прения велись, сначала подавал реплики, потом замолк. Но раздражен, видимо, был очень.

Вопрос решительно повернулся в сторону неравноценности, для церкви, «брака» и «девства». Затем, как водится, стал еще расширяться.

Заседания «о браке» выяснили, что на борьбу с Собраниями и с духом их выступила новая сила. Она была не в иер. Михаиле, человеке новом, слишком порывистом, слишком самоуверенном и беспомощном. Тихо-разрушительная сила эта шла от людей, в первую зиму почти молчавших; теперь они стали выступать все настойчивее и средостением каким-то подымались между светской группой и представителями церкви.

Я говорю об «ученых богословах» (без ряс).

Странное впечатление они производили. Казалось, такими точно, со всем их богословским багажом, они родились и такими же пребудут до конца веков. Непонимание, порою «неслышание» черного духовенства, протесты священников из «припадающих» (крайне правых), все это было не похоже, или не совсем похоже на непонимание и протесты богословов. В них все это присутствовало, но, по выражению Розанова, «ноуменально». В большинстве они были связаны с «Ведомством»: но и те, которые официального положения не имели, от первых не отличались: так же к Ведомству подходили, будто для Высшего Духовного Управления специально были устроены, и оно — для них.

Эту, в некотором смысле «особую породу» людей, веками вырабатывала даже не русская православная церковь, а русская духовная школа, вся русская духовная «наука», издавна плотно и слепо сцепленная с русским самодержавным государством. Среди них бывали, говорят, люди замечательные, как, например, из недавних, Болотов. Но в годы Собраний таких не было; по крайней мере, мы о них не слышали.

Возможно, что люди этого типа искренни и даже бескорыстны. Искренно ненавидели они Собрания: самый факт, их относительную свободу, их горячую атмосферу. А светских писателей, осмеливающихся рассуждать о христианстве, о церкви, о христианнейшем российском государстве, они, с таким же искренним негодованием, — презирали. Горячность белого духовенства казалась им подозрительной; снисходительность черного — неприятной; а попустительство Ведомства — необъяснимым.

Второе, кажется, заседание («О браке»), один из них, Х., буквально окостенил. Ему удалось, на этот вечер, изменить самую атмосферу залы.

В отличие от бледного и худого Лепорского (другого богослова), с какой-то даже восковатостью в лице, — Х. был приземист, довольно полон, рыжебород и румян. В нем тоже, в отличие от Лепорского, еще сохранились какие-то искры жизни, проявлявшиеся, впрочем, в виде злобных личных выпадов, полемики такого сорта, какой в Собраниях не водилось.

Труднее всего передать тон его доклада; а тон был так же важен, как слова. Тон человека, пренебрежительно не желающего считаться со всем, что тут происходило и происходит. Даже, мол, язык этих светских говорунов непонятен. Непонятно, зачем ставится и самый вопрос: он не нужен, не важен. Если для кого-нибудь есть в нем неясное, то лишь для не обладающих Истиной, для не признающих божественности Церкви. Христианину нужен другой вопрос: о **спасении**, об отношении к сквернам души своей и ко крестному пути, указанному Господом...

Все это было пересыпано текстами и обвинениями светских писателей, преимущественно Розанова, для которого был приведен текст из ап. Павла: есть «враги креста»: «их конец погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме: они мыслят о земном».

Когда речь была окончена, возражать никому не хотелось. Мережковский заметил только, что «с христианской точки зрения не следовало бы обвинять всех так кровожадно...».

Речь Х-а весьма повлияла на священников: точно пресеклась их живость; заговорили длинно, монотонно... Кто-то зачитал правила Гангрского собора, 21 правило; только и слышалось: «аще»... «аще»... «аще»... И лишь очередная «записка» Розанова вернула Собрания к жизни.

В конце предпоследнего заседания сказал свое слово и наш главный председатель, еп. Сергий, — по вопросу «брака» и «девства» (к этому опять вернулись). Всего несколько слов, которыми закончил: «...и слушая эти разговоры (что брак свят и не ниже девства), у меня такое впечатление, будто искусный математик доказывает, что 2 × 2 = 5... Мы настолько привыкли к христианству, настолько знакомы с ним, что открытие такой Америки представляется неожиданным...». «Конечно, девство выше...»

Если пятым заседанием (16-м) «Брак» закончился, то вовсе не потому, что было что-то выяснено, нашлось у кого-нибудь общее понимание. Напротив, выяснились бездонные разногласия. Главное же

выяснилось, что рядом стоят вопросы, или, вернее, один вопрос, самый важный, не коснувшись которого, мы дальше не пойдем. Лишь внутри него решаются все тысячи других.

В самом деле: можно ли уяснить себе, как относится церковное христианство к миру, ко всем явлениям человеческой жизни, личной и общественной, — находящейся **в постоянном движении**, — и не напрасно ли спрашивать об этом представителей церкви, не спросив их раньше: да признают ли они, что христианская церковь, поскольку и она находится в земной истории человечества, должна **двигаться** тоже? Или же церковь, в какой-то момент, дошла до предела раскрытия христианского учения, за которым оно уже становится «непостижимым» для человечества, так что дальнейший путь церкви уже кончен? И миру остается лишь принять истину в ее «непостижимости» — и спастись, или не принять — и погибнуть?

Если б какая-нибудь из исторических христианских церквей ответила: «да, это так», — ответ ее означал бы: христианство **как путь** кончено. Христианство не есть тайна, непрерывно, в меру вырастания человеческой души, раскрывающаяся. Христианству в истории, во времени, положен предел.

Неразумно, конечно, было думать, что могла какая-либо церковь так прямо ответить на вопрос, который она, быть может, себе не задавала; а если и задавала, то иначе формулировала. Но и среди участников Собраний никто еще не знал, как его формулировать, хотя именно к нему, все ближе и ближе, подводило каждое заседание.

На все частные подходы, по конкретным случаям, ответ представителями церкви давался. С одним наклоном всегда, но недостаточно, все-таки, определенным. А разноголосица последних заседаний, неожиданное и неудержимое раздвоение, растроение тем, привели даже к тому, что вдруг, вместо «брака», выплыл вопрос: духовенство — Церковь ли? В данных государственных условиях, может ли голос духовенства, который один только слышим, считаться голосом Церкви?

«...Необходим церковный собор, взаимодействие духовенства, мирян, народа... Пока будет лишь Религиозно-Философское Собрание и будет оно отдаваться одним рассуждениям, мы ни до чего не договоримся. Только тогда все выяснится, когда начнется великое действие — собор...».

...Как поставить вопрос, самый главный, к которому мы подошли вплотную? Какую найти форму? Доклад? Нет, не надо доклада. Прямее. Тернавцев предложил выработать краткие тезисы «О догмате».

Но раньше надо сказать, что происходило за стенами Собраний.

II

О прежнем благодушном настроении в церковной среде говорить, конечно, уже не приходилось. Но со стороны высшей иерархии перемена выразилась лишь в некоторой настороженности и отдалении. Другое дело «Ведомство»: там, по всем видимостям, собиралась гроза. Множество защитников Собраний стали теперь их врагами. Иер. Михаил, с такой уверенностью явившийся, чтобы привести «интеллигенцию» к порядку, но почувствовавший, что у него «не вышло», — тоже вступил в борьбу с Собраниями вне стен Георг. залы. На лекциях своих (публичных) в Соляном городке разносил «светских» участников, назвав даже некоторые их речи «дрянной проповедью».

Во всех этих переменах большую роль сыграло и появление «Нового Пути» с прилагавшимися к нему стенографическими отчетами.

Надежды высшего начальства умерить волнения и толки, разрешив журналу «религиозному» (т. е. не «либеральному») печатать отчеты, не оправдались. Несмотря на тройную цензуру, ни журнал, ни отчеты, никак не могли принять достаточно благонамеренного вида.

Просматривали мы отчеты обыкновенно с Тернавцевым. Сухость стенограммы приводила нас в отчаяние: недавнее заседание, с его настроением, с возбужденными репликами из публики, было еще свежо в памяти. Тернавцева тоже увлекала мысль превратить, по возможности, казенную запись в образную картину. Ничего не выдумывая, мы лишь старались припомнить опущенные мелочи: перерывы, шум, голоса из публики... Цензура не могла бороться с этими невинными примечаниями; с выступлениями церковной стороны — тоже: ораторы сами заранее исправляли свои речи (никогда ничего не смягчая). Речей светской стороны и мы не смягчали, но, где нужно, очень затемняли.

Все это, с листами очередного номера, шло сначала к светскому цензору, а затем везлось секретарем Егоровым (он же секретарь Собраний) в Лавру. Цензура светская мало вычеркивала в «религиозном» отделе журнала: полагалась на духовную. А духовная... недаром издавна дружил Егоров с Антонином. И недаром тщеславный Антонин был упоен Собраниями, т. е. своими на них речами. Ему хотелось, чтобы Собрания были представлены с наибольшей яркостью: на сухих и вялых теряли окраску и его выступления. Поэтому вычеркивал он больше из светской части журнала (стихи Сологуба, например); иной раз в речах белого духовенства даже нарочно оставлял «подозрительное»; а к отчетам — только прибавлял, прибавлял... разные «примечания цензора».

Таким образом, обнародование Собраний не успокоило «умов»: они разволновались пуще; мало того, — это волнение (и негодование)

стало выражаться теперь публично. Вместо шепотков явились печатные листы и страницы, полные... чего? С одной стороны (либеральной) – издевательств над Собраниями, а с другой – похуже: самых форменных доносов.

Этого было не миновать, конечно. Благоприятная же, для врагов наших, случайность ускорила все дело.

Впрочем, случайность ли? Уж очень было похоже, что кто-то сообразительный и хорошо знающий о. Иоанна Кронштадтского, пошептал ему в ухо о «Новом Пути» и о Собраниях то, что нужно и **как** было нужно.

С великой поспешностью и торжеством напечатало «Мисс. Об.» «назидание верующим», проповедь о. Иоанна после литургии: «...Умники неумные, вроде Толстого и его последователей, сбившись с истинного пути, находят путь заблуждения, отвержения Христа, Церкви, таинств, руководства священнослужителей, и даже выдумали журнал "Новый Путь"...». «Это сатана открывает эти новые пути, и люди, бессмысленные буи, не понимающие, что говорят, губят себя и народ, так как сатанинские мысли свои распространяют. Крепко, остро уши держите, знайте Единый Путь... Никакие Толстые и их последователи не покажут нам другого, а сами лишь постыдятся и как дым исчезнут. Аминь». Слово, которого не хватало авторам длиннейших обличительных статей в «Моск. Вед.», «Русск. Вестн.» и т. д., было найдено. До сих пор взывали к «пресечению», говоря вообще, что Собрания «потрясают алтари и троны». Но вот произнесено слово **«сатанизм»**, да еще такими авторитетными устами! Меньшиков подхватил его раньше всех: тотчас выступил с разъяснением, что «сатанизм» очень моден на Западе, где «среди писателей служатся черные мессы... и, в формах омерзительнейшего разврата, приносятся жертвы Сатане...». Напомнив, что интеллигенты Собраний суть писатели-«декаденты», Меньшиков заключает: «Если декадентство есть падение, или отпадение, то первый Падший натурально становится их вождем и богом... "Новый Путь", по-видимому, придерживается того же взгляда».

«Новый Путь» боролся, как мог. Но что он мог, когда, позволяя перепечатывать клеветы и нападки, ему, обычно, запрещали всякие комментарии? К проповеди о. Иоанна не дали добавить даже самого почтительного указания, что «Новый Путь» редактируется не «последователями Толстого», а в Собраниях никто не «отрицает ни Христа, ни Церковь...».

В это же время приходилось отражать нападки и тогдашней «либеральной» печати. Она занималась нами не менее пристально, нежели первая. Как-то в один и тот же день с нововременской появилась в «Новостях» статья, негодующая против этих «подлинных упадочни-

ков, представителей того старческого маразма, который зовется мистицизмом...». Только один либеральный журнал отозвался о Собраниях с достойной и сдержанной серьезностью — «Вестник Европы».

Главная же наша тревога — была надвигающаяся гроза справа. Конечно, Собрания запретят, но когда? Иные надеялись, что, может быть, еще год... а в год мало ли что может случиться?

Тезисы, предложенные 17-му Собранию, были кратки: 1) Можно ли считать догматическое учение Церкви законченным? 2) Осуществлены ли в действительности европейского человечества (в государстве, в обществе, семье, культуре, искусстве, науке) откровения, заключенные в христианстве? и 3) Если дальнейшее религиозное творчество в христианстве возможно и необходимо, то каковы реальные пути к нему в согласованности со св. Писанием и Преданием Церкви, канонами вселенских соборов и учениями св. отцов?

Как ни определены были эти тезисы в их сжатой и точной формулировке, осторожный В. Успенский, руководитель прений, еще сопроводил их добавочными положениями и просьбой не уклоняться в споры о словах.

Но все оказалось напрасным. С первых фраз длинной речи проф. богословия Лепорского, начавшего прения, даже с первых звуков его голоса, большинство собравшихся пришло в недоумение: что он, не слышал? Или не слушал? Или что?..

«...Ставится вопрос, — начал Лепорский, — может ли христианское вероучение быть дополнено **новыми** догматами. При такой постановке вопроса для богослова не может быть выбора: он может дать исключительно отрицательный ответ: никакое количественное приумножение догматов, раз данных откровений, невозможно...».

Председатель не воспользовался своим правом остановить Лепорского указанием, что «постановки вопроса», о которой он говорит, — вовсе нет, что заниматься ответом богослова насчет «новых» догматов, «количественного их приумножения», — бесполезно, ибо никто никого о том не спрашивает. Председатель предпочел дать оратору волю продолжать; но продолжать слушать дальнейшее — уже не было особой нужды.

Кое-чего, к концу, Лепорский достиг: отяжеление атмосферы, которого достигали речами и другие богословы — Х., Рункевич, Белявский... На этот раз, впрочем, надолго придавить живость Собраний не удалось.

«Мы услышали то, что можно было предвидеть... — сказал Мережковский и продолжал: — Вы утверждаете непостижимость "догмата", т. е. несоизмеримость его с человеческим существом, разумом, волей.

И в таком виде предлагаете его. Это значит предлагать кандалы. Если догмат не далекий горизонт, к которому мы должны двигаться со всей свободой ума и воли, если он то, что вы говорите, – нам остается или разойтись, или покориться неподвижности догмата, с которым ровно **нечего делать** ни в государстве, ни в семье, ни в культуре, ни в искусстве...». «На наш запрос, – закончил Мережковский, – нам ответили ударом обуха...».

Острота тезисов, хотя и скрытая, сказалась. Атмосфера в первых заседаниях была столь напряжена, что говорившие точно «не успевали» произносить длинных речей. Помнится, вечера эти почти сплошь прошли в кратких репликах. Кратко отвечал даже Лепорский. Еп. Сергий вступился: «Мы не понимаем друг друга. Догматом мы называем, например, то, что Христос пришел и спас нас. Тут нечего прибавлять. Какие тут кандалы?».

Взаимное непонимание, действительно, никогда еще не обнаруживалось так явно. Вся «светская» сторона твердила о «движении», «о развитии», о возможных точках касания религии к реальностям жизни... Ей отвечали то вопросом: «Что такое движение?», то предоставлением свободы... «богословствовать»...

Некоторая тишина, – тишина внимания, – наступила, когда заговорил Тернавцев.

Спокойно и резко отъединив себя от Лепорского, Тернавцев поясняет, что такое догмат. «Догматов у церкви два: истина Троицы и истина Богочеловечества Спасителя. Но в факте спасения, кроме этих двух тайн, – о Боге и Христе, – заключается еще третья тайна, деятельностью Вселенских Соборов не раскрытая, тайна о человеке и человечестве...». «Неужели вы думаете, что в христианстве не раскрыто, что такое человек?» – перебивает еп. Сергий. Тернавцев ответил лишь кратко: «Да» и продолжал свою мысль.

Он сослался на авторитет Болотова: «Другие же богословы додумывались разве что до "неразъясненности" некоторых вопросов учения, например, о свободе и власти, о церкви и государстве... Мережковский только что сказал, что с догматами, хранимыми церковью, решительно нечего делать ни в государстве, ни в художественном творчестве, ни в борьбе за устройство благой общественной жизни. Да, с ними можно отрекаться от всего этого, но не **созидать**...

...В то время, как христианство трагически разделено на враждующие исповедания и стоит в противоречии с государством и культурой, нам говорят, что в учении церкви все завершено. Это несчастнейшая ошибка нашего схоластического школьного богословствования...

...Происходит это также в силу отрицательной концепции жизни. Но отрицательной концепции наступил конец в XVI веке, на Западе.

Христианский мир находился в смятении. На одном из незначительных сеймов в Вормсе появился Лютер и сказал: "Я ни в папу, ни в соборы не верю". Лютер почувствовал сам, что произошло что-то важное, и собрание ощутило то же. Весь небосклон религиозного сознания как бы лопнул над головой присутствующих. В совесть средневековых людей что-то такое хлынуло, от чего зашатался Рим, иерархия, догматичность учения... В чем же дело? В чем заключалась сила нападения? В вере во Христа при отрицании церкви как **священнического авторитета**. Протестантство таким образом, по моему мнению, не ересь, не секта...

...И церкви не было дано ответить протестантству. Она перестала после этого чувствовать себя госпожой мира. Это сказалось в борьбе церкви с веком культуры, несущей положительную концепцию жизни, но – уже не религиозную.

...Понимание церкви как священнического авторитета проистекает из неверно понятой евангельской эсхатологии. Земля есть место приготовления, но не только к небу, а и к **новой, праведной земле**...

...Христианству предлежит великая религиозно-творческая задача. Нельзя скрывать ее трудности и опасности. Но большее зло, большая опасность – в умолчании и бездействии...».

Через минуту после речи Тернавцева Собрание представляло прежнюю картину: опять едва сдерживаемое волнение людей, спешащих и не успевающих высказаться. Светская сторона тотчас присоединилась к Тернавцеву, церковники же и богословы, вместе с двумя–тремя священниками (Темномеров, Аквилонов), оставив без внимания Тернавцева, лишь глухо им раздраженные, обратили раздражение на светских противников.

Озлобленные, они мало-помалу перестали стесняться. Белявский, добившись «слова», построил свою речь, – довольно странно: прямо вот об этой «светской» стороне: Мережковского назвал «сыном века сего», в «толстой книге» которого отрицается нравственность. Там, мол, сказано, что мы не рабы, мы свободны. Если все позволено, то, конечно, в основе речей этого писателя лежит «разрушение церкви».

На такие выпады уже и отвечать было нельзя. Маленькие же, злостненькие выпады Скворцова направлялись больше против людей «светских» из безобидных, почти безгласных...

III

Между вторым заседанием и третьим (19-м) – лежит очередная «записка Розанова». Чтобы понятно было, почему эта «Записка» так отразилась на ходе заседания, надо сказать несколько слов о роли и позиции Розанова в Собраниях.

Напомню: это был гениальный и глубочайший писатель-своевольник, редкостный цветок, русскою землею взрощенный. Была в цветке этом и отрава (даже для него самого, человека, в сущности, несчастнейшего, хотя и не всегда о том знавшего). Но была и такая пленительность, что ей поддавались, хотя бы на время, хотя бы отчасти, люди самые разнообразные, чуждые и друг другу, и Розанову, со всеми его глубинами и со всеми соблазнами. На церковников он порою наводил какую-то мару, тем более беспомощную, что «литературных» красот они не понимали и не ценили, и шла она, очевидно, не от слов *.

Церковники собраний, особенно узкоумные и жесткие рационалисты-богословы, очнувшись от мары, с истинным озлоблением накидывались на Розанова.

Трудность же положения «светской стороны» в Собраниях была вот в чем: Розанов совпадал, — но не всегда и не во всем, — с линией Собраний. С некоторых сторон он был громадной ей поддержкой и помощью; с других — он ее искривлял и как бы разрушал. И когда в Собраниях церковники нападали на Розанова огулом, одинаково и на правду его и неправду, тут-то и приходилось трудно: надо было Розанова защищать, но в то же время, защищая «линию», — отъединяться от него.

Ни в одной, кажется, из розановских «Записок», как в этой, — о догмате, — не было такого тесного переплетения двух разных нитей, точно стеблей двух разных растений. Один Розанов умел это делать так, что переплетение становилось незаметным, и принимались, вместе с действительно верными положениями, и его, розановские, изгибы.

Он говорил о христианстве — нежном и пленительном, как «полевая лилия». И о том, что сделали из него в веках «взявшие ключи разумения...». Христианство перестали любить, оно перестало быть «умилительным» с «догматом». «Бог есть милое из милого, и вот, как начали догматики "строить", Христос невидимо заплакал и отошел от строящих...»

Мара на церковников была наведена в такой степени, что Рункевич, один из деревяннейших богословов, сказал: «Хотя и рискованно выступать после такого блестящего фейерверка, и речь моя покажется бедной невестой перед бриллиантами "Травиаты", я предлагаю вернуться к вопросу о завершенности догматического учения. А тем вре-

* Была, впрочем, у церковных людей простых, всяких «батюшек», к Розанову и вообще любовь, или притяжение, но это уж другого порядка: отклик на розановское горение к «плоти мира» и, конечно, к «плоти церкви».

менем можно будет разобраться в "чарующем" впечатлении от доклада Розанова...».

Скоро и в самом деле «разобрались». По-своему, конечно. Я не запомню столь бурного и, временами, спутанного Собрания. Не случалось слышать нам и резкостей, до которых дошел иер. Михаил, мстя за пережитую чару: «...позволителен ли самый тон доклада? Один из собеседников сравнил красноречие Розанова с побрякушками "Травиаты". И я думаю, что это — проституирование истины!». (Тут Михаил был остановлен председателем.)

Другие говорили: Розанов — адогматист. Это уже не вопрос о развитии догматического учения в христианстве, это отрицание всего христианского учения, отрицание христианства!

Хуже всего, что тут, в словах церковников, была доля правды. Перед светской группой стояла задача: выделить и вернуть Розанову чисто розановское, выпрямить главную линию **Собраний**.

Отчасти это удалось...

...Но центром заседаний «о догмате» — (в сущности последних, ибо Собрания близились к концу) — надо считать выступление Тернавцева, тоже последнее. В нем снова был подчеркнут тот единый вопрос, который положен был «во главу угла» Собраний: отношение христианства к мировой жизни человечества, христианская церковь в истории. Все, что в Собраниях происходило, от серьезных речей до случайных споров, до недоразумений с богословами, — все это вращалось вокруг этого многогранного вопроса.

Ответы... как могли они в то время, в тех условиях, явиться? Кем могли быть даны? Но вопрос **прозвучал**, — **как вопрос**, и кто-то все же его услышал. Этим одним уже оправдана далекая попытка создать встречу двух миров, дотоле разделенных.

Тернавцев начал прямо: «Учение о полной завершенности и непознаваемости догмата неверно **религиозно** и для христианства **губительно**».

Определив затем с большой точностью понятие догмата, указав на его исток и на появление в исторических условиях первохристианства, Тернавцев пояснил, почему, с точки зрения историка, христианство может быть названо «языко-христианством». Оно явилось в роковой для древнего мира момент распада. В гонениях и мученичестве сознав свое единство, христианство стало среди погибающего античного общества как бы единственной твердыней жизни. Но в нем и тогда оставалась не раскрытой тайна о земле, о земной жизни человеческого общества. В своих отношениях к земному устройству христианство жило тем, что привнесено было в него античным миром. Еврейство, связан-

13 Зак. 4570

ное с христианством единством обетований, отошло куда-то далеко в сторону от великой дороги всей истории церкви...

«Богослову или историку, чтобы почувствовать присутствие Бога в истории, достаточно подумать о еврействе, о поразительной судьбе его...

По пророчеству Апостола, оно обратится ко Христу не в смысле отдельных личностей, а как народ. Но какой нужен перелом в языко-христианстве, какое глубокое потрясение всего человеческого познания, чтобы это совершилось! Еврейство не уверует, пока в христианстве не будут открыты глубины Ветхого Завета: видения пророков, повелений Божиих, данных навеки. И мало того: евреи не обратятся, пока 20 веков горечи, страха, разбитых жизней — пока всему этому не будет дано действительного оправдания. Что примирит их с историей? Какой силы должен быть огонь, который переплавит все это и даст им **новое** сердце?..

...Христианство, как оно сложилось в течение истории, — перед нами. Все ли в нем открыто — даже для святых? Посмотрите на противоречие между обетованиями и действительностью. Христианство не имеет в данный момент и единства: оно делится на вероисповедания, которые отвергают друг друга, как религиозную неправду. И я утверждаю: никакое религиозное учение не оставляет своих последователей в таких огненно-мучительных недоумениях, как христианская **церковь наших дней**.

Противоречие между обетованиями и действительностью — **страшно**. Оно наносит сердцу верющего смертельную рану. Кто не ранен этой раной, тот никогда не познает **меча**, скрытого в христианстве, т.е. христианства, как **Откровения**...

...Не о посягательстве на прежние Откровения я говорю, но об их исполнении. Лишь непонимающие отделываются от вопроса, думая, что тут спрашивают: может ли Церковь переделать Троицу на четверицу и т. п. Здесь речь об ином...

...Будем говорить прямо, — продолжает Тернавцев, обращаясь к представителям церкви и богословам. — Считаете ли вы ту жизнь, которая теперь **вся**, со своим счастьем, искусством, наукой, экономикой оказалась **вне** и **против** церкви, — считаете ли вы ее победимой для той доли истины, которой вы располагаете?

Зная уклончивость людей богословского образования, я отвечу за них: нет. Внутреннее положение христианства **в историческом** смысле, в трех измерениях Эвклидова пространства — безысходно.

...Вот почему самым роковым вопросом является ныне вопрос о христианстве **как откровении** и о новых в нем откровениях. Это вопрос вопросов. Вопрос "обо всем". **Праведная земля**, обетованная Богом, — вот какой тайне наступает время открыться. Само появление

этого вопроса показывает, что мы стоим на **краю истории**. Но отвечать христианство пока не может...». Закончил Тернавцев так: «Историческое языко-христианство не только учение, оно – своеобразный социальный организм... В нем две великие силы... Обе они опираются на св. Писание и предания церкви... и обе держат народы в недоумении целые столетия: это верховная власть православного русского Востока и Римский священнический авторитет, католицизм. Вот две вершины, в которые раньше должна ударить молния...».

Этот конец речи – о «молнии» – был темен, вернее – затемнен. Помня общий смысл многих частных разговоров о том же предмете, я могу дать некоторые пояснения. Тернавцев считал, что в христианстве должен совершиться, прежде всего, перелом сознания, который бы поставил его на путь действенного стремления к «кафоличности» (вселенскости) и к раскрытию «правды о земле». Этот путь, начало активной связи с миром (созыв всенародных соборов, борьба против понятия церкви как **священнического авторитета** и т. д.) был, по мысли Тернавцева, единственным для христианства выходом из его данного положения. Теперь, даже в самом строении существующих церквей, говорил он, чувствуются принципы Римской империи... (авторитет).

О Риме Тернавцев мог, конечно, и на Собрании говорить, что угодно, со всей ясностью. Но не хотел: без такой же равной ясности относительно второй «вершины» (русского Востока) – вся мысль его была бы искажена... Тут кстати вспомнить его слова на первом Собрании: он сказал, что церковь, будучи «безземной», не имеет отношения ни к каким явлениям исторической жизни, «кроме самодержавия.., с которым сама не знает, что делать».

Слышала ли, поняла ли речь Тернавцева церковная сторона – неизвестно. Богословы молчали. Что-то услышал, должно быть, еписк. Иннокентий. Заговорил против, начав с жалобы на «туманность».

В отличие от еп. Сергия, говорившего бледновато, но просто, речи Иннокентия, громадного иерарха с густой львиной гривой по плечам, всегда звучали немного иронически. Так и теперь:

– Напугал нас В. А. своим докладом, право. И время будто тревожное, и за христианство страшно, и чуть не светопредставления ждать надо завтра... А причем тут явились судьбы еврейского народа? Кафолицизм же церковь св. отцов всегда утверждала...

– У св. отцов теология библейская, но антропология языческая... – отвечал Тернавцев.

Однако Иннокентий продолжал допрос.

– Для меня страшнее всего, что вы, точно посторонний, подходите к вражде между исповеданиями. Почему же вас повергает это в от-

чаяние? Если мы не согласны – спросите католиков: и для них мы – еретики. Что у вас за пустые страхи! Вот, Ницше говорит в Заратустре об оживлении язычества... не заключать же из этого, будто оно сотрет христианство? Христос с христианством...

– Но мы – со Христом ли, когда бездействуем? – возражает Тернавцев.

Этот бесплодный коллоквиум был прерван, наконец, выступлением «светской» группы. Вся она была, конечно, на стороне Тернавцева. Что касается аудитории, то в полноте его речь была ей, может быть, непонятна («Я хотел бы быть понятным, – сказал Тернавцев, – но нигде так не тяжко пробивать новые тропы, как в сфере религиозной») – однако та же аудитория встречала одобрением всех, кто говорил за Тернавцева.

«...Голос Тернавцева звучал так, что к нему хотелось присоединиться. К нему и все бы радостно присоединились, – это чувствуется. Почему так чужды нам голоса духовенства?.. В докладе хлынула волна. Казалось, она затопит; но она отступила: камень Петра – церковь – неподвижен...».

Мережковский говорит:

«...Мы все согласны с Тернавцевым. Нам всем нужно то же, что и ему. С тем же вопросом пришли мы сюда. И вот уж два года, как длится поразительное недоразумение в этих Собраниях. Нас все время будто обращают в христианскую веру. Мы говорим, что верим, а нам отвечают: неправда, и вы настолько погибшие, что всякий безбожник нам ближе...

...Да, христианство историческое есть камень Петра. Разумеется, нужна была крепость Петрова. Вспомните, однако, судьбу этого Апостола. Трижды отрекался он; но закричал петух – и он покаялся. Мы, светские люди, пусть мытари и грешники, какую поддержку нашли мы в вашей крепости? И если эти Собрания – крик петуха, слышите ли вы его?

Вот кто-то недавно, – не с нашей стороны, из залы, – возразил богословствующим: "Это Великий Инквизитор говорил Христу: Ты и права не имеешь прибавлять к тому, что уже сказал"... Да, церковники и догматики то же самое говорят. Вспомните еще о Петре: не ему ли сказал Христос: "Другой подпояшет тебя и поведет, куда не хочешь...".

...В трех формах существует до сих пор христианство: православной, католической, протестантской. Но далее должно оно явиться в четвертой, включив в себя все три прежних. Это христианство и будет по существу **вселенским**. Ни одна из существующих церквей не стала и не станет вселенской, ибо каждая отрицает две других. Начало вселенской церкви – тайна **любви** и **свободы**, начало подлинно всемир-

ное. Только в ней открывается абсолютная истина всех трех церквей: церковь вселенская не нарушает ее, а исполняет...

...Но неиспытуемы времена... Видит ли крепость Петра, что приближение времен сгущается в тучу над нею? Эта туча будет все тяжелее. Что-то совершается, все чувствуют в воздухе близость грозы. Покается ли Петр? Вступит ли на великий путь обетования — Церкви вселенской?..

...Я отлично сознаю, что слов моих еще почти никто не слышит. Но если тут, в Собрании, в рясах или без ряс, есть люди, которые чувствуют правду грядущей вселенской Церкви, пусть они скажут безмолвно, в сердце своем: "Да будет!"».

Дальнейшие заседания о догмате ничего не прибавили; их суть здесь передана. Настроение до конца оставалось приподнятым, это отразилось на тоне последних, приведенных мною речей. Следующей темой, после догмата, был вопрос **«О священстве»**. Тема непосредственно вытекала из предыдущей, связанная с ней как будто внешне, но, конечно, и внутренне (единый-то «вопрос вопросов» оставался).

Отправной точкой намечалось тернавцевское отношение к «понятию церкви как **священнического авторитета»**. Зная, что говорилось им и другими на прежних Собраниях, не трудно представить себе, как широко могла развернуться эта в некотором смысле почти «государственная» тема.

О первом вечере записи не сохранилось; а в моей памяти сохранилось лишь общее впечатление от него: не было вчерашней напряженности; разговоры велись спокойнее; но зато и не были они так отвлечены, а сразу повернулись к реальностям (вероятно, благодаря поставленным тезисам). Словом, выходило что-то, немножко непохожее на предыдущие заседания; но не менее важное и резкое, несмотря на сдержанный тон.

Первый вечер этот оказался и последним вечером Собраний. 5 апреля (1903) арх. Антонин, запиской на клочке бумажки, известил нас, что высшее духовное начальство (Победоносцев) решило прекратить Рел.-Фил. Собрания, — «вопреки доброй воле Митрополита Антония».

Запрещение печатать отчеты последовало только через 10 месяцев. Не напечатанными остались два заседания: 21-е и 22-е (первое о «Священстве»).

Сказать, что дело Собраний прекратилось с фактическим их прекращением, — было бы просто неправдой. Оно изменило форму, — конечно... Не прекращалась и связь наша с церковным миром. В этом

мире теперь были у нас враги, друзья и полуравнодушные доброжелатели. Если с последними связь несколько ослабела, зато с новыми друзьями мы сблизились так тесно, как никогда раньше. Они и продолжали с нами дело Собраний. Центром его стал, в последующие годы, журнал...

Но обо всем, что было в эти годы, полные глубоких перемен и общих потрясений (1903–1906), о судьбах кое-кого из участников Собраний, а, главное, о том, **как живые нити**, от Собраний, явно идущие, вплетались в узор тогдашних событий, — я расскажу особо, когда-нибудь в другой раз.

АВАНТЮРНЫЙ РОМАН

1

Мы его, конечно, презираем.

Мы с горестным сожалением смотрим на читающих эти романы и с тревогой следим, как все растет число «нелепых» книг.

Ведь известно же, что такое авантюрный роман. Кто даже не раскрывал ни одного, и тот знает; по крайней мере уверен, что знает. Спросить — скажут много верного, дадут определения, с которыми и спорить нельзя. Скажут, например, что это даже не плохая литература, а вовсе «не литература»; что человеку, мало-мальски понимающему, что такое «слово», и говорить не пристало об этой детективно-авантюрной чепухе...

За определениями следуют тотчас общие выводы, весьма печальные: если подобные «романы» находят, в наше время, миллионы читателей (а они находят), то какое падение вкуса! Какое понижение культурного уровня! И чем дальше, тем хуже: груды этих разлагающих книг заваливают путь к настоящей литературе.

Определения-то «романа», рассматриваемого под специальным углом зрения, — верны: да, не «литература»; под литературную нашу мерку это никак не подходит. А вот с общими отсюда выводами — относительно падения культурного уровня, разложения вкуса в наше время и т. д. — следует погодить. Еще никаких заключений нельзя вывести из того обстотятельства, что миллионы современных читателей тянутся к книге бесстильной, безыскусственной, реалистически-сказочной, не пошлой, но — не «литературной». Может быть, разумнее будет **освободить** послевоенный авантюрный роман от суда литературного, вынести на свет «книгу» вместе с бесчисленными ее читателями и взглянуть на все это как на **явление** — одно из человеческих

явлений нашей современности. Так мы, пожалуй, ближе подойдем и к «роману», и к современному человеку-читателю; да и к самой современности, кстати.

Один вопрос, прежде всего: неужели кто-нибудь из смотрящих с таким сокрушением на досадный «роман» и миллионного его читателя, серьезно думает, что не будь этого романа, – тот же миллион читал бы, к своему благополучию, Пруста, Мориака, Валери, Джойса, Жида, или хоть Кокто? (Не мне отрицать, что все это «литература», даже Кокто.)

Нет, миллионы читателей современного авантюрно-детективного романа, в громадном большинстве, – **новые** читатели; и, по многим причинам, они не читали бы ничего, не будь такого романа: ни Мориака, ни Джойса, да и не Флобера ни Гёте, – совсем ничего. Лишнего экземпляра не продал бы сегодня Мориак или Жуандо, если б романов в желто-красных переплетах и вовсе не появлялось.

Новые миллионы читателей – они же и миллионы людей нашего нового времени, или новой настоящей минуты. О них, с их «глупым» романом, без психологии, без описаний природы, без подобия стиля, я хочу поговорить.

2

Думают, что авантюрные романы можно писать без таланта. Нет, талант от автора очень требуется, хотя и не совсем похожий на то, что мы привычно зовем «талантом».

Авантюрный роман – типичен: в каждом присутствуют те же, главные черты: неотъемлемые, ибо на них-то он и держится. Чем талантливее автор, тем ярче у него эти черты и тем совершеннее роман, т. е. ближе к своему собственному идеалу.

Благодаря типичности нет нужды останавливаться на той или другой книге из миллиона. Можно взять любого автора, только выбрать более талантливого.

Я выбираю англичанина. Английский роман этого рода вообще гораздо характернее французского (и немецкого).

Из англичан я выберу Эдгара Уоллэса как самого типичного и, в смысле требуемого таланта, очень совершенного. Но, говоря об Уоллэсе, я буду говорить обо всех.

Кстати, из всех современных романистов подобного сорта – он и наиболее известен. Совсем не напрасно на каждой обложке стоит: «It is impossible not to be thrilled by Edgar Wallace», – т. е. невозможно не быть захваченным, или пронзенным, Э. Уоллэсом. Он, должно быть, из всех этих «жизненных» романистов, особенно пришелся к современной жизни.

Что она такое, однако, послевоенная европейская (или мировая) жизнь? Как ее воспринимает, что в ней чувствует новый средний человек? Вот эти «миллионы» всех средних ступеней социальной лестницы, — «демос» в наиширочайшем смысле?

Типичный сегодняшний человек вряд ли много «размышляет» о жизни. Он ею живет, воспринимает ее изнутри. Размышлять же и некогда: ведь жизнь эта, если взять ее самые грубые, общие черты, — все ускоряющееся **движение**. Бег наперегонки, в тесноте. В постоянной борьбе и работе — монотонность мелькающих дней. Злая усталость, беспокойное ожесточение. И, естественные, тут же рядом, порывы куда-то, все равно куда, к кому и к чему, только прочь от утомления и тоски.

В порываниях этих (ко всевозможным «зрелищам», например), да и в тоске, много стихийного; но на стихийном элементе мы не будем останавливаться. Он свойствен общей жизни всех времен. А мы говорим об образе нашего «сегодня», где все ново, ибо по-новому подчеркнуто, напряжено, где выросшие противоречия жестоко сталкиваются, как брошенные мячи.

К такой жизни сегодняшние люди не то что приспособились, а взяли ее как действительность. Она их **данное**.

Но во все времена истории люди есть люди. И драгоценнейшее их человеческое свойство — не удовлетворяться **данным**, ища **желанного**.

Меньшая часть человечества, та, которая всегда стояла на верхних ступенях своей исторической лестницы (чтобы не сказать «передовая» часть, или «избранная»), — желанное свое так брала широко, создавала такие блистательные его образы, что, казалось, между ними и реально данным уже нет связующих нитей; нет мостов. Не нужно ли сначала весь мир в корне переделать, чтобы воплотились мечты?

Высокие мечтанья, необходимые миру, но... для громадной массы человечества они слишком явно оставались мечтаньями. Люди, живущие внутри своей действительности, не представляют себе желанное иначе, как в виде той же действительности, но **исправленной**.

И это мечты, конечно. Если их развернуть — тоже понадобится, пожалуй, коренная переделка мира. Ведь не от исправления же одних чисто внешних форм она (если бы такое исправление было возможно) станет действительно «желанной»? Это чувствуют самые бессознательные.

Здесь надо вспомнить, откуда берет свое начало вечночеловеческое стремление от данного — к желанному. И у мечтателей, мирящихся только с преображенной землей, и у всех остальных, скромно желающих данное исправить, — лежит на глубине несколько первичных, не-

разложимых, природно человеческих чувств. Все тех же самых. Во имя них-то и стремится человек от всякого данного, к какому-то желанному (или, иначе, должному).

Чувств этих, в первичности неразложимых, в человечестве вечных, — не много. Одно из них — чувство справедливости.

Не будем касаться сложностей, какими может облекаться это чувство, ни путей его извращения или, напротив, преображенья. Мы говорим о первоначальности, простом и простых. В частности, о человеке настоящей исторической минуты.

Современный человек очень реалистичен, ибо очень реалистична сама его действительность. Поэтому и желанное не может не облекаться для него в сугубо реальные формы действительной жизни. Даже повседневной, — как бы его собственной. Совсем как бы той же, и случается в ней почти то же... чуть-чуть лишь по-иному: дни потеряли тяжкую монотонность, случаи интересны, удивительны, положения опасны, решения смелы; а главное — кончается все, для всех, **по справедливости**. Так, как требует человеческое понятие о справедливости, то есть, хорошо и достойно (желанно).

Вот эту близкую, нужную, ободряющую, утешающую мечту-надежду и дает миллионам людей современный «авантюрный роман».

3

Эдгар Уоллэс (повторяю, это касается всех авторов и всех романов данного типа) почти не рисует ни людей, ни обстановки. Предполагается, что люди читателю и так известны: он встречает подобных на каждом шагу, он, пожалуй, и сам один из них, с очень понятными обыденными желаниями: удачи, любви, денег. Мелодраматических злодеев и ангелов нет у Э. Уоллэса, как нет их и в жизни. Лишь чуть-чуть получше у него хорошие, похуже — дурные; посмелее смелые, половчее ловкие.

В ту же меру исправлена и обстановка: слегка преувеличены бытовые «чудеса» техники; здесь маленькая выдумка за фантастичность не будет принята.

Главная выдумка и талант автора направлены на создание **положений** и **действия**. Но даже тут надо, чтобы положения самые невероятные, обстоятельства самые исключительные, действия самые смелые и опасные имели вид реально возможных. Только при этом условии читателя захватит рассказ: ведь ему, читателю, нужно верить, что завтра и с ним это может случиться. Как он поступит тогда? Перед ним задача: как она решается? А решение есть, и решение настоящее, ибо — хоть и страшно положение — не погибнет правый: это было бы несправедливо. И молодая девушка, в какое бы подземелье ни была за-

ключена, — не падет невинной жертвой, а соединится в конце с тем, кого любит. Человек же дурных поступков, если и уйдет от суда человеческого, — все равно не уйдет от судьбы. Иначе опять несправедливость; опять, значит, вот эта, данная, **не исправленная**, действительность... Насмотрелся на нее человек, знает ее, своими боками испытал, — зачем будет он, в краткую минуту отдыха, к ней же возвращаться? Зачем ему книга, где эта жизнь, хотя бы с самой великолепной верностью и наилучшим стилем, описана? К стилю он равнодушен, а чем вернее изображение данного, тем больнее и скучнее.

Ну, а книги далеких мечтаний? Сказки? Фантастика?

Нет, человек реалистического времени не верит фантазиям. Слишком связан он с действительностью. И только тогда, когда видит ее же, близкую, но желанно **исправленную**, — только тогда является у него — совсем по катехизису! — спасительная «вера в желаемое и ожидаемое, как бы в настоящее».

Прибавлю два слова о «справедливости».

Романы Уоллэса называют иногда «полицейскими». Сыщик, мол, выслеживает вора, ловит, тащит в Скотланд Ярд, и все это кончается торжеством «закона».

Будь так, пожалуй, и не стоило бы много рассуждать об этих «жандармских» книгах. Но это не так.

Послевоенный человек, имя которому не делает исключения для данных правительств с данными законами. Он отлично знает, что, действуя во имя закона, очень можно оказаться действующим против справедливости. И обратно.

У нашего автора, Э. Уоллэса, есть целая серия связанных между собой романов: «Закон четырех справедливых людей», «Трое справедливых», «Опять трое справедливых» и т. д.

Эти справедливцы («Just men») как раз и действуют, сообща, против «закона», защищают попавших в грубое его колесо, спасают виновных перед ним, но невиновных перед внутренним, человеческим законом справедливости.

«Just men» и сами едва не погибают в борьбе. Не погибают, конечно (кроме одного из них), — иначе как бы торжествовала справедливость? А без ее торжества — как сохранил бы роман одну из тайн своей пленительности?

4

Большинство читателей не задумывается, конечно, над своим влечением к этим новым сказкам современности, не разбирается. Да и авторы создают их так, а не иначе — по интуиции. Авторы ведь такие

же «средние» люди. А мы о них и говорили; во всяком случае — о захваченных круговоротом современной жизни, с ее обостренной жестокостью и противоречиями.

Не сомневаюсь, однако, что если бы у кого-нибудь нашлось время и охота поразмышлять над своей тягой к Уоллэсам, — он согласился бы с моими догадками.

Но я хочу пойти дальше.

Оправдать авантюрно-детективный роман перед огульно презирающими его — тем, что хотя, мол, он и нелеп, но для средней массы новых читателей годен, — плохое это было бы оправдание! В нем оставался бы элемент, если не презрительности, то снисхождения, — и к роману, и к «средним» людям.

Нет, в наше время такой роман находит и другое оправдание.

В наше время он нужен — или бывает нужен — не каким-то средним людям, но почти всем.

Это может показаться ересью... но факт прост и просты объяснения.

Прежде всего: так называемый «средний круг» гораздо шире, чем думают, а жизнь наша, данная минута истории, непрерывно его еще расширяет. Именно жизнь-то все больше уравнивает несредних и средних, в себе уравнивает, заставляя всех вертеться в своем колесе, нести тяжесть, тесниться, толкаться, уставать, падать, подниматься и снова тянуть оброненную лямку. В этом смысле, в смысле труда, усталости и ожесточения, все мы одно, все борцы с действительностью.

И если не считаться с исключениями и не брать частностей (отдельных стран и народов) — смело можно сказать, что это касается, более или менее, всей жизни мира в данный момент.

Не одни, значит, внутренно-средние люди захвачены и оглушены реальной действительностью. Не у них одних кратки минуты отдыха. Оторваться совсем, выйти из нее, — нельзя, некогда: для этого нужны не минуты, а целые месяцы освобожденного от тревог существования.

Но забыться, забыть все, чем жизнь мучила и мучит, все до конца, в самую чистую детскую простоту погрузиться, — можно: эту простоту дает книга без искусства, без высоких мечтаний, без сложности мысли, легкая, как далекий гомон птиц.

Я знаю людей, вовсе не «средних» в обычном смысле, которые признаются (есть, наверно, и другие, только не признаются, условно стыдясь), что им, в иные минуты, лишь один какой-нибудь Уоллэс может дать настоящий отдых: отдых всему, что в человеке отдыха требует.

Если так, то не имеет ли эта книга права на свое место, — не в литературе, — а в самой жизни нашей? Пусть одного она забавляет, пусть другого утешает, третьему дает отдохновение, все равно: раз она это делает — она нужна.

РАЗВОД?

Развод и брак. — Трагедия В. В. Розанова. — 19-я глава Евангелия от Матфея. — Брак и развод в современности

Самостоятельного вопроса о разводе не существует, — он входит в вопрос о браке. Отношение к браку, взгляд на брак, в ту или другую эпоху, определяет и взгляд на развод. А, может быть, определяет отчасти и эпоху.

Многосторонняя сложность вопроса о «браке-разводе» такова, что немногие доходили до его сердцевины. Гениальному В. В. Розанову целой жизни не хватило, чтобы достаточно углубить его, а он им горел и страдал, пережил его и опытно, в жизненной своей трагедии. Все-таки кое до чего он тут добрался. И, прежде, чем перейти к положению вопроса в современности, я считаю не лишним коснуться розановской борьбы за брак-развод. Если борьба его против русского законодательства может казаться теперь анахронизмом, то дальнейшая, против церкви и затем против христианства, остается полной глубокого смысла.

Розанов был величайшим утвердителем брака. Но брака **истинного**, который только и признавал нерасторжимым.

В ранней молодости Розанов женился на бывшей возлюбленной Достоевского, Сусловой, женщине вдвое его старше, достаточно известной, чтоб в «неистинности» брака с ней можно было сомневаться. Бедный Розанов, однако, терпел эти узы, пока она сама его не бросила. Но, когда он нашел свою настоящую подругу жизни, настоящую жену, мать его детей, — истинный брак его оказывался перед Богом и людьми просто сожитием. И, конечно, Розанов, утверждавший брак не только феноменально, а, по его выражению, и «ноуменально», не был бы удовлетворен, если бы имелось в его время другое законодательство, если бы в гражданском порядке второй его брак был признан. (Он считал его не вторым, а первым и единственным.) Именно потому, что Розанов расширил понятие брака до порядка ноуменального, — религиозного, — он не мог бы примириться с тем, что для церкви «истинный» брак его — прелюбодейство, а брак с Сусловой остается действительным.

Формально и словесно — церковь утверждала то же, что Розанов: «истинный брак — нерасторжим». Но она добавляла: истинный тот, который благословила церковь; церковное благословение и делает его истинным (нерасторжимым). У Розанова было другое понимание «истинности» брака и не вступить тут в борьбу с церковью он не мог.

Венчание еще не делает брака истинным, говорил он. А всякий не истинный — расторжим...* И так, как если б его вовсе не было.

Вскоре борьба эта за брак-развод еще расширилась, ибо церковь к своим положениям прибавляла нечто, для Розанова уж совсем неприемлемое. Брак, говорила она, утверждается; но, как ценность высшая, христианством утверждается **отрицание** брака, отказ от брака (девство, скопчество).

Розанову стоило лишь, для своего утверждения брака, взять опорой ту самую евангельскую главу (19-я, Мтф.), на которую опиралась церковь для его отрицания. К несчастью, Розанов принял эти слова Евангелия не в прямом, а в издавна привычном, церковном, понимании; и его защита брака от церкви вылилась в защиту брака — уже от христианства.

Тут кстати будет напомнить об этой главе и о том, как она и доныне понимается. Она так проста, слова Иисуса о браке-разводе так прозрачны, что даже удивительно, откуда явилось столь не прямое их понимание.

Фарисеи спрашивают Иисуса, как всегда, в порядке «законничества»: о законных причинах для развода в браке. Но Иисус, отвечая, говорит не о законном, а благодатном браке (истинном), который тем и познается, как истинный, что нерушим. И поясняет: они (в браке) уже не двое, а одна плоть. Богом созданное единство плоти — как нарушит человек? — Вопрошатели не унимаются: а закон Моисея? — Закон дан был вам по жестокосердию вашему (по незнанию об истинном браке, о личной любви). Но не должно разрушать брака, если сам он уже не разрушен (т. е. совершено прелюбодеяние).

Ученики ничего не поняли, «не вместили» Его слов (как это постоянно случалось), только испугались: такие обязанности! Да уж лучше совсем не жениться! Видя их непонимание, Иисус прибавил, что дано вместить «слово сие» (о браке) не всем, «ибо есть скопцы», по тем или другим причинам ставшие таковыми. С них и не спросится. «Но кто может вместить — да вместит». И тотчас далее — «приведены к нему были дети, чтоб Он возложил на них руки и помолился...».

Как могло быть принято все это за прославление скопчества? Неужели о трусливом слове учеников «да лучше не жениться» сказал Иисус, что не все «вмещают слово сие»? и указал на высший идеал — скопцов, — которые вместили? И неужели скопчество, а не благодат-

* Православие, в отличие от католичества, признает (или допускает) развод «за вину прелюбодеяния». Но фактически он труден, обставлен тяжелыми формальностями, а в старой России сопровождался, кроме того нестерпимыми злоупотреблениями.

ный брак, должен вместить всякий «могий вместить»? Понималось же, и доныне церковным сознанием понимается, именно так: кто только может стать скопцом — пусть станет.

Вот как умален в христианстве брак перед безбрачием, говорили Розанову, на что он отвечал протестом против христианства: умаляя брак — оно отрицает любовь, жизнь, замораживает землю... Розанов искал опоры в Израиле, в древнем Египте, но борьбу свою за истинный брак, за истинную человеческую жизнь на земле — продолжал...

Неоконченный спор этот затих, заглох. В современности вопрос о браке-разводе так больше никем не ставится. По правде сказать, и слово-то «брак» современность наша повторяет атавистически. Давно, вероятно, шел медленный процесс и незаметно привел к тому, что сегодня имеем мы о браке довольно смутное понятие; да по совести, мало в нем и нуждаемся. Современный брак легок, и легок развод. Так и должно быть. Чем легче, мгновение брака, тем легче, моментальнее должен делаться развод. Это ведь, два сообщающиеся сосуда: убывает, пустеет брак — пустым делом становится и развод.

Положим, если б холливудской звезде, пять раз успевшей развестись и вышедшей замуж в шестой, сказал кто-нибудь правду, как Иисус самарянке: у тебя было пять мужей, но и тот, которого имеешь, не муж тебе, — эта звезда, сегодня, еще обиделась бы, или рассмеялась; но вот, в современной России уже не смеются и не обижаются, все преодолели; и хоть слова «брак», «развод» еще болтаются, но так ненужно, и так установленные формальности лишены всякой цели, что большинство «свадеб» происходит даже без них. Придет девица с узлом в комнату человека мужского пола, вот и брак. Уйдет, или прогонит он ее с узлом, — развод. Это предел легкости развода, как и того брака, следствием которого он является.

В европейских странах до подобной легкости еще не дошли. Но какие основания думать, что не дойдут? Да, наконец, почему бы и не дойти? Сохранились бы и деньги, и время, которые тратятся и при самом удобном разводе. А суть дела осталась бы тою же. Пять, двадцать или сто переменных сожитий, сколько их браками ни крести, браком не сделаются. Как сто «любвей» в любовь не превратятся.

Что касается законодательств, то судить их надо просто: не отвечают современным требованиям — плохи, отвечают — хороши. Отношение к браку у современного человечества таково, что развод должен быть непременно облегчен. И хорошо, что он облегчен.

Другое дело — это новое «отношение». Но его, пожалуй, и совсем не стоит судить. Тем более, что не к одному, ведь «браку» изменилось у современных людей отношение. Может быть, в самом человеке начинает что-то перемещаться, или что-то отпадать. Есть мнение: «Со-

временный человек – это человек с выдающимся подбородком». К нему другие добавляют: «Да, и со срезанным затылком».

Если так, можно ли требовать от срезанных затылков, чтоб они имели не им свойственное отношение к вопросам жизни, устраивали не им свойственный быт и жизнь на земле? Пусть женятся, как умеют, соединяются, как могут, разъединяются, когда захочется. Вопрос о детях? И он легко разрешится с уничтожением частной собственности, – как, приблизительно, разрешен у термитов.

Впрочем, это по логике, а Бергсон давно доказал, что логика, применительно к живой истории, никуда не годится. Очень может быть, что среди уставшего от термитизма человечества явится новый Розанов. А с ним возникнет и забытый вопрос о «я» и «ты», о любви, о семье, о браке истинном, который потому и нерушим, что истинный.

48 ЛЕТ

Трагедия Толстого и его жены *

Эта замечательная книга, уже нашедшая живой отклик во французской печати, вновь возвращает нас, и совсем особенным образом, – к теме, которая сама по себе очень тяжела. «Трагедия Толстого и его жены» – трагедия брака, т. е. человеческих отношений самых сокровенных, – как входить в нее; как судить ее? Но я понимаю, скрытой она все равно остаться не могла, – ведь это Толстой! О его семейной трагедии писали и пишут тысячи людей, судят так и эдак, доискиваются, кто прав, кто виноват, муж или жена? Мало того: вокруг нее создаются легенды, подчас злостные (примеры даны в предисловии к вышеуказанной книге). Поэтому всякий, кто может сказать тут свое слово правды, не должен молчать, хотя бы первичное человеческое чувство – прикосновения к чему-то слишком сокровенному – в нем и оставалось.

Авторы книги, о которой пишу, – это сам Толстой и его жена. Е. Гальперин-Каминский дает лишь предисловие, с указанием документов, которыми пользовался, краткую биографию обоих Толстых (для французских читателей), да связующие вставки между текстом;

* По поводу вышедшей в Париже на французском языке книги Е. Гальперина-Каминского «Трагедия Толстого и его жены». Автор – очень известный переводчик русских классиков, главный переводчик Л. Н. Толстого, с которым он был в личных отношениях и часто посещал Ясную Поляну.

текст же сплошь, – «интимные дневники» супругов, тайные («secrets»), которые читали только он и она; письма их друг к другу, или к третьим лицам, самым близким мужу или жене. Большинство документов только что обнародовано в Сов. России (дневники в отдельных изданиях, письма С. А. в двухтомном сочинении Жданова «Любовь в жизни Толстого»).

Выдержки из одного «тайного» дневника перемежаются с выдержками из другого, и видно, как муж и жена друг другу отвечают, пишут будто в одной тетради поочередно. Двое об одном, о своей любви, о своих отношениях. Не понимали друг друга? Нам часто кажется – да, не понимали. Но понимаем ли мы-то, со стороны, какое было еще между ними понимание, сверх словесного, даже толстовскими словами не выразимое? Стоит прочесть до конца эту интимнейшую повесть, 48 лет длившуюся, чтобы убедиться: такое понимание между ними было; и оно оказалось сильнее всех умственных и прочих несогласий; даже было оно, в Толстом, чуть ли не значительнее его «обращения» и всей его «доктрины».

Говорят: С. А. «не подходила» к Толстому. Я скажу, быть может, ересь: но к Толстому, прежде всего, не подходила его «доктрина», его «учение». Вовсе не потому, что он любил «буржуазную жизнь», или славу, или был «грешник»; нет, толстовство не подходило к нему, как к живому человеку. А ему одному столько отпущено было всего, что делает человека живым – на десять других могло бы хватить! Благодаря ей, громадной и всесторонней силе жизни, – Толстой постоянно вырывался из сетей, которыми сам же все время себя опутывал.

Если б Толстой и не был великим писателем, а только жил бы, как жил, горестно и трудно, падая, подымаясь, снова падая и взывая к Богу о помощи, – он все равно был бы велик, ибо мы не знаем более страстного **искателя правды**. Правды самой высокой, правды во всем и в себе, правды перед собой и перед Богом. Он положил на это исканье и душу свою; и сердце, и... разум. Только разум его был такого свойства, а, главное, **доверие** его к собственному разуму было таково, что оно-то постоянно и связывало в нем живого человека. Каждый этап, мысль попутную, он искренно принимал за окончательную и, выразив в словах («дав людям»), уже считал себя ответственным за ее воплощение. Но приходила другая, следующая; совесть не позволяла отречься от предыдущей, и он бился в противоречиях.

Является к нему какой-нибудь «последователь» с упреками: не ваши ли слова, что надо бросить роскошную, праздную жизнь, уйти от всего? Почему же вы сами вашей «доктрине» не следуете? – и Толстой, человек громадной внутренней силы, слабеет, терзает себя, кается. Не смеет сказать то, что говорил в дневнике: «...совсем не нужно

менять внешние условия жизни, чтобы следовать учению Христа... достаточно, — и это самое главное, — постоянно укреплять, очищать нашу внутреннюю жизнь, оставаясь на том месте, в том положении, которое послано каждому из нас судьбой... Если каждый в отдельности станет лучше и выше, тогда и общая жизнь станет лучше для всех...».

Но о том, что нельзя жить в роскоши и праздности, он ведь тоже говорил? Тоже по совести, «по разуму»... И Толстой склоняет голову: «Да, надо уйти, но я слаб, я еще не могу решиться доставить горе людям, которых, хотя они и не согласны с моими мыслями, я люблю».

Способность любви была у него, природно, исключительная. Любви всяческой, и подлинной, т. е. живой. Но чем больше говорит он о «любви», втискивает ее и себя в свое «христианство», — тем меньше любит; или нет, тем меньше чувствует любовь: сдавленное путами сердце немеет, как немеет крепко связанная рука.

Я говорю о любви вообще, — к людям и к человеку, к миру и Богу; если же мы вернемся к нашей теме, — любви Толстого к жене, — то надо сказать, что эта любовь с особенной силой рвала налагаемые на нее путы; так, что до самого последнего конца, до Остапова, оставалась живой. А испытания ей были посланы безмерные... В меру одного, разве, такого человека, как Толстой. Бесполезно прилагать к этой любви обычные эпитеты: нежная, грубая, духовная, плотская, верная, мучительная, грешная, святая... нет, просто любовь, ни такая, ни другая, а все вместе; любовь, которая два существа заключает в один свой круг. Никакая разность (ума, талантов, свойств) его не разорвет; ни удары судьбы, ни, тем менее, усилия посторонних людей. Все это давало Толстому и его жене лишь страдания, доводившие их подчас до слепоты, до слепых действий и поступков. Но любовь оставалась: в ней была правда, одна и та же для обоих.

В светлые минуты Толстой, с последней искренностью, твердит своей подруге: ты не виновата, не виновата, я понимаю, что ты просто физически не могла следовать за мною по моему новому пути. Я тебя понимаю и я неизменно люблю тебя...

Но перед крупным и самым страшным, — потому что самым мертвым, — толстовцем, Чертковым, Толстой уже начинает оправдываться: «Деторождение в браке, — пишет он ему, — не разврат... и половое общение, позволяющее роду человеческому продолжаться, — не грех, это божественная воля... Христос недаром любил детей...».

Однако, едва прошло несколько месяцев, — вот «Крейцерова соната» с ее послесловием, новая «доктрина», учение о полной чистоте, отрицание брака. Суровая проповедь «братской» любви», ко всем равно. Проповедь, которой сам Толстой, живой человек не следует, — и начинаются новые терзания, недоумение, мучения совести; покаянья перед

главным мертвецом – Чертковым и маленькими мертвенькими «толстовцами», – круг которых в это время уже смыкался теснее.

...Я чувствую себя угнетенным, больным, пишет Толстой. Я не могу победить себя... Я хотел бы отдать остаток моей жизни на служение Богу. Но Бог не хочет меня. Или не хочет направить меня на тот путь, по которому я хочу идти... И я раздражаюсь...

Глухо, но всем сердцем, болел он и страданьями Софьи Андреевны. А она страдала не меньше, иногда больше его. Она была той цельной, без особых сложностей женщиной, какой создал ее муж, любовь, долгие годы беспорочного брака. Толстой, в напряженной сложности своей, искал, что-то находил, или думал, что находит. Она же все нашла, ей могли грозить только потери. С мужем и любовью она, действительно, теряла все. Не зная за собой вины (и не имея толстовских «утешений»), она мучалась безвыходно, безразумно, с ощущением самым горьким, – великой несправедливости, над ней совершающейся.

Софья Андреевна – незаурядная женщина. В ней много силы. А вечно прекрасное, – женское и материнское, – так было в ней ярко, что не могли менее яркими быть и другие стороны женского: трепет потери всего, что составляло жизнь, борьба с несправедливостью, собственные несправедливости, несдержанность непонятого страдания.

Все это Толстой понимал. Понимал – и вдруг точно забывал. И опять понимал – и опять забывал. Сила жизни слабела. Можно только удивляться, как еще долго хранилась она под этими путами, которые теперь затягивали на нем, все туже, – другие.

В самом деле: будь его «живой человек» жив, как прежде, разве мог Чертков, пользуясь отсутствием С. А., приехать и увезти к себе все «интимные, тайные дневники», которые муж и она точно вместе 48 лет писали, а она столько раз своей рукой переписывала? Ведь это вся жизнь их, все дурные и хорошие минуты! А Толстой словно и горя ее неистового не понял, огненной боли ее, когда она узнала. Удивился, раздражился (на жену!), а потом все сразу будто забыл.

Но вот больше: мог ли Толстой, до дна правдивый и любящий, пойти на такое действие, как подписыванье где-то в глухом лесу, на пне, таясь и скрываясь, тайное завещание? И потом обманывать дальше, отрицать, что это было? Да прежнему Толстому и предложить этого никто бы не посмел! Но теперь он это делает, – под чертковским кулаком, в котором зажата, вместо медного пятака, – «доктрина». Маленькие, из «восприявших» доктрину, помогают... среди них и собственная дочь Толстого (о ней, о том, что она до сих пор пишет об умершей матери, – не будем говорить).

Чертков позаботился, чтобы лесное, секретное завещание, передающее в его власть все, до последней строчки, Толстым написанное,

было юридически законно. Толстой и этому покорился. Даже у некоторых сообщников, маленьких «толстовцев», заговорила совесть. Сомнения явились. Толстой записывает: «Говорил вчера с Р. (о тайном завещании). Да, он прав: я скверно поступил... Я теперь вижу свою виновность... Утешительно, что я сознаю, что все зло от меня одного».

Далее, еще: «Хорошо чувствовать свою вину. Я ее прекрасно чувствую...».

И только. Это уже лепет полузадушенной совести. А любовь? Любовь жива. Всего за десять дней перед тем — нежнейшее письмо к жене: хочет жить с ней доброй, мирной жизнью, обещает не видеть больше Черткова, а ее — никогда не покидать. И кончает: «Ты ушла такая взволнованная, страдающая... Я лег, но я думал о тебе, вернее — чувствовал все время тебя, и не мог спать... Не мучай себя, голубка, ты страдаешь во сто раз больше, чем все другие...».

Последний акт этой жизненной трагедии известен. Но документы, собранные Е. Гальпериным-Каминским, дают некоторые новые, дополняющие ее, черты.

Что такое, в сущности, этот «уход» Толстого? Бежал ли Толстой от «роскошной жизни», от жены, чтобы воплотить, наконец, свою доктрину? Решился ли осуществить давно обдуманное намерение, когда С. А. сделалась окончательно невыносимой? Нет. Толстой бежал этой ночью, как бежит, закрыв глаза и уши, человек, задохнувшийся от ужаса; бежит, сам не зная куда, только прочь — «от всего». В дневнике Толстого так и отмечен этот порыв «убежать от всех» и всего. Он спасается из ада; медленно, постепенно, помимо его воли, но при его участии, превращался несчастный дом — в ад; и превратился, наконец, совершенно, благодаря новой атмосфере — обмана. В этой атмосфере Толстой не задохнуться все-таки не мог.

А Софья Андреевна? Она была в том безответственном, естественно ненормальном состоянии, в которое приходит всякая любящая, обманутая жена. Она чувствует, физически ощущает обман, — и уже ни о чем не думает, ей надо только схватить его, раскрыть, убедиться... а там пусть хоть смерть! Когда молодая женщина ищет на столе мужа любовной записки, в сложном безумии оскорбления и любви, мы сочувственно понимаем ее состояние; как же не видеть, что именно в этом состоянии была и С. А., хотя искала она не любовных записок, а завещание, и обманувшему мужу было 82 года?

Ах, искала завещание, боялась потерять деньги! Плоский вывод этот можно сделать лишь при полном непонимании данной трагедии и ее героев. Сам Чертков так не думал; но он знал, что легко поддаются люди соблазну подобных суждений, — очень, для него, Черткова, выгодных; потому и старанья его — подчеркнуть «меркантильность» не-

счастной женщины, ее «жадность», ради которой она не жалела «великого человека», — так упорны. Но если были у С. А., раньше, заботы о семье, о средствах обеспечения детей, — в эти предсмертные дни, последние, — никакие «практические» соображения не руководили ее действиями; и сердце, и разум ее были полны лишь хаосом страдания.

Все дальнейшее, внешнее, только поддерживает внутреннюю картину трагедии. Как человек, который в последнем ужасе, с закрытыми глазами, бежит, сам не зная куда (от всего и всех), бежит и падает — упал и Толстой. Жизнь еще теплилась; еще лились слезы, и не уходила «она» из слабеющей памяти... Она близко — но дверь на ключ. Дело попечителей о доктрине еще не доделано. Они окружают постель умирающего, ловят его последние слова. Они спешат даже спустить занавеску на окне, когда лицо той, с кем Бог сочетал его в неразрушимом браке, приникло к стеклу. Это от нее заперли едва живого, — но еще живого, — человека на ключ.

Ключ повернулся не раньше, чем Толстой стал бесчувственным телом.

Так завершилось все.

* * *

Впервые эта трагедия рассказана с такой невыносимой открытостью самими ее участниками. Можно ли еще возвращаться к вопросу, кто виноват, — он или она? Разные, они любили друг друга одной и той же, одинаково сильной, любовью. Они оба правы: и перед Богом, и перед людьми. Оба.

Чисто человеческое суждение наше не может, однако, примириться, что виновных нет. Найти виноватого, оставаясь в простой жизненной плоскости, нетрудно: это несомненно Чертков.

Чертков, впрочем, не более, как движущийся и говорящий мертвец. Он однажды провел у нас вечер, с маленьким учеником своим, толстовцем, — уже во время войны, в Петербурге. «Смиренные» слова, «смиренные» движения его, — все напоминало о покойнике. Притом не о простом, добром покойнике, но о каком-то вроде тех, что, в сказке, подымаются ночью из могил, по бесовскому заклинанию. Пил не чай, — горячую воду, и не с сахаром, — с леденцами: все из смирения, очевидно, из верности «доктрине». Тихим голосом излагал статью свою, которую намеревался, немедленно печатать в Англии, — об «уходе» Толстого, конечно, о том, как «хотела смерти великого человека его жена, как систематически его убивала...». Слушать было и противно, и жутко. Но статья, которую он нам оставил (со странной просьбой «ничего не переписывать» оттуда!), оказалась еще противнее. В ней было что-то хуже прямых клевет. Мы знали обоих Толстых (были в Яс-

ной Поляне лет за пять до смерти Л. Н.), но если бы и не знали, если б даже дело шло не о Софье Андреевне, – просто о женщине, отвращение, думаю, было бы то же. Чертков хотел печатать статью немедленно, т. е. при жизни С. А. Хотел сделать то, чего она так страшилась, что предчувствовала: вынести на всеобщий суд ее сокровенную жизнь – и как раз в его, чертковском, освещении. (Не знаю, успел ли он сделать это тогда, успела ли С. А., живая, узнать об этом.)

Мы отослали Черткову его листы, от которых шел мертвый дух, и больше его не видели.

Да, человеческий суд над Чертковым и его окружением может быть только предельно суровым судом. Но это не мешает взглянуть на минуту и глубже. Виноват ли мертвец, что он мертвец? Даже сказочный, недобрый, которого бес заставляет в полночь выходить из могилы? И не всегда ли на земле борьба живого с мертвым, жизни со смертью, кончается видимой победой смерти?

Впрочем, не все видимое – правда. И, может быть, Толстой, так правду любивший, и верная спутница его жизни, оба знают теперь, что их поражение было не поражением, а истинной победой.

Закроем на этом трагическую повесть любви, сохранив ее в глубине памяти и одев покровом благоговейного молчания.

СЛОВА И ЛЮДИ

(Заметки о Петербурге в 1904–1905 гг.)

I

– Что это? Гроза?

– Нет. Так. Зарницы играют. Когда еще соберется...

Мельников-Печерский

Солнечное апрельское утро. Страстная суббота 1903 г. Известие, что Победоносцеву надоели Рел.-Фил. Собрания: довольно! Меньшиков о черной мессе заговорил, благонамеренные журналы подхватили, тут же и о. Иоанн... довольно, довольно! Антоний, митрополит С.-Петербургский и Ладожский, заикнулся было, по «либерализму», слово в защиту сказать, да перед непреклонной волей начальства – умолк.

Победоносцев был решителен, мнения имел определенные. И о России имел он мнение очень определенное. Как-то зимой, Мережковский застал его – одного – у митрополита. Тут-то знаменитый обер-

прокурор, в уютном кресле сидя, и пояснил, что такое Россия: ледяная пустыня без конца-края, а по ней ходит лихой человек.

Разумелось, что и пусть ходит, не много беды от лихого человека, в ледяной-то пустыне! А вот, коли, не дай Бог, оттает она...

Мне – любопытную фигуру Победоносцева довелось видеть только раз. Ее нельзя забыть. Что-то от летучей мыши в ней было, с пергаментным лицом человека неизвестного возраста. Походка медлительная, небрежная, – каблуки задевают пол. И при небольшом росте – эти громадные, бледные, прозрачные уши... Впрочем, общее впечатление скорее значительности; не комизма.

Запрет Собраний не удивил: давно ожидался. Что ж, журнал «Новый Путь», где печатаются стенограммы бывших заседаний, остается; и связь с духовной средой; положение, значит, не такое плохое.

Собрания уже дали один видимый результат: в среде церковной стало меньше трепета перед «начальством». Это и по частным собраниям было видно, и по журналу. Не говорю об одной «духовной» молодежи (без ряс); из этой многие давно уже стояли в большой близости к редакции и писали у нас (под псевдонимами, конечно). Но теперь и священники, открыто критиковавшие церковную «литературу», высказывали свои мысли. Хотя и подписывались даже не псевдонимами, а «свящ. Р.», «свящ. А.», – но самое участие их в таком «проклятом» журнале, как «Новый Путь», было с их стороны актом не малого мужества.

А на близком молодом окружении «Нового Пути» стоит остановиться. Теперь не все знают, что тогдашняя молодежь, т. е. двадцатилетние начала века, была довольно культурна: по нашим условиям, конечно, и сравнительно с поколением предыдущим и последующим, – предвоенным.

Условный студент-рубаха, с Gaudeamus, с малознанием, но с искренними порывами «пострадать» и «постоять за идею», – не то, что вывелся, а стал как-то не моден. Но еще не вошел в моду и студент предвоенный, наивно-невежественный сноб, ничем не интересующийся; мнящий, однако, себя и своих «Бродячих Собак» верхом изысканности. (Черты равно типичные и для нефутуриста, и для футуриста.)

Совсем другого склада была молодежь, о которой я пишу. Характерные для времени черты имелись одинаково, и у просто студентов, и у студентов, имеющих отношение или склонность к искусству, и у молодежи так называемой «духовной». Главная, может быть, черта – это серьезность отношения к любому предмету и вопросу; невыдуманный, непритворный «интерес к интересному». В большинстве студенты были начитаны, даже разносторонне; поэты не увлекались своими стихами до невнимания к истории или философии, как и другие, научного

склада, не были чужды искусству. Молодежь «духовная» (из окружения «Нового Пути») годами старше, но душевно была, пожалуй, моложе наших «светских» студентов; она обладала запасом специальных сведений и навыков, позволявших ей успешно вести «религиозно-философский» отдел, где продолжались обсуждаться вопросы Собраний. Но этой областью и специальными знаниями своими молодые доценты уже не удовлетворялись: их влекло к общей культуре. Скоро стали они пробовать себя и в других отделах (как, впрочем, и светские — заглядывают в философский и религиозный, при случае). Если последним недоставало тут знаний и опыта, — молодым церковникам недоставало еще умения «писать»; но они учились.

То, что в «Новом Пути» все как будто чему-то «учились», заставляло недоброжелателей (подчас и доброжелателей, эстетов из «Мира Искусства») упрекать журнал в «дилетантизме». На внешний взгляд, это, пожалуй, и было, — отчасти; хотя я не знаю, мог ли журнал, при той особой задаче, которую себе ставил, и при широком круге молодых сотрудников, избежать «учения», — проб себя и опытов. Он был неровен, особенно потому, что, кроме сотрудников постоянных, открывал двери и для молодежи со стороны. Бывало, что рядом с произведениями старших писателей, уже известных, с серьезнейшими статьями молодых, но испытанных сотрудников, появлялась какая-нибудь нежданная «проба» начинающего. Из авторов таких проб иногда ничего не выходило. А из других выходило; и вышло, хотя первые-то пробы их были не очень умелы. Эта неровность больше относится, впрочем, к художественной прозе. К стихам мы были строже, не говоря об остальных отделах журнала.

* *
*

В это лето, после запрещения Собраний, молодежь с особым жаром отдалась журнальной и даже редакционной работе. Редакция помещалась на Невском, около Литейной: ряд громадных комнат-зал, почти без мебели: это была неудавшаяся «Литературная Лавка» Пирожкова (по типу старой «Смирдинской», но никакой лавки и не открывалось тут никогда, и Пирожкова уже не было). Редактора Перцова тоже не было, уехал на Волгу, секретарь Егоров — всегда отсутствовал, даже корректур не читал. Приходилось действовать на свой страх.

Тут-то молодежь и оказалась на высоте положения. Все делали, что могли. Раз, в мудреннейшей и серьезнейшей статье Флоренского, московского сотрудника (тогда студента-математика 2-го, кажется, курса) произошла невообразимая корректурная путаница. Все наши «присяжные» философы собраны были на совет. Кое-как разобрались. Мне

надо было уезжать на дачу. Сижу в вагоне, второй звонок, — вдруг летит по платформе один из совета, молодой «духовный» доцент, потрясая корректурными листами: «Мы ошиблись. Тут надо дважды: "данное-тварное!". И чертеж не к тварному! Но теперь все в порядке!»

О московских молодых людях, о кое-каких московских встречах, я скажу потом. Сначала же хочется вспомнить живые лица вот этих петербургских; хоть о некоторых сказать два слова, хоть назвать по имени.

Каждый стоял тогда при начале своей истории (жизни), перед своей судьбой (концом этой истории). Никто не знает, — по-настоящему, — истории другого живого человека; оттого и судьба, если она известна, часто остается непонятной.

Из наиболее близких (все студенты), начинавших свою историю жизни, — вот Блок: его судьбу мы знаем, а жизнь... как будто знаем тоже. Вот друг его, «сокровище», Евг. Иванов — «рыжий», невероятно с Блоком несхожий, до последней косточки русский, розановец, но с русской смиренностью и особой глубиной, почти до юродства. Вот затянутый в студенческий мундир польский граф — будущий траппист. Поэт Вл. Пяст, бледный, тонкий, скромный... говорят, он недавно покончил с собой, в России. Серьезный Ельчанинов, — теперь он священник в Ницце. А вот талантливейший юноша Л. Семенов (Тяньшаньский) — необыкновенно красивый, с нежным девичьим румянцем, — это еще поэт, тонкий писатель, но уже скоро революционер, потом сектант, работник у мужика, потом православный священник, убитый большевиками. Гораздо раньше друг его, Поляков, тоже поэт, студент громадного роста и отталкивающего безобразия, убил себя, выбросившись из окошка. А. Кондратьев, со склонностью к истории и древнему миру. Умный, дельный, образованный Смирнов... Впрочем, с него начинается ряд лиц, дальнейшая история и судьба которых совсем неизвестна: Фридберг, Лундберг, Юрий Череда, младший брат С. Дягилева... и сколько еще, имен которых я не вспомню!

Из среды «духовной» не буду называть никого. Неведомая судьба многих, я думаю, трагична.

Москвичи — их было порядочно; но скажу пока лишь об одном, очень тогда стоявшем близко и к журналу, и к его окружению, — об Андрее Белом, тогда больше просто — Боре Бугаеве. Многие ли помнят молодым этого любопытного человека? Необыкновенно талантливый, блестящий эрудит, неутомимый болтун, с танцующей походкой и кошачьими движениями, с ореолом легчайших золотых волос надо лбом, с детски-округленными голубыми глазами, он весь был как-то вывернут; искренно-неверный, искренно-лживый, вечно играющий, — то маленького мальчика, то юродивого; какая-то пленитель-

ность в нем тогда была; может быть, немножко гениальность сумасшествия, и уже непритворного.

Дальнейшая история и судьба его более или менее известна.

II

С осени «Новый Путь» ускромнился. Редакция переехала в маленькую квартирку, в Ковенском переулке. Хотя все мы, и старшие, и младшие, за немногими исключениями, писали без гонорара, материальное положение бывало трудное. Раза два—три мы ездили в Москву, искать денежной поддержки. Долгов не было, но ведь издателя тоже не было.

Москва того времени, разнообразные круги ее, как литературные (тогда начинались «Весы»), так и другие, была очень любопытна. Но вот, из всей массы тамошних друзей и знакомых — 2 человека, о которых я здесь вспомню.

Один жил в собственном доме-дворце и даже в собственном переулке; был неучен и даровит, крепковолен и своенравен. Это Василий Хлудов, уже старик. Известный богач, состоял он в родстве со всей, кажется, московской купеческой знатью. Был наружностью очень приятен: худощавый, седоватый, типично-хитроватый, с быстрыми, бодрыми движениями, со скорым говорком. От него поддержки журнала мы и не ждали, — он был из тех русских, «своим горбом» собирателей, о которых говорят, что он двугривенного сразу из кармана не вынет, раньше меж пальцами его сто раз перетрет. Но к нам, к «Новому Пути», к его вопросам, отнесся он с самым живым интересом и... стал нашим сотрудником. Вряд ли, как шла о нем молва, был он сектант (какой?) или что-то вроде; но те статейки, которые сам он привозил для журнала в Петербург, свежим и сильным языком написанные, и сейчас кажутся не чуждыми своеобразной религиозной глубины.

С нами Хлудов, в первый раз, поехал к тому известному по Москве человеку, о котором я тоже хочу упомянуть. Этот — жил в розовом Донском монастыре, в двух просторных, уютных комнатах — келье. Почему владыка Антоний (Пекинский) отозван был из Китая и водворен «на покой» — не знаю. Но Москва его тогда особенно любила, почитала, кажется, провидцем. Шла молва о его строгости... Но я могу сказать, что столь ласкового, бурно-веселого, шутливого «владыки» мы и в Петербурге не встречали. Совсем еще не старый, бодрый, представительный, красивый, с чуть тронутыми сединой темными кудрями, черноглазый, громкогласный, — он почему-то сразу воспылал к нам чрезвычайным расположением. Ни о нас, ни о петербургских Собраниях он как будто ничего не слыхал, и мы не знали бы о чем с ним говорить. Но он все время говорил сам, — о какой-то монастырской

земле, которую кто-то у кого-то несправедливо отобрал; принялся хлопотать о чае, а когда чай мы похвалили – вытащил кубик (пекинской упаковки!), розовой ленточкой перевязал и мне подарил.

В соседней комнате вся стена у него была в «картинках»: водил показывать, очень гордился, обещал любую подарить, когда еще приеду.

На Хлудова он, в этот первый раз, не обратил никакого внимания. (После они, кажется, очень сошлись.) Помалкивал и Хлудов, наслышанный о «строгости» владыки.

Впрочем, строгость в нем, вероятно, была, как и духовная или душевная сила какая-то, скрытая, ему самому непонятная, с неожиданными проявлениями, как у русских «старцев». Было в Антонии и чуть-чуть юродства; при искренности – это, в русском человеке, порою, признак глубины.

Недаром впоследствии стал он духовником такого человека, как Флоренский и, в известный момент, прямо не позволил ему постричься в монахи; приказал жениться и пойти в священники. И Флоренский послушался. Надо знать дальнейшую историю этого замечательного человека (я случайно хорошо ее знаю), чтобы оценить и приказанье, и послушанье.

В те ранние дни Флоренский, сотрудник «Нового Пути», друг Андрея Белого, еще просто студент, уже был «кладезь учености». Но не этим останавливал он внимание. Когда, бывало, при московских встречах в тесном кружке, глядишь, как он сидит, угрюмый, сдержанный, собранный весь, большеносый, с прямыми соломенно-светлыми волосами, вдоль щек свисающими, – невольно вспоминаются рассказы Белого, о том, как «воспитывает волю» в себе этот человек. Большая сила чувствовалась в нем и тогда*.

Может быть, не русский-перерусский Антоний Донской, ни армянин Флоренский, ни даже Хлудов, ни даже Андрей Белый, – не были бы тем точно, чем были, – в Петербурге. Самый воздух, атмосфера, – и литературная, и религиозная, и всяческая, – в Москве была иная, не петербургская. В оттенках, конечно. Нас отпугивал московский «максимализм», москвичи пожимали плечами, удивляясь нашей «умеренности»; европейцу же мы, наверно, показались бы одинаковыми и, быть может, одинаковыми максималистами...

* Мне хотелось рассказать также о двух молодых москвичах, в то время часто приезжавших в СПб., видавшихся с нами и с Розановым: Э. и Свенцицким. Но без дальнейшей их истории рассказ был бы неполон, а дальнейшее происходило уже в 1908–09 гг.

* *
*

Среди окружения «Нового Пути» все возрастал, между тем, новый как будто интерес: к вопросам общественным. С существующими общественными группировками связи не имели ни подошедшие со стороны эстетики, ни вышедшие из среды церковной; молодежь, по молодости, не имела и времени для таких связей. Отношение же этих группировок и к эстетике, и к религии «Нового Пути», т. е. ко всему, чем журнал занимался, могло только оттолкнуть, – в дальнейшем, от них. Но поворот к интересам общественным не мог не произойти, он был естественной эволюцией, следствием уже произведенной работы. Узость эстетики не удовлетворяла, как, с другой стороны, – и церковная теснота, против которой боролись еще Собрания. Не ставились ли там и религиозные вопросы «жизненно», т. е. с непременным включением вопроса общественного?

Эта эволюция «Нового Пути», пока еще неопределенная, повела, однако, к расколу, вернее, к отколу – и некоторых церковников, и чистых эстетов. Часть Дягилевского кружка отдалилась. «Мир Искусства» стоял тогда перед своим концом; скоро Дягилеву, талантливому новатору, предстояло пойти по своей собственной дороге, уже вне и вопросов наших, и даже литературы.

Еще до начала японской войны наметилось и наше отдаление от Розанова. Шло как-то незаметно, само собой, помимо его и нашей воли. Этот гениальный «плотовидец», как его называли, при всей своей общительности, в самом деле не понимал никакой общности; в самом деле не понимал, что ему «современничают другие люди»; одинок был по существу.

Война. Как отразилось начало японской войны на широких слоях русского общества – не берусь судить. В нашем кругу, признаться, оно произвело мало впечатления. Мы отрицали, конечно, войну, но как-то теоретически, умственно. Никто из нас на своем веку войн не переживал, и эту первую, с Японией, мы не реализовали, чему помогала, вероятно, и ее далекость. Вряд ли мы были тут особенным исключением, если даже Толстой, которого видели мы как раз в это время, не проявлял к войне особого внимания. Почти не говорил о ней; упоминал вскользь, без всякой горячности, и это чувствовалось.

К тому же никаких внутренних перемен мы от нее не ждали; разве только торжества и укрепления самодержавия, потому что, в первое время, держалась общая уверенность, что японцев мы победим. Помнится, раз вечером, в маленькой редакционной комнатке, шел разговор о войне. Был тут и Хлудов, приехавший из Москвы. Розанов, на диване, подогнув ногу, куря папироску за папиросafterской, шептал что-то о

японцах и все приговаривал: «Конечно, конечно, медведь этого мышонка-то раздавит, об этом говорить нечего...». Другие, более, казалось бы, осведомленные, соглашались. Хлудов один, хитро щуря глазки, качал головой:

— Ну уж и раздавит... А как нет? Макаки тоже не дураки. Мы-то, пожалуй, подурее.

А другой раз попал к нам, каким-то образом, адмирал Рождественский, — перед самой своей экспедицией*. Сидел долго, рассказывал, как поведет свою эскадру кружным путем в японские моря и что эскадра его решит дело войны уже без всяких сомнений (чем все это кончилось — известно).

Мы слушали, молчали, сознавая свою некомпетентность, но инстинктивно адмиралу не верили. Когда он ушел, молодой поэт, совершенно уже в этих делах ничего не смыслящий, вдруг дерзко заявил: «По-моему, ничего у него не выйдет. У него в лице что-то идиотическое. Или нет — обреченное. Или то и другое вместе».

* *
*

Бывают периоды, когда вдруг начинает казаться, что «время пришло в умаление». Должно быть оттого, что всяческие перемены внутренние и внешние, вблизи и вдали, начинают быстро следовать одна за другой: так быстро, в такие короткие сроки все меняется, что едва поспевает за ними мысль. Что-то словно сдвинулось и покатилось. Сначала, заметив, удивляешься, а потом и сам, невольно, начинаешь торопиться.

Близкие нам круги не были исключением. Давно ли, кажется, началась война? И началась, а перемен будто не принесла. Запретили отчеты; цензура надавила на журнал; отношения с эстетами испортились; кое-кто из церковников ушел; а извне, казалось, все идет по-прежнему.

Но перемены давно начались. Мелкие вели за собой другие, покрупнее, те — опять следующие; не прошло и нескольких месяцев, как в журнале и редакции все приняло, — с внешней стороны, — совсем другой вид. Редактор, основатель «Нового Пути», Перцов, — ушел; журнал без Собраний, и теперь без отчетов, да еще с растущей тягой к вопросам общественным и политическим по линии, с его, перцовской, не вполне совпадающей, — такой журнал уже мало его интересовал. Редактором сделался Философов, отошедший от группы эстетов.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Его привез к нам, неизвестно для чего, какой-то художник, имени не помню.

Не было и секретаря Егорова; он, тернавцевский «пес», бессменный секретарь и Собраний, и журнала, так умевший ладить с духовной цензурой, — тоже ушел. Вместо него в редакции появилась фигура Чулкова. Этот новый в Петербурге человек, рекомендованный Щеголевым, не очень подходил к сплоченному кружку нашей молодежи. Недавняя ссылка его (университетская история какая-то) нам не импонировала, а поэтическими претензиями и общей неуравновешенностью он, вначале, многих раздражал. Не попадая в тон незнакомой среды, он вечно беспокоился, волновался, нещадно теребя шевелюру. Кто-то сочинил на него пародию, — добродушную, но меткую, — где он повторяет свои же стихи, «рвя на себе волосы». «Я не ваш, я не их, я ничей! Я хочу, и я буду кричать!».

Внутренние перемены тоже были немалые. Усиленное внимание к вопросам общественности, потребность найти к ним определенное отношение, все возрастали. И тем более, что во всей атмосфере русской жизни уже чувствовалась какая-то глубокая перемена: может быть, действовала близость событий.

В это неопределенное, торопливое время и пришла одному из руководителей «Нового Пути» — мысль реформировать журнал, притом довольно радикальным способом.

III

Давно уж следили мы за эволюцией некоторых участников московского журнала «Психологии и Философии». Теперь они образовали отдельную группу и издали сборник — «идеалистический». Что, если дорогам нашим суждено скреститься? В теории мысль эта была правильная: мы исходим из разных пунктов; предположив, что мы идем к тому же синтезу, — мы должны встретиться; за ними стоит их опыт, — общественности; но у нас есть свой, которым мы могли бы им послужить. Почему невозможна совместная работа?

Попытка реализовать этот проект была успешна. После длительных переговоров группа так называемых «идеалистов» согласилась войти, — на равных с нами правах, — в «Новый Путь». И, к началу осени 1904 года, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев и другие (лично до тех пор мы с ними не встречались) — были уже в Петербурге.

События и атмосфера этой осени известны: ее называли «весной» Святополка-Мирского, нового министра, сменившего убитого в августе Плеве. На Востоке теперь шел ряд военных неудач; в закипевшем Петербурге — ряд политических «банкетов». Даже не специально политических, в том смысле, что захвачены были все слои интеллигенции. На одном таком банкете мне пришлось сидеть между г-жой Коллонтай, тогда еще красивой дамой, и поэтом Сологубом.

А маленькая редакция наша внезапно, как по волшебству, преобразилась. Непривычный шум, говор, непривычная теснота. Знакомых лиц почти было не видно, новые люди приходили, толпились, уходили: кипела работа по выпуску сентябрьской, — «новой», — книжки журнала.

Очень скоро, еще ранее выхода этого сентябрьского номера (тогда все происходило скоро), выяснилось для нас и для людей близких прежнему журналу, что мы ошиблись: если дороги наши с «идеалистами» и должны скреститься (если!), то время для этого не пришло. Они, конечно, были на пути к религии. Но, стоявший за ними громадный опыт еще слишком полно владел ими, — как, может быть, владел и нами — наш, совсем другой. Религиозность «идеалистов», в те времена, была еще субъективно-подпольная, если можно так выразиться. Волжский-Глинка, сотрудник «Журнала для всех», прежде воевавший с «Новым Путем», но потом, с идеалистами, вошедший в него, человек мягкий до нежности, искренний до болезненности, признавался мне: в Казанский собор нет-нет кто-нибудь из них теперь и зайдет, один; так, в темном уголке постоять... Но старается, чтоб случайно другой ему там не встретился, не увидел...

Разделяло нас, кроме того, и совершенно разное отношение к области искусства, слова, эстетики. Область эта нашим соредакторам была чужда; и как чуждая вызывала в них какую-то осторожную недоверчивость, которая, естественно, переходила и на нас.

Наше решение уже было принято, когда вышла первая «совместная» книжка «Нового Пути». Толстая, пухлая, как ни одна из двадцати прежних. Внутри, между пространно-тяжелыми экономическими статьями, еще робко ютились двое—трое из нашей молодежи. Юрий Череда, с тонким письмом своим, казался каким-то жалобным.

Можно было или идти на длительную, терпеливую борьбу за наши позиции, — или сознательно, по-хорошему, отступить. Мы выбрали последнее. Журнал, вышедший из Рел.-Фил. Собраний и продолжавший их линию, уже сделал все, что мог; ничего не прибавило бы его дальнейшее существование в эти тревожные времена. Брожение, которое в среде церковной (белого духовенства) несомненно происходило, приобрело свою независимую от «Нов. Пути», жизнь. Благодушные смешанные сборища у Розанова давно растаяли; связь с наиболее интересными кружками и лицами была у нас теперь и через Тернавцева, и непосредственная.

Так заканчивали мы наше журнальное дело, — полюбовным соглашением с мгновенными соредакторами: журнал передавался им, — к счастью, без долгов, — и менял с января название (это было наше условие). На месте «Нового Пути», после ровно двухлетней его жизни,

возник журнал совсем другого типа, имевший с прежним разве лишь слабую внешнюю связь.

В три последние книжки «Нов. Пути» мы, ввиду близкой передачи, уже не вмешивались. Единственный случай, когда пришлось стать на защиту прежнего, — это статья постоянного, давнего сотрудника «Нов. Пути», довольно известного писателя, — о Блоке. Тогда вышла первая книжка Блока «Стихи о Прекрасной Даме». И отзыв о ней — был, кажется, первой, в печати, статьей об этом поэте. Секретарь Чулков, который, хоть и повторял еще «я не ваш, я не их, я ничей», уже явно был на стороне новых редакторов, явился с извещением, что они не видят нужды в статье о Блоке: не так он значителен, да и нужно ли вообще писать о стихах?.. Тут мы не согласились, и так как был еще «Новый Путь», а редакторы считались соредакторами, — статья прошла. Но без подписи автора, под буквой X.

В новом журнале остались из наших сотрудников только два или три писателя старшего поколения (не Розанов, конечно). Но неудачная попытка совместной работы не нарушила прекрасных отношений между всеми нами и редакцией «Вопросов Жизни». (Увы, солидный журнал этот, куда шире поставленный и более обеспеченный, нежели «Новый Путь», не просуществовал и полного года.)

* * *

Откуда, собственно, взялся Гапон, — никто в эти лихорадочные месяцы толком не знал, хотя говорили о нем уже много. Не знала ни «духовная» наша молодежь, ни те бывшие участники Р.-Ф. Собраний «в рясах», которые собирались у Тернавцева или приходили к нам. Что слышали мы от них о Гапоне, — мало его объясняло; во всяком случае, это священник не того типа, к которому привыкли мы в Собраниях; не похож и на самых живых, собирающихся теперь в кружки. А эти, живые, стали очень смелы, кстати сказать. Некоторые из молодых являлись иногда к нам с такими проектами и предложениями, что мы даже в страх приходили. Недаром один умный иерей сказал: «Кому в помощь Собрания наши вышли, а кому и в соблазн. Ну, да Бог вразумит».

Но эта смелость была другая какая-то, другого порядка, чем гапоновская. Тернавцев о Гапоне отзывался с неопределенным недоверием; он не мог не восхищаться, объективно, его умением говорить с громадной толпой народа (Гапон был священником в рабочем квартале, за заставой, там и речи-проповеди свои произносил). «Он ведь что делает, — рассказывал Тернавцев, — он не поучает, не наставляет, а разговаривает с ними. Скажет что-нибудь — и сейчас вопрос им: как ду-

маете? Они все отвечают, — конечно, к ответу он уж подвел их, но они-то думают — сами с ним говорят, и чем дальше, — все идет зажигательнее. Кабы видели вы, какие толпы вокруг него растут!».

Очевидно, это был стиль митинговый, у нас еще тогда неизвестный. Год тому назад начальство быстро убрало бы Гапона; но теперь, сбитое с толку «банкетами», не удосуживалось заняться проповедником в рясе, где-то за заставой. Да и проповеди были ловки: все царь-батюшка поминался, прямой защитник народа от общих несправедливостей.

Гапон, конечно, был человек неумный, даже не особенно хитрый, и слабый. Попал на зарубку, его закружило собственное влияние и понесло куда-то. Он легко становился игрушкой во всяких руках, что доказала и дальнейшая судьба его...

Давно не было журнала, но кружок сотрудников еще оставался сплоченным. Молодежь собиралась у нас, обыкновенно, по воскресеньям.

Воскресенье, 9-го января, было морозное, не ярко, но ясно-снежное: с утра над Летним Садом, на белом небе, висел безлучный красный шар солнца, окруженный сияющим радужным кольцом. Улицы тихи — зимняя петербургская тишина.

Мы говорили у камина, все о том же: о странном времени, о его тревожности, — теперь самые наивные чувствовали близость каких-то событий. Нас прервал на минуту неожиданный гость: Боря Бугаев (А. Белый) прямо с вокзала: приезжая из Москвы, он останавливался у нас.

Но едва успел он поздороваться, как влетели еще двое друзей наших, в сопровождении какого-то незнакомого молодого человека, и все сразу заговорили, в волнении, перебивая друг друга: «Вы знаете? Вы знаете?..».

Смутный слух о том, что рабочие собираются идти прямо к царю, подавать какую-то просьбу и поведет их Гапон, — уже был в городе. Слуху не верили. Теперь, со слов очевидцев (подошли и другие свидетели), оказывается, — да, шли к царю (его, кстати, и в Петербурге не было), несли хоругви и царский портрет. На Набережной встретила их полиция...

— Нет, казаки! Ну, и полиция... И вдруг — залп. Понимаете, в безоружных! Повалило много. Раненые... И убитые, конечно.

— А Гапон?

— Впереди шел. Я видел. Ну, может, и не совсем впереди... Только когда стали стрелять, он исчез.

— Да, да, — перебивает другой свидетель. — Я знаю. Его спасли, скрыли... друзья. Он переоделся, волосы ему кое-как остригли, он в безопасности... Вы будете вечером в Вольно-Экономическом?

Чтобы понять общее волнение, надо вспомнить, какой непривычностью были тогда для Петербурга выстрелы на улице, трупы и кровь на снегу... Кто-то еще приходил, уходил, кто-то остался обедать. Большинством овладела жажда «действовать», – так или иначе реагировать на события. Явилась, – кому, не помню, – довольно странная мысль, тотчас всеми принятая, однако: ехать по театрам, прекращать спектакли.

– Этого нельзя оставить... Это день траура... Нельзя, чтоб люди сидели в театрах, как будто ничего не случилось...

Составилось несколько групп. Наша, из четырех или пяти человек, поехала в Александринский театр.

Там – все тихо и мирно. Шла пьеса Островского. Публики ни мало, ни много, публика обыкновенная. Признаться, эта знакомая тишь Александринки нас, приехавших скандалить (протестовать!), как-то охладила. Мережковский, который хорошо знал директора, предложил просто вызвать его и попросить без шума прекратить спектакль, – «по-хорошему». Воображаю, что вышло бы из этого наивного проекта: но он не осуществился – директора в театре не оказалось.

Мы пошли в зал. Сели в разных местах. В полутемном зале было тихо; минут пять–десять шло действие. Вдруг, прерывая монолог Варламова, – звонкий голос из публики: «Мы просим прекратить спектакль... Сегодня, на улицах Петербурга...».

Несколько голосов присоединилось. Мы встали. Если б Варламов не замолк, с детски-испуганным и огорченным лицом, если б другие актеры нашлись, – все бы это кончилось ничем. Но опять – такая была, для Петербурга и для Александринских палестин, в подобной дерзости необычность, что замерли актеры, остолбенел Варламов, вскочила с мест публика, зажглась люстра, все дружно бросились к выходу, а занавес пополз вниз.

Мы, из театра, поехали в Вольно-Экономическое.

Коренным петербуржцам памятны, конечно, собрания в Вольно-Экономическом. Этот вечер был особенно любопытен. Вся интеллигенция, кажется, налицо, известная и малоизвестная, в перемешку с людьми совсем неизвестными. Речи, речи, то снизу, то сверху: с белых, низкосводчатых, балконов.

Боря Бугаев, который безмолвно, с растерянно-любопытствующим видом, следовал всюду на нами, – взобрался на случайный стул, около меня; с хор вдруг заговорил кто-то голосом диким, хриплым, точно перерванным. И речь была странная, от хрипа казавшаяся еще диче, вся в кусках. «После того, что ныне случилось... Мы надеялись... Но теперь... Теперь я вызываю молодых техников... Химиков... Вина отныне... вся вина...».

14 Зак 4570

Боря наклоняется с высоты стула ко мне, шепчет, округлив глаза: «Химиков вызывают. Я тоже химик. Мне тоже идти. Куда?».

Махаю ему рукой: молчите! Никуда! Говорящего почти не видно под низким сводом балкона. Но мы уже знаем, что это переодетый, остриженный Гапон и что он призывает к террору.

* *
*

Атмосфера Петербурга, в течение последующих месяцев, была странная. Неспокойствие, глухой и тревожный ропот жизни, чувствовались и в той ее части, которая находилась в поле моих непосредственных наблюдений. Завивались новые кружки, отдельные, мало между собой связанные. Даже в литературной среде: редакция «Вопросов Жизни» стояла особняком, там были свои, для петербуржцев новые люди; немногие писатели – новопутейцы, в журнале оставшиеся, не сливались как-то с его кругом. Один из них, Вяч. Иванов, уже начинал тогда создавать свое собственное, вскоре весьма разросшееся, окружение. Вячеслав Иванов лишь два года тому назад переселился из заграницы в Петербург. Новый эстетический круг этого писателя, поэта, ученого, горячего эллиниста, широкий, очень смешанный, казался нам — более всех прежних — смутно-беспорядочным. По времени таким, вероятно, ему и следовало быть; но мы все же держались в стороне. С «идеалистами» виделись чаще, оставаясь в прекрасных отношениях.

Особенно сошлись мы – лично – с Н. А. Бердяевым. Он и я – проводили иногда часы в горячих беседах. Говорили о религии мало. Бердяев, блестящий метафизик, был тогда еще только «идеалистом».

И уж совсем отдельно, почти подспудно, существовал живой кружок «духовных» лиц, участников Собраний. С ним мы сохраняли связь довольно тесную. Из будущих «32-х» священников наметилось, к весне, больше половины. Тернавцев действовал там с большой горячностью. В нем еше незаметна была перемена, которая впоследствии, — вдолге, правда, — привела нас к разногласию и затем к разрыву.

А что же студенты «Н. Пути», вся «светская» молодежь? Она стала расходиться, в этот момент, каждый по своей дороге, к своей судьбе. Судьбы многих теперь нам известны... Но я говорю о тогдашнем времени. Тогда, к весне 1905-го года, некоторые уже стояли близко к революционному движению. Между ними — и душевно тонкий юноша-поэт, Леонид Семенов, судьба которого особенно замечательна... (Летом он был арестован.) Другие пошли сразу по религиозной линии. Не знаю ни одного, кто бы вполне примкнул к эстетическому поезду Вячеслава Иванова, бурно развивавшему ход.

Скажу мимоходом, что некоторым из нас, этой весной, случилось впервые действительно понять, **что такое война**, прикоснуться к ее реальности. В Одессу прибыл пароход, привезший все «человеческое», что осталось от Порт-Артура. Мы жили в той же гостинице, где поместилась вся группа офицеров с сестрами милосердия. Неделя близкого с ними общения дала больше, чем все рассказы о войне.

Люди с плохо залеченными ранами, большинство – инвалиды; но не это главное. А то, что они при этом были как-то странно и жутко веселы: и вдруг, на минуту, веселье сменялось слезами. Они были, – полузаметно, но несомненно, – сумасшедшие. Сестры при них тоже казались попеременно – очень живыми и очень, совершенно, мертвыми. Вот тогда-то и понялось, что на войне, если даже не очень ранено тело и даже если оно совсем не ранено, – душа ранена смертельно. Почти всегда. (Из этих офицеров, как потом узналось, разнообразно погибли почти все.)

Но вот и «лето мира»... с Японией. Ход дальнейших событий известен. Осенний Петербург, погруженный во мрак, являл невиданное зрелище. Чуть не на всех углах, до поздней ночи, при мерцании каких-то случайных плошек, шли уличные митинги.

Вокруг – толпа; вряд ли знает она, кто говорит и что, собственно, но слушает тихо, внимательно. Несмотря на слухи о полицейских избиениях, на угрозы стрельбой, – не было паники даже в ничего не понимающих обывательских низах; было – любопытство. Легкомысленное – но скорее сочувственное. Как же не любопытно, что будто и вправду «начальство ушло»? (Розанов издал под этим названием брошюру, которая была конфискована.)

Интеллигентские собрания, при тусклом пламени свеч, происходили с особенным подъемом. А раз, помнится, собрались мы даже при одной свече на пустом деревянном столе. Собрались с Тернавцевым, с пятью–шестью священниками, в маленькой квартирке на Песках, неизвестно чьей. Обсуждалась окончательная редакция «записки» 32-х священников. Тридцать два человека в комнатке нашего заседания и не поместилось бы. Но подписи все уже стояли (громадное большинство – участники Собраний).

Никто еще не знал тогда, чем кончатся «неслыханные» происшествия. Но присутствовавшие батюшки (из самых смелых) твердили, что «записка» все равно пойдет в ход, как бы дело ни повернулось.

Вряд ли была она очень резка (я ее не помню) или очень определенна. Однако заседание это, которому свеча в бутылке придавала таинственность, и новое, мужественное настроение служителей церкви были отрадны. Тернавцев тоже был отраден – так пылко поддерживал он дух пастырей.

Высшая иерархия ничего об этом, конечно, не знала: но в эти дни и о ней никто ничего не знал; точно и она «ушла», – вместе с начальством.

Напряжение в городе росло. Трудно теперь (после пережитого) вспомнить ощущение, с каким смотрели мы, из высоких наших окон, на «демонстрации» – процессии с красными флагами, двигающиеся по Литейному. Они нам казались грандиозными. Приближалась гроза... Должно быть, и на правительственные верхи все это производило известное впечатление, стараниями Витте еще усиленное. Ничего подобного раньше не бывало... В манифесте 17 октября так ведь и сказано: «этот **неслыханный** бунт...».

Первые слова человека, пришедшего к нам со свеженьким манифестом: «Ну, все кончено. Все получено. Свободы. Парламент. Конституция».

Радости в голосе – никакой.

– Конституция? А может самодержавие дать конституцию? Я объективно спрашиваю. Может?

– Не... знаю. Нет, по-моему, не может.

Конституция или не конституция, но что не «все кончено» – в этом пришлось убедиться на другой же день. Разросшиеся уличные демонстрации, с песнями, флагами, – ну, это, говорили иные, – радость народная по поводу дарованного монаршей милостью. Забастовка не прекратилась? Нельзя же, мол, сразу, завтра кончится... Но слухи из Москвы шли тревожные. А вот уж и не слухи: молодой рабочий в темной куртке, знакомое тонкое лицо: Леонид Семенов, поэт новопутейский!

– Когда вас выпустили?

– Не так давно... Не мог зайти к вам, был занят.

– Вы по делу с.-р.?

– Нет, я отошел от с.-р. Я примыкаю теперь к группе с.-д. марксистского толка...

Молчание. С-деки, марксизм – было то, что со дней моей юности, со дней молодости Туган-Барановского и Струве, которых мы хорошо знали, отталкивало меня неодолимо: сперва полусознательно, а потом и сознательно. Но оттого ли не сошлись мы и с «идеалистами», что оставался еще на них налет марксизма?

– Диктатура пролетариата, – продолжал Леонид С., – я убежден, что диктатура пролетариата...

Слушать было тяжело, он это заметил, заторопился:

– Я пришел проститься. Сегодня еду в Москву. Решено восстание. Силами согласных групп. Все готово.

– Так это, значит, правда?

Петербург не скоро узнал точную правду о восстании, о «Пресне». Огорченных неудачей мне пришлось видеть немного: да, кажется, большинство не понимало и смысла его. Но все, и верящие, и неверящие в манифест, возмущались – репрессиями (по привычке, может быть?); льющаяся кровь, – по непривычке, может быть? – действовала тогда на людей подавляюще, раньше всяких рассуждений. Голоса разделялись потом.

Голоса церкви не было вовсе. Она молчала.

Понятна тревога тех, кто имел к церкви серьезное отношение. События, по связи верхов правительственных с церковными, не могли их не коснуться; и, действительно, коснулись, в первое же время: ушел Победоносцев, а это, по-тогдашнему, был целый переворот. Но ведь такие события – не административные же перевороты и перемены; может ли церковь (поскольку высшая иерархия – церковь) молчать в эти дни?

Неизвестно кто, – новый ли обер-прокурор Оболенский, или митрополит Антоний, – понял первый, что церкви невместно безмолвствовать; но, несомненно, что оба они, и поняв, не могли найти форму, в которую должно выделиться слово церкви.

Я заключаю это из того, что воззвание м. Антония, напечатанное во всех газетах, было составлено в нашем доме, в присутствии Оболенского и нескольких церковных друзей наших (не духовного звания). Сравнительно с текстом, увезенным Оболенским, в печати были небольшие сокращения, но никаких изменений. Насколько помнится, это воззвание (или обращение, или, может быть, иначе) особенного ничего не представляло; вряд ли может оно быть названо «историческим». Все же его появление успокоило многих, искренно церковь любящих.

* * *

В этих кратких заметках я не могу коснуться всего и всех, с кем приходилось нам тогда сталкиваться. Не все могу и припомнить. Живо лишь ощущение всеобщего, разнообразного, часто беспорядочного бурления.

Печать не замедлила воспользоваться новыми свободами. Говорю «печать», потому что литература, в те первые дни, своей свободы не могла еще проявить, а рои вдруг замелькавших листовок, брошюр, журнальцев, сатирических и других, и остроумных, и грубых, всяких однодневок, – литературой назвать нельзя же. Не литература были и социалистические газеты, нового у нас тона. Меньшевистская и большевистская публика различала, пока лишь по тому, что в первых писалось «социал-демократия», а во вторых – «социалдемократия».

Если в однодневках попадались имена настоящих писателей, — вроде Сологуба, — то в социалистических, кроме Горького, еще не было никого. И многих удивила поспешность, с какой Н. Минский, довольно известный в свое время «поэт», кинулся прямо к социал-демократам (большевикам), стал даже подписывать газету Ленина. Но этот умный, — более умный, нежели талантливый, — стихотворец-философ (он изобрел даже собственную, «мэоническую» философскую систему), страдал всю жизнь каким-то странным беспокойством, где ни почуется ему «последний крик времени», туда, не разбирая, он и кинется. «Гражданский» поэт 70-х годов — в конце века он уже старается «декадентить»; в Рел. Собраниях защищает «мистическую розу на груди церкви»; соблазнился, было, эллинизмом и хороводами в кружке Вяч. Иванова; но вот — социал-демократы; он «вполне сошелся с ними», — им нужна философская «надстройка»; эту надстройку, «мэоническую», он и будет производить в газете. Однако после двух социал-мэонических фельетонов, Минский в газете перестал появляться; кружку Ленина довольно было надстроек. Не помогали и постоянные выступления Минского, на всех эстрадах, с новым стихотворением, которое так и начиналось:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..» *.

Кончилось же это совсем плохо: едва пошли разгромы — новые друзья «поэта» скрылись, а он, «редактор», к ужасу своему, попал в крепость. Выпущенный под залог, усердием друзей старых, — убежал за границу и превратился — нежданно-негаданно, безвинно и бессмысленно, в вечного эмигранта.

А разгромы, всяческие, ждать себя не заставили. Начав, после Москвы, свое дело «успокоения», правительство его уже не прекращало. Дело, сказать правду, нелегкое: со «свободами» манифеста, в первое время, надо же было считаться, не все привычные методы годились; а «успокоения» требовали сверху немедля. Ошибочек, да и нелепостей, пошла от усердия куча. Помню один «литературный» обыск, во время самого «аполитического» собрания у Вяч. Иванова: происшествие более комическое, нежели страшное. Арестовали, впрочем (на одну ночь), мать поэта Волошина: она была, по обычаю своему, в шароварах; это показалось, должно быть, подозрительным.

Когда сходился наш самый близкий, сильно поредевший, кружок «духовной» и «светской» молодежи, разговоры, опять и опять, шли о «самодержавии». Вопрос ведь поднят был еще в Собраниях... и как те-

* Впоследствии сам автор не спорил, что стихотворение это как стихотворение — помимо всего прочего, — ужасно. Но признавался, что в те времена на все был готов, «хоть плясать» перед аудиторией.

перь обострился! Студенты, за один–два года, успели вырасти, словно за 10 лет. Даже те, оставшиеся, не ушедшие в действенную политику с головой, подобно Леониду Семенову, ставили теперь вопрос реально. По существу спора не было: чисто «духовная» формула — «самодержавие от Антихриста!» — так или иначе принималась всеми. У «светских» и без Антихриста довольно находилось исторических и философских доводов для такого же горячего отрицания абсолютизма. Конечно, была в попутных спорах и отвлеченность, порою наивность; но когда же, если верить Достоевскому, обходились без этого «русские мальчики»? «Да, — говорили одни, — самодержавие должно быть уничтожено; но надо, при этом, чтобы сама "идея погасла в умах"; иначе оно непременно вернется, без личины или под личиной, а с ним и рабство».

Другие кричали: «Пожалуйста, гасите идею! Через пять десятилетий вы еще будете сомневаться, совсем ли она в народе погасла! А что, если и теперь ее почти уже нет? Свергнутое самодержавие увлечет за собой и свою идею!».

Но как здесь, так и в других, думается, кругах, еще сохранялись тогда иллюзии относительно дарованных «свобод», конституции, парламента... Что же, мол, за самодержавие, если будет Дума? С ней начинается политическая жизнь в России; фактом бытия своего Дума уничтожает и самодержавие, и само его имя.

В церковной среде происходило какое-то движение, но уходящее внутрь. Тернавцев вдруг увлекся московской рабочей организацией, — ее окрестили впоследствии «зубатовщиной». Считается, что это была затея мрачно реакционная. Вряд ли так: мы были у Тернавцева на двух заседаниях, вместе с несколькими либеральными церковниками; присутствовало 6—7 московских рабочих-делегатов. И впечатление от этих вечеров у нас осталось скорее хорошее. Впрочем, тернавцевского увлечения мы не разделяли, и как потом дело обернулось — я не знаю.

Время, между тем, шло... летело, вернее. Вся зима 1905—1906 гг. видится мне теперь, как одна черта, разноцветным зигзагом промелькнувшая и погасшая.

ФЛОРЕНЦИЯ — СЕГОДНЯ

I

Есть города, которые любишь, как живые существа. Любишь не за красоту, не за историю, не за историю своей жизни, с ними связанной, — а за все это вместе. Такова для меня Флоренция. В памяти со-

хранялся ее живой образ, и мне даже не хотелось, после долгих годов разлуки, вновь увидеть ее – сегодняшнюю. Ведь и долгие годы эти были особенные годы, когда не только мы, «покорны общему закону», переменились, – изменилось все и вся вокруг... Конечно, древняя красота Флоренции неизменна; но ее ли, такую известную, описывать? А новая жизнь – можно ли понять ее в несколько дней, разобраться так, чтобы сделать добросовестно объективные выводы?

И я хочу ограничиться, в моих заметках, просто импрессионизмом. Просто рассказать о виденном и слышанном, передать впечатления от новой Флоренции, какими они создались, не утруждая себя ни выводами, ни заключениями. Это хороший метод, он дает и объективность известную, и самую свободную свободу.

Когда-то мы подолгу живали во Флоренции. Отсюда ездили по бесчисленным маленьким городкам Италии и возвращались. Дважды были в селении Винчи, подымались даже на Monte Albano с ее белыми дроздами и белой лесной земляникой. Дроздов, впрочем, не видели, но земляники, действительно, совершенно белой, и во Флоренцию привезли целую корзинку.

Профессор Уцielли в Винчи, с нами ездивший, первый серьезный исследователь и биограф Леонардо, – давно умер. Да и никого из тех, с кем у нас связана память о Флоренции, нет уж, кажется, в живых. Невольно думалось об этом, когда мы выезжали из Парижа. Лил холодный, точно не майский, – осенний, – дождь. Траурное небо... Да и город в те дни был траурный.

Только ночь одна, и вот, словно по волшебству, весна; даже не весна – «primavera» итальянская, со стерто-нежным небом над нежной зеленью холмов. Мы это небо, именно это, узнаем: такое здесь оно было, такое осталось. Узнаем скоро и наклоненную башню, увитую галерейками, – она как на ладони, – это Пиза. Площадь перед древней башней заросла ли, как прежде, травой?

На флорентийском вокзале нас встретило несколько человек, – председатель и члены учреждения, которое пригласило Мережковского прочесть во Флоренции лекцию. Мы, в Париже, не совсем, признаться, понимали, что это за общество; да и трудно было понять издали, так как ни во Франции, ни в других странах подобных учреждений нет. Во всех крупных городах Италии имеются «комитеты» (отделения?) этого общества «высокой культуры» (Alta Cultura). Комитет Флоренции устраивает по веснам «интернациональные культурные недели», т. е. приглашает для лекций более или менее известных писателей других стран. В программе нынешнего года были, между прочими, Томас Манн, Стефан Цвейг, Поль Моран, Людвиг, американец Ezra Pound... Сбор с лекций (и не малый, вероятно, ибо в зале Palazzo Vecchio почти

на тысячу человек) – идет в пользу «Дома интернациональных студентов».

Эти подробности мы узнали после. С вокзала, еще в зимних шубах, едем по солнечным улицам – домой.

Какое окно в нашей комнате! Лучшее место на Лунгарно, почти у самого Ponte Vecchio. Внизу – тихий и быстрый, бледно-малахитовый Арно, под тихим вечерним солнцем; на той стороне – ряд старых домов, купающих подножия прямо в воде. И колокола! Колокола! Давно мы их не слышали.

Это хорошо, что лекция еще не завтра, не послезавтра. Успеем осмотреться. Арно-то знакомый, а божественный купол флорентийской Марии Цветов тот же, а все-таки, мы в незнакомом городе, в незнакомой его жизни.

Еще в Париже мы получили несколько приглашений: от четы Строцци (есть ли в Италии дворец прекраснее Строцци?), от клуба Л. да Винчи, от «Unione», – Союза, который так непонятен, что мы даже просили кого-нибудь оттуда зайти к нам, в день приезда, чтобы сговориться.

Это, кажется, тоже что-то вроде интеллигентно-культурного общества с отделениями по всем крупным городам. От него пришла сначала маркиза делла Р., пожилая дама, а затем другая, молодая, бар C-li, она соседка, живет в старинном палаццо своем, рядом.

Решаем Унион посетить перед самым отъездом. А с соседкой завязываем что-то вроде приятельства: она зовет нас завтракать, потом вечером. У нее можно, кажется, встретить кое-кого из интересных нам, и неведомых пока, – «фашистов».

* *
*

Веселый город Флоренция, веселые и прелестные улицы, говор и быстрый шаг текущей толпы, такой знакомый итальянский «rumore»...* Отчего сегодня мне все это кажется еще ярче, еще веселее? А древние церкви и дворцы – еще прекраснее? В каком, должно быть, угрюмом и злом сумраке протекли эти долгие годы, если здесь, на свету, и знакомое – как новое.

Впрочем, есть в облике – внешнем – Флоренции кое-что и действительно новое. Бывало, ходишь по извилистым, «интимным» улицам ее, как по своей комнате. А теперь тут же, сзади, спереди, крича, протискиваются... автомобили. Именно, протискиваются, то между на-

* шум (*ит.*).

родом, то между стенами коленчатых коридоров-улиц. На перекрестках, кое-где — полицейский, на парижского агента совсем не похожий: глаза строго выпучены, руки, в белейших перчатках, раскинуты в стороны, чуть не касаясь пальцами стен, иногда. А флорентинцы, как прежде, ходят себе посередине улицы, ни на автомобили, ни на рои велосипедистов не обращая внимания.

На пьяцце Синьории, около Старого Дворца (лектор хотел заранее взглянуть на залу, где будет читать), — «rumore» совсем нас оглушил, была пятница, день крестьянского базара.

Зал лекций разве лишь вполовину меньше главного, самого громадного. Тут когда-то стену украшала знаменитая фреска Леонардо — «Битва при Ангиаре». Она погибла, как «Тайная Вечеря» в Милане, из-за несовершенства изобретенных художником красок. Теперь на стенах зала висят старые, прекрасно сохранившиеся, ковры.

Лекционный зал — почти квадратный; широкие окна по двум стенам. Не понимаю, какие тут «лекции»: тут таинственные совещания, или служения торжественные; и кресло-то на маленькой эстраде — словно трон. Нечего обманываться: любой из продувных и грязноватых парижских зал, даже новая, очень «модерн», не очень смахивающая на анатомический театр, — больше приспособлена для лекций, пожалуй, и в смысле акустики.

Домой возвращаемся пешком, вместе с писателем и профессором Е. Барфуччи, одним из главных членов «комитета» Alta Cultura. Это на редкость симпатичный, тонкий и тихий человек. Специальность его — этрусские древности, но пишет он и по философии. Типа скорее созерцательного (чего и сам не отрицает); достаточно пробежать его «Книгу Утешений», чтобы это понять.

Но Барфуччи имеет соприкосновение с кругами самыми разнообразными, и в долгой беседе с ним уклад здешней жизни немного перед нами выяснился.

У Барфуччи нет «значка». Нет его и у сенатора Висконти, длинного-длинного рыжебородого председателя клуба Леонардо да Винчи, где мы пили чай на следующий день, среди множества собравшихся членов. Но у одного из наших спутников на Сан-Миньято (после клуба Висконти повез нас туда прокатиться) вижу знаменитый фашистский значок, и даже с особым украшением. Расспрашиваю осторожно. Заслуженный фашистский генерал ничего, однако, интересного мне не сообщает. Я так и не знаю, почему у большинства значка не имеется. Ведь ношение его обязательно. Или только для фашистов активных, действенных? На улице уж случилось приглядываться: у молодых, демократического вида, — непременно. А чуть постарше человек, посолиднее — не видать.

Значок, может быть, пустяки. Но я вообще решаю «разговаривать». Что, в самом деле! Так — ничего не узнаешь. А знать я хочу. Только о них, как они сами о своих делах думают, как на них смотрят сами, — больше ничего.

* * *

На другой день, около пяти, подымаемся по бесконечной каменной лестнице, пологой, почти лежачей, в залы Palazzo Vecchio.

Около лекционной есть сбоку небольшая комната с высоким окном, со старыми деревянными скамьями-седалищами по стенам, с низкой сводчатой дверью в зал. Если я говорю «комната» и «небольшая», то небольшая она только по сравнению, на комнату же весьма непохожа: пещера не пещера, часовня не часовня. Может быть, и трапезная какая-нибудь в прошлом: длинный досчатый стол посередине.

Тут, среди всех почти недавних знакомств наших, оказалась и чета Строцци, у которой мы завтра обедаем.

Это — последние Строцци, последние прямые потомки древних князей, владельцев флорентийского Palazzo: у них нет наследников. Мы ожидали почему-то увидеть старичка и старушку. Или старую величественную чету. Но они оказались не такими. Он — совсем, правда, не молод, даже — стар, однако отнюдь не скажешь про него ни «старичок», ни «величественный старец». Особенно же необыкновенна она. Высокая-высокая, тонкая, как тростинка, пожилая... девочка. Грациозные движения, худоба подростка, милое, почти наивное, выражение глаз, — ну, совсем двенадцатилетняя девочка... со старым лицом. Трудно передать это необычное впечатление. Женились они недавно, уже после войны.

Но пора начинать лекцию. Зал давно полон. Мы вышли из боковой двери. Лектор взобрался на узенькое возвышение, на кресло, нелепо смахивающее на трон. С первых слов стало ясно, что великолепная зала, да еще переполненная, акустику имеет отчаянную. Но хоть и акустика, и язык французский, слушали «иностранца» со вниманием. Может быть, действовало то, что лекция была о Леонардо да Винчи. А читал автор романа, в Италии довольно известного.

Впрочем, так лекция только называлась: в ней столько же было о Леонардо, сколько о Гёте, о Данте и... о «безымянном ужасе России».

Меня интересовала публика: совсем другая, даже внешне не похожая на публику всяких наших, привычных, русских и французских «конференций». Да и все было не похоже: и зал, и ярко бьющее в окна, сквозь белые занавески, весеннее солнце.

Рядом со мной сидит, уже знакомый нам с Парижа, писатель Джиованни Папини. Он только что сегодня приехал откуда-то из деревни. Кажется, доволен, что лектор (хотя это не в обычае) устраивает перерыв: в зале нестерпимая жара.

Немногим прохладнее и в боковой комнате. И там теперь толпа. На столе – груда книг: лектор, вместо отдыха, принужден их подписывать.

Дамы окружили Папини, соседка наша, баронесса С-i, усиленно зовет его к себе, но он машет головой: он, оказывается, «Sauvage!». Настоящий дикарь, щебечет баронесса, никуда не ходит!

Я, на скамье деревянной (stalles, как в монастыре), под высоким окном, беседую с монсиньором Vay di Vayda (старая венгерская фамилия).

Худенький, приятный, в черных перчатках, он рассказывает мне, что долго жил в России. При большевиках сидел в заключении, был смертником... (выручил, наверно, Рим). Говорит мне об Иоанне Кронштадтском: «Неправда ли, он похож на нашего Франциска Ассизского?». Я не противоречу. Мы сходим на святых, на двух Терез, на чудеса... Жалко, перерыв кончился. Надо возвращаться в залу. Ах, какая там теперь теснота! Лектор едва пробрался к своему месту, мы же с Папини так и не протолкались.

Но второе отделение, к счастью, было кратко. Преодолев всякие еще задержки на пути, – мы выбираемся, наконец, из дворца. Домой, домой! Духота особенно утомляет. А вечером надо к соседке: «Только два–три человека у меня будут».

II

«Только два–три человека у меня будут!» – сказала нам соседка, приглашая вечером к себе.

Один из этих двух–трех оказался, действительно, интересным.

Молодой, плотный, весь крепко сшитый, с темноватым, некрасивым, но значительным лицом: оно асимметрично и сбоку чем-то напомнило мне лицо Савинкова. Жестов очень мало, чувствуется сдержанность; мы привыкли ждать «фуги» от итальянцев, но тут фуги никакой. Это А-ти, убежденный фашист и личный друг Дуче (как шепнула нам раньше хозяйка).

Был, кроме А-ти, еще один молодой философ, была очаровательная молодая венецианка. Разговор завязался интересный.

Но раньше – попутное замечание: со всеми почти людьми, с которыми мы встречались в разных обществах, клубах и гостиных, возможен был разговор более или менее серьезный, – не болтовня; примечательно тоже, что в разговорах этих принимали иногда участие и

дамы, с немалой культурной тонкостью. Мне скажут — что могли мы видеть? Сталкивались только с «элитой», в том или другом смысле, т. е. с двойным, «светским» кругом: старой отживающей аристократии, и новой подымающейся правительственной. Спорить не буду, поле наблюдений моих узко, но и в его границах многое достойно отметы. Любопытно уже то, что обе «аристократии» образуют в данный момент **один** светский круг. Не рядом сосуществуют, а в каком-то соединении. Между прочим: всем известно, что два наиболее влиятельных культурных деятеля Италии, Джиованне Джентиле и Бенедетто Кроче, держатся не только не одинаковых на фашизм взглядов, но даже противоположных; культурная жизнь Италии от этого, однако, не страдает: оба деятеля находятся в постоянном контакте.

Но вернемся к «верному» А-ти. Он недурно говорит по-французски; все же мало-помалу одушевляясь, переходит на итальянский. Тема слишком живая: о принципе фашизма, о христианстве и о «liberta» *.

По существу, в словах А-ти ничего нет для нас неожиданного: это — примат коллективного принципа; яркий, активный национализм. Христианство? Оно, конечно, утверждается, ведь оно — Рим, католичество. Свобода? В эти общие рамки входит и свобода; вся свобода, которая нужна...

Передаю лишь приблизительную суть этой, — право, вдохновенной, хотя и сдержанной, — речи. Прослушав ее, Мережковский сказал:

— Не знаю, возражать ли вам... Мои возражения вас все равно не убедят. У меня другое понятие о свободе, вытекающее из понятия о личности. Если я вас понимаю, — прибавил он с полушуткой, — скажем так: сегодня я вам не вреден, но если б вам показалось, что я начинаю быть вреден, вы бы меня устранили... любым способом? Не правда ли? Что же касается христианства...

Но тут перебила хорошенькая венецианка:

— Мне кажется, вопрос был о христианстве, об отношении фашизма к христианству, а не к католической церкви. Если же церковь, то надо брать Eglise Universelle **.

Это замечание, скромно выраженное, но очень верное, осталось втуне для А-ти. И вовсе не потому, что он думает (когда думает), что Рим и есть «Eglise Universelle». Нет, мы все больше убеждаемся, что если в общее построение известных идей и входит как необходимость Рим, Ватикан, то быть при этом верующим христианином никакой необходимости нет.

* «свобода» (*ит.*).

** Вселенская церковь (*фр.*).

* *
*

С удовольствием думаю на другое утро о предстоящем обеде у Строцци. Побывать в этом дворце дворцов, которым мы когда-то так любовались! На широких каменных приступках-скамьях, его окружающих, сидел еще Леонардо, может быть, с Маккиавелли беседуя...

Милую «девочку», княгиню, тоже повидать еще раз приятно.

В половине девятого за нами заехала сестра княгини.

Строцци занимают теперь лишь главную, угловую часть дворца. В остальной помещается что-то вроде антикварного музея. Кому иначе под силу поддерживать такую громаду? Да и зачем, и как жить в семидесяти непомерных покоях-залах?

Жилая часть дает понятие обо всем дворце. То ли, так ли было в этих комнатах, в этих переходах, несколько веков тому назад? Думается, и так — и не так. Но живая жизнь, сегодняшняя, вошла в прошлое скромно, без оскорбительности, даже там, где это особенно заметно. Вделанный в толстую стену лифт не обижает: зачем идти по ступеням торжественной, но бесконечной лестницы? А электричество... могли ли столь нежно сиять высокие покои, как сегодня сияют, под мягким светом невидимых ламп?

Вижу, в углу гостиной, целые кусты весенних жасминов. Не южных, ривьерских; нет, белые цветы звездочками, что называются жасмином в России. Здесь, в Италии, они зовутся «ангельскими цветками», «fiori dei Angeli».

Встретившая нас княгиня, в низко-открытом белом платье, худенькая, длинная-длинная, сама была похожа на этот ангельский цветок, трогательно, чуть-чуть увядший. Мне это мимолетно пришло в голову; а позднее, вечером, когда салон был уж полон гостей, один старый профессор, ученый, с нежностью положив свою руку на руку сидевшей между нами княгини, так и сказал: она, мол, у нас считается и зовется — ангельским цветком — жасмином.

Обедало нас не много, в сравнительно небольшой и потому уютной, столовой. Опять, и здесь, явно присутствовали обе «аристократии», старая и новая. Совсем разно на все смотрят; разности этой не скрывают; и ничего! Стараюсь не думать о надоевшей психологической загадке их мирного соединения; может быть, и нет никакой загадки; может быть, в уклад их жизни входит это как-нибудь ужасно просто и грубо; и, наконец, не все ли равно? Возьмем без углублений, как данное. Ведь лифт, электричество и древняя красота дворца соединены же как-то, и — ничего...

Болтаю с князем о розовом вине, которое он выделывает только для себя, о том о сем... Молодой сосед мой справа произнес слово

«Россия». Князь был в России, посланный на коронацию Николая II с представительством от Италии. Не без содрогания рассказывает о Ходынке: собственными глазами видел груду тел. Но иностранные посольства напрасно убеждали царя отложить бал... Советы не были приняты во внимание.

К одиннадцати часам залы дворца были уже полны. Вероятно, пышнее были праздники Возрождения и наряднее; но, по сравнению с каким-нибудь собранием сегодняшним, того же рода, в Париже, – это мне казалось и ярче, и, главное, живее. Случайно встреченная там знакомая светская парижанка шептала мне свои догадки, из какого парижского «дома» какой туалет, – но это меня не трогало: другие лица, другие движения, – дух другой здесь; его парижский мундир современной моды не победит. И – не знаю, воображение ли это, бессознательное ли сцепление идей, – но дух современной Италии все чаще связывается у меня с духом эпохи Возрождения. Как будто опять тот же он, или близкий старому духу языческого романтизма и жизненного в нем подъема.

Маленькой длинной княгине, ангельскому цветку, очень, кажется, понравилась вчерашняя лекция. На мое замечание о духоте в зале, быстро и без всякой специальной светской любезности, она отвечает: «Я не знаю, я не заметила, я так слушала!». Но она же ничуть не была удивлена, только мило улыбнулась, услышав, что видному представителю «новой» аристократии, С-ла, идеалисту, гегельянцу-фашисту, лекция так не пришлась по вкусу, что он со второго отделения ушел. Опять, и в мелочах, глубокая разность взглядов (понятная), – при мирном единении, сожитии (непонятном). Конечно, такой, хотя бы, человек, как проф. Манакорда (я о нем скажу далее), может быть «своим» и там и здесь: слишком он крупная личность, слишком «сам по себе». Но не в отдельных же лицах дело!

Когда, под конец вечера, сестра Строцци показывала мне дворец, мы остановились в одной из зал: такой громадной, длинной, что она казалась пустой. Да в ней и не было почти убранства. «Здесь все по-прежнему», – сказала моя спутница. Действительно, меж окон стоит – винный бочонок, показалось мне, – но это древний ларец, темного дерева, для драгоценностей. Непомерно огромный камин в стене; в камине сложены – не дрова, а буквально стволы толстых деревьев. Такие же деревья клали в него, конечно, и тогда, давно. И вдруг среди всей этой несовременности – столики: играют в бридж! Этот бридж не был, однако, оскорбителен; столики казались такими маленькими, затерянными в пустоте залы. Пусть играют, ничего.

Провожая нас, беленькая хозяйка так была мила, так резво, совсем как настоящая девочка, побежала куда-то за своей шубкой для меня,

что невозможно было ее не расцеловать. Странное существо! И очарование этого «жасминного цветка» не только внешнее: в ней много умной внутренней тонкости.

* *
*

Профессор Манакорда встречается нам всюду. Везде он у места и везде одинаков: говорит, что думает (без всякого «чудачества», он очень «светский» человек). Наедине говорит только серьезнее, конечно. Он бодр, свеж, не очень стар, лыс; интересное строение черепа, выразительное лицо. Под его редакцией производится в флорентийском университете им затеянная громадная работа: издание «Festi Cristiani» *, т. е. собрание всей христианской письменности, со второго века начиная. Это, действительно, «уникум» нашего времени, ценность которого признана в европейских странах. Останавливаться подробнее на этом труде и на книгах Манакорда (одна из них называется «Новая Мистика») я здесь не буду. Это стоило бы отдельного рассмотрения.

Ученой сухости в Манакорда — ни следа. Он живо и деятельно относится к современной реальности. Есть в нем, пожалуй, фантастичность, он видит широко и далеко, но судит остро.

Нечего и говорить, что это один из самых независимых умов. Относительно фашизма, — как назову его? Вот тут видно, до чего не точны наши слова и определения. Антифашист? Тотчас представится человек, устремленный весь и на всякую борьбу против Муссолини. А фашист? Будет означать равнодушие; моя, мол, хата с краю, я ученый, политикой не занимаюсь. Ни то ни другое к Манакорда не приложимо. Ближе немного: это такой не фашист, противник фашизма, которого равно слушают и фашисты, и антифашисты, слушают и уважают (хотя, может быть, равно и не понимают).

Мы часто, в разной форме и разным людям, задавали один вопрос, на который или вовсе не получали ответов, или получали поверхностные, с намеренной уклончивостью, если не с искренним непониманием. Мы спрашивали: как определяются отличия фашизма от коммунизма, и нет ли сходств? А так как сходства, по всем вероятиям, есть, то нельзя ли проследить общий исток?

Мнение Манакорда, что общий исток — Гегель и гегельянство. Эту мысль свою он развивает очень последовательно. Между прочим: идеализм, говорит он, в движении принимает всякие формы. Но одно из коренных его свойств — он всегда антирелигиозен. Фашизм и комму-

* «Христианские празднества» (*ит.*).

низм могут казаться, в тех или других формах своего проявления, не схожи, но первичная материя у них одна. Так, идеалистическая фашистская Италия «католична», потому что националистична; но как, по существу своему, не может коммунизм быть христианским, так и фашизм: существо у обоих единое, и христианского фашизма нет.

Мы слушали и только добавляли, что если так, — коммунизм, со своей идеей «всемирности», лучше вооружен и, несомненно, сильнее националистического фашизма.

Помимо отвлеченных рассуждений, не мало говорили мы с Манакорда и о всяких реальных сложностях данного момента. Одна черта в этом любопытном человеке осталась, как будто, неясной. Не фашист и христианин, конечно, но сам-то к Риму, — в каких отношениях? Давая мне свою «Новую Мистику», он сказал: «Имейте в виду, что когда я писал эту книгу, я еще не был настолько **там** (в кат. церкви), как теперь. Там, внутри». А на днях, в письме его к Мережковскому, были такие слова: «Пробегая вашу лекцию глазами, я в некоторых местах особенно чувствую наше согласие; но есть другие места, за которые, признаться, я с удовольствием сжег бы вас на нашей Пьяцце».

Загадочные слова, тем более, что ничего, кажется, «для костра» в лекции не нашлось бы и в средние века.

Как не похож на Манакорда другой писатель, исследователь этрусских древностей, Барфуччи! Мы в последние дни ездим к нему, — он поранил ногу, лежит в постели.

Как-то направлялись мы к его дому после длинной прогулки во Фьезоле (там теперь есть удивительный этрусский музей). В автомобиле — опять у меня перед глазами фашистский значок — молодого нашего спутника. «Покажите мне карту, — говорю ему. — Ведь она всегда должна быть при вас».

С гордой готовностью вынул, показывает. Темно-розовая, двойная. Любопытного в ней — только клятва, строчек шесть—семь: клянусь исполнять все распоряжения Дуче, не рассуждая и, в случае, понадобится моя кровь, клянусь отдать ее до последней капли... Что-то вроде, дословно не помню.

У Барфуччи мы снова встретились с Папини. Этот «sauvage»-таки отверг приглашение маркизы и унионов; по природе, или по мудрости, он не любит никаких сборищ. Плотный, тяжеловатый блондин, еще молодой, с движениями не то ленивыми, не то сдержанными, он както особенно невозмутим, может быть, чуточку высокомерен. Пышные волосы, совсем не итальянское лицо: такое могло бы быть у профессора из Москвы или из Казана.

Как независимый и серьезный религиозный писатель, он очень известен в Италии, и не только в Италии: книга его об Иисусе переведена

почти на все языки. Мы уже вели с ним разговоры в Париже. Его, пожалуй, и не Манакорда с удовольствием сжег бы, вместе с книгами, на Пьяцце; но он благополучно существует и книги издает, а если в «свете» не бывает, то лишь потому, что его туда заманить не удается.

Кстати: на вечный наш вопрос, не помню уже, к кому обращенный, — в чем разница между итальянским фашизмом и русским коммунизмом, — мы однажды получили такой ответ: «Да уж в том, что противники фашизма и Дуче продолжают, как видите, свое физическое существование, а при коммунизме они его теряют».

С Папини мы отправились домой, пешком, по извилистым, темным и прелестным улочкам Флоренции. Долго еще потом сидели у нас наверху, разговаривали. Невозмутимый Папини удивил нас, между прочим, широким знанием русской литературы, и старой, и новой, он даже Розанова прекрасно знает, — откуда, казалось бы?

* * *

Последний день. Он очень утомителен. Кроме Unione надо побывать еще в разных местах.

Unione — это, действительно, еще один «интернациональный» союз интеллигенции, тоже с отделениями в крупных городах. Во Флоренции возглавляет его маркиза В., писательница (которая оказалась, притом, специалисткой по Криту, была там на недавних раскопках).

Союз тоже помещается в каком-то старинном дворце; в комнатах, где потолки уходят в темную высоту, голоса так гулки, а народу собралось так много, что мы попали точно под водопад. Лица знакомые мелькают среди множества опять новых, неизвестных.

Но понемногу осматриваюсь, завожу разговоры с кем придется, — соседи мои за чайным столом непрерывно сменялись. Вот молодой скульптор, почти такой же длинный, как Висконти. Заметив значок и уже зная поэтому, что он и «catholique», расспрашиваю его о недавних трениях между Ватиканом и Дуче. Объясняет, что это вышло из-за специальной «jeunesse» *, близкой Ватикану, которая вздумала «заниматься политикой». Теперь все уладилось.

— Ну, да, папа уступил, — бесцеремонно заключаю я.

Как досадно, что не пришлось нам взглянуть поближе, что делается в чисто католических кругах! Но для этого, конечно, нужно время.

Вижу издали, что Мережковский уже опять утонул в ворохе собственных книг, которые спешно подписывает чужими стило. Но через несколько времени замечаю, с удивлением, что к нему подсел тот са-

* «молодежь» (*фр.*).

мый «влиятельный» С., который ушел со второго отделения лекции, и оба оживленно разговаривают. Не без труда, сквозь дам, пробираюсь к беседующим. Друг известного римского Д. Джентиле и противник не менее известного и влиятельного Б. Кроче, — необыкновенно любезен: он надеется видеть нас опять в Италии, он даже всеми силами хочет этому содействовать... Словом, ведет себя на прощание как и подобает «культурному деятелю»...

Жаркая флорентийская улица показалась нам прохладной, когда мы, после всяких еще речей и «causeries» *, вырвались, наконец, из Униона. Какая-то пожилая, скромно-элегантная дама (имени ее до сих пор не знаю) взяла нас в свой автомобиль и, так как мы имели минут 20 свободных, повезла нас в Кашины, милый здешний Булонский лес. Дама была тиха, приятна, и краткая зеленая прогулка вышла освежающим отдыхом.

А затем наступил конец моим неофлорентийским впечатлениям. Последний завтрак во дворце соседки, последнее солнце веселых улиц с их веселым «rumore», вокзал, вагон, последние, мимо проплывающие, весенние, вечерние холмы...

Только одна ночь — и вот, другое небо, серое, низкое. Дождь, дождь, такой же осенний, как в день, когда мы уезжали. Словно он с тех пор и не переставал.

Это Париж.

Май, 1932

«ИНТУРИСТЫ» У ФАШИСТОВ

Опять Италия. — Старая или новая? — Культура. — Две аристократии. — Веселый город Флоренция. — Фашизм. — Значок и клятва. — Жасмины и колокола. — Живое — живо

Кто не мечтал, со дней юности, об Италии? О художниках и писателях уж не говорю. У нас — Пушкин промечтал напрасно: «Адриатические волны, о Брента, нет, увижу вас...», не успел, умер. Для Гоголя Италия стала «второй родиной»... И уж кажется, давным-давно красоты Италии «описаны, воспеты», а кто их сызнова каждый раз не воспевал? В. В. Розанов, которому совсем не свойственно было путешество-

* беседа (*фр.*).

вать, да еще по Италии, при первой возможности, однако, отправился, захватив жену и кое-каких детей; после чего немедленно написал целую книгу «Итальянских впечатлений». Даже Флексер-Волынский выпустил исследование о Леонардо, хотя прибыв впервые во Флоренцию, не умел еще отличать статую от картины, а к окружающему столь был невнимателен, что на прогулках по окрестностям не отрывался от чтения какой-то посторонней, толстой книги. Вот Чехов мало, кажется, писал об Италии. Мне хорошо помнится встреча наша с ним и со стариком Сувориным в Венеции, Флоренции и Риме, хотя и было это «во время оно»: во время первого нашего путешествия в Италию, куда и Чехова повлек Суворин в первый раз. Мы не могли за ними угнаться, так быстро «делали» они города: едва попав во Флоренцию — Чехов уже стремился далее в Рим; с ленивой усмешкой говорил, что, может, хоть в Риме удастся где-нибудь на травке полежать.

Мне, относительно Италии, посчастливилось: сколько раз, с ранних дней юности, пришлось там побывать, в какие только уголки ни заглянуть! Мы, — я и Мережковский, — изъездили Италию буквально вдоль (по двум даже линиям) и поперек. Сначала «по следам Леонардо и Франциска I», а потом и без всяких следов. В иных местах живали подолгу; однажды всю зиму провели в Риме. Но излюбленной оставалась Флоренция: в какие бы городки и селения ни ездили — туда возвращались. Там жил и друг наш, проф. Уциелли, первый настоящий исследователь и биограф Леонардо да Винчи. Вместе с ним дважды ездили мы на родину великого итальянца, — в селение Винчи, недалеко от городка Эмполи, у самого подножия Белой Горы, — Монте-Албано. Видели дом, где будто бы родился Леонардо, — просто крестьянская лачужка под горой, и живут там обыкновенные крестьяне; они (опять «будто бы») какие-то все же потомки Леонардо. Семья вся, правда, рыжая и кудрявая, а в хижине сохранился старый скульптурный камин; достоверность родства, однако, сомнительна, хотя известно, что и Леонардо был рыжий.

А на Белую Гору мы даже подымались, она зовется Белой потому, что лишь там водятся белые дрозды и растет белая лесная земляника. Легенда? Нет, по крайней мере относительно земляники: мы ее, обыкновенную, лесную, но совершенно белую, собственными руками собирали и даже во Флоренцию корзиночку привезли, напоказ.

Жизнь наша так переплетена была с Италией, воспоминания так полны, что теперь... теперь возвращаться туда снова, для новых каких-то впечатлений, решительно не хотелось. Было даже страшно. Ведь мало сказать годы, — века, века отделяют нас от прошлого! Пусть Флоренция та же... да нет, и она не та, вся Италия другая, другими глазами и взглянем мы на нее...

С такими чувствами подъезжали мы нынче, в мае, к Флоренции, куда «О-во Высокой Культуры» (Alta Cultura) пригласило Мережковского прочесть лекцию в знаменитом Palazzo Vecchio.

* * *

Года два—три тому назад, при поездке в Югославию, мы пересекли северную Италию. Это было мгновенное впечатление: только вагонное окно, осенний ветер, да таможня. И не понравилась нам «новая» Италия. Положим, чему там нравиться или не нравиться, — из окна-то вагона! — но неприятной казалась эта обязательная «Casa di Faschio» около каждой станции; а взгляды, бросаемые во все купе проходящими по коридору военными, — были жутки; думалось — вот они, фашисты, глядят-следят точно российские агенты из ГПУ.

Осень (и предвзятая мысль) таким впечатлениям помогали.

На этот раз, вместо осени, — весна, итальянский май, такой же прелестный, как и в былые годы; с виду такая же прелестная Флоренция, пахнущая русским жасмином, — «ангельскими цветами», по-здешнему... Фашизм? А почему не приглядеться поближе, если не к нему, то к фашистам, не поинтересоваться, в чем похож фашизм на русский коммунизм? Прежние воспоминания останутся на своих местах, не надо их трогать. Мы ведь теперь не для старой (вечной) красоты Италии едем, мы попадаем к людям, в жизнь сегодняшних обитателей Флоренции.

О, конечно, не в самую жизнь: так, с краю, едва-едва... Мне даже не раз приходило в голову; во Флоренции, забавное сравнение нас с российскими «интуристами». Положим, наша параллель в том только и была, что принимали нас, как «иностранцев», званых гостей. Вот известный немец Людвиг, незадолго до Мережковского тем же О-вом в Италию приглашенный, — он в полноте «интуристическую» параллель провел: как в Кремль отправился, к Сталину, и разговоры с ним опубликовал, так и потом и в Рим, к Дуче, и тоже разговоры с ним опубликовал. В одинаковом тоне и внешне описал обе аудиенции.

Как бы то ни было, не претендуя на глубину наблюдений над жизнью современной Италии, мы все же надеялись кое-что в ней рассмотреть; и это кое-что оказалось интересным.

Во-первых, жизнь культурная. Если судить по тем слоям общества, с которыми мы соприкоснулись, культурные интересы в Италии стоят очень высоко. Идет, в этой области, оживленная работа; общий дух таков, что порою напоминает чем-то дух эпохи Возрождения. Но он, конечно, и новый дух, современный. Аристократия, носительница древних, знаменитых имен, не держит себя особняком: она каким-то

образом объединена с новой, подымающейся снизу, в сущности — с культурной демократией. Везде, и в бесчисленных обществах и союзах, и в частных собраниях, в самых «аристократических», как у четы Строцци, например, в дивном их дворце флорентийском (знаменитейший дворец Италии) — мы видели тех же ученых, писателей, светских дам и видных, влиятельных деятелей, — известных «друзей Дуче». Не знаю также, в какой еще стране есть сейчас общества, вроде «Alta Cultura», «Unione» или клуба имени Леонардо да Винчи. Два первые имеют отделения во всех крупных городах.

«Alta Cultura» по веснам, приглашает иностранных лекторов со всего света, сбор с лекций (очень не малый, ибо зала Палаццо на тысячу человек) идет в пользу «Дома интернациональных студентов». Главный деятель этого о-ва — специалист по этрусским древностям. Председательница «Унионе» — маркиза В.; она знаток новых исследований и раскопок на о. Крите. А при флорентийском университете ведется сейчас громадная работа, действительно «уникум»: издание всей христианской письменности, со II века начиная. Редактирует ее известный проф. М. (которого мы тоже встречали везде, в самых «аристократических» салонах старой аристократии).

С фашистами же самыми интересными, убежденными, видались мы у одной светской дамы, у которой бывали часто: ее старинный дворец оказался рядом с нашим отелем.

Мы без стеснения ставили им самые прямые вопросы насчет фашизма, пользуясь своим положением «иностранцев» и гостей, а Мережковский, кроме того, и положением автора популярных в Италии книг. Мы допытывались у этих людей, молодых, очень не глупых, об отношении фашизма к свободе, к личности, к национализму, к христианству...

Любопытны очень были они сами, и как говорили они о фашизме. Ну, а фашизм?

Фашизм как идеология (фашистами воспринимаемая) чрезвычайно прост, даже груб, и не нов. Это — идеализм, гегельянского происхождения (исток коммунизма тоже гегельянский), с входящим в него активным национализмом, с приматом коллектива. С такой точки зрения признается и... не христианство, конечно, но — Рим. Идея свободы не то, что не признается, а как-то отсутствует, точно места ей во всем этом не хватает.

Но если фашизм прост, — реальная, данная, фашистская Италия вещь весьма сложная. И действительно разобраться в ней не так-то легко.

Я теперь присматриваюсь, даже на улицах, у кого есть на борту «значок» (фашистский), у кого нет. Чаще всего замечаю его у молоде-

жи, вида среднедемократического. Ношение значка для фашиста обязательно, при соответственной «карте» в кармане. Молодой секретарь О-ва «Культура» показывал мне эту розовую карту с «клятвой»: исполнять, без рассуждений, все, что прикажет Дуче, отдать, если понадобится, и кровь свою до последней капли. На улицах весело-шумно, порядливо, нарядно; из кривых темных переулочков выскальзывают порой автомобили, но беззаботные флорентийцы не боятся: идут себе, как прежде, посередине улицы, наполняя ее знакомым итальянским шумом шагов и говора.

Помня о своем — если не об «интуризме», то все же о взгляде неизбежно-поверхностном, — спрашиваю заведомого антифашиста: скажите, почему флорентийские улицы мне кажутся сегодня еще веселее и оживленнее прежнего? Это, может быть, внешность? Или это городская демократия? А народ. Народ очень страдает от фашизма?

Мой собеседник, человек замечательный и ума острого, улыбнулся: «Страдает? Народу не много нужно. Ему, в известный момент, нужны известные, незамысловатые обещания, которые приводят его в энтузиазм. Энтузиазм народу тоже нужен. Фашизм явился в свой момент, и, заметьте, коротенькие обещания свои он выполнил, или как бы выполняет, и энтузиазм умеет, где следует, поддерживать. Пока, видите, все на своих местах. А что дальше будет — посмотрим».

Ну да, это и значит опять: фашизм прост, хотя и сложна фашистская Италия. Ведь и первый фашист, Дуче, — весьма прост: как в обращении, так и в мыслях своих, беседует ли он с «интуристом» Людвигом, с итальянским мужиком или с этим самым тонким, убежденным антифашистом, моим собеседником, который и свои мысли не стеснялся в личной беседе ему высказывать.

* *
*

Союз (или клуб) «имени Леонардо да Винчи», куда мы попали на большое собрание членов, помещается подобно всем здешним «обществам», в старинном дворце. Существует союз давно, но особенно расцвел за последние годы. Самая большая из комнат — зал, где был приготовлен чай, увешана громадными портретами всех бывших председателей, вплоть до настоящего, который мне это и пояснял, называя художника, кисти которого принадлежит тот или иной портрет. Он, председатель теперешний, еще молодой, рыжебородый, веселый и такой длинный, что собравшиеся члены кажутся перед ним пигмеями. (Только сын его, после пришедший, еще выше.) Веселый великан этот — сенатор Висконти: одна из самых древних итальянских фамилий.

«Значка» у него нет (у сына есть). Да вряд ли найду я здесь много значков: люди больше солидные, почтенного возраста. А мне уж начинает казаться, что значки и клятвы – достояние, главным образом, молодежи...

На длинном столе, в углу, чай, и – что всего удивительнее – русский самовар! Мне даже лицо клубного слуги, старика с седыми баками, чай разливавшего, стало казаться русским... нет, итальянец! Заговорили о России. Перелистываю большую клубную книгу, где, как водится, мы только что расписались. «Вы у нас первые русские, – говорит кто-то из стоящих вокруг и любезно прибавляет: – Какое прекрасное начало!». В эту минуту, на дальней странице мне бросаются в глаза русские буквы... Изречение: «Свобода любит Красоту, Красота любит Свободу». Подпись – Максим Горький. Ну, конечно! Кто еще мог выдумать столь беспардонную банальность! Перевожу, смеясь, и без стеснения начинаю говорить, что думаю, о знаменитом госте прекрасной Италии. Старички как будто смущены. Из другого угла подходит Мережковский. Ему показалась было скользкой моя тема. Но через минуту он увлечен и уже ставит вопросы о Горьком, о фашизме и коммунизме, куда резче моего.

После чаю Висконти предложил нам сделать с ним и еще кое с кем маленькую прогулку в окрестности.

Пока мы идем – я как-то не соединяю еще этот подъем с когда-то столь знакомой и милой дорогой на Сан-Миньято. Ведь мы едем в автомобиле! Автомобиль большой, длинный, но длинные ноги Висконти едва ли в нем помещаются... Но вот она, несравненная площадка на нежном склоне холма, с цветком Флоренции внизу, с черной гигантской статуей Давида на весеннем небе. Мы вышли – и забылось все: автомобиль, Висконти, фашизм... Да, вот это, это самое, – есть, было, будет...

Однако, хотя Висконти и фашизма когда-то не было и когда-нибудь не будет, сейчас они есть. В ярком свете замечаю, что на отвороте одного из самых почтенных спутников наших красуется «значок». Рядом – какой-то орден.

– Если б он все свои ордена надел, – места на груди не хватило, – смеется Висконти.

Расспрашиваю осторожно. Почтенный господин оказывается известнейшим фашистским генералом и, к удивлению, отлично знающим всю историю русской революции. Говорит, с горячностью, о временном правительстве, о Керенском, о большевицком перевороте... Я его слушаю – и не слушаю. Все-таки ведь здесь Флоренция, весна, пахнет жасмином,.. а большевиков нету. И как-то не хочется ни спорить с ге-

нералом, ни спрашивать, нет ли кое-чего общего между фашизмом и коммунизмом. Вероятно, есть. Наверное, есть. Однако вот пахнет жасмином, и древний Сан-Миньято цел, и звонят флорентийские колокола... Целы и убежденные антифашисты, ни перед кем, вплоть до самого Дуче, своих мыслей не скрывающие, и книги свои бесстрашно печатающие... Цела Италия все-таки, все-таки!

* *
*

За десять дней во Флоренции видели мы интересных людей столько, сколько в Париже и за пять последних лет не видали. Положим, мы были «гости», иностранцы, а в Париже мы оседлые... Эмигранты, люди, к которым хозяева только «притерпелись». Да надо правду сказать: русские эмигранты во Франции и сами, чем дальше, тем все больше в свой круг замыкаются, слишком, может быть, остро чувствуя свою безземность, безродинность, свое приживальчество на чужой земле. И, может быть, это замыканье – ошибка, но как судить чувства? Мы такими же безземными оставались и в Италии; но там, помимо всего, вот еще что было: было, – пусть краткое, минутами, – ощущение, что есть у людей, кроме прямой, еще какая-то родина общая, всех объединяющая: всемирная культура.

Может быть, в реальном, полном, воплощении и нет ее пока; но в нее, как во вселенскую Церковь, которой тоже еще нет, надо верить: и тогда будет.

Для нас эти десять живых майских дней в красоте старой, живой Флоренции были просветом, праздником среди парижских будней. Хотя были, с непривычки, и утомительны, особенно для Мережковского: одна лекция чего стоила в гигантском зале Palazzo Vecchio, зале красоты неописанной, но с очень плохой акустикой. А сотни отовсюду приносимых книг, его собственных, которые надо было подписывать! А споры эти, захватывающего, правда, интереса, но такие, что и конца краю им не видно!

Впрочем, сама усталость наша была иная, не парижская. Как с живым существом простились, мы еще раз с Флоренцией, с зеленобыстрым, тихим Арно, с колокольной музыкой по воде, с куполом Марии Цветов... Новое свидание не разрушало старой любви, нечего было бояться. Если в новой, сегодняшней жизни людской есть здесь неверное, пустое, злое, – оно минется, перейдет, перегорит, быть может... а в огне не горящее, нужное, вечное – останется. Да будет же оно благословенно, как и святая земля Италии!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Недавно продавалась с аукциона переписка Ан. Франса и его «музы», долголетнего друга, мадам де Кайявэ. По нынешним временам, такой аукцион — дело естественное. Но помнящего времена прежние, это известие вчуже должно было царапнуть. Как же: продаются с молотка личные, совершенно личные, письма двух едва успевших умереть людей.

Не буду, впрочем, останавливаться на этом факте: продали и продали, а упоминаю о нем лишь потому, что имена корреспондентов оживили в памяти моей один вечер, один случай из жизни русской парижской эмиграции. О, не нашей, сегодняшней; и не дальней, прошлого века. А той, средней, что ли, годов 1905—1917, из которой многие еще живы и даже не очень стары.

Вряд ли большинство новейшей эмиграции имеет ясное представление о той, прежней, сравнительно недавней, о ее жизни, столь отличной внутренне (и внешне) от жизни сегодняшней. Я не собираюсь ее описывать, — уже потому, что сами мы, в то время, эмигрантами не были. Мы лишь близко с ней соприкасались, прожив два года сплошь в Париже, затем постоянно туда наезжая и поддерживая непрерывную связь. Эмигранты «вторичные», опытно прошедшие обе эмиграции, расскажут нам когда-нибудь историю тех прошлых парижских лет. В моей памяти хранятся лишь отдельные эпизоды, как вот этот вечер, о котором напомнил мне аукцион А. Франса. Для параллели между двумя эмиграциями — вечер характерный: в сегодняшней он, такой, просто не мог быть.

Да, слова, названия, как будто те же: и двадцать пять лет назад был Париж, а в нем «русская эмиграция»; была и «русская церковь», на той же рю Дарю; устраивались собрания, лекции, вечера, балы, — «в пользу русской эмиграции». Совсем, как теперь. Но знакомыми словами звалось не совсем то, что теперь. Другие лекции, другие балы, другая рю Дарю, даже залы для вечеров какие-то другие будто. Где была, например, устроена, вернее, — назначена, первая, неудачная, лекция Мережковского (о самодержавии)? Зал довольно просторный и удобный, но неизвестный (теперь мы все знаем), быть может, уже и не существующий. А лекция не удалась потому, что лектор не мог пробиться к своему месту сквозь слишком тесную толпу, такую тесную, что она даже выдавила стекла, и агенты зал очистили. Эта лекция потом состоялась в «Гранд Ориан», — зал известный, — там места хватило. В прениях участвовали эмигранты и неэмигранты; между прочими — Андрей Белый, гостивший тогда в Париже.

Но чаще всего русские доклады, собрания происходили в далеком, очень демократическом зале Шуази. Это было (опять не припомню

где) что-то вроде барака, длинного, поместительного, но всегда полного. Да в то время везде было полно. На «балу» эмигрантском все комнаты, бывало, полны, не протолкаться, едва места хватало для кадрили (вот старина-то — кадриль!).

Публика в Шуази держала себя без стеснений. Как-то поднялся в задних рядах шум, — это случалось, и безотносительно притом к докладу; но на этот раз из дальнего угла послышался вдруг голос, очень спокойный, однако: «Г-н председатель, здесь стреляют». Публика встала, но без особой паники; сидевшие в первых рядах и на эстраде благоразумно удалились, вышли в заднюю дверь, куда-то в темный садик. Прождав малое время, вернулись, и все обошлось: агенты Шуази не сторожили.

Никаких объявлений о русских вечерах и собраниях не появлялось (что не мешало многолюдству), да и где объявлять. Ведь русских газет в Париже не было. Никакой, что называется, эмигрантской прессы, или, того менее, эмигрантской литературы. Да и нужды в ней, собственно, не было. Для здешнего «слова» русского — имелась Россия. Специальные, чисто политические издания (не знаю, много ль их было тогда), переправлялись, сравнительно легко, в Россию вне цензуры; для всего прочего — эмигрантам были доступны страницы российских журналов и газет, только бы в цензурных рамках, которые, в эти годы были еще довольно широки. Кроме того, желающим открывалась и французская пресса. Ведь это очень нужно заметить: отношение французских кругов ко всем русским, — эмигрантам и неэмигрантам, к русской интеллигенции, — было, в то время, именно открытое: доброе желание чувствовалось во встречах. И встречи бывали постоянно. В старой какой-то моей «Agenda» * попадаются заметки то о собрании (частном) синдикалистов, с Лагарделем во главе, то о группе «Меркюр де Франс» и о лекциях русских в какой-то «Ecole» Виктора Баша, и о Поле Форе, и о беседах с Леоном Блюмом, и о поэте Жане Мореасе, — вплоть до видных представителей католического мира (им, впрочем, интересовался лишь наш узкий кружок).

Подчеркиваю, что в отношении русской парижской интеллигенции особо резкого разделения эмигрантов и неэмигрантов никем не делалось. Если формальные эмигранты занимались и своими собственными, по эмиграции, делами, то, помимо них, имели полную возможность вести общую жизнь с теми русскими и французскими слоями, которые их более интересовали.

В этих условиях, естественно, устраивались и франко-русские вечера, вроде вспомнившегося мне литературного вечера, где, среди других участников, выступали Анатоль Франс и Вера Фигнер.

* «Записная книжка» (*фр.*).

Нам уже приходилось ранее встречаться и с А. Франсом и с мадам де Кайявэ; между прочим, у одной французской романистки русского происхождения. Эта дама не раз жаловалась, что романы ее остаются непонятыми; потому, мол, что пишет она по-французски, а психология у нее русская...

Перед Анатолем Франсом романистка благоговела; впрочем, не благоговеть было и нельзя: высокий гость, появляясь, вносил с собой атмосферу не то что ожидания, а спокойного расчета на благоговение. Окружен был, словно лучами, невидимыми приемниками благоговения. Усаживался в кресло, около камина, всегда немножко особняком; опытная хозяйка тотчас принималась за дело: надо было Франса «завести». Он не умел, или не любил, беседовать: он должен был говорить один, другие — слушать. Для этого хозяйка и работала. Иной раз он капризился, не сразу «заводился»; но, в конце концов, усилия хозяйки (мадам де Кайявэ ей никогда не помогала) приводили-таки к успеху.

На мой взгляд, А. Франс не лишен был известного добродушия, а эти длинные, «домашние» речи его, подчас остроумные, переливались так приятно, к концу лишь утомляли немного. Он был сухощав, лицо, с белой подстриженной бородкой, оживленное и уверенное.

Впрочем, оживлялось оно, вероятно, от собственных речей, в кругу слушателей. Ибо раз, случайно, видели мы его совсем другим. Приехала как-то в Париж наша близкая знакомая, с двумя детьми, и мальчишки потребовали, чтобы их тотчас же вели... на Эйфелеву башню. Каково было удивление, когда заметили мы, на первом этаже, за ресторанным столиком, — Анатоля Франса и мадам де Кайявэ, вдвоем. Боже, какое тяжело-скучное, каменное от скуки, было у него лицо. Правда, ничего и скучнее нет этого башенного ресторана, особенно в летний парижский день, в закатный час. Парижане там никогда, кажется, и не бывают...

Франс и спутница его молчали. Нас не заметили. Мы, конечно, к ним не подошли.

Но я отвлекаюсь от литературного вечера.

Кто видел Веру Фигнер, особенно в эти годы, в Париже, после первой революции, после долголетнего Шлиссельбурга, тот, верно, помнит ее. Помнит это длинное, правильное, немолодое и нестарое лицо, серьезное до неподвижности, большие карие глаза под тяжеловатыми веками, слегка сутулую фигуру, — весь облик, оставлявший впечатление скромной, до неловкости, сдержанности, может быть, застенчивости. Белое платье, в которое одели ее для вечера, как будто стесняло, да и само выступление вряд ли ей улыбалось. Читать она должна была что-то из шлиссельбургских воспоминаний и, если не ошибаюсь, из тамошних своих стихов.

Это был нарядный литературный вечер, и в зале, довольно нарядном. Не помню всех других участников и, боясь неточности, не называю никого. Да не в них дело, и вечер-то был как вечер. Открыл его, конечно, Франс. Говорил очень долго; без пафотически-бурного красноречия, к которому приучена публика французскими ораторами (вроде Жореса), и потому речь его, с эстрады, могла казаться вялой. Но мне нравилось. Мы сидели близко, сбоку. На эстраде он был точно ниже ростом, сутулее и почему-то напомнил мне знаменитого в свое время петербургского оратора Спасовича.

Веру Фигнер принимали так же горячо, как Франса. Читала она как-то непривычно (да и когда ей было привыкнуть к эстраде и белым платьям?), с тем же серьезным, внутренно-собранным выражением лица. И рада была, кажется, кончить и уйти в «артистическую».

Там, в артистической, было гораздо интереснее, чем в зале. Длинный столь под белой скатертью, цветы и такая масса разнообразнейшего народа, что, хоть комната и просторная, — тесно.

Вера Фигнер сидит за столом, на уголке; рядом с ней мадам де Кайявэ: полная, скорее широкая, дама с красноватым лицом и пышными, крутыми, белоснежными буклями. Франс стоит невдалеке. Но говорит на этот раз не он, а мадам де Кайявэ, все время обращаясь к Фигнер, и с необыкновенной любезностью, с какой-то даже ласковостью. Вид, со стороны, что к Фигнер она пристает, — от восхищения.

И вот я слышу:

— Vous êtes une héroîne, Madame? N'est-ce pas, vous êtes une héroîne?.. *

Настойчивый вопрос задавался, вероятно, с искренностью, и восхищение было искреннее, и другие французы, толпившиеся вокруг «русской террористки», могли бы то же так же спросить. Но мы невольно переглянулись: вопрос резнул. Мелочь. Да. Что-то такое, до чего словами дотронуться почти нельзя, — рассыплется, будто и нет. А, между тем, есть. Что могла ответить эта скромная, серьезная женщина на такое публичное любезное допытывание, «героиня она, или не героиня». Француженка, пожалуй, ответила бы, — как-нибудь «oh, Madame...», с соответственным жестом (хотя я не представляю себе мадам де Кайявэ, задающую подобный вопрос соотечественнице, даже самой Жанне д-Арк).

Бедная Вера Фигнер, конечно, не ответила ничего, продолжала сидеть молча, опустив глаза, без улыбки. Не знаю, что она почувствовала. Достоевский (а в каждом из нас, русских, хоть на капельку сидит Достоевский), верно почувствовал бы, что во всей этой минуте с этим

* Вы героиня, мадам? Не правда ли, вы героиня? (*фр.*).

вопросом есть нечто, тень какая-то неуловимая от его «скверных анекдотов», — несказуемых, но острых душевных стыдов, в которых никто неповинен. И уж, конечно, неповинна мадам де Кайявэ, женщина, как мы знаем, в своем роде замечательная, с умом и тонкостью.

Но бывает, что мелочь, незначительная сама по себе, наталкивает вдруг на какие-то попутные, новые соображения. Мне вспомнилась, когда мы шли, после вечера, домой, — неудачливая французская романистка с русской психологией. Ее романы «не понимаются». Положим, плохи. А если бы были хороши? А что, если все эти прекрасные люди, которые так прекрасно к нам, русским, относятся, с таким интересом беседуют с нами, — совсем как-нибудь иначе все слышат и даже не понимают, что ничего в нас не понимают? Это они; а, с другой стороны, может быть, и мы...

Но тут один из спутников наших, эмигрант, шедший до тех пор молча (он тоже присутствовал в артистической), вдруг произнес — и точно мысли мои продолжил:

— Ничего нет труднее взаимного понимания людей разных народностей; настоящего, конечно, не иллюзорного. Даже взять узко, если общаются люди одного и того же культурного слоя, мы и французы, например: разве мы их понимаем. Мы-то сами?

— Если вы о каких-нибудь психологических тонкостях говорите, — отозвался другой мой спутник, — то, разумеется, этого понимания ни с одной стороны и быть не может; да и зачем оно?

— Вовсе не о психологических тонкостях. Я говорю о простом человеческом понимании «чужого», как оно есть. Такое — нужно, необходимо! И возможно, только трудно очень: годы усилий, воли сознательной требуются. А, прежде всего, главнее всего, — доброе желание надо иметь. Много ль его у нас? Уверенность какая-то: мы, мол, поймем, а нас все равно никто не поймет. И не надо.

— Преувеличиваете, голубчик. Доброе желание есть и у нас, и у французов, пока что. Андрей Белый с Жоресом говорит, Франс с Фигнер, — все ведь по доброму желанию. Вот насчет сознательной воли — другое дело...

— А то еще хуже бывает, — не слушая, продолжал первый. — Хуже всего — сознательное нежелание понимать «чужого», — потому что он «чужой». У нас, у русских, пример есть: Достоевский. Кажется, и гений, и провидец, а этим пороком страдал. Именно пороком!

Не раз еще беседовали мы на эту тему, не предвидя, как и при какой новой обстановке, встанет перед нами вопрос о «взаимном понимании», в том же Париже, через несколько лет.

Но это уже к старому литературному вечеру прямого отношения не имеет.

У НАС, В ПАРИЖЕ...

(Письмо из Франции)

Пореволюционные клубы и «детский» шум. – Собрания взрослых «Дней». – Литературный праздник. – Трагическая кончина М. Л. Гольдштейна. – Петербургское утро. – Суд над Мережковским

Сколько ни старайся, совсем от людей в Париже не спрячешься. Можно в новых «пореволюционных» клубах не бывать; все равно, они и «дети» (всякого возраста) – шумят, о себе напоминают. На собраниях взрослых «Дней» этих «пореволюционников» неутомимо, пристально и жарко все критикуют.

Впрочем «Дни» занимаются больше «отцами, полуперешедшими в стан детей» (как выразился В. Руднев в «Совр. Зап.») и самым, конечно, видным из пореволюционных журналов – «Новым Градом».

«Новый Град», можно сказать, «отпочковался» от «Совр. Записок». Подлинных детей там гораздо меньше, чем «полуперешедших» отцов, среди которых, постоянных сотрудников «Совр. Зап.», имеется даже один из редакторов этого журнала – Н. И. Бунаков.

В широкой, довольно неуютной зале Лас-Каз, где происходят собрания «Дней», Бунаков недавно произнес речь, длившуюся около 3-х часов. С этого и началось.

– Опять на вас нападать будут? – спросил кто-то из нас Бунакова, когда мы вместе ехали на одно из следующих собраний. Он с доброй и веселой улыбкой махнул рукой:

– До Рождества будут!

Бунаков – оратор, как говорится, обаятельный. Однако, если не публика, то сотрудники «Дней», и вообще известная часть русской парижской интеллигенции, не склонна оставить без возражений эту речь. Суть ее, вкратце, такова: коммунисты, благодаря своему, пусть ложному, но целостному миросозерцанью, сумели внушить советской молодежи энтузиазм, который они направили на «социалистическое строительство»; задача эмиграции «переключить» этот энтузиазм, направить соответственно иному, но тоже целостному миросозерцанию. Вот единственно возможная борьба с врагом, – большевиками, – и единственная, обещающая успех: силу большевиков не следует преуменьшать.

Чувствуя, что аудитория ждет большей определенности, – что же делать сегодня? И какой оратор желает видеть Россию послебольшевицкую? – Бунаков выдвигает Россию «свободных советов»; для борьбы же, т. е. для «переключения» энтузиазма, надо, говорит он, идти в Россию, хотя бы с готовностью там умереть.

Естественно, что эта речь, из уст такого популярного деятеля и нового «новоградца», подняла тучу споров. Большинство, с Керенским во главе, не признает даже и пресловутого «энтузиазма»; если кое-кто возражает против взгляда Бунакова на «советские достижения» и экономику, то уж лозунг «свободных советов», — некогда лозунг кронштадтского восстания, — решительно ни в ком не вызывает сочувствия.

Самое любопытное, что новые «пореволюционные» группы строятся на различных, подчас противоположных, базах; но, каким-то чудом, практические выводы у них получаются одинаковые. Например: «Новый Град» объявил своим основанием как-никак, христианство; «Третья же Россия», — напротив, — устрояется на почве... ликующего какого-то, человекобожества, идолатрии и борьбы с христианством. Это не мешает обоим течениям друг друга приветствовать, с готовностью «маленькие несогласия положить, при случае, в карман». Очевидно, объявленные «первоосновы» не так важны, как сближающая «пореволюционность», непременными признаками которой служат слова: 1) о «новом человеке», 2) о борьбе с капитализмом и 3) о позиции «лицом к советской молодежи».

Этих именно слов одинаково много и в «Нов. Граде», и в «Тр. России», хотя в первом журнале пишут «отцы», и даже талантливые, а во втором, как будто и настоящие «дети», — в самом печальном смысле. Лучше бы этому второму журналу «пореволюционными» словами и ограничиться, не «раскрывая баз»; но редактор, Баранецкий, не хочет: усиленно проповедует «новую» религию человека-бога, «могуществу» которого нет пределов: не довольно ли взглянуть кругом — аэропланы, телефоны, микрофоны...

Я не преувеличиваю. И ведь знаю я этого скромного, мешковатого молодого человека с простым русским лицом. Знаю, что после России (он из крестьян), после всяких ВУЗ'ов, сравнительно недавно вырвавшись за границу, он успел перечитать кучу всяких книг, до серьезнейших исторических и философских. А культурная белизна его — незапятнана. Ничто не прилипло, будто и не было на свете ни Канта, ни Гегеля, ни Шеллинга... и уж, конечно, не было Нитше, не было Гёте; ни даже Достоевского! Человекобог у него собственный, — своим умом он до него дошел: так мещанин в Сызрани, сколько лет сидел взаперти и, перед войной, выдумал-таки, сам, — велосипед... правда, деревянный.

С этим «могущественным» изобретением, с деревянным своим человекобогом, Баранецкий любит выступать и на собраниях. Однотонно, скоро-скоро, невнятно, искренно говорит: не слыша и не слушая, что говорят другие.

Да, говорят... Если бы, в параллель теме «Дней» — «Что происходит в России?» поставить другую — «Что происходит в эмиграции?»,

то пришлось бы ответить (о парижской, по крайней мере): в эмиграции – «говорят». На недавнем банкете «Совр. Записок» говорили, без перерыва, с десяти часов до двух. И ведь недурно говорили, как подобает, и была тут вся элита, весь цвет русской интеллигенции...

Уже почти в час ночи заговорил Керенский. Какие знакомые, приятные, раскаты голоса, какие знакомые слова: «свобода... борьба... свобода...». От их гипноза, а может быть, от усталости, нарядная зала как бы подернулась для меня легким туманом. Словно не она уже, и все это не теперь... Из глубин памяти выплыл вдруг... далекий петербургский Предпарламент. Тот, который называл несчастный Савинков (грубо, но по существу верно) «предбанником». Ведь, действительно, «баня» уж была затоплена, большевики уже внедрялись медленно, в одно учреждение за другим, завладели штабом, крепостью... а там слова еще лились; и когда, наконец замолкли, поздней ночью, – половина говоривших была на выходе арестована...

Нет, нет! На выходе нас встретит только ночной воздух Парижа, тень порядливого агента в пелеринке, да цепь мирных огней. А если и говорим мы, если и есть в речах наших, у нас, какое-то «пред», – это пред... освобождением России. Не один Керенский, – сегодня, здесь, в Париже, – видит и верит, что час близок...

Как бы то ни было, юбилей «Совр. Зап.» был не обычным собранием, а праздником, и праздником литературным. Литература (не будем скромничать) у нас есть, настоящая русская литература; и то, что она «продолжается», несмотря на тяжкие условия зарубежья, – достойно гордости и удивленья. Ведь здесь ей быть почти так же трудно, как в СССР. Я подчеркиваю «почти»; с трудностью советских писателей ничто не может сравниться. Наш «отрыв от почвы», о котором так любят говорить, нищенские условия существования издательств и самих писателей, – что это перед грозным рабством, в котором находятся дух и мысль советских литераторов? Свобода – условие самого бытия литературы. Не о стеснениях печати речь, конечно. Пушкин мог быть при Николаевской цензуре; его не будет при Сталиных, пусть Москва не беспокоится.

От литературы, от общественных споров, нередко отвлекает меня реальность, трагизм жизни. Жизнь трагична всякая и всегда, но у нас есть счастливый дар – забывать об этом, привыкать к этому. Лишь иногда вдруг засквозит что-то под налетом привычки, заставит остановиться и задуматься. Недавняя трагическая кончина М. Л. Гольдштейна – один из таких... случаев? Нет, явлений жизненной трагедии. В Париже она всколыхнула многих, даже не знавших Гольдштейна лично. О смерти, о такой смерти, можно бы сказать многое; но философствования нынче не в моде, и я лишь расскажу, где и при какой об-

15 Зак 4570

становке запомнился мне Гольдштейн, этот человек, о котором так единодушно жалеет вся эмиграция.

В давние времена он был помощником С. А. Андреевского, близкого моего приятеля, и Андреевский беспрестанно говорил мне о нем, — с приязнью, подчас с нежностью: «молодой друг мой... молодой помощник...». Андреевскому не мешало (а может быть, и помогало) то, что Гольдштейн был адвокатом другой формации, не принадлежал к плеяде старых адвокатов-романтиков. Из этой плеяды некоторые не дожили и до XX века; Андреевский (он умер в 18 году) уже после 905 г., заметно старея, начал отходить от дел (или они от него), больше заниматься своей «Книгой о смерти». Но с Гольдштейном оставался в самых теплых отношениях, ценил его, давно занявшего самостоятельное место среди юристов, и, где только мог, его рекомендовал.

Перенесемся на минуту из Парижа в Петербург. Это осеннее утро кажется отделенным от нас, по крайней мере, двумя столетиями; но и двух десятков лет ему еще не исполнилось...

Утро серое, не морозное, — промозглое и скучное, каковы бывают они в конце сентября. Мы идем, со старым другом, Сержинькой Андреевским, по Литейной; он в теплом пальто, кутается в кашне и горбится. Не любит разговаривать на улицах, и только тогда, когда мы вошли, по отлогим лестницам, в пустоватые, пылью пахнущие залы окружного суда, сказал:

— Нет, я совершенно спокоен. Молодой друг мой знает свое дело. Вот увидите.

В зале — скамьи для публики почти пусты. Ранний час, да и мало кто знал о дне этого «литературного» суда.

Направо от нас, глубокая скамья подсудимых занята «преступниками»: на ней сидят — Мережковский, написавший трагедию «Павел I», и Пирожков, эту трагедию издавший. Мережковский обвиняется по 101-й статье в «оскорблении величества» и предан суду сословных представителей. Ему и его издателю грозит год крепости. От предварительного заключения (около 6 месяцев) они были избавлены, благодаря небольшому залогу.

Не правда ли, почти с веселым умилением можно вспомнить теперь о таком суде в России?

Но и тогда он почему-то никого из нас не пугал. Даже знаменитый Крашенинников, про которого говорили, что «от него никто не уйдет», показался мне безобидным и скорее симпатичным. Главный защитник был М. Л. Гольдштейн. А так как в «Павле I» нашли еще какое-то место против православной церкви, то с этой стороны защиту взял на себя другой, — не припомню, кто.

Уже после обвинительной речи, необыкновенно мягкой (с литературными комплиментами обвиняемому!) Андреевский взглянул на меня, посмеиваясь: «Прямо на мельницу молодому собрату моему... Увидите!».

Гольдштейн говорил очень хорошо и совсем не так, как «отцы» его, романтики (их не мало довелось мне слышать). У него была какая-то прямая, но острая деловитость: может быть, узкая, но убеждающая простота. Положим, тут не было присяжных: но, думается, и перед присяжными он говорил с той же простотой и с тем же успехом.

В ожидании вердикта мы все вышли в соседнюю залу. И тут уж с уверенностью говорили об оправдании.

Ждать пришлось недолго. Оправдание было полное.

М. Л. Гольдштейн почему-то так и остался у меня в памяти связанным с этим серым петербургским утром, хотя мы встречались и раньше, – и потом, в эмиграции. Утро это кажется мне сном; а вот и М. Л. Гольдштейн ушел в сон. Засыпая, вольно уходя в сон невозвратимый, он только возвращения и боялся: «Я знаю, вы будете спасать меня. Не спасете».

Но мне-то кажется, что где-то, – не здесь, – он все-таки спасется.

ЖИВАЯ КНИГА

(О романе «Отечество)

Русская литература за рубежом не только существует, но в некоторых отношениях даже процветает. С внешней стороны – успехи ее прямо блестящи: из молодых прозаиков многие доходят до подлинного писательского мастерства. Оттого, должно быть, и повелось, что при оценке литературного произведения решающим становится именно это мастерство. Привыкли к такому подходу и сами писатели. Один молодой прозаик, с искренним убеждением, написал недавно, что если бы – теперь – раскрыть, без предвзятости, «Повести Белкина», какой серой и бедной показалась бы проза Пушкина!

Однако, если мы, не увлекаясь, «чисто» художественным методом критики, подойдем к какой-нибудь книге, – первый вопрос, который встанет перед нами, это о ее цельности. То есть, о степени соответствия, или гармонии, между тремя главными элементами творчества, тремя сторонами всякого художественного произведения. Они – воля, дух (смысл) и тело (форма, язык, стиль). Идеальной гармонии нет, конечно, и в произведениях гениев; зато без какой-то ее степени нет и живой книги: это вопрос о ее «органичности».

Роман «Отечество», в данном отношении, книга редкая. Она, действительно, представляет из себя некую цельность, она органична. Если бы роман был написан с обычным современным мастерством, это сразу лишило бы его какой-то степени гармонии, отняло бы у героя живые черты. Если бы смысл книги (дух, идея) не вырастал сам собою, не открывался герою постепенно, по мере течения переживаемых дней, – опять связь частей была бы разорвана, и смысл являлся бы тенденцией. Но воля автора, – по чистой интуиции, может быть, по внутреннему такту какому-то, – все время направлена на сохранение гармонии.

Герой романа – прост, совсем не героичен. Это обыкновенный русский молодой человек, студент перед войной, прапорщик во время войны и, в 1918–19 году, в Петербурге, – «неизвестно что». Такими «неизвестно что» (даже не «кто»), в большинстве, и были они тогда, эти обыкновеннейшие русские «бывшие» студенты. Алексей Павлович Полежаев, или просто Алеша (не станем звать его «героем», ибо он тем и значителен, что вовсе не герой), – человек, ничего сам о себе еще не знающий. Он плыл по течению обычной жизни, жил, как все: с интересом занимался в университете, честно пошел на войну; если бы жизнь так и текла, он так, вероятно, и плыл бы дальше. Но жизнь, – вся, – перевернулась. Переворот Алеша не сразу осмыслил; полноты переворота не уразумел, а взял его опять так, приблизительно, как большинство тогдашней честной полувоенной молодежи. Оказался и причастным какой-то тайной организации, – их было в то первое время немало; причастным не особенно близко, впрочем: организация была в Москве, а он носил лишь пакеты в известную ему, конспиративную, квартиру.

Но и тут он двигался, как бы подчиняясь случайному течению.

Первым, действительно личным, чувством, в нем пробудившимся, было чувство, – почти инстинкт, – животного самосохранения, связанное с полусознательным, но резким чувством полного своего одиночества. На войне он, вероятно не был трусом; но война – совсем другое: там нес его общий поток; здесь же оказывался он сам-один за себя, как (он скоро догадается) и всякий один за себя среди отовсюду грозящей смертельной опасности; она тем и непереносна, что невидимо за каждым углом таится; что каждую минуту готова накинуться на человека непонятная смерть.

И так захватило его первое яркое чувство, – страха, – что ничего уж в душе не оставалось, кроме этого – «спасать себя». Но чем? Как? Прежде всего, конечно, порвать с организацией... если не поздно. Он идет на конспиративную квартиру «в последний раз». Будто нарочно, – в доме обыск. Не в квартире, где-то наверху, но бедный Алеша

уже в тумане отчаяния и полузнакомой девушке, которая обычно принимала у него пакеты, что-то лепечет о «последнем разе», о том, что больше он не может и не хочет, и не надо этого ничего.

Материальные условия его сравнительно не плохи. Он живет в оставленной родственниками квартире, один; но бурно общается с домовой «демократией», с новыми господами положения, в смутном расчете, что «так надежнее». Однако на вечеринке, среди свежеиспеченных большевиков низшего слоя (но уже являющих собой власть), ощутимость гибели доводит его до того, что он, уловив в телефонном разговоре знакомое имя, – решает вдруг сам заговорить, забежать, выдать конспиративную квартиру, чтоб ему-то остаться в стороне. Только внешняя, грубая случайность спасла его от такого, уже полубезумного, шага.

Но со страхом не кончено. «Организация», действительно, открыта; и девушка, что так странно слушала его лепет о «последнем разе», – арестована. Алеша мечется, ждет гибели неминуемой, наконец, идет к бывшей жене своей, вышедшей за влиятельного большевика, и с унижениями выхлопатывает у нее «оградительную» какую-то бумажку. Он лжет, изворачивается и не стыдится, а бурно ликует: «Спасен! Спасен! Остальное все равно». И он прав: он невинен, как всякая дрожащая тварь, у которой нет ничего, что было бы ей дороже своей жизни.

Но человек не только тварь. Если до тварного состояния может он быть доведен, то, в нем оставаясь, он уже не невинен.

И отсюда начинается медленный, тяжкий, – как медленны бывают тяжкие дни, – путь восхождения Алеши. С остановками. С провалами. Он еще не прошел до конца, до сознания, опыт одиночества. Еще хочет «приспособиться», как-нибудь «пристроиться» к людям. А когда это не выходит (не практически, практически и мог бы, да внутренне почему-то не выходит), он пытается хоть просто к уличной толпе «примащиваться», «на людях» быть. Удивительны эти страницы, когда в сумерках сидит он у памятника Екатерины. Краткая цитата ничего, конечно, не передает, это надо прочесть целиком. «...Долго и кротко я ждал, чтобы к людям хоть как-нибудь примаститься... Когда я понял, что на скамейке опять один и надо идти домой, и опять ночь, и опять долгое белесое утро, – я вскочил, растерянно глянул по сторонам и сел опять. Идти мне было некуда, домой возвращаться страшно. Надобности во мне никому не было ни малейшей... А, между тем, хотелось, чтоб она была; чтоб кто-нибудь меня позвал, окликнул...». «И я вдруг стал мечтать... Придумывать... стараясь представить, что ко мне сбоку, нет... сзади, нет, лучше со стороны театра, подходит неведомый, величавый, добрый человек и тревожно спрашивает: "Алеша, что с то-

бою?.." Нет-нет, лучше так: "Наконец-то, я тебя нашел Алеша!". Или просто садится рядом и с участием смотрит... Ах, если бы так! Если бы кто-нибудь окликнул по-хорошему, по волшебному! Я бы все рассказал ему...».

Почему же не «примащивается» Алеша, не «устраивается» с людьми? А другие? Ведь он же, как другие, как все?..

Чем полнее и ужаснее захватывает его одиночество, тем яснее он понимает, что никаких «других» нет, что есть лишь каждый другой, и каждый, в предельном одиночестве и потерянности, только с последним усилием отстаивает себя.

Алеша видит, что и самые простые, бесхитростные люди жмутся вместе, ища выхода, сами не зная, какого, страдая бессознательно и тихо. В сочельник идет он мимо занесенной снегом церкви, где теснится толпа. Сам со смутной надеждой какой-то, — вошел. Постоял. Нет! И здесь было то же. Та же беззащитность, покинутость, не его только одиночество, — каждого. Если не каждый знал о нем, если о пустом с соседом разговаривал, о говядине, о картошке, — все равно, был в нем. А быть в нем человеку — нельзя.

Я не собираюсь пересказывать содержание романа. Чтобы проследить путь Алеши, так естественно переходящий в путь независимо-религиозный, надо прочесть книгу. В ней нет обычных большевистских «ужасов», ни казней, ни крови; только реализм тогдашнего быта, — если можно это назвать бытом, — и реальные в нем люди. Но хотя быт показан (именно показан, представлен, а не описан) с жуткой яростью, и кажется, порою, страшнее громких ужасов, — автору он нужен скорее как воздух, новый состав воздуха, которым дышат люди и который, — потому что они им дышат, — так страшно и разно их изменяет.

В Алеше, чем ниже он падает, тем упорнее пробивается, сквозь наплывшую тучу, новая воля к борьбе: уже не за себя, — за свое человеческое достоинство.

Среди необыкновенной этой действительности, где даже случайность кажется необыкновенной, не случайной, — и Алеша становится не совсем «обыкновенным» человеком. Он сознает, что силы его слабы, ищет помощи, слепо, но с таким напряжением воли, что никакая «случайность» не проходит мимо него.

Совсем случайно попалась ему «книжка в коричневом переплете», — новая для него. Как ребенок, зачитался он просто «чудесами». Лишь потом, вдолге, привлекли его и непонятные, лишь сердцу внятные слова, похожие на какие-то нужные ему ответы.

Совсем случайно на путях его оказалась та полузнакомая девушка, что принимала его пакеты на конспиративной квартире. Тогда, в

«тварное» свое время, она казалась ему далекой, враждебной; теперь, все еще едва зная ее, едва узнав издали, на вокзале, в партии арестованных, он ловит на лице ее отблеск, который не умеет назвать, и влечется к ней полуосознанным предчувствием, что именно тут найдет какую-то помощь.

Одиночество? Люди пролились, как вода; отдельными каплями разбрызгались; лежит такая капля, всячески стараясь не высохнуть; но высохнет, если и не наступит на нее тотчас же тяжелый сапог. Через познание безмерного одиночества, Алеша приходит к вопросу о той людской общности, без которой нет жизни, — и к пониманию русской трагедии.

Большевизм, для него, не только власть, а новообразование российской «общности», **новое отечество**. Что такое отечество? Совпадает ли оно с понятием родины? Нет, ибо в него включено понятие «гражданства», т. е. сознательного или бессознательного соучастия, соработы всех для поддержания и развития нации. Это и условие существования личности. Гражданский строй, извращающий свой собственный смысл, — есть гибель страны и нации.

«Я все своему отечеству отдал, — говорит Алеша, — молодость, здоровье, радость университета, патриотическую жертвенность, гражданскую доблесть... Не было ничего, что бы я не отдал, или, отдавая, торговался. Утраты эти связей с отечеством не разрывали...». Но теперь, продолжает он, я уже не чувствую «непонятную, как брак, таинственную, любовь — единство с моим народом. И причиной не нищета, не обеднение умственное, не мои несчастия... а только темный дух всенародного русского беззакония, тот новый дух, который мне надо было признать своим, родным, священным, — несвятое объявить святыней...».

И «свободной волей», высшим велением совести, Алеша «отчуждает себя от отечества». Оно уже не его. Оно — чужое.

Этот внутренний разрыв завершается внешним. Алексей Павлович покидает Россию.

Но разорвав связь с ней, «темного советского усыновления не приняв, какой неведомой страны теперь он гражданин, кому собрат и общник?».

Ответ — в его религиозных чаяниях. Он верит в возможность преодоления всякой исторической действительности. Русская национальная душа покинула тело России; но душа жива, она сохраняется в «остатках нации», в отдельных носителях русской святыни. Алеша верит в высший опыт совместности, общей жизни без земного отечества, когда уже нет «чужого» и «своего», когда человек обращен лицом к вселенной...

«Я не меняю землю на землю, народ на народ. Я не могу перестать быть русским, тут нет ни измены, ни замены, ни подмены. Но отечество для меня не идол сердца. Мне открылось новое человеческое «вместе», – всегда живой, всегда вольный и святой союз любви...».

А Россия? Вернется ли душа в покинутое тело? Об этом мы не смеем знать. «Ищите высшего, и все остальное приложится», – так верит Алеша. Верит и в новый опыт любви, – так любит он девушку, странно и знаменательно перекрестившую его путь. Они уезжают из России вместе.

На этом роман кончается: из области данного автор не переносит нас в область чаемого и желанного, а лишь подводит к его дверям.

С объективной точки зрения, можно, конечно, и сейчас усмотреть в книге элементы известной идеализации. Взволнованный и несколько возвышенный тон последних глав как будто указывает на это. А недоговоренность (совершенно, в иных случаях, неизбежную) легко принять за недоделанность. Самого героя это не касается: он и на последних страницах все тот же, русский живой человек. Но спутница его, всегда остающаяся на втором плане, действительно, несколько затушевана. Не вполне ясна и связывающая их любовь: рассказчик настаивает, что это не взаимная влюбленность, не дружба и не простая привязанность. Может быть, по мысли автора, это зерно той, качественно преображенной, всечеловеческой любви, которая возникла между святыми. Тогда, конечно, и попытка дать ей большую определенность доказывала бы только отсутствие художественного чутья: сущность подобной любви неопределима, как говорил Блок, – «**несказанна**».

А, может быть, проще: это любовь, которая не могла не родиться в сердце человека, истомившегося по **чистоте**, смертельно уставшего от страшной, темной гущи, – слишком долго он сам среди нее копошился. Вот, уже в Финляндии, он говорит: «Белое озеро... белое небо над ним, снежные леса... Чудесная чистота зимы! Она напоминала о счастьи чистоты совести, о жизни без вымученного согласия на грех, о жизни, свободной от власти зла... Мы вновь поняли, что "вместе" и что спасены для неведомой нам, очень, может быть, трудной, но светлой... жизни...».

Общая сгармонированность, о которой было сказано выше, да и самое качество воли, серьезность смысла и скромная простота формы, – все это ставит роман «Отечество» несколько особняком среди эмигрантской литературы сегодняшнего дня. Что касается фактического повествования, то нечего говорить, какой волнующий интерес представляет для читателя эпопея героя, русского негероического человека, сам образ его и других, рядом живущих людей, в той же страшной, искажающей их действительности... Жаль, что я не могу привести

некоторых картин, — цитат из этой повествовательной части. Впрочем, благодаря слишком связной последовательности, а также особой неторопливости рассказа (местами, — будем справедливы! — он переходит в длинноты и грешит повторениями), — роман не поддается передаче в отрывках.

Современная критика, какие бы «чисто художественные» недочеты ни нашла она в романе, должна признать, что все они покрываются, — не «правдивостью» книги, а той **правдой**, которая в ней с такой цельностью, с такой строгой внутренней тактичностью воплощена. Только эта правда и ее воплощение могут служить мерилом ценности и художественности произведения; без нее же — вообще нет и не было искусства.

Я не имею привычки кончать пожеланием книге успеха. Он будет или не будет; относительно романа «Отечество», — я думаю, что книга будет очень читаться. Кстати, она, при сравнительно недорогой цене, чрезвычайно хорошо и красиво издана.

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ»* И «ЧИСЛА»

Речь

Тема эта — о двух журналах — довольно благодарная. К ней можно подойти как угодно и со множества сторон. Можно и влечению сердца отдаться, если, скажем, сердце влечет вас к одному какому-нибудь из двух журналов. Можно занять и позицию объективную, оценивать давний наш журнал и недавний — à vol d'oiseau**, без личных предпочтений. Да мало ли еще что можно! Стоит только выбрать определенную точку зрения и на ней утвердиться.

Пожалуй, самый натуральный из подходов — литературный. Журналы литературные. И все мы здесь литераторы. Но вполне возможен и взгляд со стороны политики. То есть так называемой политики, в которую все мы вмешаны, даже до нашего имени. Ведь это по ее милости мы зовемся эмигрантами, и если б не она, не было бы ни «Записок», ни «Чисел», ни этого собрания...

---

* В Париже 16 февр. состоялось многолюдное собрание на тему о двух эмигрантских журналах «Современные Записки» и «Числа». Вступительное слово сказал поэт Ю. Мандельштам. После речи З. Гиппиус говорили: Слоним, Адамович, Мережковский и многие другие, между прочим и представители обоих журналов.

** с птичьего полета (*фр.*).

Я выбираю свой подход. Не литературный, не политический, более узкий, а может быть, более широкий. Я хочу взглянуть на оба журнала со стороны нашей современности. Поговорить о новом и не новом, да кстати, о старом и молодом. Досадно, придется путаться в условностях, в поколениях и во всяких подобных неясностях. Но ничего, авось как-нибудь выберемся.

Вот что любопытно: чуть мы на эту точку зрения станем, — на возрастную, что ли, — как недавние «Числа» покажутся нам не особенно моложе давнишних, пятидесятикнижных, «Записок». Они, «Записки», небольшую разницу эту видят, или, по крайней мере, чувствуют; а «Числа» — нет. Основываясь на том, что они постоянно, в этом смысле, противопоставляют себя «Запискам», да и при рождении объявили свою надежду найти что-то новое, как бы приглашали и обещали сами, стать «лицом к будущему». В надежде ничего плохого еще нет, но мы говорим не о желанном, а данном, и отмечаемом, что данные «Числа» гораздо ближе к «Запискам», чем думают. В близости этой тоже нет худого. Нет ничего и неестественного. Говоря строго, группа «Записок» и группа «Чисел» не делятся на два, четко разных, поколения. Но, ради словесного удобства, мы что-то вроде раздела примем. Скажем о «Записках» — **старшие**; о «Числах» — **средние**. Что ж — удивительного, что средние приблизились к старшим, когда стали средними, т. е. когда появились младшие.

К этим младшим, к молодым, я еще приду. Пока остановимся на отношениях между «Записками» и «Числами». Между этими именно старшими и этими средними. Я представляю себе это так. В одном и том же русском деле у «Записок» и «Чисел» произошло **разделение труда**. «Записки» не имеют ни интереса, ни влечения, ни способностей к искусству, к эстетике (широко понимая). У «Чисел» же, напротив, это влечение — доминирующее, и никакого вкуса, ни даров, к вопросам общим, к жизни общественной. В идеале это не может мешать соединению. Для фигурального пояснения, вспомним о древней триаде Истины, Добра и Красоты. Идущие от истины с идущими от красоты соединяются в добре.

Но и без идеальностей и фигуральностей ясны одинаково добрые устремления обоих журналов. Эти общие черты, положительные, подчеркивают их близость.

Есть, однако, у них общее и отрицательное.

Почему оба они, например, не совсем современны? Почему из «Записок» выглядывает иногда обветшалая тень «Русского Богатства» и «Заветов», а от «Чисел» нет-нет и понесет покойным духом «Миров Искусств», «Золотых Рун» и «Аполлона», чуть наскоро подмазанного? Это были прекрасные журналы, но их, как ни перекрашивай, к совре-

менности не пригонишь. Наша современность жесточайше сложна и требует от нас небывалой широты, какого-то идейного и умственного... полиглотства, что ли... (Прошу не смешивать со всеядностью, или с идейным коммивояжерством.) Сказать попросту, невозможно нынче отдавать себя хотя бы политике, не глядя в сторону других вопросов, между прочими и эстетического. От этого сейчас же сама политика начинает портиться, стареет и усыхает. Равно и эстетика, если какой-нибудь коллектив вздумал заниматься сегодня чистым искусством преимущественно. Словом, «ограничить жизнь домашним кругом», все равно каким, весьма опасно в наши дни. Я боюсь, что и «разделение труда» у «Записок» и «Чисел» происходит по слишком традиционному способу. Традиции у них вообще крепки. Взять, например, отношение этих старших («Записок») и средних («Чисел») к молодым. Оно самое традиционное, точь-в-точь такое, какое бывало при тихом течении русской жизни, повторялось при каждой мирной смене. У средних (вот как «Чисел»), которые еще не «отцы», а только «дяди» самых молодых, — полнейший индифферентизм, занятость собой и невидение, что они стали дядями. У старших, настоящих «отцов», — общее «неприятие», иногда невнимательная борьба, а в отдельных случаях «подлаживанье» к молодежи, с целями весьма разнообразными. Цели эти, особенно хорошие, никогда не достигались. Еще бы! Мы знавали искренних людей, которые шли на подлаживанье к молодежи с целью как-нибудь ей исподволь помочь, направить, научить... да разве есть возможность какой бы то ни было молодежи помочь? Ее детские болезни должны пройти свое течение без помех. Молодежь следует только **наблюдать**. По формам ее детских болезней иногда ближе узнается «лицо времен», ибо формы обычно новы.

В наши дни это особенно важно, и особенно неуместно традиционное отношение к молодым. Какие традиции, когда и «дети»-то эти не прежние, обыкновенные, дети, разделенные с отцами и дядями почти что одним цифровым возрастом. Нынешние — кто они? Не эмигранты, потому что ниоткуда не эмигрировали, и даже, здесь, не иноземцы, потому что по иной, кроме европейской, земле не ходили, а только разве инокровцы. Величает себя молодежь «пореволюционной», хотя гораздо точнее звать ее «поэмигрантской». Итак, для русских отцов, эти дети небывалые.

Детские болезни у них, правда, обычные: убежденно наивное самохвальство, без нужды размах, инстинктивное толпленье в коллектив (личность еще в процессе роста). Отцы-политики возмущаются: какая у них противная политическая чепуха! Дяди-эстеты пожимают плечами: стоит слушать эти уродливые глупости? Да, да, все так, и политика беспомощная, и эстетика невозможная, обе ничего не стоят. Но вот

чем следовало бы заинтересоваться: почему эти поэмигрантские коллективщики, хотя иные друг друга не понимают и дерутся между собою, — почему они, всенепременно валят и политику, и эстетику в один котел? Мало того: непременно однородной какой-то приправой приправляют? Имена для приправы у них взятые наскоро, обычные; но мы затрудняемся сказать, что это такое в действительности: подлинно ли христианство, подлинно ли даже религия. Во всяком случае, — и уж несомненно, — это острый, новый или видоизмененный **романтизм**. Он еще в весьма туманном виде, но едва обозначился, как стал неотъемлем от «поэмигрантской» молодежи. По натуральной своей неуемности она романтизирует все и вся, без разбора. Но это не мешает самому-то романтизму быть любопытным и значительным явлением современности.

Есть много оснований полагать, что данное поколение «поэмигрантов» не особенно надежно. Уж очень оно невежественно и, главное, не имеет желания это невежество преодолеть. «Не хочу учиться, хочу жениться»... (на незнаемой и жестоко романтизированной России, конечно), — вот что первое. Но если именно данное поколение из каши своей и не выберется; если торопливые смешения в слиянья не превратит; если наромантизирует такое болото, которое его же и засосет, — все это еще не значит, что неверен сам принцип широкого, общего, охвата жизни и что от «романтизма» для грядущей исторической полосы ничего не останется. Бывало, что промежуточные поколения гибли, успев, однако, нащупать новые тропы. Да и не пропадают поколения целиком — люди, личности, остаются.

Смешно гадать о будущем, воображать новую «романтизированную» политику и эстетику в каких-то грядущих «Современных... Числах». Мы и настоящей природы неоромантизма этого не знаем, она еще не определилась. Пока мы видели только уродливо и невежественно романтизированный патриотизм; а, например, технику, глубоко и стройно «романтичную», или, иначе, «одухотворенную», мы бесполезно старались бы представить себе, даже с помощью Бергсона.

Но что не бесполезно, — это ловить всякие искры, даже неизвестно откуда летящие. Иные пусты, гаснут на лету, зато другие очень помогают «узнавать лицо времен». Нужно только внимание. Именно благодаря невнимательности и оба журнала наши, «Записки» и «Числа», остаются несколько несовременными. Отчасти, может быть, и потому, что со старыми традициями как-то спокойнее. В «Записках», совсем недавно, началось, было, внутренне брожение. Разрешилось оно отпочкованием от revue mère* небольшого отдельного журнала — «Но-

* материнское обозрение (*фр.*).

вого Града». Такой финал пользы никому не принес. Получив приватное помещение, «пореволюционные» отцы нисколько не расширили своих горизонтов; и не то чтобы подпали они под влияние молодых «пореволюционных» (поэмигрантских) кружков или начали сознательно под них «подделываться», – но будто заразились их невнятицей, которая у «отцов» зазвучала уж как двусмыслица. Поэтому, нельзя не сочувствовать неодобрительному отношению «Записок» к подобному «Граду»; но нельзя и не видеть, что после чистки, после отвода неположенных тем и вопросов в отдельное место, сами-то «Записки» остались в состоянии уже полной неподвижности, большей, чем до брожения. Правда, «Воля России» и этим их состоянием недовольна, советует очиститься от последних остатков религиозных, например, вопросов; но мы, слава Богу, о «Воле России» собраний не устраиваем, и заматерелое это явление можно оставить в покое.

Что касается «Чисел», – вряд ли возможна там внутренняя борьба, чье-нибудь отделение. Не та материя, и очертания более текучи. В таких коллективах, как «Числа», т. е. скорее эстетических и возрастно-средних, не бывает теперь особой сплоченности, поэтому и резкой внутренней борьбы, серьезной, не бывает. Традиции хранятся, но вяло; а рядом, хотя тоже вялое, живет воздыхание о новом. Однако сдвиг «Чисел», приближенье их к современности, очень может произойти; но лишь усилием отдельных личностей с широким кругозором, если таковые появятся. С «Записками», с крепостью их коллектива и твердостью давних заветов, никакие отдельные личности ничего, конечно, не поделают.

Я не буду, однако, возвращаться, кончая, к гаданиям о том, что может случиться, и может не случиться. Условными сладостями – «но мы верим... мы надеемся»... кончать тоже не хочу. Просто вспомним, о сегодняшнем дне. Вспомним, что оба наши журнала, «Соврем. Записки» и «Числа», какие они есть, уже делают сегодня одно и то же русское, доброе, дело. И скажем спасибо, что оба они у нас – есть.

СОВРЕМЕННОСТЬ

Мир

Все согласны: мир сейчас, в начале 30-х годов, находится в скверном положении. Куда ни взглянуть, в ближнюю сторону, или дальнюю, на общее или частное, – все и везде неладно. За одно последнее десятилетие, уже после катастрофы, в те именно годы, когда ожидал мир своего восхождения, он въехал в порядочную низину. Мы спуска.

не замечали: это был спуск «на тормозах». Но стоит сделать усилие, реально вспомнить свое, чужое или общее положение десять лет тому назад, поставить его рядом, вплотную, с сегодняшним... и какими «прекрасными днями Аранжуэца» покажутся эти дни минувшие!

Узкое и надоевшее определение: «мировой экономический кризис» — ничего не объясняет. Что-то, мол, в постройке мира расклеилось, не то благодаря развитию техники, не то несмотря на него. Надо только сговориться, как расклеенное снова склеить. Толстой тоже любил повторять: «стоит людям сговориться...» и тоже не понимал, что именно сговор-то между людьми тем невозможнее, чем он нужнее.

Странно тоже: печальники о внешнем расклеивании мира не обращают внимания, что он расклеился и внутренно. Можете быть уверены, что с подклейкой извне — он изнутри и сам подклеится. Вопрос, положим, не решен, что ведет за собою другое: внешний ли развал человеческого мира — внутренний, или наоборот. Бесспорен лишь тот факт, что один развал без другого не бывает, ибо человеческий мир, по выражению Вл. Соловьева, «душетелесен». Этого довольно бы, кажется, чтобы, исследуя трещины на стенах наружных мирового здания, полюбопытствовать, какого он вида на внутренних.

Обсуждением мировых современных дел я заниматься, конечно, не буду. Да это и не нужно. В вопросе о «современности» нельзя достаточно сузиться, т. е. можно сузиться до любого предела: в самом маленьком уголке мы найдем отраженной ту же современность, то же самое сегодня-данное. Ведь мировой «спуск на тормозах» (может быть, и не законченный) произошел во всех точках одновременно. Все в связи со всем. Как бы сообщающиеся сосуды, независимо от размера.

Русский стакан

Он очень мал. Особенно тот, который я беру, — эмиграция, и еще у́же — интеллигентный, культурный ее слой.

Сделать усилие памяти, сравнить себя — эмиграцию — начала 20-х годов с собой в начале 30-х, — очень полезно. Хотя линия судеб наших и находится в подобии с общемировой — наша, в том же отрезке времени, ярче. Пока мир пережил одну катастрофу, мы пережили две. Так же ярок, впрочем, нагляден и чудовищный декаданс России советской за это десятилетие. Но не буду останавливаться на общеизвестном.

Вот почему с трудом верится: эмигрантская интеллигенция всех возрастов, направлений, убеждений была, в первое время своей европейской жизни, так сплочена, как не бывала раньше, на широких пространствах родины. Мы это забыли, видя сегодня такое ее распыление и разбросанность, какой опять в нормальной России не было. Прошлый момент сплоченности людей культурного слоя был, вероятно,

результатом еще живого сознания, что у них один общий враг. Тот же у политиков всех направлений, тот же у людей науки, у людей искусства... Физиологически чувствовали они в нем — врага культуры, и понять порыв их — совместно защищать драгоценное русское достояние.

«Культурные дела» русской эмиграции того времени будут когда-нибудь оценены. Их было много, и много усилий. Но... сделаем опять маленький, частный опыт. Положим рядом: какой-нибудь орган русской прессы, № года 33-го, — и пожелтевший № 20-х годов. Из пожелтевшего улыбнется жизнь, — какая ни на есть, но жизнь, — а белый, новый... он даже не удивит своей плоской, старой скукой.

Когда же начался и как происходил «спуск на тормозах»? Медленный, подпольный процесс подвел сначала нашу интеллигенцию к тому прежнему состоянию, в котором она находилась в России. Там, разделенная партиями, направлениями, кружками, она, и враждуя, была скреплена внешне и внутренно. Но здесь, у эмиграции внешней скрепы не было, той, которая еще оставалась у западных народов: своей земли. Скрепа внутренняя? Но чтобы продолжать быть скрепой, она должна непрерывно меняться, шириться, возрастать... Неопределима внутренняя жизнь: это совокупность движения мысли, воли, путь действенного творчества, прикосновенье к бергсоновскому «êlan vital» *. Говоря же просто — это способность, или отношение, к ***«общим идеям»***.

Удивляться ли, что русская интеллигенция, среди медленного снижения мира, который и сам терял внутреннюю жизнь, не удержала своей последней скрепы? Разъединение, распыление пошло дальше. Незаметно низился культурный уровень. А параллельно ухудшалось и положение внешнее.

На частном примере зарубежной интеллигенции, примере таком наглядном, мы, может быть, поймем кое-что яснее и в ней, и в движении культуры, и — в современности.

Человек и талант

Один из очень хороших показателей — литература. К ней в данном случае мы и обратимся.

Литература русская (а она была у нас не плохая, не правда ли?) тем особенно отличалась, что имела очень мало «пустот». Не говорю уже о первостепенных писателях; но и второстепенные — почти ни один не был *для* литературы: литература была *для* него. Т. е. не отделял, ни сознательно, ни бессознательно, своих писаний от себя и от жизни; ли-

* «жизненный порыв» (*фр.*).

тература была для него средством – никогда целью. Источник же творчества – это, как я говорю, отношение человека к «общим идеям». Силой и качеством отношения определялась и ценность литературных произведений, их долговечность (как, впрочем, и всегда определяется). У Толстого сила его отношения к общим идеям переросла качество, к концу жизни. Но от этой легкой дисгармонии он не перестал быть Толстым, она лишь повлияла на ценность кое-каких писаний в последние годы.

Все дело в том, что слово «талант» употребляется нами неуместно. Оно неприложимо к писателю, художнику, технику, политику и т. д.; оно приложимо только к *человеку*. Талантливый «человек», обладающий какой-нибудь специальной способностью, – скажем, писательской, – и будет настоящим писателем, тем большим, чем сильнее и качественно выше его *человеческий* талант, т. е. его отношение к внутренней стороне, к общему внутреннему трепету жизни.

Талантливых людей на свете бывало больше, чем мы думаем. Не говорим ли мы иногда о моменте исторического подъема: какая талантливая эпоха! Возможно и обратное: периоды несчастий, обусловленных иссякновением творческого таланта в человечестве...

Во всяком случае, обернувшись к России, от России – к эмигрантскому культурному слою, и от него, бесстрашно суживаясь, к современной нашей литературе, – признаем, что и она отмечена человеческой бездарностью. В так называемой «беллетристике» еще обольщает порою, у того или другого литератора, его специальная способность, словесная и глазная. За уменье приятно и красиво соединять слова, «рисовать» ими видимое, мы, по привычке, называем такого находчивого человека «талантливым писателем». Подобных талантов у нас много, куда больше, чем (в обычном смысле) бездарностей. К примеру назову лишь одного писателя, из наиболее способных: Сирина. Как великолепно умеет он говорить, чтобы сказать... ничего! Потому что сказать ему – нечего.

Еще хуже (или лучше, ибо виднее), когда к обольщениям беллетристики прибегнуть нельзя, когда пишется статья, критическая или другая, где уже нельзя как будто ничего не сказать. Однако и тут современный литератор ухитряется затянуть свое неуменье сеткой слов и как-то осязательно сам, в писаниях своих, «не быть». Степень писательской способности, гибкость, навык, – все это у авторов разное; но, при одинаковой человеческой бездарности, ценность писаний их – одна.

Такая бездарность тем меньше сознается, чем она полнее (совершенно, полной, вероятно, нет). Для многих это, пожалуй, и лучше: начаток, проблеск понимания своего человеческого неудачничества (т. е.

и писательского) может принести иному миллион терзаний. Бессильные вспышки сознания часто ведут лишь к озлоблению, к потере равновесия, а порою к потере и своих способностей.

Миллион терзаний

В нашей литературе человечески бездарные писатели со способностями попадались и раньше. Они забыты или забываются. Довольно бездарный человек — Фет. А из более новых, типичная бездарность с крупными писательскими способностями — Брюсов. Они, впрочем, в конце ему изменили, как это нередко случается. Бездарности своей Брюсов, благодаря ее большой полноте, не сознавал, а потому, кажется, и терзаний никаких не испытывал.

В современности к типу Брюсова надо отнести Ходасевича. Подобий и сходств (не в их произведениях, конечно: как писатели, они самостоятельны) между ними можно найти много, даже мелких: сходств во вкусах, склонностях, в методе работы... Но это подробности, главное же — что у обоих нет того, что мы называем «талантом», т. е. нет отношения (ни интереса) к «общим идеям». Тип «спеца», сосредоточившегося (в зависимости от области, в какой он работает) на словосочетаниях, или на статистике, или на изучении какой-нибудь пятой тараканьей ножки. Боже меня сохрани, осуждать такие почтенные и полезные занятия! Но сейчас мы говорим о другом.

В Ходасевиче, однако, уже нет брюсовской безмятежности: некое подозрение относительно себя и «общих идей» его, видимо, коснулось. Сознание своего бессилия вызывает в нем раздражительную беспокойность; толкает на борьбу со всем, что хоть как-нибудь может напомнить ему о человеческом «таланте».

Очень в этом смысле показателен недавний его фельетон о романе «Отечество». В простом рассмотрении — это лишь банальные нападки на «тенденцию» в искусстве. Но постановка и тон защиты искусства таковы, что нельзя не догадаться, где настоящий враг критика и чем он втайне уязвлен.

С первой же строки — попытка отвода: критик признает «общие идеи» (так и говорит: «общие идеи»). Он даже способен будто бы некоторые разделять. Но искусство существует помимо них. Отношение писателя к общим идеям (человеческий талант!) уничтожает художественность произведения. Разве что вытекут они оттуда сами, вне воли и сознания автора... Критик, впрочем, не заботится доказывать, что идеи в романе «Отечество» не «вытекают»; это, в конце концов, ему не важно; важно, что они там есть.

С чисто художественной точки зрения в данном романе не трудно увидеть недостатки: неопытную неровность письма, лишнее повторе-

ние слов, сухость образов... Замечательность этой книги прошла бы, вероятно, мимо узкохудожественной критики, хотя и она отметила бы ее гармонию и органичность. Но Ходасевич такой критикой не занят. «Искусство» для него только щит, с которым он идет против главного врага. Скоро и щит оставлен. Критик делает прямой, – и самый неловкий – выпад против... как будто идеи, как будто в романе заключенной. Я говорю «как будто», потому что и на самый грубый взор «антисемитизм» не есть «идея», во-первых; а во вторых – и такой же грубый взор не мог бы усмотреть его в романе. Со стороны критика такая неловкость – не результат ли крайне раздраженного состояния? В подобном состоянии случается пренебречь и очевидностью.

Пример этот тем интересен, что как нельзя больше открывает нам бессилие писаний литераторов, очень способных, но не одаренных человеческим талантом. Ни в чем упрекать их, даже в раздражительности, нельзя; и без того их терзания, при сознательных проблесках, слишком остры. Да и где чья вина? Может быть, это просто современность, отразившись и в нашем маленьком русском стакане, населила нашу литературу писателями без человеческих талантов?

Опять мир

Виноватых и вины нет, мы напрасно старались бы искать ее. Достаточно, если мы увидели вот эту важную черту современности (черту, – или одну из причин современного, общего, состояния мира): оскудение творческого начала в человечестве, падение человеческой талантливости. Оплотнела, огрубела материя; «élan vital», волна первожизненного порыва, сталкивается с ней, и, не проникнув внутрь, – разбивается.

СТАРАЯ, НОВАЯ И ВЕЧНАЯ

В Александринке «Зеленое кольцо» ставил Мейерхольд. – Москвичи отвергли пьесу за... «безнравственность». – Последняя роль Савиной. – С Керенским на генеральной репетиции. – Сегодняшняя молодежь у «пражан». – Какая пропасть – эти 15 лет...

О своей пьесе автору писать не полагается. Я, положим, думаю, что всякий разумный автор мог бы написать о своем произведении, которому минуло полтора десятилетия, самую разумную критическую статью; но меня занимает сейчас не пьеса, и не о ней я буду говорить.

В этот жаркий вечер первого представления «Зеленого кольца», в большом театре на Монмартре, у «художественников» (пражан), многие из нас реально ощутили то, что разумом все мы знаем: ощутили *пропасть,* которая отделяет сегодняшних русских людей от всего бывшего 15 лет тому назад. Мы по-разному ощутили ее: молодые иначе, нежели старые; но реальность ощущения была, кажется, одинакова.

«Зеленое кольцо» — пьеса о предвоенной молодежи, о самой юной, о тогдашних подростках. Пьеса вышла (кроме выдуманной фабулы) из моего общенья с петербургской молодежью того времени, с юными посетителями моих «воскресений».

На Александринской сцене она была поставлена уже во время войны, и постановка эта сопровождалась очень смешными обстоятельствами; особенно теперь кажутся они смешными от далекости и допотопности. Одно то, что пьесу ставил и был ею увлечен — Мейерхольд... нынешний «почетный красноармеец».

Было и другое: пьесу, уже одобренную директором, следовало, по форме, провести через «Театральный Комитет».

Так как в петербургском комитете был членом Мережковский, мы послали ее (анонимно) в Москву. Отзыв тамошних «старичков» поверг всех нас в полное изумление: расхвалив пьесу литературно, они, однако, отвергли ее за... «безнравственность»! Мотивировка безнравственности — изумительная тоже: зачем молодые «читают Гегеля» и без особого почтения относятся к старшим.

Затем случилось новое чудо в древнем петербургском быту: Мейерхольд апеллировал к Савиной. На этой пьесе произошло у них «примирение»; Савина сама пожелала играть в ней (это была ее последняя роль) и уж, конечно, не царице Александринки было считаться с формальностью каких-то «комитетов»! Случай этот помог мне ближе узнать Савину: очень интересная она была женщина! Помню ее и у нас, и у себя... Кажется, в рассказах, за столом, она была даже талантливее, чем на сцене...

Помню наше путешествие с Блоком на репетицию, затем с Керенским — на генеральную. Помню и нарядный зал первого представления. Вот когда можно сказать: «одних уж нет, а те далече...». На сцене — Савина, Юрьев, Рощина-Инсарова, Домашева; в партере — Петербург военного времени, думцы, фигура едва седеющего Милюкова; выше — свежие личики моих «воскресных» друзей — гимназисток... Но довольно воспоминаний, ведь это все «на том берегу» пропасти.

На том берегу — и московская студия «художников», где почти в то же время поставил пьесу незабвенный Стахович. Она шла там долго, чуть ли не 22 года.

Мне не довелось видеть этой постановки. Нам присылали фотографии, просьбу приехать на сотое представление, – но разве можно было тогда поехать из Петербурга в Москву? Судя по отзывам (между прочим – жены Кокошкина, столь трагически погибшего перед Учредит. Собранием) – в Москве это была *другая* пьеса, так, что ее почти и узнать было нельзя. Оттого, должно быть, что играла ее подлинная молодежь, подлинные «семнадцатилетние»: такова была задача Стаховича.

И вот, в группе тех же «художников» той же студии, когда-то «москвичей», теперь «пражан» – стаховическая традиция (относительно данной пьесы) осталась.

– Мы давно хотели ее поставить, – говорила мне г-жа Греч, игравшая в Москве – гимназистку, а теперь роль Савиной, – но мы не могли, пока не подобралась молодежь.

Она подобралась. Подлинная сегодняшняя, – в парижском театре, показала нам «старую» молодежь, ту, которая *была*... когда-то; 15 лет (или 15 веков) тому назад. Молодежь петербургских «воскресений».

В Париже, в эмиграции, «воскресенья» давно возобновились, как будто. «Как будто» – ибо это вовсе не они, вовсе не то. Многие из этих парижских «воскресников», новых, «не тех» и не юных, а только-только разве молодых, были вместе со мною на спектакле. Смотрели на «старых» молодых. Вот тут-то и ощутили мы, по-разному, но одинаково реально, какая пропасть – эти пятнадцать лет.

С одним из теперешних молодых людей (самым молодым и самым, кажется, глубоким) мы вышли в антракте из театра на тротуар глухого монмартрского тупичка. Лицо моего спутника выражало самые невеселые чувства.

– Знаете? – сказал он, – я погрузился в смертельное уныние. Как они, эти старые молодые, были счастливы! Как им, тогдашним нашим сверстникам, легко жилось! Все перед ними было ясно: чего хотеть, что любить. К жизни готовиться, учиться... Если война – ясно, что надо идти защищать Россию. А мы? Разве мы знаем, что нам, каждому, делать, куда идти, чему верить? Мы ничего не знаем, и все разделены...

После спектакля, наш кружок и артисты сошли вместе, вниз, в небольшое, скромное кафе. На минуту мне показалось, что иллюзия сцены продолжается: так бурно весела и оживлена была эта юность, только что представлявшая юность «старую». Никто бы не сказал, что две очаровательные девушки-девочки (Корсак и Кедрова) не те два подростка, которых мы только что слышали и видели в пьесе. Может быть, они все и не думали, *какую* молодость играли: просто «молодость», вечную, ту, которая была в них самих, в их «сегодня».

Но вперемежку с этой веселой молодежью, – артистами, – сидела другая нынешняя полумолодежь... наши парижские поэты-шоферы, студенты-маляры, художники, моющие витрины. Не от малярства же одного и шоферства так мрачны они, такие неподвижно-неловко-унылые у них лица, у давешнего моего, в тупичке собеседника и у других? Они почти не узнали старой России, почти забыли и знаемое; но – «*почти*», и потому живо ощутили, может быть, пропасть, разделяющую два берега.

А для нас, много знающих, много помнящих, этот вечер был полон еще более сложными, иногда страшными, впечатлениями. Когда юность предвоенных годов поет свой гимн: «Вперед, нас зовет Небывалое!» – разве не жутко думать, что «небывалое-то» и действительно к ним пришло, – но какое?

Кто из них, тогдашних, в каком ледяном походе или в застенке Чека сложил голову? Кто в Соловках погиб? Кто мыкается на чужбине, а кто преждевременно состарившись, голодный и раздетый, еще по России влачится? А кто-нибудь, может, и врагу передался?

Странно, необыкновенно как-то, было минутами глядеть на сцену: точно с того света, зная будущее, глядим на людей, которые в это будущее верят, радуются ему, ждут, – не подозревая, каким оно явится...

А все-таки, все-таки – насколько правее и праведнее надежды юности старой, веселье новой нежели вот это уныние, которое так часто овладевает теперь молодыми сердцами. Пропасть? Да, через нее, конечно, не переступишь. Но вечная правда молодости в том, что она всегда смотрит вперед, всегда верит в будущее чудесное, «небывалое», идет к нему навстречу, ищет его. «А чего нельзя найти, того нельзя и искать», – сказал Вл. Соловьев. Во все времена молодость стремилась к «небывалому», и лишь поэтому мир и жив еще, что она иногда его, – настоящее! – находила.

Кто скажет, что для сегодняшней нашей молодежи все пути отрезаны? Для той, может быть, которая унывает, завидует и жалуется: «мы попали в щель истории...». Но ведь есть другая, и «гимн» ее все тот же:

О «молодости, правде и воле» –
Вперед,
Нас зовет
Небывалое!

* *
*

В те самые дни, когда юные «пражане» воскресили московскую студию в Париже, мы получили толстое письмо из Варшавы: артист Худ. Театра г. Васильев воскресил эту Студию и там. К письму были

приложены снимки отдельных сцен из «Зеленого кольца» и всей труппы, — очень многочисленной. Совершенно так же, как у пражан (и как было в Москве у Стаховича), в варшавской Студии артисты — сама юность. Очевидно, этот принцип, для данной пьесы, — (молодость актеров) — и есть самый верный; о нем мне писали и из Лондона, где тоже есть русская Студия. По фотографиям трудно судить о варшавской постановке, хотя некоторые снимки очень характерны; по отзывам же, до нас дошедшим, молодые артисты с честью выдержали свое первое испытание. Я не сомневаюсь: они так же молоды, как пражане, значит с такой же искренностью и верой (может быть, и не тщетной?) могут повторить слова «вечной» юности:

...Вставайте, живые, идите за нами!
Приблизилось время ответное...

БРАК ПИСАТЕЛЯ

Какой должна быть идеальная жена писателя? — Встречи с женами Достоевского и Толстого. — «Добра жена. — Не жизнь, а житие. — Семейная трагедия Толстых. — Несчастный брак Пушкина. — Любовь Тургенева

В наше время всевозможных анкет никому, однако, не пришло в голову поставить вопрос: какой должна быть, **в идеале**, жена писателя, большого писателя? И какие из жен замечательных писателей к идеалу приближались?

Правда, идеал здесь, как всякий идеал, вообразить трудно. Правда и то, что вопрос, поставленный в виде анкеты, мог бы напомнить отчасти известную сказку: как царь, сидя под окошком девичьей светлицы, слушал речи девушек:

Если-б я была царица,
Третья молвила девица...

Вряд ли, впрочем, много найдется современных девушек, которые, думая о будущем муже, хотели бы видеть его известным писателем. А если б и нашлись такие, то, наверно, ни одна не скажет, какой она будет ему женой, да и не знает, какая писателю нужна.

В самом деле — какая? Беззаветно преданное женское существо, нянька, любящая кухарка, словом — самоотверженная «служительница гения»? Многие думают так, прибавляя служительнице украшаю-

щие названия «опоры», «подруги», «утешения» и т. д., что дела не меняет. Служительница – еще лучшая жена, это бесспорно. Однако идеал ли это? Говоря откровенно, мы и в воображении не можем себе представить ни идеальной жены для выдающегося, большого писателя, ни идеального для него брака.

Другое дело брак удачный, брак «счастливый»... более или менее. Я говорю, конечно, о браке «счастливом» для писателя в его цельности, т. е. для него – человека и для него – художника. Примерами писательских браков, и удачных, и неудачных, можно бы заполнить целую книгу, – даже если б ограничиться только русскими писателями. Поэтому остановимся лишь на некоторых.

Два имени вспоминаются: самого несчастного и самого «счастливого». Это не Толстой и не Достоевский. Я назову их ниже, но сначала – несколько слов о Софье Андреевне Толстой и Анне Григорьевне Достоевской.

Мне довелось видеть обеих. Анну Григорьевну мы встречали в 90-х годах у Полонского. Уже немного расплывшаяся пожилая женщина, в наколке, молчаливая, с добрым и настойчивым выражением глаз. Дочь ее говорила много, подчас остроумно, всегда зло. В ней чувствовалось то, что французы называют «aigreur» *. Ее бледное, некрасивое лицо напоминало, вероятно, лицо Федора Михайловича **.

Анна Григорьевна со скромным достоинством несла свое звание «вдовы великого писателя», никогда как будто о том не забывая. Кстати: в эти же годы, у Полонского, встречали мы и другую «знаменитую вдову» – вдову гр. Алексея Толстого. Она была не похожа на Анну Григорьевну, а скорее на некую «вдовствующую императрицу»: так царственно проста, и даже некрасивость ее была какая-то царственная. Ал. Толстой встретил ее впервые «средь шумного бала, случайно», в маскараде, где «тайна ее покрывала черты» (маска). Но все-таки это уже было coup de foudre ***. Не видав еще ее некрасивого лица, он сомневался: «Люблю ли тебя, я не знаю... Но кажется мне, что люблю...». А увидав, скоро убедился, что да, любит. К ней же, через годы, написано и: «В отлива час, не верь измене моря, оно к земле воротится, любя...». Вот брак, который, наряду с браком Баратынского (да и Тютчева) стоит отметить. Но это завело бы нас слишком далеко.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* язвительность (*фр.*).

** Люб. Фед. Достоевская пробовала себя впоследствии на писательском поприще: издала (под псевдонимом) роман, заглавия которого я не помню; потом, кажется, воспоминания об отце. Умерла она в первые годы эмиграции, в Италии, если не ошибаюсь.

*** любовь с первого взгляда (*фр.*).

В начале столетия А. Гр. Достоевская уже одна: дочь ее оставила, поселилась отдельно, сын тоже: его поглотила страсть к лошадям (страсть с младенческого возраста, как упоминается в дневнике матери). Но А. Г., казалось, не чувствовала себя ни особенно несчастной, ни особенно одинокой в большой своей квартире на Фурштадской. Дети не были для нее тем, чем были для С. А. Толстой, носившей в душе какой-то монолит, что-то громадное, где в неразрывном единстве пребывали и муж, и дети. У Анны Григорьевны другая душа. Достоевский спрашивал: если жениться — взять ли «умную», или «добрую»? И выбрал добрую. Добрая и положила всю душу, без остатка, на него — одного.

К нему, человеку, она подошла через «великого человека»; притом, — не случайно! — через **физическое**, конкретное касанье к его дару: знакомство началось с «Игрока», написанного под его диктовку. И физическое, плотское отношение к созданиям Достоевского осталось у жены его на всю жизнь. Одна, без детей, в пустой своей квартире, она продолжала жить той же благоговейной, любовной заботой о **плоти** произведений своего великого мужа: вся была в его письмах, в хранении каждой бумажки и в деле издания его книг. Начала издавать еще при нем, толчок дало, конечно, бедственное положение Достоевского и практическая сметка жены; но главной осталась любовь к его **книгам**. После смерти Достоевского издания стали приносить большой доход. Насколько радовало это А. Г. — не знаю; во всяком случае, внутренно жила она не этим, а именно делом любви к тому, во что проникнуть, может быть, не могла, но что **осязала**, как великое.

По дневнику А. Г. (издан ли он в полноте?) видно, что жизнь ее, при человеке с характером Достоевского, была не жизнью, а «житием». Он любил ее; но «влюблен», конечно, не был никогда. Влюблен он мог быть скорее в такое страшное — и низменное — существо, как Аполинария Суслова (приукрашенная Полина в «Игроке»). Совсем ли он был свободен от этой едкой влюбленности, диктуя «Игрока» молоденькой стенографистке? Не думаю. И уж если где видеть руку Божью, то, конечно, в своевременном ниспослании Достоевскому этой милой девушки. От Сусловой, уже 40-летней, не спасся юный В. В. Розанов. Но Розанову, пожалуй, и следовало пройти годы испытания, когда ежедневно смешивал он, умываясь, теплые слезы с холодной водой. В свое время послано было избавление и Розанову. Старуха бросила его, хотя развода так Розанову нужного, ни за что не давала — только по злости.

Я не могу удлинять моего очерка еще этой «женой». Скажу лишь, что стоит раз взглянуть в глаза Сусловой, уже старческие, чтоб поверить и в каждодневные слезы розановские, и в утопившуюся воспитанницу старухи, и во многое другое... вплоть до возможной влюблен-

ности Достоевского. Не между «умной» и «доброй» пришлось ему выбирать, а между злой и доброй. Благо нам, что он выбрал добрую. Анна Григорьевна – из тех «лучших» жен, хранительниц и «служительниц гения», в браке с которыми великие люди находят возможное для них «счастье».

Брак Толстого – того же типа, только совершеннее. Он и был в течение многих лет счастливейшим. Толстой не только любил Софью Андреевну, он был и влюблен в нее, до старческих лет, притом в нее одну. А С. А. – из лучших – лучшая жена, подруга, «нянька таланта». Трагический конец этого брака обусловлен самим его совершенством в связи с исключительными личными свойствами и мужа, и жены. Толстой не был, **сам**, в меру своего писательского дарования. Оно росло, но и он рос; рос – и перерос его. Вверх или в сторону пошел этот рост «человека», – не будем сейчас разбирать. Факт тот, что человек-Толстой и писатель-Толстой перестали совпадать, как совпадали раньше. Этого постигнуть С. А. не могла. Она-то была уже на последней, высшей точке **своего** развития, очень гармонического, начало которому положил муж. Она и шла за ним, с ним, но – ее путь кончался там, где еще не кончался путь Толстого. Идти все-таки за ним? Без своего пути, – идти чужим? Слабая женщина так, вероятно, и поступила бы. Но С. А. женщина не слабая. И она бросилась в борьбу.

Святая борьба: ведь С. А. ведет ее за свои высшие, последние ценности, за мужа, гениального писателя, который сам же возрастил ее душу, ее силу и дал ей детей, пребывающих в сердце нераздельно с ним. Но борьба не могла не кончиться трагически, так как С. А. боролась **вслепую:** только любя, но не постигая самого появления нового Толстого.

Она в борьбе не победила. Но не победил и он. Вернее же всего, – поймут ли это когда-нибудь? – что оба они вышли из борьбы победителями. Чертков... он только несчастная и печальная деталь этой великой трагедии. Его, однако, нельзя смешивать с толстовцами (немало их пришлось мне перевидать!) – он стоит особняком. Впечатление производит отталкивающее, и разгадка проста: это фанатик собственного «подвига», не выходящий из преклонения перед его величием. Жертвы, которые он принес «идее», не могли ему не казаться громадными, так как он продолжал высоко оценивать все, от чего отказался: положение, состояние и т. д. Отсюда, естественно, и злоба его к «непонимающим», и подколодное смирение, и грубая жестокость в борьбе с «врагами» вроде С. А., и беспощадная требовательность к другим, вплоть до самого создателя «идеи» – Л. Толстого.

Увы! Еще до сих пор приходится порой защищать Софью Андреевну если не от Черткова, то от ее собственных детей, перед ним не усто-

явших некогда. Между тем облик этой цельной, любящей женщины и матери, казалось бы, ясен теперь. Не «идеальная» жена, конечно, — идеал, мы говорили, и вообразить трудно, — но та из «лучших», к типу которых принадлежит и А. Г. Достоевская (в бледном отпечатке). Эти лучшие жены и создают наиболее счастливые, — или наименее несчастные — браки замечательных людей, великих писателей.

Кто будет спорить, что самым несчастным, в прямом смысле, оказался — брак Пушкина? В погибельном конце этого брака бессмысленно было бы винить жену. Это брак равно несчастный для обоих. Она не годилась для гения; а он не годился для нее, что доказал ее вполне счастливый второй брак. В трагическом конце или виноваты оба, или не виноват никто, хотя конец этот — не случайность...

Есть большой писатель, с моей точки зрения — «счастливейший». Но я едва решаюсь назвать имя, так спорно его счастье в глазах большинства. Однако нет сомнения, что никто не переживал любовь-влюбленность к женщине так полно, остро, длительно, и ничье дарованье не отразило любовь с такой **своей** глубиной и особым сиянием. А женщина не была из «лучших» жен: она совсем не была женой, потому что и брака, в обыкновенном смысле, не было.

Я говорю о Тургеневе. Для него в его цельности, т. е. для него человека-писателя, такая любовь была воистину счастливейшей. И, пожалуй, его судьба есть лучшее, что можно пожелать большому писателю.

Но ведь «брака» не было? Ни брака, ни семьи, ни заботливой няньки таланта, лучшей из жен? Или замечательному человеку, большому писателю, для которого жены идеальной и придумать невозможно, — лучше оставаться без всякой, даже самой хорошей?

Этого я не знаю. Я только ставлю вопрос, как и первый, — об **«идеальной»** жене. Пусть решают их другие, если могут.

Пока же нет решений, мы должны преклониться перед женами все-таки лучшими, перед Софьей Андреевной Толстой, Анной Григорьевной Достоевской и многими другими, им подобными; перед женами-хранительницами избранных сосудов — великих людей.

В СЕЙ ЧАС

Нужно ли еще и еще говорить о всеобщей, согласной радости, которую возбудила в сердцах зарубежья полученная Буниным премия?

Слишком эта радость понятна, слишком понятны истоки ее и многосложные причины. А то, что именно Бунин, несравнимый художник слова, оказался центром события, особенно увеличивает его значительность.

В дни, когда мы все, кажется, потеряли, не остается ли у нас последняя драгоценность – наш русский язык? Некогда Тургенев завещал «хранить великий русский язык»; но лишь теперь, пройдя долгие испытания, мы начинаем понимать, что это за сокровище.

Кто же сейчас, если не Бунин, с волшебной своей изобразительностью, с глубокой властью над словом, заставляет нас чувствовать величие родного языка?

Достойный его хранитель, Бунин является, для зарубежья, как бы **олицетворением** той последней, ценнейшей части России, которую отнять у нас уже нельзя. Вот потому-то победа Бунина и с этой стороны – так близка сердцу русской эмиграции, и так единодушно ее сорадование.

ВСТРЕЧИ И СВОБОДА

(Вроде предисловия)

Чем вы интересуетесь?

Узнав, чем (и как) интересуется человек, мы, подчас, узнаем много о нем самом, лучше можем понять его и определить. Да не этим ли, в известной мере, определяется и коллектив, или даже эпоха?

У всякого (почти!) человека есть какой-нибудь главный интерес. Эти главные разнообразны, как и люди. Только чем он у кого значительнее (или шире, или выше, – как угодно), тем больше рождает вокруг себя других интересов, требует такого богатства. Интерес главный, предположим, к боксу, – ничего не требует, позволяет отдаться ему без оглядок по сторонам. То же при интересе к своей карьере, к своей семейной жизни... Но чуть он пошире, – к искусству, хотя бы, – как не заинтересоваться рядом и другим интересным: историей, сменой эпох, людьми с их мыслями, с их делами... О «творцах» в любой области жизни я уж и не говорю. Трудно вообразить даже самого худенького «творца» без запаса разнообразных интересов. Иногда, по этому признаку (интереса), угадывается и мера таланта у человека.

Как бы то ни было, мы, при условии «свободных встреч», узнавая, кто чем интересуется, скорее всего узнаем друг друга.

Но свободные встречи – это никогда не было, в моем понимании, ни каким-нибудь идейным или профессиональным кружком, ни тем менее «средой». Так называемых «сред» в Петербурге было множество, и не особенно резко друг от друга отделенных. Со средой литературной мы, все последние годы, уже мало соприкасались, и чем дальше, ближе к войне, тем все меньше. Положим, от писателей признанных и

«старших», вроде Горького и Андреева, мы всегда были далеки; а с недавними студентами, моими помощниками в журнале «Новый Путь», перед революцией 905 года, хоть и продолжали дружбу, но личную: кое-кого из них, к десятым годам, уже не было, другие и сами от литературной среды, именно среды, стали удаляться, — Блок, например.

Тогдашняя литературная и окололитературная «молодежь», предвоенная, не то что была неприятна, но не внушала интереса: казалось, она сама ничем интересным не интересуется. Даже ее забавы и беспорядочные потуги «новаторства», — все пахло знакомым русским захолустьем... впрочем, с примесью какой-то мрачности. Действовала, очевидно, и атмосфера надвигающейся грозы. Но никто ведь этого не знал, и мой приятель, покойный Туган-Барановский искренно был убежден, что «современная средняя молодежь, студенты (достаточно я насмотрелся!) вся целиком — ни к чему: не то пережила, не то недожила. Надо бы следующую поглядеть».

А в самом деле, эти «следующие» теперь (тогда было) лет 14—16, может быть, они — другие? Между ними уж потому скорее найдутся «имеющие интерес к интересному», что им «новы все впечатления бытия». Что и как они из этих впечатлений выбирают?

У меня случайно уже было несколько юных приятелей — гимназистов и гимназисток. Они, своими встречами у меня, и положили начало петербургским «зеленым воскресеньям». Как «зеленые» — недолго они просуществовали: жизнь уничтожает искусственные выдумки, между прочим — и наш условный раздел на «поколения». События тех времен подчеркнули эту условность. Особенная же безрассудность была делить молодежь на «средних» и «младших», — как она сама себя делила тогда (и, увы, до сих пор, кажется, продолжает, даже здесь, в эмиграции, где так все беспросветно перепуталось, что не диво встретить 20-летнего старика и другого, зрелого, кому внутренне не больше 14-ти лет!). А тогдашняя русская молодость, и «средние», и «младшие», одинаково оказалась «обреченной». Одинаково из нее спаслись те, кто спаслись, — целиком «поколения», к счастью, не вымирают.

Но о петербургских «воскресеньях», о том, как они начались и длились, о первом и дальнейших участниках, у меня уже была подробная статья. (Кстати сказать: написанная в то далекое время, — в первые годы эмиграции, — когда русские писатели еще писали, по навыку в России, **о чем хотели** и **как хотели.** С тех пор много воды утекло. Физическая невозможность так писать постепенно лишила нас и внутренней к тому способности: она атрофирована. Писать о чем хотим и как хотим — мы уже больше не умеем.)

Насчет Петербурга надо, однако, прибавить, что первая группа, «зеленая», — вскоре глупо взбунтовавшаяся против новых воскресни-

ков, безобидных, но **средне**молодых (они, мол, не «мы») – по отношению к «свободным» встречам кое-что понимала. Может быть, они притворялись, и я обманываюсь; но видимость была такая, что именно они, эти юные, сразу, как свое, восприняли твердое мое неверие в «учительство и ученичество». В самом деле, и не одним благочестивым людям следовало бы задуматься над словами: «Не называйте учителем никого...». Не говорю об учителе арифметики, или чего-нибудь неизмеримо более сложного, но того же порядка. Учительство же другого порядка, если не вред и жалость, то пустота. В этом порядке никто не может ничего **дать** другому по своей воле, из своего, разве насилием (хотя бы бессознательным) сильного над слабым. Все учительства можно свести, в конце концов, к Толстому и его ученикам. Разнообразие только кажущееся, суть одна. Нельзя давать другому; но можно встретиться на чем-нибудь одном (даже, хотя бы, просто на интересе); и тогда каждый встречник сам будет брать у другого то, чего ему, – для этого общего одного, – не хватает, – и обратно.

Нет ли, впрочем, прирожденных «учеников»? Всякий, думаю, видал людей, откровенно распахнутых, как будто ждущих проходящего учителя и его даров (большинство женщин), или других, тщательно, напротив, закрытых: они боятся, до паники, «влияния». По существу оба типа равны, так как оба сами ниоткуда ничего не берут.

Свобода от учительства и ученичества вещь очень опасная, если она не по силам или недостаточно понятна; впрочем, всякая свобода опасна, и даже так, что ничего ее опаснее нет на свете. Сказать с уверенностью, что случайные юнцы, в случайном уголке воскресений, действительно понимали эту свободу, – я, конечно, не могу. Но выдуманный ими, наивный лозунг для «встреч» – не так уж плох: **Свобода, Равенство, Вежливость.** Он скромен, не хотели «братства»: какое еще у нас братство! А «вежливость» – это как раз посильная – пусть мечта! – самоограничения в свободе, т. е. требование самой свободы, которая не любит превращаться в произвол и распущенность. Они, группа юных, поясняли лозунг своими словами: пусть будет свобода, и равенство, а вежливость – это чтоб не было, как везде, у других.... Ну всякий там футуризм, что ли...

Группа эта, благодаря глупому бунту против расширенных воскресений, в скорости распалась. Но хотя новые участники из «средней» молодежи и расширили воскресенья, и некому было повторять забытый «лозунг», – «учредители», пожалуй, даром взбунтовались. По существу, и эти новые воскресенья скрытой основы своей не потеряли. Литературные и всякие «среднемолодые» входили одиночками; каждый являлся, когда того хотел; его не звали и не прогоняли (кроме одного случая, но не касающегося «воскресений»), потому что каж-

дый, приходя, был (или делался), приблизительно, как все, — держал себя вежливо, по мере сил свободно и, если свое превосходство над кем-нибудь чувствовал, его не выражал.

Свобода заниматься тем, что кого интересует, тоже была полная. Ведь по «интересам», как уже сказано, много кое-чего можно узнать о человеке. Другое дело, каковы они были у тогдашних людей, молодых, т. е. еще «становящихся», и какой у меня был над ними суд (поневоле поверхностный, конечно). Но бескорыстно интересны они мне были все-таки все, или почти все, в этих «свободных встречах».

Такие рассуждения и воспоминания пришли мне в голову, когда, на днях, один известный писатель, из «среднестарших», спросил:

— В чем, собственно, идея ваших здешних, парижских, воскресений? Я понимаю собрания у N: молодые поэты рассуждают со старшим собратом-учителем о стихосложении, о метрах... Но у вас...

Ответить на это не трудно: и в здешних, как в петербургских, «идеи» нет вовсе, никакой. Только свобода... не **от** идей, конечно, а **для** всяких, буде они явятся. Кроме того, это не «мои» воскресенья: столько же мне принадлежат, сколько другим участникам, и от них зависят.

В самом деле: парижские воскресенья, несмотря на всю их с петербургскими несхожесть (еще бы, после общего-то вверх дном переворота), в корнях, в глубине — те же. Другое место, другая трагедия, другие люди; но — так же создались эти воскресенья сами собой, без чьей-либо заботы; так же трагична трагедия и «других» людей, а сами другие так же безмерно разнообразны. И даже, в громадном большинстве, они тоже русская «молодость»; не по внешнему, петербургскому, подбору «цифрового возраста», а по гораздо более важному, внутреннему: если с цифрами он часто и совпадает, то, в трагическое время наше, не всегда. Наконец, и здесь то же открытое поле для всяких интересов... к интересному.

Петербургские воскресенья не имели истории: их краткое дленье прервалось со всеобщим русским прерывом. Здешние, поскольку они другие, историю свою имеют. Как уже имеет ее, — и сложнейшую, — эмиграция, в первые годы которой, — медовые годы! — они и зародились.

Слово «мед» к эмиграции, к людям без родины, плохо прилагается; а все же, по сравнению с горечью годов последних, эти первые хочется назвать «медовыми». Они невозвратимы, но это хорошо, всего было бы ужаснее, если б годы шли, ничего не меняя, если б дороги и тропинки истории оказались круговыми. А горечь... Однажды, рассказы-

вает Библия, «из сладкого вышло сильное»; почем знать, может быть, в эмиграции сильное выйдет из горького?

Впрочем, вернемся к воскресеньям. Мне хотелось еще только сказать, что нельзя ограничиться сегодняшним днем, рассказывая о здешних: надо считаться с их фазами, сменами, с их историей. Преисторические, — петербургские, — могут служить в виде предисловия. К ним я уже не возвращусь, если попробую, в другой раз, поговорить о современности, о воскресеньях парижских, об «интересах» участников, о них самих во всем их человеческом разнообразии, о том, что отсюда выходило или не выходило...

А что дальше выйдет — мы не знаем и не заботимся. Вряд ли ничего. Из свободы всегда что-нибудь выходит.

ПОЛИТИКА И ПОЭЗИЯ

(Доклад, прочитанный на вечере стихов «Перекрестка»)

Что самое трудное? Невозможно сказать. Слишком их много, трудных вещей. Но вот нечто, если и не самое трудное, то очень. Это — отделить какое-нибудь слово от привычного понятия. Взглянуть на него свежими глазами.

Привычка такое дело, что мы, зачастую, не даем себе и труда остановиться, подумать: да что, в сущности, мы под таким-то словом разумеем? Например, **«поэзия»**. Все знают, что такое поэзия. Знают? Нет, просто тянется за словом цепь ассоциаций, с незапамятных времен к нему приклеенная. Или — **политика.** Сейчас же другой ряд ассоциаций, других, и так же плотно приклеенных. Если попросить у обыкновенного, среднеинтеллигентного человека более точных определений, вряд ли что выйдет. Из политики получится или нечто смутное (да и правда: где она начинается, где кончается?), или безнадежно узкое. С поэзией — лучше, ведь смутное тут даже обязательно. А в самом общем — так: политика и политики — это на земле, поэзия и поэты — на воздухе, над землей, хоть на вершок, а лучше на аршин, а еще лучше — на сажень и более. Чем выше, тем поэтичнее.

Отсюда естественный вывод: политика — одно; поэзия — другое; до такой степени другое, что и говорить о них вместе, рядом, не подобает.

Представления — примитивные, но они живут и так в привычку въелись, что мы их почти не замечаем. Но чувствуем себя удобно. Вот главный яд привычек: нет охоты нарушать удобство. И как упрямы такие представления! Совсем недавно кто-то сказал мне: «По-моему,

Х. нисколько не поэт». Отчего же? спрашиваю. Мало эмоций. Поэзия — это эмоциональность. В другой раз, среди оживленного разговора на общественные темы, сидящий рядом говорит мне тихонько: «Не понимаю, как вы можете и стихи писать, и политикой интересоваться». Опять спрашиваю: но отчего же? Ответ уклончивый и тем более ясный: «Конечно, ваши стихи более философичны, нежели эмоциональны... Но и философия...».

Да, да, и это известно: философия тоже, как политика, к поэзии отношения не имеет... Но оставим пока философию. Довольно с нас и политиков с поэтами. Однако, чтобы рассуждать дальше, попробуем перевернуться. Попробуем представить себе на минуту, что никаких готовых решений насчет политики и поэзии не имеется. Просто — есть люди, очень разные, дела у них тоже разнообразные, и есть времена, т. е. цепь времен, которая называется историей.

Сегодняшнее звено это цепи, — наша современность, — очень благоприятствует пересмотру отношений между политикой и поэзией. Сегодня особенно неразличимы границы политики; стерлись, размазались, — если не всегда были, как экватор и меридианы, линиями воображаемыми. Да и сама «политика» сделалась каким-то мелко-сложным хаосом; люди политические в нем бессильно завиваются. Если они еще думают, что «делают» политику, то напрасно: они делать ничего не могут. Я не говорю, что политику не нужно делать; напротив, очень нужно; только сегодняшние-то политики «старого образца» выродились; так выродились, что уже ни одного большого и настоящего между **ними** нет. Есть влезшие на ходули. На ходулях такой «политик» кажется выше, а в сущности — был бы только смешон, не будь он так вреден. Судя даже не с моральной точки зрения (оставим мораль в стороне), а с точки зрения ценностей, какую, например, ценность представляют ходули большевиков или другие — Гитлера? Маленький Сассо и маленький Адольф, разве оба они не смешны и не вредны? И разве от ходуль стали политиками **настоящими**?

Не стали и не станут, куда бы еще ни взобрались и как бы еще ни увеличили хаоса своими «удачами». Им, — как, впрочем, нынешним политикам без удач и без ходуль, — не хватает очень важных вещей для настоящей политики.

Чего же, например? Что необходимо человеку — политику **настоящему?** (Подчеркиваю: настоящему.) Я скажу, — что́; и думаю, спора не будет. Такому политику нужно иметь, в виде плюса к специальным дарованиям, во-первых — дар воображенья; во-вторых — при широком, синтезирующем взгляде на мир, — волевую интуицию; ему нужно вдохновенье, или, иными словами, нужно знать **полноту ощущения данной минуты.**

Но «полнота ощущения данной минуты» — есть, по Баратынскому, определение **поэзии**. Не ясно ли, что политике, чтобы быть настоящей, не хватает поэзии? Все сводится к «поскольку — постольку». Поскольку в политике есть и поэт, постольку он настоящий политик.

Совершенно то же получится, если мы начнем обратно, — с поэзии. Ясно, в наше время, что поэт старого, полувыдуманного, образца, — не настоящий поэт; и ясно, чего ему, для настоящего, не хватает. Не хватает, как и политику, только другого. В виде плюса к специальным дарованиям, поэт, — ощущая себя в цельности, — должен, в то же время, ощущать себя частью целого с полнотой ответственности перед этим целым. Поэту необходимо сознательное и волевое отношение к реальной человеческой жизни, к человеческой мысли и к понятию свободы. Все это — до готовности свободно изменять самые формы своего творчества, не изменяя, конечно, ни ему, ни себе внутренно (например, сменить слово делом, или их соединить).

Беру лишь главное, общее; но и его довольно, чтобы увидеть: настоящему поэту нужны атрибуты политика. Поскольку в поэте есть и политик, постольку он настоящий поэт.

Да бывало ли когда-нибудь иначе? Кто назовет мне настоящего поэта, все равно большого или маленького (бывают настоящие и маленькие), чья поэзия и он сам были бы — не то, что совсем **вне** политики (этаких и не стоит искать), а хоть отдаленно и едва-едва с ней соприкасались? Пожалуйста, отыщите хоть одного. Для моих же утверждений примеров сколько я захочу. И даже если я буду брать узко, поэтов только стихотворцев, и оставлю в стороне примеры слишком явные, резкие, вроде Шенье, Ламартина, Пеги, нашего Некрасова и, тоже настоящего поэта — Поля Клоделя. Но кто скажет, что не было политика в Данте? Или в Гёте? Или в Ибсене? Или в наших, от Блока и Гумилева (toute proportion gardé *) до Лермонтова и Пушкина? Тут, кстати, приведу отзыв о Пушкине его ценнейшего собрата и современника: «...Когда он (Пушкин) говорил о политике, внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений... Я довольно близко и довольно долго знал русского поэта... Он любил обращать рассуждения на высокие предметы, религиозные и общественные, о коих соотечественники его, казалось, и понятия не имели. Очевидно, поддавался он внутреннему преобразованию».

Это отзыв поэта, который и сам лучший мой пример: Мицкевича. Или его поэзия не настоящая? А если настоящая, — уж не скажут ли, что в ней, и в нем самом, не было политика?

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* сохраняя все пропорции (*фр.*).

16 Зак 4570

была; так же, как в политическом гении Наполеона была поэзия, а в нем самом – поэт.

Прибавлю, в скобках: иные говорят, что политика Наполеона была не политика. Я не хочу и возражать; просто остаюсь с разумным большинством, думающим иначе. Господи Боже мой! Хоть бы крупица этой наполеоновской «неполитики» попала в головы политикам из Лиги Наций!

Здесь – закрываю скобки... а впрочем – нет: предчувствую еще одно возражение, или замечание; надо на него ответить. А как же, спросят меня, наши-то недавние русские «политики»? Будь они обыкновенными реальными политиками, без всяких «плюсов», без возвышенного идеализма – с Россией, пожалуй, и не случилось бы того, что случилось... как раз тогда, когда они действовали. Да, правда. Правда, что в роковой момент у власти находилась группа политиков, типичная в известном смысле, и – проиграла. Только не правда, – и я очень прошу это заметить, – не правда, что идеализм и прекраснодушие – поэзия: к поэзии они отношения не имеют. Политику они ничего не прибавляют, напротив: дают не плюс, а минус. Не прибавляют ничего и поэту; но поэту могут прощаться. Политику же не прощаются никогда.

Все ли поняли это, после тяжелого урока? Увы, многие из наших политиков и здесь еще остаются на страже своих ортодоксальных развалин. Не видят, что уж и сами им подобны. Но есть, слава Богу, другие, и даже из той группы русских политиков, – «бедных рыцарей», – о которой мы говорили. Пример – Керенский. О нем можно сказать слогом Мицкевича и Вяземского, что «очевидно, поддается он внутреннему преобразованию». К слову «свобода» у него как будто нет старого, слепо-эмоционального, идолопоклонства; при первых буквах д–и–к (о слово жупельное, диктатура!) он не дрожит, как было предписано; и, думается, понимает теперь, что действительно нужен политику вот этот плюс: **«полнота ощущения данной минуты...»**, т. е. **поэзия,** по Баратынскому. Иной раз от нее зависят последние решения.

Нужно ли все это – теперь? Не поздно ли? Нет, никогда не поздно делать пересмотр старого, отрываться от старых привычек. Что касается нашего вопроса, – о связи политики и поэзии, – то я отлично понимаю, как он труден. Тут мало отказаться от давней привычки, тут надо еще преодолеть новые впечатления. Вот, в советской России поэзия очень тесно связана с политикой. Если не все политики – поэты, то поэта без политики там не бывает. Уж не о такой ли связи я говорю?

Только зная темнящую силу внешних впечатлений, касаюсь я этой стороны вопроса. Да вопроса тут, в сущности, и нет. Кто имеет хоть

самое первичное понятие о том, что такое «поэзия», тот не может не почувствовать, что в самом слове уже заключено другое, – свобода. Свобода не атрибут поэзии, но самый ее исток. Если она оторвана от истока – на ней печать смерти, какими бы атрибутами ее насильственно ни снабжали. И не только поэзию убивает эта, **советская**, «связь» с политикой: она убивает и самих поэтов. Вспомним хотя бы страшное письмо Блока, незадолго до смерти: «...Сейчас у меня ни души, ни тела нет... Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка...».

После этого – нужны ли еще оговорки, что не о **советской** связи поэзии с политикой идет речь? И уж если выбирать, – пусть лучше будут голоэмоциональные поэты, с одной стороны, и короткодумные политики – с другой, без малейшего сообщения. **Все** лучше этих человекоубийственных гримас, – московских экспериментов.

К счастью, жизнь не ставит нас перед подобными выборами. И поэзию, – коренной исток ее, – не так-то легко уничтожить. Там подсушат, – здесь пробьется.

С русской зарубежной «поэзией» я имею довольно близкое соприкосновение. Постоянно вижу, – и это в течение годов, – почти всех здешних поэтов, более или менее молодых. Так как они близки и дружественны, мне хотелось бы в каждом видеть **настоящего.** Не скрою, что пользуюсь иногда, при наблюдении, и этим «оселком»: а сколько в данном стихотворце, в его стихах, – «политизма»? Я не смущаюсь, если он там пока и неуловим, даже для меня: завтра может явиться что-то, что не сделает эти стихи в грубом смысле «политическими» (храни нас Бог от таких!), а лишь зажжет внутри тайный, живой огонек. Один из тех огней, которыми горит поэзия – настоящая.

Несколько больше смущает меня какое-нибудь неожиданное замечание, вроде: «Как вы можете писать стихи и интересоваться политикой?» или: «Я глубоко равнодушен ко всем большевикам и небольшевикам». Но и это, в конце концов, пустяки, случайное настроение, – только. Потому что я знаю главное, очень важное. Знаю, что и тут, – и даже в этом частичном вопросе, насчет поэзии – политики, – уже идет серьезный пересмотр старого. Сам по себе пересмотр не означает, что новое найдено; только надежду дает на это, потому что без пересмотра нового найти нельзя.

Хочу прибавить еще два последних слова: чтение стихов с эстрады, которое мы сейчас услышим, не такая безобидная вещь: большею частью оно вредит стихотворению и автору. Самое ценное, внутреннее, ускользает от слушателя.

Редко бывает иначе. В стихах так называемых «эстрадных» и ускользать нечему. Понимаются же стихи – лишь ранее известные, ког-

да их читает известный и любимый автор: так случалось с Блоком. Да и как, в самом деле, слушая новое стихотворение нового автора, сразу, в полторы минуты, понять, что оно — настоящее, и понять почему настоящее?

Но если не понять — почувствовать, угадать все-таки можно. Среди сегодняшних молодых поэтов настоящие есть: это я знаю. Посмотрим, угадают ли их, почувствуют ли. И — как почувствуют.

НА ПАРИЖСКИХ УЛИЦАХ ЗАПАХЛО ПОРОХОМ

События и французский здравый смысл. — Прогнозы «наших». — Своеобразная «молодежь». — Новая русская интеллигенция? — Керенский. — Что свойственно юности. — Жена «вредителя». — Воздух смерти

(Письмо из Парижа)

О февральских парижских днях мы уже могли бы теперь писать «воспоминания», если бы... если бы, с внешней стороны, дни эти не были так детально всем известны, во-первых; и так запутаны и сложны с внутренней, — во-вторых. Уж не говоря о нас, русских пришельцах, — сами французы еще не разобрались, кажется, в смысле событий, не знают хорошенько, придавать им важность, или нет. Да и что это такое, в сущности было? Каким словом определить? Не «восстание»; не «бунт»; не «революция», конечно, но и не «беспорядки». Самое, пожалуй, близкое слово — **волнения**. А если кому-нибудь слово покажется слишком слабым (ведь была кровь на улицах и баррикады) — то пусть он вспомнит, в какой вообще момент мы живем и что происходит рядом: перед совсем недавними событиями, хотя бы в Австрии, парижские явно только «волнения».

Франция имеет в прошлом серьезный опыт; но после долгих десятилетий спокойствия ей было естественно растревожиться своими «улицами». Больше, чем нужно, или меньше, — мы, повторяю, во французских делах не судьи. Хата русской эмиграции как нельзя более «с краю»; и, однако, она (эмиграция) не ограничивалась спокойным наблюдением происходящего, упорно строя аналогии. Мы, мол, все это знаем, сами прошли. Знаем и чем кончится... Опрометчивая самоуверенность! Пора бы понять, что история не под одну мерку делается и что прогнозы всегда бесполезны.

Впрочем, один из старых неполитиков объяснял мне, что влечение наше к аналогиям — невольное, чувственное: слишком еще помнится

запах, — или, по Блоку, «музыка» — революции. Запахло уличным порохом — вот оно!

— Я, конечно, понимаю, — говорит он, — одну и то внешнюю, аналогию можно найти: это между февралем парижским — и русским... не февралем, конечно, и еще менее последним черным октябрем, а далеким русским октябрем 1905 года. Посмотрите: и там, тогда, — уличные демонстрации; перестрелка с полицией; всеобщая забастовка; уступки, объявленные манифестом, после которого — восстание на Пресне, кончившееся **почти** так же, как здешнее «восстание» коммунистов, уже после прихода Думерга.

Почти, почти... Словесное сближение и то с какой натяжкой! Нет, лучше оставим аналогии. Учтем хотя бы эту разницу: мы, — что греха таить! — больше мечтатели; французы же обладают крепким здравым смыслом. Недаром и Думерг, едва выйдя из вагона, произнес знаменательную фразу: «Чудес я не делаю... Но думаю, что политика не такая хитрая вещь. Достаточно и **здравого смысла**».

Правда, среди всякого народа существуют элементы, всегда готовые к бунту ради бунта, вне целей, чем пользуются другие, для своих целей. Правда и то, что именно о современной опасности, — о коммунизме, — французы не имеют никакого понятия. Можно сказать даже, что почти вся Франция, в массе, настоящего, подножно-ощутимого, понятия тут не имеет. Обывательские низы, мелкая демократия, с которой мне часто приходится сталкиваться, так рассуждает: «Что ж, коммунисты? Они богатым страшны, а мы маленькие трудящиеся. Торговля (или ремесло, или что-нибудь вроде) идет и сейчас плохо. Правительство — одни других стоят: только налоги, да скандалы».

Скандалы и налоги они понимают. К уличным «протестам» отношение смутно-сочувственное и против полиции. Кто-то вспомнил, какой видели они пышный «Праздник трудящихся» в синема на Гренель (рабочий квартал, советские фильмы, неусыпная московская пропаганда).

Хорошо, пусть эти не понимают: они и не знают ничего. Но помогает ли знание? Ко мне пришла, после февральских дней, молоденькая дама, француженка. С ней и ее мужем мы знакомы давно, но в последние годы редко виделись. Оба очень интеллигентны. Мы, вначале, не мало говорили с ними о коммунизме, о нашем «опыте». Они — **знали.** Но вот приходит г-жа X., неожиданно, и очень взволнованная. Рассказывает: попала, случайно, в гущу известной коммунистической демонстрации, была несколько времени заперта с «товарищами» на Восточном вокзале. Ничего с ней дурного не было, но — как-то «прикоснулась реально», лица видела... И сразу, говорит, она бросилась перечитывать книгу, мой «дневник» (в Петербурге, под коммунистами).

Книга у нее годы лежала; и была прочитана; но лишь теперь, – признается, – «я в ней что-то поняла, почувствовала».

Не так уж много, конечно; но и для этого ей был нужен «опыт» Восточного вокзала. Если король югославский Александр, на мой вопрос, видел ли он в лицо живого большевика, и ответил отрицательно, а между тем в большевизме русском кое-что понимает, – надо учесть, что юность он провел в Петербурге и даже видел там «революцию» 1905 года. Революцию не большевицкую, правда; но все помнят, что и тогда Ленин с Горьким уже действовали, образовав знаменитую «Новую Жизнь».

Поэт Минский (вот этого, кажется, никто уж не помнит), избранный в виде ширмы, сглупу не понял, в чем дело, хоть и был, в обычном смысле, человеком весьма неглупым. Восторженно принял «редакторство», так как марксизм нуждается, мол, в «философской надстройке», и большевикам без него, Минского, не обойтись. Разочарование не замедлило. Не то, что «надстроек», но «редактору» ничего в «Нов. Жизни» писать было не дано; вскоре газету захлопнули, Горький с Лениным и с присными благополучно уплыли заграницу, но «редактора» посадили в крепость. Ненадолго; выпущенный на поруки, под залог, усилиями друзей, тотчас и сам он улепетнул в Париж. Да так и не вернулся больше в Россию, несмотря на свою безвинность. От страха (а какие легкие времена были!) сделался вечным эмигрантом до эмиграции, без смысла и без дела: «надстройки» над ленинизмом не понадобились, как до торжества Ленина, так и после.

Франция, повторяю, большевиков и не знает, и не понимает, не имея с ними опытного соприкосновения. Об опытах, вроде путешествия Эррио («Алисы в страну чудес») и вроде, – я не говорю. С ними, в лучшем случае, можно не считаться. И все-таки, опасность коммунизма во Франции, даже опасность левой революции, минимальна. Не оттого, что мало усердствует в пропаганде Москва и мало помогающих «своих». Но в критическую минуту, – если бы таковая настала, – здравый смысл и долголетняя привычка к свободе все равно взяли бы верх.

* *
*

Именно так относится к Франции, – спокойно и трезво, – тот слой русской эмиграции, с которым я больше всего соприкасаюсь. Слой, преимущественно, «молодежи». Но определение это широкое. На воскресных наших собраниях (особенно многолюдных в нынешнем году) рядом сидят и родившийся перед войной, и бывший участник ее, или участник войны гражданской. А то и кто-нибудь уже с се-

деющими висками. Да, скажут мне, но не все ли равно, что они думают о политических событиях, да еще чужой страны, ведь это не «политики». Конечно, не политики. Это «всяческая» молодежь, самых разных дарований и культурных устремлений, и, однако, связанная между собою: не цифрой возраста, а чем-то внутренним, более важным и сложным. Опытным прикосновением к современности (в борьбе за жизнь), знанием, что многое, когда-то реальное, уже не реально, уже не существует... между прочим и политика «в добром старом смысле» (что не секрет для большинства самих старых «политиков»). Но главная связь между людьми данного круга, это их общая «молодая» способность (и воля) к движению во времени, к применению; не застывшая капля «élan vital» *. Любопытно, что, когда в эту среду попадает человек без таких «молодых способностей», он, независимо от возраста и дарования, — к искусству ли, к политике ли, — тотчас ощущается как инородное тело. О нем говорят: он — не **«мы»**.

Другое дело, что и самые эти «мы», фактически, по обстоятельствам, занимаются весьма разнообразными и неожиданными ремеслами. Кому неизвестно, что нынешние русские молодые писатели, художники, ученые, поэты, политики — (по склонности и дарованиям) — в то же время шоферы, маляры, бухгалтеры, торговцы, даже землекопы. Но это в счет не идет, конечно.

Удивляться ли, что в разнородной среде, но со своим неопределимым единством, политики «доброго, старого образца» (и художники того же образца) — чувствуются телами инородными? Есть, впрочем, одно исключение: молодой среде оказался не чужд достаточно известный наш «политик», — Керенский. Наблюдая со стороны, вижу: и разноголосица, и нелепые, подчас, споры, — но Керенский для «молодежи» в какой-то степени **«мы».** Почему? Да опять потому, что он живет, как ни в чем не бывало, с **молодым** свойством изменяться — переменяться, двигаться во времени; потому что он уже не политик-интеллигент довоенного образца, ни даже «главноуговаривающий» 17-го года. Он переменялся — изменялся вместе с переменой времен. Есть тут и еще один секрет: надо

«Изменяться, но не изменять...».

Мне кажется, — раз уж мы заговорили об известном слое русской «молодежи», — что лишь из чего-то подобного выйдет **новая русская интеллигенция.** Как прежняя не состояла из одних политиков, из одних художников и т. д., а складывалась из множества разнородных элементов, имея все-таки свою цельность, — так и новая. Не по-«со-

* жизненный порыв (*фр.*).

ветски» новая, конечно, ибо возьмет кое-что и от старой. И будет, вероятно, еще более цельной, так как современному сознанию раскрывается близкая связь между самыми разнородными областями жизни и деятельности.

Но пока это все лишь далекие гадания. Создастся ли новая русская интеллигенция, или нет, никто не знает. Я говорю лишь о возможностях; и о том внутреннем процессе всестороннего изменения, который явно происходит... ну, хотя бы в этом маленьком уголке русских молодых зарубежников. Они не политики... но порою их взгляд на события, даже чужой страны, имеет свою ценность, пока растерявшиеся старые политические заправилы плетут свои непрочные кружева.

А в конце концов никто сегодня не должен бы пускаться в политические предсказания. Завершение парижских событий впереди. Только что прошедшая демонстрация (или манифестация?) «левых», закончившаяся арестом почти 1000 человек, маленькую французскую демократию не очень обеспокоила; однако вызвала вопрос: «А что будет 1-го мая?» «Mais non mais non» *, – возражает другой, – я знаю: будет что-то не первого, а двадцатого мая...».

Поживем – узнаем.

P. S. На последнем, как всегда многолюдном, воскресном собрании «интеллигентной молодежи» присутствовала парижская гостья – Т. В. Чернавина. Кто не знает «Записок вредителя» и «Жены вредителя», этого беспредельно-ясного свидетельства о России советской, и полную ужаса эпопею их бегства из Соловок, с ребенком? В Париже доклады этой интеллигентной, прямой и мужественной женщины привлекают громадную аудиторию... русскую, конечно. Но об этом, о разнице между Парижем и Лондоном (Чернавина была раньше в Лондоне) и о многом еще, слишком долго было бы рассказывать. Да и передача разговоров во время воскресной «встречи» заняла бы слишком много места. Т. В. Чернавина не без любопытства, кажется, присматривалась к новой для нее, толпе интеллигентных молодых зарубежников (о, – «старых», по-советски!). Но вот главное: они, как вся русская эмиграция, знают, конечно, то, что рассказывает нам Чернавина. Одни больше, другие меньше, но знают все.

Между тем, сидя рядом с этой маленькой, энергичной русской женщиной, нельзя было не почувствовать: она знает еще что-то, в словах невыразимое, нам уже неизвестное. Ее еще облекает незнакомый нам **сегодняшний советский воздух.** Мы лишь веянье его ощущали, не понимая; и – я не знаю, несчастие это наше, или нет, – непонимание? Год–два человеческой жизни – и Чернавина потеряет свое страшное,

* Да нет же, нет (*фр.*).

подкожное, «знание» несказанного. Может быть, — я говорю «может быть», — без такой потери нельзя и здесь вести «человеческую» жизнь. Может быть, хорошо, что мы не проникаем в этот «воздух смерти».

О ВСТРЕЧАХ С КОРОЛЕМ АЛЕКСАНДРОМ

На съезде русских писателей. — Речь Немировича-Данченко. — Король забывает русскую речь. — Петербургские воспоминания. — Цельная личность

Давно сказано, что нет горшей боли, — «Il n'est pire douleur» — нежели счастливое воспоминание во дни несчастий. Оттого, должно быть, так трудно мне сейчас возвращаться памятью к нашей поездке в Югославию, поездке сравнительно недавней. За годы во Франции, мы, — я и Мережковский, — не одну совершили поездку в «послевоенные» страны: но поездка в Югославию стоит особняком; она — прорыв в унылой цепи последних годов...

Была осень. Мы ехали с юга, с Ривьеры, — из лета. В Италии (бывшей Австрии) — знакомая по Парижу осень мокрая, серая. Но уже в последние ночи в вагоне, перед Белградом, и ранним утром на белградском вокзале, пахнуло осенью русской: бледное солнце, острый холодок. Русской осени, «красоты ее смиренной, не поймет и не оценит гордый взор иноплеменный...», но русские понимают и помнят несравнимую прелесть ее, пусть редких, ясных дней.

Итам же, на вокзале, — новые глаза людские, без чуждости или равнодушия глядящие на «изгоев»... Я не собираюсь описывать наше пребывание в Югославии, но так как мы приехали на русский писательский съезд (за все годы такого съезда не было ни в одной европейской стране), скажу несколько слов хотя бы о его открытии.

На открытие мы попали прямо из вагона. Громадная, глубокая зала нового, недавно отстроенного, университета. Сверху донизу — головы, головы... уже не публика, — целый народ! Мы, (гости съезда и хозяева) сидим на длинной эстраде, перед таким же длинным столом; посередине — кафедра.

Осматриваюсь, кое-кого узнаю. Рядом со мной — А. И. Белич (академик, писатель, один из инициаторов и главных устроителей съезда, неизменный друг русских), с другой стороны — Б. К. Зайцев. Потом еще кто-то, лица знакомые и полузнакомые, когда-то виденные, будто во сне, и вдруг вспомнившиеся... Речь на открытии читает В. И. Неми-

рович-Данченко. Что за чудесный, широко и плотно сшитый старик! Белая раздвоенная борода, громкий, бодрый голос. Восемьдесят пять лет, — вы, молодые, ну-тка!

Тихо переговариваюсь с соседями. Белич мне называет местных «лиц», Зайцев сообщает, что Куприн приехал, но сейчас у себя, а Бальмонт и Алданов не будут.

Зал, — почти двухтысячная, думаю, толпа, — в невиданном подъеме: хлопанье, овации, бросанье цветов... Речи русские, французские, сербские и даже на неизвестных каких-то языках. Не помню, сколько времени это длилось; но вот, вынесенные общим потоком, мы на улице, в автомобиле и, наконец, в нашем новеньком отеле. Но отдыхать некогда: Белич сообщает нам дальнейшую программу съезда.

О том, как затем развертывалась праздничная картина, о банкетах, приветствиях, о неожиданных разнообразных встречах, о ряде наших лекций в учреждениях, самое бытие которых говорило об исключительном положении русских в этой стране с ее расцветающей столицей, — обо всем мне удалось тогда дать очерк в одной варшавской газете, — увы, лишь в ней, и теперь уже не существующей. Сейчас я хочу ограничиться только одним воспоминанием: написать о встречах с королем Александром.

Своевременной записи у меня нет; не мало подробностей уже стерлось в памяти. Но вот, без подробностей, — впечатлений легкие черты.

* *
*

Мы в длинной зале с колоннами. Против нашего ряда, через широкий проход, — другой ряд: иностранные делегации, тоже представляющиеся королю. Влево, в нашем ряду, у колонны, замечаю внушительно белую бороду нашего «патриарха» -- Немировича-Данченко. Куприн стоит прямо за мной, другие поблизости. Тут же, конечно, и Белич, наш неизменный гид.

Ждем недолго. Король вошел слева. Он в военном мундире: с двумя, кажется, генералами. Сразу, от дверей, начинается обход иностранных делегаций, — левого ряда. Говорит с каждым несколько слов, двигается все ближе и, когда останавливается перед стоящим против меня, — я его узнаю. Не по портретам только, а как-то еще особенно: бывает ведь, что человек, никогда не виденный, вдруг кажется уже виденным, давно знакомым... Это странное чувство усиливается, когда король переходит на нашу сторону, здоровается и говорит со стоящими правее меня, с Мережковским и с другими.

Король высок, не слишком, но чуть-чуть сутулится; молодое, смуглое лицо редкой приятности: живые глаза, кроткие и смелые, и — застенчивая улыбка. Говорит по-французски. Я отвечаю на том же языке, но мне так странно слышать от этого человека, давно будто знакомого, не родную мою речь, что я неожиданно спрашиваю: ведь он говорит по-русски? Улыбка: да, он говорит, но уже начинает немного забывать... О, это жаль, это жаль, замечаю я невольно, нисколько не думая о том, что обаятельно-милый человек этот — король и что за «выговор» королю я получу впоследствии полушутливый выговор от Белича, — мало меня, впрочем, смутивший.

А за мной, в ту минуту, вдруг раздался взволнованный, восторженный голос Куприна, протянулась рука с несдерживаемым приветствием... это было так неожиданно, что король, было, отступил: но тотчас же опять засияла его улыбка. На русское, от сердца, приветствие Куприна — несколько русских слов... Обход продолжался.

* * *

Через несколько дней мы завтракали у короля. Не могу теперь вспомнить всех, кто сидел за этим не очень длинным, сравнительно скромным, королевским столом. Другие наши писатели, участники съезда, помнят, может быть, лучше. Мне видится наш конец стола, ближе к окнам. По левую руку от меня — король, справа — мэр города Белграда, приятный, немножко грузный, веселый старик. Напротив — королева Мария, рядом с Мережковским. Молодая королева — статная, очень красивая женщина. Но в тот день, от серого ли небесного света, от серого ли платья, лицо ее казалось утомленным.

Мы с королем разговаривали просто и весело. По-французски, но это уже не замечалось.

Король помнит Петербург, помнит революцию 1905 года. Он тогда был пажем, учился с русскими мальчиками, как теперь учатся мальчики русские с югославскими. И так же, думаю, не забывают русские мальчики и юноши-студенты свою родину, как не забывал он.

Разговор переходит на литературу, — я конечно, знаю, что мой собеседник далеко не чужд литературе. Спрашиваю, между прочим: а писал ли он стихи? Наверное — да, уж потому, что нет ни единого человека на свете, который никогда не писал стихов! И я обращаюсь за поддержкой к правому соседу, старику-мэру, который тотчас же становится на мою сторону: да, такого человека нет, который не писал бы стихов.

— И вы писали, правда?

— И я. Да еще как!

Мелочи, легкая беседа за завтраком... Но не забудем, и она происходила в атмосфере особой, для нас, все меняющей и уже нигде, ни в каком Париже, невозможной. И создателем этой атмосферы был человек с живыми глазами и застенчивой улыбкой, мой собеседник, король Александр.

О нем, о его жизни, о героических чертах характера и личной обаятельности столько говорилось в последнее время, с таким единодушным возмущением узнал мир о его трагической кончине, что мне пришлось бы только повторять уже сказанное. Но к собственному моему впечатлению я могу еще прибавить вот что: в этом человеке чувствовалась редкая цельность личности.

Как будто все, чем он обладал, было связано в один, неразъемлемый узел. Это впечатление непередаваемо с полнотой; но довольно было видеть, как связаны, соединены в Александре хотя бы его королевство с человечеством, — а видеть это было не трудно. В своей цельности короля-человека он жил, в ней и погиб. Для убийц он был лишь «король»; но убийцы, всякие, за редчайшими исключениями (политические, кажется, и без исключений), потому и могут убивать, что вообще не способны к понятию человеческой личности, — ее цельности, не какой-нибудь метафизической, а самой реальной.

А то, как была воспринята смерть Александра большинством мира и, главное, его народом, показывает, что исключительная цельность его личности ощущалась даже безотчетно. Оплакивала ли его Югославия лишь как доброго повелителя? Или как доброго, прекрасного человека? Ни то ни другое, а то и другое вместе. Народное горе выразилось цельно, как цельна была душа Александра. О силе же этого горя сказало — о, больше всяких слов! — грозно-молитвенное молчание народа, недвижно, темной ночью, стоявшего на путях поезда с телом короля.

Что касается его отношения к России, к ее судьбе и русским, то я думаю, что у человека, подобного Александру, иного и быть не могло. А было оно, опять в цельности, — королевски-человеческое.

Этими простыми словами я и закончу. Не ко всему идет словесная пышность. И даже, подчас, когда мы возвращаемся мыслью к трагической кончине Александра, к потере человека-брата, нам хочется молчания, того самого, каким встретил смертные останки героя его коленопреклоненный народ.

Париж

В ПАРИЖЕ УСПОКОЕНИЯ ЕЩЕ НЕТ

«Франсисты» и мистика сердца. — Правительственные «старые скептики». — «А там, во глубине России...» — Чернавина, «царская» революционерка и советский летчик. — Как быть настоящим эмигрантом? — Керенский на улице и в парижских магазинах. — Подлинная верность родине

(Письмо из Парижа)

На площади Этуаль, где, под Аркой, могила Неизвестного Солдата, можно встретить молодых людей студенческого облика, продающих свою газету. Это — **«франсисты»,** так называется и газета. В ней порядочно и задора, и молодой самоуверенности, но главное — стараний объяснить, что они отнюдь не «фашисты», что «молодой вождь» их не Муссолини, и уж, конечно, не Гитлер: во Франции должен быть «франсизм», движение новонациональное: в него надо идти с честностью и «мистикой» в сердце. Революция (бескровная, на улицу выходить эта молодежь не собирается) должна дать «франсистскую республику». С большой яростью и ясностью открещиваются франсисты от большевиков и большевизма. Тут у них, пожалуй, ясность наибольшая, так как остальное довольно-таки еще смутно и неопределенно. Сведущие люди говорят, что серьезного значения данная молодая группировка не имеет. Его имеет, или будет иметь, или, во всяком случае, может иметь, — другая: медленно вырастающая из соглашения между комбатантами (б. участниками войны), трудовым союзом и неосоциалистами. Последние, как известно, порвали со «знаменитым Леоном Блюмом» и его окружением и резко от него отмежевываются.

Кое-что есть и у этой группы общее, как будто с «франсизмом»: они тоже хотят революции «бескровной», без выхода на улицы; тоже хотят «омолодить» правительство, находящееся «в руках старых скептиков, типа Анатоля Франса»; тоже против коммунизма и большевизма... Ну, толков много, хотя бы о 8-м июля, сказать же верное можно лишь одно: полное успокоение во Франции далеко не наступило. Один мой далекий друг недавно писал мне, что Париж ему кажется сейчас Афинами во времени Римской империи. Что ж, отчасти (да еще издали) оно и так; не противоречит, пожалуй, и тому, что, с другой стороны, мы видим вблизи...

А насчет предрекаемых событий 8-го июля — очень позволительно быть скептиком. Никогда еще не случалось, чтоб заранее намеченная дата оправдывала себя; одно-единственное, кажется, исключение — большевики в 17-м году: как наметили, за два месяца, торжество свое

25-го октября, так и выполнили аккуратно. Положим, никто препятствий к выполнению не ставил, никто не мешал. Случай редкий.

Для тех, кто интересуется интересным (в данном случае – новыми настроениями и психологией молодых), – отмечу следующее: не только в оппозиционных **политических** группировках сегодняшнего дня, но и в широких кругах интеллектуальной молодежи, очень любопытно общее течение **против** материализма. Проявляется оно в разнообразнейших, конечно, формах, более определенных – и менее. Свою жатву имеет и католицизм (о чем недавно с радостью объявлял с кафедры известный проповедник). «Франсисты» неопределенно говорят о какой-то «мистике» сердца. Другая группа восстает против «старых скептиков», поныне удерживающих власть. До хорошего, мол, довели! Нередки выпады против франц. масонства. Оно, – это не секрет, – действительно очень скомпрометировано в последнее время.

Может быть, антибольшевизм этих оппозиционных групп идет из их антиматериалистических настроений, может быть, нет; во всяком случае и тут он к правительству в оппозиции. Никто ведь сейчас так не улыбается СССР, как правительственная Франция, – это тоже не секрет. Мне запомнилась недавняя карикатура: в постели, в подушках, больной; это полпред Довгалевский. Над ним наклонилась мясистая физиономия, в круглых очках, – Литвинов. (Известно, что ницским репортерам он объявил: я на Ривьере «инкогнито»; заехал, чтоб «навестить больного друга».)

«Ну, как, хорошо ли за вами здесь ухаживают?» – спрашивает заботливый Литвинов. «Да, – отвечает страждущий друг, – но все-таки не так, как за вами!».

Понятно, что недавняя наша замечательная гостья – Т. В. Чернавина, при всей своей яркости, при исключительности положения и великолепных возможностях, не могла проникнуть во влиятельные французские круги; даже настолько, насколько проникла в английские. Опытная и фактическая ценность ее информации, ее энергия – все это прошло мимо, ибо оказалось в высокой степени не ко времени и не к месту. Главное – не ко времени.

В кругу русской эмиграции Чернавина имела большой успех. И пленительнее всего была ее независимость, ее небоязнь идти в разные, разномыслящие, даже враждующие между собой, группировки, и во всех говорить то же, ту же самую свою правду.

А вот ее почти забавный рассказ в одном из закрытых, не публичных, собраний. Некая особа, в «царские» времена юная революционерка, была тогда поймана с поличным: с тайной типографией, с отпечатанными прокламациями и даже кое с чем посерьезнее. Арестована, конечно, и «заточена». Страшная угроза – ссылка в Вятку или вро-

де – встревожила друзей, и они ее каким-то образом выхлопотали: действовала и «болезнь престарелой матери», и голодовка, объявленная заключенной... Но в России гордая девица не пожелала остаться: уехала в Париж, да там и прижилась. Лишь несколько лет тому назад удалось ей осуществить мечту – вернуться в Россию, к «освобожденному народу». Зная, что там есть недостача (новая жизнь не сразу строится!) – приготовилась: купила шелкового белья (легче мыть), того сего и покинула, наконец, «гнилую Европу».

Все это о себе она сразу рассказала Чернавиной и ее сокамерницам, когда вдруг сама очутилась в той же камере – уже не «царской», нет, а советской тюрьмы. Появление этой «новой» заключенной камеру очень развлекло. Ведь подумать только: она спрашивала, она шумела, она – требовала! Требовала объяснений, требовала немедленного допроса, требовала своих вещей (шелкового белья?), – мало ли чего она еще требовала! Хохот стоял в тюрьме, говорит Чернавина. Не унялся он, когда арестованная стала, наконец, «грозить» голодовкой. Бедная «царская» революционерка не понимала, что это ей грозит голодовка в новой тюрьме, притом очень серьезно. «Освобожденный народ» не выпустил протестующую и в конце концов, вероятно, смирил.

Чернавина дала нам живую картину жизни широкого населения; а на днях советский летчик, только что убежавший – улетевший из России, рассказал эмиграции о положении советской **армии.** Чернавина – все-таки из прежней интеллигенции; летчик же, молодой человек, – вполне создание советское. Печать создавшей его руки лежит, конечно, на нем. Но тем любопытнее, что выводы его – те же, чернавинские.

«Я не хожу на такие доклады», – сказал как-то один молодой эмигрант из того круга, о котором мне уже приходилось писать (и который, при идеализме, можно рассматривать, как горчичное зерно новой русской интеллигенции). «Я не хожу: зачем слушать снова и снова про то же...».

На неосторожного посыпались упреки в малодушии. Конечно, малодушие! Конечно, надо знать, знать о сегодняшней России все, до мельчайшей подробности, смотреть открытыми глазами, не щадя своих нервов и не ища успокоения.

Но что о молодых, когда из старых многие ли чувствуют ответственность, сознают свои ошибки в прошлом? Для этого, впрочем, необходимо быть **не совсем** старым, сохранять какой-то запас юности, доверчивой доброты к жизни и людям, молодой легкости в движении. Мне уже довелось отметить, что такой «виноватый» человек, как А. Керенский, вышеназванными запасами обладает; это и делает его

«своим» в кругу здешней интеллигентной «молодежи». (Один поэт его недурно знает в прошлом; Керенский произвел его на фронте в офицеры...)

Теперь здесь с бывшим «главковерхом» случаются примечательные истории. Одна из них случилась как раз тогда, когда он шел в наш людный кружок, и тотчас была нам рассказана, с подкупающей открытостью. Шел он по улице с довольно узким тротуаром, просматривая газету на ходу. Навстречу дама, с девочкой лет семи: и остановилась. Остановился и Керенский. «Смотри, – говорит дама девочке, – и запомни! Это он погубил Россию!».

– Нет, со мной лучше было, – прерывает Керенский общий смех и откровенные замечания, что дама-то отчасти и права (у нас принята откровенная правда). – Вхожу я раз в магазин... надо же мне иногда купить что-нибудь. Несколько русских, очень хорошо одетых, глядят и вдруг; «Еще по магазинам ходит! Он! Еще по магазинам! Еще покупает!».

– Но, в самом деле, должен же я иногда покупать, – прибавляет Керенский, как бы оправдываясь. – Не воровать же мне!

Мы смеялись, утешали носителя такой «славы», но мало соболезновали: есть ведь тут и заслуженное. Он сам это понимает. Если бы не понимал – он не был бы «своим» среди вот этой интеллигентной эмигрантской «молодежи», – вообще не был бы среди них. И ничего бы не понимал из того, что они худо ли, хорошо ли, а понимают. Ему было бы чуждо – или враждебно – архиновое, молодое течение материализма, столь заметное и среди молодежи французской, как упоминалось выше.

НЕГАСИМАЯ СВЕЧА

(Памяти Амалии Фондаминской)

Последний же враг истребится – Смерть.

Апок

Писать о человеке, которого любил, тотчас после его смерти, – очень трудно. Хочется каких-то слов, но не о нем, а к нему обращенных, прямо. Оттого и не могу я сейчас писать об Амалии Фондаминской что-то вроде «воспоминаний». Нет, не вспоминать ее хочу, а вызвать живой образ этого единственного существа, – маленькой темноволосой женщины с вещими глазами и мужественным сердцем.

Никто не был на нее похож. Мне, по крайней мере, никто не встречался, ее напоминающий. Вот уж, действительно, была она «сама по себе», как любила, смеясь, отвечать, когда, шумно при ней спорившие, спрашивали, на какой же стороне она. В той ли среде, в которой она провела большую часть жизни, в среде русских интеллигентов-революционеров (муж ее – известный деятель Бунаков), в Париже или в Москве, в кругу родных, — нигде не изменяла она этому «сам по себе», всегда оставаясь собой, всегда как будто зная еще что-то свое, поверх всяких слов. Об ушедших людях пишут, открывая их добродетель или хорошие дела. Но я подчеркиваю другие высшие ценности. Амалия сама была «делом» – Божиим, – так ярко отразилась в ней единственность, особенность, человеческой личности. Одна из ее особенностей, это – непостижимое слияние, соединение многого, что, обычно, в человеке не соединено. В ней была прелесть вечно-детского, его веселая, капризная чистота, – и смелая, мужественная воля. А поверх всего, какая-то особая тишина.

Не эта ли «единственность» и влекла к ней, – к «делу» рук Божиих? Ее любили все. Каждый по-своему, не в ее меру, а в меру собственной способности любить. Не все и знали, за что любят; не понимали тех глубин ее существа, которых, может быть, не понимала и она сама. Одни просто чувствовали, что вот тут – светится (невидящие **чувствуют** свет), и тянулись к этому свечению. Другие говорили себе, что Амалия им «нравится». Она и, действительно, помимо всего, «нравилась». Вся нравилась, с ее маленьким, гармоничным телом (всегда шутила над своей малостью), темной головкой, слабо вьющейся прядью у виска, бледным и свежим лицом. Только такой внешне, а не другой, могла она быть... – думалось мне часто, не знаю, почему. (Может быть, знаю, но это все равно.)

В московской еврейской семье, богатой и патриархально-благочестивой, Амалия, младшая, была тоже общей любимицей и баловницей. Отец умер в начале довоенной эмиграции Фондаминских, но мать, души в ней не чаявшая, никогда надолго с ней не расставалась, постоянно приезжала в Париж, несмотря на годы и на привычку к родной Москве. Амалия платила матери всей своей любовью. (Я даже думаю, что когда, не так давно, старенькая мать ее скончалась, здесь, — в Амалии впервые ослабел ее крепкий жизненный упор.) Всеобщая любовь, говорят, не всегда полезна человеку, в особенности женщине; и мне случалось слышать что Амалия своенравна, требовательна. Я вовсе не хочу делать из нее совершенства: живых совершенств нет, да и на что они? Но я знаю, что не от слабости, а от силы исходила ее, порою крутая, требовательность. Черты же своенравия и упрямства у нее сказывались, главным образом, по отношению к себе, к укладу своей жизни:

тут она действовала по собственной фантазии, не считаясь со своими физическими силами. Скрытная, она переносила физическую, — как и душевную, — боль с изумляющим терпением: никогда не жаловалась.

А для того, поневоле сдавленного, круга, каким была довоенная революционная эмиграция, существование Амалии, единственной, «особенной», имело громадное значение. Она вносила как бы волну свежего воздуха. Атмосфера менялась, многим было легче дышать.

Три последние десятилетия жизни Амалии передо мною, и насколько можно знать человека, любя его, — я ее знаю. В течение этих тридцати лет мы виделись постоянно, и за границей, и в России, а временами и жили вместе. Виделись в самой различной обстановке, при всяких обстоятельствах, иногда трагичных: военный Петербург, потом революция; страшная петербургская зима 1917—1918 г. И всегда, везде Амалия оставалась тем же особенным существом, с ее мужественной твердостью и нежной тишиной. Мне есть что вспомнить о ней; но я не пишу «воспоминаний»: я хочу опять вернуться к одной из удивительных особенностей этой души, — к дару соединять в себе еще, для других, разъединенное.

Амалия показывает мне московскую квартиру. (Это было очень давно.) В кабинете отца все осталось, как при нем. Тяжелые, священные книги с застежками. «А это — Тора», — говорит Амалия, указывая на высокий, столбом, таинственный свиток. Мы возвращаемся через комнату Амалии, с маленькой белой постелью. И на ночном столике я вижу — Евангелие. Так лежит, что видно — оно всегда тут.

— Амалия, — говорю я. — А как же... мамаша?

Краткий вопрос этот понятен: ведь я знаю, как благочестива мамаша, ни одной пятницы не пропускающая без домашнего молитвенного собрания, которому всегда верна Амалия, если она тут.

— Мамаша уж привыкла (т. е. видеть у нее Евангелие).

Тогда я тихонько спрашиваю дальше:

— А как же... ты сама?

— Да ведь это одно и то же, — отвечает Амалия. — Одно из другого, — и одно, то же самое.

Как просто сказала, какой ясный ответ дала на вопрос, еще мучительный, еще разделяющий многих. Для нее точно и вопроса не было.

Да, Амалия — истинная, подлинная дочь Израиля. Но в той высшей его точке, где великий народ, оставаясь верным себе, узнает своего Царя, — соприкасается с христианством.

Долгая, тяжкая болезнь (туберкулез). Все знают, что конец. И я знаю. Но нет веры в ее смерть. Я и теперь думаю, что она могла бы остаться, могла не уйти, если бы воля жить была у нее прежняя, пре-

одолевающая усталость. Но последние сознательные слова ее — «Хочу уйти. Очень устала...».

С самыми близкими она часто и спокойно говорила о своей смерти. Не пожелала формальных еврейских похорон, с раввином. И раввина не было. Над ее гробом, на кладбище, в присутствии толпы ее друзей и родных, — евреев и христиан вместе, — молитвы читал ее брат, нежно любимый и сам ее горячо любивший. И как знать, не расширила ли еврейскую молитву любовь? Не было ли тут искры того соединения, которое жило в душе Амалии?

А в тот же день, в маленькой, домашней, «катакомбной» церкви, та же (или почти та же) толпа друзей и близких, — евреев и христиан вместе. Православный священник произносит слова христианских молитв, — молится об умершей еврейке. Он не забывает, что она дочь Израиля, не присоединенная к церкви таинством крещения. Но все, что доселе вошло в христианскую церковь от Израиля, было сказано.

Такое двойное памятование умершей, если даже в полноте не отразило душевной ее цельности, было все-таки необыкновенным; значительным уже по этой своей необычности, и, кажется, единственности.

Но кто же она?

Если не этот вопрос, то другие, — о ней, о жизни и смерти ее, — встают в душе многих. Ответ, быть может, в трепетных строках Шиллера—Жуковского:

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел от мира перешла.
Я на земле земное совершила,
Я не земле любила и жила...

А «**кто** она», — на это лучше всего отвечают две строчки из очень давно написанного ей стихотворения:

...Ты — пред образом Господним
Негасимая свеча.

ДОН-АМИНАДО. НЕСКУЧНЫЙ САД

Париж, Изд. «Дом Книги», 1935

Всякая книга, книга стихов в особенности, часть жизни и души человека, ее создавшего. Напомню об этой банальной истине, чтобы подчеркнуть: никакая критика невозможна, если смотреть только на страницы книги, на слова и сочетания слов или даже на мысли, ими

выраженные; необходимо все время вглядываться в лицо человека, за словами и мыслями стоящего, сквозь них догадываться о нем, пытаясь понять **почему** и **отчего** он написал те или другие строки. Только при этом можно с некоторой уверенностью определить, какие строки и страницы более удачны, какие менее; и... не судить книгу, ибо критика не есть суд (это очень важно, что она не суд!), а сказать о ней, **что она такое**. Эта человеко-литературная критика одна интересна. О той же литературе, за которой не сквозит живой образ, лучше не писать совсем, подождать.

Читатели тоже, хотя бессознательно, ищут цельный облик писателя. Но часто создают себе неверный. Кажется, это случилось с поэтом Дон-Аминадо. Эмиграция привыкла, за 15 лет, встречать, развертывая газету, его остроумные стихотворные строки; и не напрасно считает, что он как юморист незаменим. Но... кто он, по существу? Юморист ли только? Я отвечаю — нет; но почему же его сущность так мало проявляется в его писаниях, и как ее определить? Поэтическая лирика, лирическая сатира? Все не точно, лучше примером. У нас тьма кандидатов в современные Лермонтовы, еще больше в Феты; кандидатов в современные Некрасовы — ни одного. Дон-Аминадо был когда-то «задуман» (если можно так выразиться) — как поэт **некрасовского типа.** Трудно сказать, исполнил ли бы он себя «задуманного» при других условиях, или все-таки нет; во всяком случае, при данных, не исполнил. Пожалуй, он и сам это знает. Поэтому, у него, в тех строфах, где он вдруг забывает, или, от усталости, не хочет «смешить», слышится особая, вечно-человеческая грусть, — «грусть-тоска», как поется в русской песне. Читатели ничего этого не видят, да и не заботятся. Да, может быть, и правы, не заботясь: они получают от Дон-Аминадо все, чего ждут и что привыкли получать. К тому же и сам поэт как будто хочет быть обращенным к читателям именно данной стороной своей, заботливо прикрывая другое в себе. Делает он это намеренно, или, теперь, уже невольно? Не знаю. При малейшем внимании многое можно открыть в стихотворениях «Нескучного Сада», даже в самом заглавии книги. О каком саде речь? О не скучном, о веселом саде, сборнике забавных стихов? Или о саде в той волшебной стране, где живет сердце поэта, где... — но как рассказать это? —

И снежный прах, и блеск слюды,
И парк Петровско-Разумовский,
И Патриаршие Пруды,
И на облупленных карнизах,
На тусклом золоте церквей.
Зобастых серых, белых, сизых
Семья арбатских голубей.

Или еще, о той же стране. Снова: «как рассказать?», но поэт все-таки кое-что рассказывает:

...Апрельский холод. Серость. Облака
И ком земли, из-под копыт летящий,
И этот темный взгляд коренника
Испуганный, и влажный, и косящий...
О помню, помню! Рявкнул паровоз,
Запахло мятой, копотью и дымом,
Тем запахом, волнующим до слез,
Единственным, родным, неповторимым...

Стихотворение это, «Уездная сирень», одно из очень выдержанных в тоне. Другие зачастую обрываются неожиданным, прозаичным «смешным» словом, не всегда и удачным. Боюсь, что теперь этот штемпель «смешного словца» кладется уже невольно, по привычке, по какому-то бессознательно воспринятому долгу. Обстоятельства!

Обстоятельства – серьезная вещь, не будем к ней легко относиться. Только зеленая юность, не понимающая реальности, может еще крикнуть: «Не к обстоятельствам приспособляться, а обстоятельства к себе приспособлять». И только во сне может приснится дерзкий вопрос: а что если с ними не считаться? Наяву же мы все склоняем голову перед силой обстоятельств. А сила их, сегодня, для русских эмигрантов, особенно велика. Где уж тут разбирать, как из нас кто «задуман»? Счастлив сумевший остаться хоть приблизительно в своем ремесле. Дон-Аминадо из этих редких счастливцев. Ему даже повезло, и своего «везения» он вполне достоин. Он оказался нужным, т. е. вот эта его сторона, злободневный юмор, или нотка сантиментальности, отвечающая настроениям, блестящее, порою, остроумие, при способности к стихосложению удивительной. В стихах его чувствуется даже мастерство, что, пожалуй, уже роскошь, которую не все оценят. Способность же слагать стихи легко и быстро дала ему возможность исполнять внешние условия задачи, – писать постоянно, писать каждый день. Чутко понял стихотворец и внутренние условия этой принятой на себя задачи: его юмор нигде не переходит в сатиру; он осторожен и никого не ранит. Как далек он от длинных, тяжеловесных, часто неуклюжих, но сильных обличений Некрасова, или от гоголевского: «Горьким смехом моим посмеются!».

Обстоятельства? Повторяю: утверждать, что и при других обстоятельствах Дон-Аминадо не был бы на том же амплуа в какой-нибудь «Речи» – я не могу с полной уверенностью. Это лишь моя догадка, что он не вмещается в то, что сейчас делает. А если так, если «обстоятельства» принуждают его все время как бы затемнять или отстранять

главную сущность свою и своего таланта, — то скажу прямо: это даром не проходит. Как бы ни легко писались стихи, и ни легко доставался благодушный, невинный юмор, — длительная непрерывность такой работы перерождает писателя. От себя «задуманного», от собственных возможностей, он все дальше, и возврата нет.

Это, по моей догадке, Дон-Аминадо тоже знает. Отсюда ведь и «грусть-тоска», слишком понятная.

Дон-Аминадо не один. Кто не встречал того или другого человека-писателя, даже из молодых, очень серьезно «задуманного», с блестящими данными, и — по нашим обстоятельствам, ищущего утвердиться на «ходком» амплуа? Найдя, он его добросовестно выполняет и незаметно перерождается.

Не только упрекать нельзя таких людей-писателей, их и жалеть нельзя: некому жалеть, все мы такие же, все под обстоятельствами. Позавидовать разве тем, к кому они, как к Дон-Аминадо, милостивее: все-таки ремеслом заняты.

Но, конечно, бывают минуты: «посмотришь с холодным вниманием вокруг», и подымется что-то вроде досады, досадливой тревоги: и за Дон-Аминадо, и за других; за все ценное, зря пропадающее. И куда оно, и зачем пропадает?

Е. БАКУНИНА. ЛЮБОВЬ К ШЕСТЕРЫМ

Роман. Париж, 1935

Рассказ ведет пожилая дама. У нее муж, трое взрослых детей, любовник, старый еврей, и какой-то еще горбун неизвестного назначения. Это и есть «любовь к шестерым». О любви, впрочем, не приходится говорить; физиологические ощущения, которые описывает дама, вряд ли можно отнести к этому понятию. Если у автора было намерение вскрыть «тайну женского» (Вл. Соловьев, Вейнингер), то способ надо признать безнадежным. «Женское» остается женским, пока молчит. Начиная же само говорить о себе, превращается в «бабье». И делается в высшей степени неинтересным. Рассуждения бакунинской дамы — общие места; люди, которых она пытается описывать, — муж, сын, дочери, старый еврей-любовник и в особенности горбун, — отнюдь не тени, а скорее соломой набитые куклы; да, впрочем, о них дама и не заботится, настаивая, главным образом, на разнообразии собственных физиологических ощущений к шестерым, и входя тут в самые интимные подробности известного свойства. К литературе все это отношения, конечно, не имеет, но боюсь, что даже на охотников до таких под-

робностей они не произведут впечатления: слишком не соблазнительно преподносятся дамой-героиней. Сколько бы она ни старалась углубляться в свои возбуждения, ни шестидесятилетний любовник, ни другие ее партнеры, ни она сама не могут вызвать не только интереса, но даже нездорового любопытства.

Меня сожалительно удивляет: зачем Бакунина, писательница несомненно способная, избрала такой неблагодарный путь? Откуда эти упрямые попытки втиснуть в литературу то, что в нее не входит и никогда не войдет? Быть может, это влияние Лауренса? Странное влияние: у Лауренса была своя идея, пусть ошибочная; в романе же Бакуниной ничего нет, все незначительно. И ничем не оправдано. Да у Лауренса «женское» и не говорит само о себе, а он говорит о нем (когда говорит) — человеческими словами. Бесполезно, поэтому, проводить параллели между этими книгами. Впрочем, пристрастие Бакуниной к «жено-бабству» уже замечалось в первом романе ее (гораздо все-таки лучшем). Быть может, это наивное убеждение, что о «женском» легко узнать, если раздеть женские телеса и аккуратно проследить их половые функции? Да, и это возможно. Но невозможно не пожелать Бакуниной поскорее отделаться от наивности и заняться действительно литературой. Для этого — повторяю — у нее много данных.

СВОИМИ ПУТЯМИ

(О Е. М. Лопатиной)

— Мне хотелось бы, чтобы вы прочли роман моего друга, Кати Лопатиной. Он только что вышел, — говорит Поликсена Соловьева, прощаясь со мной на пороге нашей петербургской квартиры. Я часто вижусь с Поликсеной, она переехала в Петербург, но о друге ее детства, Кате, не знаю почти ничего. Роман прочитан. Она кажется мне живым, вылившимся из страстно-взволнованной женской души, и... многословным. В то далекое время мы искали новых литературных манер (или мод); роман же был сделан в добрых старых тонах. Однако он меня заинтересовал, и с Поликсеной мы об авторе немало говорили. Но полетели годы, десятилетия... и мне не приходило в голову, что я когда-нибудь буду писать о Кате Лопатиной, ни разу в России не виденной, как о близком человеке. И о только что ушедшем, умершем... Если это вообще трудно, то Екатерину Михайловну Лопатину не живой почти и вообразить нельзя: в таком находилась она движении, таким живым была человеком.

После тяжких переживаний на Кавказе, – куда попала, в первые годы большевизма, московская Община Ек. М-ны, – она, с неизменным своим другом, председательницей Общины, О. Л. Еремеевой, и несколькими сестрами, очутилась в Болгарии. Затем переезд во Францию; и тут, в самый трудный момент, им помогла, их приютила маленькая католическая Община в «Cambrai». То, что мы слышали о ней (и молодой ее «Mere») от Е. М-ны, и неизгладимое, незабываемое впечатление, которое оставило Cambrai в ее душе, очень помогло мне впоследствии глубже понять сложную внутреннюю жизнь ее самой.

Душа, а, вернее, все существо Е. М. было насквозь религиозно. В ней, человеке не отвлеченных мыслей, а горячих чувств, жизненные нити свивались сложным клубком. Святой, кровной традицией она, русская москвичка, была связана с родной Церковью. Но такое же кровное прошлое жило в ней и хранилось: среда, в которой она выросла, староинтеллигентская, университетская Москва. Семья Лопатиных была тесно связана с семьей Соловьевых. Юность свою Е. М. провела в кругу студенческой молодежи. Ее братья (один из них – будущий философ) и ближайший друг их, «Володя Соловьев» *, как она его называла, составляли ядро одного из серьезных тогдашних молодых кружков; бесконечные религиозно-философские разговоры между друзьями оставили в душе Е. М. глубокий след и, может быть, повлияли отчасти на все направление ее жизни. Оно, несмотря на импульсивность ее натуры и разнообразные жизненные переплетения, оставалось, в сущности, одним и тем же; оно привело ее, еще молодой, и в Общину. Даже всероссийский взрыв не изменил этого направления. Напротив, как бы подчеркнул его.

Все последние годы жизни Е. М. передо мною. Нет уже многолюдной московской Общины, нет и богатой барыни, председательницы, с верным другом-помощницей, Катей Лопатиной; но есть на горе, над Антибами, в полуразрушенном старом замке, нищенский детский «превенториум»; он создан из ничего и существует, держится, тоже ничем: только энергией и волей одной из этих немолодых женщин и духовным подъемом другой. Обе такие разные, они так необходимы друг другу. Обе работают, как последние служанки, ибо служанок нет, да и помощников постоянных мало. В делах «мира сего», практических, чисто внешних, Е. М. довольно беспомощна, при всем своем внутреннем горении и доброй воле. Но хотя тут успешнее действует энергия соработницы и друга, – выпадают и на долю Е. М. такие дела.

* Воспоминания Е. М. Лопатиной о Владимире Соловьеве напечатаны в 28-й книге «Совр. Записок» (К. М. Ельцова. Сны нездешние. К 25-летию кончины В. С. Соловьева). – *Ред. «Современных записок»*.

Когда она бежит, по крутой лесной дороге, в темноте, вниз, куда-то в Антибы, а то и дальше, я пугаюсь: Катя, да как же вы назад, пешком, все эти километры? (Я знаю, что у нее плохое сердце, что ей вредно.) Но она, и смеясь, и жалуясь, хлопочет, торопливо закалывает косынку, беспокоится: «Только бы успеть, только бы вышло...».

Полумонашеская одежда, которую она носила, отнюдь не делала ее монахиней в условном смысле. В ней оставалась и московская Катя Лопатина, подвижная, экспансивная, с острым чувством эстетики, с тонким юмором в рассказах; подчас нелепая, способная и жаловаться, и восхищаться, и возмущаться. А подо всем этим горело в ней какое-то трепетное пламя, и даже те, кто не умел видеть, чувствовал, приближаясь, его тепло.

* * *

Еще не забыта, думаю, осень, когда московский м. Сергий предъявил к представителю зарубежной церкви требование «лойальности»; и когда русская парижская пресса, т. е. верхушка интеллигенции, почти целиком стала на эту «лойяльность». Это было понятно со стороны эмигрантской интеллигенции: в большинстве она прозелитична; обостренное чувство потери России естественно тянет хоть к какой-нибудь связи с ней, а эта, церковная, казалась и безобидной... Но м. Евлогий мудро выжидал. Нас, сразу занявших определенную позицию, было очень мало. Ек. Мих. приехала к нам, вся в волнении. В ней тогда заговорила чистая, и невчерашняя, христианка, опытно знавшая большевизм.

Потом все разрешилось, успокоилось, и лишь небольшая кучка «лойалистов», отколовшись, устроила, под водительством известного еп. Вениамина, свою церковь на улице Петель. Почему так хотелось Вениамину присоединить к ней Е. М-ну и Клозон? Стараний не жалел, во всяком случае. Помню первые, кажется, его попытки. Мы жили опять вместе с Е. М., в лесном Клозоне, поздней осенью. Вениамин дважды вызывал Е. М. в Антибы, для «бесед» (в Клозон ему тогда ходу не было). Вернувшись, почти ночью, Е. М. художественно, образно, не без юмора, описывала эти сведения и уговоры, — о, безуспешные! Но в эту клозонскую осень я уже начинаю узнавать в Е. М. что-то, раньше от меня ускользавшее. Наши бесконечные, вечерние, последние разговоры позволили мне взглянуть в религиозную сердцевину ее души. Поэтому, должно быть, и не удивляли меня этапы ее дальнейшего пути. А удивиться было бы легко: через год, или несколько больше, в одном из ее спутанных, с перерывами писанных, неразборчивых писем, она рассказала, что «Клозон» (т. е. она и ее друг) решил присо-

единиться к вениаминовской церкви на Петель. Попытки объяснить этот шаг ничего не объяснили. Но мне и так было ясно: упорный внешний нажим и посул, перед которым Е. М. устоять не могла: обещание подлинной «церковной жизни». Ответ мой был совершенно откровенен: неосторожную доверчивость свою она переживет очень тяжело, но дай Бог, чтобы кончилось скорее, — там она, все равно, не останется.

Это последнее тоже было для меня ясно. Со времени наших клозонских, разговоров, Е. М-на, «Катя Лопатина», стала мне вся, с ее порывами и стремлениями, так понятна, как не была понятна, думаю, и самой себе. К этим разговорам я хочу вернуться.

Холодная, сырая комната, тускло мерцающая керосиновая лампа, ватные одеяла на соломенных креслах, взволнованный торопливый говор Е. М-ны... Она как будто перескакивает с одной темы на другую, но между ними внутренняя связь. Вот жалобы на «покинутость» (церковную). Есть храм (трудами и заботами Е. М. в замке устроена крошечная домашняя часовня), но нет священника, изредка наезжает случайный, и нет «церковной жизни»... Вдруг, сразу, переходит она на Вселенскую Церковь. «Катя, — говорю я, — вы сами напомнили мне слова вашего "Володи" Соловьева: истина в каждой церкви, и ни одна из них не Вселенская. Она родится из соединения церквей, но не механического, а химического, и будет новым телом. А пока, мое мнение, мое лично, — подчеркиваю я, — лучше оставаться в той церкви, в какой родился...». Она все это знает, не спорит, но и я не спорю: я понимаю, вижу, что главное ее — за гранью словесности. И еще вижу, что подо всеми ее рассуждениями лежит несказанная мечта, связанная для нее с именем «Cambrai».

Если все свести к простым словам, слишком простым, а потому лишь приблизительным, то надо сказать: религиозность Е. М. была такого свойства, что ее не могла удовлетворить никакая личная христианская жизнь; она стремилась к христианской атмосфере, к особому «климату», воздуху, без которого ей трудно было дышать. В сущности, стремилась она, даже рвалась, к «царствию Божьему на земле», ни больше — ни меньше; но, конечно, так не думала, не знала, а звала это, по коренной своей связи с церковью вообще, — «церковной жизнью». В ее представлении такая общая атмосфера могла идти лишь от церкви; создавалась лишь христианской церковью. В маленькой полумонашеской общине Cambrai она почувствовала, увидела, — или ей показалось, что увидела, — именно эту атмосферу, этот вечно-желанный воздух. И забыть его не могла.

Но ведь он — создание церкви? Отсюда и путь церковных исканий. Путь скорбный, но и светлый, если он свой, этой душе указанный.

Как больно за внешних, особенно за тех, кого она любила, судивших ее искания и так сурово осудивших ее последний этап — католичество. И как хорошо, что эти суды не темнили ее душевного света. Мне — весь путь ее, все этапы всегда были известны. Она не забывала, что ко многому мы относимся по-разному: «Вы ведь против переходов...». Но она знала, что ее-то я понимаю, не говоря уже о том, что я умею уважать чужую свободу.

Что ждало в дальнейшем эту мятежную душу — христианку? Нашла ли бы она в последнем обращении — в церкви католической — то, к чему шла, как умела, то, что почудилось, увиделось ей в Cambrai? На это не надо отвечать. Кто-то нежно позаботился, чтобы и она, здесь, не узнала ответа. Чтобы окончила путь, как жила все последние месяцы: в свете, радости и новой надежде.

У НАС В ПАРИЖЕ

Новые «понедельники». — Литературная полумолодежь. — Б. Поплавский и его живой облик. — Пропаганда «целостного миросозерцания». — Нужны ли рассуждения?

(Письмо из Парижа)

Современная заповедь: «В чужие дела не вмешивайся!» ни перед кем не стоит так строго, как перед русскими в Париже. И надо сказать, что заповедь исполняется (во Франции, по крайней мере), — а вольно или невольно — другой вопрос.

Но, конечно, состояние европейской атмосферы влияет на русские круги. В них замечается не то оживление, не то какая-то взволнованность.

Мне ближе других, благодаря многолетним нашим «воскресеньям», круг литературной полумолодежи. В «чужие дела», да и вообще в какую-нибудь политику, кружок этот никогда не «вмешивался». Не потому, что на «воскресеньях» был запрет говорить о «политике»: запретов вообще никогда тут не было, ибо тем «воскресенья» и держатся, что они **вольные**. Вольно и сделалось, что затрагиваются все темы, но всегда с интересным, более глубоким подходом. И политика, поэтому, уже перестает быть «вмешательством», просто входит в общие мысли того или другого. Сейчас, кроме влияния приподнятых европейских настроений, сгущенной общей атмосферы, — оживлению «воскресных» разговоров содействует и то частное обстоятельство, что Париж обогатился еще «понедельниками». Их называют «новоградскими», ибо созданы они редактором «Нового Града», И. И. Буна-

ковым, и доклады там читаются сотрудниками этого журнала. Но слушателями — приглашена туда та самая литературная «полумолодежь», которая бывает на вольных воскресеньях.

Приглашена, впрочем, с выбором. Как производится выбор, очень не ясно. Кружок отнюдь не политический: отбор же производится по какому-то весьма смутному, но все же будто политическому признаку, хотя слушатели не политики, а писатели.

Неясность эту и сам Бунаков не может рассеять. Сам, ибо вот что интересно: он приходит и на «вольные» воскресенья, где продолжает, с теми же «понедельничными» гостями, уже вольный разговор. В нем принимают участие и отверженные «понедельниками», — по неясным причинам. (Кстати, в числе последних и мы, — я и Мережковский, — но это, пожалуй, понятно.)

В самое последнее время «понедельники» как-то заглохли; уже четыре или пять пропущено. Почему — и это неясно. Устроитель отвечает, что благодаря Бердяеву, который отложил свой доклад. Надо заметить, что предложения приглашенной группы литераторов выступить со своими докладами обычно отклоняются, так что все дело стоит на зрелых «новоградцах».

Возвращаясь к этой группе молодых и полумолодых парижских литераторов, отмечу, что у них, помимо всяких общих собраний, и «вопросов», немало «внутренних дел», чисто литературных, а также событий, от маленьких до больших. Событием была недавняя смерть Б. Поплавского.

Мы Поплавского хорошо знали: в течение многих лет он был постоянным гостем «воскресений», а в последний год не пропустил даже ни одного, летних не исключая. Почти накануне смерти (он умер во вторник), помню его, сидящего за столом, со мной рядом, такого же, как всегда, так же интересно, по-своему, об интересных вещах говорящего... Понятно, что известие о его смерти меня, прежде всего, изумило. Смерть, впрочем, всегда изумляет, как открыл Флобер: «Elle était morte... quel etonnement!» *, — говорит муж Бовари.

О смерти же Поплавского и не думалось, — так он на «смертника» был не похож. Напротив: был похож на человека, которому предстоит долгая жизнь и которому именно долгая нужна, иначе не успеть разобраться, привести в порядок свое большое внутреннее имущество. А он о порядке пока и не думал, все будто хотел еще и еще что-то приобретать.

Под свежим впечатлением этой неожиданной смерти, его друзья и сверстники преувеличили, может быть, значительность его несомнен-

* «Она мертва... Как удивительно!» (*фр.*).

но интересной личности: вечера в его память, рецензии о нем, все это было полно неумеренных похвал, литературных и всяческих, скорее затемняющих его подлинный облик.

Впрочем, никто его, как следует, и не знал, не исключая и тех, кто считался его ближайшими друзьями...

Вот он входит, поздно, медлительной походкой, задевая каблуками пол. Блестят вечные черные очки. И глядишь — уже ввязался в разговор. Говорит быстро, невнятно, в нос; это забывается, так всегда любопытно то, что он говорит. «Ему нельзя верить», — говорили про него его же приятели. Но зачем, спрашивается, верить? Он и сам себе мало верил; ничуть не обижался, когда ему замечали: «Хорошо, а посмотрим, что вы станете говорить в следующее воскресенье?». Если он, действительно, говорил другое, — это другое тоже было интересно.

В его поле зрения имелось столько вещей и столько собственных (не чужих) мнений и мыслей о них, что он не мог сделать выбора и, пожалуй, был прав, не спеша ограничивать себя принятием какого-нибудь «твердого взгляда». Это само пришло бы в будущем... или не пришло, трудно сказать. Повторяю, его хорошенько не знали и те, кто считались близкими его друзьями. И для них (как, м. б., для себя) он был полон неожиданностями, вплоть до неожиданной смерти. На одном все сходились: на его талантливости. И была она даже какая-то общая, не только литературная. Ценно, что он не желал быть русским талантом — самородком, талантом своим довольствующимся. Интересовался книгами, историей, философией, всем, что можно назвать интересным, читал куда больше своих сверстников и о чем бы ни шли разговоры, чувствовалось, несмотря на парадоксальность мнений, что он знает и понимает тему.

Что касается литературы, то при «махровой» его талантливости, именно благодаря ей, невозможно предсказать, кто из него вышел бы: стихотворец? Сомневаюсь, хотя многие из молодых поэтов считают его стихи «шедеврами». Вряд ли вышел бы и чистый романист-прозаик: он и тут еще искал себя. Модернист, конечно, но без всякой видимой подражательности. Ценил Джойса, но и за него ратовал довольно странно: за его манеру, которая будто бы одна позволяет человеку проникать в другого человека.

Мне почему-то, кажется, что он нашел бы впоследствии свою особую форму для выражения отстоявшихся чувств и мыслей. И тогда мы увидели бы сквозь всякие «нео» коренную связь Поплавского с русской литературой, — с Розановым, Достоевским, Гоголем (только не с Толстым); связь, оставшуюся подпольной, неявленной, да и неосознанной...

Но стоит ли гадать, что было бы, если б он не умер так рано и так... случайно? Сколько об этой «случайности-неслучайности» было разго-

воров. Но, должно быть.., есть какой-то смысл в том, что жизнь этого даровитого человека так странно оборвалась; разум невольно ищет смысла: ведь если допустить хоть одну случайность – все делается случайным и обессмысливается самое искание в чем-нибудь смысла...

Когда выйдет задуманное друзьями собрание сочинений Поплавского, можно будет поговорить о его литературе. Не думаю, впрочем, чтобы она могла довершить оставшийся в нашей памяти живой и недовершенный его облик.

Были ли в Поплавском, при всех особенностях его личности, типичные черты, свойственные и другим его современникам из той же среды, того же положения, с той же степенью культурности и тягой к литературе? Думается, были. Взятый в отдельности, ни один из этой среды не «похож» на Поплавского. Но во всех, при внимании, можно открыть общий знак острых наших времен: какую-то особую внутреннюю неустойчивость, неуверенность, бессознательное ощущение своей недовершенности. И это, быть может, не плохо, потому что ни у кого, кроме редких исключений, нет тени самодовольства, – ни довольства литературой своей, ни собой.

Цель новоградских «понедельников», по словам их устроителя, привить «молодой литературе» посредством докладов Степуна, Федотова, Мочульского, Бердяева и т. д. – так называемое «целостное миросозерцание».

На это один из приглашаемых ответил однажды (не в «понедельник» и в вольном разговоре):

– Вы напрасно думаете, что мы не видим «мира» и равнодушны к нему. У нас громадное «мирочувствие», мы знаем, что его мало, но никакими словами в известных понятиях вы его в «миропонятие» не превратите. Мы хотим – хотели бы, – вложить в слова новые понятия или очистить слова от теперешних. Мы их не примем, как они есть. Лучше мы совсем их не примем. Тогда новые понятия найдут другие.

В этом ответе была, если угодно, и дерзость, и большая неопределенность. Но, по-моему, была и какая-то правда. Я, со своей стороны, считаю, что единственно, что может дать, в данный момент, «старшее» поколение – «среднему», литературному и другому, – это свободу и доверие. И каких бы мыслей ни держаться, как бы ни стоять за «целостное миросозерцание» – пропаганда его, в данных условиях, мало к чему приведет.

Не кажется ли вам, что сейчас «пропаганда», как она была, вообще, не в порядке дня? Но если это и неверно, то, в частности, дать человеку свободу с оказанием ему доверия, бывает иногда действительнее и лучшие приносит результаты, нежели усиленное вбивание ему в голову ... все равно чего.

Но здесь и останавливаюсь со своими рассуждениями, вспомнив недавнее на этих же страницах, замечание Петра Пильского (цитирую по памяти): в газете надо писать так, чтобы все было понятно **всем**, от самого культурного читателя до гоголевского Петрушки, читавшего, как известно, по складам. Это мнение я знаю и, – хотя лично его вполне разделить не могу, имея принципиальные возражения, – предпочитаю, пока что в рассуждения не вдаваться. Это правда, наше время не время рассуждений, а фактов. Они понимаются всеми, а как – не все ли равно?

МУЖЬЯ-ИТАЛЬЯНЦЫ

О русских женщинах, вышедших замуж за итальянцев

Об Италии всегда было и всегда есть что порассказывать. Притом беря ее с любой стороны: искусства, истории, жизни... Есть в ней сторона вечная, не меняющаяся. Но мне, во время этого пребывания (которого? Двадцатого, быть может, за всю жизнь), интересно было другое: Италия современная. И даже, в частности, современные люди, с которыми приходилось встречаться. А еще уже – русские люди в сегодняшней Италии.

О некоторых в отдельности, как о «мудреце на Тарпейской скале» (кто не помнит или хоть не знает нашего поэта и ученого Вячеслава Иванова?) – я расскажу подробно впоследствии: его окружение, его римская жизнь на Капитолии весьма примечательны: «достойны кисти Айвазовского», как любили у нас, в старину, выражаться. Сегодня же хочу дать лишь общее очертание русско-итальянской жизни, а, главное, остановиться на одном обстоятельстве, довольно интересном.

Начать с того, что русской «эмиграции» в Италии, даже в Риме, – нет. Слово «эмиграция» предполагает известный коллектив, группу, независимо от величины, но связанную, однако, общими интересами, делами или хоть разговорами и устремлениями. Именно этого-то ничего и нет. Имелась ли здесь «эмиграция» в самом начале русского «исхода»? Не знаю и сомневаюсь. Были отдельные люди, числом, вероятно, больше, чем теперь; каждый из них, вероятно, больше сознавал себя «эмигрантом» – вот и вся разница с нынешними отдельными людьми, которые «эмигрантами» себя как-то мало чувствуют, или слово это немножко позабыли.

Двадцать лет – срок порядочный. За это время и в Италии немало произошло внешних перемен. Сейчас выходцы из России, в Италии

оставшиеся, уже связались, более или менее, с жизнью итальянской, вошли в ее темп. Многим посчастливилось найти здесь кусок хлеба. И даже, по слову одного парижского поэта, с горестью воскликнувшего: «Чужую девушку возьму в подруги!» многие русские здесь завели себе итальянскую семью (притом и без горести).

Последнее особенно относится к русским женщинам: из оставшихся или выросших в Италии, большинство вышло замуж за итальянцев.

Остановимся на них.

Возьмем супругов, соединившихся по любви и продолжающих любить друг друга. Только такие пары интересны, ибо тут особенно ярко выступает различие не двух индивидуальностей, а разница какая-то другая, весьма глубокая. Она-то и рождает между супругами, — женой-русской и мужем-итальянцем, — постоянное, недоразуменное, взаимонепонимание.

В натуре средней русской женщины, рядом с честностью, лежит и потребность свободы. Чем женщина интеллигентнее, тем больше чувствует она право на доверие к себе, к своей любви, на уважение к своей прямоте и душевной свободе. Муж-итальянец, самый любящий и самый хороший, по натуре, человек, ни о чем таком не подозревает, никогда не задумывался. У него свое, давнее, из быта выросшее, отношение к женщине; свое понятие о браке, жене, семье. Жена — есть жена, для семейной жизни существуют известные, определенные рамки. Он и не знает, что можно смотреть на вещи как-нибудь иначе. Естественно, что любое проявление непонятной ему психологии тотчас истолковывается как выход из брачных рамок; воспринимается с привычной простотой: подозрения, ревность. И ревность, вдобавок, не вполне такая (если говорить в общем), как у ревнивых мужей северного народа, хотя бы русского. Но это уж дело темперамента или крови.

Не буду приводить фактических примеров; положение и так ясно. Жизнь дает из него два выхода. Знаю женщин, которые закончили свой «опыт» разрывом с мужьями-итальянцами. Это русские женщины с характером и не лишенные энергии: некоторые из них, вопреки условиям итальянского быта, достигли самостоятельного положения. Но для большинства остается другой выход: постепенно приноравливаться к психологии (или отсутствию психологии) мужа; приучать себя никогда, хотя бы по неосторожности, не выходить из установленных рамок брачной жизни; принять, словом, свое превращение в итальянскую жену. Это, я думаю, многим и удается, когда есть большая любовь. Но тем легче, чем меньше в женщине «личного».

Другое дело — брак обратно-смешанный, т. е. когда русский женится на итальянке. Это сразу понятно. Итальянки прекрасные жены, именно жены. Средний русский человек на чужбине, без своей, как в

Италии, среды, естественно жаждет своего дома, уюта, родственного покоя в семье. Он без труда найдет это счастье с итальянкой. Дети будут итальянцами? Не понимающими по-русски? Что ж такое! Глава семьи уже недурно знает местный язык, с женой надо же все-таки говорить... А то, что в нем остается «русского» — ее не касается, он его хранит про себя.

Повторяю: все это — общие линии, правило с тысячью исключений, со множеством оттенков. И тем не менее, — правило. Тут есть над чем подумать, в свободное время. Ведь это тоже своего рода «лига наций», — маленькая брачная лига.

Флоренция, июнь—июль, 36

В. МАМЧЕНКО. ТЯЖЕЛЫЕ ПТИЦЫ. *Париж, 1935.* — Л. САВИНКОВ. АВАНПОСТ. *Париж, 1935*

Книга стихов больше, чем всякая другая, связана с тем, кто ее написал. Стихи много открывают о человеке, если, конечно, интересоваться не общим подходом к ним и уметь их известным образом читать.

Так я возьму стихотворную книжку В. Мамченки. Я хочу написать о ней «стихочеловеческую рецензию», предоставляя другим судить эти стихи **как стихи.**

Книга называется «Тяжелые птицы», и более подходящего образа нельзя выдумать. В стихах (и в стихотворце) — крылья, это несомненно, а тяжесть слишком велика, — «птиц» она не подымает. Если оставить «образ», то прямыми, более или менее простыми словами можно сказать: это книга — о внутреннем мире, притом о самом в нем **важном;** и важном не только для данного человека, — важном вообще, важном для других. Но... в ней нет моста к этим «другим». Мамченко остается со своим «важным» наедине, несмотря на праведную жажду

...быть трепетным ручьем,
Чтобы не иначе, как всякий, каждый
Сверкал во мне пронзающим лучом.

Можно с легкостью открыть причину этого, критикуя стихи как таковые, находя их искусными, неуклюжими, безритмичными, с налетом древнего «декадентства» в произвольном подборе слов, в пренебрежении к синтаксису... мало ли! Но если даже так, или может так показаться, не здесь главное. Главное — в тяжести, или важности того,

17 Зак. 4570

что Мамченко хочет передать, что хочет сказать понятным хотя бы «сердцу языком», но говорит — совсем непонятно. Мы когда-то определяли: одни говорят «непонятно о понятном» (даже о банальном, как бывшие «декаденты»); другие — «непонятно о непонятном»; лишь третьи, — мы всех их знаем, — говорят «о непонятном понятно», «внятным сердцу (или уму и сердцу) языком». Чтобы говорить так, не нужно ли, чтобы это Непонятное было, во-первых, «с большой буквы», а во-вторых, чтобы для самого человека, внутри, было оно как-то высветлено, чтобы сам он о его свете что-то знал?

Мамченко говорит о своем Непонятном — непонятно. Но оно «с большой буквы», а если он не находит для него ни верных форм, ни нужных слов и звуков, остается с ним в бесчеловечном «наедине», — подождем искать причины в его словесном «немастерстве». Подождем: когда (если) его внутреннее «имение» для него самого оформится, или самому ему более внятен станет внутренний голос, — сами найдутся, придут, и внятные другим слова.

Но ведь это и есть «талант?». Да. Я только помещаю талант глубже, чем обычно. И подчеркиваю: о «таланте» или «неталанте» Мамченко нельзя судить, рассматривая его стихи. В пользу таланта уже говорит, однако, вот это его «имение», его «важное»; он не находит слов для него, но **может** найти. Тут его коренное отличие от «неимеющего»: у этого, каким бы «мастером слова» он ни был, отнимется, в конце концов, и такой призрак таланта.

Но не спорю: в дар дается лишь **возможность** (потенция) таланта. Его, этот дар, можно зарыть в землю, как можно и не зарыть. Мы видели, **что** нужно, чтобы не зарыть; оно не легко, и лишь усилием берется... Поэтому не будем пророчествовать о Мамченке: мы дальнейшего не знаем, дальнейшее зависит от него.

Есть одна (среди сотни других) стихотворная книжка, которую мне хотелось бы взять — не для сравнения с Мамченкой (сравнивать стихотворцев бесцельно), а для кое-каких сопоставлений. Это «Аванпост» Л. Савинкова. Писать о ней «стихочеловеческую» рецензию почти невозможно: до такой степени мало в ней человека. Надо учитывать, конечно, молодость автора, но все же! Ведь собственно о стихах и совсем нечего сказать: обычный «модерн», уже начинающий, кажется, приедаться и СССР-ским «поэтам». А сквозь «бодрость» и «молодечество» этих строф, как сквозь складки дырявого... импермеабля, видна душа уже озлобленна (в противоположность Мамченке, за стихами которого чувствуется какая-то «благость»), душа «в обидах», а главное — все время себя жалеющая. Опять в противоположность Мамченке: он себя не жалеет. Вот это последнее свойство — саможаленье — очень опасно и для человека, и для таланта. Ибо оно показатель отсутствия **воли.**

Не будем, однако, ничего предсказывать и о Савинкове, тем более что срывные вскрики его можно отчасти отнести и к молодости. Но пожелаем ему, забыв на время себя и свои обиды (как бы ни были они справедливы), в серьезном молчании приглядеться к окружающему. Период молчания и «собранности» очень помогает открытию в душе необходимого стержня... если он там имеется.

ДОРОГИЕ ПОКОЙНИЧКИ

Представьте себе, что вам говорят: вся русская литература целиком была только «борьбой за свободу». Поэтому уже в Феврале, при объявлении «свобод», она смутилась, предвидя свой конец. Октябрь не оказался передышкой; от Октября она просто впала в длительный обморок. Но что же дальше? А вот что: Октябрь когда-нибудь кончится, придет свобода; и русской литературе останется, если она очнется от обморока, благословить небо и с улыбкой почить: ее дело завершено. Преемников не будет, да и на что они? Нашим детям или внукам, вернувшимся в свободную Россию, не о чем будет писать; с воцарением свободы кончается борьба за нее; а ведь эта борьба и была единственным содержанием нашей литературы.

Очень трудно возражать на такое положение: не знаешь, за какие общие места вперед схватиться, слишком большой выбор. К тому же статья «Длинный разговор» *, где нам предлагаются эти (даже не «парадоксальные»!) мысли о литературе, имеет вид, будто написана для чего-то, «нарочно»; автор сам, слава Богу, литератор, притом никогда особенной «борьбой за свободу» не отличавшийся. Ему, пожалуй, известны все примитивно-банальные возражения, которые тут являются сами собой: он даже знает, по всей вероятности, что не только «длинного», а вообще никакого тут разговора нет. Поэтому не для автора, а для тех, кто мог бы (все нынче случается!) принять этот разговор «всерьез», я не побрезгую и банальностями (иначе говоря, «очевидностями»).

Да много ли их и понадобится? Для начала, вообразим такую картину: целая туча самых знакомых нам писателей вышла, на часок, из могил; собрались вместе, и так их много, что всех не назовешь; но вот Гоголь, Достоевский, Тютчев, Лермонтов, Лев Толстой, Ал. Толстой, Жуковский, Лесков, Тургенев, Гончаров, Вл. Соловьев, а вот, из недавних, и Блок, и Вас. В. Розанов — его тоже из семьи не выкинешь... И

* Новая Россия. № 23. Г. Адамович. Длинный разговор.

встает, перед этим собранием, «старый писатель», будто бы «умный», что вел «длинный» с Адамовичем разговор, и заявляет: «Вы, дорогие покойнички, все ведь шли от Белинского и все ваши труды были "борьбой за свободу". Приди свобода раньше, в ваши времена, вы бы и <не> написали того, что написали. А когда она, желанная, наступит, наконец, то вас, в царстве свободы, будут, конечно, вспоминать иногда, как дорогих покойничков, но писания ваши потеряют всякий живой смысл».

Сомневаюсь, однако, чтобы «старый писатель» осмелился выступить со своей речью перед таким собранием; какова бы ни была степень его «ума», сообразил бы кое-что.

А если бы все-таки выступил? Что произошло? Не трудно догадаться, в какое неистовство пришел Гоголь, при одном имени Белинского: с ласковым снисхождением посоветовал Толстой оратору пройти момент «неделанья»; Розанов «весь смок и растворился»: неистово захохотал, открыв рот, Вл. Соловьев; ссутулившись, Гончаров повернулся, чтоб идти назад, в могилу; Лермонтов только презрительно повел плечами; а Достоевский... но можно вообразить, что сделалось от такой речи с Достоевским.

* * *

«Борьба за свободу»... Содержанием какой «литературы» и когда была эта борьба, ... в том смысле, в каком ее понимает «старый писатель»? Даже *главным* содержанием не была — и быть не может. Это не значит, что ни к «борьбе», ни к «свободе» литература не имеет отношения. Напротив, громадное отношение. В литературе, как во всяком искусстве, все держится на волевом начале: можно сказать, что всякое произведение искусства есть борьба. С чем? За что? Какая? Тут границ и определений писателю не может быть поставлено. Кто какую борьбу понимает, такую и ведет, по его выбору. Журналист Белинский (и его из семьи не выкинешь, конечно) боролся за внешнюю свободу. Достоевский вел другую борьбу, по-своему ее понимал: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Свобода нужна литературе, нужна настоятельно, как внутренняя, так и внешняя. Да, может быть, обе слишком связаны, и можно говорить о них вместе. Надо помнить только, что свобода, всяческая, не какой-нибудь «приз», голубой бант, за который борются два современных судна: взять его и успокоиться; достигнутая свобода всегда несовершенна, относительна, и борьба за нее никогда, в сущности, не кончается. Кроме того, сама по себе, для себя, свобода есть нечто несуществующее, или ненужное: она — непременно *для* чего-то, как воздух

для дыхания. Она необходима для литературы, для всякого искусства, всякого делания и, если мы расширим далее, — необходима для жизни. На сколько шагов отдаляется свобода — на столько приближается смерть. Свобода, таким образом, есть *условие* жизни.

За это нужное условие для творческой работы могла ли не бороться литература? Но только что мы ее сузим до такой борьбы (за *«условие»*), мы должны будем сказать, что собственно литература у нас и не начиналась. А тут сейчас же опять «старый писатель», несчастный собеседник Адамовича, со вторым абсурдом: «должна кончиться» (хотя не начиналась).

Вот в какой тупик можно зайти, приняв «всурьез» длинный разговор Адамовича. Но уж не наивность ли моя думать, что его кто-нибудь так примет? Может быть, и сам Адамович на это не рассчитывает? Тем лучше. Можно, значит, оставить в покое еще целую кучу банальностей, которым тоже хотелось бы войти в спор насчет «литературы». Я предлагаю помолчать, пока что, о литературе, а перейти к другому, действительно длинному и последнему разговору — о русской интеллигенции. Раз уж зашла речь о «борьбе за свободу» — о чем же еще разговаривать? И вопрос можно поставить интересно: действительно ли русская интеллигенция шла, в своем развитии, по одной и той же линии, составляла одно целое, и у нее, до самого Ленина, та же родословная?

Мне случилось однажды присутствовать при споре двух видных интеллигентов как раз на эту тему. Спор любопытный, но о нем лучше впоследствии.

ДУША ЖИВАЯ

(К юбилею Т. С. Варшер)

Для русского человека быть в Риме и не видать Татьяну Варшер гораздо непростительнее, чем не видать папу. Кто она? Ученая женщина? Да, но если б она была только это, или даже если б походила, главным образом, на «ученую женщину» в обычном представлении, — мне, портретисту, описателю «Живых лиц», нечего было бы о ней сказать. О ее работах, ученых заслугах в археологии, уже достаточно писано специалистами; пусть они и продолжают, у меня же своя специальность.

«Самое интересное в мире, — говорю я в одной из моих статей, — это **живой человек.** Весь, как он есть, настоящий, с его судьбой, с его душой, с его талантом, с его ошибками, с его особенностями... ведь

каждый – единственный». Я и теперь так же думаю: но это относится, конечно, только к **живому** человеку; есть, и очень много, полумертвых, даже совсем мертвых, таких, чьи души, по слову Данте, давно мучаются в аду, пока тела еще пребывают на земле.

Татьяна Сергеевна Варшер именно тем и пленяет, что она «живой» человек в самой высшей степени. В нее попало столько бергсоновского élan vital'я *, что не всякий бы с ним справился, да и сама она не всегда справляется. Во всем, за что она ни берется, или что на пути ни встречается, – от главного, научной работы, которой она живет, до журналистики, и даже вплоть до мелочей жизни, – решительно во всем чувствуется эта ее бурная сила. Если, в отдельных случаях жизни, взрывы бывают не в меру того или другого обстоятельства, то надо признать, что лишь эта сила и способность взрывов, могли помочь Т. С. в ее борьбе с жизнью, с судьбой, сохранить ее «живым человеком» и ее труд.

Но и другое еще хранило и хранит Татьяну Сергеевну: это неутомимая и неутолимая, откуда-то из неведомых глубин сердца идущая, – доброта. Не та quasi ** христианская доброта, ровная, с холодком, «charité» ***, – а тоже бурная, страстная, личная, похожая – если уж сравнивать – на расширенное материнство. Так она относится ко многим из своих учеников и учениц, местных, или группами приезжающих из разных стран, чаще из Англии. Эта молодежь – не праздные туристы; Т. С. часто сопровождает ее в Помпеи, – «царство Варшер», как я говорю иногда, смеясь. Некоторые из этих молодых англичан остались с ней и до сих пор в самых милых отношениях, пишут ей из Англии. Но не этих одних принимает в душу Т. С. Достаточно ей столкнуться с каким-нибудь человеком в несчастье, временном или постоянном (эти чаще бывают русские) – она, если он ей симпатичен, начинает действовать, не жалея сил и времени, бегает по Риму, пишет письма, а пока пристраивает «усыновленного» к себе, делится своим куском хлеба. А кусок этот очень невелик...

Как-то, при одном из взрывов ее негодования, мне вспомнилась строчка давнего моего стихотворения:

– Ах, Татьяна Сергеевна, вы, в сущности, хотите «того, чего нет на свете!».

– Я хочу справедливости. И сейчас самой маленькой, которая должна же быть на свете! Я хочу покоя для работы, одиночества в двух маленьких комнатах, где бы мне никто не мешал. Неужели этого для меня «нет на свете», не может быть? Не верю!

* жизненный порыв, жизненная энергия (*фр.*).

** якобы (*лат.*).

*** милосердие, благотворительность (*фр.*).

Да, она права. Конечно, все мы, в нашей работе, в наших усилиях и мечтах хотим чего-то большого, предельного, чего «нет на свете», как и высшей справедливости. Хочет и Т. С., хотя бы сама об этом не знала. Но то, чего она хочет сейчас, — покоя для работы, которой живет ее душа — так просто, что я, глядя на моего «ученого», на этого «живого человека», начинаю думать: высшей справедливости нет, но вот высшая несправедливость. Неужели мир незаметно так перевернулся, что даже в мелочах, в каждый отдельный момент, ценность живого человека считается ни во что?

Находят «несправедливость» в Евангелии: «Кто много имеет, тому еще прибавится, а кто имеет мало, у того отнимется и то, что думает иметь». Но не есть ли это самая настоящая внутренняя справедливость? И ей надо быть «верным и в малом», всегда. Разве у того «живого человека», о котором я пишу, малое «именье»? Очень большое. Она стремится к его прибавлению, и все должны ей в этом помогать; так требует справедливость. Но полумертвые, почти ничего не имеющие люди — ее не знают. Им все равно. Может быть, когда у них «отнимется и последнее» — остатки живой души, — им и это уж будет все равно.

Возвращаясь к нашей «ученой женщине», столь не похожей на «ученую женщину» вообще и, вместе с тем, подлинно «ученую», — скажу откровенно: как ни чрезмерны казались нам порою бурные взрывы ее негодований, нельзя, невозможно не завидовать ее энергии, силе жизни и глубине сердца, не говоря о какой-то общей «талантливости» ее существа. Мы оба, я и Мережковский, благодарны судьбе за встречу с ней. И очень желали бы мы, чтобы жилось ей дальше во всем «по справедливости»: и в малом, простом, внешнем — и в большом, внутреннем, глубоком. Не этого ли хотят и другие ее римские друзья?

Надо помнить, что человек «много имеющий» и живой — великая ценность.

Париж

«ОРДЕН» РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

— Какая радость! Вся Россия делается интеллигенцией! Ведь теперь у пяти миллионов в руках Пушкин!

Не странно ли слышать это, да еще от самого коренного «интеллигента», видного представителя интеллигентского «ордена»? Всем, кажется, известно, что «интеллигенция» создалась не Пушкиным, и он

никогда особенного значения для нее не имел. Почему вдруг теперь начнет он Россию «объинтеллигенчивать» (если можно так ужасно выразиться), превратит колхозников и комсомольцев в «интеллигентов»?

Впрочем, подобное утверждение, – о Пушкине и пяти миллионах, – не так интересно само по себе, как возникший отсюда спор насчет русской интеллигенции вообще. Особенно любопытен он потому, что главным оппонентом первого интеллигента был другой, не менее характерный и видный, притом формально того же толка.

Сущность этого спора я вкратце и хочу передать.

Но раньше заметим: попытка найти всестороннее определение, что такое «русская интеллигенция», привела бы к бесконечному разговору, – так широко можно рассматривать это явление. Поэтому, возьмем «интеллигенцию» с наиболее видной ее стороны так, как смотрит на нее наш друг первый интеллигент: некий «орден» – *борцов за свободу;* тем более, что и спор велся именно в этой плоскости.

Когда начала она существовать? Во всяком случае – раньше, чем Боборыкин пустил в ход крылатое словечко – ее имя. Но вот вопрос, и очень важный: действительно ли «интеллигенция» есть некий монолит, единое целое? Находилась ли она, с самого своего зарождения и во все долгие последующие десятилетия в одной линии, подобно старому какому-нибудь роду с единой генеалогией?

Это положение защищал тот самый член «ордена», что радовался разрешению Пушкина. Разве не такой же «интеллигент» Ленин или Троцкий, или Сталин? Разве не так же преследовал их царизм, не так же проходили они тюрьму, ссылку, эмиграцию? Не борцы ли они... (того же «ордена», должен бы договорить спорящий, но почему-то не договорил).

Формально – да: и Ленин, и Сталин – «интеллигенты». Почему, однако, так дорог формализм знатоку «ордена»? Ведь стоит чуть-чуть с него сдвинуться, взглянуть, даже бегло, на живую историю интеллигенции, – и мы увидим другую картину. Мы увидим, что в интеллигенции, с самого ее (неуследимого) зарождения, уже наметились две линии. Быть может, не всем казались они, вначале, параллельными; но чем дальше шло время, сдвигая события, тем тверже подчеркивалась их несходимость.

Внутри самой интеллигенции происходили, как бы органически, две группировки, во все эпохи, при всех событиях друг от друга отличные. Этих отличий не может не заметить даже самый внешний взгляд, ибо они выражаются, обеими группами, в разности внешних действий, в разности воль. На примерах это будет виднее; но попробуем раньше выяснить природу этого разделения.

Оставив в стороне оттенки и сложности, можно сказать так: в одной (преемственной) линии находятся интеллигенты, «борцы за свободу», имеющие какой-то, сознательный или бессознательный, человеческий *плюс;* и это, естественно, отражается на их «политике», на их действиях. Интеллигенты другой линии никакого «плюса», никакой, что ли, «надстройки» над своей политикой и над самими собой не имеют; и это иначе окрашивает их действия. Если обе группировки начинали действовать совместно — это приводило к катастрофе — или ни к чему.

Возьмем несомненного «интеллигента» и несомненного «борца за свободу» — Герцена. Попробуем на минуту вообразить: вот он, вкупе с другими интеллигентами, едет в Россию в немецком вагоне и действует с ними далее (с Лениным, Сталиным и др.) заодно, точно так, как они... Как будто невообразимо? Скажут, — другая эпоха, другое время. Но эпоха здесь не имеет значения: ведь Бакунина, или Нечаева, или кого-нибудь из персонажей «Бесов» (смягчив достоевщину) очень легко представить себе и в этом вагоне, и среди дальнейшего «петербургского действа».

Не потому Герцен (ни его преемники по прямой линии) не мог отправиться с Лениным и другими в запломбированном вагоне и устраивать с ними и с Ягодами дела России, что был он не настоящий «интеллигент», не настоящий «борец за свободу»; и не потому, что в его время интеллигенция еще не была оформлена, и не было марксизма (а только Маркс). А потому, что у Герцена, политика-человека, имелся его «плюс»: о нем с ясностью и большой силой говорит он, объясняя свое вольное эмигрантство. Это — понимание Личности, «лица» человеческого, и вытекающее отсюда (только отсюда!) понимание «человеческого достоинства» — по его слову — и настоящей «свободы».

Опять возражают: в эпоху Герцена еще сильно было влияние немецкой философии; этим можно объяснить его «идеализм». Если понимание личности и человеческого достоинства есть только «идеализм» и нечто присущее одной какой-нибудь (прошлой) эпохе, то, логически, надо прекратить разговоры и о «свободе». Между прочим: Бакунин в молодости был под гораздо большим влиянием немецкой философии, что не помешало ему затем начисто отказаться от всякого герценовского «идеализма», — от того, что вернее было бы назвать и герценовским, и общечеловеческим проникновением.

— У нас у всех одна родословная! У всех, через Белинского и Чернышевского... горячится знаток «ордена», — забыв, — или желая забыть, — что сам ведет свою родословную по одной из интеллигентских линий, и как раз по той, где требуется плюс. Если же нет — почему он предпочел эмигрантское существование современному московскому

«строительству»? А интеллигентские имена подбирать следует не по одной известности. Нам теперь не трудно, глядя назад, угадывать, кто к какой из двух линий склонялся. У Белинского не было, кажется, никакого надполитического плюса; во всяком случае не было в сознании и воле. Чернышевский – сложнее: в нем за его «политикой» (общественной проповедью) еще было что-то свое, туманное и ценное, только для него самого никак с его «общественными идеями» не соединенное*.

Герцен еще не сознавал, может быть, всего, что имел и что нужно было для дальнейшей политики в его линии; отсюда его временные заблуждения насчет самодержавия, сущность которого от него ускользала. Но и того, что он сознавал и с неизменной твердостью выражал (утверждение «лица», человеческого достоинства, свободы) – вполне достаточно для разрешения спора о двух линиях в интеллигенции. Но одного из ее представителей слишком, должно быть, увлекла радость, что пять миллионов комсомольцев, благодаря Пушкину, войдут завтра в его орден «борцов за свободу». А ему стоило бы только вслушаться внимательнее в слова противника, без пафоса, просто, подумать о себе, о том, где он, с кем и почему, чтобы уже не защищать больше свою единую с Лениным и К° – родословную.

СОВРЕМЕННОСТЬ

«Одно дело – мораль, другое – политика».

Вот обычная, ходячая фраза в наши дни. Я бы сказал – естественная. В ней уже содержатся, конечно, уже включены в нее, и прочие не менее «естественные» утверждения, – они «сами собою разумеются». Но мы рассмотрим их отдельно, в строгом порядке.

Итак: мораль одно дело, политика другое. Наука, искусство, эстетика – одно, политика – другое. Метафизика, логика – одно, другое политика. Логика, разум, здравый смысл – одно, политика совсем другое.

Это «другое», – вне морали, эстетики, метафизики, логики, здравого смысла, – и есть *современная* текущая политика. Если абсолют в реальности не встречается, то почти-абсолют мы уже имеем во образе

* Почти одновременно, в 1912 или 1911 г., вышли две книги: Письма Чернышевского к жене (из Сибири) и Письма Чехова к жене (из Ялты). Сравнение, в душевном и даже в художественном отношении, будет не в пользу последнего.

сталинской политики. Остальная находится в разных степенях приближения к тому же абсолюту.

Едет воз сена. Тучный, высокий; и с каждым скрипучим поворотом тележного колеса все растет, все подкидывают сена. Почем знать, может быть, там, глубоко на дне, что-нибудь и запрятано. Может быть, там и бриллиантовая булавка разума с золотым острием здравого смысла? Не стоит думать; ведь все равно не добраться ни до чего, не отыскать в тяжелой, мертвой куче сухой травы, — в куче мертвых традиций, окаменелых привычек, в горе «слов-слов-слов» с искаженным, как лицо повешенного, смыслом и значением.

Да, не стоит думать. Не раскидывать же воза! Мы «ленивы и не любопытны». Если и есть что-нибудь на дне, оно не нужно, у нас «другое» дело, особое: двигать реальный воз со всем его сенным богатством.

Я не обманываю себя: воз так велик, что если б случилось чудо, если б современники, услышав запах тлена, принялись раскидывать воз общими усилиями, вряд ли бы им это скоро удалось. Но что говорить о таких усилиях, когда не видно и частных попыток порыться с краю, выдернуть два—три сухие скрюченные стебля, — два—три слова с искаженным смыслом, чтобы воскресить их в первом, настоящем значении. Может быть, впрочем, такие попытки, заведомо слабые, и есть; но охранители воза ревнивы и подозрительны, прикасаться к нему не очень позволяют.

* * *

Эти строки были уже написаны, когда мне попалась статья в «Репюблик»: журналист говорит как раз о современном искажении слов, о потере их «первоначального» смысла (вспомнив, что об этом же писал, в свое время, Ан. Франс). «Три слова лежат в основе всех политических споров, — говорит П. Доминик, — большевизм, фашизм и демократия»; указав, что слова эти доселе понимаются, как, приблизительно, лет 20 тому назад, журналист поясняет, что теперь, в действительности, они обозначают совсем другое. Иначе: он показывает, во что *выродились* к сегодняшнему дню государства, продолжающие зваться тем, другим или третьим именем.

С точки зрения чистой «актуальности», журналист кое в чем прав; но это мало имеет отношения к тому, о чем мы говорим: к действительному «разоблачению» слов; это почти «в другом порядке». Поэтому напрасно говорить о их *начальном* смысле. Начальный лежит глубже; искажению не 20 каких-нибудь лет; и не так уж оно поверхностно, как его определяет П. Доминик относительно, например, «фашизма».

Журналист не говорит нам с ясностью, как понималось это слово 20 лет тому назад; он только отмечает, что сейчас оно «синоним реакции». Гораздо прямее (и «первоначальнее») сказать, что «фашизм» был и доселе остается «синонимом личной диктатуры». Если такое государство судится, как реакция, это уж последующий вывод: фашизм = личной диктатуре = реакции. Занявшись вскрыванием «начального» смысла слов, надо и начинать сначала; в данном случае — со слова *«фашизм»*. (Оно — очень хороший пример.) Действительно ли оно синоним личной диктатуры? Что оно означает в первичном и прямом значении?

Здесь меня, конечно, прервут: бесполезные рассуждения! Реальность перед глазами: Германия с Гитлером, выродившийся СССР со Сталиным, Италия с Муссолини, — все это фашизм. Слово общепринятое, понятное, определяющее факт; да и сколько ни говорить о словах, факты от слов не меняются.

Не меняются? Ну, это еще вопрос... не для тех, положим, кого ни смысл, ни слово не интересуют. Но есть и не вполне уверенные, что политика — одно, а разум, знание, мораль и т. д. совсем другое. Для них я скажу кратко о «фашизме» и о «личной диктатуре».

Фашио — это пучок, пук длинных стеблей и обозначает совместность, тесную общность. Как знак «всеобщности», он был принят римской *республикой;* а раньше, кажется, обозначал тоже, — равность всех и общность — в Этрурии. Другого прямого смысла «фашио» не имел и не может иметь даже с приставкой современного «изма». Такой именно «смысл» уже дает нам его идеологию.

Одно это отделяет фашизм от личной диктатуры: у нее нет *никакой* идеологии. Часто мы встречаем: «идеология фашизма» (т. е. разумея личную диктатуру) — выражение легкомысленно-невежественное. Личная диктатура — временный случай; он может быть и несчастным — и провиденциальным, если явился в минуту несчастья. От личности диктатора, или «временщика», зависит многое, если не все. У него может быть своя, частная, идеология; у Муссолини, самого, вероятно, даже идеология «фашио». Но в жизнь он, пока правит единовластно, провести ее не может. Попытки его и Гитлера подвести под свои действия какую-то идеологию, обосновать свою, заведомо временную чем-то постоянным, только лишний раз доказывают недостаточность их умственной глубины. Инстинкт такого существа, как Сталин, действует правильнее: недаром так откровенно уничтожает идеологию коммунизма; уничтожает, в лице возможных носителей всякой другой и всякую другую, прямым физическим средством.

Впрочем, инстинкты, даже верные, не такая уж надежная помощь. Политика Сталина, дошедшая, в современности, до почти-абсолюта,

т. е. уже совершенно обнажившая себя от морали, разума и смысла, от всего, что называлось «человеческим», ведет его к падению весьма ускоренным темпом. И падение это будет великое.

* *
*

Мне опять возразят: хорошо, но что все-таки меняют общие рассуждения? Что за дело нам до изображений «фашио» на этрусских вазах, до римской республики, до того, есть или нет идеология у диктатуры, до инстинктов Сталина? Италия задыхается в фашистском рабстве, Сталин, с инстинктами или без оных, расстреливает, Германия вооружается, падение Сталина может привести к разделу России, — вот факты, с ними и считается современная политика. Рассуждать о ней с отвлеченной, исторической, или какой-нибудь метафизической точки зрения в лучшем случае бесполезно, а то и вредно...

О, я знаю, что к возу сена не всем позволено притрагиваться! Цензура, особенно «свободолюбцев», мне известна. Force majeure*. Но мне любо ворошить сено хотя бы втихомолку. И, право, есть где-то какие-то мои современники, думающие, что политика без морали, без знания, без понятий смысла, без метафизики, — особенно без метафизики, — без всего, что звалось когда-то человеческими «ценностями», всегда будет даже не политикой, а немощной суетой.

ПОЧТИ-РАЙ

Встреча с Вячеславом Ивановым в Риме

(Из итальянских впечатлений)

В наше сумасшедшее время хочется иногда, забыв все сенсации, газетные известия, политические или холливудские, поговорить о чем-нибудь мирно-спокойном и красивом. Рассказать, например, о рае, в котором мы жили три месяца.

Впрочем, мы называли его «почти-рай». Сам по себе от настоящего он мало отличался; но в настоящем, я думаю, у нас будет вечное острое ощущение счастья; а тут, — все-таки на земле! — мы блаженства постоянного не испытывали.

«Много видал я в жизни прекрасных стран, — говорит Массимо д'Азелио, — горных, приморских, приозерных, много долин и широ-

* Непредвиденные обстоятельства (*фр.*).

ких пространств; но того, что открывалось передо мною с балкона в Рокка-ди-Папа и столько говорило воображению, чувству прекрасного, памяти о великом прошлом, — я не нашел нигде, ни в каком другом месте земли».

Около этого городка «на дыбах» Папской Скалы, мы и жили на знаменитой вилле «Флора». Она похожа на палаццо, но мы живем одни, в цветах и тишине. Гигантские каштаны уже начинаются в саду, сзади дома, сад переходит в парк, парк в каштановые леса по всем горам. Темно-зеленые, почти черные своды над лесными тропами, — мы никогда не могли дойти до их конца. А в другой, закатной стороне, к Риму, — то, на что смотрел д'Азелио с своего балкона, а мы — из нашей лоджии с древними колоннами, или из верхних окон студии.

Там, за черной зеленью, — ниже-ниже — лазурно-льдистое озеро в пушистых берегах, круглое, как библейский Моав: «Моав — умывальная чаша Моя...». На берегу замок: там живет сейчас старый-старый человек — папа Пий XI.

А еще ниже, в сизом дыму отдаления, под огромным небом, — огромная римская Кампанья; без края. Нет, в ясные дни край виден: полоска расплавленного серебра. Море.

Какое горячее солнце! Какой нежный горный воздух! Молодая сицильянка накрывает на стол в садовой беседке. Даже в этом что-то райское: всякий день на столе корзина свежей лесной земляники. Настоящей, душистой, какую мы собирали в русских лесах в июне. Только здесь, в почти-раю, она, приозерная, почти всегда: от апреля до Рождества.

А когда сицильянка приходит в сад со своим младенцем на руках, садится около саркофага, у стены, доверху увитой голубыми цветами, мне начинает казаться, что рай — настоящий: так молчаливо и значительно улыбается ребенок, так прямо смотрит на солнце.

И она улыбается — ребенку. В эту минуту она прекраснее гоголевской Анунциаты.

В студии, как ни ярко солнце, жаль припереть ставни, закрыть небесное озеро, старинный замок, где живет папа. Стол Мережковского у окна. Он пишет о... Лютере. Против папы? Нет, только **напротив**, постоянно имея перед глазами его замок; может быть, так и надо писать о Лютере: не забываешь, сколько было все-таки прекрасного, и остается, в римском католичестве.

Иногда уединенье наше нарушается: приезжают гости. Русские редко; чаще итальянцы. Тут хочу признаться: итальянцы вообще люди милые, любезные, многие, наверно, замечательны, но... я их не понимаю. Каждый полон для меня неожиданностями. Что такое, например, молодой богач, владелец нашей «Флоры»? Вид у него кондотьера, го-

ворит, обычно, пустяки; в нашем «палаццо», которым он очень гордится, рядом с памятниками старого искусства, с полотнами Веласкеза, висят картинки современные, вкуса сомнительного. И вдруг, однажды, за рулем автомобиля, забыв, как опасны узенькие улочки папской резиденции, он принялся декламировать дантовский «Ад», с жестами, с пафосом. Автомобиль шатался, кренился, дети с криком разбегались, но он не опомнился, пока всю «Песнь» не прочитал.

Или милый, скромный Р., издавший роскошную книгу о Ливии: вдруг оказалось, что он так любит русскую литературу, что собрал целую библиотеку переводов с русского на разные языки. А друг его бурный, старый Г., вечно рассказывающий, хохоча, разные истории о «Габриелэ» (д'Аннунцио), закадычном своем, с юности, приятеле? Г. забавен, а историям я не верю. Или еще: знаменитый генерал с серебряной челюстью. Тоже был у нас с друзьями. Никакого серебра под черной бородой не видно, очень мил, любезен и — все-таки загадочен.

Мы водим гостей по парку, все веселы, шутят, смеются... Да, вот, должно быть, главное: очень они, итальянцы, жизнерадостны, всегда полны — неизвестно на что — надежд. Другой фон какой-то душевный; не оттого ли мы, русские, да еще эмигранты, их не понимаем?

Наши горы возглавляются острой, узкой вершиной, где когда-то был храм Юпитера. Доселе целы его мшистые стены, будто нечеловеческими руками воздвигнутые. В их гигантском кольце маленьким кажется средневековый монастырь. Туда ведет древняя римская дорога, «священная», тоже такими же гигантскими каменными глыбами выложенная, вымощенная.

Храм разрушен, но в ясные ночи, как в былые века, драгоценным камнем переливается над вершиной звездный Юпитер. Храм разрушен, но примирился ли с этим древний бог? Всегда оттуда, из-за острия, тянутся первые, черно-желтые, пальцы туч. Оттуда с воплем падает первый ветер. Ломает деревья внизу, — своих вековых дубов и стен храма не трогает. «Опять Юпитер сердится, — говорят жители нижних гор, — не быть добру».

Поздним осенним вечером мы стоим перед стеклянной дверью нашей лоджии. Смотрим, что за дверью делается, оторваться не можем. Все стоим, и сицильянка с младенцем, и растрепанная девчонка Джина, что днем таскает младенца по саду.

Там, за дверью, вместо огромного неба, огромные бело-огненные крылья машут, ни на миг не переставая. С высоты до земли быстрые, длинные взмахи, и земля под ними вспыхивает, и озеро горит синеватым пламенем. «Феста», — шепчет сицильянка, и правда, будто праздник, только не наш, человеческий. У нас даже слов нет для взмахов этих крыльев, для голубого огня их: трепет? блистанье? Не похоже ни

на что. Вот только прямо перед нами падающие молнии похожи на толстые колонны из огня, у которых вдруг отламывалась верхушка. Разрушаясь, колонны падают – куда? Близко; а может быть, далеко, – в море.

Так мы и стояли, смотрели, слушали; неизвестно сколько времени. Потом пошли наверх, – там закрыты ставни, ничего не видно. Только грохот – взбесившаяся Юпитерова конница скачет по священной дороге. И так – до утра.

* *
*

Октябрь. Мы покинули наш «почти-рай». Мы опять в Риме, – увы, ненадолго. Через несколько дней – Париж, дождь, мокрые тротуары, монпарнасские поэты...

Сегодня последнее воскресенье. Пойдем в гости к нашему знаменитому соотечественнику, «мудрецу на Тарпейской скале», Вяч. Ив. Иванову.

В Риме, после Парижа, все «рукой подать». Мы идем пешком.

Вот и волшебная лестница Капитолия. Волчицы не видно. Она спит. Да ее, кажется, перевели из левого густого садика в правый. Там тоже пещера.

Марк Аврелий на предвечернем небе. Что за величие покоя! В одном мановении руки – мир всего мира... Обогнув М. Аврелия, идем по узкой улочке, меж старых дворцов. Мы уже на знаменитой скале, сейчас дверь В. И-ва, но невозможно не остановиться на этой маленькой открытой площадке: под нами Форум, далее – Колизей, и все – в оранжевом пылании заката. Голос вечернего колокола, Ave Maria...

С крутой улочки в дом, где живет В. И., нет ступеней. Но старые дома на Тарпейской скале – с неожиданностями. Стоит пройти только через переднюю и маленькую столовую на балкончик – там провал. И длиннейшая, по наружной стене, лестница: шаткая, коленчатая, со сквозными ступенями, похожая на пожарную. Она спускается в густой зеленый садик. Но пусть об этом садике скажет сам его хозяин-поэт, в стихотворении, только что написанном и посвященном своей постоянной сотруднице, помощнице в научных работах. (Она же, эта изумительная женщина, и «гений семьи»: с В. И. живет его милая, тихоликая дочь, музыкантша, профессор римской консерватории, и сын студент.)

Вот эти стихи:

Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
В нем лавр, смоковницы и розы
И в гроздиях тяжелых лозы.

Над ним, меж книг, единый сон
Двух сливших за рекой времен
Две памяти молитв созвучных
Двух спутников, двух неразлучных.

Сквозь сон эфирный лицезрим
Твои нагие мощи, Рим.
А струйки, в зарослях играя,
Журчат свой сон земного рая.

Кто из петербуржцев-писателей не помнит знаменитую «башню» на Таврической и ее хозяина? Минули годы (и какие!), все изменилось. Вместо башни — Тарпейская скала и «нагие мощи» Рима. Вместо шумного роя новейших поэтов — за круглым чайным столом сидит какой-нибудь молодой семинарист в черной ряске, или итальянский ученый. Иные удостаиваются «a parte»* в узком, заставленном книгами, кабинете хозяина... Все изменилось вокруг, — а он сам? Так ли уж изменился? Правда, он теперь католик; но эта перемена в нем мало чувствуется. Правда, золотых кудрей уже нет; но, седовласый, он стал больше походить на древнего мудреца (или на старого немецкого философа). У него те же мягкие, чрезвычайно мягкие, любезные манеры, такие же внимательные, живые глаза. И — живой отклик на все.

Мы отвыкли от встреч с людьми настоящей, хорошей культуры. А какое это отдохновение! Вяч. И-в, конечно, и «кладезь учености», но не в том главное, а в том, что заранее знаешь: с ним можно говорить решительно обо всем; он поймет значительность всякого вопроса, в любой области. Как он сам на данный вопрос отвечает — уже не столь важно: мы иногда не соглашаемся, спорим, но спора не делим; взгляд В. И. сам по себе всегда интересен, любопытен; споры же — бесполезнейшая вещь на свете.

Но особенно живо воскресла передо мною «башня», когда мы заговаривали о поэзии, о стихах. Мы привезли в тарпейское уединенье несколько томиков современных парижских поэтов. Утонченный их разбор, давший повод к длинным речам о стихах, о стихосложении вообще, — как это было похоже на В. И. тридцать лет тому назад! Скажем правду: в этом человеке высокой и всесторонней культуры, в этом ученом и философе, до сих пор живет «эстет» начала века. И, может быть, «эстета» в себе он больше всего и любит.

Невольная зависть. В самом деле, что такое новейшее наше разочарование в эстетизме, в литературе, в силе слова? Ведь это, пожалуй, только дань безумным «темпам» нашего времени, погоне за всяческой

* уединенная беседа (*ит.*).

«актуальностью». Искусство требует мира и тишины; а нам некогда слушать голос муз, мы слушаем радио.

Так или иначе, жители Тарпейской скалы счастливее многих из нас. У них и садик, «земной рай», и музыка, и книги, и научный труд, и стихи, а Ave Maria из-за римского Форума...

Но не будем завидовать. Лучше порадуемся за них.

Рим. Октябрь, 37 г.

ЗАГАДКА НЕКРАСОВА

...Что же случилось со мною?
Как разгадаю себя?..

Некрасов

Некрасов, для людей моего поколения, – детство; самое раннее, почти младенчество. Некрасов, – без имени, конечно, – в песенках: дедушка за винтом, мурлыкающий приятно-непонятное: «разбиты все привязанности...» или тетя за роялью: «жадно глядишь на дорогу...», «молодость сгубила... два–три цветка...». И сколько еще другого всякого пения! Это правда, что главное свойство поэзии Некрасова – «песенность». Не напевность, о, нет!, а именно песенность (лучших вещей, конечно): критика отметила ее справедливо. В песнях он тогда еще и оставался живым, да, пожалуй, в разных «крылатых» словечках и строках, которые мы слышали от «больших» и так запомнили (детская память!), что и через тридцать лет встречаем, словно старых знакомых. Но и только. Во времена моего – нашего – детства Некрасов, думается, был уже на кончине. Научившись читать, мы читали его в хрестоматиях, и даже книжки его, но читали (я и мои сверстники) не как стихи, а как рассказы. «Влас», «Коробейники», «Саша» – разве не рассказы, довольно интересные? Стихи же совсем другое. Стихи – это Лермонтов, но и какая-нибудь случайная дрянь в случайном томике, казавшаяся, по тогдашнему чувству, ближе к Лермонтову, чем к Некрасову. Сатиры его даже меня, с моей ранней склонностью к сатирическим стихам, к эпиграмме, глубоко не интересовали.

Впрочем, говоря о Некрасове в своем – нашем – детстве, я не останавливаюсь на частностях, беру общее положение.

Когда мы подросли, когда моими сверстниками (немного старшими) оказались студенты, эти студенты были, в громадном большинстве, еще типичная, буйно-«либеральная» (как тогда говорили) молодежь; в ней чувствовалась писаревщина, всякие «заветы», что угодно;

влияния же Некрасова, непосредственного во всяком случае, совсем не замечалось. Он со своей «Музой гнева и печали» был забыт. Народовольчество искало своих форм, и дух его был далек от поэтических стенаний и умилений Некрасова. Молодежь распевала при случае, не «Бурлаков» (которых, кстати, уже и не было), не «Укажи мне такую обитель», а разве «Есть на Волге утес...» (и чье оно, это несчастное стихотворение?). Если же, на «либеральных» вечерах, ей приходилось слушать стихи — бурно аплодировала белой бороде Плещеева (петрашевец!), его стихам «Вперед без страха и сомненья!». Пользовалось успехом и «Море» Вейнберга, обличающее всякую «усталость и болезненную вялость».

Все это были отголоски шестидесятничества, когда литература, шедшая до того времени рука об руку с общественностью, была затоплена более высокой ее волной. И надолго. А почему забыли Некрасова, который считался столько же «общественником», сколько поэтом, на это есть свои, довольно сложные, причины.

Лишь в конце прошлого века литература начала свое мучительное возрождение. Высвободиться она могла только для нового, отдельного существования, с резким отталкиванием от общественности. Процесс нормальный, хотя подчас и уродливый. Но в литературе возрождавшейся Некрасов оставался таким же забытым, как в современной общественности: эта продолжала свой путь, занятая дальнейшим «оформлением заветов». К новой литературе отношения не имела; или, при случае, имела враждебное.

Что же такое забытый Некрасов, кто он? Поэт и борец? То и другое? Или ни то ни другое? Что он за человек?

Очень важно для человека его место *во времени*. Им многое определяется; многое — но не все, будем помнить.

За несколько лет до войны появились первые исследования о Некрасове, с новыми материалами. Один из занявшихся им — Чуковский. Его работа осталась незаконченной; его разбор техники некрасовского стихосложения нас сейчас не интересует; его собственные выводы и суждения о человеке-поэте узки, а кое-что преувеличено. Однако многое в фактическом исследовании его ценно. Между прочим — определение места Некрасова во времени. Он, действительно, жил в двух эпохах. Начал жизнь в одной и как бы перенес ее, сам, в другую. Слишком известно несходство эпохи сороковых годов с эпохой шестидесятых. Тонкий и шаткий мост соединяет их. Он хорошо знаком Некрасову. Первые друзья, — Тургенев, Грановский, Герцен, Дружинин, — оставались близкими его сердцу даже тогда, когда отвер-

нулись от него; когда потянулся он к «новым мальчикам», — Чернышевскому, Добролюбову, — вторым друзьям, которых не понимал... да понимал ли он, как следует, и первых? Самая суть их, то, чем они, хорошо ли, плохо ли, жили и что эпоху окрашивало, все это было ему чуждо, было «не его». Люди сороковых годов, по своему утонченные (и слабые), кончали послепушкинский период «барского культурничества». Примесь новой «гражданственности» по существу их не меняла. Некрасов, имея в себе кое-что и от них, был, однако, замешан на других дрожжах.

«Он принадлежал к двум эпохам, главное в нем — его *двойственность*, — говорит Чуковский, — он барин и плебей, поэт и гражданин...». Настаивает на «двойственности», думая, кажется, что дает ключ к пониманию всей человеческой сущности Некрасова. Но если жизнь на рубеже двух эпох имела на него влияние, пусть и серьезное, — можно ли свести к этому влиянию его всего, с его деятельностью, характером и творчеством? А сказать «двойственность» — это ничего не сказать; это лишь желание упростить человека большой внутренней сложности.

Первые друзья Некрасова, культурники и гуманисты, не могли, в конце концов, не отвернуться от него. Внешние поводы, личные и общественные придали только особый привкус разрыву. Без них было бы то же самое. Не «барство» отталкивало их от Некрасова: ведь в нем, рядом с «плебеем» жил и «барин». Не европеизм, тогдашнее «культурничество», хотя его в Некрасове не имелось ни на грош. Ничто в отдельности, но все отталкивало их; ощущение, что это человек совсем какой-то другой природы; другой природы и самая его «гражданственность».

У них были свои традиции. Некрасов к ним не подходил, (да у него, кажется, никаких не было). С высоты этих традиций люди сороковых годов, сентиментальные и жесткие («чувствительно-бессердечные») очень скоры были на суд и осуждение. Углубляться не умели или не желали: было не в моде. Так повели они суд над Некрасовым и понемногу, один за другим, решили все: достоин «презрения». Стихи? Как *такой* человек может писать *такие* стихи? Еще один повод для презрения!

Даже Белинский, связанный с Некрасовым особо нежной дружбой и долго не сдававшийся, кончил тем же. А Белинский еще не все «грехи» друга знал, рано умер. Но всех перегнал в презрении и осуждении Герцен. Правда, тут замешалось денежное дело его друга Огарева. Поспешность Герцена тем не менее удивляет. Казалось бы, довольно минуты спокойного рассуждения, чтобы увидеть маловероятность обвинений: Некрасов или нет, но человек на виду и сам притом состоятельный, вдруг присваивает чужие деньги, — плохо будто бы ле-

жат. Да еще деньги чуть ли не друга и тоже не безызвестного! Любой человек с практическим смыслом этого бы не сделал, — разве клептоман.

Но спокойными рассуждениями в то время не занимались, особенно если дело шло о Некрасове. Герцен в письмах продолжает называть его «вором». «Растоптать ногами этого негодяя!». Не пропускает случая и вообще поиздеваться над ним: «Некрасов в Риме! — пишет он Тургеневу. — Да ведь это щука в опере»! (Словечко, весело подхваченное другими некрасовскими «друзьями».)

Герцен, человек несомненно талантливый, — типичный сын сороковых годов со всеми присущими эпохе чертами (вплоть до сентиментальности и жестокости); он редкий счастливец: сумел остаться «иконой» для целого ряда следующих поколений.

А Некрасов не нашел ни счастья, ни покоя у новых друзей, — «новых мальчиков». «Семинарское подворье!» — насмехались над Чернышевским и Добролюбовым старые друзья поэта. Они его уже «презирали», однако переход к новым друзьям сочли «изменой».

Много всяких измен поставлено на счет Некрасову. Что они такое? Откуда? И не было ли в нем самом чего-то до смерти неизменного? Это мы увидим, если увидим его такого, каким он был в действительности.

Шестидесятники, к которым по колеблющемуся мостику перешел Некрасов, уже имели свои традиции, и к ним он тоже не подходил. Для этих людей *он* был слишком «утончен»; разговоры с «Музой» казались им делом малополезным, — да еще такие унылые! Любовного союза и тут не вышло. Исключение, может быть, Чернышевский: вплоть до ссылки он не изменил своего отношения к Некрасову. (Кое-чем лишь тихо огорчался, резким обращением с Панаевой, например.) Но Чернышевский сам был природно-тонкий и глубокий человек: белая ворона среди шестидесятников. Он, конечно, не понимал Некрасова; но, должно быть, прикасался порою, темно и горячо, к темной глубине своего несчастного друга.

Новейшие исследователи Некрасова поднимают все те же, старые вопросы: был ли он искренен в своей поэзии? В своей «гражданской скорби»? Настоящий ли он поэт? Чем объясняются противоречивые поступки его жизни? И, наконец, — как соединить его живую деятельность с состоянием пронзительного уныния, с постоянными, почти не покидающими его, душевными терзаниями?

Главный апологет Некрасова — Чуковский — отвечает на все обстоятельно: конечно, искренен; конечно, поэт настоящий, подлинный, хотя и стоит особняком.

В подлинности его поэзии, никто, положим, не сомневается: не только большой поэт, но даже настоящий поэт – *лирик.* Чего, например, стоит вот это, почти магическое стихотворение:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война.
А там, во глубине России,
Там вековая тишина.
Лишь ветер не дает покою
Вершинам придорожных ив.
Да изгибаются дугою,
Целуясь с матерью-землею,
Колосья бесконечных нив...

Противоречия Некрасова-человека Чуковский объясняет все той же «двойственностью»: сын двух эпох. У него «нет метафизики», но она, по Чуковскому, ему и не нужна: слишком полно, жадно, любил земную жизнь, земную плоть. Идеалы его тут – «гомерические». Описание села Тарабогатай, его могучей сытости, веселья, всяческого изобилия, – да ведь это рубенсовская картина! – восхищается критик.

А вот что касается сплошного состоянья несчастья этого жизнелюбца, уныния, или буйно терзающей боли, «хандры», как две капли воды похожей на предельное отчаяние, это...

Но здесь Чуковский вдруг останавливается. Простодушный критик старого времени, какой-нибудь Скабичевский, не затруднился бы: как, мол, не унывать, не печалиться, если видишь, что идеал еще далек. Если вместо Тарабогатая – «холодно, голодно в нашем селении...». Можно и похандрить в ожидании лучших времен...

Но Чуковский не так простодушен. Он сам же только что описал эту дикую «хандру» Некрасова; сам назвал его *«гением уныния»*. Ему хочется найти свое объяснение. Собрался, было, сослаться на плохое здоровье Некрасова, на физические причины, – и опять остановился: нет, болезни, возраст, ни при чем: девятнадцатилетний здоровый юноша уже был тем же «гением уныния», так же терзал себя в такой же черной хандре. Не лучше было и во дни расцвета его деятельности, и даже во времена счастливой как будто любви.

Именно внутренние терзания доводили его до болезни физической. До того же, по свидетельству Чуковского, доводило и «вдохновение»; а разве в нем, – в создании лучших вещей, – Некрасов не гений уныния?

Он любил жизнь... Да, так любил, что-либо катался в судорогах, ее проклиная, либо стонал над ней, уподобляясь своему кулику:

Словно как мать над сыновней могилой
Стонет кулик над равниной унылой...

Откуда это? Что это за странное несчастье? Сколько ни узнаем мы о Некрасове фактического – остается какое-то туманное пятно, внутренняя в нем загадка. Современники о ней и не подозревали; уж конечно, ничего не знал и он, – из сынов своего века самый бессознательный! – только глухо и тяжело ее ощущал порою:

Что со мною случилось?
Как разгадаю себя?

Но мы глядим издалека. Неужели десятилетия, прошедшие с некрасовских времен, Достоевский, Толстой (те, которых Некрасов еще не знал) – не научили нас острее всматриваться во внутреннего человека? Попробуем всмотреться так в Некрасова.

Все в нем – крупно. «Могучие», по его собственному выражению, страсти; большие, разносторонние дары. И вот что важно: сверх других был послан Некрасову еще один редкий и страшный человеческий дар. Страшный потому, что при темноте сознания (а она как раз была у Некрасова) он может разъесть душу, превратить жизнь человека в непрерывное кровавое боренье.

Этот дар – *Совесть.*

Человеческая совесть... Мы не удивляемся, мы привыкли к этому слову, принимаем его, когда речь заходит о Толстом или когда мы слушаем самого Толстого. Были и до сих пор есть люди, думающие, что Толстой своей «совестью» (переворотом) губил и погубил себя. Но Толстой и его совесть – почти не пример: Толстой осознал, назвал ее; нашел уже на старости лет, после сравнительно счастливой, независимой жизни в других условиях другой, не некрасовской, эпохи. Оттого, или же оттого, что его страсти не были так «могучи», как у Некрасова, Толстой, в сущности, не знал глубины его падений, не знал, вероятно, и всей глубины его мук, – темной их непрерывности, во всяком случае.

Совесть – странный дар. Кому какая мера ее дается? В Некрасове она жила с детства и все росла, хотя он о ней не думал. Тем была она страшнее: как слепая змея в сердце. Он не умел защищаться от своих страстей, они легко овладевали им; тем легче, что он искал каких-нибудь «передышек»: забыть терзания. И забывал... Но как же потом змея ему мстила!

«Я веду гнусную жизнь, – писал он молодому Толстому. – Бессонные ночи отшибают память и соображенье... Да, я веду глупую и гнус-

ную жизнь! И ей *доволен* (курс. подлинника), кроме иных минут, которые зато горьки, но, видно так уж нужно».

Некрасов никогда ни перед кем и ни в чем *не оправдывался:* он только просил прощенья. Родине, друзьям, врагам, любимой женщине он говорил «прости»! «Прости» было и последним, невнятно прошептанным словом его перед кончиной.

Совесть, – все она же! – вырастая, переплеснулась через личное, пропитала его любовь к земле, к России, к матери и, в мучительные минуты «вдохновенья», сделала его творцом неподражаемых стонов о родине. Неужели это лишь песни «гражданской скорби», как тогда говорили? Вслушаемся в них: поэт не отделяет родину-мать от себя самого; он мучается за нее и за себя вместе, даже как бы ею и собою *вместе.* Или вдруг вырывается воплем его «прости»:

Прости! То не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь.
Но я гибну! И ради спасения
Я твою призываю любовь...

Вне этих песен-стонов (а не в них ли его суть, он сам?) так называемая «гражданская скорбь» Некрасова условна, суховата, а главное — беспредметна. Пользуясь легкой способностью слагать стихи, он нанизывает бесконечные строчки. Он «бичует», он «негодует», «возмущается», но чем, собственно, и во имя чего — сам определенно не знает. У него нет, как говорится, «убеждений», нет никакой практической линии, а идеалы смутны, (не идеал же, в самом деле, Тарабогатай!). Он беззащитен против своих общественных «измен» так же, как против личных «падений», страстей. Но все чувствует — потом:

Тяжел мой крест. Уединенье,
Преступной *совести* мученье...

Нет покоя и в светлые минуты: и тогда —

Вспоминается пройденный путь,
Совесть песню свою запевает...

Слово «совесть» почти так же часто повторяет он, как «прости», и в письмах, и в стихах. В эпосе, в поэмах, постоянно возвращается к тому же: падение – позор – покаяние. Влас «в армяке с открытым воротом» или в другой одежде, в поле, в лесу, в городе, — преследует поэта сквозь все годы его жизни. И все увеличивается как будто тяжесть: «Тяжелый крест...», «Тяжелый год...», «Точит меня червь, точит... Очень тошно... Очень худо жить...».

«Всему этому есть причина, — пытается он догадаться, но прибавляет: — а может быть и нет...».

Непонятно, почему новейшие апологеты Некрасова заняты главным образом тем, чтобы его *оправдать*. Именно — оправдать (вспомним, что он сам себя никогда не оправдывал). Чуковский даже первой своей задачей поставил это «оправданье» Некрасова; и подробно разбирает жизненные его «падения» и общественные «измены» *.

Перед кем, собственно, оправдывают Некрасова? Перед людьми сороковых годов? Перед Тургеневым, перед иконой Герцена? Или перед шестидесятниками, Писаревыми и Базаровыми? Или думают, что Некрасов нуждается в оправдании перед новой литературой начала века?

Сороковые годы далеко, не услышат. Шестидесятники влились в общественность последующих десятилетий, которая просто забыла Некрасова и с поэзией его, и с «грехами». А что касается новой литературы (предвоенной), то Чуковский произвел среди ее представителей анкету, которую и приложил к своей оправдательной статье. Анкета — опять времен той же, первой советской эры. Там и Гумилев (только что расстрелянный); к нему, к Ахматовой, Блоку, Сологубу, Вяч. Иванову и другим Чуковский предупредительно прибавил Маяковского, Горького и каких-то, вероятно, знаменитых в то время, поэтов октября, но сейчас никому неведомых. Оставим этих последних в стороне. А что ответила Чуковскому настоящая новая литература? Ответ, в общем, единогласный: все «любят», или в детстве любили некоторые пьесы Некрасова; никто не признает его влияния на собственное творчество; а жизнь его, поступки, «грехи» или «измены», — для всех «безразличны». Не интересуют.

* Кстати: желая доказать, что поступок Некрасова, поднесшего, как известно, оду Муравьеву, ничего особенного в ту пору не представлял, критик пишет, красок не жалея, картину унизительнейшего падения русского общества: подлость, трусливое, варварски-глупое угодничество, лакейство, подхалимство, ползанье перед царем на животе, захлебыванье во вранье... И это, мол, сверху донизу, такой русский дух. Вряд ли понравилось бы Некрасову это оплевание России... Но Чуковского легко оправдать: статья, под эффектным заглавием «Поэт и палач», вышла при Советах, в ту первую эру, когда подобный тон в писаниях о царской России поощрялся. Особенно, если кое-где Ленина упомянуть, чего критик не забывает. Ныне эра другая. Писатели знают, что они все, что бы ни писали, всегда подозрительны. Выйди такая статья не 20 лет тому назад, а сегодня, чье-нибудь око усмотрело бы, пожалуй, в хлестком описании критика замаскированную картину современной Москвы...

Перед кем же, спрашивается, так старался бедный Чуковский оправдать Некрасова?

И зачем?

Если ни для кого не нужно это оправдание, то для самого Некрасова меньше всех. Мы увидим (если захотим), что он был в правде, даже в истине, когда искал только прощенья. Оправданье ему было ни за чем не нужно.

Один современный критик, человек со вкусом, но страдающий склонностью к парадоксам (все мы чем-нибудь «страдаем»), сказал однажды: «Некрасов – настоящий поэт-*христианин*». Утверждение весьма сомнительное, неточное: какой же «христианин», без Христа и христианства? С этим словом надо бы обращаться осторожнее. Да оно нам, для Некрасова вовсе и не нужно, если правда, что ему был послан великий дар – Совесть, если в песнях его плачет она, и ею терзались его душа и тело. Не она ли подсказала – не уму, а сердцу его, что не нужно оправданья, нужно прощенье? И прощенье было ему – не то что дано, когда-то там сразу, в предсмертный час, – оно давалось ему всякую минуту, на всякое его невнятное «прости».

Нет такой высоты, на которой можно было бы оправдаться, но нет и такой пропащей глубины, на которой человеческое «прости» не получило бы ответа.

Это прощенье (не наше, мы так прощать не умеем) Некрасов знал и, не зная о нем, осязал его, чувствовал, как глухой и слепой чувствует ветер, как больной чувствует прикосновенье льда к горячей голове. Так – только так – знал он и Сказавшего: «Не здоровые имеют нужду во враче, а больные», – Пришедшего и для него, чтобы исцелять-прощать.

Наше же дело, – маленькое, человеческое, – не суд над Некрасовым, с осуждением или оправданием, а только взор на него понимающий, и простые, скромные слова: большой поэт. Большой человек.

В НАШЕМ ПАРИЖСКОМ УГЛУ

Смена двух эпох. – Создание клуба писателей и читателей

(Письмо из Парижа)

Прошлой весной в Париже вышла книжка, которая, по мысли издателей, в продажу не поступила. Мысль, кажется, неправильная. В книжке много недостатков: внутренно – она могла бы быть шире,

полнее, а внешне — гораздо лучше издана. Но и так, как она есть, она имеет общий интерес: современные писатели рассказывают в ней, независимо друг от друга, об одном и том же «художественном произведении». О маленькой женщине, недавно умершей. И меньше всего похожа книжка на «посмертный сборник»: у этой женщины (я говорю об Амалии Фондаминской) не было ни выдающихся «добродетелей», никаких, собственно «дел», — она сама была «делом Божиим», и, вместе со своей жизнью и смертью, настоящим, законченным «художественным произведением» (даже просто с точки зрения эстетики).

Оттого и нельзя не пожалеть, что книжка лишена широкого круга читателей. Но, может быть, она еще будет переиздана и в исправленном виде. Здесь, сейчас, она мне пришла на память лишь потому, что эта книжка с большой ясностью говорит нам **о смене двух эпох**, за последнее двадцатилетие; мы, свидетели смены, как будто ее не замечаем...

Эпоха — мировое слово. Конечно, и мир перешел в другую эпоху. Русская эмиграция — капля в том же море мира, и смена, перемена всей атмосферы, воздуха, которым мы дышим, не могла в ней не отразиться.

Когда произошла смена? Так «подпольно» менялась атмосфера, меняя формы жизни, что лишь при большом внимании можно сказать, что рубеж — где-то между 1925 и 1930 годами. Исторические события ускоряют смену эпох, но не производят ее сразу: в начале 20-х гг. все и везде, даже в Сов. Союзе, жили еще в первой эпохе, в первой атмосфере. Другая, новая, наплыла, как невидимый газ, после, изменяя образ мира, проникая всюду, вплоть до маленького угла русской эмиграции.

Стоит кому-нибудь из нас, уцелевших, напомнить, что ведь вот что и как было в 22—28 году, — он сразу не поверит, что оно могло быть. В самом деле: правда ли, что интеллигентная парижская эмиграция жила, вся, как бы одной жизнью? Что все постоянно встречались, делали что-то вместе, выступали на одних и тех же собраниях? Не было разрыва между интеллигенцией, так наз. политической и просто культурной; писатели писали во всех новых изданиях; и, мало того, поддерживали связь с французским обществом.

Так было не только в среде старших интеллигентов и писателей самого старшего поколения, но к ним же примыкали и молодые (последние сейчас называются уже «среднемолодыми» или «экс-молодыми» и составляют главную группу парижских писателей. Но о ней после).

Так было, а описывать, как оно есть — почти не стоит: взять только бывшее наоборот, и картина получится ясная. Из писателей «старших» одного больного Куприна жена увезла в Сов. Союз, остальные как будто тут, но как будто их и нет. Друг с другом не видятся. Недавно

из Америки мне прислали относительно их анкету. На вопрос, кто где «вращается» – совершенно невозможно было ответить. По-моему – нигде, во всяком случае, я не знаю. Знаю только, что Бунин бывает иногда на Монпарнассе, еще недавно главном центре «вращения», экс-молодых. Теперь, говорят, и этот центр сник. Спрашивали меня еще: много ли и где эти писатели пишут? Тот же ответ: не знаю. Не видно. Да и где? Уцелевших от прежнего повременных изданий почти нет. В оставшихся так изменились условия сотрудничества, так вообще все изменилось (может быть, изменились и сами эти писатели), что их исчезновение неудивительно.

Почти то же в смысле печатания, можно сказать и о главной группе «среднемолодых»: оставшимся повременным изданиям мало дела до литературы и это, пожалуй, понятно. А эмигрантская интеллигенция 20-х годов, партийная и беспартийная, что она? Чем занимается? Ее как цельность уже нельзя рассматривать. Там явились, кажется, отдельные новообразования, занимаются кое-какими «своими» делами, политикой, насколько можно. Отдельные интеллигенты полюбили пропадать: устав от эмигрантских занятий «политикой», исчезают на годы «сажать картофель» или вроде (что достойно уважения).

Если уцелели кое-какие старые «общества», то лишь по имени. Одно из них – «Зеленая Лампа». Достаточно сравнить его теперешние (крайне редкие) собрания с прежними, чтобы увидеть всю разницу. Когда-то там выступали люди, ныне разъединенные, трактовались равно вопросы и политические, и литературные, возникали живые споры о «миссии» эмиграции...

Теперь, в другой атмосфере, на недавнем, хотя бы, заседании, – как все чинно, равнодушно, – холодно! Заседание, по-своему, интересное; тема – литературная, но дающая возможности расширить вопрос. Это и сделали ораторы – все почти из группы «среднемолодых». Говорилось о книжке Г. Иванова, самого талантливого из современных поэтов. О ней уже шли раньше всякие разговоры, притом самые неинтересные. В книжке есть места, способные возбудить вполне понятное «отвращение». Но не в них же суть, а в той стороне, которая с таким мастерством и глубиной вскрывает душу современности, ее падения и – взлеты. На эту сторону и пытались молодые ораторы обратить внимание публики.

Публика (полный зал) слушала и молчала. Соглашалась? Не соглашалась? Была разочарована? Неизвестно. Ведь и «публика» теперь, на всяких заседаниях и вечерах, уже не та, что в 20-х годах: другая, другой, второй, эпохи.

Конечно, «публика» во все времена – некий икс. Редкий писатель вполне знал своих читателей. Но теперь, когда внутри всего эмигрант-

ского круга пошло разделение, «публика» стала еще загадочнее; ров, отделяющий читателей от писателей кажется еще шире.

Однако, довольно! У меня вовсе не было намерения так долго говорить о данном положении нашего парижского угла, оно известно. Уточнение мне было нужно для перехода к чему-то другому. Гораздо интереснее, что это положение и его печаль стали надоедать, утомлять многих, особенно из широкого круга «среднемолодых» парижских писателей. Что сделать? Как помочь? Все знают, что «больших дел» не затеешь; к делам «малым» у русского человека издавна нет вкуса, ни веры в их успешность (оттого, м. б., они все проваливаются). Однако на традиционных моих «воскресеньях» (вот тоже нечто оставшееся с 20-го года), кому-то из участников пришла мысль создать **«Клуб писателей и читателей»**. Затея оказалась по вкусу, оживила засыпающих, «полумолодые» принялись за дело. В какие-нибудь 10 дней был найден скромный «подвал», разосланы широкие (но с выбором все-таки) приглашения, отпечатаны почетные билеты, и назначен близкий день «открытия».

Вот «малое» дело, из которого... что выйдет? Может быть — ничего, но это неважно: явится какая-нибудь другая идея. Важно, сознав разъединенность, разбить всеобщее оцепенение», о котором так страшно пишет в своей книге Г. Иванов.

А мысль о «клубе» уже носилась в воздухе: оказывается, создать «клуб» хотели и здешние художники. Теперь почему бы не слить два начинания — в одно? Это увеличило бы шансы на успех...

Но не будем ни о чем гадать. О нашем «клубе», о его открытии я напишу в следующий раз. Здесь хочу лишь прибавить, что всех огорчает отъезд Керенского в Америку: он единственный из интеллигентов-политиков, который умел «вращаться» как в своих кругах, так и в «среднемолодой» писательской группе.

В ПАРИЖСКОМ УГЛУ НЕ СКУЧНО

Танцы на вулкане. — «Смотр» парижских писателей. — Опыт свободы. — Клуб «читателей, писателей» и публики

(Письмо из Парижа)

Бурлящее состояние мира, неприятные подземные гулы, все это имеет, конечно, свой отзвук и в нашем литературном углу. Не совсем так, как предлагает Дон-Аминадо. Он пишет:

...Пора привыкнуть и к катаклизмам
И, став душевно на новый путь,

Со сладострастьем, и с эгоизмом,
Присесть на кратер – и отдохнуть...

Вот отдыхать-то русская литературная экс-молодежь как будто и не хочет. Проявляет исключительную деятельность... самую притом разнообразную. Устраивает и серьезные конференции, как доклад В. С. Варшавского об «Одиночестве», и всякие литературные и стихотворные вечера, где всегда полным-полно. Даже балы – с «танцами до утра». Такое впечатление, что «сегодня бал – а завтра будет два». Казалось бы, по теперешним временам русская эмиграционная элита, да еще во Франции, должна вести себя, как маменька старинного Степки-Растрепки: «В страхе маменька сидит, ничего не говорит»; а тут, оказывается, наоборот... Впрочем, это может быть объяснено и своеобразным желанием «отдохнуть» от катаклизм, тем более, что затеваются не одни балы и танцы. О недавней затее создать клуб «читателей и писателей», об удаче и неудаче трех первых «встреч» – я расскажу ниже. А пока остановлюсь еще на одной затее, или идее, родившейся в том же кругу экс-молодых парижских литераторов: проект еще тайный, но принципы его нисколько не таинственны.

Это, в своем роде, **опыт свободы**. Предварительные объяснения банальны, хотя, может быть, и нужны.

Слишком известны жалобы всяких молодых писателей во все времена: «Ни один из нас не имеет места, где бы мог высказаться действительно, написать о том и так, как надо, как ему хочется». В прежней России даже при множестве газет и журналов, и то в этих жалобах была известная правда: не столько мешала цензура, сколько то обстоятельство, что, во-первых, все эти прежние журналы были каждый со своим «направлением», с чем всякому следовало считаться: не исключая художников-беллетристов, ибо, как правило, редактора всех изданий имели слабое отношение к чисто художественной литературе, – это во-вторых.

Если в нормальных условиях, при множестве изданий, положение молодых писателей было, подчас, незавидно – что скажем о них теперь, в эмиграции, и в Париже, где их сейчас не мало? Что им делать, когда перед ними одна с половиной газета и один-единственный (недавно сделавшийся двуглавым) журнал, может быть, с четвертью? Причем оба старые правила остаются неизменными, даже в усиленном виде: направление (единственная газета одного направления, половинка газеты – другого), и то обстоятельство, что все редактора от художественной литературы весьма далеки. Если допустить, что половина или хоть четверть из всей группы молодых наших писателей может, или могла бы, выработаться, найти каждый свое, то нечего обманы-

вать себя: при данных условиях на это нет надежды. Старый русский эмигрантский журнал признает теоретически нужду в художественной литературе и допускает, тоже скорее теоретически, «молодых» в эту область (когда не хватает «имен» с «направлением»). Но что эти отдельные стишки и рассказы, прошедшие сквозь редакторское сито? А другие формы литературы и в сито не кладутся: это поручено «именам» или вообще «испытанным» людям.

Порочный круг: чтобы высказываться, надо иметь соответственное «имя»; но чтобы иметь «имя» — надо же высказываться?

Может быть, порочный круг этот уже замкнулся? Может быть, наша «смена», молодые писатели, так давно стонущие, что им негде сказать по-своему свое, «самое важное», — может быть, они уже это «свое» незаметно потеряли, забыли? Кто из них, имея это «свое», не онемел, не привык к несвободе? Пора произвести смотр.

Вот этот **«Смотр»**, — писательский сборник на новых принципах, — и будет «опытом свободы».

Принцип очень прост: редактор, наметив сотрудников, каждому выбранному предлагает дать в сборник материал уже без всякого контроля (кроме авторского) в любой форме и любого содержания. Личным выбором роль редактора и ограничивается: сам он в сборнике не участвует, пишет только предисловие. Конечно, и личный выбор — большая ответственность, он предполагает доверие, которое может быть обмануто; но и участники, несущие ответственность каждый за себя, тоже должны обладать известным доверием к редактору, кому одному, до времени, известен полный список приглашенных. Только так может быть поставлен «опыт свободы», и только одна действительная неудача может его постигнуть; это — если выбранные и уже согласившиеся писатели не найдут в себе силы на то, чего так долго желали; почувствуют, что их «самое важное», для которого нужна свобода, от них ускользает; если они в последнюю минуту не явятся на «смотр». То есть если «порочный круг» уже замкнулся. Не верится, конечно, что со всеми так будет, или даже с большинством... но что можно знать без опыта? Для этого опыт и нужен.

* *
*

А теперь два слова о другом, — о парижском клубе «писателей и читателей».

Прежде всего: почему бы и другим городам, где тоже есть и русские писатели, и читатели, в меньшем, чем у нас, количестве, не воспользоваться этой идеей, не создать подобного клуба? Он бы, пожалуй, удался там лучше, чем у нас, потому что у нас... слишком уж их много, и

писателей и читателей: так думалось, по крайней мере, на открытии, когда узенький «подвал» (избранный в память петербургской «Бродячей Собаки») наполнился таким количеством народа, что в зале и в смежной комнатке не только сидеть, но и стоять почти было невозможно. Именитные стоячие гости, конечно, ворчали. Экс-молодежь оказались плохими организаторами. Все-таки, кое-кто из писателей на этом открытии что-то говорили (открыла клуб Тэффи), но читатели... молчали. Так молчали, что мы начали подозревать, уж читатели ли это? Не просто ли «публика»? Надо сказать, что следующее, второе, собрание укрепило эти подозрения. Перенесенное в уютный, просторный особняк с дешевым буфетом, это собрание было очень пышно. Народу не меньше, но всем было место за столиками. Писатели и старшего, и младшего поколения — налицо, но... в этот раз и они себя никак не проявили. Времени не было, — кстати: известный хор цыган (самых настоящих) превзошел себя — им был бы и Блок очарован. Общий любимец, артист Худ. Театра Хмара, большеглазая Кедрова, похожая на очаровательного котенка, — где тут разбираться под звуки песен и гитары, кто писатель, кто читатель! Была публика, и она осталась очень довольна.

Но ведь это «не то»? Ведь писатели не намеревались искать веселых забав для публики, они хотели создать связь с читателями? Да, мы не спорим, что вышло пока «не то»; не одни писатели это чувствуют, но и многие другие участники, — между ними тот же Хмара, очень горячо воспринявший нашу первоначальную идею. Никто, однако, не унывает. Надо терпение и упорство. Ведь «читатель» — робок. Его следует понемногу выделить из «публики», которой слишком много, пожалуй. После третьего вечера, который во многом был подобен второму, когда в первом часу публика разъехалась (уехали и многие писатели), оставшаяся маленькая компания очень, говорят, дружно и весело провела часок.

Нашему «клубу» недостает интимности. Может быть, и взаимного доверия между читателями и писателями.

Достижимо ли оно? Бесполезно ставить себе вопросы о «достижимости» или «недостижимости» чего бы то ни было. Мало ли что кажется недостижимым! Единственный практический вопрос: стоит ли стремиться к достижению той или другой, маленькой или большой цели; и если стоит — об остальном можно не думать.

Впрочем, эти общие рассуждения, может быть, и некстати, когда дело идет о крошечных заданиях и усилиях в нашем русском затерянном углу. Что — мы, среди грома мировых событий? Думаю только иногда, в виде утешения, о двух строчках поэта Адамовича (хороший поэт, и жаль, что не пишет больше стихов). В этих строчках, которых

точно я не помню, он говорит, что без родины, «без денег, без любви, в Париже» — «мы к Богу ближе».

И это правда.

«ЧЕРТЫ ЛЮБВИ»

(Доклад в О-ве «Зеленая Лампа»)

По улицам Парижа ходит русский человек. Не так, чтобы совсем юный, но скорее молодой. Того, приблизительно, возраста, какого был Блок во время революции, в самом начале двадцатых годов. Мы кое-что уже знаем о Блоке. Знаем, что он думал о себе, о жизни вообще, о своем времени; как он свою современность принял — и как не принял. А этот человек (в юности тоже, вероятно, петербургский, но давно парижский) — человек не десятых годов: тридцатых. От людей своего времени он не очень отличается, или не должен бы отличаться; исключительность его лишь в том, что он умеет раскрыть закрытое, дать себя, рассказать своими словами, максимально точными, о себе и окружающем мире; о том, как он его и себя в нем, сейчас видит, или увидел.

Вот и вся книжка Георгия Иванова — «Распад атома». В ней как будто ничего не происходит; а на самом деле происходит такое важное, что оно значительнее самых сложных приключений. Такое важное, что даже автор, кажется, не до конца собственную книгу понял.

Замечательно: в книге не открывается **новое**; в ней только по-новому открывается **вечное**. Так, приблизительно, как может и должен бы видеть его, вечное, сегодняшний человек. Если бы автор не мешал иногда своему герою, не слишком распоряжался его судьбою, он, герой этот, еще углубил бы, пожалуй, свои открытия, или продвинулся на шаг далее в их осознании. Впрочем, пока довольно и того, что есть. Последним, что он увидел (сызнова), из каких «догадок» составлены его видения... и чего увидеть еще не успел.

«Огромная духовная жизнь разрастается и перегорает в атоме, человеке, внешне ничем не замечательном, но избранном, единственном, неповторимом...». «Множество противоречивых догадок, как будто подтверждающих, на новый лад, вечную неосязаемую правду».

Но —

«все гладко замуровано... Атом, точка, глухонемой гений и под его ногами глубокий подпочвенный слой, суть жизни, каменный уголь перегнивших эпох. Мировой рекорд одиночества».

Слова?

18 Зак 4570

«Все слова одинаково жалки и страшны. Жиденькое противоядие смысла, удивительно быстро перестающее действовать, и за ним глухая пустота одиночества».

Что, разве все это не давно известно, и об «одиночестве» каждого «неповторимого», и о «словах»?

«Я думаю о банальности таких рассуждений, – продолжает герой, – и одновременно чувствую, как тепло и свет, умиротворяющую ласку банальности».

Ну да, ведь все мы издавна привыкли «вечное» звать «банальностями» (кто-то первый выдумал, другие обрадовались: не будем, мол, повторяться!). Но человек, – герой Иванова, – продолжает открывать «известное» и действительно открывает его **по-новому**, потому что, хотя и чувствует его, как другие, раньше, – уже чувствует с новым (современным, неполным) **сознанием**. Он действительно увидел, опять и сызнова, вот это:

«История моей души и история мира... переплетены... срослись и проросли друг в друга. Как фон, как трагическая подмалевка, за ними современная жизнь».

Увидел – и, увидев, понял: мировая история, мировая действительность, реальность с ее атрибутами (категориями), с ее неистовыми **да–нет**, – и он сам, – внутри друг друга. До такой степени она в нем, и он в ней, что они как бы одно... и все-таки не одно. Нераздельны – и неслиянны. Он на нее смотрит, он ее судит, она кажется ему

«помойным ведром».

Но и

«душа моя, как взбаламученное помойное ведро».

Если она

«разлагается на моих глазах»,

значит, разлагается и он. Однако он испытывает по отношению к ней

«смешанное чувство превосходства и слабости», в нем есть что-то, чем он еще дорожит, что еще отделяет его

«от всепоглощающего мирового уродства».

«Мировое уродство» преследует его, – или обратно он – его, с какой-то садистической мукой отмечая везде, во всем, что только доступно человеческому взору и ощущению:

«Я хочу чистого воздуха. Сладковатый тлен – дыхание мирового уродства – преследует меня, как страх».

А эти проклятые противоречия, неистовые **да – нет**, **нет – да**?

«Бессмертия нет. Не может не быть бессмертия». «Сознание, трепеща, изнемогая, ищет ответа. Ответа нет ни на что. Жизнь ставит вопросы и не отвечает на них... Вечный синоним неудачи – ответ.

Сколько прекрасных вопросов было поставлено за историю мира, и что за ответы были на них даны...».

Такова мировая реальность. В ней нет чудес. Нет? А что, если герой не всегда додумывает то, что говорит?

«Я думаю о сиянии ложных чудес... И о единственном достоверном чуде – том неистребимом желании чуда, которое живет в людях, несмотря ни на что. Огромном значении этого».

Еще бы не огромном! Человек неразделен с реальностью. Он в ней, вместе со своим «достоверным» чудом; значит, и оно – в ней? Оно в ней, это чудо, это «желание», да еще «неистребимое», то есть в вечном бытии. Всякое такое желание человеческое есть утверждение **бытия** того, к чему желание направлено. Оно не исходит из пустоты и не уходит в пустоту. Пустота, **nihil**, ничто, небытие – нигде. А если совсем, всегда нигде, – как могло желание, это «достоверное» чудо, находиться в бытии, если само чудо – есть ничто, **nihil**, нигде? Можем ли мы пожелать, или хоть помыслить о том, чего нет, не было и не будет нигде, что есть **nihil**?

Но посмотрим, что еще говорит наш современник о мировой реальности. Ведь он ощущает,

«то смутно, то с мучительной остротой, различные вещи»,

думает (и говорит о них) все время.

Он думает противоречиями, как мы видели. Постоянные – **теза** и **антитеза**, безвыходность, которую он как будто подчеркивает. Однако эти мысли (они кажутся больше, чем только мыслями) дают ему иногда

«муку, похожую на восхищение. Все нереально, кроме нереального, все бессмысленно, кроме бессмыслицы. Человек одновременно слепнет и прозревает. Такая стройность и такая путаница. Часть, ставшая больше целого – часть все, целое ничто...».

И дальше: сквозь всевозможные «различимые вещи»

«я непрерывно думаю о Боге. Иногда мне кажется, что Бог так же непрерывно думает обо мне. Световые волны, орбиты, колебания, притяжения и сквозь них, как луч, непрерывная мысль обо мне... Иногда мне чудится даже, что моя боль частица Божьего существа...».

Правда, он тотчас же обрывает себя. Это «минута слабости». Чудес ведь нет (кроме одного). Переплетаясь, уничтожаясь, улетает, по спирали, в пустоту все – черемуха, окурки, закаты, дохлая крыса, нежность, плевки, – все

«уносится со страшной скоростью тьмы, за которой лениво, даже не пытаясь ее догнать, движется свет».

Постоянное возвращение к этой страшной «спирали», возвращение в реальность, – как в безвыходность. Между тем, герой, с самого

начала, обладает большой драгоценностью: ключом, который может подойти к настоящей двери. Об этом ключе он что-то знает, но не все. И нужной двери не видит, глаза косят, а к другим дверям ключ все равно не подойдет.

Но здесь надо сказать два слова о самой книге как о книге.

Я не знаю, кто из писателей мог бы с такой силой показать современное отмиранье литературы, всякого искусства; его тщету, его **уже** невозможность.

«Ложь искусства нельзя выдать за правду. Недавно это еще удавалось. И вот...». «Не только нельзя создать нового гениального утешения (**искусством**), уже почти нельзя утешаться прежним...». «Скоро все навсегда поблекнет. Останется игра ума и таланта, занятное чтение...», «но никакого утешения вымышленной красотой, ни одной слезы над вымышленной судьбой».

Книга не хочет быть «литературой». По своей внутренней значительности она и выливается за пределы литературы. Но она написана как настоящее художественное произведение, — и это важно: будь она написана слабо и бледно, мы бы просто не услышали, что говорит, думает, чувствует наш современник. Сила слов и образов не всегда бывает лишь «игрой ума и таланта».

Но зачем скрывать? Поскольку книга — все-таки книга, написанная и напечатанная, в нее попало то же «искусство», та же «литература». И это путает нас, мы не можем иногда разобраться, что видит герой, чего действительно не видит. Вымышлена ли, сплошь, исходная его точка — разрыв с любимой женщиной (и сама женщина) для дальнейших рассуждений, — или это обыкновенная реальность? Или ни то ни другое, но, исходя из примитивной реальности, любовь уже делается и для самого героя знаком, символом какой-то высшей реальности?

Стоит взять книгу исключительно как произведение искусства — как делается ясно: покинутый любовник, полный горечи живых воспоминаний, бродит по Парижу, размышляя об одиночестве, о явлениях современной действительности, о жизни вообще; размышления его интересны, он природно талантлив. Но так как «душа его мрачна, мечты его унылы» — все вокруг кажется ему темным и грубым. На минуту (или на 20 минут) как будто утешает эрзац любви (сладострастие); но утешения нет; покинувшая его «она» всегда перед ним: «Зимний день... синее платье... размолвка..: твое бессердечное лицо...». И он кончает самоубийством.

Стройная история, превосходным языком написанная. Но не кажется ли вам, что книга потеряла почти всю свою значительность?

Лучше, а главное — вернее, взглянуть на нее с другой стороны. Ничего, если при этом она потеряет кое-что в художественном отноше-

нии; потеряет стройность; а некоторые места и конец — самоубийство — превратятся в художественные ошибки. Мы зато увидим, что было это, или не было («синее платье», «размолвка») — в сущности все равно. Не все равно, что в душе героя была, есть и будет — ЛЮБОВЬ. Именно такая, какая пишется с большой буквы. Она — в данной мировой реальности, потому что герой и его душа в данной реальности; но в ней **не умещается.** Герой это не ясно видит, но очень остро чувствует. Он многого не видит относительно вот этого своего сокровища, — Любви, — ключа к нужной двери. Не видит, глаза косят (может быть, и не могут они не косить в нашей современности). Что делать, если

«воздух отравлен, но это единственный воздух, которым мне дано дышать...»?

Не остается ли приспособить к нему легкие (раз он «единственный»), приспособить душу к жизни, в которой не умещается Любовь? Но —

«душе страшно. Ей кажется, что отмирает, отсыхает она сама».

И герой на приспособление не пойдет. Но он пойдет на другое, такое же, в конце концов, бесплодное дело. Он будет искать в самой **этой же** мировой реальности

«нот божественной гаммы...».

Будет искать хотя бы десяти, двенадцати, двадцати минут, когда

«прошлое исчезает»,

когда времени, этого проклятого атрибута данной действительности, уже как бы нет, когда наступает

«беспамятное торжество».

Где искать его? Герой ищет в сладострастии.

«Женщина. Плоть. Инструмент, из которого извлекает человек ту единственную ноту из божественной гаммы, которую ему дано слышать».

Это ничего, что

«женщина, сама по себе, вообще не существует. Она тело и отраженный свет».

И он уже так погрузился в «единственную» реальность, — мирового уродства, — что для него, в эту несчастную минуту, и сама Любовь его делается просто «женщиной в синем платье». Обыкновенной, не существующей женщиной, — «отраженным светом». Поэтому он и прибавляет:

«Ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушел от меня».

Всякий свет сознания, конечно, ушел от него сейчас. Ему важен «инструмент», из которого он надеется извлечь «ноту божественной гаммы». Извлечь сам, для себя одного. Если бы вместо данного «инст-

румента» была выдумана соответствующая машина, ему уже все равно. Ему нужна минута, когда

«горе и счастье, жизнь и смерть скрестятся, готовые соединиться в одно... когда свет счастья-мученья хлынет... из погасших зрачков».

Какая нужна сила отчаянья, чтобы еще твердить себе, твердить — не уставать:

«Правда здесь. Правда — это ускользающее мгновенье».

Замечательно, что описания таких «мгновений», несмотря на беспримерную открытость, реализм подробностей, как бы грубость слов, — в сущности «невинны», меньше всего «соблазнительны». Отчего? Да оттого, конечно, что «мгновенья» эти самодавлеющи, что за ними — человеческие поиски божественной правды, попытки вырваться из данной мировой реальности. Попытки отчаянья: как вырваться из нее, куда, если она, в сознании, — «единственная»? Если вся она — в распылении, в распаде, в разложении, вместе с атомом-человеком, —

«мчится со скоростью тьмы, по спирали, в пустоту»?

Книгу упрекают в отсутствии в ней **воли**. Это правда, если мы видим героя таким, каким он написан, каким сам он себя видит. Правда, ибо самое верное, самое чудесное **желание** — еще не **воля**. Чтобы стать волей, желание должно слиться со светом... сознанья? Да, если мы возьмем это слово во всей его широте. А у героя книги даже праведное его желание смутно, в сознаньи же — царство переменного хаоса. Герой **не видит**, чего он желает; но желает страстно, и без устали, ощупью ищет его в душе, как в темной комнате.

«История моей души. Я хочу ее воплотить, но умею только развоплощать».

Кто-то казал: «Эта книга написана безбожником«. Увы, чтобы так подумать, надо не иметь никакого, даже примитивного, понятия ни о Боге, ни о безбожии, ни о человеке. Другое мнение, что «книга вредная, после нее остается застрелиться», лишь доказывает, что так судящий не видит дальше героя, не понял еще его желания, не знает о данном герою талисмане и поверил внешней, художественной и внутренней ошибке автора, всунувшего в руки героя револьвер. Боюсь, что автор испугался «банальности» конца с чем-то вроде «просветления» (как случается у Толстого и впал в худшую банальность, книгой не оправданную.

Но герой автора обманул. Его смутное желание нашло для себя слова на предпоследней странице. Вернее, сама Любовь, его талисман, нашла эти слова помимо него, безвольного... Увидел ли он, понял ли, наконец, чего желал, и какое «достоверное чудо» это желание

Он желал изменения, превращения этой, данной, мировой реальности в **другую** мировую реальность. В такую, где соединялись бы

невозможные **«да – нет»**, где вмещалась бы его **вечная** Любовь. Распад атома? Распад элементов действительности? Да, может быть; но не для уничтожения, а для нового соединения, для переменения, преображения, – **мутации**. Вот чего желал, с начала и до конца своей исповеди, один из наших бедных современников.

Безумное желание! Если хотите. Но такое же чудесное, как желание чуда, потому что вечное, потому что живет в человечестве «несмотря ни на что». Миллионы людей носили его в себе, тысячи и тысячи говорили о нем. Вл. Соловьев только об этом и говорил. Правда, он где-то скромно выразился: «Мы должны улучшать действительность». Однако тут же указывает такие пути к этому, пути сознания, что сомнений нет: дело не в «улучшении», но в настоящем переменении действительности, в той же **мутации**.

А Достоевский? Что такое его слова: «Человек должен измениться физически?..».

По-своему, но о том же, о желании всесоединения для всепеременения (и даже как будто о вере в это) говорит и наш герой на предпоследней странице. Он, или за него сама Любовь:

«Спираль была закинута глубоко в вечность. По ней пролетало все... Спираль была закинута глубоко в вечность. Разбитое вдребезги мировое уродство, сокращаясь, вибрируя, мчалось по ней. Там, на самой грани, у цели, **все опять сливалось в одно**. Сквозь вращенье, трепет и блеск, понемногу проясняясь, проступали черты...».

Черты Любви.

Не довольно ли этого? Последние строки, которыми автор, в явном смущении, затирает самоубийство, уже не касаются книги. И мне осталось только прибавить два слова о ее вероятной судьбе.

Открытость, явное, без боязни слов, описание тайного, тайных мечтаний многих и многих, встанет, конечно, преградой между книгой и этими многими: они вовсе не желают, чтобы их тайные мечты были обнаружены. Или искренно не допускают, что они у них есть. Специальные любители сокровенных описаний, если и позарятся пробежать кое-что тайком, будут разочарованы: их оттолкнет подкладка, т. е. суть книги, делающая все это «не соблазнительным», недостаточно для них острым.

Да и не одни эти описания – вообще вся открытая, словесно-точная манера письма должна встретиться с людскими загородками, через которые книге будет трудно пробраться на белый свет. Загородки привычные, крепкие; и хорошо, что они есть, хорошо, что люди их по-

строили: они – ограждение **«малых сих»**, которых больше, чем мы думаем. Но жаль, что загородки не позволят книге дойти до тех, кому было бы нужно ее прочитать, кто мог бы понять ее внутренний смысл. А пригладить ее, причесать, подстричь – невозможно: это значило бы ее уничтожить.

Будем, однако, справедливы: во многих местах, не столько в этих «несоблазнительных» описаниях, сколько в описаниях «мирового уродства», есть **перегибы**, бесполезные для содержания, вредные художественно: **не соблюдена мера**. Но где в данной «мировой реальности», найдем мы меру? Известно, что «всегда чего-нибудь нет, чего-нибудь слишком много... А мера только у Бога». Герой книги сам говорит:

«Чувство меры, как угорь, ускользает из рук того, кто силится его поймать...».

Поэтому на моих упреках я не настаиваю. Да и отсутствие перегибов не изменило бы судьбу книги: загородки бы остались.

Но это еще не все. Допустим, что кое к кому из современников книга пробилась. Что же, все они тотчас уловят, раскроют ее смысл и суть? Пусть они способны так же остро чувствовать, как герой, и Любовь, и младшую сестру ее, Жалость; способны понимать даже больше героя и автора; но – вот страшная черта наших современников! – все эти способности в них **крепко спят**. Герой книги знает это: ведь и он современный человек! На первой, кажется, странице он говорит:

«Я хочу преодолеть отвратительное чувство оцепенения: у людей нет лиц, у слов нет звука, ни в чем нет смысла. Я хочу разбить его...».

Он захотел. Вот первое дело тех, к кому, сквозь внешние преграды, пробьется книга: им надо еще **«захотеть»** разбить собственное оцепенение, увидеть его **отвратительность**... Без этого, – скажем опять словами автора, –

«Никто не может ничего понять и ничего изменить».

Я не делаю определенных заключений, но не удивляюсь, если книга, о которой мы говорим, окажется **сегодня** голосом вопиющего в пустыне. Да это, в конце концов, не так и важно. Важно, что она есть, написана; и если правда, что

«жизнь начинается завтра», –

завтрашний живой человек скажет: не все книги, написанные в эмиграции, обратились в прах; вот одна, замечательная, она остается и останется.

ЛЮБОВЬ НЕ ПОМОГАЕТ...

Опасные темы. — Призрак Золотого века. — Московский артист и чужая звезда. — Русский душевный строй и лад

(Письмо из Парижа)

Поговори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная...
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная...

Мой приятель, один из тех парижских литераторов, которых принято называть «экс-молодыми», ходит по комнате и сердится.

— Нельзя! Нельзя! Столько тем, и ни одной нельзя коснуться! К этой подойдешь — усмотрят «политику», и если о России — пожалуй, не ту, какая сегодня принята главной нашей прессой, заподозрят в антипатриотизме; другую возьмешь — найдут «божественное», а оно опять не в линии; критика литературная — совсем безнадежное дело: во-первых, на это везде есть «глубоко-свои» люди; во-вторых, если правду вообще говорить не в обычае, то правду о писателях особенно. Да и как, о ком? Советские — и здешние, признанные, — забронированы; а другие все — какую о них правду скажешь, когда их нигде не печатают, и они сами себя поэтому еще не нашли? Да и не только в «опасности» тем дело...

— В чем же еще?

— А в том, что принято считать, будто действительно интересное, — самые важные человеческие вопросы, — никого сейчас не интересуют. Видите, откуда ни погляди, — мы обречены на молчание. Писать о взбалмошной миллиардерше и сотне охраняющих ее полицейских? О десятом разводе такой-то «стар»? Или выдумывать рассказ, как старую эмигрантку обобрал жиголо? Не могу. И я молчу... Не возражайте! Я знаю, что вы понимаете...

Я понимаю. Но для очистки совести, — а вернее ни для чего, — делаю такое банальное замечание:

— Кто же вам мешает писать о чем хотите, сидя у себя? Складывайте в стол: когда-нибудь, может быть...

Он даже не ответил. Мы с ним оба знаем, что писатель не пишет так, — для себя, про себя, — разве графоман...

Увы! Я знаю также, что после долгого вынужденного молчания мой сердитый собеседник рискует потерять и то, что имеет, — совсем разучится писать, как разучиваются говорить заключенные в одиночке, или в тюрьмах с режимом обязательного, вечного молчания. Что ж,

это невеселая судьба всех эмигрантских литераторов, не умеющих или не желающих «попасть в точку» сегодняшнего дня...

Неужели, однако, нельзя найти заведомо безопасную тему? Такую, чтобы из-за нее никаких подозрений на автора не падало? Вот, например: почему бы не передать то, что мне на днях рассказывал один очень известный московский артист X.? Это — подлинное, из жизни взятое; и случай, хотя не без «стар», но могущий навести на интересные размышления...

Тема, приблизительно, та же, что в моем романе «Чужая любовь»: он был написан без всякой опаски и мирно напечатан... в первые годы эмиграции. Вчера, как будто? Но вчера — не сегодня...

Кстати: не мешает рассказать не знающим и напомнить забывшим об этом «вчера», — о первых годах эмиграции.

Никогда и нигде, кажется, не было так близко к осуществлению знаменитое: **«Свобода — равенство — братство»**. Такая была атмосфера, в ней мы, первые эмигранты, жили и действовали. Свободно везде говорили (и писали), что хотели. Бедные были как богатые, богатые как бедные, — все равны. А кроме того, понимая, что у нас общая мать, и она в опасности, мы чувствовали в других — братьев.

Близкие делались еще ближе, далекие раньше — сближались. Мало того: мы с доверием шли навстречу людям и чужой страны (говорю о Франции, но то же было, кажется, и в иных местах).

Все это не стоило нам никаких усилий: нас соединило одно несчастье, но в нем горела и одна надежда. Единочувственные — мы верили и в человеческое единодействие.

Так приоткрывается иногда завеса над чем-то вроде «золотого века», или воздыхания Толстого: «если б люди сговорились...». Приоткрывается и падает, раньше чем мы успеваем это понять. Лишь вдолге, после, когда все изменяется — перевертывается, можно с удивлением вспоминать, как оно было, и что так — **было**.

Вот в те давние годы и печатался мой роман — о том, как молодой француз, из нуворишей, влюбился в русскую барышню-эмигрантку, служившую в его семье горничной. Тема самая невинная, там даже не было сказано, «что из этой любви вышло», а лишь что могло, или не могло, выйти... Не ясно ли, однако, что в наши дни эта тема довольно опасна, и вопроса о «смешанных» браках лучше не подымать? Пускай, по глубокому убеждению моему, раса и кровь не имеют тут никакого значения (до такой степени, что роман мой, первоначально, назывался «Не кровь»). Кому нынче приходит в голову, что если неудачен смешанный брак — причины тому внутренние: разница «менталите», т. е. всего душевного строя? А что он, в свою очередь, определяется не расой, не кровью, но исключительно — **биографией** и **географией**?

Состояние, до которого докатился мир в последние годы, таково, что все внутреннее, личное и просто человеческое, заслонилось от него как бы частой сеткой. Вопросы, когда-то считавшиеся важными, прихлопнуты «актуальностью» (то глупой, то грозной). Оттого и «нельзя» их подымать без опаски: как бы не стали они рассматриваться с точки зрения этой «актуальности» – национализма, марксизма, расизма – мало ли еще чего!

* * *

Но не будем преувеличивать. То, что рассказывал мне артист Х., во всех отношениях невинно. В этой истории нет ни «арийства», ни даже «неарийской бабушки». Но есть зато знаменитая артистка А., она же «звезда» экрана, известная, по фильмам, и предвоенной России. Родом она из одной из европейских северных стран.

О первой встрече двух артистов, Х. и А., знаю без подробностей (как, впрочем, и обо всей истории). Но и то, что знаю, достаточно любопытно.

Встретились в Берлине, в знакомом доме (чуть ли не в 20-м году). А. приехала на этот вечер с мужем. Х., только что покинувший Москву, не говорил тогда ни на каком языке, кроме родного. Но у него было нечто лучше слов: была гитара и была русская песня.

Вечер затянулся. И с этого «вечера» Х. и А. уехали уже вместе, чтобы потом... не расставаться двенадцать лет!

Для «стар» это рекорд; известно, что пять лет брака у них считается серебряной свадьбой; а до «золотой», десятилетней, ни одна пара не доживает. Впрочем, разводами болеют «звезды» американские, наша же, скандинавка, другого сорта. А все-таки длительность этого брака удивляет.

Не потому, что в первые полтора года супруги не могли сказать друг другу ни одного слова: разговоры не так ведь нужны, когда у обоих – та же отрасль искусства, и оба талантливы. Да через несколько лет Х. уже настолько овладел языком и жены, и, главное, немецким, что они могли нормально работать вместе в фильмовом и театральном деле.

Но тут и начало сказываться, что у москвича Х. своя биография – география, а у европейской артистки А. – своя, т. е. что у обоих совсем разный душевный «строй на лад». Такую разность и сама любовь побеждает лишь до поры – до времени.

– Она была в полном своем расцвете, – рассказывает Х. – Я видел, что она поразительна, почти гениальна... но мы ни в чем не могли согласиться. В работе над одной и той же вещью, мы все видели и ощу-

щали по-разному, – каждую мелочь! Она воспринимала активно то, что я – пассивно, и наоборот. Эта несогласованность сказывалась и в жизни. Мы не ссорились и переделывать друг друга не старались. Я готов был уступить ей, но я не понимал, как и в чем уступать: слишком все было во мне иначе. И меня потянуло к русским...

Тянуло его, должно быть, давно, только заметил он это не сразу, через двенадцать лет, когда влечение стало непобедимым.

* *
*

Знаменитая артистка А. – на родине. Х. на родину не может вернуться, он – эмигрант; но он, со своим искусством, вошел в круг людей с близким ему душевным строем, т. е. артистов русских. Эмигрантский театр – скромное дело, как все эмигрантские дела; но Х., работая над русскими пьесами, ставит иногда и французские, с французской труппой; своеобразная постановка одной мольеровской вещи имела недавно большой успех. Новая молоденькая жена Х., любимица эмигрантской публики, помимо сцены снимается и во французских фильмах; но она такая же «до донышка» русская, как сам Х. Работая вместе, уж конечно, судят одинаково, а не по-разному, «каждую мелочь». Это понимаешь, когда просто видишь их вместе.

От Х., при всех его связях с иностранными театральными делами, – «несет» Россией; и даже сердцем ее – Москвой; и даже не только последней, знакомой, предкатастрофной, а как бы всей, – и этой, и древней: Москвой с ее своеобразной культурой и бескультурьем, с ее непостижимым для иностранца грубо-нежным размахом. И та же Россия – в детских, то смеющихся, то серьезных глазах юной артистки Л., жены Х., – пусть на «чужой» взгляд она не отличима от парижанки.

* *
*

Этот русский духовный «строй и лад» (сколько о нем писали!) малоопределим и для нас самих. Мы о нем знаем, однако, изнутри; но то, что он «наш», не должно мешать объективной оценке; и я отнюдь не считаю его каким-то совершенным, исключительно прекрасным, – русские люди к этому склонны. Я, напротив, слышу в строе этом не мало грубых тонов, рядом с другими, глубокими. Надо только признать, что каждая струна имеет звук особенный, и сливаются они в гармонию тоже особенную, чужестранцем не постигаемую, ему не понятную. Она, эта гармония, может его увлечь, – на миг, поверхностно, ради краткой моды. Такие восхищения «ам слав» могли бы выразиться характерным четверостишием:

Надо семь разов отмерить,
Чтоб зарезать наконец;
Надо видеть, чтобы верить,
Что славьянски — молодец!

Возможно и другое увлечение, — как «звезда» А. увлеклась артистом Х., — на целых двенадцать лет! Но мы видим, что и любовь не дает взаимного понимания людям, рожденным и выросшим под разными небесами (география), в разном житейском быту (биография), думающим на разных языках, — т. е. с разным внутренним духовным и душевным строем.

* *
*

Какой же вывод из всего этого? Пусть каждый делает, какой хочет. Я просто передаю рассказ интересного человека о случае его жизни.

ПОЧТИ БЕЗ СЛОВ

Георгий Адамович. «На Западе»

Говорят, будто стихи — пышная одежда, которой человек себя приукрашивает, и о нем подлинном, об его чувствах и мыслях, ничего по стихам узнать нельзя. Какая неправда! Именно в стихах и дает нам автор самый верный свой облик, открывает свою сущность, — хочет того или не хочет.

Не о всех пишущих стихи (даже хорошие) идет речь; и не о всех стихах, конечно, а лишь о тех, в которых есть **магия**.

Что же такое стихотворная магия? Откуда она берется? Ни музыкальность (ох, уж эта музыкальность!), ни одушевление, ни тонкая мысль — ее еще не создают. Она в неожиданно-счастливом сочетании слов, когда сами слова, в отдельном значении, гаснут, тают, отступают, обнажая то, что за ними. И это «за ними» дает читающему известный душевный толчок, т. е. действует как настоящее магическое заклинание.

У каждого поэта своя магия, своя собственная, единственная, как единственна его личность. Поэтому-то нельзя, — не нужно, не должно, — заниматься сравнением поэтов. Никто не больше, никто не лучше; всякий хорош, велик и мал по-своему. А если кому-нибудь один поэт ближе другого, — пусть скажет просто: этот поэт мне больше **нравится**.

Критику слово «нравится» не позволено. Ему надо взять поэта в совершенной отдельности. Надо всмотреться в него, понять **кто** он и **что такое** его стихи; есть ли в них подлинное отражение его существа (магия) и если есть – в какой мере, в какой полноте?

Так хочу я подойти к поэту Георгию Адамовичу, к маленькой книжке его стихов: «На Западе».

Стихотворений не много. Сюда не вошли, вероятно, петербургские, из ранних книг Адамовича, да не все и здешние, в разное время печатавшиеся в парижских журналах. Теперь стихи собраны вместе, и это удивительно подчеркнуло их своеобразие.

Своеобразие? Его «не поймет и не заметит чуждый взор» равнодушного к поэзии читателя. Под своеобразием он привык разуметь оригинальность, да и ту, как изыск и вычуру. Любители подобной «оригинальности» напрасно будут искать ее в форме, или в содержании стихов Адамовича (как будто форма и содержание разделимы, различимы в подлинной поэзии!), или в выборе тем. Впрочем, и своеобразие поэтов мало сказывается в выборе тем. Темы у всех поэтов были и будут одни и те же: любовь, жизнь, смерть, надежда, страдание, спасение, гибель... Отличает поэта, делает каждого «единственным», его **отношение** к теме, и в каких сочетаниях слов и звуков он это свое – необщее – отношение выражает.

Вот одна своеобразная черта стихов Адамовича: недосказанность. Не туман, не путаница, не нарочитая или невольная невнятица: стихи просты. Простота бывает и своего рода изысканностью, но в этих стихах она прямо, просто (и сознательно) проста. И недосказанность, – как бы замирание голоса, остановка на полуфразе – полуслове, – отнюдь не внешняя манера: за нею чувствуется настороженное, не совсем доверчивое к слову отношение. Поэт как будто все время помнит, что слишком легко оборачивается слово – ложью, становится «праздным»; а он за слова свои (в стихах) отвечает и ни одного «праздного», неоправданного, произнести не хочет. Лучше недоговорить, лучше умолчать.

О, если правда, что в ночи...
Не правда, не читай, не надо.

. . . .

Но если... О, тогда молчи...
...Тогда конец... бессм... победа...

Недомолвка, – но все ясно. И нигде эти недомолвки не затуманивают, не скрывают сердцевинного смысла стихотворения. А порою несказанное говорит больше сказанного.

Много недомолвок в стихах о России. Тут они кажутся чем-то особенно нужным, каким-то праведным целомудрием любви.

Когда мы в Россию вернемся...
...Когда мы... довольно! довольно!
Он болен, изумучен и наг...
Над нами трехцветным позором
полощется нищенский флаг...

А всего совершеннее дана эта ясность несказанного, магия недоговоренного, в 9-ти строчках стихотворения, которое надо выписать целиком:

Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно за косым дождем,
Под низким, белым,
бесконечным небом,
Иль много позже, много-много дальше,
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь
— наверно.

Своеобразную прельстительность этих строк вряд ли можно не почувствовать.

Не скрыты недомолвками и душевные противоречия, которых — кто не знал? Кто не думал — «О том, что мы умрем. О том, что мы живем. О том, как страшно все. И как непоправимо...»? Да, «ни Бога, ни счастья, ни вечности нет»... Нет? Но ведь «настанет искупление... и там... все объяснится нам, все, что мы любим и чему не верим...». А может быть, и не настанет: «Все обман. Бога нет, и в мире нет закона». Обман? Все равно: «Ничего не забываю, ничего не предаю. Те же звуки, то же "к раю" и к "иному бытию"...».

В таких и в тысяче других противоречий погибал Блок. В самом деле, как сделать выбор между двумя противоположными, обратными «истинами», если обе кажутся истинными? Блок говорил: «Стою перед стеной. Ничего не понимаю, не могу сделать выбора...». Внутренние терзания переживал он трагически; и более, кажется, глубоко, нежели Адамович... Но тут следует кое-что вспомнить. (Я не сравниваю двух поэтов, два дарования: мы говорим сейчас о другом.) Адамович — не совсем блоковского поколения, а какого-то позднейшего... полупоко-

ления, если можно так выразиться. Это не были «дети страшных лет России», тех, о которых писал Блок; им нечего было «забывать», а того, что ждало их впереди – они не знали. Вокруг них создалась, рядом с трагически-напряженной («блоковской») атмосферой десятых годов, – другая, удивительно легкая. Может быть, так было нужно; нужен им был запас легкости перед тяжким опытом войны, беспримерной революции; и тягчайшим – изгнания. Его Блок не узнал. Как он принял бы его? Неизвестно. Запаса легкости у него не было, и жил он совсем не в той атмосфере, о которой, не без умиления, вспоминает Адамович:

Без отдыха, дни и недели,
Недели и дни без труда
На синее небо глядели,
Влюблялись. И то не всегда.
И только. Но брежжил над нами
Какой-то божественный свет,
Какое-то тихое пламя,
Которому имени нет.

Да, это «пламя», может быть, и дало детям новых «страшных лет» силу пережить первые катастрофы. Но испытание длится. Помнить о давней «легкости» можно, – только зачем? Не нужнее ли было бы вспомнить теперь Блока, с его тяжестью, с его серьезностью?..

Но из всего нашего «западного» полупоколения один Адамович все-таки чем-то близок Блоку. Его притягивает самое ценное, что было в личности Блока: необыкновенная правдивость, связанное с нею чувство ответственности, – и не за одни слова писаний своих: в простой беседе Блок останавливался перед тем или другим словом; его медлительная речь была полна недоговоренностей, недомолвок, шла иногда будто «около слов» (совсем как у Адамовича... в стихах). Правда, все это у него было природное; он не думал об опасности слов, об осторожном с ними обращении, и глубины своих трагических переживаний не мерил: он был бессознательнее Адамовича.

Но вернемся к Адамовичу-поэту.

Не во всех его стихах недосказанность. Есть другие, в них уверенность чувства находит и уверенные слова. Эти стихотворения можно бы назвать лучшими... если б не казались и недоговоренные тоже «лучшими». И если б одно из них, первое, не было так резко не в тоне всей книги. Оно как будто не имеет права быть «договоренным». Похожее на проповедь или на программу, оно не убедительно, даже не своеобразно. А тут же, почти рядом, – другое, внутренно с первым связанное, но несравнимое: так просто, с таким словесным целомудрием оно

написано (кто-то назвал его даже «гениальным»). Жаль, что не им начинается книжка «На Западе»:

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье...

Пленяет здесь и параллель с Лермонтовым. Не подражание, — Адамович абсолютно свободен от подражательности; но параллелям его поэзия не чужда: две вместе идущие и несходящиеся линии. В этом бывает много очарования.

Самое договоренное стихотворение, где все слова сказаны — и все нужны, это — «Граф фон дер Папен». Поэт, с такой недоверчивостью относящийся к слову, может спокойно отвечать за каждое в девяти этих строках о неискупимости измены.

Не многим дано сознание ответственности за свои слова. Есть мнение, что поэзии оно вредит: музыке, «свободному полету вдохновения»... и всяким таким вещам. Не будем спорить. Заметим, что ответственности никто не любит: к чужой равнодушны, своей бегут, боятся. Страх понятный: такое чувство не приносит счастья. Блок это хорошо знал. Но Блок и свою автобиографию хотел начать словами: «Был человек, который искал не счастья, а правды...». Если чувство ответственности не дает счастья, зато спасает от великого несчастья — от **самодовольства**. Оно страшнее, оно, как проказа, обезображивает человека и все дела его, все, к чему бы он ни прикоснулся. Лучше совершать ошибки, даже преступления... Их можно искупить, простить — «За белое имя спасенья, за темное имя любви...». Самодовольство и слов таких, имен любви и спасенья, не знает. О чем и как писал бы «самодовольный» поэт, если б можно было его вообразить?

Человеку свойственны широкие, даже дерзновенные желания: стать святым, или, поэту, написать (после долгих испытаний) «хоть пять—шесть строк» таких, чтобы «они прошли по странам и морям тоскующей земли...». Но чем шире желания — тем острее чувство ответственности; и тем дальше проказа самодовольства.

Если бы у Адамовича, в стихах (а, может быть, и в глубине его человеческого существа), не было чувства ответственности, — не было бы и книжки «На Западе», такой, как она есть. Была бы другая, другие стихи. Лучше или хуже — пусть гадает кто хочет. Мое дело — рассказать об этих, именно об этих стихах, об этой поэзии, и о том, что я в ней вижу.

Не все, быть может, досказано, не все договорено... это уж влияние поэта: его строгой меры слов.

МАГИЯ СТИХОВ

...И на бушующее море
Льет примирительный елей.

«Поэзия». *Тютчев*

Стихи обычно зовут «поэзией». Но поэзия – понятие слишком широкое. Разве нет ее в лунной ночи? Или в воспоминаниях детства? Или в шуме волн – и в шуме пропеллера, когда неподвижные и неверные крылья несут аэроплан над облаками? Даже если мы ограничимся областью слова, то, не говоря о «художественной» прозе, – можно отыскать «поэзию» и в научном трактате. Поэтому я намеренно суживаю тему до стихов.

В стихах же (которые тоже можно рассматривать с разных сторон) меня интересует, главным образом, то, о чем уже не раз приходилось мне писать, – стихотворная магия. В словесном, как во всяком другом искусстве, – своя магия, своя особенная; магия стихотворная – то же «своя», но она, – если можно так выразиться, – еще «особеннее» всех других, еще неопределимее, неуловимее, чище, легче. Она и призрачна – и действительна, как самая несомненная действительность.

Стихотворения хотя бы с одной «магической» строкой – поэзия; без таких строк это лишь хорошее стихотворение, умело, или умно, или музыкально написанное. Стихотворная магия чрезвычайно ревнива, требует чистоты, осторожного обращения, при малейшей примеси посторонней, – чего-нибудь действующего на слух или зрение, – она закрывается, притаивается. Множество магических стихотворений, если их прочесть вслух, с эстрады, публично, – совершенно меняются. Хорошее ли чтение, или дурное, автор ли читает, или не автор, – все равно: как будто внешний звук (голоса) гасит внутреннюю, собственную музыку словосочетаний. Недаром два лучших наших поэта – Блок и Сологуб – читали свои стихи с эстрады, или старались читать «никак»: с нарочитой монотонностью, без модуляций голоса. Все-таки, даже при этом чтении, звук (в виде автора) отвлекал внимание в сторону; известно к тому же, что слову **услышанному** не всегда хватает времени проникнуть глубоко в сознание или в подсознание.

А чтение не авторское, декламация, т. е. когда привходит сценическое искусство, затирает стихотворную магию на три четверти. Наконец, последняя стадия – переложение стихов на музыку. Тут уж откровенно действует музыка. Может быть, и хорошая, только от слов уже не остается ничего.

Впрочем, все это лучше пояснить примерами. Вот известное стихотворение, пленительное с первой строки. Сколько бы мы его ни раз-

бирали, ни разлагали, мы не уловим, в чем именно, где эта пленительность: «голос слышим, а откуда приходит, куда уходит...»:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Гори, гори прощальный свет
Зари последней, зари вечерней.
Полнеба охватила тень...

Вообразим, что мы — публика, и строк этих еще не знаем. На эстраду поднимается, не без труда, плотный старик, бритый, остроносый: у него желтовато-бледное лицо и, как всегда, «всклокоченные власы», длинные и седые. Начинает читать:

О как на склоне наших лет...

Что же? Мы захвачены, заворожены? Нисколько. Мы смотрим на старика, видим, что он произносит звучные слова, слышим их, понимаем смысл... но магия сочетания слов не дошла до нас. Скрылась где-то на пути между эстрадой и нами. Когда-нибудь дойдет, с этими же строками, в которых продолжает жить, — но не здесь, не сейчас, не со стариком на эстраде.

Не знаю, читал ли Тютчев свои стихи публично (почти наверно — нет). Не знаю даже, выступали ли и другие наши поэты на «поэтических» вечерах вроде нынешних, — их, пожалуй, в прежнее время не водилось. Поэты читали в дружеской компании, более или менее тесной. И то, не все стихи, а с выбором. Это другое дело. Мне вспоминается рассказ старого Плещеева; ему (и еще третьему, тоже близкому другу) Некрасов читал только что написанную поэму «Мать»:

От ликующих, праздно болтающих...
...Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви...

Плещеев, через столько лет, с дрожью в голосе, рассказывал, как он, и третий присутствующий, оба рыдали, уронив головы на стол.

А вот другой пример, из жизни, и касающийся чтения «выразительного», — актерского.

В Петербурге, в первые годы века, бывали литературные вечера, которые звались у нас «генеральскими». Так повелось, хотя и не всегда происходили они в квартире какого-нибудь родственного «генерала»: иной раз в обширных залах и других лиц «высшего» круга. «Генерал» с семьей рассылал драгоценные приглашения «на чашку чаю». Получивший карточку не знал точно цели благотворительного вечера, — это не объявлялось, — но что цель «нелегальная» — знал (политиче-

ский Кр. Крест, заключенные в Акатуе и т. д.). Знал и с удовольствием шел, ожидая интересного «угощения». Один из таких вечеров мне хорошо помнится (даже два, но о втором я скажу далее). Программа стихами не исчерпывалась, но стихов читалось много; и устраивались эти стихотворные чтения по особому (может быть, недурному) методу; выбирались только два (иногда три) поэта: или два старых, или два современных. Бывало, конечно, что оба современные читали себя; но чаще они читали «старинных», на другом же вечере двух новых поэтов читали – артисты. На вечере, о котором говорю, должны были как раз читать артисты (и не какие-нибудь, – настоящие), а два выбранные «современника» были я и Сологуб. Зал этой частной квартиры удобен, с дискретным, по желанию, освещением, публики, как всегда, много... Кстати, два слова о публике: она, естественно, «отличалась от той, что наполняла «демократические» залы всяких публичных вечеров, но отличалась не только своей элегантностью. Чувствовался в ней и примитив, но и свежий какой-то интерес к искусству. Не забудем, что это было время «Мира Искусства» и восхождения Дягилева, близкого той же среде. В ней любезно принимался (только что умерший) Влад. Соловьев. Во всяком случае, слой этот, с пережитками своеобразной старой культурности, был открытее ко многому, нежели «интеллигенция», интересовавшаяся в то время только своими делами. Студенческая молодежь, – в массе, конечно, – тоже; она не интересовалась даже декадентством, а если Горьким и Л. Андреевым, то из гражданских чувств. Что касается еще одного слоя, средне-низшего, т. н. «нововременщины», то о самодовольно-грубом его невежестве, об этих «устоях», мы избегали даже говорить.

Итак – вечер стихов моих и Сологуба (читают артисты). Мы с ним в публике: не рядом, я даже не знаю, где сидит Сологуб. Не совсем помню и сколько времени прошло с начала чтения до минуты, когда меня точно сила какая-то повлекла прочь и вытолкнула из зала. Буквально вытолкнула: отворялась только половина двери, и в этой половине мы с Сологубом очутились в одну и ту же секунду. Он скорбно посмотрел на меня, я на него, и мы без слов поняли друг друга, и кажется, «артистическая» интерпретация стихов сологубовских меня даже больше потрясла, чем моих, потому что последнее, что мы слышали, протискиваясь в дверь, – зычный вопль из его «Качель»: «Качайся, черт с тобой!» и шумные аплодисменты.

Это – стихи (поэзия) в декламации. А для заключения «примеров» – еще один, но как будто опровергающий мое утверждение, что стихи (магия) никогда не доходят до слушателей, до публики.

Тоже «генеральский» вечер. Отделение стихотворное – Баратынский, Ал. Толстой и Тютчев. (Напоминаю, что Тютчев тогда едва стал

выходить из мрака забвенья.) Читать поручено трем современным поэтам, имен не называю, это все равно.

Первый читал из Баратынского довольно много, с хорошим выбором. Второй взял Ал. Толстого в его длинной вещи (где есть удивительные строки). Все шло своим порядком. Слушали с приятностью, дружно хлопали. Наконец, вышел третий. Был он поэт... все равно какой, но стихотворную магию чувствовал, как редкий.

И с первыми словами –

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги!

невольно подумалось: зачем? Зачем это им, здесь?

Он кончил стихотворение. Публика похлопала. Минута — полминуты молчания. Но вот – тот же голос и – то же самое стихотворение. Слушатели, кажется, не сразу поняли, что это оно же, удивились или смутились – не знаю. То самое? Или похожее?

О сердце, полное тревоги...

Второй раз оно было прочитано медленнее. И кончилось. Хлопки, но какие-то полурешительные, словно задумчивые. Опять минута молчания. И опять, в третий раз, тот же ровный голос, те же отчетливые слова:

О вещая душа моя!
О сердце, полное тревоги!
О как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!

И опять последнее:

Душа готова как Мария
К ногам Христа навек прильнуть...

Должно быть, встал кто-нибудь первый, с «сердцем полным тревоги», за ним поднялся второй, третий... встали с мест почти все, явно не понимая, зачем. А когда опомнились, зашумели неистовыми аплодисментами (не зная, что и кого одобряют) – чтеца перед ними уже не было.

Вот единственный случай, когда мне показалось, что «сердце» стихов доходит все-таки до «многих» — до публики.

Может ли магическое стихотворение быть «плохим»? Да, в смысле не строгого соблюдения правил грамматики и стихосложения. Это не значит, что его способен написать правил не знающий, самоучка с «вдохновением». (Вдохновение вообще есть нечто подозрительное.)

Но когда Лермонтову издатель, друг его, заметил, что нельзя сказать «из пламя и света рожденное слово», поэт долго думал, потом махнул рукой: «пусть остается». И правда, пусть они остаются как есть, эти волшебные строки.

Стихотворение магическое может также быть (или казаться) банальным: вот, например, одно «переводное» (подлинник, кстати, совсем не магичен), написано оно без изысканности, даже с рифмами через строку; а редко встречается равнодушный к строкам,

«По синим волнам океана...» и т. д.

Почему по «синим»? Лучше бы по «серым». Но не хочется ничего исправлять. Пусть будет, как есть.

Примеры магических строк можно бы от Лермонтова продолжить до Блока... и дальше Блока, до наших эмигрантских поэтов. Но с ними дело сложнее. И вообще-то о современниках писать трудно (не всякий ведь еще себя проявил), наши же парижские поэты, при чрезмерной чувствительности, не понимают, что нельзя писать, **сравнивая** одного поэта с другим, искать, кто хуже, кто лучше, а важно в каждом открыть его единственный «лик» и сердце «его» стихов... Поэты чувствительны к отсутствию сравнений; это, признаюсь, и останавливало меня от обстоятельного рассмотрения всех — и каждого из наших стихотворцев — по моему методу, конечно.

Впрочем, останавливало и другое. «Как, — говорят мне, — в наше грозное время, среди всех ужасов и безумных событий, — писать о стихах?.. До поэзии ли нам? Вот и Тютчев, которого вы так любите, и он говорит:

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное...».

Тютчева я, действительно, люблю. И на упрек, что я пишу о стихах, что мы занимаемся поэзией, лучше всего ответить тютчевским же стихотворением «Поэзия».

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих зыбей,
В стихийном пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам —
Небесная — к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре.

И на бунтующее море
Льет примирительный елей.

О СЧАСТЛИВОСТИ

(Г. И. Чулков)

Не могу сказать, чтобы Г. И. Чулков, недавно умерший в Москве, был для меня воспоминанием особенно ярким. Он появился в Петербурге в середине, кажется, 1904 г., в тот первый предреволюционный период, когда многое кончалось, многое изменялось. Между прочим, и журнал наш, «Новый Путь», уже потерял тогда свою физиономию и главное значение: запрещены были Религиозно-Философские Собрания, затем и печатание оставшихся отчетов; запрет коснулся вообще вопросов, наиболее нас заинтересовавших. Вместо ушедшего Перцова, редактором стал Философов. Ушел также бессменный секретарь журнала (и Собраний) Егоров. Мы не знали, будем ли, и даже хотим ли (имея другие планы) продолжать журнал. Но, пока что, секретарь был нужен, и кто-то (может быть, Ремизов?) рекомендовал нам «начинающего поэта» не у дел – Чулкова.

Собственно этими несколькими месяцами его секретарства наше «общение» с Чулковым и ограничивается, если не считать беглых и случайных встреч в последующие годы. Но, хотя «общение», — гораздо более формальное, чем это ему казалось, – было недолговременно, оно дало нам определенное понятие о характерных внутренних свойствах этого человека. И — самое замечательное — что таким, каким он был тогда, в молодости, — он остался навсегда, в течение долгих лет, через все смены «эпох»: об этом свидетельствует книга его воспоминаний, изданная в Москве, в 30-х годах.

Уже тогда он, молодой человек болезненного вида, с порывистыми движениями, придавал особую какую-то значительность всему, что с ним случалось: сначала своей студенческой ссылке, потом действиям в Петербурге, своим настроениям то «протеста» (вообще), то безнадежности. В моих «домашних» пародиях он всегда изображался «рвя на себе волосы». Со всем тем он отнюдь не был лишен симпатичности, так как в нем чувствовалась глубокая искренность. Он обладал редкостным – и счастливым! – даром, который можно назвать даром **«самомечтания»**.

Если, по общим отзывам, способности Чулкова, литературные и умственные, были весьма средние, при отсутствии к тому же самостоятельности, — сам он никогда этого не подозревал. С подкупающей искренностью говорит он, — в книге «Годы странствий», — о себе, каким действительно себя видит, мечтая: сначала пылким революционером, потом известным писателем, критиком, драматургом, руководителем журналов, идейным новатором («мистический анархизм»), интимным другом «знаменитых» современников. Даже передавая неверные фак-

ты, — он не лжет: он верит, что так было. «Это не исповедь автора», говорится в предисловии; автор хочет лишь показать «эпоху» и ее людей. Но эпоха и люди, если показаны, то со стороны отношений их к самому автору — только.

Повторяю и подчеркиваю: дар «самомечтанья» — большой дар, потому что это дар **счастья**. Настоящего, может быть единственного здесь, **счастья**. Мне попалось недавно, в блоковских дневниках, одно мое (забытое) Блоку замечание: «Вы человек, который ищет правды, а не счастья». Замечание ему понравилось, он пишет даже, что хотел бы начать с него автобиографию: «Был человек...» и т. д. Судя по тому, что мы знаем о Блоке, о его внутренно-трагической судьбе, — это, пожалуй, верно. Во всяком случае, счастья у него не было. А Г. И. Чулков, судя и по книге, и по тому, что мы о нем знали, — во все «годы странствий», был неизменно счастлив. Воспоминания доведены лишь до начала февральской революции; но если есть продолжение, и мы его когда-нибудь прочтем — вряд ли и там узнаем новое о Г. И.: счастье «самомечтателя» мало зависит от внешних обстоятельств, от эпох. И слава Богу, что так.

Все мы хотели бы зваться искателями «правды, а не счастья». Но, по совести, многие ли согласились бы принять трагическую судьбу настоящего искателя, — например Паскаля, или хоть Блока? И, узнав, что был счастливый человек, невинно и вопреки всему счастливый, — как не обрадоваться невольно, что такой был?

ОБ ОДНОЙ КНИЖКЕ

Германец, если он «наци», может не возбуждать в нас никаких особенных чувств. Другое дело, когда таким «националистом» становится русский, постепенно вбирая в себя характерные черты известной «идеологии». Заранее можно сказать, что это человек или вообще не способный относиться с пониманием и уважением к русским культурным ценностям, или потерявший эту способность. Эти ценности — явления и люди — годятся ему лишь для того, чтобы «использовать» то или другое имя, исказив образ человека, его носившего.

Пример такого использования — берлинская тоненькая книжка «Розанов в последние годы» неизвестного русского автора. Задача ясна: показать, что «Розанов — наш!», так как был яростным «антисемитом» и «православным».

С автором я, конечно, разговаривать не буду. Но хочу обратиться к тем, кому книжка попадет в руки и кто Розанова, может быть, мало

знают (кто ныне – что знает!). Не защитить Розанова перед ними хочу я, а скорее их защитить от искаженного образа одного из гениальных наших писателей, притом исключительно своебытного. Я, конечно, понимаю, что о таком сложном явлении, как Розанов, в нескольких строках не расскажешь. Ограничусь, поэтому, самым главным, без чего к Розанову подойти нельзя и что надо помнить: это был человек величайших и самых редких внутренних **антиномий** («ноуменальных», как он говорил). А притом необходимо еще знать, что писанье у него было не писательством, а, по его выражению, функцией, как бы дыханьем, «выговариванием» полноты ощущения каждой своей минуты. Так он сам определил; и потому «стиль» его (если это стиль) воистину не подражаем: читаешь не рассуждения писателя, а слышишь человеческий голос. («Разве я рассуждаю? Я только плачу и смеюсь».)

Если, при глубине антиномичности, «выговаривается» у него каждая его минута, – не ясно ли, что ловким подбором цитат можно сделать из Розанова что угодно?

Вот еврейский вопрос. Всю жизнь Розанов ходил около евреев, как завороженный. Не забудем: весь он жил только Богом – и миром, Его плотью, Его теплотой. В еврейской религии для Розанова так ощутительна была связь Бога с плотью мира, с полом, с рождением, что евреи не могли его не влечь к себе. Он был к евреям «страстен»... часто пристрастен.

А Христос? К Личности Его он тоже был страстен. Тоже, как к евреям, то прилипал – то отталкивался от Него. Он, казалось Розанову, обидел людей, отнял у мира его светлость и теплоту. Выгнал из дома в стужу: иди, не оглядывайся, оставь жену, мать, детей... Отсюда его христоборчество, книга «Темный Лик».

Церковь? Православие? Духовные отцы считали его «еретиком», иные «безбожником», но относились к нему с благодушной приязнью: он любил плоть Церкви (обряды), жена такая православная; сам Розанов, пророчески предсказав, что умрет «с ними», добавил: «...конечно, духовенство мне всех (сословий) милее... Но, среди них умирая, я все же умру с какой-то **мукой** о них».

И вот мое последнее утверждение: Розанов, каким всю жизнь был – таким и остался до смертной минуты. Внешние катастрофы, и тяжкие личные, и та общая, русская, которая и убила его, – только углубляли внутреннюю трагедию этой души. Для тех, кто вздумает поверить, что если, мол, Розанов и был «когда-то» за евреев, то в последние годы покаялся, изменился, перешел в православие и стал убежденным гонителем евреев, – я приведу два свидетельства, **два** «выговариванья» его души:

«Услуги еврейские, как гвозди в руки мои, ласковость еврейская, как пламя обжигает меня. Ибо пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо обвеянный этой ласковостью, задохнется народ мой».

Не написано ли это после «раскаяния», в Лавре? О, нет! До войны, в самый разгар розановского «юдофильства», до Флоренского (умного и жестокого лаврского священника, о нем Розанов сказал однажды: «в нем что-то ползучее...»). А что писалось-выговаривалось в Лавре, в **последние** месяцы жизни?

«Евреи – самый утонченный народ в Европе. Все европейское грубо, жестко по сравнению с еврейским... И везде они несут благородную и святую идею "греха" (я плачу), без которой нет религии... Они. Они. Они. Они... всунули в руки пресловутому человечеству в руки молитвенник: на, болван, помолись. Дали псалмы. И чудная Дева из евреек... Социализм? Но ведь он выражает мысль о братстве народов, и они в него уперлись».

Что же, переменился Розанов? Нет, он верен себе. Автор берлинской книжки не приводит, конечно, этой предсмертной цитаты. Ему нужна одна первая. Ему нужен Розанов-юдофоб; вернее – нужна юдофобия, а попалось «имя», которым кое-как можно ее подпереть – тем лучше.

Порадуемся, что подобные книги у нас редки. Слишком все это чуждо не только розановской, но каждой русской душе.

С ХОЛОДНЫМ ВНИМАНИЕМ

Шарль Пэги, в своих «Поисках истины», сказал: ни один человек не живет без метафизики. Если у кого-нибудь она отсутствует – это тоже метафизика.

Тут говорится, конечно, не о «метафизике» в том смысле, в каком слово это мы привыкли видеть в «умозрительной философии», и Пэги разумеет его как внутренний, чувственно-разумный, человеческий комплекс. Его можно называть и как-нибудь иначе, во всяком случае отсутствие его не менее важно, нежели присутствие, и с неменьшим правом может быть названо тоже своего рода метафизикой. Ею мы и займемся.

Рост «метафизики отсутствия» начался уже давно. Людям совсем наивным, не могущим отделить слова «метафизика» от чего-то смутно-отвлеченного, парадоксальным покажется утверждение, что вся реальная тяжесть наших дней, круг реальнейших мировых событий, – все это, в громадной степени, исходит из болезни, заразившей челове-

чество, — метафизической пустоты; является ее *следствиями.* Просто зрителю, в потоке событий активно не участвующему (а таково положение русской эмиграции), не трудно в этом убедиться: стоит лишь вырваться на минуту из давящей атмосферы и взглянуть на то, что происходит, à vol d'oiseau или как бы «с того света». Он отчетливо увидит не только контуры больших событий, но и связь их с мелкими фактами жизни: ведь они тоже следствия — того же.

«Метафизика отсутствия», как я говорю, делает свое дело незаметно и аккуратно. Она, прежде всего, выедает понятие из его оболочки — слова. Все слова налицо; но если это лишь пустые оболочки — почему не играть ими, как угодно? Почему ложь не называть правдой (и обратно), миром — войну, почему слово «честность» исключает замышление измены? Почему не звать рабство — свободой, власть сталинской опричины — в зависимости от момента — коммунизмом, или народовластием, демократией? Почему? Нет никакой причины: ведь никто за слова свои не отвечает, — перед кем отвечать? Да и некогда о таких вещах задумываться: впору крепко держаться за свой интерес (действительный или воображаемый) с ежеминутной оглядкой, как бы тебя не окрутили. Но из-за общей перепутаницы безответственных слов часто случается, что тот или другой начинают действовать во вред собственным интересам. Еще бы! Ведь с потерей значения слов, подлинного смысла жестов, действий, непременно теряется и *чувство меры.* Оба европейских диктатора достаточно себе этим навредили. (Если третий, главный, пока радуется — неизвестно еще, чем эта радость завершится.)

Кстати, об отсутствии чувства меры. Удивляться, что оно так характерно для нашего времени — нельзя, конечно. Зачем и, главное, чем мерить поступки и слова, когда позабыто их первичное значение? «Tout ce qui est exagéré est insignifiant» * — да, если не проявляется в «мировых масштабах»: там оно, незначительное, делается уже злокачественным. А вне этих масштабов, вне политики (хотя где теперь нет у нас политики?), просто в обыденной жизни, с какой легкостью люди впадают в «незначительность», т. е. теряют чувство меры! Вот, хотя бы, статья Н. А. Бердяева в защиту Г. П. Федотова от профессоров Богословского института, протестовавших, как известно, против политических взглядов последнего. В сути своей статья ничего нового не представляет; вопрос о несвободе в исторических христианских церквах известен, он ставился уже в те далекие годы, когда Н. А. Бердяев не был ни православным, ни даже идеалистом. Но не в сути дело, а в том замечательном отсутствии меры, с каким наш религиозный мыс-

* «Все, что чрезмерно, — незначительно» (*фр.*).

литель обрушивается на православие, ставя перед ним преимущество католичества, находя, наконец, больше христианства в Л. Блюме, нежели в представителях православной церкви... Жаль, когда нечто, в основе правильное и, может быть, нужное (как в данном случае) заваливается ворохом преувеличений, погибает от бесчувствия к мере.

Другой случай «перегиба» еще нагляднее, цельнее: это протест талантливого левого журналиста Ст. Ивановича против помещения статей христианского содержания в журнале, среди сотрудников которого находятся евреи. Такой протест свидетельствует не об одном забвении самого существа свободы; автор его впадает, логически, в некий обратный «расизм»: ведь дело шло отнюдь не о «религиозных» евреях, вопрос ставился в иной плоскости. Редактор журнала, А. Ф. Керенский удивился, выступил с возражениями... Но редки сегодня люди, которые существом свободы интересуются и «метафизике отсутствия» не сочувствуют.

Как вернуть это существо в опустевшую оболочку слова? Хочу признаться, что меня трогают всякие попытки восстановления понятий, даже самые жалкие и беспомощные, — в забытом углу русской эмиграции. Но с каким почти негодованием смотрят на эти попытки люди «отсутствующей» метафизики (или той, что была «метафизикой» во время оно и сохраняется ими в неприкосновенности о сю пору). Особенно наши так называемые политики: «Опять доклад на какие-то отвлеченные темы? О личности? О существе свободы? Метафизические рассуждения, когда мир полон таких грозных событий, таких вопиющих преступлений, как захват Чехии, гонение на евреев, окружение Данцига...» и т. д.

Кто-то из молодых эмигрантов пытался объяснять: мы, мол, не одними отвлеченностями заняты, с вопросом о существе свободы связаны другие: когда, где, как и в какой мере (если абсолют невозможен) должны мы стремиться свободу осуществлять; и, наконец, грозных этих событий, пожалуй, и не было бы, если бы существо свободы лучше понималось. Но зачем возражать? Это «существо» совершенно не интересует сейчас ни правых, ни левых, ни евреев, ни арийцев, ни демократов, ни диктаторов. Занятые, озабоченные «физикой», они не понимают (в голову не приходит), что тут надо «смотреть в корень», — по вовсе не шутовскому, а верному изречению Кузьмы Пруткова, — потому что физика исходит от метафизики, от нее зависит, и если плоха — другой физикой ее не исправишь. Но и с метафизикой ничего нельзя сделать физикой, как нельзя пушками внушить людям чувство свободы, научить их свободе.

В каждом человеке, в каждом народе это чувство непременно есть, — хотя бы с горчичное зерно. Но дело в том, как вырастить из

зерна развесистое дерево. Это целая школа. Европа не со вчерашнего дня учится, а если, в последние годы, заболев, потеряла память, – с легкостью вернется она к прежнему, чуть оправится. Россия моложе, и только что начала по-настоящему свободе учиться – школу захлопнули. Русский период к свободе особенно «талантлив», если можно так сказать; но, что может сделать самый талантливый к музыке человек, если не будет долго и серьезно учиться?

Как бы то ни было, русским людям, не пожелавшим поступить, вместо запертой школы, совсем в другую, задана нелегкая задача: доучиваться свободе у Европы, да еще в эмигрантских условиях, да еще у Европы больной, теряющей память и нормальный облик. И удивительно, что среди зараженных общей болезнью находятся все-таки способные на «момент неделанья» по Толстому: т. е. на усилие воли, чтобы вырваться из нашей атмосферы и увидеть реальную действительность как бы со стороны, или сверху, откуда все виднее. Это помогает и очнуться от «обморока свободы» (по выражению Киркегарда) — пусть на минуту, такая минута уж не забудется.

Когда заболел мир? Когда началась борьба цивилизации с культурой? Когда человечество, втянутое в эту борьбу, стало на сторону цивилизации и превратило ее, невинную в существе, в грозное чудовище? Чем кончится борьба, что победит?

На эти вопросы у нас пока нет ответов.

ОПЫТ СВОБОДЫ

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?

Тютчев

Эта книжка — не обычный сборник; ее основы, условия ее рождения, особенные.

Она — первый опыт свободы слова.

Каждому участнику дана в ней полная свобода сказать все, что он хочет и как хочет. Сам берет он любую форму, любое содержание и сам — один — за написанное отвечает.

Но это был бы беспорядочный сбор, не будь «редактора». Только у редактора права и обязанности тоже особенные: он не выбирает произведений, он выбирает людей — авторов. Каждый, раз выбранный, берется безусловно: он волен печатать то, что пожелает. Ни о редак-

торских поправках, ни даже советах – нет и речи; материал печатается в том виде, в каком дает его автор.

Это положение требует большого доверия редактора к авторам, и обратно. Доверие – всегда риск. Но и весь этот литературный «опыт свободы» – риск; особенно сейчас, в здешних наших условиях: о них речь ниже. Мы, – и редактор, и авторы, – не обманываем себя: вряд ли окажется этот первый опыт тем, чем должен и *мог бы* оказаться – (даже с теми же участниками), – уже потому, что он *первый*. Но это не заставит нас отступить: чтобы был второй, третий опыт, надо же когда-нибудь сделать первый. И мы слишком верим, что они нужны, что для всякого, чье «сердце хочет высказать себя», необходимо сознание своей свободы. А писатели – не те ли именно люди, для которых главный вопрос жизни в этом: «Как сердцу высказать себя? Другому – как понять тебя?».

В полноте это недостижимо и для гения: Тютчев прав. Но есть свой предел полноты для каждого писателя, – и гениального, и крупного, и менее крупного, – к которому он непременно стремится. Может его не достигнуть. Но может и достигнуть, и тем скорее, чем раньше начал учиться писать (как «учатся» и художник, и музыкант) и – *в условиях свободы.*

* * *

Кто участники этой книги?

Они принадлежат к наиболее широкому кругу литературной парижской эмиграции, к следующему за «старшим» поколению. Иные уже писали в России; другие начали здесь. Эти успели проявить себя, более или менее, в 20-х годах, когда еще была для них кое-какая возможность высказываться в печати. Но незаметно наступила другая эпоха. Русская пресса сжалась, изменилась и количественно, и качественно. К половине 30-х годов у нас оказалась одна-единственная газета (с ее особенным журналом), и один уцелевший, толстый журнал, выходящий раз в 3–4 месяца. Таким образом, возможность печататься (да еще свободно) для большинства «молодых» – отпала*.

Толстый трехмесячный журнал, признающий, по традиции, неизбежность «изящной литературы», берет порою «художественную»

* Эмиграция армянская куда счастливее русской: у нее, кроме других периодических изданий, в одном Париже три еженедельника, большая ежедневная газета и *три* толстых журнала (а всего-то армянского народа, считая и оставшихся в Армении, не больше 3-х миллионов).

прозу молодых (если нет под рукой других, заведомо признанных). Но с большим выбором и не стесняясь поправками, или урезками; изредка проходит маленькая рецензия: тема и содержание должны, однако, быть заранее одобрены, если не указаны, редактором. А заметим, что ни один из редакторов существующих изданий собственно к литературе касательства не имеет (как оно, впрочем, и раньше бывало).

Более терпим старый политический журнал к стихам: много места стихи не займут, вещь они всегда безобидная, а старых стихотворцев все равно не осталось. Кстати: уже не оттого ли и развелось у нас столько «поэтов»? Стихи все-таки можно напечатать, и даже крошечную — «поэтическую» — книжку можно выпустить.

Ну а писатели со склонностью и способностью к мысли, к другим формам слова, — критике, философии, к статьям всякого рода, — им что делать? Писать для себя, у себя в углу? Пустое! Так не бывает, а если б и было — *так* писатели не вырабатываются. И они попросту замолкли*.

Писатели, едва успевшие проявить себя, замолкли, а жизнь, — и такая полная смен и событий! — идет вперед; «человек» в писателе движется вместе с нею, — может быть, вырастает; у него новый опыт, постоянно прибавляющий что-то к его мыслям, взглядам и чувствам; но как писатель — он остановился на моменте, когда перестал высказываться. Его мысли, чувства и ощущенья постепенно «слеживаются» в нем, как вещи в плотно набитом, годами неоткрываемом сундуке. Обладатель его уже начинает и забывать, что там есть, чего нет...

По привычке, повторяет обычные жалобы: «Негде ничего сказать! Вот если бы...». А предложи такому мечтателю внезапно, вдруг: «Пожалуйста, вот вам место, говорите свободно, что хотите!» — он растеряется, бросится к сундуку, но останется недвижим, с тайной, ужасной

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* Справедливость требует отметить: недавно созданные известным общественным деятелем И. И. Бунаковым собрания *«Круга»*, куда приглашена (с выбором) и литературная «молодежь», выпускают (увы, — раз в год!) небольшие сборники участников собраний. Но сборники эти редактируются даже не единолично, а «коллегией» (что вполне соответствует общим взглядам инициатора). Он, может быть, и не знает, что в делах литературных коллегиальное управление становится подчас горшим единоличного. Поправки, урезки... все это оказывается неизбежным. Так или иначе, сборники «Круга», следуя традиционным путем общей печати, атмосферы свободы не создают; это хорошо известно участникам и собраний, и печатных выпусков. Мы готовы, однако, отдать должное добрым намерениям инициатора, тем более, что иные сборники довольно удачны, как, например, последний.

(и неверной) мыслью: «А ведь мне нечего сказать!». Но стоило бы мужественно открыть сундук, перетряхнуть вещи, хоть ближе лежащие, и нужное наверно бы нашлось!

* *
*

Не все, однако, из того же круга и того же поколения, окончательно замолкли: иным (меньшинству) удалось приспособиться к данным условиям русской печати. Удача счастливая, ей, поистине, можно радоваться: это ведь не «советская» печать, между здешним «приспособлением» и тамошней гиперболикой никакой параллели провести нельзя. Но, как оно, с известной стороны, ни хорошо, как ни велики бывают внешние различия в судьбе замолкших и пристроенных, — собственно писательская судьба тех и других одинакова. Пристроенный пишет (много, подчас слишком много) и оттого пишет все лучше и лучше: он учится, он уже прекрасно справляется с языком, при большем таланте и со стилем; он может овладеть всей (очень важной!) техникой письма. Но — кто он? Действительный писатель? Настоящий? Такой, каким был «задуман»?

Вообразим себе какого-нибудь писателя, задуманного, например, Белинским или Герценом (т. е. Белинского или Герцена в потенции). Или — для ясности — вообразим поэта, задуманного, как Некрасов, которому пришлось бы ежедневно писать забавные стишки, сообразованные с направлением газеты. Что осталось бы в нем от Некрасова через несколько лет подобного упражнения?

Если писателю, «сердцу» его, не дано «высказывать себя», и он это знает, чувствует, все время (пусть бессознательно) считаясь с редакторскими заданиями, он постепенно перестает даже думать о «своем». У него также «слеживается» его собственное добро в запертом сундуке. Также остановится он, предложи ему написать что-нибудь на полной свободе; и, если умен и добросовестен, спросит себя с сомнением: «Могу ли я еще написать что-нибудь настоящее, что было бы искусством, а не ремеслом?».

Да, и это не прощается. В обоих случаях, — проявляет ли себя писатель несвободно, не проявляет ли вовсе, — его талант и способности хиреют; могут и совсем сойти на нет.

Пусть не говорят мне, что в России, мол, никогда не было свободы слова, а какой высоты достигла наша литература! Нужно ли в сотый раз повторять, что дело не в абсолютной свободе (абсолюта вообще и нигде не может быть, ибо все относительно); мы говорим о той *мере* свободы, при которой возможна постоянная борьба за ее расширение. Довоенная Россия такой мере во все времена отвечала: даже при Не-

красове (его борьба с цензурой велась открыто и успешно); о годах нового века нечего и говорить. Что же касается цензуры редакторской, то, при множестве разнообразных газет и журналов и при постоянном появлении новых, молодой писатель всегда мог найти себе подходящее место. И находил.

Но признаем: общая свобода в России прогрессировала медленно, и понятие ее медленно входило в душу русского человека. Он, – не писатель только, а вообще русский человек, – не успел еще ей как следует выучиться, когда всякую школу захлопнули. Если бы не слишком рано захлопнули, невозможно было бы, думается, и все нынешнее, уже двадцатилетнее, состояние России: ведь невозможно оно, даже невообразимо, в Англии или во Франции, или где угодно. Русский человек не достоин, конечно, тех глубин физического и духовного рабства, в которые сейчас Россия спущена; но что он в свое время свободе не научился, не доучился, и даже здесь, в Европе, пока что, до ее настоящего понимания не дошел, – на это незачем закрывать глаза.

Русский человек (все равно кто, хотя бы и старый интеллигент-свободник) – еще не понимает, например, что атмосфера свободы дается лишь тому, или тем, кто сам свою свободу, – свою собственную, – умеет ограничивать; и сам за это и за себя отвечает. Правда, в последние годы и Европа стала терять понимание свободы: точно вихрь какой-то носится над ней, вихрь неистового упоения рабством. Но это болезнь; а русский человек, может быть, еще и не доходил (не успел дойти) до европейского понимания. Оттого ему и здесь, в эмиграции, – мировыми вихрями мало и захваченному, – без свободы и ответственности как-то спокойнее, привычнее. Он может этого не сознавать, но оно так.

Почему писатели будут исключением? И они такие же русские люди. Даже у тех, у кого Россия не в памяти – она в крови. И у них запрятано где-то темное ощущение «беспризорности», если они на полной свободе...

Что же, однако, делать? Говорят, чтобы научиться плавать, надо сразу броситься в воду. Да, а все же сразу далеко не уплывешь; и тут опять одна из причин вероятной неудачи нашего первого опыта: первого свободного смотра сил среднемолодой литературы.

* *
*

Есть еще нечто, что необходимо учитывать и необходимо подчеркнуть: повседневные условия жизни молодых литераторов. Условия давно известные, только в них обычно не вдумываются, да, мол, пе-

19 Зак 4570

чально, но что ж делать, и все так! Пожалуй; но мы заговорили о писателях, о молодой здешней интеллигенции, на ней и остановимся.

Когда бывший военный, офицер, делается шофером такси, это не так уж плохо: воевать и служить ему все равно негде, нет ни войны, ни русского полка. Но если молодой интеллигент, со склонностью к умственному труду и со способностями или талантом писателя, убивает себя то на малярной работе, то делается коммивояжером по продаже рыбьего жира для свиней (не спасаясь этим от «saisie»* и последовательных выселений из прислужьих чердачных комнат) — это дело как будто иное. Между тем, за редкими исключениями, (в числе их устроившиеся при алитературных редакторах), вся эта интеллигентная «молодежь» живет именно в таких условиях, с разными рыбьими жирами для свиней.

Мне возразят, что и в старой России начинающий писатель не мог жить литературой; и что некоторые из больших наших писателей терпели, в юности, жестокую нужду, — Некрасов, например. Это возражение легко отвести уже потому, что русские в России — одно, а русские в чужой стране — совсем другое. Тогда, там, отдельные начинающие писатели могли гибнуть (и гибли, вероятно), но чтобы гибло целое литературное поколение, — об этом и мысли быть не могло. А сейчас, ввиду одних материальных условий, можно опасаться и этого**.

К сожалению, известный слой эмиграции, очень отзывчивый на общую беженскую нужду, мало заботится и думает о судьбе литературы, — той, с которой молодое поколение могло бы вернуться в Рос-

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

* арест имущества (*фр.*).

** В тесной связи с тяжкими материальными условиями находится и другое печальное обстоятельство, беда молодого зарубежного поколения. О ней очень сознательно говорит один из писателей этого поколения, самый, кажется, молодой: «Ведь мы ничего по-настоящему *не знаем*; мы никакого систематического образования не получили, не успели до катастрофы; мы не должны примиряться с ненормальной нашей биографией, нам нужно догнать самих себя...».

Это отчасти верно; и если сравнивать зарубежную молодую интеллигенцию не с советской (перед которой первая — изысканное собрание культурнейших людей), а с довоенной (особенно литературной) и даже очень зеленой, студенческой — разница несомненна.

Я это знаю, — мне много приходилось сталкиваться с начинающими писателями, часто будущими знаменитостями. Да, многим из здешних следовало бы общие свои знания пополнить; и это, при желании было бы нетрудно, если бы... если бы опять не проклятый «жир для свиней», не вечная забота о куске хлеба. Когда тут о чем думать, что, когда, читать?

сию; оставляет его представителей работать со свиньями в рыбьем жиру, удовлетворяясь существующей традиционной, алитературной, русской прессой. Тип кое-что понимающего, культурного мецената бесследно (и бесстыдно) исчез.

Все это, вероятно, естественно: ведь не говоря уж о нас — и общемировой культурный уровень в последние десятилетия понизился.

* *
*

Я все-таки думаю, что дело зарубежной литературы сегодняшним днем не кончится. Трудны житейские условия; жалки отдельные попытки разбить традиции, создать что-то вроде школы свободы; но в конце концов, такой атрадиционный журнал — будет. Я хорошо знаю эту среднемолодую литературную среду и знаю, что почти у каждого уже и сейчас «есть что сказать». Если сразу не всем это удастся, вспомним опять: как вещи «слеживаются» в запертом сундуке, так и мысли-чувства, не высказанные, в душе. Сразу их в порядок не приведешь.

Возможно, что иной уже свыкся с молчанием, с своим положением «отверженного», и погрузился в «оцепенение», — о котором так верно говорится в одной современной книге. Но человек с настоящей природой писателя, — художника, политика, философа, — никогда со своей «отверженностью» не примирится, и погибельное оцепенение ему не грозит.

Кстати: данный сборник, «опыт свободы», есть, в некотором роде, и «салон отверженных». Этим объясняется участие в нем двух писателей «старшего» поколения: один, несмотря на то, что книги его переводятся на почти все существующие языки, вплоть до японского, и даже эсперанто, такой же «отверженный» для русской эмигрантской печати, как и молодые его соседи по книге; так же, как они, он не имеет возможности печататься ни в одном парижском журнале, ни газете.

Что касается другого «старшего» участника, — он, хотя и работает у себя, по своей специальности, терпит ту же неудачу при попытке проникнуть в общую прессу с каким-нибудь скромным, но живым фельетоном, с чем-нибудь, что пишет *для себя*.

* *
*

Вот, приблизительно, все, что надо знать читателю прежде, чем он раскроет книгу.

Сказанное выше и, между прочим, указание на возможную неудачу первого опыта, отнюдь не есть «просьба о снисхождении»: участники опыта в снисхождении не заинтересованы. Читатели, — публика, —

вольны критиковать книгу, как им будет угодно. В том, как отнесется к ней публика, для нас будет известный «смотр» и ей самой. Важно ведь знать, что она думает о литературе, о свободе, о свободных начинаниях, – главное, о свободе, – и что она в ней понимает. Важно знать также, интересуется ли она тем, что интересно молодым писателям; сумеет ли она хоть как-нибудь рассмотреть их «лица», своеобразие каждого, непохожесть друг на друга?

Конечно, «смотр» публики, как наш, писательский, – оба будут весьма несовершенны. Оба ведь сегодня – первые.

Завтра, если для писателей свобода сделается привычнее, – может быть, станет она ближе, понятнее, и для читателей.

КОММЕНТАРИИ

Собственные имена и географические названия даются в авторском написании и не унифицируются. Неточности цитирования специально не оговариваются.

РАССКАЗЫ

РОМАН (с. 7)

Впервые: Иллюстрированная Россия. Париж, 1931. 14 февраля. № 8. С. 1–2.

МАРИНА И КАТЕРИНА (*Параллели*) (с. 9)

Впервые: Сегодня. Рига, 1931. 15 февраля. № 46. С. 2–3.

Ватто Антуан (1864–1721) – французский живописец, создавший картины галантных празднеств, образы пастушек.

Sacre Coeur – один из знаменитых храмов в Париже, построенный на Монмартре в 1876 г.

СТАРЫЙ КЕРЖЕНЕЦ (с. 17)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1931. 20 ноября. № 3894. С. 2–3; 22 ноября. № 3896. С. 3–4; 1 декабря. № 3905. С. 3; 4 декабря. № 3908. С. 3. В форме дневника этот рассказ был опубликован Гиппиус в журнале «Новый Путь» (1904. № 1. С. 151–180) под названием «Светлое озеро». Мережковские ездили к «невидимому граду Китежу» в июне 1902 года. В 1931 году Гиппиус обратилась в конце рассказа мыслью к тому, что те-

перь происходит в этих местах: «Протекли годы, один страшнее другого. Что сталось с ними, с этими русскими людьми? Что там – в самой глубокой глубине России...».

«В лесах» (1875), *«На горах»* (1875–1881) – дилогия П. И. Мельникова (Печерского) из жизни заволжского старообрядческого купечества.

«Нива» – еженедельный иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге в 1870–1918 гг.

Товарищество Зингер – компания Зингер, осуществлявшая производство и сбыт швейных машин в России. Существовала в США, с 1895 г. центральные конторы в Москве, Петербурге, Варшаве и Риге. С 1900 г. обосновалась в Подольске Московской губернии.

«в начале бе Слово» – начальные слова Библии.

Евхаристия – причащение, одно из главных таинств христианства.

«Миссионерское Обозрение» – духовный журнал, выходивший в Петербурге в 1896–1917 гг.

Иоанн Кронштадтский (Сергиев Иоанн Ильич; 1829–1909) – протоиерей-проповедник, канонизирован в 1988 г.

«Если не обратитесь и не будете, как дети...» – Мф. 18, 3.

ПОЕЗДКА АНДРЕЯ (с. 36)

Впервые: Сегодня. Рига, 1931. 25 декабря. № 356. С. 2 под названием «Учитель». Печатается по переработанному тексту в газете «Последние Новости». Париж, 1935. 8 декабря. № 5372. С. 3, где был добавлен эпиграф. 30 ноября 1935 г. под названием «Как жить? (Поездка к учителю)» рассказ напечатан снова в газете «Сегодня» (№ 330. С. 2–3). В рассказе отразились впечатления Гиппиус от поездки к Л. Н. Толстому 11–12 мая 1904 г.

...слова Левина: «Для того, чтобы жить, я должен знать, откуда я...» – Л. Н. Толстой. Анна Каренина (часть 8, гл. 9, пересказ Гиппиус).

Ницше Фридрих (1844–1900) – немецкий философ. В трактате «Что такое искусство?» (1897–1898) Толстой писал: «Опираясь на Ницше и Вагнера, художники нового времени полагают, что им не нужно быть понятыми грубыми массами, им достаточно вызвать поэтические состояния наилучше воспитанных людей». В Предисловии к роману В. фон Поленца «Крестьянин» (1901) Толстой высказался еще резче: «Последним словом философии в наше время признается безнравственная, грубая, напыщенная, бессвязная болтовня Ницше».

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942) – поэт-символист, к которому Толстой относился резко отрицательно.

Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич (1863–1927) – писатель, о романе которого «Тяжелые сны» (1896) Толстой писал 8–9 ноября 1895 г. Л. Я. Гуревич как о «невозможной неряшливой бессмыслице».

Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий философ. В трактате «Что такое искусство?» (1897–1898) Толстой называет «мистическую теорию» Шопенгауэра «нелепой», однако в «Круге чтения» (1906) приводит многочисленные этические высказывания Шопенгауэра.

Гюго Виктор (1802–1885) – французский писатель. В письме к М. М. Ледерли 25 октября 1891 г. Толстой отмечал, что «Собор Парижской Богоматери» Гюго произвел на него очень большое впечатление в период от 20 до 35 лет жизни, а лучшим французским романом считал «Отверженные» Гюго.

КАК ЕМУ ПОВЕЗЛО (с. 41)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1932. 1 января. № 3936. С. 2–3 под названием «Глупый Никита». Печатается по тексту газеты «Сегодня». Рига, 1935. 21 апреля. № 111. С. 2–3, где автором сделаны небольшие изменения.

Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) – германский император в 1898–1918 гг., способствовавший развязыванию Первой мировой войны.

мараж, мраж — женитьба (*искаж. фр.*).

Санс интерди – Никита говорит немногими французскими словами, известными ему из его шоферской практики: стоянка запрещена, дело кончено.

уит – восемь (*фр.*).

в берете (берсо) — в люльке, колыбели (*фр.*).

рядно – толстый холст или одежда из него.

Зимний Никола – православный праздник, день преставления св. Николая Мирликийского 6 (19) декабря.

мари – муж (*фр.*).

ЧУДЕСА (с. 52)

Впервые: Иллюстрированная Россия. Париж, 1932. 2 января. № 1. С. 2, 4, 6.

Бортнянский Дмитрий Степанович (1751–1825) – композитор, автор хоровой церковной музыки, капельмейстер Придворной певческой капеллы с 1779 г.

Херувимская – христианское церковное песнопение.

...с самое горчичное зерно... — Мф. 17, 20; Лк. 17, 6.

ВОПРОС (с. 61)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1932. 7 февраля. № 3973. С. 2–3.

НИКОЛОВО ПОЖАЛЕНИЕ
Рассказ (с. 69)

Впервые: Иллюстрированная Россия. Париж, 1932. 16 апреля. № 16. С. 1–3.

...к Троице-Сергию и даже к Тихому Задонскому... – то есть в Троице-Сергиеву Лавру под Москвой и Задонский Богородицкий монастырь, где в 1861 г. были открыты мощи св. Тихона Задонского (1724–1783).

Летний сад – старейший сад С.-Петербурга, разбит в 1704 г., место проведения празднеств, гуляний.

...книгу Ремизова... – книга А. М. Ремизова «Образ Николая Чудотворца» вышла в Париже в 1931 г.

ПРОШУ ВАС...
(*Повесть*) (с. 74)

Впервые: Сегодня. Рига, 1932. 1–13 мая. № 121–133 под названием «Прошу вас... (Приключения Леонида)». Печатается по тексту: Возрождение. Париж, 1950. Май/июнь. № 9. С. 7–36.

...на знакомой площади с тяжелым памятником и вокзалом... – памятник императору Александру III работы П. П. Трубецкого на Знаменской площади Петербурга перед Николаевским вокзалом был открыт 23 мая 1909 г. Снят в октябре 1937 г.

ЯПОНОЧКА (с. 106)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1932. 28 августа. № 4176. С. 2–3.

Сорбонна – второе название Парижского университета. Первоначально, в XIII веке так назывался богословский колледж в Латинском квартале Парижа (по имени основателя, духовника короля Людовика IX Р. де Сорбона).

ДОЧКИ (с. 116)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1932. 9 октября. № 4218. С. 2–3.

МЕТАМОРФОЗЫ

(*Рассказ приятеля*) (с. 123)

Впервые: Сегодня. Рига, 1932. 9 октября. № 280. С. 4. Перепечатано под названием «Превращенья»! в «Иллюстрированной России». 1936. 7 ноября. № 46 (600). С. 1, 2, 4. Эпиграф из стихотворения А. А. Фета «Шепот, робкое дыханье...» (1850).

ламентабельный вид — плачевный, жалкий вид (фр.).

...по Достоевскому «гай пить». — Ф. М. Достоевский. Записки из подполья. II. По поводу мокрого снега, IX (1864): «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».

Бэдлам (Бедлам) — дом для умалишенных в Лондоне, основанный в 1247 г. (первоначально больница Марии Вифлеемской).

«СЕРДЦЕ, ОТДОХНИ...»

Рассказ (с. 129)

Впервые: Иллюстрированная Россия. Париж, 1932. 12 ноября. № 46. С. 1, 2, 4.

«Внимая ужасам войны...» — одноименное стихотворение Н. А. Некрасова (1856).

«слезы бедных матерей» — там же.

Розы расцветают... — В. А. Жуковский. Песня (1815), перевод стихотворения немецкого поэта Ф. Г. Ветцеля (1779—1819).

ТАЙНЫ

Рассказ (с. 136)

Впервые: Иллюстрированная Россия. Париж, 1932. 24 декабря. № 52. С. 5—7.

ПЕРЛАМУТРОВАЯ ТРОСТЬ

(*Опять Мартынов*) (с. 143)

Впервые: Числа. Париж, 1933. Январь. № 7/8. С. 82—124.

Новалис (Фридрих фон Хартенберг; 1772—1801) — немецкий поэт и философ.

Шеллинг Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ.

Тик Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель-романтик. Его дружба с писателем Вильгельмом Генрихом Вакенродером (1773—1798) началась

с университетских лет. В 1793 г. они совершили совместное путешествие по Южной Германии. После смерти Вакенродера Тик завершил и опубликовал его роман «Странствия Франца Штернбальда» (1798) и издал его книгу «Фантазия об искусстве для друзей искусства» (1799).

Анунциата (Аннунциата) – героиня повести Н. В. Гоголя «Рим» (1842).

Этна – действующий вулкан на острове Сицилия в Италии.

«удалиться под сень струй» – слова Хлестакова в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (д. 4, явл. XIII).

УЛЫБКА (с. 177)

Впервые: Сегодня. Рига, 1933. 16 апреля. № 106. С. 2.

НЕПОДХОДЯЩАЯ (с. 181)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1933. 2 июля. № 4484. С. 3.

ЛИРИКА (с. 185)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1933. 24 сентября. № 4568. С. 4.

ВАНЯ ПУГАЧЕВ И ВАНЯ РУМЯНЦЕВ (с. 190)

Впервые: Сегодня. Рига, 1933. 8 октября. № 278. С. 2.

бьенеме – любимая (*фр.*).

ДЕНЬГИ (с. 195)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1933. 6 ноября. № 4611. С. 2–3; 25 ноября. № 4630. С. 3.

«перми» – разрешение, водительские права (*фр.*).

фурниссеры – поставщики (*фр.*).

Армия Спасения – евангельская филантропическая организация, основанная Уильямом Бутом в 1865 г. в Лондоне.

СО ЗВЕЗДОЮ (с. 204)

Впервые: Иллюстрированная Россия. Париж, 1933. 23 декабря. № 52. С. 4–6.

...притча евангельская о пшенице и плевелах... – Мф. 13, 24–30.

...на земле мир, в человецах благоволение... — из Великого славословия в православной службе; Лк. 2, 14.

«Волеви же со звездою путешествуют...» — рождественское песнопение.

ПОСЛЕДНЯЯ ЕЛКА
Рассказ (с. 210)

Впервые: Сегодня. Рига, 1934. 1 января. № 1. С. 2.

«Звезда с звездою говорит» — М. Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

БАРЫШНЯ И ДЕВЧОНКИ (с. 217)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1934. 24 марта. № 4278. С. 3.

«во глубине России» — Н. А. Некрасов. «В столицах шум, гремят витии...» (1857).

ДАВИД (с. 222)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1934. 6 мая. № 4791. С. 3.

Толпа вошла, толпа вломилась... — Ф. И. Тютчев. «Чему молилась ты с любовью...» (1852).

Бехштейн Фридрих Вильгельм Карл (1826—1900) — фортепианный фабрикант, основавший в 1856 г. в Берлине фабрику по производству роялей. Также наименование высококачественных роялей и пианино, изготовленных на этой фабрике.

«Он имел одно виденье, непостижное уму...» — А. С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829).

НАДЕНЬКА И ЕЕ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ
Рассказ (с. 227)

Впервые: Сегодня. Рига, 1934. 3 июня. № 152. С. 4.

Я ПРОСТИЛ (с. 232)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1934. 19 августа. № 4896. С. 3.

ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА (с. 236)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1934. 25 ноября. № 4994. С. 2. Продолжение предыдущего рассказа.

ИГРА (с. 241)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1935. 9 февраля. № 5070. С. 4.

МОТИВЫ
Парижский рассказ (с. 245)

Впервые: Сегодня. Рига, 1935. 17 февраля. № 48. С. 4.

ТАК СЛУЧИЛОСЬ (с. 249)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1935. 10 марта. № 5099. С. 5.

РАДИ МАШЕЧКИ (с. 254)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1935. 28 апреля. № 5148. С. 4.

боперчик, бопер – отчим (*фр.*).

ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Рассказ о рассказе (с. 258)

Впервые: Сегодня. Рига, 1935. 28 июля. № 206. С. 4.

«Так случилось» – см. этот рассказ выше.

НЕЖНОСТЬ (с. 261)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1935. 4 августа. № 5246. С. 3.

ОБЫКНОВЕННОСТЬ СЧАСТЬЯ (с. 265)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1935. 8 сентября. № 5281. С. 5.

ТАИНСТВЕННЫЙ АМЕРИКАНЕЦ
Рассказ (с. 270)

Впервые: Сегодня. Рига, 1935. 8 сентября. № 248. С. 4.

Башо – экзамен на аттестат зрелости (*фр.*).

Пежо – французская автомобильная монополия, основанная в 1896 г.

Холливуд (Голливуд) – район Лос-Анджелеса (США), где сосредоточена основная часть американской кинопромышленности.

Форд Генри (1863–1947) – один из основателей автомобильной промышленности в США; также название марки автомобиля.

ОТКРЫТИЕ (с. 276)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1935. 20 октября. № 5323. С. 4.

ПРИЕХАЛА
(*С натуры*) (с. 281)

Впервые: Сегодня. Рига, 1936. 12 января. № 12. С. 4–5.

брылы – обвисшие губы или щеки.
«примы» – награды (*фр.*).

ЯБЛОНЬКА
(*Сережа Чагин*) (с. 288)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1936. 8 марта. № 5464. С. 4.

Не шей ты мне, матушка... – стихотворение Н. Г. Цыганова (1797–1832), положенное на музыку и опубликованное в «Музыкальном альманахе на 1833 год» А. Е. Варламова.

АГАТА
Рассказ (с. 293)

Впервые: Иллюстрированная Россия. Париж, 1936. 14 марта. № 12 (566). С. 1, 2, 4, 5.

ДВЕ ДАМЫ
(*Сережа Чагин*) (с. 300)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1936. 12 апреля. № 5498. С. 4. Эпиграф из стихотворения А. А. Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо!..» (1901).

НОЧЬ ВОСКРЕСЕНИЯ
(*Из воспоминаний*) (с. 305)

Впервые: Сегодня. Рига, 1937. 2 мая. № 120. С. 3.

«Смерть, где твое жало?..» – 1 Кор. 15, 55.

ФОН И НЕ ФОН (с. 308)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1938. 1 января. № 6125. С. 2.
В «Автобиографической заметке» (1914) Гиппиус писала о своих двух бабушках: «Бабушка с материнской стороны всю жизнь потом прожила с

нами. В противоположность другой моей — московской — бабушке, Аристовой, которая писала только по-французски и не позволяла звать себя иначе, как grand'maman, эта до смерти ходила в платочке, не умела читать и даже никогда с нами не обедала».

«Что позолочено, сотрется, свиная кожа остается» — из сказки Г. Х. Андерсена «Старый дом» (1848).

НЕРОЖДЕННАЯ ДЕВОЧКА НА ЕЛКЕ (с. 313)

Впервые: Сегодня. Рига, 1938. 6 января. № 6. С. 4.

ЕГО СВОБОДА
Рассказ моего знакомого (с. 317)

Впервые: Сегодня. Рига, 1938. 21 августа. № 230. С. 4.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ (с. 321)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1939. 2 июля. № 6670. С. 3.

«Коробочку» — имеется в виду третья глава романа Н. В. Гоголя «Мертвые души» (1842).

Дом Милорадовича — очевидно, речь идет о Чернигове, где было родовое гнездо Милорадовичей. В конце XVIII в. генерал-поручик А. С. Милорадович (1726—1796) был черниговским губернатором.

КАТРИН (с. 325)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1939. 12 августа. № 6711. С. 2.

Рассказ продолжает тему, начатую в рассказе «Несправедливость».

«Страшная месть» — повесть из второй части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1832) Н. В. Гоголя.

Начальник Акакия Акакиевича — имеется в виду повесть Н. В. Гоголя «Шинель» (1842).

...шапка Петра... — речь идет о куполе собора св. Петра в Риме (строился в 1506—1614 гг.), главный архитектурный акцент в панораме города.

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ
Речь в «Зеленой Лампе» (с. 333)

Впервые: Числа. Париж, 1931. № 5. С. 153—161. Заседание «Зеленой Лампы» состоялось 3 июля 1929 г. (Вторая беседа о любви.) После публи-

куемого вступительного слова Гиппиус выступили Г. В. Адамович, В. А. Злобин, А. П. Ладинский, Д. С. Мережковский, Н. А. Оцуп, Н. Тэффи, М. О. Цетлин и др.

М. ВИШНЯК. ДВА ПУТИ
Издание «Совр. Зап.». Париж, 1931
(*О революции и о «правде»*) (с. 339)

Впервые: Числа. Париж, 1931. № 5. С. 242—248. Эпиграф из стихотворения Гиппиус «Улыбка» (1897).

«Записки Суханова» — «Записки о революции» (Берлин, 1922—1923. Кн. 1—7) Николая Николаевича Суханова (Гиммер; 1882—1940). Расстрелян в Омске по ложному обвинению в связях с немецкой разведкой.

...высказанные <...> *А. Керенским...* — «Из воспоминаний» А. Ф. Керенского; публиковались в «Современных Записках». 1928. № 37; 1929. № 38, 39.

СТРАНИЧКА ПРОШЛОГО
(*«Ф. К. Сологубу — для Игоря Северянина»*) (с. 346)

Впервые: Иллюстрированная Россия. Париж, 1931. 7 марта. № 11. С. 1—2.

стихи Игоря Северянина о Балтийском море — речь идет о стихотворении И. Северянина «Балтийское море» (Одесса. 1913. Март) с посвящением Зинаиде Гиппиус. Напечатано в книге Северянина «Златолира. Поэзы. Книга вторая». М., 1914.

ДАЛЕКАЯ ЕДИНСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА (с. 348)

Впервые: Сегодня. Рига, 1931. 15 марта. № 74. С. 2.

Полонский Яков Петрович (1819—1898) — поэт. Литературные собрания у него проводились по пятницам.

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт, прозаик, критик. Кружок Плещеева был известен с 1850-х годов.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт. Когда роман Мережковского «Юлиан Отступник» (1895) не был принят критикой, Майков устроил чтение романа автором у себя дома, о чем Гиппиус вспоминает в книге «Дмитрий Мережковский».

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908) — поэт, переводчик. В 1897—1901 гг. был председателем Союза взаимопомощи русских писателей.

*...«****нельзя****» печататься в «Новом Времени»?* — когда в 1876 г. издателем газеты «Новое Время» (1868—1917) стал А. С. Суворин, то она стала считаться либералами наиболее консервативным изданием.

Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — публицист, критик, принимал участие в журнале «Русская Мысль» и с марта 1885 г. стал его фактическим редактором (официальный редактор-издатель В. М. Лавров). Речь идет, очевидно, о втором аресте Гольцева в октябре 1888 г.; привлекался по делу о распространении в Москве нелегальной газеты «Самоуправление», издававшейся в 1887—1889 гг. в Швейцарии как орган «социалистов-революционеров».

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ, поэт. Вероятно, Гиппиус вспоминает чтение Соловьевым его шуточной пьесы «Дворянский бунт» (1891) о князе Владимире Мещерском (1839—1914), издававшем консервативную газету-журнал «Гражданин» (1872—1877, 1883—1914).

...свои собственные стихи... — первые стихи Гиппиус опубликовала в «Северном Вестнике» в декабре 1888 г.

«благоуханья седин» — название раздела в книге Гиппиус «Живые лица» (1925).

...«открытия» Лескова Флексером-Волынским... — имеется в виду книга: *Волынский А.* [*Флексер А. Л.*]. Н. С. Лесков. Критический очерк. СПб., 1898.

Веселитская Лидия Ивановна (псевд. В. Микулич; 1857—1936) — беллетристка, переводчица, мемуаристка, автор трилогии «Мамочка» (1883—1893). С 1893 г. до смерти Лескова в 1895 г. была вхожа в его дом и оставила воспоминания о нем.

...у Розанова... — то есть на «воскресеньях» В. В. Розанова, начавшихся в 1899 г., постоянными посетителями которых были Мережковские.

У КОГО МЫ В РАБСТВЕ?
Слово, произнесенное на собрании кружка «Зеленая Лампа» (с. 351)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1931. 21 июня. № 161. С. 3 — 5.

Статье предпослано редакционное предисловие о том, что 10 июня 1931 г. в парижском литературном обществе «Зеленая Лампа» прошло заседание на тему «У кого мы в рабстве? (О духовном состоянии эмиграции)». Вступительное слово произнес Г. В. Иванов, в прениях участвовали Г. В. Адамович, В. С. Варшавский, З. Н. Гиппиус, Б. К. Зайцев, В. А. Злобин, А. И. Куприн, Д. С. Мережковский, Н. А. Оцуп, Б. Ю. Поплавский, Ю. Фельзен, М. О. Цетлин.

Брешковский (Брешко-Брешковский) Николай Николаевич (1874—1943) — прозаик и журналист. В эмиграции с 1921 г. Его имя стало символом дешевого литературного чтива.

...***двум** газетам и **одному** журналу.* — Имеются в виду парижские газеты «Последние Новости» (1920—1940), «Возрождение» (1925—1940) и журнал «Современные Записки» (1920—1940).

«Руль» — ежедневная газета, выходившая в Берлине в 1920—1931 гг.

«Мир Искусства» — художественно-иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге в 1899—1904 гг., в котором активно участвовали Мережковские, В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Белый, В. Розанов.

«Числа» (1930—1934) — парижский журнал, отвечавший запросам «молодого» поколения эмиграции.

«У КОГО МЫ В РАБСТВЕ»

Четвертая цензурная дверь (О «Числах»). Письмо в редакцию (с. 356)

Впервые: За Свободу! Варшава, 1931. 8 июля. № 177 (3611). С. 3 под псевдонимом Антон Крайний. Используя этот псевдоним, Гиппиус ведет полемику со своей собственной статьей «У кого мы в рабстве», напечатанной в газете «За Свободу!» 21 июня 1931 г. (см. выше).

...Мое близкое участие в журнале, с первого же номера... — в № 1 журнала «Числа» (1930) напечатаны «Литературные размышления» Антона Крайнего.

«пути своего не помнящих» — из стихотворения А. Блока 1914 г.: «Рожденные в года глухие / Пути не помнят своего».

...декадентского романа Поплавского. — Речь идет о публикации в журнале «Числа» (№ 2/3 и 5) глав из романа Б. Поплавского «Аполлон Безобразов».

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

(К истории Петербургских Религиозно-Философских Собраний 1901—1903 гг.) (с. 358)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1931. 2 августа. № 3784. С. 2—3; 4 августа. № 3786. С. 3—4.

Эврипидовский Ипполит — премьера «Ипполита» Еврипида в переводе Д. С. Мережковского на сцене Александринского театра в Петербурге состоялась 14 октября 1902 г.

«Гоголь и о. Матфей» — статья Мережковского «Судьба Гоголя» напечатана в «Новом Пути» (1903. № 1—3) с рисунком И. Е. Репина «Гоголь и о. Матвей».

Устинский (Устьинский) Александр Петрович (1854—1922) — протоиерей в Новгороде.

«Столп и утверждение Истины» — книга П. А. Флоренского, изданная в 1914 г.

ПЕРЕД ЗАПРЕЩЕНИЕМ
(*Зима 1902—1903 гг. СПб-ских Религиозно-Философских Собраний*) (с. 373)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1931. 2 октября. № 3845. С. 3; 13 октября. № 3856. С. 2; 23 октября. № 3866. С. 2—3. Печаталось как продолжение предыдущей статьи «Первая встреча».

Пирожков Михаил Васильевич (1867—1927) — владелец книжного издательства, разорился в 1908 г.

Шарапов Сергей Федорович (1855—1911) — экономист, писатель.

Мирянин — псевдоним профессора богословия, имя которого осталось неустановленным.

Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861—1928) — писательница.

Прево Эжен Марсель (1862—1941) — французский романист, переводы собрания сочинений которого издавались в Петербурге в 1901 и 1912 г.

Лепорский Петр Иванович (р. 1871) — духовный писатель, профессор Петербургской духовной семинарии.

Гангрский собор — проходил в середине IV века в Гангре (Малая Азия); в принятых 21 правиле осудил аскетическое движение Евстафия, основателя монашества, порицавшего брак.

Соляной городок — район в Петербурге (около Летнего сада), где в конце XVIII в. были склады соли и вина. В 1870 г. там проводилась Всероссийская промышленная выставка, в 1879—1881 гг. построено здание училища рисования барона А. Л. Штиглица.

Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918) — публицист, сотрудник газеты «Новое Время». Расстрелян на глазах детей во время большевистского «красного террора».

«Новости» — вероятно, «Новости и Биржевая газета», выходившие в Петербурге в 1883—1905 гг.

Рункевиг Степан Григорьевич (р. 1867) — секретарь Синода, писатель.

Болотов Василий Васильевич (1853—1900) —церковный историк.

Лютер Мартин (1483—1546) — основатель немецкого протестантизма (лютеранства).

мар — туман, марево.

«Травиата» (1853) — опера итальянского композитора Джузеппе Верди.

Заратустра — имеется в виду книга Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (1883—1884).

«...Великий Инквизитор говорил Христу...» — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Кн. 5. Гл. V. Великий инквизитор.

АВАНТЮРНЫЙ РОМАН (с. 390)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1931. № 46. С. 458—463.

Пруст Марсель (1871—1922) — французский писатель, автор цикла романов «В поисках утраченного времени» (1913—1927).

Мориак Франсуа (1885—1970) — французский писатель, автор романов «Пустыня любви» (1925), «Тереза Декейру» (1927) и др.

Валери Поль (1871—1945) — французский поэт.

Джойс Джеймс (1883—1941) — английский писатель, ирландец по происхождению, автор романа «Улисс» (1922).

Жид Андре (1869—1951) — французский писатель, автор романа «Фальшивомонетчики» (1925).

Кокто Жан (1889—1963) — французский писатель, художник, близкий к сюрреализму, автор пьес «Антигона», «Орфей» (обе 1928).

Жуандо Марсель (1888—1979) — французский романист; в 1926 г. вышел его роман «Месье Годо в личной жизни».

Уоллес Эдгар (1875—1932) — английский писатель, автор более 150 романов, в том числе «Закон четырех справедливых людей» (1921), «Трое справедливых» (1926), «Опять трое справедливых» (1928).

РАЗВОД? (с. 396)

Впервые: Сегодня. Рига, 1932. 14 февраля. № 45. С. 4.

Розанов Василий Васильевич венчался с Аполлинарией Прокофьевной Сусловой (1839—1918) в 1881 г. и прожил с ней до 1886 г. В 1891 г. он тайно венчался с Варварой Дмитриевной Бутягиной (1864—1923). О проблемах брака и развода он писал в книге «Семейный вопрос в России» (1903) и в позднейших своих сочинениях.

48 ЛЕТ
Трагедия Толстого и его жены (с. 399)

Впервые: Сегодня. Рига, 1932. 27 марта. № 87. С. 2.

Гальперин-Каминский Илья Данилович (1859—1935) — переводчик произведений Л. Н. Толстого на французский язык.

«Любовь в жизни Л. Толстого» — книга В. А. Жданова вышла в Москве в 1928 г.

СЛОВА И ЛЮДИ
(*Заметки о Петербурге в 1904—1905 гг.*) (с. 405)

Впервые: Последние Новости. 1932. 27 мая. № 4083. С. 3.

Эпиграф из романа П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» (1875). Ч. IV. Гл. 1.

..ледяная пустыня без конца-края, а по ней ходит лихой человек. — Слова К. П. Победоносцева получили широкую известность. В. В. Розанов передает их в статье «К. П. Победоносцев» (1907).

Перцов Петр Петрович (1868—1947) — критик, издатель, друг В. В. Розанова.

...в статье Флоренского... — в «Новом Пути» напечатаны две статьи П. А. Флоренского: «О суеверии» (1903. № 8) и «О символах бесконечности» (1904. № 9).

Иванов Евгений Павлович (1879—1942) — публицист, друг А. Блока и автор воспоминаний о нем.

Ельчанинов Александр Викторович (1881—1934) — протоиерей, покинул Россию в 1921 г.; в Париже посмертно вышли его «Записки» (1935).

Владыка Антоний — знакомство П. А. Флоренского с епископом Антонием произошло благодаря А. Блоку в марте 1904 г. (см.: *Игумен Андроник.* Епископ Антоний (Флоренсов) — духовник священника Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1981. № 9—10).

Э. и Свенцицкий — имеются в виду философ Владимир Францевич Эрн (1881/82—1917) и писатель Валентин Павлович Свенцицкий (1879—1931), возглавлявшие в 1905 г. «Христианское братство борьбы».

...не ремизовали... — не осознавали (*фр.*).

Рождественский (правильно: Рожественский) Зиновий Петрович (1848—1909) — вице-адмирал. В русско-японскую войну командовал 2-й Тихоокеанской эскадрой, совершившей переход из Балтийского моря на Дальний Восток, один из главных виновников ее разгрома в Цусимском сражении 14—15 (27—28) мая 1905 г.

Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — писатель; учился в Московском университете и в 1899 г. был сослан за участие в студенческом движении.

«Психология и Философия» — имеется в виду московский журнал «Вопросы философии и психологии» (1889—1918).

Святополк-Мирский Петр Данилович (1857—1914) — князь, с августа 1904 г. по январь 1905 г. министр внутренних дел; министр внутренних дел В. К. Плеве был убит 15 июля 1904 г.

Коллонтай Александра Михайловна (1872—1952) — участница большевистского переворота 1917 г., в 1930—1945 гг. посол в Швеции.

Волжский-Глинка (1878—1940) — литературовед, автор сборника статей «Из мира литературных исканий» (1906).

«Стихи о Прекрасной Даме» — книга А. Блока вышла в октябре 1904 г. Рецензия в «Новом Пути» (1904. № 12, подписана буквой X) принадлежит Гиппиус. Раньше появилась положительная рецензия Вяч. Иванова (Весы. 1904. № 11).

«Вопросы Жизни» — журнал выходил с января по декабрь 1905 г. и был продолжением «Нового Пути».

Гапон Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник, организатор петиции петербургских рабочих царю и шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г., окончившегося расстрелом демонстрантов.

Варламов Константин Александрович (1848—1915) — с 1875 г. артист Александринского театра в Петербурге.

...Вячеслав Иванов <...> переселился <...> в Петербург. — С осени 1905 г. петербургская квартира Вяч. И. Иванова («Башня») стала литературным салоном («ивановские среды»).

...Они были <...> сумасшедшие. — Имеется в виду рассказ Гиппиус «Нет возврата» (в ее сборнике «Лунные муравьи», 1912) о тех, кто вернулся с русско-японской войны.

«начальство ушло» — книга В. В. Розанова «Когда начальство ушло... 1905—1906 гг.» вышла в 1910 г.

...о восстании, о «Пресне». — Имеется в виду вооруженное восстание в Москве 9—18 декабря 1905 г., организованное большевиками. Баррикадные бои происходили на Пресне.

Оболенский Алексей Дмитриевич (1855—1933) — обер-прокурор Синода с октября 1905 г. по апрель 1906 г.

«мэоническая» философская система — философское учение о «меонизме» (от греч. *meon* — несуществующее), вобравшее в себя идеи Ф. Ницше и восточной мистики, обосновал Николай Максимович Минский (Виленкин; 1855—1937) в книге «При свете совести: Мысли и мечты о цели жизни» (1890).

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..» — лозунг из «Гимна рабочих» Н. М. Минского, опубликованного в большевистской газете «Новая Жизнь» 13 ноября 1905 г.

«русские мальчики» — о них Ф. М. Достоевский пишет в романе «Братья Карамазовы» (Кн. 5. Гл. III. Братья знакомятся).

«зубатовщина» — легальные рабочие организации для решения экономических вопросов, созданные начальником Московского охранного отделения полиции Сергеем Васильевичем Зубатовым (1864—1917).

ФЛОРЕНЦИЯ – СЕГОДНЯ (с. 423)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1932. 18 июня. № 4105. С. 2.

Манн Томас (1875–1955) – немецкий писатель.

Цвейг Стефан (1881–1942) – австрийский писатель.

Моран Поль (1888–1976) – французский писатель и дипломат.

Людвиг Эмиль (1881–1948) – немецкий писатель, в декабре 1931 г. в Москве имел беседу с И. В. Сталиным.

Ezra Pound (Паунд Эзра; 1885–1972) – американский поэт, в 1924–1945 гг. жил в Италии.

«Битва при Ангиаре» – картина Леонардо да Винчи, над которой он работал в Палаццо Веккьо в 1503–1506 гг., осталась незаконченной, известна по копиям.

«Тайная Вечеря» (1495–1497) – роспись Леонардо да Винчи в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие, разрушенная временем и варварством (во время оккупации Милана французскими войсками в 1796 г. солдаты забавлялись киданием камней в лики апостолов). Реставрирована в XX в.

Папини Джиованни (1881–1956) – итальянский писатель и журналист.

«фуги» – живость (*ит.*).

Джентиле Джиованни (1875–1944) – итальянский философ, министр просвещения в правительстве Б. Муссолини (1922–1924).

Кроче Бенедетто (1866–1952) – итальянский философ, историк.

Маккиавелли (Макиавелли) Никколо (1469–1527) – итальянский политический мыслитель, писатель.

Ходынка – катастрофа на Ходынском поле в Москве, когда 18 мая 1896 г. во время раздачи царских подарков по случаю коронации Николая II погибло 1389 человек.

«ИНТУРИСТЫ» У ФАШИСТОВ

Опять Италия. – Старая или новая? – Культура. – Две аристократии. – Веселый город Флоренция. – Фашизм. – Значок и клятва. – Жасмины и колокола. – Живое – живо (с. 435)

Впервые: Сегодня. Рига, 1932. 31 июля. № 210. С. 4.

«Адриатические волны, о Брента...» – А. С. Пушкин. Евгений Онегин, 1. 49.

Для Гоголя Италия стала «второй родиной» – Гоголь писал об этом М. П. Балабановой в апреле 1838 г.

...захватив жену и кое-каких детей... — В. В. Розанов ездил в Италию в апреле 1901 г. с женой Варварой Дмитриевной. С детьми он ездил в Германию и Швейцарию летом 1905 г. Его книга «Итальянские впечатления» вышла весной 1909 г.

...исследование о Леонардо... — книга А. Л. Волынского (Флексера) «Леонардо да Винчи» (СПб., 1900) была написана в результате поездки совместно с Мережковскими по Италии весной 1896 г.

...первого путешествия в Италию... — первое заграничное путешествие Мережковских (Италия, Франция) состоялось весной 1891 г. Чехов встретился с Мережковскими в Венеции 24 марта 1891 г.

Франциск I (1494—1457) — французский король с 1515 г.; во время Итальянских войн (1494—1559) занял в 1515 г. Милан.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР (с. 442)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1932. 7 августа. № 4155. С. 4.

Кайявэ Армен де — после 1888 г. Анатоль Франс (1844—1924) стал главным лицом в литературном салоне мадам де Кайявэ, которая после окончания его первого брака (1892) стала его ближайшим другом, «музой», по словам Гиппиус.

Фор Поль (1878—1960) — один из руководителей французской социалистической партии, государственный министр в правительстве Леона Блюма (1936—1937).

Мореас Жан (1856—1910) — французский поэт, грек по происхождению.

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — революционерка, в 1884 г. приговорена к вечной каторге, провела 20 лет в Шлиссельбургской крепости. В 1906—1915 гг. в эмиграции.

Эйфелева башня — стальная башня (300 м), сооруженная в Париже по проекту инженера А. Г. Эйфеля для Всемирной выставки 1889 г.

У НАС, В ПАРИЖЕ...
(*Письмо из Франции*)
Пореволюционные клубы и «детский» шум. — Собрания взрослых «Дней». — Литературный праздник. — Трагическая кончина М. Л. Гольдштейна. — Петербургское утро. — Суд над Мережковским (с. 447)

Впервые: Сегодня. Рига, 1932. 24 декабря. № 356. С. 2.

«Дни» — парижский журнал под редакцией А. Ф. Керенского, выходивший с 1928 по 1933 г.

Руднёв Вадим Викторович (1879–1940) – журналист. Эмигрировал в 1919 г., один из основателей журнала «Современные Записки» (1920–1940).

«Новый Град» – религиозно-философский журнал, выходивший в Париже в 1931–1939 гг.

«Третья Россия» – журнал издавался в Париже под редакцией П. С. Боронецкого в 1932–1939 гг.

Банкет «Совр. Записок» – банкет журнала «Современные Записки» состоялся 30 ноября 1932 г. в зале Сен-Дедье. Выступали: Б. П. Вышеславцев, В. Е. Жаботинский, Б. К. Зайцев, А. Ф. Керенский, П. Н. Милюков, Д. С. Мережковский, Н. А. Тэффи, В. Ф. Ходасевич и др.

Гольдштейн Моисей Леонтьевич (1868–1932) – журналист, юрист. Эмигрировал в 1918 г., работал в редакции газеты «Последние Новости». Покончил с собой в Париже.

Мережковский, написавший трагедию «Павел I». – Отпечатанный тираж драмы Мережковского «Павел I» был конфискован в 1908 г. Суд над автором и издателем Михаилом Васильевичем Пирожковым состоялся 18 сентября 1912 г.

ЖИВАЯ КНИГА

(*О романе «Отечество»*) (с. 451)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1933. 12 января. № 4313. С. 2–3 под псевдонимом Антон Крайний.

Роман «Отечество» Т. Таманина (псевдоним Татьяны Ивановны Манухиной; 1886–1962) вышел в Париже в 1933 г. в издательстве YMCA-Press. Весной 1921 г. Манухина с мужем-врачом И. И. Манухиным эмигрировала из России. Характерно, что Гиппиус, близко знавшая Т. И. Манухину и ее мужа еще в Петербурге, не называет в статье автора романа.

К настоящей статье Гиппиус П. Н. Милюков поместил редакционное послесловие, в котором писал: «И именно потому, что я ценю художественное дарование автора более, чем его проповедничество, я хотел бы выразить живейшее желание, чтобы на этом романе писательская карьера г. Таманина не остановилась. Ведь, часто бывает, что, дав объективное выражение навязчиво волнующей его идеи, автор, тем самым, от нее освобождается, – и получает свободу идти дальше и копать глубже».

...у памятника Екатерины... – памятник Екатерине Великой на Невском проспекте в Петербурге работы скульптора А. М. Опекушина был открыт в 1873 г.

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ» И «ЧИСЛА»
Речь (с. 457)

Впервые: Молва. Варшава, 1933. 12 марта. № 59 (282). С. 3. Речь Гиппиус была произнесена 16 февраля 1933 г. на вечере, посвященном журналам эмиграции.

«ограничить жизнь домашним кругом» — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 4. XIII.

«Не хочу учиться, хочу жениться» — слова Митрофанушки в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1783). Д. 3. Явл. 7.

СОВРЕМЕННОСТЬ (с. 461)

Впервые: Числа. Париж, 1933. № 9. Май. С. 141–145 под псевдонимом Антон Крайний.

В ответ на нападки в этой статье на В. Ф. Ходасевича тот напечатал в газете «Возрождение» (1933. 15 июня) статью «О форме и содержании», в которой писал, что Гиппиус говорит о «грехах современности» только для того, «чтобы под конец расправиться со мной. За мои грехи влетело всей современности. Мной же З. Н. Гиппиус крайне раздражена потому, что мне не нравится роман некоего г. Таманина, о котором она восторженно писала в “Последних Новостях”, а я совсем не восторженно в “Возрождении”. Несогласие наше в основном сводится к тому, что, находя в романе некоторые художественные недостатки, Гиппиус требует, чтобы критика их простила г. Таманину ради идейной, прости Господи, начинки, которая лезет из пухлого таманинского произведения, как капуста из пирога. Я же думаю, что произведение художественно никчемное никакой начинкой не спасется, как безголосые певчие не спасаются “отменным поведением”».

фельетон о романе «Отечество» — имеется в виду рецензия В. Ф. Ходасевича в газете «Возрождение» 26 января 1933 г.

СТАРАЯ, НОВАЯ И ВЕЧНАЯ
В Александринке «Зеленое кольцо» ставил Мейерхольд. — Москвичи отвергли пьесу за... «безнравственность». — Последняя роль Савиной. — С Керенским на генеральной репетиции. — Сегодняшняя молодежь у «пражан». — Какая пропасть — эти 15 лет... (с. 466)

Впервые: Сегодня. Рига, 1933. 16 июля. № 194. С. 3.

«Зеленое кольцо» — пьеса Гиппиус, созданная в 1916 г., была исполнена 5, 8 и 12 июня 1933 г. пражской группой МХТ в театре Монси в Париже.

Савина (Подраменцова) Мария Гавриловна (1854–1915) – артистка Александринского театра (с 1874 г.) в Петербурге.

БРАК ПИСАТЕЛЯ

Какой должна быть идеальная жена писателя? – Встречи с женами Достоевского и Толстого. – «Добра» жена. – Не жизнь, а житие. – Семейная трагедия Толстых. – Несчастный брак Пушкина. – Любовь Тургенева (с. 470)

Впервые: Сегодня. Рига, 1933. 27 августа. № 236. С. 2.

Если б я была царица... – А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане... (1831).

Достоевская Людмила Федоровна (1869–1926) – беллетристка, дочь Ф. М. Достоевского. На сборник ее повестей «Больная девушка» В. В. Розанов написал рецензию «Первый дебют» (Новое Время. 1911. 3 апреля). Имеется в виду также книга «Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской» (М.; Пг., 1922), сокращенный перевод книги, вышедшей в Мюнхене в 1920 г. на немецком языке.

«средь шумного бала, случайно» – из одноименного стихотворения А. К. Толстого (1851).

«Люблю ли тебя, я не знаю...» – там же.

«В отлива час...» – ср. стихотворение А. К. Толстого «Вздымаются волны как горы...» (1866).

По дневнику А. Г. – «Воспоминания» А. Г. Достоевской (1846–1918) были опубликованы в 1925 г. «Дневник» за 1867 г. издан в 1973 г.

В СЕЙ ЧАС (с. 474)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1933. 16 ноября. № 4261. С. 3 на полосе «Приветствия И. А. Бунину в связи с присуждением ему Нобелевской премии по литературе».

...Тургенев завещал «хранить великий русский язык»... – см. «Русский язык» (1882) И. С. Тургенева в его «Стихотворениях в прозе».

ВСТРЕЧИ И СВОБОДА
(*Вроде предисловия*) (с. 475)

Впервые: Встречи. Париж, 1934. № 2. Февраль. С. 62–66.

у меня уже была подробная статья – см. статью Гиппиус «Литературная запись. О молодых и средних» (1924) в настоящем издании.

«из сладкого вышло сильное» — Суд. 14, 14 (из сильного вышло сладкое).

ПОЛИТИКА И ПОЭЗИЯ
(Доклад, прочитанный на вечере стихов «Перекрестка») (с. 479)

Впервые: Меч. Варшава, 1934. 27 мая. № 3—4. С. 5—7. Вечер «Перекрестка» состоялся 17 марта 1934 г.

«полнота ощущений данной минуты» — цитата из Е. А. Баратынского восходит к «Материалам для биографии Е. А. Баратынского» (*Баратынский Е. А.* Сочинения. 4-е изд. Казань, 1884. С. 481).

Шенье Андре Мари (1769—1794) — французский поэт. Казнен якобинцами.

Ламартин Альфонс (1790—1869) — французский писатель-романтик.

Пеги Шарль (1873—1914) — французский поэт.

отзыв... Мицкевича — во французском журнале «Le Globe» в некрологе «Пушкин и литературное движение в России» (1837).

Лига Наций (1919—1946) — международная организация, созданная для развития сотрудничества между народами. СССР входил в нее в 1934—1939 гг.

страшное письмо Блока — письмо К. И. Чуковскому 26 мая 1921 г.

НА ПАРИЖСКИХ УЛИЦАХ ЗАПАХЛО ПОРОХОМ
События и французский здравый смысл. — Прогнозы «наших». — Своеобразная «молодежь». — Новая русская интеллигенция? — Керенский. — Что свойственно юности. — Жена «вредителя». — Воздух смерти (Письмо из Парижа) (с. 484)

Впервые: Сегодня. Рига, 1934. 29 апреля. № 118. С. 2.

О февральских парижских днях... — 6 февраля 1934 г. фашисты организовали в Париже манифестацию, планируя завершить ее государственным переворотом. 12 февраля прошла массовая антифашистская демонстрация и забастовка.

...недавними событиями <...> в Австрии — в феврале 1934 г. рабочие Вены и других городов оказали вооруженное сопротивление отрядам фашистов.

«музыка революции» — А. Блок. Интеллигенция и революция (1918).

Думерг Гастон (1863—1937) — президент Франции в 1924—1931 гг. После провала фашистского путча 6 февраля 1934 г. образовал правительство «Национального единства».

Александр I Карагеоргиевич (1888–1934) – король Югославии в 1921–1934 гг. Убит в Марселе 9 октября 1934 г. хорватскими террористами (см. ниже статью Гиппиус «О встречах с королем Александром»).

Эррио Эдуар (1872–1957) – премьер-министр Франции в 1924–1925, 1932 гг., в 1924 г. установил дипломатические отношения с СССР, в 1934–1936 гг. государственный министр. Эррио посетил СССР в 1922 г., когда вышла его книга «Новая Россия».

«Алиса в стране чудес» (1865) – сказочная повесть английского писателя Льюиса Кэрролла.

«Изменяться, но не изменять...» – из стихотворения Гиппиус «Улыбка» (1897).

Чернавина Татьяна Васильевна – в 1932 г. с мужем эмигрировала в Финляндию, затем поселилась в Лондоне. 14 апреля 1934 г. прочитала в Париже доклад «Интеллигенция в СССР», 21 апреля – доклад «Советская молодежь» (опубликован в «Современных Записках». 1934. № 55), 25 апреля во французском клубе «Форум» рассказала (на французском языке) о своем драматическом бегстве из советской России.

О ВСТРЕЧАХ С КОРОЛЕМ АЛЕКСАНДРОМ

На съезде русских писателей. – Речь Немировича-Данченко. – Король забывает русскую речь. – Петербургские воспоминания. – Цельная личность (с. 489)

Впервые: Сегодня. Рига, 1934. 25 ноября. № 326. С.4.

Король Югославии Александр I Карагеоргиевич был убит 9 октября 1934 г. в Марселе хорватскими террористами.

...нет горшей боли... – Данте. Ад. V, 121.

...очерк в одной варшавской газете... – речь идет о статье Гиппиус «Письмо о Югославии» (см. в настоящем издании) в варшавской газете «За Свободу!» 7 декабря 1928 г. Газета прекратила свое существование в апреле 1932 г.

В ПАРИЖЕ УСПОКОЕНИЯ ЕЩЕ НЕТ

«Франсисты» и мистика сердца. – Правительственные «старые скептики». – «А там, во глубине России...». – Чернавина, «царская» революционерка и советский летчик. – Как быть настоящим эмигрантом? – Керенский на улице и в парижских магазинах. – Подлинная верность родине (Письмо из Парижа) (с. 493)

Впервые: Сегодня. Рига, 1934. 24 июня. № 172. С. 2.

Довгалевский Валериан Савельевич (1885—1934) – с 1928 г. до смерти 14 августа 1934 г. полпред СССР во Франции. В 1932 г. подписал в Париже франко-советский пакт о ненападении.

НЕГАСИМАЯ СВЕЧА

(*Памяти Амалии Фондаминской*) (с. 496)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1935. 22 июня. № 5203. С. 3.

Фондаминская (Гавронская) Амалия Осиповна (ум. 1935) – жена И. И. Фондаминского (псевд. Бунаков), редактора «Современных Записок». В 1937 г. в Париже вышла книга «Памяти Амалии Осиповны Фондаминской».

Не узнавай, куда я путь склонила... — В. А. Жуковский. Голос с того света (Из Шиллера) (1815).

ДОН-АМИНАДО. НЕСКУЧНЫЙ САД

Париж, Изд. «Дом Книги», 1935 (с. 499)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1935. № 58 <июнь>. С. 472 – 474 под псевдонимом Антон Крайний.

Книга Дон-Аминадо (Шполянский Аминад Петрович; 1888—1957) «Нескучный Сад» (Париж, 1935) наряду с поэтическими произведениями содержит циклы афоризмов под общим заглавием «Новый Козьма Прутков».

«горьким смехом моим посмеюся» — надпись на надгробии Н. В. Гоголя из церковно-славянского текста Иеремии, 20, 8.

«посмотришь с холодным вниманьем вокруг» — М. Ю. Лермонтов. «И скучно, и грустно...» (1840).

Е. БАКУНИНА. ЛЮБОВЬ К ШЕСТЕРЫМ. РОМАН

Роман. Париж, 1935 (с. 502)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1935. № 58 <июнь>. С. 478–479.

Бакунина (Новоселова) Екатерина Васильевна (1889—1976) – писательница. В 1923 г. эмигрировала в Париж, автор сборника «Стихи» (1931), романов «Тело» (1933) и «Любовь к шестерым» (1935).

Лауренс (Лоуренс) Дэвид Герберт (1885—1930) – английский писатель, автор романа «Любовник леди Чаттерлей» (1928).

СВОИМИ ПУТЯМИ
(*О Е. М. Лопатиной*) (с. 503)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1935. № 59 <ноябрь>. С. 459–462.

Лопатина Екатерина Михайловна (1865–1935) – писательница, печаталась под псевдонимом К. Ельцова (роман «В чужом гнезде», 1899), в эмиграции печаталась редко.

«превенториум» – профилакторий.

У НАС В ПАРИЖЕ
Новые «понедельники». – Литературная полумолодежь. – Б. Поплавский и его живой облик. – Пропаганда «целостного миросозерцания». – Нужны ли рассуждения? (Письмо из Парижа) (с. 507)

Впервые: Сегодня. Рига, 1936. 9 февраля. № 40. С. 3.

Муж Бовари – речь идет о романе Г. Флобера «Госпожа Бовари» (1857).

...этой неожиданной смерти... – поэт и прозаик Борис Юлианович Поплавский (1903–1935) умер при загадочных обстоятельствах – несчастный случай или самоубийство (принял слишком большую дозу наркотиков).

Пильский Петр Моисеевич (1879–1941) – писатель, критик, эмигрировал в 1918 г., с 1926 г. вел литературно-художественный отдел в рижской газете «Сегодня».

МУЖЬЯ-ИТАЛЬЯНЦЫ
О русских женщинах, вышедших замуж за итальянцев (с. 511)

Впервые: Сегодня. Рига, 1936. 14 сентября. № 254. С. 2.

...о «мудреце на Тарпейской скале»... – см. ниже статью Гиппиус «Почти – рай» о встрече с Вячеславом Ивановым в Риме.

В. МАМЧЕНКО. ТЯЖЕЛЫЕ ПТИЦЫ. – Л. САВИНКОВ. АВАНПОСТ (с. 513)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1936. № 61 <июль>. С. 466–468.

Мамгенко Виктор Андреевич (1901—1982) — поэт. Эмигрировал в 1920 г. «Тяжелые птицы» (1935) — первая книга его стихов.

Савинков Лев Борисович — сын Б. В. Савинкова, автор единственной книги стихов «Аванпост» (1935). После Второй мировой войны печатался в журнале «Новоселье» (1948).

ДОРОГИЕ ПОКОЙНИЧКИ (с. 515)

Впервые: Новая Россия. Париж, 1937. 11 апреля. № 25. С. 14—15 под псевдонимом Антон Крайний.

«Дьявол с Богом борется, а поле борьбы — сердце людей». — Слова Мити Карамазова в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (Кн. III. Исповедь горячего сердца. В стихах).

ДУША ЖИВАЯ
(*К юбилею Т. С. Варшер*) (с. 517)

Впервые: Сегодня. Рига, 1937. 23 апреля. № 111. С. 2.

Варшер Татьяна Сергеевна — историк античности и археолог, знаток раскопок в Помпеях, автор книги «Виденное и пережитое в советской России» (Берлин, 1923).

«Живые лица» — книга воспоминаний Гиппиус, вышедшая в Праге в 1925 г.

жизненный порыв — термин французского философа Анри Бергсона (1859—1941) в его книге «Творческая эволюция (1907, рус. пер. 1914).

«того, гего нет на свете!» — из стихотворения Гиппиус «Песня» (1893).

«ОРДЕН» РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (с. 519)

Впервые: Новая Россия. Париж, 1937. 23 мая. № 28. С. 1—7 под псевдонимом Антон Крайний.

«Бесы» (1871—1872) — роман Ф. М. Достоевского.

Ягода Генрих Григорьевич (1891—1938) — нарком внутренних дел СССР, один из главных организаторов массовых репрессий.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — теоретик анархизма и народничества.

СОВРЕМЕННОСТЬ (с. 522)

Впервые: Новая Россия. Париж, 1937. 21 декабря. № 38. С. 12—13 под псевдонимом Антон Крайний.

20 Зак. 4570

Мы «ленивы и нелюбопытны» — А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум (1836). Гл. 2.

...о потере «первоначального смысла»... — см., в частности, рассуждение о случае с Уолтером Ралей (о разном восприятии одного и того же увиденного разными людьми) в рассказе А. Франса «Кренкбиль» (1904).

ПОЧТИ-РАЙ

Встреча с Вячеславом Ивановым в Риме (*Из итальянских впечатлений*) (с. 525)

Впервые: Сегодня. Рига, 1937. 23 декабря. № 352. С. 2. Сокращенный вариант под названием «Поэт и Тарпейская скала (О Вяч. Ив. Иванове)» напечатан в «Иллюстрированной России». 1938. № 2. 1 января. С. 1—2.

д'Азелио Массимо Тапарелли (1798—1866) — маркиз, художник, писатель, участник итальянского освободительного движения в 1848 г. Посмертно в 1867 г. опубликованы его незаконченные «Мои воспоминания».

«Моав — умывальная чаша Моя...» — Псалтирь 59, 10; 107, 10. Моав — сын старшей дочери Лота, плод кровосмесительной связи ее с собственным отцом, эпоним (давший свое имя) моавитского народа.

Пий XI — папа римский с 1922 г.

Кампанья — область южнее Рима.

Он пишет о... Лютере — книга Д. С. Мережковского «Лютер» (из трилогии «Реформаторы») была издана посмертно на французском языке в 1941 г. и в 1991 г. по-русски в Нью-Йорке.

Веласкез (Веласкес) Диего (1464—1524) — испанский живописец.

Ливий Тит (59 до н. э. — 17 н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города».

д'Аннунцио Габриеле (1863 — 1938) — итальянский писатель и политический деятель.

Тарпейская скала — согласно легендам, дочь правителя на Тарпейской скале в Риме во время войны с племенем сабинов (у которых римляне похитили женщин) обещала впустить их в крепость, если они отдадут ей то, что носят на левой руке, имея в виду браслеты. Взяв крепость, сабины буквально следуя договоренности, побросали на изменницу-дочь щиты, забив ее до смерти. В дальнейшем с Тарпейской скалы сбрасывали осужденных на смерть преступников.

Марк Аврелий — речь идет о конной статуе римского императора, правившего в 161—180 гг.

«башня» на Таврической (д. 25, кв. 24, ныне д. 35) — имеются в виду собрания в квартире Вяч. Иванова в 1905—1909 гг.

ЗАГАДКА НЕКРАСОВА (с. 530)

Впервые: Русские Записки. Париж; Шанхай, 1938. № 3 <март>. С. 322–231. Эпиграф из стихотворения Н. А. Некрасова «Демону» (1855): «Что же со мною случилось? Как разгадаю себя?»

«жадно глядишь на дорогу» – Н. А. Некрасов. Тройка (1846).

«молодость сгубила...» – Н. А. Некрасов. «Тяжелый крест достался ей на долю...» (1855).

«Муза гнева и печали» – Н. А. Некрасов. «Замолкни, Муза мести и печали!.. (1856).

«Бурлаки» – из стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858): «Выдь на Волгу: чей стон раздается... то бурлаки идут бечевой!..».

«Укажи мне такую обитель» – Там же («Назови мне такую обитель...»).

«Есть на Волге утес...» – стихотворение (1864) А. А. Навроцкого (1893–1914), ставшее народной песней.

«Вперед без страха и сомненья!» – одноименные стихи А. Н. Плещеева (1846). За участие в кружке М. В. Петрашевского в 1849–1850 гг. он отбывал ссылку.

Чуковский (Корнейчуков Николай Васильевич) Корней Иванович (1882–1969) – писатель. Речь идет о его книге «Некрасов: Статьи и материалы» (Л.; 1926), 2-е издание под названием «Рассказы о Некрасове» (М.; 1930).

...присваивает чужие деньги... – об этой неоднозначной истории писали М. О. Гершензон в своей книге «Образы прошлого» (М.; 1912. С. 529) и В. В. Розанов (Собрание сочинений. Мимолетное. М., 1994. С. 174–175).

«Некрасов в Риме!» – пишет Герцен Тургеневу – письмо А. И. Герцена от 8–9 декабря 1856 г.

В столицах шум, гремят витии... – одноименное стихотворение Н. А. Некрасова (1858).

Село Тарабогатай – в поэме Некрасова «Дедушка» (1870) село Тарбагатай.

Скабичевский Александр Михайлович (1838–1910) – критик и историк литературы.

Словно как мать над сыновней могилой... – начало поэмы Н. А. Некрасова «Саша» (1855).

Прости! То не песнь утешения... – Н. А. Некрасов. Рыцарь на час (1862).

Тяжел мой крест. Уединенье... – Н. А. Некрасов. Несчастная (1856).

Вспоминается пройденный путь... – Н. А. Некрасов. Рыцарь на час.

Тяжелый крест... – Н. А. Некрасов. «Тяжелый крест достался ей на долю...».

Тяжелый год... — Н. А. Некрасов. «Тяжелый год — сломил меня недуг...» (1856).

Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — граф, министр государственных имуществ в 1857—1861 гг. За подавление Польского восстания 1863—1864 гг. прозван «вешателем». 16 апреля 1866 г. Некрасов принял участие в официальном чествовании Муравьева и прочитал в его честь тогда же уничтоженные и остающиеся неизвестными стихи.

«Поэт и палач» — брошюра К. И. Чуковского, вышедшая с подзаголовком «Некрасов и Муравьев» (Пг., 1922).

«Не здоровые имеют нужду во враче, а больные» — Мф. 9, 12; Лк. 5, 31.

В НАШЕМ ПАРИЖСКОМ УГЛУ

Смена двух эпох. — Создание клуба писателей и читателей (Письмо из Парижа) (с. 538)

Впервые: Сегодня. Рига, 1938. 27 февраля. № 58. С. 3.

...на недавнем <...> заседании... — речь идет о заседании «Зеленой Лампы» 28 января 1938 г. с обсуждением романа Г. Иванова «Распад атома» (см. статью Гиппиус «Черты любви», 1938, в настоящем издании).

«Клуб читателей и писателей» — открытие Клуба в Париже проходило 21 февраля 1938 г., о чем сообщали «Последние Новости» 22 февраля 1938 г. Вторая встреча писателей и читателей проходила 18 марта, третья — 8 апреля (с участием Н. Тэффи). Подробнее см. в следующей статье Гиппиус «В парижском углу не скучно».

В ПАРИЖСКОМ УГЛУ НЕ СКУЧНО

Танцы на вулкане. — «Смотр» парижских писателей. — Опыт свободы. — Клуб «читателей, писателей» и... публики (Письмо из Парижа) (с. 541)

Впервые: Сегодня. Рига, 1938. 22 апреля. № 111. С. 3.

...доклад В. С. Варшавского об «Одиночестве»... — 29 марта 1938 г. на заседании «Зеленой Лампы» В. С. Варшавский выступил с докладом «Одинокий человек в эмиграции». В прениях участвовали Гиппиус, Л. И. Кельберин, Ю. В. Мандельштам, В. А. Мамченко, Я. М. Меньшиков, Д. С. Мережковский, Ю. К. Терапиано.

«сегодня бал — а завтра будет два» — А. С. Грибоедов. Горе от ума. I, 7 («Вчера был бал, а завтра будет два»).

Степка-Растепка — герой рассказов Генриха Гофмана (1809—1894).

...один-единственный (недавно сделавшийся двуглавым) журнал... — имеется в виду, что с июня 1937 г. при участии редакторов, издающих «Совре-

менные Записки», начал выходить журнал «Русские Записки» (1937–1939).

«Смотр» – Гиппиус готовила к печати сборник «Литературный смотр», вышедший в Париже в 1939 г., где опубликована ее статья «Опыт свободы» (см. ниже).

«без денег, без любви, в Париже» – стихотворение Г. Адамовича «За все, за все спасибо...», вошедшее в его книгу «Единство» (1967).

«ЧЕРТЫ ЛЮБВИ»

(Доклад в О-ве «Зеленая Лампа») (с. 545)

Впервые: Круг. Альманах. Париж, 1938. № 3 <июнь>. С. 139–149. Доклад Гиппиус состоялся 28 января 1938 г. на заседании «Зеленой Лампы», посвященном обсуждению романа Г. Иванова «Распад атома».

ЛЮБОВЬ НЕ ПОМОГАЕТ...

Опасные темы. – Призрак Золотого века. – Московский артист и чужая звезда. – Русский душевный строй и лад (Письмо из Парижа) (с. 553)

Впервые: Сегодня. Рига, 1938. 7 августа. № 216. С. 4.

Поговори хоть ты со мной... – Ап. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...» (1857).

жиголо – альфонс, мужчина, находящийся на содержании у любовницы.

«Чужая любовь» – роман Гиппиус печатался в газете «Возрождение» с 25 июля по 3 сентября 1929 г. (см.: *Гиппиус З.* Сочинения. Романы: В 2 т. М., 2001. Т. 2).

«ам слав» – славянином (*нем.*).

ПОЧТИ БЕЗ СЛОВ

Георгий Адамович. «На Западе» (с. 557)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1939. 9 марта. № 6555. С. 3 под псевдонимом Антон Крайний. Третий сборник стихов Г. В. Адамовича «На Западе» вышел в Париже в 1939 г.

«не поймет и не заметит чуждый взор» – Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья...» (1855).

«дети страшных лет России» – А. Блок. «Рожденные в года глухие...» (1914).

«Был человек, который искал не счастья, а правды...» – Гиппиус прочитала в изданном «Дневнике» Блока (Л., 1928) запись 13 января 1912 г. в

связи с подготовкой автобиографии: «Есть такой человек (я), который, как говорит З. Н. Гиппиус, думал больше о правде, чем о счастье».

МАГИЯ СТИХОВ (с. 562)

Впервые: Последние Новости. Париж, 1939. 12 мая. № 6619. С. 2. Эпиграф из стихотворения Ф. И. Тютчева «Поэзия» (1850).

«О, как на склоне наших лет...» – Ф. И. Тютчев. Последняя любовь (1852).

«Качайся, черт с тобой!» – Ф. Сологуб. Чертовы качели (1907).

О вещая душа моя! – одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1855).

По синим волнам океана... – М. Ю. Лермонтов. Воздушный корабль (1840).

Теперь тебе не до стихов – одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1854).

О СЧАСТЛИВОСТИ
(*Г. И. Чулков*) (с. 567)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1939. № 68 <март>. С. 462–463.

Чулков Георгий Иванович (1879–1930) – писатель. Его книга «Годы странствий: Из книги воспоминаний» вышла в Москве в 1930 г. О «мистическом анархизме» он писал в книге «О мистическом анархизме» (СПб., 1906) со вступительной статьей Вяч. Иванова.

ОБ ОДНОЙ КНИЖКЕ (с. 568)

Впервые: Современные Записки. Париж, 1939. № 69 <июль>. С. 397–398 под псевдонимом Антон Крайний.

«Розанов в последние годы» – книга М. М. Спасовского «В. В. Розанов в последние годы своей жизни: Среди неопубликованных писем и рукописей». Берлин, [1939].

«Темный Лик» – книга В. В. Розанова, вышедшая в 1911 г. как часть запрещенной цензурой книги «В темных религиозных лучах» (впервые издана в 1994 г. в Собрании сочинений Розанова).

«Услуги еврейские, как гвозди в руки мои...» – см. комментарии к статье «Не нравится – нравится» (1928).

С ХОЛОДНЫМ ВНИМАНИЕМ (с. 570)

Впервые: Новая Россия. Париж, 1939. № 70. 1 июля. С. 5–6.

«Поиски истины» – статья французского поэта и публициста Шарля Пеги в издававшемся им журнале «Двухнедельные тетради». 1901. Октябрь.

...статья Н. А. Бердяева в защиту Г. П. Федотова... – имеется в виду статья Н. А. Бердяева «Существует ли в православии свобода мысли и совести?» в журнале «Новая Россия». 1939. № 68. 30 мая.

ОПЫТ СВОБОДЫ (с. 573)

Впервые в кн.: Литературный смотр: Свободный сборник / Под ред. З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского; вступ. статья З. Н. Гиппиус. Париж: Б. и., 1939. С. 5–14. Эпиграф из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium» (1830).

«Круг» – вышло три номера альманаха «Круг» (в 1936, 1937 и в июне 1938 г.), подготовленных литературным обществом «Круг» под руководством И. И. Фондаминского.

двух писателей старшего поколения – имеются в виду Г. В. Адамович и В. М. Зензинов.

РАССКАЗЫ И СТАТЬИ, ПЕЧАТАВШИЕСЯ ПОД ДРУГИМИ НАЗВАНИЯМИ ИЛИ ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАНЕЕ

Весенний монастырь – см. «Не занимаются» в сб. Гиппиус «Черное по белому» (1908)
В четверг – из сб. Гиппиус «Алый меч» (1906)
Глупый Никита – см. «Как ему повезло» (т. III)
Жюльен – см. «Вторая любовь» (т. II)
Жюльен или не Жюльен? – см. «Вторая любовь» (т. II)
Искусство и любовь – см. «О любви» (т. I)
Как жить? (Поездка к учителю) – см. «Поездка Андрея» (т. III)
Кольцо любви. Из пережитого – см. «Пестрый платочек» (т. I)
Обиженная душа – см. «Все непонятно» (т. II)
Он – белый – из сб. Гиппиус «Лунные муравьи» (1912)
Поэт и Тарпейская скала – см. «Почти-рай» (т. III)
Превращенья – см. «Метаморфозы» (т. III)
Светлое озеро – см. «Старый Керженец» (т. III)
Светлое утро – см. «Царский путь» (т. I)
Только двое – см. «Женское» в сб. Гиппиус «Лунные муравьи» (1912)
Учитель – см. «Поездка Андрея» (т. III)

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ОЧЕРКИ И СТАТЬИ

З. Н. Гиппиус

АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ (1931–1939)

Корректор: *Т. Л. Самсонова*
Верстка: *С. Б. Трофимов*
Художественное оформление: *С. А. Гаврилова*
Компьютерный набор: *М. В. Толмачева*

Лицензия ИД № 02417
от 20.07.2000 г.

Сдано в набор 23.02.03. Подписано в печать 30.08.03. Формат 60 × 88 $^{1}/_{16}$. Бум. офсетная. Гарнитура Optima. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 40,00. Тираж 2000 экз. Зак. № 4570
ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostok_publish@front.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: (812) 323-54-70

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12.